

ГИЛБЕРТ К.

ЧЕСТЕРТОН

2

ГИЛБЕРТ К.
ЧЕСТЕРТОН

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ТРЕХ
ТОМАХ

ГИЛБЕРТ К.

ЧЕСТЕРТОН

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ТРЕХ
ТОМАХ



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

ГИЛБЕРТ К.

ЧЕСТЕРТОН

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ

2

ЖИВ-ЧЕЛОВЕК

Роман

ПЕРЕЛЕТНЫЙ КАБАК

Роман

РАССКАЗЫ

Перевод с английского



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

ББК 84.4Вл
Ч-51

GILBERT KEITH CHESTERTON
(1874—1936)

Редколлегия:

С. АВЕРИНЦЕВ, В. СКОРОДЕНКО, Н. ТРАУБЕРГ

Составление

Н. ТРАУБЕРГ

Комментарии

И. ПЕТРОВСКОГО, Н. ТРАУБЕРГ

Оформление и иллюстрации художника

В. НОСКОВА

Ч $\frac{4703010100-254}{028(01)-90}$ 126-90

ISBN 5-280-01203-3 (Т. 2)
ISBN 5-280-01202-5

© Составление. Трауберг Н. Л. 1990
© Комментарии. Петровский И. М.
Трауберг Н. Л., 1990 г.
© Оформление и иллюстрации.
Носков В. А. 1990 г.



ЖИВ-ЧЕЛОВЕК

Роман

Перевод К. Чуковского

MANALIVE

1913

Часть I

ЗАГАДКИ ИННОСЕНТА СМИТА

Глава I

КАК ВЕЛИКИЙ ВЕТЕР ВОРВАЛСЯ В ДОМ МАЯКА

Буйный ветер поднялся на западе, словно волна неизъяснимого счастья, и понесся к востоку над Англией, распространяя прохладные ароматы лесов и пьяное дыхание моря. В миллионах закоулков и щелей он освежал человека, точно бутылка вина, и ошеломлял, как удар. В отдаленнейших комнатах глухих, непроницаемых зданий он пробуждался, как взрыв динамита. В кабинете у профессора он разбрасывал по полу рукописи, казавшиеся тем драгоценнее, чем труднее было их поймать. Он тушил свечку у школьника, читавшего «Остров сокровищ», и повергал его в кромешную тьму. Развеив над миром знамя великого бунта, он вносил драму в самые мирные души. Вздрагивала в тревоге убогая мать, увидев мотающиеся на веревочке, под ветром, на заднем дворе, пять детских рубашонок, точно повесила она пятерых своих малышей; рубашонки раздувались от ветра и начинали драться, будто в каждую вселился пузатый чертенок, и где-то в глубине удрученного сознания женщины просыпались дикие отцовские сказки о тех временах, когда среди людей жили эльфы. И много было в тот вечер незамечаемых девушек, которые, гуляя по мокрым садам, окруженным высокими стенами, бросались в гамак так отчаянно, словно бросались в Темзу. А ветер врывается сквозь зыбкую живую ограду, налетал на гамак, и гамак взлетал воздушным шаром, показывая девушке причудливые высокие тучи, а там внизу веселые деревни, ярко озаренные солнцем, словно девушка неслась по небесной лазури в волшебном челноке над землей. Запыленным пономарям и викариям, бредущим среди тополей по телескопам дорог, в сотый раз казался каждый тополь черным пером катафалка. Тополя были подхвачены незримою силою, взвились и завертелись вокруг

каждого путника, словно венок или приветливый шелест серафимовых крыльев. Этот ветер был еще влажнее, еще вдохновеннее того старого ветра, о котором говорится в пословице, потому что это был добрый ветер, никому не навешивающий зла.

Крылатый вихрь ударил по северной окраине Лондона, там, где Лондон, словно Эдинбург — терраса за террасой, — вскарабкивается на отвесные кручи. Однажды какой-то поэт, быть может возвращаясь с попойки, поднял глаза вверх и с удивлением увидел, что все улицы встали дыбом и поднялись к небесам. Ему смутно представились ледники и опоясанные канатом туристы; он назвал эту местность «Швейцарская Хижина», и прозвище прилипло к ней навсегда. С запада она обрывалась крутосклоном высоких и серых домов, по большей части пустующих, почти столь же унылых, как холмы Грампианов. Крайний дом, пансионат «Маяк», узкий, высокий, обращенный к закатному солнцу, вздымался, как величественный нос покинутого людьми корабля.

Корабль, однако, был покинут не всеми.

Содержательница пансиона, некая миссис Дьюк, была одним из тех беспомощных созданий, перед коими отступает в бессилии самая злая судьба. Она улыбалась одинаковой неопределенной улыбкой — до всякого несчастья и после. Она была слишком мягка и потому не могла ушибиться. Но с помощью (вернее, под командой) предприимчивой и энергичной племянницы ей всегда удавалось удержать у себя в пансионе несколько жильцов — по большей части молодых, но беспечных. В ту минуту, когда великий ветер примчался к подножию крайней башни и стал штурмовать ее, как море штурмует передний утес, пятеро жильцов миссис Дьюк невесело прогуливались по саду: трое мужчин и две девушки.

Весь день тяжелые тучи висели печатью проклятия над громадой лондонских домов, но квартиранты миссис Дьюк предпочли холодный и пасмурный сад темным и унылым покоем. Когда нагрянул ветер, он разорвал небеса пополам, расшвырял тучи направо и налево и обнажил необъятные ясные горны вечернего золота. Струя света сбросила оковы почти в то самое мгновение, когда сорвался ураган и яростно накинудся на все, что лежало у него по пути. Низкая, блестящая трава сразу полегла в одну сторону, словно приглаженные щеткою волосы. Каждый кустик в саду стал дергаться, срывать с корешка, словно собака с цепи. Каждый прыгающий листочек понесла на себе всеокрушительная буйная сила. Как стрелы из арбалета, со свистом неслись отломанные от деревьев ветки. Закопченные мужчины встали спиной к ветру, словно опираясь на стену. Дамы кинулись в дом, или, говоря по правде, дамы были вдунуты в дом. Их блузы — синяя и белая — казались большими цветками, гонимыми бурей. Это высокое сравнение было в ту пору уместно: таким романтическим чудом явился поток воздуха и света, хлынувший на землю после долгого, темного, туманного дня. Трава и деревья

в саду засветились ласковым и в то же время призрачным сиянием закатного солнца — будто светом костра из волшебного царства. Было похоже, что солнце ошиблось: восходило не утром, а вечером.

Девушка в белом нырнула в дом чрезвычайно поспешно, потому что ее белая шляпа, величиной с парашют, грозила унести ее к раскрашенным вечерним облакам. Для безденежных обитателей пансиона она была олицетворением богатства и роскоши, ибо не так давно получила небольшое наследство. Она поселилась в «Маяке» на днях и проживала там вместе с подругой. Темноглазая, круглолицая, она была при этом решительна и даже, пожалуй, бойка. Увенчанная богатством, добродушная и милостивая, она, однако, оставалась незамужней. Быть может, она не выходила замуж потому, что постоянно была окружена целым роем поклонников. У нее были хорошие манеры (хотя многие назвали бы ее вульгарной); на нерешительных юнцов она производила впечатление очень общительной и вместе с тем недоступной женщины. Влюбленному казалось, будто он влюблен в Клеопатру или стучится у двери в уборную к знаменитой актрисе. Театральные блески и в самом деле украшали мисс Хант: она играла на гитаре и на мандолине и вечно требовала, чтобы ставили шарады. Грандиозный турнир солнца и бури затронул ее театральные чувства: детскую мелодраму почувствовала она в этом турнире. Над бурным хаосом пространства взвились облака, словно занавес над долгожданной пантомимой.

Девушка в синем тоже не осталась равнодушна к апокалипсису в маленьком саду, хотя во всем свете не было более прозаического существа, чем она; это была та предприимчивая, энергичная племянница, которая своей энергией спасала пансион от краха. Но когда ветер раздул ее юбку и юбку мисс Хант — синюю и белую — наподобие гигантских грибовидных кринолинов времен королевы Виктории, в ее душе тоже проснулось поэтическое, забытое, дивное: пыльный том «Панча», который она читала ребенку у тетки, обручи кринолинов, обручи крокета на картинке и какой-то грациозный рассказ, в котором, кажется, говорится о них. Это слабое благоухание прошлого поблекло почти мгновенно, и Диана Дьюк вошла в дом еще поспешнее, чем ее спутница. Тонкая, стройная, гибкая, черная, она, казалось, была создана для стремительных внезапных движений. Фигурой она напоминала тех продолговатых птиц и зверей, которые отличаются большой быстротой: борзую, или цаплю, или даже безобидную змею. Весь дом вертелся на ней, как на стальном стержне. Она не то чтобы командовала в доме, о нет! Но она была так энергична и так нетерпелива, что сама исполняла свои приказания, не дожидаясь, чтобы их исполнили другие. Прежде чем монтер успевал починить электрический звонок, или слесарь — открыть дверь, или дантист — вырвать расшатанный зуб, или буфетчик — выдернуть тугую пробку — это уже было сделано —

молчаливо и яростно — ее стремительными маленькими пальчиками. Она была подвижна, но в этой подвижности не было ничего суетливого. Она шпорила землю, по которой ступала. Много было говорено о трагедии некрасивых женщин; но еще больше трогает трагедия женщины, которая красива и одарена всеми достоинствами, за исключением женственности.

— Ну и ветер! Голову сорвет! — сказала девушка в белом, направляясь к зеркалу.

Девушка в синем ничего не ответила, сняла перчатки, подошла к буфету и стала расстилать на столе дневную чайную скатерть.

— Я говорю, голову сорвет! — повторила мисс Розамунда Хант. Она была непоколебимо уверена, что слова и песни, исходящие из ее уст, не потеряют своей прелести от повторения.

— Не голову, а шляпу! — сказала Диана Дьюк. — Но шляпа иногда поважнее.

Лицо Розамунды приняло на минуту капризное выражение избалованного ребенка, но скоро опять отразило добродушие очень здоровой женщины.

— Силен же должен быть ветер, который снесет вашу голову, — со смехом сказала она.

Снова наступило молчание. Снова закатное солнце прорвалось сквозь разорванные тучи, залило комнату мягким огнем и расписало мрачные стены золотыми и пурпурными красками.

— Мне кто-то говорил, — сказала Розамунда Хант, — что, если потеряешь сердце, легче сохранить голову.

— Перестаньте болтать чепуху! — резко перебила Диана.

Сад облачился в роскошные золотые одежды. Но ветер продолжал бушевать, и мужчинам также пришлось призадуматься над проблемой шляп и голов. У каждого из них шляпа отлично выражала характер владельца. У самого высокого на голове был цилиндр; ветер казался столь же бессилён поколебать эту башню, как сдвинуть с места унылую громаду пансиона. Второй сначала пытался удержать на голове свою жесткую соломенную шляпу, но в конце концов ему пришлось снять ее и взять в руку. Третий был без шляпы и держался так, словно шляпы у него никогда и не было. Быть может, ветер служил волшебным жезлом для распознавания мужчин и женщин, — столько своего, самобытного проявилось у каждого из этих мужчин при испытании ветром.

Мужчина в солидном шелковом цилиндре был воплощением шелковой мягкости и солидности — большой, ласковой, скупающей и (по мнению некоторых) навевающий скуку. У него были гладкие светлые волосы, черты лица красивые и крупные, звали его Уорнер, он был преуспевающий доктор. Хотя его бесцветные волосы и придавали ему некоторую простоватость, он был далеко не глуп. Если Розамунда Хант слыла единственной богачкой в пансионе, то Уорнер был среди собравшейся компании единст-

венным человеком, снискавшим в мире кое-какую славу. Его трактат «О возможности ощущения боли низшими организмами» превозносился повсюду в ученых кругах как солидный и вместе с тем смелый труд. Короче говоря, у него были мозги, и не его вина, если такие мозги можно исследовать лишь кочергой.

Молодой человек, то снимавший, то надевавший шляпу, был дилетантом в науке. С восторженной непосредственностью боготворил он великого Уорнера. Это он пригласил его сюда, в пансион. Уорнер и не мог быть, конечно, обитателем этого убогого жилища — он занимал собственный докторский дом на Харлестрит. Румяный, темноволосый и застенчивый юноша был самым молодым и миловидным из всех трех джентльменов. Но он принадлежал к тому разряду людей, у которых красота соединена с незначительностью. Мигая глазами, весь красный, стоял он лицом к ветру, и нежные черты его лица грубели и темнели, покрываясь коричнево-красным румянцем. Он был самый заурядный и незаметный молодой человек. Все знали, что зовут его Артур Инглвуд, что он смысленный, холостой, высоко нравственный; что живет он на собственные скромные средства и имеет две слабости: фотографию и велосипед. Всякий знал его и всякий забывал. Даже теперь, в озарении золотого заката, его фигура была смутной и неясной, без отчетливых линий, словно любительские темно-бурые снимки, фабрикуемые его аппаратом.

Третий был без шляпы; он был худ, а легкий спортивный костюм и большая трубка в зубах еще подчеркивали его худобу, длинное насмешливое лицо, иссиня-черные волосы, синие ирландские глаза и синий подбородок актера. Ирландцем он был, но актером он не был, если не считать его давнишнего участия в шарадах мисс Хант. Был он журналистом, неизвестным и бойким, по имени Майкл Мун. Прежде он, кажется, готовился стать юристом, но друзья чаще заставляли его не в суде, а в баре. Мун не был пьяницей и напивался редко; но у него было пристрастие к дурной компании. Дурная компания проще великосветского общества, а с девицами в барах ему было весело разговаривать потому, главным образом, что говорил не он, а девицы. Кроме того, на подмогу девицам он нередко привозил с собой в кабак какого-нибудь даровитого друга. Он обладал странностью, характерной для подобных субъектов, умных и лишенных самолюбия, — охотно водился с людьми, которые были ниже его по развитию. В том же пансионе жил Моисей Гулд, маленький юркий еврей. Майкл забавлялся его негритянским проворством, его пронырливостью и таскал его за собою из бара в бар, как шарманщик ученую обезьяну.

Все шире и шире становилась необъятная пробоина, протеренная ветром в облаках; небеса открывали чертог за чертогом. Казалось, еще немного — и засияет свет, который светлее света! В полноте безмолвного величия все предметы вновь вернули себе свои краски, серые стволы стали серебряными, а грязный гравий

стал золотым. Как оборванный листок, перелетала с дерева на дерево какая-то птица, и ее темные перья горели огнем.

— Инглвуд, — спросил Майкл Мун, следя голубыми глазами за птицей, — есть ли у вас друзья?

Уорнеру показалось, что вопрос обращен к нему, и, повернувшись к Муну свое широкое лоснящееся лицо, он сказал:

— О да, я часто хожу в гости!

Майкл Мун саркастически улыбнулся и стал молча ожидать ответа от Инглвуда, а тот заговорил не сразу, и казалось, что его свежий, молодой, спокойный голос исходит из окружающего их мрачного и даже пыльного хаоса.

— К сожалению, — сказал он, — я растерял своих старых друзей. В школе я очень дружил с одним мальчиком, по фамилии Смит. Странно, что вы именно сейчас заговорили об этом; я как раз сегодня вспоминал моего школьного товарища, а мы не виделись с ним семь или восемь лет. У нас были общие любимые уроки, — не глупый был он малый, хотя и со странностями. Он уехал в Оксфорд, я — в Германию. История довольно грустная. Я часто писал ему и приглашал приехать ко мне погостить, но не получал ответа, и навел о нем справки. И с великим огорчением узнал, что бедняга сошел с ума. Сведения были, правда, довольно туманные; некоторые утверждали, что он выздоровел, но так уж принято говорить о помешанных. С год тому назад я получил от него телеграмму. Как это ни грустно, телеграмма подтвердила прискорбные слухи.

— Конечно! — промолвил бесстрастно Уорнер. — Безумие неизлечимо.

— Ум тоже, — сказал ирландец и мрачно взглянул на Уорнера.

— Симптомы? — спросил доктор. — Что это за телеграмма?

— Стыдно смеяться над такими вещами, — сказал Инглвуд с обычной прямоотой и застенчивостью. — В этой телеграмме не Смит, а его болезнь. «Найден живой человек на двух ногах», вот подлинные слова телеграммы.

— Живой на двух ногах? — повторил Майкл и нахмурился.

— Быть может, там сказано не живой человек, а буян? Я мало знаком с сумасшедшими, но мне кажется, они всегда дерутся.

— А умные? — улыбаясь, спросил Уорнер.

— Умных нужно драть, — ответил с неожиданной горячностью Майкл.

— Послание сумасшедшее, — продолжал невозмутимый Уорнер. — Какой же нормальный человек станет сообщать в телеграмме такие общеизвестные вещи? Каждый ребенок знает, что людей на трех ногах не бывает.

— Ах, как бы пригодилась нам теперь третья нога! В эту бурю! — сказал Майкл Мун.

Новый порыв урагана чуть не повалил их на землю и чуть не сломал почерневшие деревья в саду. А наверху, над головою,

неслись всевозможные случайные вещи: соломинки, лоскутья, ветки, бумажки, и даже далеко-далеко мелькнула исчезающая шляпа. Исчезновение ее не было, однако, окончательным. Через несколько минут стоявшие в саду опять увидели ее; она была ближе и больше; белая панاما, словно воздушный шар, летевшая ввысь к облакам. Бумажным змеем кувыркалась она в воздухе, появляясь то тут, то там, и наконец, нерешительно, как оторванный с дерева лист, опустилась на лужайку среди трех джентльменов.

— Кто-то потерял хорошую шляпу, — констатировал доктор Уорнер.

Не успел он договорить, как вслед за летевшей панамой пронесся над решеткой какой-то другой предмет, оказавшийся большим зеленым зонтиком. За ним, кружась, как волчок, промчался желтый чемодан, колоссальных размеров, а вслед затем в воздухе заметались, вертясь колесом, чьи-то ноги, как на гербе острова Мэн.

Хотя с первого взгляда казалось, что ног было пять или шесть, наземь спустилась фигура, обладавшая только двумя ногами, по примеру того человека, о котором упоминалось в загадочной телеграмме. Фигура приняла образ огромного блондина в светло-зеленом праздничном костюме. Блестящие, светлые волосы этого человека были откинута ветром назад, на немецкий манер, большой, острый нос его выдавался вперед, почти как у собаки, а румяным, открытым лицом он напоминал херувима. Но голову его нельзя было назвать херувимской. Напротив, на широких плечах и громадном туловище она казалась нелепой и неестественно маленькой. Обстоятельство это служило научной основой гипотезы, всецело подтвердившейся его поведением, что он — идиот.

Инглвуд был инстинктивно вежлив, но вежливость его была неуклюжая. Его жизнь была полна незаконченных услужливых жестов. И необычайное появление огромного человека в зеленом, перескочившего через стену, наподобие зеленого кузнечика, не парализовало его привычки быть альтруистом в таких мелочах, как потерянная шляпа. Он сделал шаг вперед, чтобы поднять головной убор зеленого джентльмена, но в ту же минуту остановился, как вкопанный, оглушенный нечеловеческим ревом.

— Это нечестно! — орал широкоплечий верзила. — Не мешайте ей бежать, не мешайте!

Быстро, но осторожно, с пылающим взором, гигант помчался за собственной шляпой. Шляпа не двигалась: казалось, что она только нежится на солнце, но с новым порывом ветра она заплясала по саду дьявольское *pas de quatre*¹. Запыхавшись, прыгая, как кенгуру, скакал за нею эксцентрик, кидая на ходу обрывки полубессмысленных фраз:

¹ Па-де-кватр (*фр.*).

— Чистая игра, чистая игра... Королевский спорт... Погоня за коронами... Очень гуманно... Трамонтана... Кардиналы гонятся за красными шапками... Старинная английская охота... Вспугнули шляпу в Брамбер-Комб... Шляпа затравлена... Стойка гончих... Ату ее!.. Есть!..

Глухое рычание ветра превратилось в пронзительный вой. Гигант подпрыгнул к небу на своих мощных фантастически длинных ногах, прихлопнул рукою бегущую шляпу, но шляпа увильнула от него, и он распластался на траве носом в землю. Как торжествующая птица, взвилась шляпа у него над головой. Но торжество ее было преждевременным; ибо безумец встал на руки, вскинул ноги кверху, заболтал ими в воздухе, как символическими знаменами (зрителям опять припомнился текст телеграммы), и на виду у всех поймал шляпу ногами. Долгий, пронзительный вой ветра рассек небесный свод с одного конца до другого. Мужчины были ослеплены этим невидимым вихрем; казалось, будто странный водопад, совершенно прозрачный, отрезал их от окружающего мира. И когда великан снова перекувырнулся и, сидя на земле, торжественно увенчал свою голову шляпой, Майкл, к своему величайшему удивлению, почувствовал, что он глядел на эту сцену, затаив дыхание, точно секундант на дуэли.

Когда буйный ветер достиг вершины своего небоскрежного взлета, вдруг раздался короткий крик. Резко начался он, но быстро оборвался, внезапно потонув в тишине. Ворсистый черный цилиндр доктора Уорнера, его официальный головной убор, слетев с головы, понесся по длинной, плавной параболе ввысь, точно воздушный корабль, и застрял в самых верхних сучьях какого-то дерева, как бы возглавляя его. Еще одна шляпа улетела. Людям в саду показалось, что они попали в водоворот необычайных событий: никто не знал, что теперь будет схвачено ветром. Не успели они опомниться, как жизнерадостный и шумный охотник за шляпами был уже на дереве, на полпути от цилиндра; прыгая своими крепкими, согнутыми, как у кузнечика, ногами с ветки на ветку, он не переставал выкрикивать отрывистые таинственные фразы:

— Древо жизни... Игддрасиль... Карабкаться несколько веков... Совы гнездятся в шляпе... Отдаленные поколения сов... все же узурпаторы... Улетела на небо... Житель луны надевает ее... Разбойник!.. Она не твоя!.. Она принадлежит унылому врачу... в саду... Отдай ее!.. Отдай!

Ветер гремел, как гром. Дерево металось, раскачивалось и рвалось во все стороны, словно тростинка, пылая под лучами солнца, как костер. Зеленая фантастическая фигура, резко выделявшаяся среди пурпура и золота осени, сидела на самых верхних тонких и ломких ветвях, и только по странной счастливой случайности эти ветви не подломились под тяжестью огромного тела. Гигант притаился между последними дрожащими листьями

и первой мигающей звездой. Он продолжал, как бы оправдываясь, выбрасывать из себя рассудительные, веселые, отрывистые выкрики. Должно быть, он запыхался, так как всю свою нелепую погоню за шляпой совершил без передышки, мгновенно, и, вскочив на стену, как футбольный мяч, взвился на дерево, точно ракета. Зрители были погребены под этой грудой событий, которые бешеным вихрем следовали одно за другим. У всех у трех блеснула одновременно одна и та же мысль. Дерево стоит здесь пять лет, — все время, пока они живут в пансионе. Все они сильны и энергичны. И ни одному из них ни разу не пришло в голову взобраться на это дерево. Инглвуд был поражен сочетанием красок: светлые свежие листья, суровое синее небо, буйные зеленые руки и ноги напоминали ему что-то далекое, детское, какого-то пестрого человека на золотом дереве. (Быть может, это был только портрет обезьяны, сидящей на длинном шесте.) Хотя Майкл Мун был юморист по натуре, в душе у него тоже зазвучали нежные струны; ему вспомнилось, как в прежние годы он играл с Розамундой «в театр», и он удивился, заметив, что бессознательно повторяет слова Шекспира:

Любовь есть Геркулес, который и поныне
Взбирается на дерево в саду
Прекрасных Гесперид...

Даже неподвижного представителя науки посетило буйное, светлое чувство: ему померещилось, что Машине Времени дали полный ход, и она с бешеным грохотом понеслась вперед, как безумная, вскачь.

Доктор Уорнер не ожидал того, что случилось. Человек в зеленом, сидя на тонкой ветке, как ведьма на ненадежном помеле, протянул руку вверх и вынул черный цилиндр из того гнездовья, в котором эта шляпа очутилась. Шляпа порвалась о толстый сук еще в самом начале своего путешествия. Ветки исцарапали, исполосовали ее во всех направлениях, а ветер и листья сплюснули ее, как концертину. Услужливый востроносый джентльмен тоже не проявил особой нежности к фасону и форме шляпы. Его эксперименты над шляпой показали кое-кому необычными. С громким победным криком замахал он цилиндром в воздухе, затем кинулся с дерева вниз головой, однако не упал, а вцепился в листву длинными могучими ногами и повис, как обезьяна на хвосте. Свесившись таким образом над непокрытой головой Уорнера, он торжественно нахлобучил ему ломаный цилиндр по самые брови.

— Каждый человек — король! — пояснил этот философ наизнанку. — Поэтому каждая шляпа — корона. Но эта корона — с неба...

И он снова приступил к торжественному коронованию Уорнера; тот с величайшей поспешностью уклонился от осеняющей его диадемы. Как это ни странно, Уорнер, по-видимому, не

желал украсить чело своим старым головным убором в его новом, небывалом виде.

— Неправильно вы поступаете! — орал с шумной веселостью услужливый господин. — Носите форму всегда, — даже драгую, даже истасканную! Ритуалист имеет право быть грязным. Пусть ваша манишка испачкана сажей, но на бал вы должны прийти непременно в манишке! Охотник носит потертый камзол, но этот старый камзол все-таки пунцового цвета. Носите котелок, даже дырявый насквозь, потому что главное, главное — символ! Возьмите вашу шляпу, вы, старый петух, — все же она ваша! Правда, ворс у нее немного попорчен и поля немного искривились. Но, клянусь всеми благами мира, это самая благородная шляпа на свете!..

Произнеся эти слова, он с дикой непринужденностью надвинул, или, вернее, нахлобучил растерявшемуся доктору бесформенный цилиндр прямо на глаза, прыгнул на землю и, сияющий, бездыханный, встал среди остальных джентльменов, не переставая болтать.

— Почему так мало придумано игр для забавы во время ветра? — спрашивал он, видимо волнуясь. — Бумажные змеи отличная вещь, но почему только бумажные змеи? Вот я придумал, пока взбирался на дерево, три новых игры — на случай ветреного дня. Например, такая: вы берете пригоршню перцу...

— Мне кажется, — прервал его Мун с насмешливой кротостью, — что и эти ваши игры достаточно интересны; но позвольте спросить, кто вы такой: странствующий акробат или ходячая реклама, Солнечный Джим? Как и почему проявляете вы столько энергии, перелезая через стены и взбираясь на деревья в нашем меланхолическом, но не сошедшем с ума захолустье?

Незнакомец постарался, насколько это было по силам его громогласной натуре, принять конфиденциальный тон.

— Видите ли, это трюк моего изобретения, — откровенно признался он. — Для этого нужно иметь две ноги.

Артур Инглвуд, стушевавшийся на задний план во время этой сумасшедшей сцены, встрепенулся и впился в пришельца своими близоручными глазами. Его румянец стал еще румянее.

— Да ведь вы — Смит! — вскричал он обычным свежим мальчишеским голосом и через минуту прибавил: — А может быть, и не Смит...

— Кажется, у меня где-то есть визитная карточка, — произнес незнакомец с напускною торжественностью, — карточка, где обозначено мое подлинное имя, мои титулы и чины, а также указана цель, ради которой я живу на этой планете.

Медленно вынул он из верхнего жилетного кармана ярко-красную коробку для карточек и так же медленно извлек оттуда визитную карточку огромных размеров. Пока он вынимал ее, присутствующие успели заметить, что карточка эта имела необычную форму — не такую, как визитные карточки других



джентльменов. Но один только миг была она видна окружающим; когда она переходила из рук незнакомца к Артуру, один из них не успел ее удержать. Неугомонный ветер, бушевавший в саду, налетел на нее и унес прочь в бесконечную даль, к другим ошалелым бумажкам вселенной; тот же великий западный ветер потряс до основания весь дом и пронесся дальше — на восток.

Глава II

ПОЖИТКИ ОПТИМИСТА

Кто из нас не помнит научных сказок, слышанных нами в детстве, — сказок о том, что случилось бы, если бы крупные животные прыгали так же высоко, как животные малые? Если бы слон был силен, как кузнечик, он мог бы (мне кажется) без труда выпрыгнуть из Зоологического сада и усесться с победным ревом на Примроз-хилл. Если бы киты могли выскакивать из воды, как форели, мы, может статься, увидели бы кита над Ярмутом, наподобие летающего острова Лапута.

Эта природная энергия, несомненно величественная, обладала бы, однако, неудобствами. Такие неудобства и возникли в связи с веселым нравом и добрыми намерениями человека в зеленом костюме. Слишком был он велик по сравнению с окружающим миром; и насколько был он велик, настолько же и подвижен. Благодаря мудрому устройству природы, большинство крупнейших животных обладают спокойным нравом; а лондонские пансионы среднего калибра не строятся в расчете на постояльца — огромного, как бык, и непоседливого, как котенок.

Когда Инглвуд вошел обратно в комнаты вслед за незнакомым мужчиной, он увидел, что тот беседует очень серьезно (и, по его мнению, секретно) с беспомощной миссис Дьюк. Подобно умирающей рыбе, эта полная, томная дама смотрела, выпучив глаза, на громадного вновь прибывшего господина, который вежливо просился в жильцы пансиона, сопровождая свои слова широчайшими жестами, держа в одной руке желтый чемодан, а в другой — белую широкополую шляпу.

К счастью, деловитая племянница миссис Дьюк находилась здесь же и могла вступить с ним в переговоры. В комнате собрались к тому времени все обитатели дома. Факт этот, кстати, был чрезвычайно характерен. Гость создал вокруг себя атмосферу веселого кризиса. С минуты его появления вплоть до его исчезновения вся компания окружала его тесным кольцом, глаза на него и ходила за ним по пятам, как уличные дети за Панчем. Час тому назад, как и во все предыдущие четыре года, эти люди чуждались друг друга, хотя и питали друг к другу

симпатию. Они лишь тогда выходили из своих мрачных комнат, если искали какой-нибудь номер газеты или свое рукоделье. Впрочем, и теперь собрались они как бы случайно, каждый по своему делу, но собрались все до одного человека. Тут был и растерявшийся Инглвуд, все еще похожий на некую красную тень, сюда пришел и нерастерявшийся Уорнер — бледный, но плотный. Сюда пришел и Майкл Мун, — его пестрый, вульгарный костюм был в кричащем и загадочном противоречии с его мрачным и умным лицом. От него не отставал его еще более забавный товарищ — Моисей Гулд. Это был превеселый щенок на коротеньких ножках, в ярко-красном шикарном галстуке. В нем сказывалась его собачья натура; как бы он ни вилял хвостом, как бы ни прыгал, черные глазки по обеим сторонам его длинного носа сверкали мрачно, как две черные пуговицы. Там же находилась мисс Розамунда Хант, в той же белой изящной шляпе, обрамлявшей ее широкое и доброе лицо, как всегда, нарядная, точно она собиралась в гости. Если у мистера Муна был компаньон, то у мисс Хант была компаньонка, стройная молодая женщина, облаченная в темно-серое платье, лицо новое в нашем рассказе, но в действительности близкий друг и протеже Розамунды. В ней не было ничего замечательного — ничего, кроме роскошных, тяжелых темно-рыжих волос, придававших ее бледному лицу остроконечную треугольную форму. Чертами лица она напоминала красавиц времен королевы Елизаветы с опущенными долу головными уборами и широкими роскошными фижмами. Фамилия ее была, кажется, Грэй, а мисс Хант звала ее попросту Мэри; Розамунда обращалась с ней, как со старой служанкой, которая стала понемногу подругой. Серебряный крестик висел у нее на груди — на будничной серой блузе; из всех жильцов она одна ходила по праздникам в церковь.

Последней по порядку (но отнюдь не по значению) была Диана Дьюк. Пристально изучала она новоявленного гостя стальными глазами и внимательно прислушивалась к каждому его слову. Что же касается миссис Дьюк, она просто улыбалась, не думая слушать. В сущности, она в своей жизни никогда и никого не слушала, чем, по мнению некоторых, и объясняется то, что она до сих пор не погибла.

Все же миссис Дьюк была приятно польщена вниманием к ней нового гостя; еще ни один человек не разговаривал с нею серьезно, и она серьезно еще никого не выслушивала. Лицо ее просияло, когда незнакомец, широко и плавно махая чемоданом и огромнейшей шляпой, начал извиняться перед нею, что он вошел в ее сад необычным путем: не калиткой, а через забор. Он объяснял это несчастной семейной традицией — привычкой к чистоте и аккуратности.

— Говоря по совести, матушка моя, — объяснял он, понизив голос, — была даже слишком строга по этой части. Она очень сердилась, когда я терял в школе фуражку. Если человека приучить к чистоте и аккуратности, эта привычка прилипает к нему на всю жизнь...

Еле слышным голосом миссис Дьюк пролепетала в ответ, что у него, она уверена, была прекрасная мать; но племянница ее, видимо, не удовлетворилась его объяснениями.

— Странное у вас понятие о чистоте,— сказала она, — прыгать через забор, лазать по деревьям, какая же это чистота! Трудно взобраться на дерево чисто.

— Ну, стену-то он, однако, перелезает чистехонько! — заметил Майкл Мун. — Я видел своими глазами.

Смит воззрился на девушку с неподдельным удивлением.

— Милая леди,— сказал он, — я именно чистил дерево. Ни для прошлогодних листьев, ни для прошлогодних шляп на дереве не должно быть места. Прошлогодние листья будут очищены ветром, но с прошлогодней шляпой никакому ветру не справиться. Сегодняшний ветер, я думаю, мог бы очистить целые леса от листьев. Странная идея, будто чистота — тихое, спокойное понятие. Нет, чистота — это работа гигантов. Вы не можете чистить, не пачкаясь. Посмотрите, например, на мои брюки. Неужели вы не знаете этого? Неужели каждую весну вы не делаете генеральной уборки?

— О да, сэр,— быстро подхватила миссис Дьюк, — в этом смысле вы найдете у нас все в полном порядке!

Наконец-то услышала она такие слова, которые были ей понятны вполне.

Мисс Диана Дьюк, казалось, изучала незнакомца с каким-то торопливым расчетом, после чего в ее черных глазах засверкала решимость, и девушка объявила ему, что он может, если угодно, занять отдельную комнату в верхнем этаже. А молчаливый и деликатный Инглвуд был как на иголках во время всех этих переговоров и немедленно вызвался показать знакомцу его комнату. Смит взобрался по лестнице, шагая через четыре ступени, и, когда на самом верху он ударился головой о потолок, Инглвуду стало почему-то казаться, будто высокий дом гораздо ниже, чем был до сих пор.

Инглвуд шел вслед за своим старым или, может быть, новым другом, — он в точности не знал, за кем идет. Гость временами удивительно напоминал ему старого школьного товарища, а временами, казалось, не имел с ним никакого сходства. И когда Инглвуд несмотря на природный такт все же решился наконец задать вопрос: «Ваша фамилия Смит?», то получил на это довольно неопределенный ответ:

— Bravo, bravo! Очень хорошо! Прекрасно!

Инглвуд после некоторого раздумья решил про себя, что ответ этот более уместен в устах новорожденного младенца, только что получившего имя, чем в устах взрослого, отвечающего на вопрос, как его зовут.

Так и не удалось злополучному Инглвуду узнать, был ли незнакомец его школьным товарищем. И все же он пошел за знакомцем в его комнату. Тот стал выбрасывать свои вещи из

чемодана, а Инглвуд остановился в нерешительности на пороге, не зная, нужна ли Смиуту его помощь или нет. Еще раньше, когда Смит взбирался на дерево, Инглвуда поразила свойственная Смиуту буйная аккуратность. Теперь эта буйная аккуратность снова бросилась Инглвуду в глаза. Выбрасывая вещи из чемодана, словно то были негодные тряпки, он, однако, старался расположить их на полу правильной фигурой вокруг себя.

При этом он продолжал без умолку выкрикивать отрывистые, бессвязные фразы, словно у него не хватало дыхания. Правда, он только что взбежал на высокую лестницу, отмеривая по четыре ступеньки за раз, но и без этого его речь всегда была пестрой цепью значительных и незначительных, но чаще всего разрозненных образов.

— Слово день Страшного суда! — говорил он, бросая какую-то бутылку так, что она покачалась и встала как следует. — Говорят, вселенная обширна... беспредельность и астрономия... едва ли... Я же думаю, предметы слишком близки... тесно упакованы... для путешествия... например, звезды в большой тесноте... Солнце — звезда слишком близкая, и потому нельзя ее разглядеть... а звезда земля так близка, что ее и совсем не видно... слишком много камушков на взморье... следует все разложить кружками, кружками... слишком много былинки травы, и потому их нельзя изучить... перья птицы вызывают головокружение... подождите, пока будет выгружен большой чемодан... тогда все окажется в настоящем порядке.

Он замолк, чтобы перевести дух, и бросил рубашку из одного конца комнаты в другой, а вслед за ней бутылку чернил, так что она упала как раз рядом с рубашкой. Странный полусимметричный беспорядок в комнате поразила Инглвуда; он озирался кругом с возрастающим недоумением.

И действительно, немного можно было почерпнуть из образа дорожного багажа Смита. Одна особенность, впрочем, бросалась в глаза; все вещи здесь служили не тем надобностям, для которых были предназначены; все, что для других имело второстепенное значение, было для Смита на первом плане, и наоборот. Крышка или сковорода могли быть завернуты в коричневую бумагу, и случайным наблюдателем с удивлением заметил бы, что эта крышка Смиуту несколько не нужна, а коричневая бумага представляет для него великую ценность. Он извлек из чемодана два или три ящика сигар и с откровенным простодушием пояснил, что сам он некурящий, но сигарные коробки — незаменимый материал для выпиливания. Потом он достал из чемодана шесть маленьких бутылок вина, белого и красного. Инглвуд разглядел между ними одну бутылку чудесного «Волнэ» и заключил, что незнакомец — эпикур по виноградной части. Каково же было его удивление, когда следующая бутылка оказалась дешевеньким, скверным колониальным кларетом, какого не пьют даже обитатели колоний (что, кстати, делает им честь). И только тогда

заметил он, что все бутылки запечатаны разноцветными металлическими печатями и, казалось, подобраны исключительно так, чтобы дать три главных и три дополнительных краски: красную, синюю, желтую; зеленую, фиолетовую, оранжевую. Инглвуд с каким-то жутким чувством начал понимать, что перед ним воистину ребенок. Смит действительно был младенцем — насколько это возможно в пределах человеческой психики, и все чувства его были детские: он с жадностью выпиливал по дереву, словно разрезывал сладкий пирог. Вино в глазах этого человека не являлось сомнительной влагой, которую можно либо порицать, либо хвалить. Для него это был ярко окрашенный сироп, и он любовался им так же, как любят им дети, стоя перед витриной магазина. Он разговаривал властным тоном и протискивался всюду на первое место, но это не было самоутверждением современного сверхчеловека. Просто он забывался, как забываются маленькие дети в гостях. Казалось, он совершил гигантский прыжок из детства в зрелость, пропустив тот период молодости, когда большая часть людей становится взрослыми.

Он повернул свой громадный чемодан. Артур заметил на одной стороне инициалы И. С. и вспомнил, что его товарища Смита звали Инносент. К сожалению, Артур забыл, было ли это настоящее, христианское имя или только прозвище, характеризующее душевные качества. Он собрался было задать Смиту новый вопрос, как раздался внезапно стук в дверь и на пороге показалась плюгавая фигурка мистера Гулда. А за спиной у Гулда стоял угрюмый Мун, точно его длинная, искривленная тень. Любопытство и стадное чувство заставили их войти в эту комнату.

— Надеюсь, я не помешал, — с добродушной улыбкой, но без намека на извинение сказал Моисей.

— Дело в том, — сравнительно любезно заметил Майкл Мун, — что мы хотели взглянуть, удобно ли они вас устроили. Мисс Дьюк иногда...

— Я знаю! — вскричал незнакомец и взглянул на них блестящими глазами. — Она бывает величественна; подойдите к ней, и вы услышите военную музыку... точно Жанна д'Арк.

Инглвуд онемел и уставился на говорившего с видом человека, только что услышавшего дикую сказку, которая все же содержит в себе некую забытую истину. Он вспомнил, что и сам подумал про Жанну д'Арк много лет тому назад, когда, чуть не со школьной скамьи, впервые появился в этом доме. Но давно уже всераспыляющий рационализм его друга, доктора Уорнера, сокрушил в нем следы таких юношеских непропорциональных мечтаний. Под влиянием Уорнера скептицизма и учения «о сильном человеке» Инглвуд с давних пор привык считать себя робким, неприспособленным, слабым и думал, что ему не суждено жениться; Диана Дьюк в его глазах стала просто необходимой прислужницей, а о прежнем увлечении он вспоминал,

как о маленькой шалости школьника, поцеловавшего дочку квартирной хозяйки. Однако фраза о военной музыке странным образом задела его, точно он услышал вдалеке барабан.

— Она поневоле должна быть сурова, это вполне естественно, — сказал Мун, оглядывая крошечную комнату с клинообразным скошенным потолком, похожую на остроконечный колпак карлика.

— Пожалуй, конура для вас слишком мала, сэр, — заметил игривый мистер Гулд.

— Прекрасная комната! — последовал восторженный ответ, и Смит нырнул головой в чемодан. — Я люблю остроконечные комнаты, точно готические... Кстати, — вскричал он, восторженно вскрикнув, — куда ведет эта дверь?

— К верной смерти, я полагаю, — ответил Майкл Мун и взглянул на пыльную, заржавленную дверь в покатою крыше. — Не думаю, чтобы там был чердак, и не могу придумать, куда она может вести.

Не дожидаясь конца этой сентенции, человек на крепких зеленых ногах подскочил к потолочной двери, примостился кое-как на выступе стены, с большим усилием распахнул дверь настежь и пролез в нее. Две символические ноги, словно обломки статуи, мелькнули на миг в воздухе; потом и они исчезли. В отверстии крыши показалось ясное, лучезарное вечернее небо и одно большое разноцветное облако, плывущее в воздухе, как целое графство, перевернутое вверх ногами.

— Эй, вы! — донесся издалека голос Смита, по-видимому, с отдаленной башни. — Ступайте сюда! И захватите чего-нибудь там у меня, чтобы выпить и закусить наверху. Здесь можно устроить чудесный пикник!

Майкл живо схватил дюжими руками две маленьких бутылки вина, по одной в каждый кулак. Артур Инглвуд, как за гипнотизированный, нащупал коробку с бисквитами и большую банку имбирного кваса. Огромная рука Инносента Смита протянулась в отверстие, рука гиганта из детской сказки приняла эти подношения и унесла их к себе в орлиное гнездо; затем Инглвуд и Майкл вылезли в чердачное окно. Оба они были атлеты и даже гимнасты, — Инглвуд из любви к гигиене, а Мун из любви к спорту. И когда разверзлась дверь на крышу, у обоих мелькнуло светлое, еле уловимое чувство, точно дверь вела на небо и теперь они могут взобраться на крышу вселенной. Оба бессознательно прожили долгое время в тисках обыденного, хотя один из них и относился к обыденному слишком серьезно, а другой слишком весело. Но оба были из тех людей, в которых никогда не умирают сантименты. Мистер Моисей Гулд, однако, отнесся с одинаковым презрением и к смертоносной атлетике, и к подсознательному трансцендентализму своих друзей. Он стоял внизу и бесцеремонно посмеивался, с бесстыдным рационализмом другой расы.

Когда удивительный Смит, сидя верхом на дымовой трубе, увидел, что Гулд остался внизу, он добродушно, с детской услужливостью кинулся обратно в мансарду утешить одинокого или уговорить его подняться на крышу. Инглвуд и Мун остались тем временем одни на длинном серо-зеленом коньке сланцевой крыши, их ноги опирались о желоб; прислонившись к трубе, они взглянули с изумлением друг на друга. Первым ощущением их было, что они отошли в вечность и что вечность — чепуха, неразбериха. Кому-то из них пришло в голову, что они находятся в сиянии светлого и лучезарного неведения, которое было началом всех верований. Пространство над ними было полно мифологией; небо так глубоко, что могло вместить всех богов. Эфирный круг постепенно переходил из зеленого в желтый, как большой, незрелый плод. Все вокруг заходящего солнца золотилось, как лимон, восток еще зеленел, как юная слива, все окружающее еще хранило пустоту дневного света и чуждалось тайны сумерек. Там и сям на бледно-зеленом и золотом фоне виднелись отдельные полосы и рассеченные глыбы черно-пурпурных туч; казалось, что они падают на землю в какой-то колоссальной перспективе. Одна туча неслась, точно ее отрунуло небо: многокоронная, многобордая, многокрылая ассирийская фигура головою вниз — лже-Иегова и, кажется, сам сатана. Остальные тучи были кривые, зубчатые — словно чертоги сверженного ангела, сброшенные вслед за ним.

И вот, когда опустелое небо было полно безмолвной катастрофой, вышки тех человеческих домов, над которыми сидели Инглвуд и Мун, стали улавливать слабые обыденные звуки земли, которые были антитезой неба. Они услышали крик газетчика, раздававшийся улиц за шесть, и колокольный звон, зовущий в храм. Они уловили также разговор в саду и поняли, что неугомонный Смит последовал вниз за Гулдом; оттуда доносился его звонкий, кого-то убеждающий голос. Потом донеслись слегка насмешливые ответы мисс Дьюк и открытый, очень молодой смех Розамунды Хант. Воздух, как бывает только после бури, был свеж, но мягок. Майкл Мун пил его такими же жадными глотками, как перед этим — бутылку дешевого кларета, которую опорожнил чуть не залпом. Инглвуд продолжал поглощать имбирный квас медленно и торжественно, в гармонии с высью небес. В свежем воздухе все еще было большое движение. Им казалось, будто к ним доносится из сада запах земли и последних осенних роз. Внезапно долетели до них из темневшего сада серебряные переливчатые звуки: Розамунда принесла туда давно забытую мандолину. После первых двух-трех аккордов снова послышались далекие колокольчики смеха.

— Инглвуд! — произнес Майкл Мун. — Слыхали вы когда-нибудь, что я мошенник?

— Не слыхал и не верю! — ответил после странной паузы Инглвуд. — Но я слышал, что у вас... как бы сказать? — голова не совсем в порядке... Вы человек дикий...





— Если вы слышали, что я дикий, можете опровергнуть эти слухи,— с необычайным спокойствием сказал Майкл Мун. — Я ручной. Я самое ручное пресмыкающееся. Ежедневно в один и тот же час я напиваюсь виски — одного и того же сорта. И даже напиваюсь всегда до одной и той же черты. Я хожу в одни и те же кабаки. В кабаках я встречаю одних и тех же погибших накрашенных женщин. Я выслушиваю одно и то же количество одних и тех же неприличных анекдотов, — неприличные анекдоты всегда одни и те же. Вы можете успокоить моих знакомых, Инглвуд, вы видите перед собой человека, окончательно прирученного цивилизацией.

Артур Инглвуд уставился на него с таким чувством, что чуть не упал с крыши: на хмуром лице у ирландца появилось что-то сатанинское.

— Суди ее Бог! — вскричал Мун, внезапно схватив пустую бутылку. — Это самая дрянная бутылка вина, которую мне когда-либо приходилось откупоривать! И все же за девять лет это первое вино, которое я пил с наслаждением. Я не был дикарем до сих пор, я сделался дикарем в эти десять минут! — И он, размахнувшись, бросил бутылку. Она закружилась, пролетела над садом и упала далеко на дорогу. В глубоком вечернем безмолвии слышно было, как она звякнула на улице о камни мостовой.

— Мун,— сказал Артур Инглвуд, — вы не должны так отчаиваться. Каждый должен принимать жизнь такой, какова она есть. Правда, некоторые находят ее мрачной...

— Но не этот молодец,— прервал Майкл Мун. — Я разумею Смита. Я уверен, что в его безумии есть система. Так и кажется, что он может вступить в сказочную страну, стоит ему только сделать шаг в сторону от гладкой дороги. Кто бы подумал об этом ходе на крышу? Кому бы пришло в голову, что дрянной, дешевый кларет может казаться очень вкусным здесь, на этой крыше, среди труб? Может быть, это и есть подлинный ключ к волшебному царству. Может быть, поганые, дешевые папироски Гулда надо курить только на ходулях или как-нибудь в этом роде. Может быть, холодная баранья нога, которою потчует нас миссис Дьюк, покажется очень аппетитной тому, кто сидит на вершине дерева. Может, даже мое грязное, монотонное пьянство...

— Не судите себя слишком строго, — с неподдельной скорбью промолвил Инглвуд. — Жизнь тосклива не по вашей вине, и виски тут ни при чем. И те, кто не пьет, вот как я, например, не меньше вас чувствуют, что все на свете — крах и неудача. Так уж устроен мир; выживают сильнейшие... Например, доктор Уорнер... А некоторым, вроде меня, суждено закаменеть на одном месте. Вы не в силах бороться со своим темпераментом; я знаю, вы значительно умнее меня, однако вы не в силах сойти с обычной пошлой дороги мелкой литературной сошки, так же, как и я не в силах побороть в себе сомнений и беспомощности

маленькой ученой козявки. Так же, как рыба не может не плавать и папоротник не может не расти! Человечество, как метко выразился Уорнер в одной своей лекции, в действительности состоит из совершенно различных видов животных, укрывшихся под человеческой личиной.

Доносившееся снизу жужжанье разговора внезапно оборвалось звуком мандолины мисс Хант. Бойко начала она наигрывать какой-то вульгарный, но задорный мотив.

Голос Розамунды, глубокий и сильный, пропел слова глупой модной песни:

Негры поют песню на старой плантации,
Поют ее, как певали и мы в давно миновавшие дни.

Романтическая песня катилась к ним руладами, а Инглвуд все более и более углублялся в свою проповедь смирения и покорности. Все мягче и грустнее становились его глаза; но синие глаза Майкла Муна загорелись, сверкнули ярким пламенем, непонятным Инглвуду. Многие века, многие города и долины были бы счастливы, если бы Инглвуд и его земляки могли понять тот блеск или хоть раз догадаться, что блеск тот — боевая звезда Ирландии.

— И ничто не может изменить закон. Он вложен в колеса вселенной,— тихим голосом продолжал Инглвуд. — Одни слабы, другие сильны; все, что мы можем сделать — это признать нашу слабость. Я влюблялся много раз, но из этого ничего не вышло. Я всегда помнил свое непостоянство. У меня созрели убеждения, но я не имел духу провозглашать их, так как я слишком часто менял их. В том вся соль, мой милый. Мы не верим себе, вот и все, с этим ничего не поделаешь.

Майкл вскочил на ноги и замер в опасной позе, словно черная статуя на цоколе, стараясь сохранить равновесие у самого края крыши. Громадные тучи позади него — нестерпимо красного цвета — медленно и беспорядочно блуждали в молчаливой анархии неба. От головокружительного вращения туч позади Майкла казалась еще более опасной.

— Давайте... — сказал он и вдруг замолчал.

— Давайте... что? — спросил Инглвуд, поднявшись так же быстро, но все же осторожнее; его приятель, казалось, затруднялся выразить свою мысль.

— Идем и сделаем что-нибудь такое, чего мы не можем сделать, — сказал Мун.

В тот же миг в отверстиях показались встрепанные, как у какаду, волосы и свежее лицо Инносента Смита. Он приглашал их сойти вниз, так как концерт в полном разгаре и мистер Моисей Гулд согласился прочесть «Лохинвара».

Спустившись вниз, в мансарду Инносента, они чуть не споткнулись о весьма забавные преграды, расставленные в ней.

Усеянный вещами пол комнаты вызвал в мозгу Инглвуда представление о детской. Тем более был он удивлен и даже испуган, когда взгляд его упал на длинный, гладко полированный американский револьвер.

— Ого! — вскричал он, отскочив от стального ствола, как от змеи. — Неужели вы боитесь налетчиков? Когда и кому и за какие грехи готовите вы смерть из этого оружия?

— Ах, это! — сказал Смит, взглянув на револьвер. — Я готовлю не смерть, но жизнь!

И он вприпрыжку побежал по лестнице вниз.

Глава III ЗНАМЯ «МАЯКА»

Сумасбродное настроение царило на следующий день в доме «Маяк», точно каждый праздновал день своего рождения. О законах принято говорить, как о чем-то холодном и стеснительном. На самом же деле только в диком порыве, обезумев и опьянев от свободы, люди могут создавать законы. Когда люди утомлены, они впадают в анархию; когда они сильны и жизнерадостны, они неизменно создают ограничения и правила. Эта истина верна для всех церквей и республик, какие только существовали в истории; верна она также и для всякой тривиальной, салонной забавы и для самой незатейливой сельской игры в горелки. Мы невольники до тех пор, пока закон не дает нам воли. Свободы нет, пока она не провозглашена властью. И даже власть арлекина Смита была все-таки властью, потому что он создал повсюду множество сумбурных постановлений и правил. Он заразил всех своей полубезумной активностью, но не в разрушении старого проявлялась она, а скорее в созидании нового, в головокружительном и неустойчивом творчестве. Из песенок Розамунды выросла целая опера. Из острот и анекдотов Муна вырос толстый журнал. Тщетно боролся застенчивый и ошеломленный Артур Инглвуд со своим все растущим значением. Он ясно сознавал, что, помимо его воли, его фотографические снимки превращаются в картинную галерею, а велосипед в джимкану. Ни у кого не было времени оспаривать все эти неожиданные положения и занятия, ибо они следовали одно за другим так стремительно, как доводы захлебывающегося оратора.

Совместная жизнь с этим человеком представляла из себя скачку с препятствиями, но препятствия были приятны. Из простого предмета домашнего обихода мог он, точно кудесник, развернуть клубки волшебных приключений. Трудно представить себе более скромное и безличное увлечение, чем пристрастие бедного Артура к фотографии. Нелепый Смит взялся помогать ему, и на свет божий явилась «Фотография Души», как результат

нескольких утренних совместных сеансов. В скором времени раскинула она свою сеть по всему пансиону. Собственно говоря, «Фотография Души» была только вариацией известной фотографической шутки — двойного изображения одного и того же лица на одном снимке; человека, играющего с самим собой в шахматы, обедающего с самим собою, и так далее. Но карточки Смита были мистичнее, глубже. Таким, например, был снимок: «Мисс Хант забывает себя самое», на котором эта леди глядит на себя, точно на незнакомую женщину, которую она никогда до сих пор не встречала. Снимок «Мистер Мун задает себе вопросы» изображал мистера Муна, который доведен до белого каления строгим перекрестным допросом, производившимся им самим; причем тот мистер Мун, который допрашивал мистера Муна, с чисто зверской насмешливостью указывал длинным указательным пальцем на самого себя. Исключительным успехом пользовалась трилогия: «Инглвуд, узнающий Инглвуда»; «Инглвуд, падающий ниц перед Инглвудом» и «Инглвуд, жестоко избивающий Инглвуда зонтиком». Смит решил увеличить эти три снимка и поместить их наподобие фрески в вестибюле со следующей надписью:

Самоуважение, Самопознание, Самокритика —
Этой троицы достаточно, чтобы сделать человека
спесивцем.

Что могло быть более прозаичным и серым, чем хозяйственная энергия мисс Дьюк? Но Инносент вдруг сделал блестящее открытие, благодаря которому Диана могла соединить экономию в костюмах с желанием быть нарядно одетой, единственным проявлением женственности, оставшимся у нее. Основываясь на этом, он заразил ее теорией (в которую, кажется, верил и сам), что женщины легко могут соединить экономию в одежде с великолепием, если будут рисовать цветными карандашами легкие узоры на самых незатейливых платьях, а затем снова стирать их. С помощью двух ширм, картонной вывески, коробки мягких разноцветных мелков он учредил «Компанию Смита для молниеносного производства одежды», а мисс Диана предоставила ему даже какую-то поношенную накидку или старую рабочую блузу для усовершенствования в портняжном искусстве. В один миг он соорудил ей костюм, украшенный красными и золотыми подсолнухами. В этом костюме она сделалась похожа на королеву. Несколько часов спустя Артур Инглвуд, чистивший свой велосипед (с обычным видом придавленного велосипедом человека), поднял голову, и раскрасневшееся лицо его раскраснелось еще более, потому что Диана стояла у входных дверей и смеялась, а черное платье ее было богато разрисовано пурпурно-зелеными павлинами, разгуливавшими в таинственном саду из «Тысячи и одной ночи». Неясная тоска, мучительная, сладкая, словно

старинная рапира, пронзила его сердце. Артур вспомнил, какой красавицей казалась ему Диана в те годы, когда он влюблялся во всех женщин без разбора. Но это было воспоминание далекое, как поклонение какой-нибудь вавилонской принцессе, в прошлом существовании. Когда он взглянул на нее снова (точно ожидая того, что случится), красные и зеленые узоры исчезли, и она торопливо прошла мимо него в будничном рабочем костюме.

Миссис Дьюк, как и следовало ожидать, не могла активно противостоять этому вторжению, перевернувшему весь дом ее вверх дном. Опытный наблюдатель заметил бы, однако, что переворот даже нравился ей. Она была одной из тех женщин, которые видят во всех без исключения мужчинах безумных и диких животных. Она, по всей вероятности, находила пикники на крыше и малиновые подсолнухи Смита не более странными и необъяснимыми, чем химические опыты Инглвуда и насмешливые речи Муна. Но, с другой стороны, вежливость — качество общепонятное, а обращение с ней Смита было столь же вежливо, сколь и своеобразно. Она называла Смита «истинным джентльменом», подразумевая под этим просто доброго человека, хотя, в сущности, это понятия разные. Она сидела за столом на председательском месте, сложив жирные руки, с жирной улыбкой, и целыми часами молчала в то время, как все остальные говорили на самые разнообразные темы. Впрочем, молчала и компаньонка Розамунды, Мэри Грэй. Ее молчание было активно и страстно. Хотя она иногда не произносила ни слова, вид у нее был постоянно такой, будто она собирается что-то сказать. В этом, возможно, и заключается назначение всякой компаньонки. Инносент кинулся, видимо, в новую авантюру, так же, как кидался в прежние. Он задался целью вовлечь ее в разговор. Это ему не удавалось, но он не отказался от задачи; он сумел привлечь общее внимание к этой спокойной фигуре и превратить ее застенчивость в загадочность. Если она была загадкой, то все должны были признать, что это наивная, молодая загадка, как тайна весеннего неба и весеннего леса. Утренней пылкостью, свежими порывами юности отличалась она от двух других девушек, живущих в пансионе, хотя и была немного старше их. Все пристальнее и пристальнее приглядывался к ней Смит. Ее глаза и губы были размещены неправильно, и все же казалось, что это так и должно быть. Она обладала редким даром выражать все лицом. Ее молчание было как бы шумными и неустанными аплодисментами.

Но среди всех веселых затей этого праздника (который длился, казалось, не один день, а по крайней мере неделю) особенно выделилась одна затея — не тем, что она была глупее или удачливее прочих, а тем, что последствием ее были все те необычайные события, которые будут описаны ниже. Все остальные затеи вспыхивали и мгновенно забывались. Все остальные замыслы не проводились в жизнь и замирали, как песни. Но

цепь важных, поразительных явлений, выдвинувших на первый план кабриолет, сыщика, револьвер и брачное свидетельство, стала возможной только благодаря игре в Верховное Судилище «Маяк».

Изобрел эту игру не Инносент Смит, а Майкл Мун. Мун все время находился в повышенном, восторженном состоянии духа. Он говорил без умолку; никогда с его уст не срывалось столько бесчеловечных сарказмов. Недаром он был некогда юристом. Все свои бесполезные знания в области юриспруденции он пустил теперь в ход и заявил, между прочим, что хорошо было бы создать Верховное Судилище «Маяк», которое явилось бы пародией на бессмысленную пышность английского судопроизводства. Верховное Судилище «Маяк», уверял он, могло бы служить прекрасным образчиком нашей мудрой и свободной конституции. Оно было основано будто бы еще при короле Иоанне — вопреки Великой Хартии Вольностей — и теперь в его бесконтрольном ведении находились ветряные мельницы, патенты на продажу пива, дамы, путешествующие по турецкой земле, пересмотры приговоров над похитителями болонок и отцеубийцами, а также — все приключения, которые могут произойти в городе Маркет-Босуерс. По словам Майкла Муна, все сто девять сенешалей Верховного Судилища «Маяк» заседали в полном составе только раз в четыре столетия; в промежутках же вся полнота власти передавалась в руки миссис Дьюк. Верховное Судилище, однако, под влиянием остальных членов общества не удержалось на своей исторической и юридической высоте, так как стало привлекаться для рассмотрения домашних дряг. Кто-нибудь пролил на скатерть соус, — Мун неукоснительно требовал, чтобы Судилище сотворило суд и расправу; без этого оно свелось бы на нет. Кто-нибудь требовал, чтобы окошко в зале оставалось закрытым. Мун настойчиво указывал, что только третий сын владельца усадьбы Пэндж имеет право открывать его. Члены Судилища дошли до того, что производили аресты и вели судебные следствия. Предполагавшийся процесс по обвинению Моисея Гудда в патриотизме висел уже у них над головами, — в частности, над головой обвиняемого; но процесс Инглвуда по обвинению в фотографическом пасквиле опередил и заслонил это громкое дело. Инглвуд был признан слабоумным и торжественно оправдан, — что в полной мере соответствовало лучшим традициям Судилища.

Когда Смитом овладевало безумие, он делался все серьезнее, — не то что Мун, который в таких случаях становился все болтливее. Идея домашнего суда, брошенная Муном с легкомыслием политиканствующего юмориста, была подхвачена Смитом с жадностью отвлеченного мыслителя.

— Самое лучшее, что мы можем придумать, — объявил он, — это потребовать суверенных прав для каждого индивидуального хозяйства.

— Вы верите в самоуправление Ирландии, я верю в самоуправление семьи! — задорно кричал он Муну. — Было бы лучше, если бы каждый отец имел право убивать своего сына, как в Древнем Риме; это было бы несравненно лучше, — ведь тогда не было бы никаких убийств! Дом «Маяка» должен издать Декларацию Независимости. Мы можем вырастить в этом саду достаточно овощей, чтобы прокормиться. Сборщику подайте, когда он заглянет к нам, мы заявим, что мы на самоснабжении, оставим его с носом и окатим его из пожарной кишки. Вы, пожалуй, возразите, что кишкой нельзя будет действовать, так как нас лишат водопровода; но мы можем вырыть колодезь и великолепно управиться с ведрами... Пусть этот дом станет и на самом деле маяком! Зажжем у нас на крыше костер независимости, и вы увидите, как примкнут к нам дом за домом по всей долине Темзы! Учредим Лигу Свободных Семейств! Долой местную власть! К черту местный патриотизм! Пусть каждый дом станет таким же суверенным государством, как мы! Пусть он собственным законом судит своих подданных, как мы их судим «Судом Маяка». Перережем цепь, которая держит наш корабль у берега. И начнем счастливо жить все вместе, как на необитаемом острове.

— Я знаю этот необитаемый остров! — сказал Майкл Мун. — Он существует только в «Швейцарском Робинзоне». У человека сохнет горло от жажды — бух, падает неожиданно с неба кокосовый орех, сброшенный невидимой обезьяной. Писатель чувствует желание написать сонет, — кидается ему навстречу из чаши услужливый дикобраз и в ту же минуту роняет иглу из щетины.

— Не смейте издеваться над «Швейцарским Робинзоном», — разгорячился Инносент. — Может быть, в этой книге нет научной точности, зато есть истинная философия. Если вы на самом деле потерпели крушение, вы всегда найдете, что вам нужно! Если вы действительно попадете на пустынный остров, вы убедитесь, что он отнюдь не пустыня. Если бы мы действительно были осаждены неприятелем в этом саду, мы нашли бы сотни птиц и ягод, о существовании которых мы и не подозреваем теперь. Если бы мы были занесены снегом в этой комнате, мы извлекли бы из книжного шкапа и прочитали бы много десятков томов, о которых сейчас не имеем никакого представления. Мы вели бы беседы друг с другом — прекрасные и страшные беседы, о которых теперь не догадываемся. Мы нашли бы здесь материал для всего: для крестин, для свадеб, для похорон, даже для коронации — если бы мы не захотели стать республикой.

— Коронация в духе «Швейцарского Робинзона!» — засмеялся Мун. — Я знаю, в этой области вы, конечно, найдете здесь все что угодно. Вам, положим, понадобилась такая простая вещь, как коронационный балдахин, — стоит вам только дойти до клубы с геранью, пред вашим взором предстанет балдахин в виде

дерева в полном цвету. Понадобится вам такой пустяк, как золотая корона — чего проще! — вы срываете несколько одуванчиков, их целые золотые россыпи там за лужайкой. Понадобится вам для церемонии благовонное миро, — разверзаются небеса, страшный ливень смывает весь берег, и на поверхности остается кит, вот вам и готов притирательный жир.

— Кит и в самом деле тут, возле дома, знайте это! — прокричал Смит, ударив кулаком по столу. — Держу пари, что вы никогда как следует и не осмотрели нашего жилья. Держу пари, что вы ни разу даже и не заглянули на задний двор. А я пошел туда сегодня утром и нашел как раз все, что, по вашим словам, растет лишь на дереве. Там у сорного ящика лежит какая-то старая четырехугольная палатка; холст продырявлен в трех местах, один колышек сломан, так что в палатки она, пожалуй, уже не годится, а вот как балдахин...

Ему не хватало даже слов, чтобы выразить, какой отличный будет балдахин. Погодя немного, он продолжал полемику с возрастающим жаром:

— Вы видите, я разбираю по порядку все ваши возражения. Каждая мелочь, которой здесь, по-вашему, нет, каждая, я уверен, давно уже здесь. Вы утверждаете, что вам нужен выброшенный бурей кит, чтобы добыть коронационное масло. Здесь вот, в этом судке, под вашим локтем, есть масло, но я убежден, что вы все эти годы ни разу не притронулись к судку, забыли даже думать о нем. А золотая корона... хотя все мы здесь и не очень богаты, мы, однако, были бы в состоянии достать из собственного кармана несколько монет по десять шиллингов, связать их веревочкой и на полчаса разместить вокруг чьей-нибудь головы. Или один из золотых обручей мисс Хант... Он достаточно велик, чтобы...

Добродушная Розамунда задыхалась от смеха.

— Не все то золото, что блестит,— заметила она. — Да кроме того...

— Какое заблуждение! — в сильном волнении прокричал Смит и вскочил с места. — Все, что блестит, золото — именно теперь, когда мы стали независимыми. В чем же значение суверенного штата, когда вы не можете установить стоимости золотого соверена? Мы, как первобытные люди на заре мира, можем все назвать драгоценным металлом. Те выбрали золото не потому, что оно редко; ваши ученые могут назвать вам много десятков минералов более редких, чем золото. Нет, они выбрали золото, потому что оно блестит. Золото трудно найти; но зато оно красиво, когда найдено! Нельзя воевать золотыми мечами или питаться золотыми бисквитами. Можно лишь глядеть на него, вы можете глядеть на него и здесь!

Одним из своих порывистых движений он отскочил назад и распахнул настежь двери в сад. И в то же время одним из тех жестов, которые никогда в первый момент не казались такими

нелепыми, какими они были в действительности, он протянул руку Мэри Грэй и увлек ее с собою в сад, как будто к какому-то танцу.

В раскрытое французское окно к ним проник вечер, еще прекраснее, чем накануне. Запад пылал кровавыми красками, и дремавшее пламя залило луг. Дрожащие тени двух-трех деревьев в саду казались в этом блеске не черными и серыми, как днем, но арабесками, писанными ярко-фиолетовой тушью на золотых скрижалях востока. Солнечный закат казался праздничным, но все же таинственным заревом, и при свете его самые обыкновенные вещи своей окраской напоминали редкостные и причудливые предметы роскоши. Словно перья гигантских павлинов, отливали сланцы покатою крыши таинственной сине-зеленой радугой. Всеми оттенками темно-красных вин — цветами октября — пылали красно-коричневые кирпичи ограды. Солнце с искусством пиротехника зажгло каждый предмет особенным, по-своему расцветенным пламенем. И венец языческого золота лег даже на бесцветные волосы Смита, когда он мчался по лужайке к откосу.

— Кому понадобилось бы золото, — кричал он между тем, — если бы оно не блестело? Разве нужен был бы нам черный червонец? На что нам черное полуденное солнце? Его заменила бы всякая черная пуговица. Разве вы не видите, что все в этом саду сверкает, как драгоценный камень? И не будете ли вы так любезны сказать мне, какого черта можно еще требовать от драгоценности, кроме того, чтобы она имела вид драгоценности? Довольно покупать и продавать! Пора наконец смотреть! Раскройте глаза, и вы проснетесь в новом Иерусалиме! Все то золото, что блестит, потому что все, что блестит, золото.

Все то золото, что блестит —
Медная бляха и медный щит.
Золото льется вечерней порой
Над золотою рекой!
И желтая грязь, на земле разлитая.
Она — золотая!
Она — золотая!

Эти строки показались Розамунде забавными.

— Кто написал эти стихи? — спросила она.

— Их никто никогда не напишет, — ответил Смит и с разбега вскочил на откос.

— Собственно говоря, — сказала Розамунда Майклу Муну, — его не мешало бы отправить в желтый дом. Как вы думаете?

— Что? — довольно мрачно спросил Мун; его длинное смуглое лицо выделялось темным пятном на фоне солнечного заката. Случайно ли или нарочно, но Мун среди общего заразительного сумасбродства казался одиноким и даже враждебным.

— Я сказала только, что мистера Смита следовало бы отправить в дом для умалишенных, — повторила молодая леди.

Продолговатое лицо Муна вытянулось, он, несомненно, ухмыльнулся.

— Нет, — сказал он, — я думаю, этого делать не надо.

— Почему? — быстро спросила Розамунда.

— Потому что Смит находится там и теперь, — спокойным тоном произнес Майкл Мун. — Разве вы не знаете?

— Чего? — воскликнула она, и голос ее оборвался. Лицо ирландца и его голос были убедительны. Темной фигурой и темными речами при этом солнечном блеске он похож был на дьявола в райском саду.

— Мне очень жаль, — продолжал он грубо-смирненным тоном, — правда, мы это замалчиваем, но я думаю, что мы все по крайней мере знаем это.

— Знаем что?

— Ну, — ответил Мун, — что «Маяк» — не совсем обыкновенный дом. Дом без винтов, не правда ли? Инносент Смит — только доктор, явившийся к нам с визитом. Он приходит и лечит нас. И так как наши болезни большей частью печальны, он должен быть особенно весел. Здоровье, конечно, представляется нам чем-то необыкновенно эксцентричным. Скакать через стену, взбираться на деревья — вот его способ леченья.

— Перестаньте! — вспыхнула Розамунда. — Как смеете вы утверждать, что я...

— Точно так же, как и я... — сказал Мун несколько мягче, — так же, как и все остальные. Разве вы не обратили внимания, что мисс Дьюк не может ни минуты усидеть спокойно на месте? — Общеизвестный признак! Не заметили вы разве, что Инглвуд постоянно моет руки? — Доказанный симптом умственного расстройства. Я, несомненно, алкоголик...

— Этому я не верю, — видимо волнуясь, прервала его девушка. — Я слышала, что у вас есть дурные привычки...

— Все привычки — дурные привычки, — мертвенно-спокойно продолжал Мун. — Сумасшествие выражается не в буйстве, а в покорности; в том, что человек погружается в какую-нибудь грязную, ничтожную навязчивую идею и совершенно подчиняется ей. Ваш пункт помешательства — деньги, так как вы богатая наследница.

— Это ложь! — со злостью в голосе крикнула Розамунда. — Никогда в жизни я не думала о деньгах.

— Вы поступали хуже, — тихим голосом, но резко сказал Майкл. — Вы предполагали, что другие думают о них. В каждом человеке, который знакомился с вами, вы видели только искателя денег. Вы не позволяли себе относиться к людям просто и быть вполне нормальной. Мы оба сумасшедшие. Так нам и надо.

— Вы грубиян! — произнесла Розамунда и побледнела, как полотно. — Неужели это правда?

Со всей утонченной интеллектуальной жестокостью, на которую только способен бунтующий кельт, Майкл помолчал несколько секунд, затем отступил назад и проговорил с насмешливым поклоном:

— Не в буквальном смысле, конечно, но это истинная правда. Аллегория, если хотите. Общественная сатира.

— Ненавижу, презираю ваши сатиры! — вскричала Розамунда Хант. Как циклон, прорвался наружу весь ее сильный женский темперамент, в каждом ее слове слышалось желание уязвить. — Презираю ваш крепкий табак, презираю ваше безделье и скверные манеры, ваши насмешки, ваш радикализм, ваше старое мягкое платье, ваши грязные мизерные газетки, вашу жалкую неудачливость во всем. Называйте это снобизмом или как вам угодно, но я люблю жизнь, успех, хочу любоваться красивыми вещами и поступками. Вы меня не испугаете Диогеном; я предпочитаю Александра.

— *Victrix causa deae...*¹ — изрек Майкл; это замечание рассердило ее еще более; не поняв его значения, она вообразила, что это колкость.

— Ну, еще бы, вы знаете греческий! — сказала она с трогательной неточностью. — И все же вы недалеко с ним уехали.

И она углубилась в сад, догоняя исчезнувших Инносента и Мэри. Навстречу ей попался Инглвуд, он шел домой медленно — в глубоком раздумье. Инглвуд был из тех людей, которые, обладая изрядным умом, совершенно лишены предприимчивости. Когда он входил из озаренного заходящим солнцем сада в окутанную сумеречным светом столовую, Диана Дьюк бесшумно вскочила с места и занялась уборкой стола. И все же Инглвуд успел увидеть на мгновение картину такую необычайную, что стоило бы шелкнуть аппаратом. Диана сидела перед неоконченной работой, опершись подбородком на руку, и смотрела прямо в окно, охваченная бездумным раздумьем.

— Вы заняты, — сказал Инглвуд, чувствуя странную неловкость от того, что он видел, и делая вид, что он ничего не заметил.

— На этом свете некогда мечтать и дремать, — отвечала молодая леди, повернувшись к нему спиной.

— Мне только что пришло в голову, — произнес Инглвуд, — что на этом свете некогда проснуться.

Она промолчала; он подошел к окну и глянул в сад.

— Я не курю и не пью, вы это знаете, — сказал он без видимой связи с предыдущим, — потому что это вредно. И все же мне кажется, что все человеческие слабости — взять хотя бы мой велосипед и фотографическую камеру, — все они тоже вредны. Прячусь под черное покрывало, забираюсь в темную комнату — вообще лезу в какую-либо дыру. Опьяняюсь скоростью, солнеч-

¹ Победившее дело (любезно) богине (*лат.*).

ным светом, усталостью и свежим воздухом. Нажимаю педали так, что сам становлюсь машиной. И все без исключения поступают так же. Мы слишком заняты и потому неспособны проснуться.

— А скажите,— деловитым тоном прервала его девушка, — стоит ли вообще просыпаться?

— Стоит! — вскричал Инглвуд и в необыкновенном волнении посмотрел по сторонам. — Должно существовать нечто такое, ради чего стоило бы просыпаться. Все, что мы делаем, — только приготовление: ваша опрятность, мое здоровье и научные работы Уорнера. Мы вечно готовимся к чему-то, что никогда не приходит. Я проветриваю дом, вы его подметаете, но что же должно произойти в этом доме?

Она окинула его спокойным, просветленным взором и, казалось, искала, но не находила слов для выражения своей мысли.

Не успела она открыть рот, как дверь распахнулась настежь, и на пороге появилась взволнованная Розамунда Хант в прыгающей белой шляпе. В руке у нее был летний зонтик, на шее — боа. Она дышала через силу, и ее открытое лицо носило отпечаток самого детского удивления.

— Однако это ловко! — проговорила она, задыхаясь. — Что мне теперь делать, хотела бы я знать! Я телеграфировала доктору Уорнеру, вот и все, что я могла придумать.

— Что случилось? — спросила Диана почти сердито и двинулась вперед; она привыкла, что ее всегда зовут на помощь.

— Мэри! — сказала наследница. — Моя компаньонка, Мэри Грэй! Этот ваш полоумный приятель Смит сделал ей предложение в саду после десятичасового знакомства и теперь собирается ехать с нею за брачным разрешением.

Артур Инглвуд подошел к раскрытому французскому окну и посмотрел в золотившийся сумеречным сиянием сад. Все было тихо, лишь какие-то пташки — одна или две — порхали и чирикали в саду. Но за перилами, по ту сторону садовой ограды, стоял кеб, а на крыше его красовался желтый чемодан необычайных размеров.

Глава IV

САД БОГА

Внезапное вмешательство Розамунды рассердило Диану Дьюк.

— Прекрасно! — коротко сказала она. — Я полагаю, что мисс Грэй сама может отказать ему, если не хочет выходить за него замуж.

— Но она хочет выйти за него! — в отчаянии вскрикнула Розамунда. — Она сумасшедшая, гадкая, глупая, и я не желаю расставаться с ней!

— Возможно,— вставила ледяным тоном Диана, — но я, право, не вижу, чем мы тут можем помочь.

— Этот человек отпетый идиот, — в сердцах закричала Розамунда. — Я не желаю, чтобы моя милая компаньонка обвенчалась с болваном. Вы или кто-либо другой должны помешать этому. Мистер Инглвуд, вы — мужчина, пойдите и объявите им, что это невозможно.

— К сожалению, мне кажется, что это вполне выполнимо, — с подавленным видом ответил Инглвуд. — Я имею еще меньше прав на вмешательство в их дела, чем мисс Дьюк, не говоря уже о том, что у меня нет ее нравственной силы.

— Нравственной силы нет ни у кого из вас! — крикнула Розамунда, окончательно выходя из себя. — Лучше будет, если я обращусь за советом к кому-нибудь другому; мне кажется, я знаю, к кому, я знаю, кто мне поможет гораздо больше, чем вы... пусть он сварлив, но он во всяком случае мужчина, у него есть на плечах голова...

Она выбежала в сад; лицо у нее пылало, а ее зонтик завертелся, как огненное колесо.

В саду она увидела Майкла. Он стоял под деревом, с гигантской трубкой в зубах, сгорбившись, как хищная птица, он смотрел через забор. Даже суровость, написанная у него на лице, понравилась ей после дикой бессмыслицы всего происшедшего.

— Мне жаль, что я была так резка с вами, мистер Мун, — чистосердечно призналась она. — Я ненавидела вас за цинизм; но я хорошо наказана, теперь мне как раз нужен циник. Меня одолели сантименты — я сыта ими по горло. Все сошли с ума, мистер Мун, я хочу сказать, все, кроме циников. Этот маньяк Смит хочет жениться на моей подруге Мэри, и она... и она, кажется, ничего не имеет против.

Он внимательно выслушал ее и с невозмутимым видом продолжал курить. Видя это, она недовольно заметила:

— Я не шучу, там за оградой стоит экипаж мистера Смита. Он клянется, что сейчас отвезет ее к тетке, а сам поедет за разрешением на брак. Дайте мне какой-нибудь практический совет, мистер Мун.

Мистер Мун вынул трубку изо рта, с задумчивым видом подержал ее несколько секунд в руках, а затем швырнул в другой конец сада.

— Мой практический совет вот какой,— сказал он. — Пусть мистер Смит едет за разрешением, а вы попросите его взять заодно и второе разрешение — для меня с вами.

— Что такое? Опять шутки! — воскликнула она. — Объясните, что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что Инносент Смит деловой человек, — с тяжеловесной точностью проговорил Мун. — Простой, практичный человек; человек дела; человек фактов и солнечного света. Двадцать добрых тонн кирпичей сбросил он мне на голову,

и я рад констатировать, что они разбудили меня. Еще совсем недавно спали мы здесь, на этом самом лугу, и при таком же сиянии солнца. Мы дремали все эти пять лет или около того, но теперь мы женимся, Розамунда, и я, право, не вижу, почему бы этот кеб...

— Нет, нет, — резко оборвала его Розамунда, — я отказываюсь понять, что вы такое городите.

— Ложь! — закричал Мун, подвигаясь к ней и сияя глазами. — Я всегда стою за ложь в обыкновенных случаях; но разве вы не видите, что в этот вечер лгать нельзя? Мы совершили путешествие в страну фактов, моя дорогая. Растущая трава, заходящее солнце, этот кеб у калитки — все это факты. Вы привыкли мучить и успокаивать себя тем, что я гонюсь за вашими деньгами и что я вас вовсе не люблю. Но если бы я стал сейчас доказывать вам, что я вас не люблю, вы не поверили бы мне, потому что сейчас в нашем саду царит правда.

— Пожалуй что и так, мистер Мун, — более мягким тоном сказала Розамунда.

Взгляд больших синих магнетических глаз остановил ее.

— Разве мое имя Мун? — спросил он. — А ваше — Хант? Клянусь честью, они звучат в моих ушах дико и чуждо, как имена краснокожих индейцев! Точно ваше имя «Поплавок», а мое «Восходящее Солнце». Но настоящие имена наши Муж и Жена, как это было до тех пор, пока мы не заснули.

— Это нехорошо, — сказала Розамунда, и подлинные слезы заблестали у нее на глазах, — нельзя вернуться к тому, что было.

— Я могу вернуться ко всему на свете, — сказал Майкл. — Могу и вас отнести на плечах.

— Майкл, вы должны, право, остановиться и подумать, — серьезно возражала девушка. — Вы, конечно, можете вскружить мне голову и сбить меня с ног, но кончится это плачевно. В таких делах романтические порывы, вот как у мистера Смита, увлекают женщин — это правда. Как вы сказали, мы все говорим сегодня правду. Романтика увлекла бедную Мэри, увлекает она и меня, Майкл. Но голый факт остается: неосторожные браки влекут за собой несчастья и разочарования. Вы приучили себя к пьянству и к тому подобным порокам, — я скоро постарею и стану дурнушкой.

— Неосторожные браки! — вскричал Майкл. — Ради всего святого, скажите, где это вы видели, на небе или на земле, осторожные браки? Это все равно что толковать об осторожных самоубийствах! Я и вы — мы оба достаточно долго топтались друг около друга, а разве мы более уверены в себе, чем Смит и Мэри, которые только вчера встретились? Вы никогда не узнаете мужа до свадьбы. Несчастны? Конечно, вы будете несчастны. Что вы такое, черт вас возьми, чтобы не быть несчастной, как и мать, родившая вас? Разочарования? Конечно, вы разочаруетесь. Я, например, не рассчитываю, что буду до самой смерти

таким же хорошим человеком, как в эту минуту. Я теперь вырос до пяти тысяч футов — я целая башня, и все мои трубы трубят.

— Вы все это сознаете, — сказала Розамунда, — и все же хотите жениться на мне?

— Дорогая, но что же остается мне делать! — рассуждал ирландец. — Какое же другое занятие на земном шаре может избрать энергичный мужчина, как не жениться на вас? Разве существует другая альтернатива брака, кроме сна? Выбора нет, Розамунда. Или вы заключаете брак с Богом, как монахини у нас в Ирландии, или с женщиной, то есть со мной. Единственный третий выход — жениться на себе, жить с собою, с собою, с собою, с собою — единственным компаньоном, который вечно и сам недоволен, и тебе внушает недовольство.

— Майкл, — сказала мисс Хант почти нежно, — если вы не будете так много говорить, я, пожалуй, выйду за вас.

— Теперь не время говорить! — вскричал Майкл Мун. — Теперь можно только петь. Не можете ли вы отыскать вашу мандолину, Розамунда?

— Пойдите и принесите ее, — повелительным тоном сказала Розамунда.

Пораженный мистер Мун постоял одну секунду, затем бросился бежать по лужайке, точно на ногах у него были крылатые сандалии из греческой сказки. Одним прыжком он перескакивал по три ярда. Но на расстоянии одного или двух ярдов от открытой веранды его летевшие ноги налились свинцом, как всегда. Он круто повернулся и, посвистывая, двинулся обратно.

В темной гостиной, вскоре после внезапного ухода рассерженной Розамунды (как успел разглядеть Мун), происходили чрезвычайные события. В этой простой и мрачной гостиной еще не бывало таких больших происшествий. Инглвуду почудилось, будто небо и земля поменялись местами, потолок стал морем, а пол усеян звездами. Нельзя передать словами, как это изумило его. Это всегда изумляет всех простодушных людей. Самый упорный женский стоицизм, и тот защищен от подобных событий лишь тончайшею перегородкой — не толще листа бумаги или стального листа. Это не значит, что женщины более податливы или более чувствительны. Нет. Самая безжалостная, жестокая женщина может заплакать, так же, как и самый женственный мужчина может отрастить себе бороду. Это только проявление пола и не свидетельствует ни о силе, ни о слабости. Но Артуру Инглвуду — мужчине, не знающему женщин, — видеть плачущую Диану Дьюк было так же удивительно, как увидеть автомобиль, проливающий токи бензиновых слез.

Никогда впоследствии он не мог дать себе отчета (даже если бы его мужская скромность позволила ему это), к каким действиям с его стороны побудило его это происшествие. Он держал себя, как мужчины во время пожара в театре, то есть не так, как мужчины воображают себе свое поведение в этих случаях, а так,

как они на самом деле себя ведут. В уме у него мелькнула какая-то почти забытая мысль: сейчас эта богатая девушка, являющаяся здесь единственным источником денег, уедет отсюда — и неизбежно явится судебный пристав, который опишет имущество! О своих последующих поступках он мог судить только по протесту, вызванному ими.

— Оставьте меня одну! Мистер Инглвуд, оставьте меня в покое; вы не поможете мне...

— Нет, я могу помочь вам, — с возрастающей уверенностью сказал Артур. — Могу, могу, могу...

— Но вы сами сказали, что вы гораздо слабее меня...

— Да, я действительно слабее вас, — ответил Артур. Его голос поднимался и дрожал. — Но не сейчас.

— Оставьте мои руки! — вскричала девушка. — Я не желаю, чтобы вы мною командовали.

В одном он был гораздо сильнее — в юморе. Юмор внезапно проснулся в нем, и, засмеявшись, он заметил:

— Это с вашей стороны неблагородно. Вы великолепно знаете, что в продолжение всей моей жизни командовать будете вы. Вы могли бы подарить мужчине единственную минуту в его жизни, когда ему еще можно командовать.

Так же удивительно было слышать его смех, как и видеть ее слезы. Впервые за всю свою жизнь потеряла Диана всякую власть над собой.

— Вы хотите сказать, что намерены жениться на мне? — спросила она.

— Видите, кеб у крыльца! — вскричал Инглвуд. С бессознательной энергией сорвался он с места и распахнул настежь стеклянную дверь, выходящую в сад.

Когда он вел девушку под руку, они в первый раз заметили, что их сад и дом лежат на крутизне выше Лондона. И все же они чувствовали, что, хотя их жилище высится, открытое взорам, оно отрезано от всего мира, как сад, опоясанный высокой оградой на вершине одной из небесных башен.

Инглвуд мечтательно озирался кругом. С невыразимым наслаждением пожирала его темные глаза каждую мелочь. Впервые заметил он садовую решетку, заметил, что зубцы ее походили на пики и были выкрашены в синюю краску. Одна из этих синих пик погнулась, и острие свисло вбок; это рассмешило Инглвуда. Согнуть решетку казалось ему восхитительной и невинной забавой. Ему хотелось узнать, как это случилось, кто это сделал и где находится теперь тот забавник, который совершил это веселое дело.

Несколько шагов прошли они по этой огненной траве и вдруг увидели, что они не одни. Розамунда Хант и эксцентрический мистер Мун, которых они только что перед этим оставили в крайне мрачном состоянии духа, теперь стояли рядом на лужайке. В самых обыкновенных позах стояли они, и все же были похожи на героев романа.

— О, — заметила Диана, — что за чудесный воздух!

— Я знаю, — отозвалась Розамунда с неподдельным наслаждением, хотя ее слова звучали, как жалоба. — Этот воздух похож на то ужасное шипучее зелье, которым они опоили меня. О, сколько счастья дало мне оно!

— Нет, это выше всяких сравнений, — с глубоким вздохом отвечала Диана. — Здесь и холодно, и в то же время горишь, как в огне.

Безо всякой необходимости мистер Мун стал обмахиваться соломенной шляпой. Все чувствовали прилив пульсирующей, беспредметной воздушной энергии. Диана вздрогнула; как распятая вытянула она длинные руки и застыла в этой судорожно-неподвижной позе. Майкл стоял долгое время спокойно, с напряженными мускулами, потом завертелся волчком и замер. Розамунда прошла по лужайке, притоптывая ногой в такт какого-то беззвучного танца. Инглвуд осторожно прислонился к дереву и вдруг бессознательно схватился за ветку и стал трясти ее, точно в порыве вдохновения. Грандиозные силы мужчин, проявляющиеся в созидании высоких статуй и в могучих ударах войны, терзали и томили их тела. Хотя они стояли так тихо и мирно, эти силы бродили в их душах, словно батареи, заряженные животным магнетизмом.

— А теперь, — внезапно воскликнул Мун и протянул руки в обе стороны, — давайте танцевать вокруг этого куста.

— Вокруг какого куста? — спросила Розамунда, взглянув вокруг сияюще-сурово.

— Куста, которого здесь нет, — сказал Майкл.

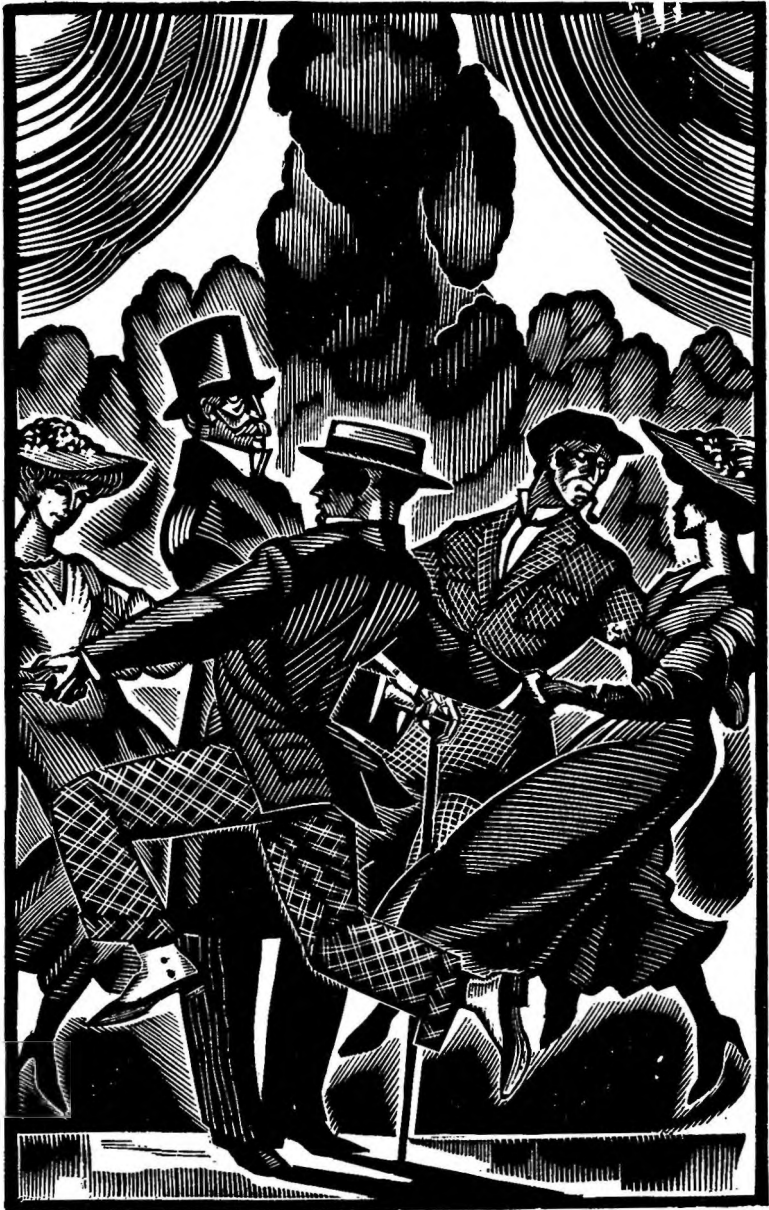
Полушутя схватились они за руки, словно выполняя какой-то обряд. Майкл завертел их, как демон, пускающий кубарем земной шар. Диане казалось, что горизонт мгновенно завертелся вокруг нее, и она увидела над Лондоном какие-то цепи холмов и те уголки, где играла еще во младенчестве. Ей даже показалось, что слышно, как кричат грачи в старых соснах Хайгейта, и видно, как светляки освещают леса Бокс-Хилла.

Круг распался, как всегда распадается такие прекрасные непостоянные круги, и вышвырнул своего автора, Майкла. Майкл полетел, словно гонимый центробежною силою, и упал около синей решетки забора. Быстро вскочив на ноги, он огласил воздух отчаянными криками.

— Да ведь это Уорнер! — вопил Майкл, всплеснув руками. — Это славный старый Уорнер в новом шелковом цилиндре и со старыми шелковыми усами!

— Разве это доктор Уорнер? — вскрикнула Розамунда и двинулась вперед в порыве огорчения и радости. — О, как мне жаль! О, передайте ему, что все в порядке! Никакой беды не случилось.

— Возьмемся за руки и скажем ему это! — предложил Майкл Мун. И действительно, у калитки во время этого разговора



остановился другой кеб рядом с прежним, и доктор Герберт Уорнер осторожно спустился на тротуар, оставив в кебе своего спутника.

Теперь вообразите себя, что вы известный врач, что вас вызвала богатая наследница к больному, охваченному припадками буйного безумия. И вот, проходя через сад того дома, где живет этот опасный больной, вы видите, что наследница, ее квартирная хозяйка и еще два джентльмена, проживающие в панионе, держат друг друга за руки, танцуют и окружают вас, не переставая выкрикивать: «Все в порядке! Все в порядке!» Естественно, вы имели бы полное право удивиться и даже почувствовать себя оскорбленным. Доктор Уорнер был невозмутимый, но обидчивый человек. Даже когда Мун объяснил ему, что он, Уорнер, солидный высокий мужчина в цилиндре, как раз и представляет из себя ту классическую колонну, вокруг которой должен танцевать хоровод смеющихся девушек на морском берегу где-нибудь в Древней Греции, даже и тогда он, казалось, не мог уловить причину всеобщего веселья.

— Инглвуд! — повысил голос доктор Уорнер и вперил удивленный взор в своего недавнего ученика. — Вы с ума сошли?

Артур покраснел до корней своих темных волос, но ответил все же свободно и довольно спокойно:

— Не теперь. Говоря правду, Уорнер, я только что сделал очень важное научное открытие — прямо в вашем духе!

— Что вы хотите этим сказать? — сухо спросил знаменитый врач. — Что за открытие?

— Я убедился, что здоровье так же заразительно, как и болезнь, — ответил Артур.

— Да, здоровье вырвалось наружу и распространяется теперь повсеместно, — сказал Майкл, задумчиво выполняя *pas seul*¹. — Еще двадцать тысяч человек доставлено в больницы. Сиделки сбились с ног. Работают день и ночь.

С безграничным удивлением уставился доктор Уорнер на Майкла, изучая его мрачное лицо и быстро двигавшиеся ноги.

— Это и есть, смею спросить, — осведомился он, — то здоровье, которое распространяется теперь повсеместно?

— Простите меня, доктор Уорнер, — с жаром сказала Розамунда Хант. — Я знаю, я дурно поступила с вами, но, право, это не моя вина. Я была в отвратительнейшем настроении, когда посылала за вами, — но теперь мне все кажется сном, и — мистер Смит, прелестное, милейшее в мире создание, пусть он себе женится на ком угодно... конечно, не на мне, а на ком угодно.

— Хотя бы на миссис Дьюк, — сказал Майкл.

Серьезное лицо доктора Уорнера стало еще внушительнее. Не сводя пристально-спокойного взора бледно-голубых глаз с лица Розамунды, он вынул из жилетного кармана клочок розовой бумаги. И заговорил с понятной суровостью:

¹ Сольное па (*фр.*).

— Говоря откровенно, мисс Хант, вы внушаете мне некоторую тревогу. Всего полчаса тому назад послали вы мне следующую телеграмму: «Приезжайте немедленно, если возможно, с другим врачом. Один господин, живущий у нас в доме, Инносент Смит, сошел с ума и совершает ужасные поступки. Не знаете ли вы чего-нибудь о нем?» Я тотчас отправился к одному врачу, моему коллеге. Он выдающийся медик, но занимается также и частным сыском, так как является специалистом в области криминального сумасшествия. Он поехал со мною и ждет меня в кебе. А вы со спокойным видом сообщаете мне теперь, что этот преступный безумец — прекраснейшее, разумнейшее существо на земле, и сопровождает это заявление такого рода поступками, которые дают мне основание сомневаться в правильности вашего представления о разуме. Я едва могу понять эту перемену.

— О, кто может понять изменения солнца, луны и души человеческой! — в отчаянии вскричала Розамунда. — О, мы сами были так безумны, что сочли его безумным лишь за то, что он захотел повенчаться. Мы даже не понимали, что все это произошло потому, что нам самим хотелось под венец. Мы приносим вам свои извинения, если вы желаете. Мы так счастливы...

— Где мистер Смит? — резким тоном спросил Уорнер Инглвуда.

Инглвуд опешил. Он совершенно забыл о существовании центральной фигуры всего этого фарса; Смит не показывался уже больше часа.

— Я... я думаю, он, верно, на том конце дома, где-нибудь у сорного ящика, — сказал он.

— Хотя бы даже по дороге в Россию, — сказал Уорнер, — он должен быть во что бы то ни стало найден.

С этими словами доктор ушел и, обогнув подсолнечники, скрылся за углом дома.

— Надеюсь, — сказала Розамунда, — он не помешает мистру Смигу.

— Помешать маргариткам! — Майкл фыркнул. — Нельзя посадить человека за решетку лишь потому, что этот человек влюблен. По крайней мере надеюсь, что это невозможно.

— Нет. Я думаю, даже доктор не может создать из этого какой-нибудь недуг. Смит отшвырнет от себя и болезнь, и доктора. Я думаю, Инносент Смит действительно простодушен, вот почему он такой необычайно, ошеломительно яркий.

Это говорила Розамунда, не переставая описывать круги по траве кончиком белой туфли.

— Я думаю, — сказал Инглвуд, — что в нем нет ничего необычайного. Он комичен именно потому, что поразительно банален, зауряден. Представьте себе тесный семейный круг с тетками и дядями, когда школьник возвращается домой на каникулы! Этот чемодан — там, в кебе — не что иное, как корзинка

школьника. Это дерево в саду как раз для того и создано, чтобы школьник мог взлететь на него. Это нас поразило; мы не могли подыскать этому настоящего имени. Действительно ли он мой старый школьный товарищ или нет, он — олицетворение всех моих школьных товарищей, он — тот самый звереныш, какими все мы были в свое время, звереныш, беспрерывно играющий в мяч и беспрерывно жующий булку...

— Таковы только вы, безмозглые мальчишки, — сказала Диана, — я думаю, ни одна девочка не была так глупа, и я уверена, что ни одна не была так счастлива, как...

— Я скажу вам правду об Инносенте Смите, — проникновенным голосом начал Мун. — Доктор Уорнер напрасно будет искать его там. Его там нет. Разве вы не заметили, что его никогда нет с нами, как только мы собираемся вместе? Он — астральный младенец, рожденный нами, нашими мечтами. Он — наша возродившаяся юность. Задолго до того, как бедняга Уорнер вылез из своего кеба, существо, которое мы называли Смитом, растаяло в росе и воздухе этого сада. Еще раз или два мы, по великой милости Божией, ощутим его присутствие, но человека Смита мы больше никогда не увидим. Ранним весенним утром в саду будем мы вдыхать аромат, имя которому Смит. В хрустении сухих сучьев, сгорающих на легком костре, нам послышится звук, и звук этот — Смит. Во всем, что ненасытно и невинно, в траве, которая жадно глотает землю, как ребенок, пожирающий гостинцы, в белом утре, которое раскалывает небо, как мальчик лунчину, — во всем этом мы ощутим присутствие буйной чистоты и невинности; но эта невинность слишком близка к бессознательности неодушевленных предметов. Простого прикосновения достаточно, чтобы она исчезла за зеленой оградой или в пустыне небес. Инносент Смит...

Оглушительный выстрел, словно взрыв бомбы, раздался позади дома и не дал Муну досказать свою мысль. Почти одновременно из кеба, который стоял у ворот, выскочил какой-то господин, и выскочил так энергично, что кеб долго качался, как люлька. Господин схватился за синюю решетку сада и устремил пристальный взор по тому направлению, откуда раздался шум. Это был человек невысокого роста, худощавый, живой, даже шустрый; его лицо было точно соткано из рыбьих костей, его цилиндр, столь же внушительный и великолепный, как цилиндр доктора Уорнера, был небрежно сдвинут на затылок.

— Караул! Убийство! — вскричал он тонким, женским, пронзительным голосом. — Остановите убийцу!

Одновременно с его возгласом второй выстрел потряс нижние окна дома, и доктор Герберт Уорнер выбежал из-за угла. Он бежал вприпрыжку, как кролик. Не успел он добежать до стоявших в саду, как послышался третий выстрел. И все собственными глазами увидели две белые струйки дыма, поднимавшиеся кверху из несчастной шляпы доктора Герберта Уорнера. Улепе-

тивавший врач споткнулся о цветочный горшок, упал и продолжал свой путь на четвереньках, выпучив глаза, как корова. Шляпа, дважды продырявленная пулями, катилась по дорожке перед ним. В тот же миг показался за углом Инносент Смит, мчавшийся с быстротой курьерского поезда. Он казался вдвое выше своего обычного роста — гигант в зеленом; в руке у него был дымившийся громадный револьвер, глаза горели, как звезды, желтые волосы торчали во все стороны, как у Степки-Растрепки. В полном безмолвии протекла эта ошеломляющая сцена и длилась не более секунды; все же Инглвуд успел уловить в себе снова то ощущение, которое он испытал раньше при виде влюбленных, стоявших на лужайке — ощущение отеканенной красочной ясности, более свойственной произведениям искусства, чем явлениям жизни. Разбитый цветочный горшок с ярко-красной геранью, зеленый Смит, черный Уорнер на фоне синей зубчатой решетки, судорожно сжимающие ее желтые ястребиные ногти незнакомца и длинная ястребиная шея, вытянувшаяся вверх, над оградой; цилиндр, валяющийся тут же на песке, и маленькое облачко дыма, бегущее над садом — невинное, как дымок папиросы, — все это было очерчено с неестественной четкостью. Все эти предметы существовали, как символы, в экстазе разъединения. Каждая мелочь становилась все более и более яркой и ценной по мере того, как вся картина раздроблялась на тысячу мелких кусков. Таким блеском сияют предметы перед тем, как взлететь на воздух.

Артур несколько подался вперед еще задолго до того, как пронесли в нем эти ощущения, и схватил Смита за руку. Маленький незнакомец сорвался с места и в то же самое время схватил Смита за вторую руку. Смит разразился хохотом и с полной готовностью отдал им свой револьвер. Мун помог доктору подняться, затем отошел и с угрюмым видом прислонился к садовой решетке. Девушки держали себя спокойно и были настороже, как обычно бывают хорошие женщины во время катастрофы. Однако было очевидно, что небесное сияние, озарявшее их лица, исчезло.

Доктор оправившись, подняв шляпу, собрал свои мысли, с глубочайшим отвращением отряхнул пыль и обратился к ним с коротким извинением. От пережитого ужаса он был бел как платок, но вполне владел собой.

— Извините нас, леди,— проговорил он, — мой коллега и мистер Инглвуд — оба люди науки, хотя мы и работаем в разных областях. Я думаю, что будет удобнее увести мистера Смита в дом, а затем мы вернемся и побеседуем с вами.

И осторожно, под конвоем трех ученых, отведен был в дом обезоруженный, все еще хохочущий Смит.

Отдаленные раскаты его хохота доносились к ним сквозь полуоткрытое окно в течение ближайших двадцати минут, но что говорили врачи, не было слышно. Девушки гуляли по саду,

взаимно ободря друг друга, поскольку это было в их силах. Майкл Мун всей тяжестью своего тела навалился на решетку. По истечении этого времени доктор Уорнер снова вышел из дому; его лицо было менее бледно, но еще более строго. Маленький человечек с рыбьим лицом важно выступал позади. И если лицо Уорнера напоминало лицо судьи, выносящего смертный приговор, то лицо маленького человечка походило скорее на череп покойника.

— Мисс Хант, — заговорил Герберт Уорнер, — теперь я могу выразить вам мою горячую благодарность. Только благодаря вашей храбрости и вашей мудрости, благодаря тому, что вы вызвали нас по телеграфу, нам удалось захватить и обезвредить одного из самых жестоких и коварных врагов человечества. Этот преступник — воплощение самой очевидной и беспримечательной жестокости.

Розамунда повернула к доктору свое побелевшее, искаженное страхом лицо и взглянула на него мигающими глазами.

— Что вы хотите сказать? — спросила она. — Неужели мистер Смит...

— У него много других имен, — серьезно проговорил доктор. — И каждое имя вызывает проклятия. Этот человек, мисс Хант, оставил за собой кровавый след. Безумец ли он или просто злодей, мы постараемся доставить его к судебному следователю — хотя бы по дороге в сумасшедший дом. Но тот сумасшедший дом, куда поместят его, должен быть окружен крепкой стеной, вокруг должны быть расставлены пушки, как в крепости. Иначе он вырвется снова на волю и внесет в мир новое разрушение и новую тьму.

Розамунда смотрела на обоих докторов; лицо ее становилось все бледнее. Потом ее взор остановился на Майкле Муне, прислонившемся к садовой калитке. Но Мун не изменил своей позы, а лицо его было обращено в сторону, на темнеющую дорогу.

Глава V

АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ОБИДЫ И ШУТКИ

Сопутствовавший доктору Уорнеру специалист по уголовным делам при ближайшем рассмотрении оказался гораздо учтивее и даже веселее, чем можно было предположить с первого взгляда, когда он, судорожно сжимая решетку, просовывал шею в сад.

Обнаружилось, что без шляпы он куда моложавее; его белокурые волосы были посередине разделены пробором и тщательно завиты с боков; его движения были быстры; руки никогда не находили покоя. Щегольской монокль висел у него на черной,

широкой ленте, а на груди у него красовался галстук — огромный бант — точно большая американская бабочка. Его костюм был мальчишески ярок, жесты мальчишески быстры, и только сплетенное из рыбьих костей лицо казалось угрюмым и старым. Манеры у него были прекрасные, но не вполне английские. Достаточно было увидеть его однажды, чтобы запомнить раз и навсегда по двум характерным полусознательным жестам: он закрывал глаза, когда хотел быть изысканно-вежливым, и поднимал вверх два пальца, большой и указательный — точно держал понюшку табаку, — когда подыскивал слово или не решался произнести его. Но те, кому случалось бывать в его обществе часто, привыкли к этим странностям и не обращали на них внимания, увлекаясь потоком его диковинных и важных речей и весьма оригинальных мыслей.

— Мисс Хант, — сказал доктор Уорнер, — это доктор Сайрус Пим.

Доктор Сайрус Пим закрыл при этом глаза, точно благонаправленный ребенок, и отвесил короткий полупоклон, довольно неожиданно обнаруживший в нем гражданина Соединенных Штатов.

— Доктор Сайрус Пим, — продолжал Уорнер (доктор Пим снова закрыл глаза), — пожалуй, лучший эксперт по уголовному праву в Америке. Судьба дала нам счастливую возможность воспользоваться его советами в этом необыкновенном деле...

— У меня голова идет кругом, — прервала его Розамунда. — Каким образом наш бедный мистер Смит мог оказаться таким ужасным чудовищем, каким он оказывается теперь по вашим словам?

— Или по вашей телеграмме, — заметил с улыбкой доктор Уорнер.

— О, да вы ничего не понимаете, — нетерпеливо вскричала девушка. — Он сделал нам больше добра, чем молитвы и церковные проповеди.

— Думаю, что я могу все объяснить этой молодой леди, — сказал доктор Сайрус Пим. — Этот преступник или маньяк Смит является гением зла, у него есть своя система, которую он сам изобрел, чрезвычайно дерзкая, но гениальная. Он популярен везде, куда бы ни явился, и заполняет собой каждый дом, как буйный, крикливый ребенок. В наше время мошенникам трудно вводить в заблуждение людей одною лишь благородной позой, поэтому он разыгрывает из себя, скажем, богему, невинную богему. Этим он сбивает с толку всех и каждого. Люди привыкли к маске условной порядочности, и он сходит за добродушного эксцентрика. Вы допускаете переодетого Дон-Жуана в солидном и важном испанском купце. Но вы не узнаете Дон-Жуана, если он переоденется Дон Кихотом. Вы допускаете, что шарлатан может вести себя, как сэр Чарлз Грандиссон, так как (хотя я и преклоняюсь, мисс Хант, перед глубокой, до слез

трогающей чувствительностью Сэмюэла Ричардсона) сэр Чарлз Грандиссон частенько вел себя как шарлатан. Но никто и представить себе не может, что шарлатан способен явиться не в образе сэра Чарлза Грандиссона, а в образе сэра Роджера де Коверли. Выдавать себя за доброго малого, чуть-чуть не в своем уме — таково ныне инкогнито преступников, мисс Хант. Идея великолепная, имеющая неизменный успех. Но этот успех и является верхом жестокости. Я могу простить Дику Терпину, когда он превращается в доктора Бээби; но я не прощаю, когда он изображает доктора Джонсона. Святой, у которого мозги не в порядке, лицо, по-моему, слишком священное, чтобы его можно было пародировать.

— Но откуда вы знаете, — в отчаянии вскричала Розамунда, — что мистер Смит знаменитый преступник?

— Я собрал уже все документы, — сказал американец, — к тому времени, как мой друг Уорнер обратился ко мне по получении вашей телеграммы. Эти факты — моя профессия, мисс Хант. И они бесспорны и точны, как поезд, проходящий в срок по расписанию. Этому человеку до сих пор удавалось избегать кары, благодаря изумительной его способности разыгрывать из себя младенца или дурачка. Но я сам лично как специалист собрал частным образом сведения о восемнадцати или двадцати злодеяниях, задуманных или совершенных — именно благодаря такому приему. Человек проникает в чужую квартиру таким же манером, как он проник в вашу, и достигает того, чтобы его все полюбили. Все идет по его плану. Когда же он исчезает, исчезает еще что-нибудь. Исчезает, мисс Хант, исчезает — жизнь человека или его ложки, или чаще всего — женщина. Уверяю вас, у меня есть документальные данные.

— Я познакомился с ними, — солидно подтвердил доктор Уорнер, — и могу вас уверить, что они вполне достоверны.

— Самым бесчеловечным, с моей точки зрения, — продолжал американский медик, — является его отношение к женщинам. Он соблазняет невинную женщину дикой симуляцией невинности. Из каждого дома, в котором побывал этот изобретательный дьявол, уводил он невинную девушку. Говорят, что кроме красивого лица он обладает гипнотизирующей силой, и женщины следуют за ним, как автоматы. Что стало со всеми этими несчастными девушками? Никто не знает. Убиты, смею сказать; мы обладаем достаточным количеством данных, что рука его не останавливается и перед убийством, хотя ни одно из них не было обнаружено и доведено до суда. Так или иначе, но наши новейшие методы сыска не помогли нам напасть на след этих загубленных женщин. Мысль о них угнетает меня больше всего, мисс Хант. Покуда я ничего не могу больше сказать, кроме того, что сказал доктор Уорнер.

— Верно, верно, — сказал Уорнер с улыбкой, словно высеченной из мрамора. — Повторяю, мы все крайне благодарны вам за вашу телеграмму.

Маленький ученый янки говорил с такой очевидной искренностью, что забывались особенности его тона и манер — опускающиеся ресницы, поднимающийся голос, сжатые пальцы, большой с указательным — все, что при других обстоятельствах было бы немного смешно. Хотя Пим был гораздо знаменитее Уорнера, нельзя сказать, чтобы он был умнее своего английского коллеги, но он обладал тем, чего у Уорнера никогда не было, — свежей, неподдельной серьезностью, великой американской добродетелью простоты. Розамунда сдвинула брови и мрачно вглядывалась в черневшее здание, где находилось чудовище.

Ясный дневной свет еще не совсем угас, но уже не золотом отливал он, а серебром; из серебряного превращался в серый. На мертвом фоне сумерек длинные перистые тени одного-двух деревьев в саду увядали все более и более. В самой резкой и глубокой тени — за крыльцом дома, под широко французским окном — Розамунда могла наблюдать, как Инглвуд (приставленный стеречь таинственного узника) торопливо совещался с Дианой, явившейся из сада к нему на помощь. Сильно жестикулируя, они обменялись несколькими словами и потом вошли в комнаты, закрыв за собой стеклянную дверь, ведущую в сад. И сад стал еще серее.

Казалось, что американский джентльмен, именуемый Пимом, хотел было двинуться по тому же направлению. Но, не сходя с места, он заговорил с Розамундой так простодушно и в то же время так деликатно, что она простила ему его чисто детскую спесь; в его словах было столько неожиданной своенравной поэзии, что несмотря на всю его педантичность трудно было назвать этого человека педантом.

— Мне очень жаль, мисс Хант, — сказал он, — но доктор Уорнер и я, как квалифицированные специалисты, находим самым удобным увезти мистера Смита в этом кебе, и чем меньше будет разговоров, тем лучше. Не волнуйтесь, мисс Хант; вы не должны забывать, что мы увозим от вас некое чудовище, пугало, нечто такое, чему лучше бы и вовсе не быть: нечто похожее на идолов, находящихся в вашем Британском музее: и крылья, и бороды, и ноги, и глаза — но без человеческого облика. Вот, что представляет из себя Смит, и скоро вы избавитесь от него.

Он сделал шаг по направлению к дому, Уорнер последовал за ним. Вдруг распахнулась стеклянная дверь. Из дому вышла Диана Дьюк и быстрее обыкновенного прошла по лужайке, все время не спуская глаз с Розамунды.

— Розамунда! — в отчаянии вскрикнула она. — Что мне с нею делать?

— С нею? — встрепелась мисс Хант и даже привскочила на месте. — Боже мой! Не женщина ли он еще вдобавок?

— Нет, нет, нет, — успокаивающим тоном проговорил доктор Пим, очевидно желая быть справедливым. — Женщина? Нет! До этого он еще не дошел.

— Я имею в виду вашу подругу, Мэри Грэй! — по-прежнему раздраженно говорила Диана. — Что мне теперь делать с ней?

— Как вам открыть ей всю правду относительно Смита, хотите вы сказать? — спросила Розамунда, и ее лицо затуманилось. — Да, действительно, это будет нелегкое дело.

— Но я уже открыла ей всю правду! — вскричала Диана с несвойственным ей отчаянием. — Я сказала ей все, но она не обращает внимания и продолжает твердить, что уедет вместе с ним в этом кебе.

— Это невозможно! — воскликнула Розамунда. — Ведь Мэри набожная, религиозная девушка. Она...

Розамунда вовремя остановилась, заметив, что по лужайке направляется к ним Мэри Грэй. Обычной своей походкой шла она спокойно по саду, очевидно одетая для путешествия. На голове у нее был хорошенский, но изрядно поношенный иссиня-серый берет, а на руки она натягивала серые, слегка продранные перчатки. Все же эти два серых пятна великолепно гармонировали с ее роскошными медно-красными волосами; поношенная одежда была ей к лицу, ибо женщине только тогда к лицу ее платье, когда кажется, что оно надето случайно.

Но в данном случае эта женщина обладала свойством еще более исключительным и привлекательным. В эти серые часы заката, когда небо еще печально, случается, что где-нибудь в углу остается одно отражение, где замедляется исчезающий свет. В окне, в воде, в зеркале еще горит огонь, исчезнувший для остального мира. Причудливое, почти треугольное лицо Мэри Грэй было словно треугольный осколок зеркала, еще отражавший великолепие минувших часов. Мэри всегда была миловидна, но ее нельзя было назвать красавицей. Однако теперь ее счастливое лицо среди общего горя было так прекрасно, что при взгляде на нее у всех мужчин захватило дыхание.

— О, Диана, — понижая голос и изменяя свою первоначальную фразу, сказала Розамунда, — как вы сказали ей это?

— Сказать ей это нетрудно, — отозвалась Диана. — Это не производит на нее решительно никакого впечатления.

— Простите, я заставила вас ждать, — извиняющимся тоном проговорила Мэри Грэй. — Теперь нам и в самом деле необходимо проститься. Инносент отвезет меня к своей тетке в Хемпстед... а я боюсь, что она рано ложится спать.

Мэри говорила мимоходом о прозаическом деле, но в глазах у нее сонно мерцало сияние — необычайнее тьмы. Казалось, что она созерцает какой-то отдаленный предмет.

— Мэри, Мэри! — вскричала Розамунда совершенно упавшим голосом. — Мне так жаль, но это невозможно. Мы... мы... раскрыли все, что касается мистера Смита.

— Все? — с вялым любопытством повторила Мэри. — Должно быть, это страшно интересно!

Ни шороха, ни звука, — молчание; только молчаливый Майкл Мун, прислонившийся к решетке, поднял голову, точно

к чему-то прислушивался. Розамунда не знала, что сказать. Доктор Пим пришел ей на помощь по-своему, решительно и резко.

— Вот в чем дело! — заявил о н . — Этот человек, Смит, на каждом шагу совершает убийства. Ректор Брэксспирского колледжа...

— Я з н а ю , — сказала Мэри с неопределенной и в то же время сияющей улыбкой. — Инносент рассказывал мне.

— Не знаю, что он вам рассказывал, — быстро возразил Пим, — но я имею основание опасаться, что он говорил вам неправду. Правда заключается в том, что этот человек по горло погряз во всех известных человеческих пороках. Уверяю вас, что у меня есть документальные данные. Я имею очевидные доказательства того, что им совершены кражи со взломом. Вот под этим, например, документом имеется подпись одного из самых выдающихся английских викариев. Я имею...

— О, там было целых два викария, — вскричала Мэри с какой-то мягкой настойчивостью. — Это смешнее всего.

Темные стеклянные двери снова распахнулись, и в них на мгновение показался Инглвуд, деляя рукой какой-то знак. Американский доктор кивнул головой, английский доктор не кивнул головой, но оба они мерными стопами направились к дому. Остальные не сдвинулись с м е с т а , — Майкл по-прежнему висел на решетке. Но поворот его плеч и затылка определенно указывал, как жадно ловит он каждое слово.

— Разве вы не понимаете, Мэри? — в отчаянии кричала Розамунда. — Разве вы не знаете, какие ужасные вещи творились здесь перед нами, у нас на глазах? Думаю, что и там наверху вы должны были слышать револьверные выстрелы.

— Да, я слышала выстрелы, — почти весело сказала М э р и . — Но я тогда была занята, укладывала вещи в чемодан. Инносент сказал мне заранее, что собирается стрелять в доктора Уорнера, так что, собственно говоря, не стоило спускаться из-за этого вниз.

— Ах, я не понимаю, что вы такое говорите! — крикнула Розамунда Хант и топнула ногой. — Но вы должны понять, что я скажу вам. И вы поймете. Я вам скажу всю правду без всяких прикрас, потому что вас необходимо спасти. Я хочу сказать, что ваш Инносент Смит — самый мерзкий, безнравственный человек во всем свете. Многих мужчин пристрелил он, многих женщин увез с собой в кебе. Он, кажется, убивал этих женщин, так как никто не может никогда разыскать их.

— Он, действительно, иногда заходит чересчур далеко, — сказала Мэри и, тихо смеясь, стала застегивать свои старенькие серые перчатки.

— Нет, это настоящий месмеризм! — вскричала Розамунда и разразилась потоками слез.

В ту же самую минуту оба доктора, одетые в черное, вышли из дома. Их пленник — колоссальный верзила в зеленом

костюме — шел посредине. Он не оказывал им сопротивления, но все время улыбался хмельной полоумной усмешкой. Артур Инглвуд завершал процессию — в черном костюме, весь красный — как последняя тень отчаяния и стыда. Никто в обеих группах не шелохнулся, за исключением Мэри Грэй. Она спокойно пошла навстречу Смиту и спросила:

— Вы готовы, Инносент? Наш кеб уже давно ждет.

— Леди и джентльмены, — решительно заявил доктор Уорнер. — Я настоятельно требую, чтобы эта леди оставила нас. У нас и без того достаточно хлопот, а в кебе еле хватит места для троих.

— Это ведь наш кеб, — настаивала Мэри. — Вон наверху желтый чемодан Инносента.

— Отойдите, пожалуйста, в сторону, — строго сказал Уорнер. — А вы, мистер Мун, будьте любезны, подвиньтесь немного. Живее, живее! Чем скорее мы кончим это отвратительное дело, тем лучше, но как нам открыть калитку, если вы прислонились к ней?

Майкл взглянул на его длинный, сухой указательный палец и, казалось, взвешивал сказанное.

— Да, — произнес он наконец. — Но к чему же я прислонюсь, если вы откроете калитку?

— О, да уйдите же с дороги! — воскликнул почти добродушным тоном Уорнер. — Опирайтесь на нее, сколько вам угодно, в другое время.

— Нет, вряд ли еще будет другое такое время, и такое место, и синяя калитка — все вместе, — задумчиво заметил Майкл Мун.

— Майкл, — воскликнул Артур Инглвуд в полном отчаянии, — сойдете вы наконец с дороги?

— Едва ли... Пожалуй что нет! — после некоторого раздумья сказал Майкл и медленно повернулся кругом, так что лицом к лицу столкнулся со всеми собравшимися, все еще продолжая с беззаботнейшим видом загораживать им проход.

— О, — внезапно вскричал он. — Что вы хотите сделать с мистером Смитом?

— Мы увезем его! — коротко отрезал Уорнер, — и подвергнем исследованию.

— Устройте ему экзамен? — весело спросил Мун.

— Да, у судебного следователя, — отрезал тот.

— Какие следователи, — вскричал, возвышая голос, Майкл, — кроме древних, независимых герцогов Маяка, смеют судить о том, что происходит на этой свободной земле? Какой суд, кроме Верховного Совета Маяка, имеет право судить одного из наших сограждан? Вы забыли, что только сегодня в полдень выкинули мы флаг независимости и отделились от всех остальных наций мира.

— Майкл, — заломив руки, вскричала Розамунда, — как вы можете задерживать всех и болтать пустяки? Ведь вы сами были очевидцем всего этого ужаса! Вы были здесь, когда он сошел

с ума. Вы помогли доктору подняться, когда тот споткнулся о цветочный горшок.

— Верховный Совет Маяка, — с гордым видом возразил Мун, — имеет особые полномочия во всех случаях, касающихся цветочных горшков, докторов, падающих в саду, и безумцев. Этот пункт имеется даже в нашей первой хартии времен Эдуарда I: «*Si medicus quisquam in horto prostratus...*»¹

— С дороги! — вскричал внезапно расшвырявшийся Уорнер. — Или мы заставим вас силой...

— Что? — вскричал Майкл Мун, испуская яростный и в то же время радостный крик. — Итак, я должен погибнуть, защищая эту священную ограду! Вы хотите обагрить эту синюю решетку моей кровью? — И он схватился рукой за острие одной из синих пик позади себя. Пика еле держалась в решетке — и, как только Мун дотронулся до нее, очутилась в руке у ирландца.

— Взгляните! — кричал он, подбрасывая в воздухе этот сломанный дротик. — Даже пики, окружающие башни Маяка, встают со своих мест на его защиту! Как прекрасно умереть одиноком в таком месте и в такое мгновение — и четким голосом процитировал он благородные строки Ронсара:

*Ou pour l'honneur de Dieu, ou pour le droit de mon prince,
Navre, poitrine ouverte, au bord de ma province*².

— Вот так история! — почти с испугом сказал американец. И добавил: — Что, здесь у вас не один сумасшедший, а два?

— Нет, здесь их пятеро, — прогремел Мун. — И только двое нормальных, только двое не сошли с ума — Смит и я.

— Майкл! — вскричала Розамунда. — Майкл, что это значит?

— Это значит — вздор, — проревел Майкл, и его синее копье полетело в другой конец сада. — Это значит, что доктора — вздор, и криминология — вздор, и американцы — вздор, еще более нелепый, чем наше судилище. Это значит, вы, тупоголовые, что Инносент Смит такой же безумец и такой же преступник, как любая птица на дереве.

— Но, дорогой мой Мун, — застенчивым голосом сказал Инглвуд, — эти джентльмены...

— По совету двух докторов, — снова вскипел Мун, никого не слушая, — запереть человека в одиночную камеру! Лишь по совету двух докторов! О, моя шляпа! И каких докторов! Взгляните на них! Только взгляните на них! Разве можно с такими советовать-ся! Разве можно читать книгу, покупать себе собаку или остановиться в гостинице по совету таких докторов? Мои предки вышли из Ирландии и были католиками. Что бы вы сказали, если бы я признал человека порочным, основываясь на словах двух священников?

¹ Если какой-нибудь медик упадет в саду... (лат.).

² Или во славу Божью, или за честь моего короля, В отчаянии, с открытой грудью, на краю моей земли (фр.).

— Но тут не только слова,— возразила Розамунда. — У них есть и доказательства.

— А вы видели эти доказательства? — спросил Мун.

— Нет, — отвечала Розамунда с каким-то робким удивлением. — Доказательства в их руках.

— Как и все вообще в их руках,— продолжал Мун. — Вы даже приличия ради не пожелали посоветоваться с миссис Дьюк.

— О, это бесполезно,— шепнула Диана Розамунде, — тетя не могла бы и гуся сказать «кыш».

— Я рад слышать это,— сказал Майкл. — С нашим гусиным стадом она должна была бы без устали твердить это ужасное слово. Что касается меня, то я просто не допущу такого легкомысленного и ветреного образа действий. Я взываю к миссис Дьюк, — это ее дом.

— Миссис Дьюк? — недоверчиво протянул Инглвуд.

— Да, миссис Дьюк,— твердо стоял на своем Майкл Мун, — Дьюк, обычно называемой Железным Герцогом.

— Если вы спросите тетю, — спокойно проговорила Диана, — она будет за то, чтобы ничего не предпринимать. Единственное ее желание, чтобы не было шума, чтобы все шло так, как идет. Ей только это и нужно.

— Да,— вставил Майкл, — в данном случае это нужно и всем нам. Вы не уважаете старших, мисс Дьюк. Когда вы будете в ее возрасте, вы узнаете то, что знал Наполеон: половина писем могут обойтись без ответа, если вы сами удержитесь от страстного желания ответить на них.

Он все еще не изменил своей бессмысленной позы — опирался локтем о ворота. Но тон его внезапно — уже в третий раз — изменился. Первый, притворно-героический, превратился в гуманно-возмущенный, а теперь перешел во внушительно-настойчивый голос адвоката, дающего хороший юридический совет.

— Не только тетка ваша желает, чтобы все было тихо и мирно, насколько возможно,— сказал он. — Мы все желаем того же. Вникните в основу всего дела. Я полагаю, что эти представители науки допустили одну в высшей степени серьезную научную ошибку. Я уверен, что Смит так же невинен, как весенний цветок. Я не спорю, — цветы не часто стреляют в частных домах из заряженных револьверов; я не спорю, — здесь есть что-то подлежащее выяснению. Но я глубоко уверен, что за этим кроется какая-то ошибка или шутка, или аллегория, или просто несчастный случай. Хорошо, предположим, что я не прав. Мы обезоружили его; здесь нас пятеро мужчин, мы во всякую минуту можем сдержать его. Посадить его под замок никогда не поздно. Успеем и после. Но предположим, что в моих догадках есть хоть крупица правды. Кому же из здесь присутствующих будет приятно, если мы станем полоскать грязное белье перед публикой? Кому это надо? Кому это выгодно? Слушайте — начнем по порядку. Стоит вам только вывезти Смита из-за этой ограды, как

вы тем самым вывозите его на первую страницу вечерних газет. Я знаю; я сам нередко составлял первые страницы в газетах. Мисс Дьюк, желаете ли вы, желает ли ваша тетушка, чтобы о вашем пансионе была напечатана вот такая заметка: «Здесь стреляют в докторов»? Артур, я могу ошибаться, но Смит появился у нас впервые в качестве вашего школьного товарища. Запомните мои слова: если он будет признан виновным, то Органы Общественного Мнения объявят, что сюда ввели его вы. Если же он будет оправдан, они протрубят во все трубы, что это именно вы помогли его задержать. Розамунда, моя дорогая, — прав я или не прав — все равно, но знайте, что, если он будет признан виновным, они объявят, что вы хотели выдать за него замуж свою компаньонку. Если же он будет оправдан, они распечатают ту телеграмму. Я знаю эти органы, чтоб им провалиться сквозь землю!

Он остановился на минуту, пылкое рассуждение утомило его больше, чем прежние театральные речи. Но теперь он был безусловно искренен, точен, логичен, это сказалось и в той речи, которую он произнес, как только ему удалось отдышаться.

— Так же обстоит дело, — кричал он, — и с нашими медиками. Вы скажете, что доктор Уорнер — лицо потерпевшее. Согласен. Но неужели он жаждет, чтобы все газетные писаки изобразили, как он шлепнулся носом в землю? Правда, он не виноват, но зрелище было не очень блистательное. Он взывает о справедливости, но желает ли он взывать о ней не только на коленях, но и на четвереньках? Не принято, чтобы доктора занимались саморекламой, да я и сомневаюсь, чтобы какой-нибудь доктор пожелал подобной рекламы. И даже у нашего американского гостя интересы совпадают с нашими. Положим, у него имеются решающие дело документы. Допустим, что в его руках находятся улики, действительно заслуживающие рассмотрения. Хорошо, ставлю десять против одного, что на суде не допустят, чтобы он огласил эти данные. В наши дни человек не может всенародно говорить правду. Он может, однако, сказать ее в стенах этого дома.

— Это совершенно верно, — произнес Сайрус Пим с невозмутимой важностью. Сохранить важность при таких обстоятельствах мог только американец. — Совершенно верно: меня значительно меньше стесняли при частных допросах.

— Доктор Пим! — внезапно раздражаясь, вскричал Уорнер. — Доктор Пим! Вы, конечно, не допускаете...

— Смит, может быть, сумасшедший, — продолжал меланхолический Мун, и слова его монолога падали тяжело, как секира. — Но во всех его разглагольствованиях о самоуправлении каждого дома есть доля правды; есть что-то прекрасное в идее Верховного Судилища «Маяка». Несомненная правда заключается в том, что во многих случаях люди могут уладить свои дела своим собственным домашним законом, тогда как на суде их

ждет только официальное беззаконие. О, я ведь тоже юрист, и мне это отлично известно. Очень часто вся нация не может решить вопрос, который удачно разрешит одна семья. Множество юных преступников штрафуется и рассылается по тюрьмам, а их следовало бы просто пошлепать и уложить в постель. Множество мужчин, я в том уверен, заключены на всю жизнь в Хэнуолле, а между тем их следовало бы отправить на недельку в Брайтон. Есть что-то ценное в предложенной Смитом идее домашнего суда, и я предлагаю провести ее на практике. Подсудимый — в ваших руках; документы — тоже. Мы все здесь свободные, белые люди — христиане. Вообразите себе, что мы находимся в осажденном городе или на необитаемом острове. Давайте сами уладим это дело; вернемся в дом, усядемся в кружок и собственными глазами, собственными ушами расследуем, правда ли все это или нет; человек ли этот Смит или чудовище. Если мы не в силах решить такое маленькое дело, то какое имеем мы право участвовать в парламентских выборах и ставить кресты на бюллетенях?

Инглвуд и Пим переглянулись. Уорнер был далеко не дурак. Он видел, что позиция Муна приобретает твердую почву. Причины, побудившие Артура подумать об уступке, были, правда, совсем не те, что у доктора Сайруса Пима. Инглвуд всем своим существом хотел мирно, по-домашнему уладить все неприятности; он был англичанин с головы до ног и скорее примирился бы с убытками, чем стал бы искоренять их эффектными сценами и великолепной риторикой. Разыгрывать из себя шута и странствующего рыцаря на манер его приятеля ирландца было бы для него настоящей пыткой; даже и та полуофициальная роль, которую ему пришлось взять на себя, была ему в тягость. Едва ли он очень упорствовал бы, если бы кто-нибудь стал доказывать, что его обязанность — не будить спящих собак.

Сайрус Пим, напротив, родился в стране, где возможно многое, что кажется нелепым англичанину. Правила и узаконения точь-в-точь такие, как любая затея Смита или любая пародия Муна, существуют в действительности, проводятся в жизнь невозмутимыми полисменами и исполняются суетливыми деловыми людьми. Пим хорошо знал свою родину — обширные и все же таинственные и причудливые Соединенные Штаты. Каждый штат велик, как целое государство, обособлен, как затерявшаяся деревушка, и полон неожиданностей, как западня. Есть штаты, где ни один мужчина не имеет права закурить папиросу. Есть штаты, где каждый имеет право завести себе десять жен. Есть строгие штаты, где запрещается пить, есть добрые штаты, где ежедневно можно разводиться с женой. Изучив все эти крупные различия в обширных масштабах, Сайрус не удивлялся малым обычаям в малой стране. Неизмеримо более чуждый Англии, чем любой русский или итальянец, абсолютно неспособный даже отдать себе отчет во всех английских условностях, он

не в состоянии был осмыслить, насколько недопустимо Судилище «Маяка». Все участники этого эксперимента были уверены в том, что Пим до самого конца не сомневался в подлинном существовании такого фантастического суда и полагал, что суд этот является одним из британских установлений.

На мгновение весь синклит погрузился в молчание. Становилось темно. Сквозь сгущавшийся туман к этим людям приблизилась какая-то невзрачная фигурка, походка которой имела отдаленное сходство с развинченным негритянским танцем.

— Да ведь это Моисей Гулд! — воскликнул Майкл Мун. — Разве не достаточно одного только его появления, чтобы рассеять все ваши мрачные мысли?

— Но, — возразил доктор Уорнер, — я не могу понять, какое отношение имеет мистер Гулд к данному вопросу, и еще раз я требую...

— Послушайте, что здесь за похороны? — шумно спросил вновь прибывший, самовольно принимая на себя роль посредника. — Доктор чего-нибудь требует? Так всегда в пансионатах. Вечные претензии! Отказать!

С возможным беспристрастием и деликатностью изложил ему Мун положение вещей и в общих чертах пояснил, что Смит оказался виновным в опасных и сомнительных поступках и что даже возникло сомнение в его нормальности.

— Ну, конечно, он сумасшедший, — невозмутимо заявил Моисей Гулд. — Не нужно старика Шерлока Холмса, чтобы заметить, что он сумасшедший! Ястребиное лицо Холмса, — продолжал он, смакуя собственное остроумие, — омрачилось тенью разочарования, так как угреподобный Гулд понял эту истину раньше него.

— Ну, если он сумасшедший... — начал Инглвуд.

— Еще бы, — сказал Моисей. — Если кто в первый раз в жизни заливает за галстук да хватит через край, то с непривычки у него мозги набекрень — непременно.

— Раньше вы не говорили таким тоном, — довольно резко проговорила Диана, — а теперь вы слишком много себе позволяете.

— Я на него не в обиде, — великодушно заметил Моисей, — бедняга никому не причинит никакого вреда. Можно привязать его к дереву, и пусть себе пугает воров.

— Моисей, — сказал Мун торжественно и горячо, — вы воплощение Здравого Смысла. Вы думаете, что мистер Инносент — сумасшедший. Пред вами воплощение Научной Теории. Доктор так же, как и вы, думает, что мистер Инносент — сумасшедший. Познакомьтесь. Доктор, это мой друг мистер Гулд. Моисей, это знаменитый психиатр, доктор Сайрус Пим.

Знаменитый психиатр, доктор Сайрус Пим, закрыл глаза, поклонился и тихим голосом пробормотал свой национальный боевой клич — нечто вроде «Рад видеть».

— Вы оба, — весело продолжал Майкл, — уверены, что наш бедный друг сошел с ума. Ступайте же скорее в этот дом и докажите, что это так. Что может быть могущественнее научной теории, идущей рука об руку со здравым смыслом! Вместе вы — все; каждый порознь — ничто. Я не так невежлив, чтобы предположить, что у доктора Пима нет здравого смысла. Я ограничусь лишь установлением факта, что до сих пор он ни в чем не проявил этого здравого смысла. В качестве старого друга я беру на себя смелость утверждать и готов прозакладывать свою последнюю рубашку, что Моисей не знаком ни с какой научной теорией. Но даже с вашим мощным союзом готов я бороться, вооруженный одной интуицией.

— Весьма рад такому сотруднику, как мистер Гуд, — сказал Пим, внезапно открывая глаза. — Я, однако, полагаю, что, хотя мы оба, он и я, сходимся в первоначальном диагнозе, между нами все-таки есть что-то такое, чего нельзя назвать разногласием, что мы могли бы назвать, скажем...

Он сложил концы большого и указательного пальцев, изящно приподнял остальные и, казалось, ждал, что ему подскажут нужное слово.

— Ловлю мух? — осведомился обязательный Моисей.

— Расхождением, — сказал доктор Пим, сопровождая это слово легким вздохом. — Расхождением. Если допустить, что вышеназванный субъект не в своем уме, это еще не значит, что он принадлежит к числу маниакальных убийц, о которых говорит наука.

— Приходило ли вам в голову, — заметил Мун, который снова прислонился к воротам, но не повернул головы к собеседнику, — что, если бы он был маниакальный убийца, он бы давно уложил нас на месте, пока мы здесь стоим и болтаем?

Внезапно вспыхнуло что-то в глубине их сознания, словно скрытый динамит в подземелье. Впервые за час или два вспомнили они, что, пока они разговаривают о страшном чудовище, оно с невозмутимым спокойствием стоит среди них. Они оставили его в саду, точно садовую статую; если бы дельфин мог обвиться вокруг его ног, или фонтан забил у него изо рта, они не удивились бы, — так мало внимания обращали они на преступника. Он стоял в одной и той же позе, сунув руки в карманы, слегка согнув могучие плечи; густые, светлые, взбитые ветром волосы слегка спускались ему на лоб, свежее, немного близорукое лицо было обращено вниз, и глаза его не останавливались ни на чем в особенности. По всей вероятности, он за все это время ни разу не сдвинулся с места. Его зеленое платье, казалось, было вырезано из того же зеленого дерна, на котором он стоял. Своей тенью он осенял всех собравшихся; под этой тенью все время разглагольствовал Пим, рассуждала Розамунда, паясничал Майкл и горланил Моисей. Он же застыл, словно статуя. Воробей присел к нему на его дородное плечо и, оправив свой перистый костюм, улетел.

Майкл громко захохотал.

— Ну,— взревел он, — Суд «Маяка» открылся, и тотчас же пришлось его закрыть... Вы все теперь знаете, что я прав. Ваш скрытый здравый смысл подсказал вам то самое, что подсказал мне мой скрытый здравый смысл. Смит мог палить из ста пушек вместо одного револьвера — и вы все равно знали бы, что он ни для кого не опасен. Идем же в дом и приготовим залу для заседаний суда. Так как Верховное Судилище «Маяка» уже пришло к определенному решению, то оно приступает к следствию.

— Суд идет! — вскричал маленький Моисей в необычайном возбуждении, словно животное во время музыки или грозы. — Идите к Высшему Судилищу Яиц и Ветчины! Есть копченая рыба из старинного торгового дома. Господин судья благодарит мистера Гулда за проявленную им тончайшую профессиональную деликатность, достойную лучших традиций питейного заведения. На три пенса шотландской горяченькой, мисс! Ну, поймайте меня, девушки!

Так как девушки не проявили ни малейшего желания поймать его, он двинулся один, приплясывая в большом возбуждении. Он обежал весь сад и вернулся на прежнее место, — запыхавшись, но в таком же восторге. Мун знал своего приятеля; он знал, что ни один человек, даже в припадке ярости, не мог бы остаться серьезным, глядя на мистера Гулда. Раскрытая стеклянная дверь была к нему ближе всех, и так как ноги этого ликующего глупца быстро зашагали в ту сторону, то все тотчас же двинулись к дому — единодушной и шумной ватагой. Только Диана Дьюк сохранила некоторую долю суровости: она долго крепилась, но наконец не вытерпела и высказала то, что уже давно готово было сорваться с ее нетерпеливых женских губ. Покуда разыгрывалась трагедия, она считала невозможным высказать эту мысль, казавшуюся ей бессердечной.

— В таком случае,— сухо сказала она, — можно отпустить этих кебменов.

— Надо вернуть Инносенту его чемодан, — с улыбкой сказала Мэри. — Надеюсь, кебмен снимет его для нас.

— Я достану чемодан, — сказал Смит. Это были его первые слова за все время; голос звучал гулко и глухо, точно голос статуи.

Те, кто так долго топтались и рассуждали вокруг него, пока он стоял неподвижно, были огорошены его буйной стремительностью. Одним прыжком, как на пружине, вылетел он из сада — на улицу, одним прыжком вскочил на крышу кеба. Кебмен в то время стоял около лошадиной морды и снимал с нее пустую торбу. На мгновение казалось, что Смит кувыркается на крыше кеба в объездах своего чемодана. Однако в следующее мгновение он, как бы по счастливой случайности, вкатился на высокие козлы и издал неожиданный пронзительный крик. Конь сорвался с места и сломя голову помчался по улице.

Исчезновение Смита было так молниеносно и быстро, что все превратилось в садовые статуи. Впрочем, мистер Гулд, не вполне приспособленный — и морально, и физически — к задачам навеки застывшей скульптуры, прежде других вернулся к жизни и, повернувшись к Муну, заметил с видом человека, обратившегося где-нибудь в omnibusе к незнакомому пассажиру:

— Что? Сорвалось? А? Поминай как звали?..

Последовало роковое молчание; затем заговорил доктор Уорнер, с презрительным смехом. Каждое его слово было ударом кремневой дубины.

— Вот вам и Суд «Маяка», мистер Мун. Вы пустили буйного сумасшедшего невозбранно гулять по столице...

Дом «Маяка» находился, как уже было сказано, на краю длинного ряда зданий, стоявших полукругом. Крохотный садик, прилежавший к нему, острым углом выдавался вперед, словно зеленый мыс, врезающийся в море двух улиц. Смит и его кеб промчались по одной стороне треугольника, и большинство собравшихся было непоколебимо уверено, что им уже никогда не увидеть Инносента. Но, домчавшись до вершины, он внезапно повернул коня и на глазах у всей компании промчался таким же бешеным аллюром по другой стороне, вдоль сада. Инстинктивным движением ринулись все по лужайке вперед, словно желая остановить его, но тотчас же — весьма благоразумно — отпрянули прочь. Перед тем, как вторично исчезнуть, он изо всех сил поднял одной рукой свой громадный желтый чемодан и швырнул его таким могучим взмахом, что тот, словно бомба, грохнулся в середину сада. Все бросились врассыпную. Шляпа доктора Уорнера едва не пострадала в третий раз.

— Хорошо! — сказал Мун, и очень странная нота зазвучала в его голосе. — Это не помешает вам всем войти в дом; стало темно и холодно! У нас все же остались две реликвии от мистера Смита; его невеста и его чемодан.

— Зачем вам нужно, чтобы мы вошли в дом? — спросил Артур Инглвуд. Казалось, что под его розоватым челом и темно-каштановыми волосами тоска достигла апогея.

— Мне нужно, чтобы все остальные вошли в дом, — отчеканил Майкл, обращаясь к Артуру. — Мне нужен весь этот сад, чтобы побеседовать с вами.

Все словно бы засомневались; и вправду становилось холоднее, ночной ветер в сумерках уже начал раскачивать верхушки деревьев. Но доктор Уорнер заговорил безапелляционно и резко.

— Я отказываюсь выслушивать подобные предложения, — сказал он. — Вы дали ускользнуть негодяю, и я должен отыскать его.

— Да я и не прошу вас выслушивать какие бы то ни было предложения, — спокойно возразил Мун, — я только прошу вас просто слушать...

Он поднял руку, призывая к молчанию, и вслед за этим шелестящий звук, затерявшийся в глубине темной улицы, послы-

шался снова — все ближе и ближе. Но теперь он доносился с другой стороны. С невероятной быстротой разрастался этот звук, и снова бойкие подковы и сверкающие колеса примчались к синей зубчатой решетке, к тому самому месту, где кеб стоял раньше. Мистер Смит покинул свой насест, вошел обратно в сад и с самым рассеянным видом, как ни в чем не бывало, остановился в той же позе неподвижного и равнодушного слона.

— Войдите же в комнату! Войдите! — весело кричал Мун тоном человека, загоняющего в дом стаю кошек. — Войдите же, войдите, да живее! Ведь я вам тысячу раз повторяю, что мне надо поговорить с Инглвудом!

Трудно сказать, как эти люди очутились в доме. Они ужасно устали от совершающейся с ними чепухи, — подобно тому, как зрители в фарсе изнемогают от смеха. Буря, которая с каждой минутой становилась сильнее, была заключительным аккордом всего приключения. Инглвуд замешкался позади всех и обратился к Муну с дружеской и добродушной злобой:

— Вы и вправду хотите со мной поговорить?

— Хочу, — сказал Майкл, — и очень.

Настала ночь, как всегда — скорее, чем было обещано сумерками. Человеческому глазу небо казалось еще светло-серым, но яркая и очень большая луна, внезапно выплывшая из-за крыш и деревьев, доказала путем контраста, что небеса уже темные. Вороха осенних листьев на лужайке, вороха сплоченных туч в небесах, казалось, согнаны были тем же сильным и трудолюбивым ветром.

— Артур, — сказал Майкл, — я начал с интуиции, кончаю уверенностью. Вы и я, мы оба, возьмем на себя защиту вашего школьного товарища перед благословенным Судом «Маяка». Мы должны снять с Инносента пятно безумия и пятно преступления. Слушайте меня хорошенько, я хочу сказать вам небольшую проповедь.

Они зашагали взад и вперед по дорожкам темневшего сада, и Майкл Мун продолжал свою речь.

— Можете ли вы, — спросил он, — закрыть глаза и представить себе причудливые древние иероглифы, начертанные на белоснежных стенах в какой-нибудь жаркой и древней стране? Как неуклюжи они были по форме, но как пышны по краскам! Вообразите себе алфавит, состоящий из самых разнообразных фигурок, и черных, и красных, и белых, и зеленых, а перед ними ветхозаветную толпу иудеев — предков Моисея Гулда, которые стоят и глядят на них, не мигая. Попробуйте-ка догадаться, зачем люди вообще изготовили эти странные знаки.

Инглвуд в первую минуту подумал, что его беспокойный друг окончательно спятил с ума. Так безрассуден был этот ни с чем не сообразный скачок от красочных тропических стен, которые он должен был себе представить, к пригородному серому, холодному, взлохмаченному бурею саду, в котором он находился в тот миг.

— Отчего люди повторяют загадки, — продолжал Мун свою бессвязную речь, — если даже забывают их разгадки? Загадку легко запомнить, потому что ее трудно разгадать. Так же легко было запомнить все эти жесткие древние символы — черные, красные или зеленые, потому что трудно было уразуметь их значение. Их краски были ясны. Их формы были ясны. Все было ясно, кроме их смысла.

Инглвуд уже задумался было над тем, как бы помягче остановить Муна, но тот снова заговорил с возрастающим жаром. Все быстрее и быстрее ходил он по тропинке сада и все чаще затягивался папироской.

— И танцы тоже, — сказал он, — танцы были отнюдь не фривольны. Танцы было еще труднее понять, чем надписи и тесты. Древние танцы были строги, церемонны, ярко красочны, но бессловесны. Вы ничего странного не заметили в Смите?

— А х, — вскричал Инглвуд, в каком-то припадке юмора отступая назад, — заметил ли я в нем вообще что-нибудь, кроме странностей?

— Заметили ли вы, — с несокрушимым упорством продолжал допрашивать Мун, — что за все это время Смит так много сделал и так мало сказал? В начале его пребывания у нас его речь была отрывиста, сбивчива, точно он не привык говорить. Но если он не говорил, он действовал: малевал красные цветы на черных платьях или кидал желтые чемоданы на траву. Я утверждаю, что его громадная зеленая фигура — символична, как любая зеленая фигура, нарисованная на какой-нибудь восточной стене.

— Дорогой мой Майкл, — вскричал Инглвуд с раздражением, которое росло по мере нарастания бури, — вы договорились до полного вздора...

— Я думаю о том, что случилось с ейчас, — уверенным тоном продолжал Мун. — Этот человек молчал целыми часами; и все же он говорил беспрерывно. Он пустил из револьвера три пули, а потом без сопротивления вручил его нам; между тем он мог стрелять и отправить всех нас на тот свет. Этим он хотел возможно нагляднее выразить свое полное доверие к нам. Он желал, чтобы мы его судили. Он выразил это своею неподвижною позою, пока мы спорили о нем. Он хотел показать нам, что находится среди нас по своей собственной воле и что стоит ему пожелать, он может спастись побегом. И это он показал с величайшею наглядностью — и бегством в кебе, и возвращением. Инносент Смит не безумец — он ритуалист. Он желает изъясняться не словами, а с помощью рук и ног. «Моим телом я поклоняюсь тебе», как говорится в свадебном богослужении. Я начинаю понимать старинные песни и мистерии. Теперь я знаю, почему плакальщики на похоронах были немые; теперь я знаю, почему играющие в пантомимах были молчаливы, как мумии. Их тела, их фигуры становились символами. Бедный Смит, строго говоря, желает изображать из себя аллегория. Все

им совершенное в этом доме — неистово, как военный танец, но в то же время молчаливо, как картина.

— Насколько я понял, вы находите, — недоверчиво проговорил его собеседник, — что мы должны доискиваться смысла во всех этих преступлениях, как ищут смысла в раскрашенных каракулях иероглифов. Но даже если согласиться с тем, что они имеют какой-то смысл, то... Господи Боже мой!

На повороте дорожки он невольно поднял глаза вверх к луне, которая стала теперь еще ярче и больше, и вдруг увидел на стене громадную получеловеческую фигуру. Так резко выделялась она в лунном сиянии, что с первого взгляда трудно было даже подумать, что она чужья; сгорбленные плечи и волосы, стоявшие дыбом, придавали ей скорее всего вид колоссальной кошки. Сходство с кошкой стало еще сильнее, когда фигура вскочила и легко помчалась вперед по стене. Понемногу она стала похожа на павиана: такие же массивные плечи и маленькая опущенная книзу головка. Добежав до какого-то дерева, она с чисто обезьяньей ухваткой вспрыгнула на ветку и скрылась в листве. Поднявшийся вихрь качал из стороны в сторону каждый кустик в саду, и еще труднее стало судить о том, человек ли это существо или обезьяна; непрерывно движущиеся конечности слились с бесчисленными непрерывно движущимися ветками.

— Кто это? — прокричал Артур. — Кто вы такой? Вы Инносент?

— Не совсем, — донесся какой-то неясный голос из листьев. — Однажды я стянул у вас перочинный ножик.

Ветер свирепел и кидал в разные стороны дерево, в густой листве которого сидел человек; дерево металось, как в тот золотой и веселый полуденный час, когда этот человек появился впервые.

— Но вы Смит? — словно в предсмертной тоске спросил Инглвуд.

— Почти, — снова донесся голос с метавшегося под ветром дерева.

— Должно же быть у вас какое-нибудь настоящее имя! — в отчаянии вскричал Инглвуд. — Должны же вы называться как-нибудь.

— Называйте меня как-нибудь, — прогремело гнущееся темное дерево, точно все десять тысяч листьев его говорили хором, одновременно. — Я называю себя Роланд-Оливер-Исайя-Шарлемань-Артур-Гильдебранд-Гомер-Дантон-Микеланджело-Шекспир-Брэкспир...

— Послушайте вы, живой человек!.. — в полном изнеможении начал Инглвуд.

— Правильно! Правильно! — ревом пронесся ответ с метавшегося в разные стороны дерева. — Это мое настоящее имя.

Инносент отломал от дерева ветку, и два-три осенних листа, шурша, полетели вдаль, чернея на фоне луны.

Часть II

РАЗГАДКИ ИННОСЕНТА СМИТА

Глава I

ОКО СМЕРТИ, ИЛИ ОБВИНЕНИЕ В УБИЙСТВЕ

Столовая была наскоро приспособлена для заседания Верховного Судилища «Маяка» и разукрашена как можно пышнее, от чего она сделалась еще уютнее прежнего. Большая эта комната была как бы разбита на маленькие каютки, отделенные друг от друга перегородками не выше пояса — вроде тех перегородок, которые устраивают дети, когда играют в лавку. Эти перегородки были воздвигнуты Моисеем Гулдом и Майклом Муном (двумя наиболее активными участниками знаменитого процесса), причем материалом послужила самая обыкновенная мебель. Они поставили на одном конце, у длинного обеденного стола, огромное садовое кресло, осенили его сверху ветхим, изодранным шатром или зонтиком, тем самым, который был рекомендован Инносентом для коронационного балдахина. Внутри этой махины восседала на подушках грузная миссис Дьюк, и, судя по выражению лица, ее сильно клонило ко сну. У другого конца стола на своеобразной скамье подсудимых сидел обвиняемый Смит, тщательно изолированный от внешнего мира квадратом легоньких стульев, принесенных из спальни, хотя любой из них он мог бы выбросить за окно одним пальцем. Его снабдили перьями и бумагой; в течение всего процесса он с большим удовольствием мастерил из этой бумаги бумажные кораблики, бумажные стрелы и бумажные куклы. Он ни разу не сказал ни слова и даже не поднял глаз; казалось, он чувствовал себя на суде так же беззаботно, как ребенок на полу в своей детской, где нет ни одного человека.

На длинной кушетке были поставлены стулья, а на стульях, спиной к окну, разместились три девушки, Мэри Грэй посредине. Получилась не то скамья присяжных, не то палатка королевы красоты, восседающей на рыцарском турнире.

На столе, на самой середине, воздвигнут был Муном невысокий барьер из восьми томов «Добрых Слов», чтобы обозначить ту нравственную преграду, которая разделяла спорящие стороны. По правую сторону стола сидели оба представителя обвинения, доктор Пим и мистер Гулд. Сзади них — баррикада из книг и документов, главным образом солидные труды по криминологии.

В свою очередь и защитники Смита, Майкл Мун и Артур Инглвуд, были вооружены книгами и бумагой; но так как весь их научный багаж состоял из нескольких истрепанных желтых книжонок Уйды и Уилки Коллинза, то нельзя было не признать, что мистер Мун действовал в данном случае слишком уж небрежно и самоуверенно.

Что же касается доктора Уорнера, истца и потерпевшего, то Мун сначала предполагал усадить его в уголок за высокую ширму, считая не деликатным требовать его личного присутствия в суде, причём в частном разговоре дал ему, однако, понять, что суд будет смотреть сквозь пальцы, если он иногда выглянет из-за прикрытия. Но доктор Уорнер не был способен оценить это рыцарское предложение, и после некоторых переговоров и пререканий ему было предоставлено кресло с правой стороны стола на одной линии с его законными защитниками.

Первым выступил перед этим солидным трибуналом доктор Сайрус Пим. Он пригладил рукой свои медово-желтые волосы, заправил их за уши и открыл заседание. Его речь была ясна и даже сдержанна; образные выражения, встречавшиеся в ней, обращали на себя внимание лишь благодаря той непостижимой внезапности, с которой они появлялись; но таково уж красноречие американских ораторов.

Он опустил концы десяти тонких пальцев на стол, закрыл глаза и открыл рот.

— Прошло то время, — сказал он, — когда убийство рассматривалось, как моральный и индивидуальный поступок, имеющий значение отчасти для убийцы, отчасти для убитого. Наука глубока... — Тут он остановился, подняв вверх плотно сжатые пальцы — большой и указательный, словно удерживая за хвост ускользавшую мысль, потом прищурил глаза и произнес: — ...модифицировала и, повторяем, сильно модифицировала наши взгляды на явление смерти. В темные, суеверные века под смертью разумели прекращение жизни, катастрофическое и даже трагическое. Ее часто окружали торжественными обрядами. Однако настала более светлая эра, и теперь мы видим в смерти явление неизбежное, универсальное, часть того великого, умирительного, трогающего сердце процесса, который мы для удобства называем законом природы. Точно таким же образом мы научились теперь смотреть на убийство с точки зрения общественной. Поднимаясь над чисто личными ощущениями человека, насильственного лишения жизни, мы рассматриваем убийство как часть

великого целого, мы видим тот пестрый круговорот жизни, который, даруя нам золотую жатву и золотобородых жнецов, дарует вечное успокоение как убийцам, так и убиенным...

Он опустил глаза, несколько растроганный собственным красноречием, слегка откашлялся, с бостонской изысканностью прикрывая рот четырьмя тонкими пальцами, и продолжал:

— Наша более правильная и гуманная точка зрения только в одном отношении может коснуться того преступного субъекта, которого вы видите перед собой. Лишь благодаря капитальному труду доктора из Милуоки, нашего великого мудреца Зонншейна, труду, озаглавленному «Тип-Уничтожитель», личность этого человека не представляет для нас загадки. Смит не просто убийца, он убийца по призванию. Люди этого рода таковы, что вся их жизнь (беру на себя смелость сказать, все их нормальное состояние) — бесконечная цепь убийств. Некоторые доказывают, что в его страсти к убийствам нет ничего ненормального; напротив, полагают, что это проявление более высокой, более совершенной души. Мой близкий старинный друг, доктор Балджер, который держал у себя хорьков (тут Мун внезапно закричал «ура» и так быстро принял прежнее трагическое выражение лица, что миссис Дьюк, ища глазами нарушителя тишины, стала смотреть в противоположную сторону), — который в интересах науки держал у себя хорьков, — несколько более внушительным голосом продолжал доктор П и м, — полагает, что жестокость этих животных не вызывается их жизненными потребностями, но бесспорно существует сама по себе, являясь самоцелью. Не знаю, верно ли это в отношении хорьков, но в отношении к нашему обвиняемому это несомненная истина. В других его преступлениях вы заметите хитрость маньяка, но его кровавые деяния просты и естественны, как солнце, как мировые стихии. Они дышат здоровьем — роковым, губительным здоровьем! Не раньше, чем остановятся осиянные радугами водопады нашего Дикого Запада, остановится та естественная, первосущная сила, которая послала его в мир для убийств. Никакая обстановка, оборудованная научнейшим способом, не могла бы его исправить. Поместите этого человека в серебристо-безмолвный покой тишайшего монастыря, и он посохом или стихарем тотчас же совершит убийство. Заприте его в солнечной детской вместе с нашей бестрепетной англосаксонской детворой, он и там найдет удобный случай задушить какого-нибудь младенца скакалкой или разmozжить ему голову кубиком. Обстоятельства могут быть благоприятны, надежды сильны, режим великолепен, но великая стихийная страсть Инносента Смита — жажда крови — вспыхнет в определенный час и взорвется, подобно адской машине...

Артур Ингвуд с любопытством взглянул на громадного субъекта, сидевшего на том конце стола и натягивавшего на бумажную фигурку бумажную шляпу, затем снова перевел взгляд

на доктора Пима, который заканчивал свою речь уже в более спокойном тоне.

— Нам остается теперь, — говорил о н , — представить очевидные доказательства его прежних покушений на убийство. По соглашению, заключенному нами с трибуналом и с представителями защиты, мы имеем право обнародовать подлинное письмо свидетелей этих происшествий. Защита может свободно осмотреть эти письма. Из множества подобных злодеяний мы остановились на одном, наиболее очевидном и гнусном. Поэтому я без дальнейших проволочек предлагаю своему младшему коллеге, мистеру Гулду, прочесть два письма — одно от проректора, а другое от швейцара Брэксспирского колледжа в Кембриджском университете.

С легкостью пружинного бесенка, выпрыгивающего из детской коробочки, Гулд вскочил с места, держа в руках внушительных размеров бумагу. Вид у него был лихорадочно важный. Он начал пронзительным голосом, резким, как петушиный крик, с простонародным лондонским акцентом.

— «Сэр, я — проректор Брэксспирского колледжа в Кембридже...»

— Помилуй Бог! — пробормотал Мун, отпрянув назад, как от ружейного выстрела.

— «Я проректор Брэксспирского колледжа в Кембридже», — провозгласил неунывающий Мо и с ей, — «и я всецело присоединяюсь к данной вами оценке поведения несчастного Смита. Начну с того, что мне по долгу службы приходилось неоднократно делать Смиту выговоры за всяческие нарушения школьной дисциплины в течение всего университетского года, но наконец я лично стал очевидцем последнего его проступка, положившего предел его пребыванию в колледже. Произошло это так. Я проходил мимо дома, где живет мой глубокоуважаемый друг, ректор Брэксспирского колледжа. Дом стоит в стороне от колледжа и соединен с ним двумя или тремя весьма древними арками, которые, подобно мостам, возвышаются над узкой полоской воды, соединенной с рекою. К моему величайшему удивлению я узрел, что мой знаменитый друг висит в воздухе и судорожно цепляется за одно из вышеописанных каменных сооружений. Его поза не оставляла никакого сомнения в том, что он страшно испуган. Немного спустя я услышал два очень громких выстрела и ясно разглядел злополучного студента Смита, высунувшегося далеко вперед из ректорского окна и снова целившегося из револьвера в свою жертву. Увидев меня, Смит разразился громким смехом (в котором слышалась смесь наглости с безумием) и, казалось, прекратил свои бесчинства. Я послал нашего швейцара за лестницей, при помощи которой ему удалось вызволить ректора из мучительного положения. Смит был исключен из университета. Приложенная фотографическая карточка изображает группу членов Университетского Клуба Стрелков. В этой группе

находится Смит. Такова была его наружность во время его пребывания в колледже.

Остаюсь ваш покорный слуга

Амос Боултер».

— Второе письмо, — продолжал с торжествующим видом Гулд, — от швейцара. Оно кратко и не отнимет у вас много времени:

«Милостивый Государь.

Истинная правда, что я швейцар Брэкспирского колледжа и что я помог ректору спуститься на землю, когда тот молодой человек стрелял в него, как мистер Боултер и написал в своем письме. Стрелявший молодой человек тот же, что изображен на фотографии, которую вам посылает мистер Боултер.

С глубоким уважением

Сэмюел Баркер».

Гулд вручил оба письма Муну, который стал их рассматривать. Но оказалось, что Гулд огласил эти письма правильно; кроме фонетических отклонений, Мун не нашел никаких других; подлинность обоих писем была несомненна. Мун передал их Инглвуду, тот, не проронив ни звука, отдал их обратно Моисею Гулду.

Доктор Пим последний раз встал с места.

— Я изложил все, что относится к первому обвинению в целом ряде предумышленных убийств, — заявил он. — Я кончил.

Затем поднялся Майкл Мун, представитель защиты, с подавленным видом, который не сулил ничего хорошего тем, кто симпатизировал узнику. Он не намерен, говорил Майкл Мун, следовать за доктором в область абстракций.

— Я не могу быть агностиком, ибо не обладаю достаточным количеством знаний, — заявил он усталым голосом, — и при таких словопрениях могу основываться только на известных и общепринятых положениях. В науке и в религии таких положений немного, и они достаточно ясны. Все, что говорят священники, недоказуемо. Все, что говорят доктора — опровергнуто. В этом единственная разница между наукой и религией, и она всегда была и будет. Однако эти новейшие открытия до известной степени трогают меня, — продолжал он, с грустью рассматривая свои башмаки. — Они напоминают мне мою старую, милую бабушку, которая смолоду так увлекалась ими! И это трогает меня до слез. Как сейчас вижу старое ведро у садовой ограды, а за оградой шелестящие тополя...

— Стоп! Остановите омнибус! — вскричал мистер Моисей Гулд, вскакивая и вспотев от возбуждения. — Вы знаете, мы предоставляем защите свободное поле как джентльмены. Но ни один джентльмен не захочет тащиться до ваших шелестящих тополей.

— Черт возьми! — сказал обиженным голосом Мун, — если у доктора Пима есть старый приятель с хорьками, почему же у меня не может быть старой бабушки с тополями?

— Без сомнения, — твердо сказала миссис Дьюк даже с оттенком авторитетности в голосе, — мистер Мун может иметь такую бабушку, какая ему понравится.

— Ну, насчет того, чтобы эта бабушка очень мне нравилась, — начал Мун, — я... но возможно, как вы говорили, это и не имеет прямого отношения к делу. Повторяю, я не желаю углубляться в область абстрактных суждений; мой ответ доктору Пиму будет прост и строго конкретен. Доктор Пим исследовал только одну сторону психологии убийств. Если верно то, что существует тип людей, имеющих врожденную склонность к убийству, то не менее верно, — тут он понизил голос и заговорил с подавляющим спокойствием и серьезностью, — не менее верно, что существует тип людей, имеющих врожденную склонность к тому, чтобы их убивали. Неужели неправдоподобна гипотеза, что доктор Уорнер именно такой человек? Это мое утверждение далеко не голословно, так же, как не голословно утверждение моего ученого друга. Все это изложено в монументальном труде доктора Муненшейна «Уничтожаемый доктор» — с диаграммами, изъясняющими все те различные способы, путем которых люди, подобные доктору Уорнеру, распадаются на первичные элементы. При свете этих фактов...

— Стоп, стоп, стоп! Остановите омнибус! — опять закричал Моисей, вскакивая с места и жестикулируя в сильнейшем возбуждении. — Мой принципал имеет что-то сказать! Мой принципал желает говорить.

Доктор Пим поднялся с побелевшим, почти сердитым лицом.

— Я строжайшим образом ограничил себя, — сказал он, — упоминанием лишь тех книг, которые я в любое время могу представить суду. «Тип-Уничтожитель» Зонненшейна лежит на столе передо мной, и защита может познакомиться с этой книгой во всякую минуту. Где же находится необычайная книга об уничтожаемом докторе, на которую ссылается мистер Мун? Существует ли эта книга? Может ли защитник представить ее?

— Представить ее? — с глубоким презрением ответил ирландец. — Я представляю ее в недельный срок, если вы заплатите за чернила и бумагу.

Доктор Пим снова вскочил.

— Наша авторитетность базируется на множестве точных данных, — сказал он. — Она ограничена областью, в которой вещи могут быть исследованы и осязаемы. Мой оппонент должен по крайней мере согласиться с тем, что смерть — это факт, доказанный опытом.

— Не моим, — с грустью заметил Мун и покачал головой. — Я ни разу в течение всей моей жизни не проделал подобного опыта.

— В таком случае... — сказал доктор Пим и сел на место в таком раздражении, что все его бумаги захрустели.

— Итак, мы в и д и м, — резюмировал Мун все тем же меланхолическим т о н о м, — что человек, подобный доктору Уорнеру, подвержен, по таинственным законам эволюции, влечениям к тому, чтобы его убивали. Нападение на моего клиента, если оно действительно имело м е с т о, — не единичный случай. У меня находятся в руках письма от многих знакомых доктора Уорнера. Знакомые единодушно свидетельствуют, что один вид этого замечательного человека вызывал в них кровожадные желания. Следуя примеру моих ученых друзей, я прочту здесь только два письма. Первое — от честной, трудолюбивой матроны, живущей на Харроу-роуд:

«Мистер Мун, сэр! Да, я запустила в него кастрюлей; ну так што? Больше нечем было запустить, патаму што все легкие весчи в закладе, и если доктор Уорнер не хочит, штоп в него бросали кастрюлями, пусть снимает свою шляпу в гостиной приличной женщины, и скажите ему, штоп не улыбался и не отпускал своих шуточек.

С уважением *Ханна Майлз*».

— Второе письмо от довольно известного дублинского врача, с которым доктор Уорнер однажды участвовал в консультации. Он пишет следующее:

«Дорогой сэр! Инцидент, о котором вы упоминаете, вызывает во мне теперь глубокое сожаление, но тем не менее навсегда останется для меня загадкой. Я не психиатр по специальности; я был бы искренно рад посоветоваться с психиатром относительно моей совершенно неожиданной и, надо сознаться, почти автоматической выходки. Нельзя сказать, что я «потянул доктора Уорнера за н о с», — это было бы не совсем точно. Но что я ударил его кулаком по носу — в этом я охотно сознаюсь, излишне прибавлять, с какими сожалениями; провести кого бы то ни было за нос мне представляется актом, предполагающим некоторую обдуманность поступка и точность в выполнении его, в чем я не могу себя упрекнуть. По сравнению с этим удар по носу был чисто внешним, мгновенным и естественным жестом.

С глубоким почтением, уважающий вас

Бэртон Лестрэндж».

— У меня есть бесчисленное множество других писем, и все они неопровержимо свидетельствуют об этих широко распространенных чувствах по отношению к моему достопочтенному другу. Вследствие этого я полагаю, что доктор Пим в своем исследовании должен был осветить и эту сторону вопроса. Мы имеем дело, как правильно заметил доктор Пим, с силами природы. Скорее иссякнут струи наших лондонских фонтанов, чем

иссякнет предрасположение доктора Уорнера к тому, чтобы его убивали. Поместите этого человека в собрание квакеров, в среду самых мирных христиан, и его немедленно забьют до смерти — палками из шоколада! Поведите его к ангелам Нового Иерусалима, и его забросают до смерти драгоценными камнями. Обстоятельства могут быть великолепны и блистательны, случай — душеспасителен, жнецы — желтобороды, а доктор — всезнающ, водопад может сверкать всеми цветами радуги, англосаксонская детвора может быть бестрепетной, — и все же несмотря ни на что великое и простое стремление доктора Уорнера к тому, чтобы его укокошили, будет проявляться на каждом шагу, пока не завершится удачным и торжественным результатом!

Окончание своей речи он произнес, как будто сильно волнуясь, но еще более сильное волнение заметно было на противоположной стороне. Доктор Уорнер перегнулся всем своим большим туловищем через маленького Гулда, так что чуть не задалвил несчастного, и возбужденно перешептывался с доктором Пимом. Тот многократно кивал головой, затем поднялся с неподдельно-суровым выражением лица.

— Леди и джентльмены, — возбужденно воскликнул он, — как сказал мой коллега, мы с удовольствием предоставляем самую широкую свободу слова представителям защиты — если вообще это будет защита. Но мистер Мун, кажется, воображает, что он явился сюда для острот, — очень забавных острот, смею сказать, — но совершенно непригодных к оправданию его клиента. Он подрывает науку. Он подрывает общественную популярность доктора Уорнера. Он затрагивает мой литературный стиль, который, кажется, не угодил его высокоразвитому европейскому вкусу. Но какое могут иметь отношение к делу все эти выпады мистера Муна? Смит просверлил две дыры в шляпе моего клиента. Двумя дюймами ниже, и он просверлил бы две дыры в голове Уорнера. Все шутки в мире, как бы остроумны они ни были, не смогут заделать эти зловещие дыры и не принесут никакой пользы защите.

Смущенный Инглвуд опустил глаза, как бы потрясенный очевидностью этих истин, но Мун смотрел на своего оппонента, точно сквозь сон.

— Защита? — сказал он дремотно. — О, к защите я еще не приступал!

— Конечно, вы еще не приступали к ней, — с жаром подхватил Пим, и шепот одобрения пронесся на его стороне, тогда как противная сторона воздерживалась от выражения своих чувств. — Если вообще возможна защита, что с самого начала кажется сомнительным, то...

— Пока вы еще не сели, — прервал его Мун тем же сонным голосом, — разрешите мне предложить вам один вопрос.

— Вопрос? Конечно! — подхватил Пим. — Ведь мы отчетливо договорились заранее, что, в виду невозможности допроса

свидетелей, мы можем допрашивать друг друга сколько угодно. Мы со своей стороны приветствуем все эти допросы.

— Мне кажется, вы упоминали, — с рассеянным видом продолжал Мун, — что ни одна из пуль, выпущенных нашим подсудимым, не задела доктора?

— К счастью для науки! — галантно воскликнул Пим. — Слава Богу, нет!

— Все же они были выпущены на расстоянии нескольких шагов?

— Да, что-то около четырех шагов.

— И ни одна из пуль не задела ректора, хотя они также были выпущены на очень близком расстоянии?

— Это так! — с важным видом подтвердил свидетель.

— Мне кажется, — сказал Мун, подавляя легкую зевоту, — этот ваш проректор упоминал, что Смит один из лучших стрелков во всем университете?

— Ну, что касается этого... — начал было Пим после минутного молчания.

— Второй вопрос, — коротко отрезал Мун. — Вы сказали, что за нашим клиентом числятся еще другие обвинения такого же рода. Почему вы не сочли нужным поведать о них суду?

Американец снова опустил концы своих пальцев на стол.

— В этих случаях, — отчетливо проговорил он, — у нас нет показаний посторонних свидетелей, как в кембриджском преступлении; имеются лишь показания самих потерпевших.

— Почему же вы не обнародовали их показаний?

— Что касается потерпевших, — сказал Пим, — то мы натолкнулись на некоторые затруднения, неясности, и...

— Не хотите ли вы этим сказать, — продолжал Мун, — что ни один из потерпевших не пожелал дать показаний против обвиняемого?

— Ну, положим, это слишком... — начал было тот.

— Третий вопрос, — оборвал его Мун с такой резкостью, что все вскочили с мест. — Вы прочли показания проректора, который услышал несколько выстрелов; но где же показания самого ректора, в которого стреляли? Ректор Брэксписского колледжа жив; это джентльмен, полный сил и здоровья.

— Мы обратились к нему с просьбой дать нам свои показания, — нервно ответил Пим, — однако эти показания были так эксцентричны, что мы, из уважения к прежним научным заслугам маститого ученого, решили не предавать их огласке.

Мун подался немного вперед.

— Насколько я понимаю, вы хотите сказать, — спросил он, — что его показания благоприятны для обвиняемого?

— Они могут быть поняты в этом смысле, — отвечал американский медик, — но, право, их вообще трудно понять. Так или иначе, мы отослали их обратно.

— Значит, у вас в данный момент нет показаний, собственноручно подписанных ректором Брэксспирского колледжа?

— Нет.

— Я только потому задал этот вопрос, — спокойно сказал Мун, — что они имеются у нас. Я кончаю свою речь и прошу моего помощника прочесть истинный отчет об этом деле — отчет, подлинность которого подтверждается собственноручною подписью ректора.

Артур Инглвуд поднялся со связкой бумаг в руках. Хотя он, как и всегда, имел какой-то слишком изысканный и смиренный вид, зрители сразу к своему удивлению почувствовали, что его выступление в общем более существенно, чем выступление его патрона. Он был одним из тех скромных людей, которые не говорят до тех пор, пока им не велят заговорить; но тогда они говорят хорошо. Мун был полной его противоположностью. Когда он был наедине с собою, его дерзкие выходки забавляли его, но в обществе они его конфузили: он чувствовал себя глупым, когда говорил, между тем как Инглвуд чувствовал себя глупым именно потому, что не мог говорить. Но когда он мог говорить, он говорил просто и хорошо, и самый процесс речи был для него естественным. Ничто во всем мире не казалось вполне естественным Майклу Муну.

— Как только что пояснил мой коллега, — начал Инглвуд, — вся наша защита базируется на двух загадках, или, вернее, нелепостях. Первая нелепость такая. По всеобщему признанию, даже по тем показаниям, которые представлены противной стороной, бесспорно установлено, что обвиняемый Смит известен как исключительно меткий стрелок. Однако в обоих упомянутых случаях он стрелял на расстоянии четырех или пяти шагов, сделал несколько выстрелов и ни разу не задел тех, в кого стрелял. Это и есть первое поразительное явление, на котором базируется наша аргументация. Вторым пунктом, как уже отметил мой коллега, заключается в любопытнейшем факте: нельзя отыскать ни одного лица, пострадавшего от этих приписываемых Смицу злодеяний, которое говорило бы от своего имени. За пострадавших говорят их подчиненные. Швейцары взбираются к ним по лестницам, но сами они молчат. Леди и джентльмены, я беру на себя объяснить вам и то, и другое: и загадку выстрелов, и загадку молчания. Прежде всего я прочту вам приложенное к отчету письмо, в котором выясняется истинный характер кембриджского инцидента, а затем прочту и самый документ. После этого у вас не останется никаких сомнений в невиновности Смита. Препроводительное письмо таково:

«Дорогой сэръ! Нижеприведенное представляет собою совершенно точное и довольно яркое описание инцидента, действительно имевшего место в Брэксспирском колледже. Мы, нижеподписавшиеся, не имеем никаких оснований приписывать

составление отчета одному какому-нибудь автору. Дело в том, что письмо это — продукт нашего совместного творчества, и у нас возникло даже некоторое разногласие относительно кое-каких прилагательных. Но каждое слово отчета — несомненная истина.

Остаемся уважающие вас

Уилфред Эмерсон Имс,
Ректор Брэкспиского колледжа.

Инносент Смит».

— Самый отчет, — продолжал Инглвуд, — гласит следующее:

«Славный английский университет расположен на такой крутизне, что он, так сказать, нуждается в подпорках и всевозможных мостах. Здание разделяется на несколько корпусов, полуоторванных друг от друга. Университет стоит над рекою. Река разделяется на рукава и образует множество мелких ручьев и каналов, так что в одном или двух уголках местность напоминает Венецию. Это сходство особенно ярко обнаруживается в тех местах, о которых здесь идет речь. Несколько висячих арок, или воздушных мостов, выступают из-под воды и соединяют Брэкспиский колледж с жилищем ректора. Местность вокруг колледжей — ровная, и все же не производит впечатления равнины на человека, стоящего посреди всех этих зданий. В этой гладкой болотистой местности там и сям разбросаны блуждающие озера и стоячие реки. По этой причине, если можно так выразиться, схема горизонтальных линий переходит в схему вертикальных. Всюду, где вода, высота высоких зданий удваивается, и британский кирпичный дом становится Вавилонской башней. В блестящей незыблемой поверхности вод виснут дома вверх ногами. Тучи кораллового цвета гнездятся в этой бездне на такой глубине, которая точно соответствует той высоте, на которой их оригиналы реют над миром. Каждый участок воды служит не только окном, но и небом. Земля разрезается под стопами людей бездонными перспективами воздуха, в которых птица могла бы проложить себе путь так же легко, как...»

Доктор Сайрус Пим поднялся, протестуя. Документы, представленные им, придерживаются лишь точно установленных фактов. Защита, говоря вообще, имеет неоспоримое право представить дело в каком ей угодно свете, но все эти малевания ландшафтов кажутся ему (доктору Сайрусу Пиму) абсолютно не относящимися к делу; не будет ли представитель защиты настолько любезен, не сообщит ли нам, какое отношение к делу может иметь то обстоятельство, что тучи были кораллового цвета, или что река была зеркальной и тихой, или что птица могла себе проложить путь неизвестно куда...

— Право, не знаю, — лениво приподнимаясь с места, сказал Майкл Мун. — Видите ли, вам до сих пор не известно, в чем заключается наша защита. Пока вы этого не поймете, всякую деталь можно считать относящейся к делу. Ну, положим, — внезапно вырвалось у него, словно в голову ему пришла новая идея, — положим, мы хотим доказать, что старик ректор болен дальтонизмом и не различает цветов. Положим, в него стрелял черный мужчина с белыми волосами, а он вообразил, что в него стреляет белый мужчина с желтыми волосами. Подтверждение того, что облако было действительно и неоспоримо кораллового цвета, может быть фактом первостепенной важности.

В этом месте своей речи он остановился с такой серьезностью, которая вряд ли разделялась всеми присутствующими, и затем продолжал с прежним жаром:

— Или, положим, нам желательно установить, что ректор совершил самоубийство, что он вынудил Смита направить на него острие меча. Но в таком случае возникает вопрос: мог ли ректор видеть себя совершенно ясно в стоячей воде? Стоячая вода была причиной многих тысяч самоубийств; человек видит себя в ней так отчетливо, так необычайно ясно.

— Не желаете ли вы установить, — с едкой иронией осведомился Пим, — что ваш подзащитный был редкостной птицей, ну, скажем — фламинго?

— Обвинение моего клиента в том, что он птица фламинго, — неожиданно строго проговорил Мун, — будет опровергнуто им самим.

Никто не понял, что сие должно означать, и Мун с грозным видом опустил на стул. Инглвуд снова приступил к чтению своего документа:

— «Для мистика есть что-то бесконечно родное в такой стране отражений. Мистик ведь полагает, что два мира лучше одного. В высшем смысле, конечно, все наши идеи — отражения.

Бесспорно справедливо, что двойные мысли — лучшие мысли. Животные не имеют двойных мыслей; только человек сознает раздвоенность мысли, как пьяница видит два фонарных столба. Только человек может увидеть собственную свою мысль вверх ногами, словно дом, отразившийся в луже. Эта двойственность мысли, подобная отражению в зеркале, — сокровеннейшая суть человеческой философии. Таинственная, даже жуткая истина кроется в утверждении, что две головы лучше одной. Но обе они должны находиться на одном и том же туловище».

— Я знаю, с первого взгляда это кажется слегка заумным, — озираясь по сторонам и как бы извиняясь, заметил Инглвуд, — но видите ли, этот документ — результат совместного творчества: он составлен профессором и...

— Пьяницей, а? — подсказал Моисей, решивший пока что позабавиться.

— Я склонен думать, — продолжал Инглвуд спокойным критическим тоном, — что эта часть, пожалуй, написана профессором. Я лишь обращаюсь к суду с указанием, что, хотя самый документ бесспорно точен, он все же в тех или иных местах носит на себе следы сотрудничества двух авторов.

— В таком случае, — сказал доктор Пим, откидываясь на спинку стула и фыркая, — я никак не могу согласиться с тем, что две головы лучше одной.

— «Нижеподписавшиеся не находят нужным касаться родственных друг другу проблем, так часто обсуждавшихся в комиссиях по реформе высшей школы: двойится ли в глазах у профессора оттого, что он пьян, или он пьян оттого, что у него двойится в глазах. Они желают ограничиться исследованием особой, чрезвычайно серьезной темы, и тема эта — лужи. Что такое (спрашивают нижеподписавшиеся у самих себя) — лужа? Лужа отражает бесконечность и полна света; и тем не менее, если произвести объективный анализ, лужа — полоска мутной воды, которая тонким слоем лежит на грязи. Оба "великих исторических английских университета обладают этим ярким — внешним и отраженным — блеском. Они отражают бесконечность. Они полны света. И тем не менее, или вернее, с другой стороны, это — лужи. Лужи, лужи, лужи. Нижеподписавшиеся лица просят извинить их пафос, неразлучный со строгой убежденностью».

Инглвуд не обратил никакого внимания на несколько оторопелое выражение лиц у присутствующих и продолжал с необычайно веселым видом:

— «Такого рода мысли, однако, не приходили в голову студенту Смигу, когда он пробирался среди узких каналов и сияющих дождевых канав, куда стекала вода, омывавшая Брэксспирский колледж. Пришли бы ему в голову эти мысли, он почувствовал бы себя гораздо счастливее. К несчастью, он не знал, что академический разум отражает бесконечность и полон света только потому, что он неглубок и недвижим. С его точки зрения поэтому нечто торжественное и даже недоброе заключалось в бесконечности, окружавшей его. Он находился как раз в самом центре загадочно-яркой звездной ночи; звезды были наверху, и звезды были внизу. По какому-то недоброму наитию молодому Смигу почудилось, будто небо у него под ногами еще более глубоко, чем небо у него над головой; странная мысль пронзила его: ему пришло в голову, что если бы он мог сосчитать звезды, то внизу их оказалось бы больше, чем на небе.

Шагая по тропинкам и мостам, он испытывал какую-то тревогу, которая овладевала им с возрастающей силой, словно взбирался он по черной и ветхой лесенке на Эйфелеву башню космоса. Звезды для него, как и для большинства образованных юношей той эпохи, представляли собою нечто жестокое. Хотя каждую ночь мерцали они на великом куполе неба, они все же были огромной и отвратительной тайной. Они вскрывали наготу природы; они были отблеском рычагов, железных колес и бло-

ков, которые таились за сценой. Ибо молодежь той печальной эпохи была уверена, что Бог всегда исходит из машины. Эти юноши не знали, что на самом-то деле всякая машина от Бога. Короче говоря, все они были тогда пессимистами, и в звездном мерцании им чудилась ярость. Их Вселенная была черная с белыми пятнами.

Смит оторвал свой взгляд от сияющих луж и с облегчением взглянул на сияющие небеса и огромное черное здание колледжа. Единственный не звездный свет шел из-под ярко-зеленой занавески — из окошка в верхнем этаже; этот свет свидетельствовал, что там постоянно работает до самой зари доктор Эмерсон Имс, принимая своих любимых учеников и друзей в любой час ночи. И действительно, именно к его жилищу и направлялся одержимый меланхолией Смит. Смит слушал лекцию доктора Имса в первую половину утра; вторую половину провел он в манеже — стреляя в цель и упражняясь в фехтовании. Он безумно шевелил мозгами всю первую половину дня и вторую половину посвятил размышлениям, ленивым, но еще более безумным. Оттуда он отправился в клуб для дебатов, где его поведение оказалось несносным. Тоска не покидала его. И уже по дороге домой, когда он направлял свои стопы к себе в берлогу, он вспомнил об одной эксцентрической выходке своего друга и учителя, ректора Брэкпирского колледжа, и принял отчаянное решение нанести этому джентльмену визит на его частной квартире.

Эмерсон Имс был эксцентричен во многих отношениях, но его заслуги были известны всему миру. Вряд ли университет мог обойтись без него, и, помимо того, стоит лишь профессору закоснеть в одной из своих дурных привычек, как она тотчас становится частью Британской Конституции. Дурные привычки Эмерсона Имса заключались в том, что, во-первых, он не спал по ночам, а во-вторых, изучал Шопенгауэра. По внешности это был тощий, нескладный мужчина с белокурой заостренной бородкой. Годами он был немногим старше своего ученика; но веками был значительно старше, так как, во-первых, у него было европейское имя, а во-вторых, у него было плешивое темя.

— Я осмелился явиться к вам в такой неурочный час, — сказал Смит, который казался очень большим человеком, старавшимся притворяться маленьким, — так как я пришел к заключению, что жизнь — великая мерзость. Мне известны все аргументы мыслителей противоположного лагеря — епископов, агностиков и тому подобных людей. И зная, что вы — величайший из ныне живущих авторитетов по части пессимистической мысли...

— Всякая мысль, — сказал Имс, — есть пессимистическая мысль. Всякий истинный мыслитель — пессимист.

После некоторой паузы — не первой, так как вся эта мрачная беседа длилась несколько часов, перемежаясь то молчанием, то цинизмом, — ректор продолжал говорить со свойственным ему томным красноречием:

— Все дело в неправильном расчете. Мотылек летит на свечу, так как ему неизвестно, что подобная игра не стоит свеч. Оса попадает в варенье, от души желая, чтобы варенье попало в нее. Точно таким же образом заурядные люди жаждут радостей жизни, как водки, не понимая по глупости, что за жизнь приходится платить слишком дорого. Что им никогда не найти счастья, что они даже не знают, как его искать, доказывается парализующей нелепостью и гнусностью каждого их поступка. Те аляповатые и негармоничные краски, к которым они чувствуют такое пристрастие, являются в сущности криками боли. Взгляните на кирпичные дачи за колледжем на том берегу. Там есть одна, с безобразными пятнистыми шторами. Вы только посмотрите на нее! Пойдите посмотрите на нее!

— Конечно,— продолжал он с задумчивым видом, — один или два человека видят эту истину во всей ее наготе — и сходят с ума. Заметили вы, что сумасшедшие стремятся уничтожить других либо стремятся уничтожить самих себя? Безумный — это человек за сценой, человек, который блуждает среди театральных кулис. Он только открыл не ту дверь, но пришел туда, куда надо. Он видит вещи с правильной точки зрения. А остальной мир...

— О да, черт побери весь мир! — вскричал угрюмый Смит, в тупом отчаянии стукнув кулаком по столу.

— Но раньше проклянем этот мир, — спокойно сказал профессор, — а затем уже уничтожим его. Взбесившийся щенок стал бы, по всей вероятности, цепляться за жизнь, пока мы убивали бы его, но мы должны убить его — из жалости. Таким же образом мог бы освободить нас от страданий неведомый всезнающий Бог. Он должен был бы убить нас на месте.

— Почему же он не убивает нас на месте? — спросил студент Смит и машинально сунул руки в карманы.

— Он умер сам, — ответил философ, — и в этом отношении ему можно только позавидовать... Для того, кто мыслит, — продолжал Имс, — ясно, что радости жизни, тривиальные и часто безвкусные, не более, как лукавые приманки, имеющие целью завлечь нас в застенки для того, чтобы подвергнуть пыткам. Все мы видим, что для мыслящего человека простое уничтожение — это... Что вы делаете?.. Вы с ума сошли?.. Спрячьте эту штуку!

Доктор Имс повернул усталую голову и увидел перед собой маленькое круглое отверстие. Словно железный глаз, это отверстие глядело на него. В те долгие, как вечность, мгновения, когда разум был ошеломлен, Эмерсон Имс не мог даже сообразить, что это такое. Затем он разглядел шестизарядный барабан и взведенный курок револьвера, а позади раскрасневшееся широкое лицо Инносента Смита, которое не только не выражало гнева, но, напротив, казалось добрее, чем раньше.

— Я помогу вам, мой милый, выбраться из вашей дыры, — с суровой нежностью произнес Смит. — Я освобожу щенка от страданий.

Эмерсон Имс стал пятиться к окну.

— Вы хотите убить меня? — вскричал он.

— Я не стал бы оказывать такое одолжение первому встречному, — продолжал растроганным голосом Смит, — но мы оба, вы и я, так дружески сошлись этой ночью. Я знаю теперь все ваши тревоги и знаю единственное лекарство от них.

— Уберите эту штуку! — заорал во весь голос ректор.

— Одна минута, и все будет кончено, — с видом сердобольного дантиста сказал ему Смит. И так как ректор бросился к окошку и балкону, то его благодетель твердыми шагами, все с тем же добрым выражением лица, последовал за ним.

Оба они были, пожалуй, удивлены, увидев, что сероватобелое утро уже наступало. Впрочем, один из них был во власти более сильных чувств, и ему было не до удивления. Брэксспирский колледж одно из тех немногих зданий, которые носят на себе подлинные следы готической орнаментировки. Как раз под тем балконом, где стоял ректор Имс, была расположена висячая арка, испещренная грубыми изображениями серых зверей-демонов, заросшая мхом и омытая дождями. Один неуклюжий, но очень отважный прыжок, и Эмерсон Имс был уже на ветхом мосту, так как в бегстве видел единственное спасение от преследований сумасшедшего. Он сел верхом на выступ — в профессорской мантии, болтая в воздухе длинными, тонкими ногами и обдумывая, как избежать дальнейшей опасности. Белесоватое утро осветило перед ним (так же, как и под ним) тот мир вертикальной бесконечности, о котором было упомянуто выше, при описании маленьких озер вокруг Брэксспира. Опустив глаза и увидев повисшие в прудах шпиги и печные трубы, они оба, и Смит, и профессор, почувствовали себя одинокими в беспредельном пространстве. Им казалось, словно находясь на Северном полюсе, они так нагнулись над землей, что увидели Южный полюс.

— Помогите! — крикнул брэксспирский ректор. — Помогите!

— Щенок цепляется за жизнь, — сказал Смит с жалостью во взгляде, — бедный маленький щенок сопротивляется. Какое счастье, что я мудрее и добрее, чем он. — И он поднял свое оружие в уровень с верхней частью лысого черепа Имса.

— Смит! — сказал философ, внезапно со всей ясностью представив себе ужас своего положения. — Я сойду с ума.

— Взгляните в таком случае на все с правильной точки зрения, — посоветовал Смит, издав легкий вздох. — Ведь сумасшествие в лучшем случае лишь паллиатив. Единственное верное средство — операция, операция всегда удачная — смерть.

Пока они говорили, взошло солнце. С искусством великого художника оно быстро раскрасило все предметы вокруг. Флотилия крохотных голубино-серых облачков, плывших по небу, сделалась розовой. Разноцветными красками заискрились верхушки различных зданий университетского городка; солнце

выхватывало из сумрака то зеленую эмаль на башенке, то багровую черепицу дачи; тут медные украшения художественного магазина, там — синие, как море, сланцы ветхой, крутой церковной крыши. Глаз невольно приковывался к этому зрелищу, особенно выпученный глаз Эмерсона Имса, когда прощальным взором окинул свое последнее утро. Сквозь узкую расселину между черной бревенчатой таверной и огромным серым колледжем увидел он часы с позолоченными стрелками, ярко загоревшимися на солнце. Он, точно под гипнозом, уставился на эти часы; и вдруг, как будто специально для него, часы стали бить. Часы за часами во всем городке, точно по сигналу, забили тревогу. Церкви всполошились, как цыплята от петушиного крика. Солнце взошло, и небесам словно не под силу было сдерживать его обильное сияние в своей глубине; мелкие лужицы зазолотились, засверкали и стали казаться такими глубокими, что могли утолить жажду богов. Как раз за углом колледжа Имсу были видны с шаткой перекладины, на которой он висел, самые яркие пятна этого светозарного ландшафта, в том числе дача с пятнистыми шторами, о которой он упоминал нынче ночью. И ему захотелось впервые в жизни узнать, что за люди живут на этой даче.

Внезапно он вскрикнул сердито и властно, как крикнул бы, например, студенту, чтобы тот закрыл дверь:

— Выпустите меня отсюда! Я больше не могу! Я не выдержу!

— Вы-то, быть может, и выдержите, но едва ли эта жердочка выдержит вас, — сказал С м и т. — Одно из трех: либо вы свалитесь и сломаете себе шею, либо я разможжу вам голову, либо введу вас в кабинет (я еще не решил окончательно, какие меры принять в отношении вас). Но пока не случилось ни того, ни другого, ни третьего, я желал бы уяснить себе метафизическую сторону вопроса. Должен ли я понять, что вы желаете вернуться к жизни?

— Я бы все отдал на свете, чтобы только вернуться к жизни и, — последовал ответ несчастного профессора.

— Отдали бы все! — вскричал С м и т. — Ах вы, бесстыдник! В таком случае дайте нам песню!

— Что вы хотите сказать? — в беспредельном отчаянии спросил И м с. — Какую песню?

— Гимн, я думаю, будет наиболее уместен, — серьезно ответил С м и т. — Я отпущу вас, если вы повторите за мной слова радостной и благодарственной молитвы:

Какое счастье было мне
В веселой Англии родиться
И здесь, на этой крутизне,
С улыбкой радости явиться!

Доктор Эмерсон Имс исполнил все в точности, тогда мучитель приказал ему поднять руки вверх. Мгновенно сопоставив поступки Смита с обычным поведением разбойников и рыцарей

большой дороги, мистер Имс поднял руки быстро, но без особого удивления. Птица, опустившаяся на его каменное сидалище, не обратила на него никакого внимания, словно он был комической статуей.

— Теперь вы принимаете участие в общественном богослужении,— строго проговорил Смит, — и пока я с вами еще не покончил, вы должны вознести хвалу небесам за создание гусей и уток, которые плескаются в пруду.

Прославленный пессимист полувнятным голосом выразил свою полную готовность воздать небесам хвалу за создание уток, которые плескаются в пруду.

— Не забудьте селезней! — суровым тоном напомнил ему Смит. (Имс, дрожа, упомянул и селезней.) — И вообще, не забывайте ничего. Вы должны поблагодарить небо за церкви, за часовни, за дачи, за самых заурядных людей, за лужи, горшки и чашки, за палки, за тряпки, за кости и за пятнистые шторы.

— Да, да,— в отчаянии повторяла за ним его жертва, — за палки, за тряпки, за кости, за шторы.

— Пятнистые шторы, так, кажется, вы сказали, — с наглой беспощадностью настаивал Смит, помахивая своим револьвером, точно длинным металлическим пальцем.

— Пятнистые шторы... — еле слышно пробормотал Эмерсон Имс.

— Лучше этого вы никогда ничего не скажете, — решил студент. — Теперь я должен прибавить еще несколько слов, дабы покончить с этим раз навсегда. Будь вы таким человеком, за какого вы себя выдаете, я уверен, что ни ангел, ни улитка не обратили бы внимания на то, что вы сломали себе вашу безбожную шею, если бы я выпотрошил ваши тупые, славословящие дьявола мозги. Но не могу не отметить того узкобиографического факта, что в сущности вы превосходнейший малый, посвятивший себя проповедованию самого дикого вздора, и что я люблю вас как брата. Поэтому я выпущу все свои заряды в воздух вокруг вашей головы, с тем, однако, расчетом, чтобы не задеть вас (радуйтесь, я хороший стрелок), а затем мы вернемся к вам и хорошо позавтракаем.

Он выпустил в воздух два заряда; профессор выдержал их с удивительной стойкостью, но сказал неожиданно:

— Не тратьте так много пуль.

— Почему? — задорно спросил Смит.

— Сохраните их,— ответил профессор, — для следующего вашего собеседника, с которым у вас произойдет такой же разговор, как и со мною.

В тот момент Смит глянул вниз и заметил, что внизу стоит проректор, взирающий на них с выражением апоплексического ужаса. Проректор испускал визгливые крики, которыми звал на помощь швейцара и лестницу.

Доктору Имсу пришлось истратить несколько минут, чтобы отделаться от лестницы, и еще немалое время, чтобы отделаться от проректора. Но когда он с наивозможнейшей деликатностью убедил проректора оставить его в покое, он поспешил вернуться к своему оригинальному собеседнику. Каково же было его изумление, когда он увидел, что гигант Смит сильно расстроен и сидит, охватив руками свою косматую голову. Имс окликнул его, и он поднял сильно побледневшее лицо.

— Что такое? В чем дело? — спросил Имс, у которого нервы разыгрались, как птицы на заре.

— Я должен просить снисхождения, — сказал расстроенный Смит, — я прошу принять во внимание, что мне только что удалось избежать смерти.

— Вы избежали смерти? — с непростительным раздражением промолвил профессор. — Но ради всего...

— Да неужели вы не понимаете, неужели вы не понимаете! — с нетерпением вскричал бледный юноша. — Я должен был пройти через это. Я должен был либо доказать вам, что вы неправы, либо умереть. Когда человек молод, он всегда поклоняется авторитету того, кого он считает квинтэссенцией человеческой мудрости, всезнающим существом, если только возможно вообще знать что-либо. Да, и таким существом были для меня вы; вы говорили не как книжник, не как фарисей, а как человек, обладающий подлинным опытом. Никто не мог бы утешить меня, если вы сказали, что утешения нет. Если вы говорили нам, что нигде нет ничего, то это потому, что вы были там, в этом нигде, и вы видели это ничто своими глазами. Понимаете вы теперь? Я должен был либо доказать вам, что вы сами не верите тому, что говорите, либо, в противном случае, броситься в воду.

— По-моему, вы, кажется, смешиваете...

— О, не говорите мне этого! — вскричал Смит с порывистым ясновидением, свойственным душевному страданию. — Не говорите мне, что я смешиваю радость бытия с волей к жизни. В огоньке, что светился в ваших глазах, когда вы висели на той водосточной трубе, я прочел радость жизни, не волю к жизни, а именно радость жизни. Вы поняли, когда вы сидели на той проклятой водосточной трубе, что мир, вообще говоря, — прекрасное, чудесное место. Я знаю это наверно, потому что сам постиг это в ту же минуту. Я видел, как розовели серые облака, заметил маленький циферблат, позлащенный лучами солнца. Не жизнь вы боялись покинуть, а именно эти предметы. Имс, мы оба стояли на краю могилы; признайтесь же, что я прав.

— Да, — тихо сказал Имс, — я думаю, что вы правы. Вы кончите университет первым.

— Прав! — вскричал Смит и оживился. — Я сдал все экзамены с отличием, а теперь отпустите меня, и пусть меня исключают.

— Исключают? — сказал Имс, и в голосе его послышалась уверенность педагога, прошедшего двенадцать лет в интригах. —

Решительно все на свете должно исходить от того, кто стоит на вершине власти. В данном случае на вершине власти — я, и я открою правду окружающим.

Смит тяжело поднялся и медленной поступью подошел к окну. Но решение его было по-прежнему твердо:

— Я должен быть исключен,— сказал он , — а вы не должны говорить людям правду.

— Почему?

— Потому что я желаю последовать вашему совету , — ответил тяжеловесный молодой человек в тяжелом раздумье . — Я желаю сохранить оставшиеся заряды для тех, кто еще находится в таком позорном состоянии, в каком находились мы с вами минувшею ночью. Мы даже не можем оправдаться тем, что были пьяны. Я желаю сохранить эти пути для пессимистов — пилюли для бедных людей. Я пройду по свету, как нечаянное чудо — полечу беспечно, как перекасти-поле, явлюсь бесшумно, как восходящее солнце, сверкну внезапно, как искра, и исчезну бесследно, как затихший зефир. Я не желаю, чтобы люди догадались заранее, какие шутки я намерен с ними сыграть. Я хочу, чтобы оба подарка, которые я несу человечеству, предстали в своей девственной и яростной силе: первый подарок — смерть, второй — жизнь. Я направлю дуло револьвера в лоб Современного Человека. Но не с тем, чтобы убить его, а затем, чтобы вернуть его к жизни. Я дам новое значение понятию: скелет на пиру.

— Уж вас-то никак нельзя назвать скелетом, — сказал с улыбкой доктор Имс.

— Оттого, что я так часто бываю на пирах , — ответил дородный молодой человек . — Ни один скелет не сохранит своего скелетного облика, если он бывает на стольких обедах. Но я отклонился от темы. Я хочу сказать, что уловил новый смысл смерти и всего этого... смысл черепа и скрещенных костей, как *memento mori*¹. Этот символ должен говорить нам не только о будущей жизни, но и о здешней, земной. Дух у нас так немощен, что на протяжении вечности мы страшно состарились бы, если бы смерть не поддерживала в нас нашей молодости. Провидение наделяет нас бессмертием по частям, как няньки распределяют бутерброды между детьми . — И в голосе Смита звучала сверхъестественная сила, когда он вдруг прибавил: — Но я знаю теперь некую истину, Имс. Я понял ее, когда облака розовели под солнцем.

— Что вы хотите сказать? — спросил Имс . — Что такое вы узнали?

— Я впервые узнал, что убивать и вправду нехорошо.

Он крепко пожал руку доктору Имсу и стал ощупью пробираться к дверям. Перед тем как выйти, он прибавил:

¹ Помни о смерти (*лат.*).

— Все же очень опасно, когда человек хоть на секунду вообразит, будто он знает, что такое смерть.

Много часов просидел доктор Имс в глубоком раздумье после ухода своего недавнего преследователя. Затем он поднялся, схватил шляпу и зонтик и вышел прогуляться. И хотя он все время бродил около одного и того же места, он остался доволен своей прогулкой. Много раз останавливался он у дачи с пятнистыми шторами и внимательно рассматривал ее, склонив голову набок. Некоторые принимали его за помешанного, некоторые полагали, что он намерен купить этот дом. (К слову сказать, профессор и до сих пор сомневается, чтобы между покупателем домов и сумасшедшим существовала сколько-нибудь серьезная разница.)

Вышеприведенный рассказ построен на принципе, который, по мнению нижеподписавшихся, совершенно неизвестен еще в искусстве писать письма. Каждое действующее лицо изображено в таком виде, в каком оно рисовалось другому действующему лицу. Но нижеподписавшиеся гарантируют абсолютную точность этого рассказа. И если бы кто-либо позволил себе взять их отчет под сомнение, то нижеподписавшиеся лица хотели бы знать, черт возьми, кто же кроме них может знать это дело?

Нижеподписавшиеся лица, нимало не медля, отправляются в «Пятнистую Собаку» — пить пиво. Прощайте.

Уилфред Джеймс Эмерсон Имс,
Ректор Брэксписского колледжа. Кембридж.

Инносент Смит».

Глава II

ДВА ВИКАРИЯ, ИЛИ ОБВИНЕНИЕ В ГРАБЕЖЕ

Артур Инглвуд передал только что прочитанное письмо представителям обвинения, и те, склонив над ним головы, принялись изучать документ. Оба они — еврей и американец — легко приходили в возбуждение, и по быстрым движениям черной и желтой голов было ясно, что подлинность документа, увы, вне всяких сомнений. Письмо ректора оказалось не менее подлинным, чем письмо проректора, хотя и отличалось, к сожалению, некоторой легкостью тона.

— Мне остается прибавить лишь несколько слов, — сказал Инглвуд. — Теперь, конечно, ясно, что наш клиент прибегал к оружию с эксцентрической, но невинной целью: дать хороший урок тем, кого он считал богохулами. Урок был во всех отношениях настолько удачен, что даже сами потерпевшие считают этот день днем своего нового рождения. Смит отнюдь не сумасшедший человек; скорее он психиатр, который лечит других сумасшедших и, шествуя по миру, уничтожает безумие, а не распростра-

няет его. К этому и сводится мой ответ на те два необъяснимых вопроса, которые были мною предложены обвинителям, а именно: почему не посмели они огласить ни единой строки, написанной рукою того человека, которому Смит угрожал своим револьвером? Все те, кто видел перед собой дуло револьвера, признают, что это принесло им пользу. Вот почему Смит, будучи хорошим стрелком, никогда никого не ранил. Его душа чиста и неповинна в убийстве, а руки его не обгажены кровью. В том, повторяю, и заключается единственно возможное объяснение этого случая, равно как и всех прочих. Нельзя, не приняв на веру слов ректора, объяснить себе поведение Смита. Даже сам доктор Пим — настоящий кладезь замысловатых научных теорий — и тот не сумеет иначе объяснить нам данный случай.

— Гипноз и раздвоение личности открывают нам многообещающие перспективы,— медленно протянул Сайрус Пим.— Криминология — наука, не вышедшая еще из стадии младенчества.

— Младенчества! — тотчас же подхватил Мун и с радостно удовлетворенным видом поднял вверх красный карандаш. — Да, этим объясняется все.

— Я повторяю,— продолжал Инглвуд, — что ни доктор Пим, ни кто-либо другой не сможет объяснить поведение ректора иначе, чем объясняем его мы, так как свидетелей преступления нет, а выстрелы никого не задел.

Маленький янки несколько оправился от неудачи и снова вскочил с места с прежним хладнокровием боевого петуха.

— Защита,— сказал он, — упускает из виду очевидный факт колоссальной важности. Она утверждает, что мы не можем указать ни одной жертвы Смита. Прекрасно, вот перед вами стоит одна жертва — знаменитый Уорнер, претерпевший удары Смита. Перед вашими глазами наглядный пример. Утверждают, что за каждым оскорблением следовало примирение. Но нет, имя доктора Уорнера незапятнано: он не примирился до сих пор.

— Мой ученый друг, — внушительно заявил, поднявшись с места, Мун, — не должен забывать, что наука о том, как следует стрелять в доктора Герберта Уорнера, еще находится в стадии младенчества. Самый ленивый глаз был бы поражен теми исключительными трудностями, с которыми сопряжено обращение доктора Уорнера на путь радостного отношения к жизни. Мы признаем, что наш клиент в одном только этом случае не имел успеха и что операция ему не удалась. Зато я имею полномочия предложить доктору Уорнеру от имени моего подзащитного повторную операцию по первому его требованию и без всякой приплаты.

— Да будьте вы прокляты, Майкл, — не на шутку в первый раз в жизни рассердился Гулд. — Скажите хоть что-нибудь дельное для разнообразия.

— О чем говорил доктор Уорнер перед первым выстрелом? — неожиданно спросил Мун.

— Этот субъект, — надменно отозвался доктор Уорнер, — с характерным для него остроумием спросил у меня, не праздную ли я сегодня день моего рождения.

— А вы с характерным для вас тупоумием, — воскликнул Мун и направил на Уорнера свой длинный, тонкий указательный палец, не менее грозный и неподвижный, чем дуло смитовского револьвера, — ответили, что вы своего рождения не празднуете.

— Что-то в этом роде, — подтвердил доктор.

— Тогда, — продолжал Мун, — он спросил вас, почему, а вы ответили на это, что рождение — событие, в котором вы не видите ничего веселого. Так ли это? И сомневается ли еще кто-нибудь в правильности нашего объяснения?

Гробовое молчание воцарилось в комнате; Мун сказал:

— *Rex populi — vox Dei*¹. Или, выражаясь более цивилизованным языком доктора Пима, нам предоставляется право приступить ко второму обвинению. По первому мы требуем оправдания.

Прошло около часа. Доктор Сайрус Пим в течение этого времени застыл на месте с закрытыми глазами, подняв в воздух два пальца, большой и указательный. Казалось, на него накатило, как говорят няньки про детей. Наступившая в комнате тишина была так тягостна, что Майкл Мун счел необходимым разрядить напряженную атмосферу двумя-тремя замечаниями. Потом, в течение получаса выдающийся криминалист распространялся на тему о том, что современная наука рассматривает покушения на чужую собственность под тем же углом зрения, что и покушения на жизнь.

— Убийство по самому своему существу, — говорил он, — есть не что иное, как проявление мании к уничтожению людей, так же, как воровство — проявление kleptomании. Само собою разумеется я, — и я думаю, что уважаемые друзья мои, сидящие напротив, согласятся со мной, — что современная точка зрения на воровство должна неминуемо повлечь за собой систему наказаний более справедливую и гуманную, чем методы прежних законодательств. Мои коллеги, конечно, отдают себе ясный отчет в этой столь широко разверстой перед ними бездне, так парализующей ум, в бездне... — В этом месте он остановился и застыл в обычной своей изящной позе, с двумя поднятыми вверх пальцами, но Майкл на этот раз не вытерпел.

— Да, да, — нетерпеливо прервал он Пима. — Бездна, так бездна! Отлично. Мы знаем, что по старым жестоким законам человека, обвиненного в воровстве, приговаривали к десяти годам заключения. Современный же гуманизм ни в чем не обвиняет человека, но обрекает его на вечную каторгу. Ну, вот мы и перешагнули через бездну.

Характерной чертой знаменитого Пима было то, что когда он подыскивал нужное ему слово, он не замечал не только возражений своих оппонентов, но и своих собственных пауз.

¹ Молчание народа — глас Божий (лат.).

— ...отрадной,— продолжал доктор Сайрус Пим, — столь обильной радужными надеждами на будущее. Итак, современная наука в принципе смотрит на вора и на убийцу одинаковым взором. Она видит в воре не грешника, на которого следует наложить временное наказание, но пациента, который требует ухода за собой и который должен быть изолирован в течение (тут он снова поднял два пальца вверх)... скажем, в течение более или менее долгого времени. Но в данном случае имеются обстоятельства, заслуживающие особого внимания. Клептомания в большинстве случаев соединяется...

— Прошу извинения,— прервал его Мун. — Я до сих пор не считал возможным предложить этот вопрос, так как, признаюсь откровенно, был уверен, что доктор Сайрус Пим несмотря на свое явно вертикальное положение наслаждается вполне заслуженным сном. Я был твердо убежден, что доктор Пим спит, держа в своих пальцах щепотку невидимых мельчайших пылинкок. Но теперь, когда дело несколько подвинулось вперед, мне хотелось бы уяснить себе нечто. Не стану говорить, с каким восхищением ловил я каждое слово, произносимое доктором Пимом. До сих пор я не имею ни малейшего понятия о том, какое преступление в конце концов вменяется в вину моему подзащитному. Что он такое задумал или совершил?

— Если у мистера Муна хватит терпения, — с достоинством ответил доктор Пим, — то он убедится, что именно к этому клонится моя речь. Клептомания, как я уже упомянул, проявляется в физическом влечении к определенным предметам; и полагают (между прочим, такой замечательный ученый, как Харрис), что в этом следует искать объяснения строгой специализации и узко профессионального кругозора большинства преступников. Один питает непреодолимую страсть только к жемчужным запонкам и проходит мимо бриллиантовых, даже если они находятся у него под рукой. Другой не может обойтись без высоких сапог по крайней мере на сорока семи пуговицах, а к эластической обуви относится совершенно равнодушно и даже насмешливо. Повторяю, специализация преступника может скорее служить признаком слабоумия, чем особого делового таланта. Но есть особый тип преступника, к которому на первый взгляд трудно применить этот принцип. Я говорю о грабителях. Некоторые, самые молодые и смелые из наших ученых, утверждают, что взгляд вора, подкравшегося к садовой ограде, вряд ли может быть гипнотически привлечен какой-нибудь вилочкой, которая спрятана под кроватью дворцового в крепко запертом на ключ сундуке. По поводу этого пункта они бросили перчатку столпам американской науки. Они заявляют, что в лачугах городской бедноты бриллиантовые запонки не лежат на самом видном месте, как это имело место в колледже Калипсо при величайшем в мире пробном испытании. Мы надеемся, что преступление, подлежащее нашему рассмотрению, будет ответом

на этот вздорный вызов и раз навсегда поставит грабителя на подобающее ему место среди его коллег по преступлению.

Мун, лицо которого за последние пять минут выражало все стадии яростного недоумения, вдруг поднял кулак и ударил изо всех сил по столу.

— Теперь-то я наконец начинаю понимать! — воскликнул он. — Вы обвиняете Смита в воровстве!

— Надеюсь, я выразался в достаточной мере я с н о , — прищурив веки, промолвил Пим.

Этот домашний суд имел ту характерную особенность, что все цветы красноречия, все риторические выражения одной из сторон не были понятны другой стороне и возмущали ее. Чужда и непонятна была Муну напыщенная риторика Нового Света. Так же чужда и непонятна была Пиму жизнерадостность Старого Света.

— В области экспроприации Смит избрал себе одну специальность: грабеж. Преследуя ту же цель, что и в предыдущем деле, мы кладем в основу нашего обвинения лишь абсолютно бесспорный материал и ограничиваемся опубликованием лишь строго проверенного показания. Я попрошу теперь моего коллегу мистера Гулда прочесть полученное нами письмо. Автор его — уважаемый, безупречный священнослужитель из Дарэма, каноник Хоукинз.

Мистер Моисей Гулд вскочил с места с обычной своей быстротой и стал читать письмо уважаемого и безупречного каноника Хоукинза. Моисей Гулд прекрасно умел изображать домашних животных, сэра Генри Ирвинга — не столь хорошо, Мэри Ллойд — блестяще, а новейшие моторные гудки он воспроизводил с таким совершенством, что одним только этим заслужил себе почетное место среди величайших артистов мира. Но изобразить каноника ему совершенно не удалось; напротив, смысл прочитанного настолько искажался неожиданными интонациями и неправильностями его произношения, что мы предпочитали воспроизвести показание каноника в том виде, как прочел его Мун, когда немного погодя оно было передано ему через стол.

— «Милостивый государь! Признаюсь, я не был особенно удивлен, когда узнал, что событие, о котором вы упоминаете, просочилось сквозь фильтр всепожирающей прессы в публику. Я, по занимаемому мною в обществе положению, являюсь лицом официальным, а это событие несомненно выходит из рамок даже моей — не совсем обыденной и, пожалуй, не лишенной известного значения — деятельности. Могу сказать, что я неоднократно входил в соприкосновение с возбужденной уличной толпой. Много политических кризисов пережил я на своем веку еще во времена старой Лиги Подснежника и много вечеров провел я в Христианской Социалистической Ассоциации, пока не порвал окончательно с этим сбродом безмозглых идиотов. Но происшествие, о ко-

тором я хочу рассказать, имеет исключительный характер. Скажу только, что мне оно представляется кознями того безбожного духа, которого я, как священнослужитель, не имею даже права назвать.

Случилось это тогда, когда я временно занимал пост викария в Хокстоне; другой викарий, бывший тогда моим сослуживцем, уговорил меня пойти с ним на митинг, который, по его кощунственному утверждению, имел целью установить на земле Царство Божие. Однако я увидел там только неприятных субъектов в засаленных бархатных куртках, с дурными манерами и самыми крайними лозунгами.

О моем сослуживце мне хотелось бы отозваться с чувством величайшего уважения и дружеской преданности, поэтому я скажу о нем лишь немного. Я строго убежден в том, что политика в церкви — явление пагубное, и потому всегда во время выборов строго воздерживаюсь от воздействия на своих прихожан, за исключением тех случаев, когда я твердо уверен, что они заблуждаются в выборе кандидата. Не желая, однако, касаться политических и социальных вопросов, я считаю своим долгом заявить, что священнику не подобает, даже в виде шутки, поддерживать демагогов, радикалов и социалистов и что потворство этим идеям равносильно измене святой апостольской церкви. Я более чем далек от желаний порицать моего сослуживца, преподобного Раймонда Перси. Он произнес блестящую речь; она многих, я думаю, увлекла; но священник, который провозглашает социалистические идеи, который носит, точно пианист, длинные волосы, который ведет себя, как одержимый, не может завоевать себе видного положения в клерикальном мире и едва ли заслуживает одобрения благонамеренной части общества. Не стану также говорить о том, какое впечатление произвела на меня собравшаяся в зале публика. Бросив беглый взгляд на все эти ряды пошлых и завистливых физиономий...»

— Выражаясь, — внезапно взорвался Мун, — выражаясь языком преподобного джентльмена, я хочу сказать, что, хотя никакие пытки не исторгнут из моей груди самого тихого шепота о его мыслительных способностях, он все же старый облезлый осел!

— Однако! — воскликнул доктор Пим. — Я протестую.

— Успокойтесь, Майкл! — сказал Инглвуд. — Они имеют право читать свою сказку.

— Председатель! Председатель! Председатель! — вскричал Гулд, беспокойно ерзая на стуле, и Пим бросил взгляд на балдахин, который осенял верховную власть Судилища.

— О, только не будите старую леди! — понизив голос, добродушно сказал Мун. — Я прошу прощения. Я больше не буду.

Гулд снова приступил к чтению письма.

— «Заседание открылось речью моего коллеги, о которой лучше умолчу. Это была жалкая, ничтожная речь. На митинге

присутствовало много ирландцев, которые и проявили при этом все печальные недостатки своего темперамента. Стоит нескольким ирландцам собраться в одну шайку, они тотчас же теряют природное свое добродушие. Каждый ирландец в отдельности мягок и кроток, поддакивает всякому вашему слову, но, собранные вместе, они задорны и буйны».

При этих словах Мун встал на ноги, отвесил глубокий поклон и снова опустился в свое кресло.

— «Все же эти люди отнеслись довольно одобрительно, хотя и несколько шумно, к речи мистера Перси. Желая быть понятым ими, он снизошел до их умственного уровня и коснулся в своей речи квартирной платы и нормирования труда. Конфискации, экспроприации, третейские суды и другие термины, произнесением коих я не желаю загрязнить свои уста, испещряли его речь ежеминутно. Через несколько часов разразился скандал. Я взошел на кафедру и обратился к собравшимся с краткой речью, в которой указал на отсутствие бережливости в рабочих семействах, на недостаточное посещение вечерней церковной службы, на невнимательное отношение к Празднику Урожая, и стал перечислять те средства, которые могли бы существенно облегчить бедноте ее участь. В это время в зале раздался какой-то шум. Огромный, сильный мужчина, почти весь покрытый слоем извести, поднялся со своего места в середине зала и проревел громоподобно, как бык целую тираду, казалось, на каком-то иностранном наречии. Мистер Раймонд Перси снизошел к его уровню и затеял с ним словесную дуэль, в которой, кажется, остался победителем. Аудитория стала как будто почтительнее, но, увы, не надолго; не успел я произнести нескольких первых сентенций, как раздался снова страшный шум. Огромный штукатур бросился по направлению к нам, сотрясая землю, точно слон. Право, не знаю, чем бы все это кончилось, если бы другой великан, столь же внушительный, но лучше одетый, не вскочил и не удержал его. Второй великан издавал все время какие-то отрывочные восклицания и, отеснив толпу назад, помог нам пробраться к выходу. Я не знаю, что он говорил этим людям, но криками, пинками, тумаками он прочистил для нас дорогу и дал нам возможность ускользнуть через боковую дверь в то время, как разъяренная чернь с громкими криками хлынула из главного выхода.

Здесь и начинается, собственно говоря, фантастическая часть моего рассказа. Как только этот гигант, пройдя через узкий двор, вывел нас в темный переулок с единственным фонарным столбом, он обратился к нам с такими словами:

— Вы спасены, господа. Предлагаю вам идти со мной. Мне необходимо ваше содействие в совершении одного акта социальной справедливости, вроде тех, о которых мы сейчас говорили. Идем! — И, резко повернув к нам свою широкую спину, он повел нас по темному переулку, освещаемому единственным невзрач-

ным, старым, темным фонарем, а мы, не зная, как поступить, двигались вслед за ним.

Конечно, он помог нам выпутаться из очень неприятного положения, и как джентльмен я не считал себя вправе оскорблять моего спасителя каким-нибудь подозрением, не имея к тому достаточно веских оснований. Мой взгляд совпадал с точкой зрения моего коллеги-социалиста, который (несмотря на всю свою отвратительную болтовню о третейских судах) тоже джентльмен. Он потомок Стаффордширских Перси, ветви старинного рода, и имеет все отличительные черты этой семьи: черные волосы, бледное и тонкое лицо. Его решение увеличить свои природные достоинства черным бархатом и красным крестом я приписываю мелкому тщеславию, и конечно... но я уклоняюсь от главной нити моих рассуждений.

Туман поднимался над улицей и застилал единственный унылый фонарь, который мерцал позади. Эта темнота угнетала мне душу. Великан, шагавший впереди, с каждой минутой казался все выше. Повернув к нам свою широкую спину, он шел огромными шагами вперед и наконец сказал, не оглядываясь:

— Всем этим разговорам грош цена. Нам нужно применить ваш социализм на деле.

— Я с вами согласен,— ответил Перси, — но я предпочитаю изучить раньше теорию, а потом уже прилагать ее на практике.

— О, предоставьте это мне, — перебил его социалист-практик с какой-то ужасающей двусмысленностью. — У меня свой метод. Я легко проникаю вглубь...

Признаюсь, я не понял, что он этим хотел сказать, но мой коллега засмеялся. Это меня несколько успокоило, и я бестрепетно пошел за ним вперед. В тесном переулке невозможно было идти рядом, но мы вышли на широкую панель и вошли в раскрытую деревянную калитку. В густом тумане и наступившей темноте нам казалось, что мы идем по протоптанной тропинке какого-то огорода. Я обратился за объяснениями к нашему огромному вожатому, но он неопределенно ответил мне, что так мы сокращаем дорогу.

Я только что собрался поделиться с моим спутником своими вполне естественными подозрениями, как вдруг наткнулся на ступеньки какой-то лестницы. Мой легкомысленный коллега так быстро взобрался по ней, что мне ничего другого не оставалось, как только последовать за ним. Дорожка, по которой мне затем пришлось идти, была необычайно узка. Мне никогда в жизни не приходилось протискиваться по такому узкому проходу. С одной стороны тянулись какие-то растения, и я в тумане принял их с первого взгляда за мелкий, густой кустарник. Но вскоре я убедился в том, что это не кусты, а верхушки высоких деревьев. Я, английский джентльмен и священник англиканской церкви, точно кот, пробирался по садовой стене.

Спешу, однако, прибавить, что я сразу же, не сделав и пяти шагов, остановился и дал волю своему справедливому гневу, стараясь по возможности сохранить равновесие.

— Это правильный путь, — заявил нам неменяемый водитель. — Здесь ходить воспрещается лишь раз в сто лет.

— Мистер Перси, мистер Перси! — воскликнул я. — Не собираетесь же вы в самом деле идти вслед за этим негодяем!

— Собираюсь! — ответил мой злополучный коллега. — Я думаю, что мы с вами вообще злоумышленники — и гораздо хуже, чем он, каким бы злодеем он ни был.

— Я — налетчик! — с полным спокойствием признался верзилка. — Я член Фабианского Общества. Я отбираю у капиталистов украденные ценности, но не путем гражданской войны и революции, а при помощи мелких реформ, применяемых эпизодически — то там, то здесь, везде понемножку. Видите ли вы там на горке дом с плоской крышей, пятый с краю? Я хочу сегодня проникнуть туда.

— Преступление это или шутка, — воскликнул я, — но я не желаю принимать в этом никакого участия!

— Лестница тут, позади, — с ужасной вежливостью отозвался этот дикий субъект, — но пока вы еще не ушли, позвольте мне вручить вам мою визитную карточку.

Если бы в ту минуту обладал должным присутствием духа, я швырнул бы прочь его визитную карточку, невзирая на то, что всякое резкое движение могло вывести меня из равновесия, которое я с таким трудом сохранял. Как бы то ни было, но я при тех необычайных обстоятельствах несколько растерялся и сунул карточку в жилетный карман; затем, избрав прежний путь (по стене и лесенке), я сошел вниз и снова очутился на респектабельной улице. Все же к своему ужасу я успел собственными глазами удостовериться в двух обстоятельствах: во-первых, что громилка взбирается на покатую крышу дома к дымовой трубе, а во-вторых, что Раймонд Перси (служитель церкви Божией и, что еще хуже — джентльмен) крадется вслед за ним; с тех пор я никогда не видел ни того, ни другого.

После описанного мною потрясающего события я прервал всякие сношения с этой буйной оравой. Я отнюдь не утверждаю, что каждый член Социалистического Общества есть в то же время грабитель; я не имею права предъявлять такое обвинение огулом. Но это происшествие указало мне, к чему в большинстве случаев приводят наклонности подобного рода; и я расстался с этими людьми навсегда.

Мне остается лишь прибавить, что присланная вами фотография, снятая неким мистером Инглвудом, не оставляет во мне никаких сомнений, что оригиналом для нее послужил описанный мною преступник. Придя домой, я ночью уже взглянул на его визитную карточку; в ней он именует себя Инносент Смит.

Остаюсь преданный вам

Джон Клеменс Хоукинз».

По окончании чтения Мун беглым взглядом окинул письмо каноника. Он отлично знал, что письмо не поддельное: обвинители не могли бы сочинить столь тяжеловесный документ. Моисей Гулд уж, конечно, не мог бы писать стилем каноника, ему не удалось даже подделаться под его манеру говорить. Возвратив письмо по принадлежности, Мун поднялся с места и начал защитительную речь.

— Мы,— сказал Майкл, — охотно идем навстречу обвинителям в каждом отдельном вопросе; не желая тормозить процесс, мы избегаем препирательств. Поэтому, как и в прошлом деле, я отказываюсь обсуждать те догматы и теории, которые так любезны сердцу доктора Пима. Эти догматы и теории отлично мне известны! Клятвopеступление есть своего рода заикание, побуждающее человека говорить не то, что он хочет сказать. Подлог есть своего рода нервная судорога, заставляющая человека написать на векселе фамилию своего дяди вместо своей. Морской разбой — вероятно, разновидность морской болезни. Бог с ними, с такими теориями! Нас не интересуют причины, побудившие Смита к грабежу, ибо, по нашему глубокому убеждению, Смит никакого грабежа не совершал. Я желал бы воспользоваться правом, которое предоставлено сторонам по обоюдному соглашению, и задать обвинителям два-три вопроса.

Доктор Сайрус Пим прикрыл глаза веками, любезно выразив этим свое согласие.

— Прежде всего,— продолжал Мун, — известно ли вам, какого числа, в каком месяце Хоукинз бросил последний взгляд на Смита и Перси, пробравшихся по заборам и крышам?

— О да,— мгновенно ответил Гулд. — Тринадцатого ноября тысяча восемьсот девяносто первого года.

— Установили ли вы с достаточною точностью, по крышам каких именно домов пробирались они в ту ночь?

— Эти дома расположены на Ледисмит-террас, неподалеку от главной улицы, — с точностью хронометра отрапортовал Гулд.

— Великолепно! — сказал Майкл и приподнял брови. — Была ли совершена какая-нибудь кража со взломом на той террасе в ту ночь? Это может быть установлено вполне достоверно.

— Возможно, что покушение на кражу закончилось неудачей,— ответил после некоторого колебания доктор, — и потому не получило широкой огласки.

— Второй вопрос,— продолжал Майкл. — Каноник Хоукинз струсил и позорно сбежал самым мальчишеским образом в наиболее интересный момент. Почему бы вам не огласить показаний второго каноника, который пошел вместе с вашим грабителем дальше и, надо полагать, присутствовал при краже?

Доктор Пим поднялся с места и опустил кончики своих пальцев на стол; так поступал он всегда, когда был особенно уверен в неоспоримости своих возражений.

— Нам не удалось, — сказал он, — набрести на следы второго священника. Он словно растворился в эфире после того, как каноник Хоукинз видел его восхождение по желобам, карнизам и выступам крыши. Я, конечно, понимаю, что многим это покажется странным, но думаю, что всякий здравомыслящий человек после некоторого размышления найдет это вполне естественным. Мистер Раймонд Перси, как это следует из показаний каноника, довольно эксцентрический служитель алтаря. Его связи с высшей аристократией Англии не могли удержать его от сношений с подонками общества. С другой стороны, подсудимый Смит, по всеобщему признанию, обладает непреодолимой притягательной силой. Я несколько не сомневаюсь в том, что Смит сперва вовлек священника Раймонда Перси в преступление, а потом принудил его скрыться навсегда в темном мире воров и убийц. Этим объясняется бесследное исчезновение каноника и безуспешные попытки набрести на его следы.

— Следовательно, нет возможности найти его? — спросил Мун.

— Возможности нет никакой, — повторил криминалист и закрыл глаза.

— Вы убеждены в этом?

— О, да отстаньте же, Майкл! — рассердился не на шутку Гулд. — Уж поверьте, мы отыскиали бы его, если бы это было возможно, ибо он видел своими глазами, как ваш милый клиент занимался грабительством. Не попробуете ли отыскать его вы? Поищите лучше свою голову в мусорном ящике! Попали впросак — и помалкивайте!

Его речь понемногу перешла в полувнятное ворчание.

— Артур! — садясь на свое место, сказал Майкл. — Будьте добры огласить письмо каноника Раймонда Перси.

— Желая, как уже сказал мистер Мун, по возможности ускорить судопроизводство, — начал Инглвуд, — я пропущу начало этого письма. Представители обвинения будут рады узнать от меня, что показаниями второго священника всецело подтверждаются показания первого, поскольку они касаются фактической стороны дела. Мы поэтому не оспариваем правильности показаний каноника. Это весьма ценно для прокуратуры и Раймонда Перси. Я начну с того момента, когда они трое стояли на стене, окружающей сад.

Мистер Раймонд Перси говорит:

«...Когда я увидел, как Хоукинз высится на садовой стене, моим сомнениям пришел конец. Пелена гнева затуманила мое сознание, словно густая пелена тумана, покрывавшая окрестные дома и сады. Мое решение было бесповоротно и просто, и все же столько сложных и противоречивых мыслей бродило тогда у меня в голове, что я теперь даже не могу их припомнить. Я знал, что Хоукинз добрый, безобидный джентльмен. Но в этот миг я охотно уплатил бы десять фунтов за удовольствие столкнуться

его вниз головою. Одна богохульная мысль все время не покидала меня: зачем попускает Господь Бог, чтобы добросердечные люди были такими ослами?

В Оксфорде, увы, я пристрастился к художествам; художники же любят границы и меры. Церковь была для меня лишь красивой формой; религиозная дисциплина — лишь декорацией жизни. Мне нравилось вкушать рыбу по пятницам, потому что я вообще люблю рыбу, а пост создан для людей, которые любят мясное. Когда я прибыл в Хокстон, я увидел, что существуют люди, которые постятся, не разговляясь, пятьсот лет подряд, люди, которых нужда заставляет ежедневно жевать одну рыбу — так как мясо для них недоступная роскошь — и обглаживать рыбы кости, когда и рыбу не на что купить. Многие английские офицеры проникнуты убеждением, что армия существует только для парадов. Точно так же казалось мне, что Воинствующая Церковь создана для пышных церковных церемоний. Хокстон исцелил меня от такого взгляда. Я понял там, что Воинствующая Церковь в течение восемнадцати веков — не парад, но вечно подавляемый бунт. Там, в Хокстоне, терпеливо доживали свой век те люди, которым от имени Господа Бога были даны самые смелые обещания. Перед лицом этих людей мне надлежало стать революционером, если я хотел остаться набожным. В Хокстоне нельзя быть консерватором, не будучи атеистом и врагом человечества. Никто, кроме дьявола, не пожелает консервировать Хокстон.

В довершение всего там появляется Хоукинз. Если бы он проклял всех жителей Хокстона, отлучил бы их от церкви и предсказал бы им, что они попадут в преисподнюю, я, пожалуй, стал бы его уважать. Если бы он отдал приказ сжечь их на рыночной площади, я перенес бы и это несчастье с той мудрой покорностью, с которой все добрые христиане переносят чужие несчастья. Но в нем нет духовной мощи фанатика, он так же неспособен быть священником, как неспособен быть плотником, извозчиком, садовником и штукатуром. Он истый джентльмен, и в том его несчастье. Он олицетворяет собой не религию, но класс. В течение всей своей пагубной деятельности он ни разу не сказал ни слова о религии. Он просто повторяет то самое, что сказал бы его брат-майор. Голос с неба внушил мне, что у него имеется брат и что этот брат — майор.

Когда сей безнадежный аристократ стал проповедовать чистоту тела и смирение духа людям, у которых дух едва держится в теле, аудитория возненавидела и его, и меня. Я принял участие в его незаслуженном спасении, последовал за его спасителем и очутился (как уже было сказано) на стене довольно мрачного сада, окутанного пеленой тумана. Там взглянул я на священника и вора и, по внезапному вдохновению, решил, что вор гораздо лучше священника. Вор казался таким же добрым и гуманным человеком, кроме того, он был бесстрашен и отзывчив к чужому

несчастью, чем отнюдь не отличался священник. Высшим классам не свойственна добродетель. Я знал это отлично, так как сам принадлежу к высшим классам. Знал я также, что не слишком добродетельны и низшие классы, ибо я долгое время проживал среди них. Много евангельских текстов об отверженных и оскорбляемых пришли мне на ум, и у меня мелькнула мысль, что святых, пожалуй, следует причислить к разряду преступников. Пока Хоукинз спускался вниз по ступенькам, я ползком пробирался вверх по низкой, крутой синеватой сланцевой крыше — вслед за тем громадным субъектом, который, прыгая, несясь вперед, как горилла, показывая мне дорогу.

Недолго взбирались мы кверху, и, несколько минут спустя, мы брели широкой полосой плоских крыш, которая была шире самых широких улиц. Там и сям торчали дымоходные трубы, во мгле они казались огромными, точно небольшие форты крепостей. Едкий запах тумана, казалось, разжигал мою злобу. Казалось, что небо и окружавшие нас предметы, обычно столь ясные, находились теперь во власти какого-то дьявола. Казалось, что высокие призраки в чалмах из тумана поднимаются выше солнца и луны, заслоняя их от нашего взора. Смутно вспомнились мне иллюстрации к «Тысяче и одной ночи» — на коричневой бумаге, исполненные роскошными, но темными красками с изображениями неземных духов, столпившихся вокруг печати Соломоновой. Кстати, что такое Соломонова печать? Вряд ли имеет она что-либо общее с сургучной печатью, но моему усталому воображению тяжелые облака представлялись именно сургучом — густым и липким, опалового цвета, беспрерывно текущим из огромных котлов и застывающим в воздухе в форме чудовищных символов.

Узкие полосы тумана придавали всему окружающему мутный цвет горохового супа или черного кофе. Однако картина постепенно менялась. Мы стояли вверху, над крышами, в облаках дыма, рождающего туманы больших городов. Внизу поднимался целый лес дымоходных труб. И, точно цветы в горшках, высились в каждой трубе низкорослые кусты или высокие деревья разноцветного дыма. Дым был разноцветный, так как одни трубы вели к домашним очагам, другие — к фабрикам, а третьи — к печам, сжигающим мусор. И все же, хотя эти дымы и были самого разнообразного цвета, они одинаково казались сверхъестественными, точно шли они из кухни какой-нибудь ведьмы. Было похоже, что каждое из этих мерзостных и постыдных видений, теряя свою форму в кипящем котле, выделяло струю своего собственного, особого пара, цвета той рыбы или мяса, которые были брошены в этот котел. Вот вырвалось наружу темно-багровое облако, словно шло оно из каких-нибудь чаш, наполненных жертвенной кровью. А вот струи серо-синего дыма, точно длинные волосы ведьмы, вымоченные в адской похлебке. Из одной трубы валил дым безобразного желто-опалового цвета,

словно растаявшая грязная восковая фигура. Рядом с ним змеилась яркая темно-зеленая сернистая полоса, словно арабская надпись...»

Мистер Моисей Гулд попробовал было еще раз остановить омнибус. Кажется, он требовал, чтобы в целях ускорения процесса из этого письма были выброшены все прилагательные. Миссис Дьюк, которая к тому времени проснулась, заявила, что, по ее мнению, все очень мило; ее решение тотчас же было внесено в протокол заседания; Моисей отметил его у себя синим карандашом, а Майкл — красным. Инглвуд снова приступил к чтению письма.

«...И тогда я проник в тайное значение дыма. Дым походит на современный город, породивший его. Он не всегда безобразен и мрачен, но всегда порочен и зол.

Современная Англия подобна дыму, она может сверкать всеми цветами радуги, но после нее остается лишь копоть. Наша слабость, а не сила, в том, что мы воссылаем к небесам столь богатые клубы отбросов. Это реки нашего тщеславия, изливающиеся в мировое пространство. В клубах дыма видел я символ моего бунтующего духа. Только самое худшее поднимается у нас к небесам. Только преступники могут у нас, подобно ангелам, парить в высоте.

В то время, когда моя мысль была ослеплена такими чувствами, мой вожатый остановился у одной из тех огромных труб, которые, подобно фонарным столбам, тянулись правильной вереницей вдоль нашей воздушной дороги. Он возложил на трубу свою могучую длань, и в первое мгновение мне померещилось, что он просто прислонился к трубе, устав от долгих скитаний по крутым, неудобным крышам. Насколько я мог судить по наполненным туманами безднам, которые зияли с обеих сторон, а также по красноватым и темно-золотым огонькам, которые мерцали в этих безднах, мы шествовали по крышам длинного ряда тех красивых, тесно сплоченных домов, которые все еще поднимают свои гордые головы над беднейшими кварталами города и свидетельствуют об оптимизме прежних строителей, рассчитывавших на богатые доходы.

Весьма вероятно, что эти дома совершенно необитаемы или же в них группами ютятся бездомные нищие, как в старинных, запущенных итальянских дворцах. Позже, когда туман несколько поднялся, я разглядел, что мы шагали вверх восходящими полукругами, ибо дом, на крыше которого мы находились, состоял из нескольких лежащих один на другом неровных кубических выступов, спускавшихся, подобно ступеням гигантской лестницы, к самой земле. Такие дома нередко встречаются в эксцентрическом зодчестве Лондона.

Мои наблюдения над этой угрюмой панорамой были прерваны самым неожиданным образом, точно луна упала с неба.

Гигант вместо того чтобы убрать руку с трубы, о которую он облокотился, нажал на нее сильнее, и вся верхняя половина трубы вдруг быстро открылась, словно крышка чернильницы. Я вспомнил тогда короткую лесенку, которая была приставлена к садовой стене, и уже больше не сомневался в том, что грабеж обдуман и подготовлен заранее.

Следовало ожидать, что вид распахнувшейся дымовой трубы усугубит тот хаос, который происходил у меня в душе, но признаюсь, что это происшествие внесло в мою душу, сверх всякого ожидания, спокойствие и даже улыбку. Почему-то — в этом я тогда не мог отдать себе отчета — это дерзкое вторжение в дом соединилось в моем воображении с какими-то милыми воспоминаниями детства. Я вспомнил увлекательные и буйные арлекинады, виденные мною на заре моей жизни. В этих арлекинадах откидные трубы и крыши домов играли выдающуюся роль. Необъяснимое и неразумное спокойствие навяла на меня мысль о том, что дома вокруг меня — картонные, нарисованные на бумаге, глиняные, сделанные для того, чтобы из них то выскакивали, то исчезали игрушечные полисмены и паяцы. Преступление, задуманное моим спутником, казалось мне теперь не только простительным, но даже слегка комичным. Кто они такие, эти чванные, глупые господа с выездными лакеями, чистильщиками сапог, печными трубами и головными уборами, похожими на печную трубу? Как смеют они мешать бедному клоуну достать себе сосиски, когда ему хочется есть! Пожалуй, мне могут возразить, что собственность — вещь серьезная. Но я тогда витал в туманах заоблачной выси и достиг высших пределов сознания.

Мой спутник прыгнул вниз, в темный зев открытой трубы. Должно быть, он нашел твердую почву у себя под ногами лишь глубоко в недрах трубы, так как несмотря на его высокий рост мне была видна лишь его косматая, включенная шевелюра. И этот эксцентрический способ вторжения в человеческое жилище был мне чрезвычайно приятен: что-то далекое и вместе с тем родное вспомнилось мне при этом. Маленькие трубочисты и «Дети воды» пришли мне на память; но, по-моему, это было не то. Я сообразил наконец, почему у меня в душе это нелепое злодейство связалось с противоположными образами: ведь оно напомнило мне о сочельнике! Ведь Рождественский Дед проникает в детскую именно через дымовую трубу!

В тот же миг лохматая голова исчезла в темном отверстии трубы; но снизу до меня донесся голос, который звал меня к себе. Через две или три секунды лохматая голова показалась снова. Лица я не видел, так как на светлом фоне огнезарного тумана голова казалась совершенно черной. Но Смит звал меня за собою с такой настойчивостью и с такой сердечностью, словно я был его стариннейшим, задушевнейшим другом. Безрассудно ринулся я в бездну, как Курций, все еще думая о Рождественском Деде и о традиционной прелести подобного вторжения сверху.

В каждом благоустроенном барском доме, рассуждал я, имеется парадная дверь для господ и черный ход для торговцев. Но есть еще одна дверь, в потолке — для богов. Печная труба, если можно так выразиться, — подземный ход между небом и землей. Этот звездный путь служит Рождественскому Деду, равно как и жаворонку, туннелем между двумя родными стихиями — небом и семейным очагом. Люди же — рабы условности, и кроме того, боязнь бродить по высотам широко распространена среди них. Но дверь Рождественского Деда — воистину парадная дверь; это вход во вселенную.

Таковы те размышления, коим я предавался, пробираясь во тьме чердака. Затем мы стали спускаться по крутой и длинной лестнице вниз, в более обширное чердачное помещение. На середине лестницы я вдруг остановился, ибо во мне пробудилось желание последовать примеру моего сотоварища и бежать назад, пока не поздно. Но мне снова вспомнился Рождественский Дед, и я снова пришел в себя. Я вспомнил, с какою целью Рождественский Дед посещает наши дома и почему его всюду встречают как желанного гостя.

Мои родители были люди зажиточные, и всякие посягательства на чужую собственность внушали им истинный ужас. С юных лет я слышал от них всевозможные злые слова о грабителях, но слова эти были пристрастны. Много тысяч раз читал я в церкви десять заповедей. И вот, лишь в возрасте тридцати четырех лет, находясь на середине узкой лестницы, во тьме чердака, сделавшись соучастником кражи, я впервые в жизни постиг, что воровство действительно — дело зазорное.

Однако было уже поздно возвращаться на путь добродетели, и я последовал за своим широкоплечим вожатым, который неслышной стопою прокрался в противоположный конец второго, более низкого чердака. Внезапно он нагнулся над одной из половиц, припал на колени и после нескольких бесплодных усилий поднял с натугой какую-то доску, по-видимому — крышу чердачного люка. Снизу хлынул свет, и я увидел под собою освещенную лампой гостиную. В больших домах рядом с такими гостиными нередко устроены спальни. Этот свет, неожиданный, как взрыв динамита, дал мне возможность осмотреть дверцу люка, и я увидел, что она покрыта плесенью и густым слоем пыли, и заключил, что до прихода моего предприимчивого друга люком, очевидно, долго не пользовались. Но сам я недолго думал об этом, так как ярко освещенная комната, находившаяся у нас под ногами, обладала какой-то сверхъестественной притягательной силой. Войти в современную квартиру таким необычным путем, через эту давно забытую дверь — да ведь это целая эпоха в душе человеческой: событие такого же порядка, как открытие четвертого измерения.

Мой спутник прыгнул в комнату так быстро и бесшумно, что я волей-неволей последовал за ним, но, не имея его сноровки

и опыта в деле совершения преступлений, не мог при своем падении соблудности тишину. Не успел еще замереть в отдалении грохот моих сапог, как огромный грабитель быстро подошел к двери, приоткрыл ее, высунул голову, глянул на лестницу и долго прислушивался. Затем, оставив дверь полуоткрытой, он вернулся, встал посреди комнаты и быстрым взором своих синих очей обвел обстановку и все украшения вокруг. У стен весьма уютно стояли книжные полки в том пышном, истинно человеческом стиле, который делает стены живыми, и шкаф, который был доверху набит книгами, стоявшими там кое-как, ибо их часто вынимали оттуда — очевидно, для чтения в постели. Низенькая приземистая немецкая печка стояла в углу, точно красный раскоряченный чертенок, а несколько поодаль находился буфет орехового дерева с закрытыми дверцами. В комнате были три окна, высоких и узких. Оглянувшись еще раз, мой грабитель распахнул дверцы буфета и стал исследовать его содержимое. Очевидно, он не нашел ничего, кроме изящного граненого графинчика с какою-то жидкостью, в высшей степени похожей на портвейн. Фигура вора с этой заветной маленькой безделушкой в руках снова породила во мне отвращение и гнев.

— Не делайте этого! — крикнул я довольно бестолково. — Ведь Рождественский Дед...

— А, — сказал грабитель, поставив графинчик на стол и не сводя с меня взгляда, — вы тоже думали о нем?

— Не могу выразить словами и миллионной доли того, что я думал! — с жаром воскликнул я. — Но в самом деле, послушайте... неужели вы не понимаете, почему дети не боятся Рождественского Деда, хотя он и приходит ночью, как вор? Ему прощаются его воровские приемы, потому что, когда он уйдет, число наших игрушек увеличится. А если бы игрушек стало меньше? Из какой преисподней выползает тот низменный дьявол, который посмеет похитить у спящего ребенка его куклу и резиновый мячик? Какая греческая трагедия может быть мрачнее и злее, чем это утреннее пробуждение — без игрушек? Воруйте лошадей и собак, воруйте даже людей — но может ли быть что-нибудь более гнусное, чем похищение игрушек?

Грабитель рассеянно сунул руку в карман, вынул оттуда большой револьвер и положил его на стол рядом с графинчиком, не спуская с меня синих задумчивых глаз.

— Послушайте! — сказал я. — Всякое воровство — похищение игрушек. Поэтому-то и грешно воровать. Сокровища несчастных сынов человеческих должны быть неприкосновенны, потому что их ценность ничтожна. Я знаю, что любимый ягненок Натана просто игрушка на деревянной подставке. Я знаю, что виноградинок Набота раскрашен, как игрушечный Ноев ковчег. И поэтому я не могу похищать эти вещи. До сих пор я не питал отвращения к краже, ибо представлял себе собственность в виде скопления ценных вещей, но похищать безделушки! — так низко я не паду никогда.

Погодя немного я прибавил:

— Нужно обкрадывать лишь мудрецов и святых. Их вы можете грабить, сколько вам будет угодно, но не трогайте малых суетных детей мира сего, не отнимайте у них жалких предметов, в которых вся их маленькая гордость.

Он достал из буфета два бокала, наполнил их портвейном и поднес один из них к своим губам, приговаривая:

— За ваше здоровье!

— Остановитесь! — воскликнул я. — Возможно, что это последняя бутылка, уцелевшая от какого-нибудь жалкого виноградного сбора. Хозяин дома, может быть, гордится этой дрянью. Разве вы не поняли еще, что такая человеческая глупость священна?

— Нет, это не последняя бутылка, — спокойно отвечал преступник. — В погребе имеется немало других.

— Значит, вы знаете эту квартиру? — спросил я.

— О, слишком хорошо! — ответил он с такой странной тоской, что мне почудилось в его голосе даже что-то застенчивое. — Я вечно пытаюсь забыть то, что я знаю, и найти то, что неведомо мне.

Он осушил свой бокал.

— Кроме того, — прибавил он, — это принесет ему пользу.

— Что принесет ему пользу?

— Вино, которое я пью, — ответил чудак.

— Разве он пьет слишком много?

— Столько же, сколько я.

— Хотите ли вы этим сказать, что хозяин дома одобряет все, что вы делаете?

— Боже избави! — возразил незнакомец. — Но он поневоле вынужден делать то же самое, что я.

Почему-то мертвый лик тумана, глядевший во все три окошка, еще более сгустил атмосферу таинственности и даже какого-то ужаса вокруг высокого, узкого здания, в которое мы снизошли с небес. Снова в моем воображении возникли фигуры гигантских призраков; мне чудилось, что огромные лица египетских покойников, красных и желтых, прильнули к каждому окну и жадно глядят внутрь нашей маленькой освещенной комнатки, словно на сцену кукольного театра. Мой спутник, играя, вертел в руках револьвер и снова заговорил с прежней несколько жуткой откровенностью.

— Я вечно стараюсь найти его и застигнуть врасплох. Я захожу через чердаки, через люки, чтобы только застать его; но всякий раз, когда я его нахожу, он делает то же, что я.

Как ужаленный вскочил я с места.

— Кто-то идет! — вскричал я, и в моем крике послышался испуг.

Не снизу, не с лестницы, а со стороны спальни (что казалось мне еще более ужасным) раздались шаги, становившиеся все

слышнее и слышнее. Не могу выразить словами, что предполагал я увидеть, когда отворилась дверь, — какую тайну, какое чудовище. В одном только я твердо уверен: я не ожидал увидеть то, что увидел.

В раме раскрытой двери стояла тихая, очень спокойная, высокая молодая женщина. Было в ней что-то художественное, но что, я не в силах сказать. Ее одежда была цвета весны, волосы — как осенние листья. Лицо у нее было молодое, но уже умудренное опытом. Она сказала:

— Я не слышала, как вы вошли.

— Я прошел другим ходом, — последовал туманный ответ Проницателя. — Я забыл дома ключ от парадной двери.

Я вскочил на ноги в припадке безумия и вежливости.

— Мне очень жаль, — воскликнул я. — Знаю, что мое положение довольно двусмысленно. Не будете ли вы так добры, не скажете ли мне, чей это дом?

— Мой, — ответил грабитель. — Позвольте представить вас моей жене.

После обычных приветствий я неуверенно и медленно уселся на прежнее место; только к утру ушел я из этого дома. Миссис Смит (такую прозаичную фамилию носила эта далеко не прозаичная чета) некоторое время посидела в нашем обществе, болтая со мной в очень легком и непринужденном тоне. Она произвела на меня впечатление женщины, в которой странно сочеталась застенчивость с бойкостью. Было похоже на то, что эта женщина, издевавшая жизнь, все еще почему-то боится ее. Возможно, что у нее были несколько взвинчены нервы от совместной жизни с таким непоседливым и ненадежным супругом. Как бы то ни было, после того, как она отбыла во внутренние покои, этот необыкновенный человек излил на меня за бутылкой свою апологию и биографию.

Учился он в Кембридже. Его отдали туда, чтобы он изучал математику. Готовили его к ученой, а не литературной карьере. Греческие и римские классики не входили в его учебную программу. В школах того времени царил беспросветный нигилизм; но плоть его восстала против духа, инстинктивно чуя, где правда. Его ум усвоил это темное вероучение; тело же не желало подчиняться уму. Правая рука Смита, по его словам, научила его страшным вещам. Он поднес свою правую руку с заряженным револьвером к виску знаменитого ученого и заставил несчастного лезть из окна и уцепиться за водосточную трубу. Смит объяснял свои действия тем, что злополучный профессор проповедовал учение о предпочтительности небытия. Смита, конечно, исключили за такой неакадемический способ аргументации. До тошноты возненавидев пессимизм, который ежился под дулом его револьвера, он стал фанатиком радостной жизни. Он не пропускал ни одного собрания серьезно мыслящих людей. Он всегда был весел, но отнюдь не беспечен. Он шутил от всей души — не словами, но

делами. Хотя в своем оптимизме он не доходил до вздорного утверждения, что все на свете пиво и кегли, но все же, по-видимому, был свято уверен, что пиво и кегли — наиболее серьезное в жизни.

— Что более бессмертно, — восклицал он, — чем любовь и война? Символ всякой страсти и радости — пиво, символ всех побед и сражений — кегли.

В нем было то, что в старину называли торжественностью, когда говорили о том, как торжественны простые маскарады и свадебные пиршества. Но несмотря на это он отнюдь не был просто язычником, так же не был он просто шутником. В основе его эксцентричных выходов лежала непоколебимая, твердая вера — мистическая в своей сущности, даже детская и христианская.

— Я не отрицаю того, — говорил он, — что священники нужны, чтобы напомнить людям о предстоящей им смерти. Я лишь утверждаю, что человечество в некоторые странные эпохи требует жрецов другого рода; их называют поэтами; они должны напоминать людям, что те еще не умерли, а живы. Интеллигенты, среди которых я доселе вращался, так мало чувствовали жизнь, что даже смерти не умели бояться, как следует. Даже для того чтобы быть трусом, нужна живая, горячая кровь. До тех пор пока им к самому носу не приставят дуло револьвера, они не поймут, что они еще живы. Если созерцать нашу жизнь на фоне столетий, весьма возможно, что жизнь есть наука смерти; но для этих жалких белых крыс смерть — единственно возможный способ познания жизни.

Постоянно подвергал он свою жизнь отчаянному риску, то бродя по краю глубочайшей пропасти, то кидаясь вдруг вниз головой, чтобы поддержать в себе живое чувство, что он жив. Он бережно хранил в своей памяти подробности того тривиального и в то же время безумного события, которое открыло ему великую истину. Когда профессор повис на железной водосточной трубе, вид его длинных ног, вибрировавших в воздухе наподобие крыльев, напомнил ему старинное сатирическое определение человека, «двуногое животное без перьев». Несчастливого профессора чуть не погубила его голова, которую он так бережно холил; спасся он только благодаря ногам, к которым всегда относился с холодным пренебрежением. Желая поделиться с кем-нибудь этим открытием, Смит отправил телеграмму своему старому школьному товарищу (которого давно потерял из виду) о том, что найден человек с двумя ногами и что человек этот жив.

Огненный столб его оптимизма ракетой взметнулся вверх, к звездам, когда он неожиданно влюбился. Катаясь в ялике, он забавлялся тем, что спускался вместе с лодкой в буйный водопад у самого шлюза реки, чтобы доказать себе, что он все еще жив. Вскоре, однако, он начал сомневаться в этом. В довершение всего он увидел, что подверг такой же смертельной опасности безобидную молодую женщину, катавшуюся одиноко поблизости и не

желавшую спорить со смертью путем философских доказательств от противного. Весь мокрый, выбиваясь из последних сил, чтобы доставить пострадавшую девушку на берег, он, отчаянно жестикулируя, рассыпался перед ней в извинениях. Когда же ему наконец удалось спасти ее, он, кажется, тут же на набережной сделал ей предложение. Но так или иначе, он женился на ней с такой же стремительностью, с какой чуть не отправил ее на тот свет. Это была та леди в зеленом платье, которой я только что пожелал спокойной ночи.

Они поселились в узком, высоком здании на окраине города, неподалеку от Хайбери. Впрочем, я выразился не совсем точно. Можно утверждать, что Смит женат, что он счастлив в семейной жизни, можно даже сказать, что для него не существует других очагов, кроме собственного; однако нельзя сказать, что он поселился в своем доме.

— Я очень привязан к д о м у , — совершенно серьезно пояснил он , — и предпочитаю разбить окно и влезть в небо, чтобы скорее попасть домой, чем опоздать к чаю.

Он подхлестывал душу смехом, чтобы не дать ей уснуть. Его жена лишилась нескольких отличных служанок из-за того, что он стучал в дверь своей квартиры и, точно незнакомый, спрашивал, живет ли в квартире мистер Смит и что это за человек. Лондонские горничные обычно не любят, чтобы их господа впадали в такой заумно-иронический тон, и он никак не мог втолковать этим женщинам, что он расспрашивает о себе самом для того, чтобы почувствовать к своим собственным делам тот же живой интерес, какой он чувствует к делам посторонних людей.

— Я знаю, что здесь где-то живет человек по фамилии Смит, — говорил он таинственно, — в одном из высоких зданий на этой улице; я знаю, что он безусловно счастлив, и все же мне ни разу не удалось посмотреть, как он наслаждается счастьем.

Иногда в обращении с женой он проявлял такую застывшую вежливость, точно он молодой иностранец, безумно влюбившийся с первого взгляда. Иногда он переносил эту пугливую поэтическую учтивость на самую мебель; он извинялся перед стулом, когда садился на него, поднимался по лестнице с осторожностью туриста, восходящего на вершину горы. Он стремился обновить в себе чувство истинной реальности. Иногда он разыгрывал роль незнакомца в ином, противоположном смысле и входил в свой дом окольными путями, чтобы почувствовать себя вором и разбойником; для этого он был готов ворваться грабительским манером в свою собственную квартиру...

Всю ночь делился он со мной своими удивительными признаниями, и только к утру я ушел от него. Когда я прощался с ним на пороге его дома, последние клубы тумана уже рассеялись и солнечные лучи осветили вереницу домов, убегающих куда-то вниз, подобно ступеням гигантской лестницы. Мне казалось, что я у самого края земли.

Многие мне на это скажут, что я провел ночь с сумасшедшим, с маньяком. Разве можно иначе назвать человека, который, желая напомнить себе, что он женат, притворяется, будто он холостой, человека, который пожелал своего собственного добра, а не добра ближнего своего? На это я могу ответить очень кратко, хотя едва ли кто поймет мои слова. Я верю, что маньяк этот один из тех людей, которые не просто приходят на землю, но посланы Богом, посланы, как ветер кораблю. Плачут ли они или смеются, мы смеемся над их слезами и смехом. Проклинают ли они мир или благословляют его, они никогда не находятся в гармонии с ним. Правда, люди убегают от жала великих сатириков, как от жала ехидны. Но верно и то, что они убегают от объятий великих оптимистов, как от объятий медведя. Ничто не влечет за собою больше проклятий, чем искреннее благословение. Хорошее — хорошо, плохое — плохо, в этом чудо, неизъяснимое никакими словами; его легче изобразить красками, чем выразить человеческой речью. Мы можем проникнуть в сокровеннейшую глубину небесного свода и глубже, мы можем стать старше, чем самые древние ангелы, и все же мы не постигнем даже в слабой степени той двойственной страсти, с которой Бог одновременно и ненавидит, и любит свой мир.

Остаюсь ваш покорный слуга

Раймонд Перси».

— Ой, свят! свят! свят! — вскричал вдруг Моисей Гулд.

Когда он сказал это, все остальные поняли, что они слушали чтение письма с глубочайшим религиозным смирением и даже покорностью. Что-то объединило их; может быть, священная легенда последних слов письма, может быть, то трогательное смущение, с которым Инглвуд это письмо читал, — его голос был проникнут особым утонченным уважением, которое свойственно людям неверующим.

— Ой, свят! свят! свят! — повторил Моисей Гулд.

Увидев, что замечание его дурно принято всеми, он пустился в объяснения, все более и более воодушевляясь.

— Смешно видеть человека, который проглотил осу, пока он откашливался, чтобы выплюнуть муху! — сказал он с приятной улыбкой. — Не видите вы разве, что совсем законопатили старика Смита? Если этот пастор сказал правду, он сильно ему подгадил. Окончательно подгадил, ей-богу. Мы видели, как он удирал с мисс Грэй (нижайшее почтение) в кебе. Ну, а как обстоит дело с миссис Смит, у которой, по выражению каноника, застенчивость дивно сочетается с бойкостью? Мисс Грэй, кажется, не очень бойка, но как будто она порядком застенчива.

— Не будьте нахалом! — проворчал Майкл Мун.

Никто не осмелился поднять глаза на Мэри, но Инглвуд взглянул на Инносента. Тот сидел, склонившись над своими

бумажными игрушками, и глубокая морщина образовалась у него на челе, неизвестно, от стыда или тоски. Он осторожно расправил один угол бумажного корабля и придал ему другую форму. Морщина разгладилась, и он облегченно вздохнул.

Глава III

КРУЖНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ ОБВИНЕНИЕ В БЕГСТВЕ

С неподдельным смущением поднялся Пим с места; он, как истый американец, отличался искренним — отнюдь не научным — уважением к женщинам.

— Несмотря на то, — начал он, — что речь моего коллеги вызвала деликатные рыцарские протесты, я все же считаю нужным отметить, что вопрос, затронутый в этой речи, безусловно требует детального выяснения, хотя многие, быть может, найдут, что неутомимая жажда истины, которая руководит нами в наших поисках, неуместна здесь, среди величавых руин феодального строя. Нами только что было рассмотрено дело по обвинению Смита в грабеже; следующее по порядку — обвинение в двоеженстве. Защита, поставив себе неблагодарную задачу добиться оправдания Смита в первом деле, тем самым признает его виновным во втором. Либо над Инносентом Смитом тяготеет по-прежнему обвинение в краже, либо, если это обвинение отпадает, обвинение в двоеженстве обретает еще более твердую почву. Все, впрочем, зависит от нашего отношения к вышеупомянутому уже письму каноника Перси. Исходя из этого, я считаю нужным воспользоваться предоставленным мне правом и хочу задать защите несколько вопросов. Могу ли я узнать, каким образом это письмо очутилось в руках защиты? Получено ли оно ею непосредственно от самого подсудимого?

— Мы ничего не получали непосредственно от подсудимого, — спокойно ответил Мун. — Те немногие документы, которые имеются у нас, получены другими путями.

— Какими? — любопытно спросил Пим.

— Если вы настаиваете, — ответил Мун, — извольте: мы получили их от мисс Грэй.

Доктор Сайрус Пим не только забыл на этот раз прикрыть свои глаза веками, но, напротив, открыл их весьма широко.

— Вы действительно хотите этим сказать, что в руках у мисс Грэй был документ, подтверждающий существование другой миссис Смит?

— Именно так, — сказал Инглвуд и сел.

Тихим и печальным голосом пробормотал доктор Пим несколько слов о силе гипноза, затем с видимым затруднением продолжал свою речь.

— К несчастью, трагическая истина, уже известная вам из письма каноника Перси, находит потрясающее подтверждение в других, весьма компрометантных документах, имеющихся в нашем распоряжении. Самым важным и наиболее достоверным я считаю показание садовника, состоявшего на службе у Инносента Смита и имевшего случай лично присутствовать при одном из наиболее возмутительных проявлений явной супружеской неверности. Мистер Гулд, пожалуйста, показание садовника!

С обычной неумолимой веселостью поднялся мистер Гулд с места, дабы продемонстрировать садовника. Садовник подтверждал, что он находился у мистера и миссис Смит в услужении, когда они еще жили в маленьком доме на окраине Крайдона. По тем деталям, которыми изобиловало показание садовника, Инглвуд мгновенно вспомнил это место. Домик Смитов был одним из тех полугородских, полудеревенских домов, которые невозможно забыть, потому что они кажутся границей, отделяющей деревню от города. Сад был расположен на взгорье и, словно крепость, круто спадал на дорогу. Кругом расстилалась обычная сельская панорама. Белая дорога вилась по ней, и всюду виднелись пни, корни и сучья огромных серых деревьев, которые корчились и мотались под ветром. Но против самого сада, как бы в подтверждение того, что дорога эта — улица городского предместья, стоял фонарный столб желто-зеленого цвета, резко выделяющийся на сером деревенском пейзаже, а за углом торчал ярко-красный почтовый ящик. Да, да! Это было то самое место. Инглвуд не ошибся, он тысячу раз проезжал на велосипеде мимо этого дома и всегда, приближаясь к нему, смутно чувствовал, что здесь должно случиться нечто важное. Однако он даже вздрогнул, когда ему пришло в голову, что в любое время он мог бы увидеть там высунувшееся из-за садового куста лицо его страшного друга (или недруга). В показании садовника совершенно отсутствовали те живописные прилагательные, которыми было украшено письмо каноника, хотя, может быть, он и шептал их про себя, когда писал. Коротко и ясно поведал он, как мистер Смит в одно прекрасное утро вышел в сад, взял грабли и стал баловаться ими, что проделывал нередко и раньше. Он то щекотал граблями нос своему старшему сыну (у него было двое детей), то закидывал их вверх на дерево и отчаянными акробатическими прыжками, точно гигантская жаба в предсмертной агонии, взбирался на это дерево, чтобы снять их оттуда. Но работать граблями, как работают ими все, он даже и не попытался ни разу; поэтому садовник относился к его забавам холодно и сухо. Однажды октябрьским утром, проходя мимо дома с кишкой для орошения сада, он, садовник, увидел своего хозяина в полосатой красно-белой куртке (которая, быть может, была его обычной одеждой, но весьма походила на ночное белье). Хозяин стоял посредине лужайки и время от времени перекликался с женой.

Жена стояла в спальне у окошка. Вдруг хозяин громко произнес следующие недвусмысленные слова:

— Я не хочу больше оставаться здесь! У меня есть другая жена и другие дети, гораздо лучше этих, далеко отсюда. У моей второй жены волосы еще рыжее, чем ваши, и сад вокруг ее дома гораздо красивее. Я сейчас же отправлюсь туда.

С этими словами он изо всех сил забросил грабли в такую высь, куда не залетела бы ни пуля, ни стрела, и снова поймал их за ручку. Затем он одним прыжком перемахнул через ограду и без шляпы понесся по прилегавшей к саду дороге. Инглвуд живо представил себе картину этого бегства, так как дополнил ее видом знакомой местности. Он мысленно видел великана с непокрытой головой и его зубчатые грабли, мелькавшие по извилистой дороге мимо фонаря и почтового ящика. Садовник, судя по его показанию, был готов клятвенно подтвердить, что Смит всенародно признался в своем двоеженстве, что грабли временно исчезли в небесах, а потом и хозяин окончательно исчез вместе с ними. К этому он прибавил, что он (садовник) как местный житель может под присягой показать, что о Смите никаких дальнейших сведений ни у кого в тех местах не имеется, если не считать непроверенных слухов, будто кто-то его видел на юго-восточном побережье Европы.

Как это ни странно, однако последнее известие было тотчас же подхвачено Майклом Муном в самом начале его короткой и ясной защитительной речи. Он не только не отрицал сообщенных садовником сведений о бегстве Смита из Крайдона и его отъезде на континент, но даже сам подтвердил их на основании имевшихся у него документов.

— Надеюсь, — заявил о н , — ваш патриотизм настолько широк, что вы отнесетесь к словам трактирщика-француза с неменьшим доверием, чем к показанию садовника-англичанина. Будьте любезны, мистер Инглвуд, огласите письмо француза.

Не успело собравшееся общество ответить на заданный Муном щекотливый вопрос, как Инглвуд стал читать упомянутое показание. Оно было написано по-французски и гласило приблизительно следующее:

— «Мсье. Да, я Дюробен из приморского кафе Дюробена, находящегося у моря в Гра, несколько севернее Дюнкерка. Я хочу написать вам все, что мне известно о незнакомце, вышедшем из морской волны.

Я не люблю ни эксцентрических людей, ни поэтов. Благоразумный человек находит красивыми лишь те вещи, которые специально предназначены для украшения жизни, например, изящный цветник или статуэтка из слоновой кости. Нельзя допускать, чтобы красота завладевала всей жизнью человека, так же, как нельзя замостить всю улицу слоновой костью и засеять все поля геранью! Честное слово, мы тогда затоскуем о луковицах.

Но читаю ли я свои мысли теперь, после происшествия, в обратном порядке, или в самом деле бывает такая атмосфера души, куда все еще не может заглянуть строгое око науки, к стыду своему я должен признаться, что в этот достопамятный вечер я чувствовал себя как поэт — маленький, вздорный поэтишка, распивающий абсент на сумасшедшем Монмартре.

Решительно, само море казалось абсентом, зеленой и горькой отравой. Никогда еще оно не казалось мне столь новым, непохожим на прежнее. На небе была ранняя бурная тьма, наводящая на человека тоску. Ветер со свистом носился вокруг пестрого газетного киоска и вдоль прибрежных песчаных холмов. Вдруг я заметил рыбацкий баркас, который бесшумно несся под темными парусами к берегу. Неподалеку от берега из баркаса выскочил мужчина чудовищных размеров и пошел прямо по воде. Вода не доходила ему до колен, хотя многим мужчинам она была бы по пояс. Он шел, опираясь на длинные грабли, или вилообразный посох, нечто вроде трезубца, и был похож на Тритона. Весь мокрый, с прилипшими к одежде нитями морской тины, он прошел к моему кафе и, присев за один из столиков на балконе, приказал подать сладкую вишневую наливку, которая хранится в моем погребе, хотя ее мало кто спрашивает. Затем это чудовище вежливо пригласило меня распить с ним стаканчик вермута перед обедом. Мы разговорились. Он, по-видимому, отплыл из Кента в маленькой рыбацкой лодчонке, купленной им специально для этого плавания, по внушению какой-то странной прихоти, внезапно погнавшей его по Ла-Маншу и не позволившей ему дожидаться обыкновенных пассажирских пароходов. Из его довольно туманных объяснений следовало, что он разыскивал какой-то дом. На мой вполне естественный вопрос, где этот дом находится, он ответил, что и сам не знает, что дом лежит на острове, где-то на востоке, где-то т а м , — он сделал неопределенный жест.

Я спросил его, каким образом он, не зная, где находится дом, думает найти его. Тут лаконичность и обрывистость его объяснений сменилась самой отчаянной многоречивостью. Он дал такое детальное описание дома, которое удовлетворило бы, пожалуй, даже аукциониста. Я забыл почти все подробности, за исключением двух: фонарный столб около дома выкрашен в зеленую краску, а на углу возвышается в виде столба красный почтовый ящик.

— Красный почтовый ящик! — воскликнул я в изумлении. — Но тогда этот дом, должно быть, находится в Англии!

— Да, да, я забыл! — сказал он, утвердительно кивнув головой. — Да, да, именно так называется тот остров, который мне нужно найти.

— *Nom du nom!*¹ — сердито воскликнул я. — Вы же, милейший, только что приехали из Англии!

¹ Черт побери (*фр.*).

— Говорят, что то была Англия! — таинственно сообщил мне кр е т и н . — Мне так и сказали в Кенте. Но жители Кента такие лгуны, что нельзя верить ни одному их слову!

— Monsieur, — сказал я. — Вы должны простить меня. Я человек пожилой, и острофы молодых людей выше моего понимания. Я довольствуюсь здравым смыслом или, вернее, основываю свои рассуждения на том обобщенном понятии примененного к жизни здравого смысла, которое мы именуем наукой.

— Наукой! — воскликнул незнакомец. — Единственное научное открытие, и великое, радостное, — это то, что земля кругла.

Со всевозможной деликатностью возразил я ему, что мой разум отказывается постичь смысл его слов.

— Я хочу сказать, — пояснил о н , — что кругосветное путешествие — наикратчайшая дорога к тому месту, где мы теперь находимся.

— Не будет ли несколько проще остаться на том же месте? — спросил я.

— Нет, нет и нет! — с жаром воскликнул о н . — Это очень длинный и очень скучный путь. На краю света, в последнем сиянии зари я найду ту женщину, которую назвал своей женой, и тот дом, который действительно мой. И еще зеленее будет фонарный столб у этого дома, и еще краснее почтовый ящик. Бывает ли с вами, — спросил он с неожиданной страстью, — бывает ли с вами, что вы стремглав убегаете из своего дома только для того, чтобы снова попасть туда?

— Нет, не думаю, — ответил я. — Рассудок велит человеку согласовать свои желания с теми средствами, которые дает ему жизнь. Я остаюсь здесь и счастлив, что могу вести человеческий образ жизни. Все мои интересы сосредоточены здесь, все мои друзья живут здесь и...

— И все же , — вскричал он, выпрямившись во весь свой гигантский р о с т , — вы совершили французскую революцию.

— Прошу прощенья, — сказал я, — мне еще не так много лет. Верно, какой-нибудь родственник.

— Я хочу сказать, что люди, подобные вам, совершили ее, — воскликнул этот странный с у б ъ е к т . — Да, именно такие неподвижные, благоприличные, благоразумные люди совершили французскую революцию! О да, я знаю, многие относятся к ней отрицательно и говорят, что вы снова вернулись на то самое место, где стояли раньше, до нее. Но, черт побери, мы только этого и хотим: попасть туда, откуда мы пришли! Революция всегда идет кружным путем. Всякая революция, как и всякое раскаяние, — это возвращение.

Он был в таком возбужденном состоянии духа, что, как только он снова уселся, я перевел разговор на другую тему; но он стукнул огромным кулачком по ветхому столику и продолжал:

— Я желаю совершить революцию, но только не французскую, а английскую! Господь даровал каждому народу свои особые

методы бунта. Французы, собравшись толпой, идут на приступ городской цитадели, англичанин идет на окраину города, и идет один. Но я тоже переверну весь мир вверх тормашками! Я сам выверну себя наизнанку и буду ходить на голове — в поставленной вверх ногами стране антиподов, где и люди, и деревья висят в воздухе вниз головой. Но моя революция, равно как и ваша, равно как и всякая революция, совершаемая у нас на земле, закончится в священном, благодатном месте — в райской, сказочной стране — там, где мы были раньше!

С этими словами, которые едва ли можно назвать разумными, он вскочил с места и исчез во мгле, подбросив в воздух свой трезубец и оставив на столе чрезмерно щедрую плату, что также может служить доказательством его ненормальности. Вот все, что я знаю о человеке, приставшем к берегу в рыбацьем баркасе, и я надеюсь, что показание мое послужит интересам правосудия. Примите, мсье, уверение в моей глубочайшей преданности; имею честь быть вашим покорным слугой

Жюль Дюробен».

— Следующий документ, находящийся в нашем распоряжении, — продолжал Инглвуд, — письмо, полученное нами из Крацока, города, лежащего на центральных равнинах России; содержание письма таково:

«Милостивый государь, зовут меня Павел Николаевич; я начальник станции, находящейся неподалеку от Крацока. Бесконечные вереницы поездов проходят мимо, увозя людей в Китай, но лишь очень немногие пассажиры сходят на той платформе, которая находится под моим наблюдением, так что жизнь моя течет однообразно, и я ищу утешения в книгах, имеющихся у меня под рукой. Вокруг меня нет никого, с кем я мог бы обменяться мыслями по поводу прочитанного, так как просветительские идеи в нашем краю еще не пустили столь глубоких корней, как в других частях моей обширной родины. Многие окрестные крестьяне даже не слышали о существовании Бернарда Шоу.

Я — человек радикального образа мыслей; я делаю все от меня зависящее для распространения радикальных идей; но после подавления революции просветительское дело становится у нас с каждым днем все труднее. Революционеры совершили много поступков, противоречащих основным принципам гуманности, с которыми они, вследствие недостатка книг в России, были знакомы весьма отдаленно. Я не одобряю их жестокости, хотя она и вызвана тиранией правительства; но теперь господствует тенденция, стремящаяся возложить ответственность за совершенные террористами злодеяния на всю интеллигенцию вообще. Этот взгляд вредно отражается на положении интеллигенции.

В то утро я стоял на платформе в ожидании поезда. Незадолго перед этим закончилась железнодорожная забастовка,

и поезда начали уже ходить, хотя и с большими промежутками. Из вагона вышел лишь один человек. Он показался вдаль, на самом конце платформы, так как поезд был очень длинный. Был вечер, холодное небо было темно-зеленого цвета. Выпал легкий снежок, лишь кое-где побеливший равнину; вся местность была залита тусклым багрянцем, и только в ровных вершинах одиноких холмов, точно в озерах, отсвечивал печальный вечер. Чем ближе подходил по снегу тот пассажир, тем выше ростом становился он; никогда раньше не приходилось мне встречаться с таким высоким мужчиной, но он, пожалуй, казался еще выше, чем был на самом деле, так как его голова, при необычайной ширине его плеч, была сравнительно мала. Его могучий корпус был облечен в ветхую, прорванную куртку (тускло-красные и грязно белые полосы), совершенно не подходящую для зимнего времени, в одной руке держал он огромные грабли вроде тех, которые употребляются мужиками для сгребания бурьяна.

Он не дошел еще до конца поезда, как наткнулся на шайку головорезов, которые после подавления революции перешли на сторону правительства и покрыли себя вящим позором.

Я двинулся было ему на помощь, но он одним взмахом своих граблей с такой энергией расчистил себе дорогу, что беспрепятственно подошел ко мне сам, оставив позади себя озадаченных и пораженных хулиганов.

Как только он поравнялся со мной, он тотчас обратился ко мне на довольно сомнительном французском языке и заявил, что ему нужен дом.

— В наших местах не очень-то много домов, — ответил я на том же языке. — Тут были беспорядки. Вы знаете, революция недавно подавлена. Дальнейшее строительство...

— О нет, вы меня не поняли! — воскликнул он. — Я разумею настоящий дом, живой. Этот дом — несомненно живой дом, так как он все время бежит от меня.

К стыду моему я должен признаться, что особый, неуловимый смысл его слов и его жесты произвели на меня сильное впечатление. Мы, русские, выросли в атмосфере народных сказок; их злополучное влияние и поныне сказывается в яркой пестроте наших икон и детских кукол. На одно мгновение картина дома, убегающего от человека, доставила мне удовольствие, — так медленно проникает культура в человеческое сознание.

— А другого дома у вас разве нет? — спросил я.

— Я покинул его, — последовал грустный ответ. — Не могу сказать, чтобы мой дом стал мне скучен, но я сам сделался скучен в моем доме. Моя жена лучше всех женщин в мире, и все же я перестал это чувствовать.

— Итак, — сочувственно проговорил я, — вы ушли из дому, словно Нора мужского пола.

— Нора? — вежливо переспросил он, думая, что это какое-то русское слово.

— Я имею в виду Нору, героиню «Кукольного дома», — пояснил я ему.

Он с удивлением посмотрел на меня, и тогда я понял, что он англичанин, так как все англичане уверены, что русские читают лишь «указы».

— Кукольный дом! — с жаром воскликнул он. — Ах, Ибсен так неправ! Истинное назначение каждого дома именно быть кукольным домом. Разве вы не помните, что, когда вы были ребенком, лишь маленькие окошечки вашего игрушечного домика были для вас подлинными окнами, а настоящие большие окна не существовали совсем?

Какие-то смутные образы моего раннего детства сковали мне язык; но англичанин нагнулся ко мне и, не дожидаясь ответа, отчетливо прошептал:

— Я открыл способ превращать большие предметы в маленькие. Я понял, каким образом можно всякий дом сделать кукольным, — отойдите от него на большое расстояние. Господь своей великой властью над пространством превращает все вещи в игрушки. Дайте мне один раз взглянуть на мой старый кирпичный дом с другого конца горизонта, и я снова захочу войти в него! Захочу увидеть опять этот славный зеленый фонарный столб перед нашей калиткой и милых маленьких человечков, которые, словно куколки, смотрят из окон! Ведь в моем кукольном доме окна открываются, как настоящие.

— Но зачем, — спросил я, — хотите вы вернуться в этот кукольный дом? Дерзко восстав, как Нора, против условностей, испортив свою репутацию с общепринятой точки зрения, осмелившись стать свободным, почему не хотите вы воспользоваться плодами вашей свободы? Величайшие современные писатели доказали: то, что называется браком, есть только минутная прихоть. Вы имеете право пренебречь этим вздором и бросить жену, как бросаете обрезки ногтей или клочья волос после стрижки. Если вы покончили с этим, весь мир открыт перед вами. Хотя мои слова и покажутся вам странными, но свобода только здесь, только в России.

Мечтательным взором окинул он темные оцепенелые поля, окружившие нас; только и двигалось во всей этой окрестности — длинное, извилистое лиловое облако дыма, извергаемое нашим паровозом, словно огнедышащим вулканом, — единственное теплое и тяжелое облако в тот ясный, холодный, бледно-зеленый вечер.

— Да, — с глубоким вздохом промолвил незнакомый мужчина. — Да, я свободен в России. Вы правы. Я имею полную возможность войти в этот город, снова влюбиться в женщину, а может быть, и жениться опять на какой-нибудь здешней красавице и снова завести семью. Никто, никто не найдет меня здесь. Да, вы безусловно убедили меня в одной истине.

Он произнес эти слова так таинственно, таким странным мистическим тоном, что я невольно спросил его, что он хочет сказать и в какой именно истине убедил я его.

— Вы меня убедили, — сказал он, взглянув на меня своими кроткими глазами, — в том, что мужчине действительно грешно и опасно убегать от своей жены.

— Почему же опасно? — спросил я.

— Потому что никому не удастся найти его, — ответил чудак, — а мы все желаем быть найденными.

— Наиболее оригинальные современные мыслители, — заметил я, — Ибсен, Горький, Ницше, Шоу — сказали бы, что сильнее всего на свете мы желаем, чтобы нас никто не нашел; мы хотим быть утраченными, ходить по непротоптанным дорогам и творить небывалое; порвать с прошлым и принадлежать будущему.

Он выпрямился, как бы в забытьи, во весь свой гигантский рост и окинул взором расстилавшуюся перед ним (должен сознаться — довольно неприглядную) картину — темно-пурпурную степь, заброшенную железнодорожную станцию и угрюмую толпу оборванцев.

— Здесь я не найду того дома, — сказал он. — Мой путь — на восток — все дальше и дальше... на восток.

И вдруг, с необычайным порывом, похожим на внезапную ярость, он обернулся ко мне и ударил концом своего посоха по замерзшей земле.

— Если я вернусь на родину, — вскричал он, — меня, может быть, запрут в сумасшедший дом прежде, чем я попаду в мой собственный. Я действительно сбросил оковы условностей! Да, Ницше маршировал в шеренге манекенов глупой, старой прусской армии, а Бернард Шоу пьет безалкогольные вина на окраинах Лондона. Но то, что делаю я, доселе не видано и не слышано. Та кругосветная дорога, по которой шествую я, — непротоптанная дорога. Я верю в близость переворота. Я — революционер. Разве вы не видите, что все эти переломы, разрушения и побеги вызваны только желанием вернуться обратно в рай — к тому, что у нас было раньше, или, по крайней мере, к тому, о чем мы раньше слышали? Разве вы не видите, что человек ломает забор или стреляет в луну лишь затем, чтобы вернуться домой?

— Нет, — ответил я после некоторого размышления. — Не думаю; я с этим не согласен.

— А, — со вздохом облегчения произнес он, — теперь вы мне объяснили другую истину.

— Что же именно? — спросил я. — Какую истину?

— Почему ваша революция потерпела неудачу, — сказал он и, резко повернув ко мне свою спину, вскочил на подножку уже отходившего вагона. Долго глядел я на исчезнувший в черневшей дали длинный, змеевидный хвост поезда.

Больше я не видел его. Но несмотря на то, что его взгляды не соответствуют передовым идеям нашего времени, он все же сумел заинтересовать меня; мне хотелось бы узнать, нет ли у него в печати каких-нибудь литературных трудов.

Ваш и т. д. *Павел Николаевич*».

В этих странных обрывках чужой, иноземной жизни было что-то сдерживающее; нелепый трибунал вел себя гораздо спокойнее, чем до сих пор, и Инглвуд мог приступить к чтению следующего документа без малейшего перерыва.

— Надеюсь, суд отнесется снисходительно к отсутствию в этом письме всяких церемонных обращений, обычных в нашей английской корреспонденции. Впрочем, оно изобилует церемониями особого рода.

«Небесные законы вечны; привет.

Я Вонг-Хи, и я стерегу храм всех моих предков в роще Фу. Человек, упавший с неба и проникший ко мне, сказал, что это должно быть очень скучно, но я доказал ему, сколь он неправ. Правда, я живу все на одном и том же месте, так как мой дядя привел меня сюда, когда я был маленьким мальчиком; здесь я и умру. Но если человек живет на одном и том же месте, он видит, как это место меняется. Пагода моего храма недвижно стоит среди деревьев, словно желтая пагода среди множества зеленых пагод. Но небо над ней бывает порою синее, как фарфор, порою зеленое, как нефрит, порою красное, как гранат. А ночь вечно черна и вечно возвращается снова, как сказал император Хо.

Был вечер, когда тот человек неожиданно упал ко мне с неба; я не мог уловить ни малейшего шороха в верхушках зеленых деревьев, которые, точно море, шумят и волнуются у меня над головой, когда я всхожу по утрам на крышу моего храма. И все же он явился, точно слон, вырвавшийся на волю из армии великих индийских царей. Пальмы трещали, и бамбуковые деревья ломались у него под ногами, и внезапно в сиянии солнца он предстал перед храмом, высокий и стройный, выше прочих сынов человеческих.

Красные и белые лоскутья болтались на нем, словно карнавальные ленты, а в руке у него был посох с длинными зубьями, точно зубы дракона. Лицо его было бледно и взволнованно, как у всех белолицых: они похожи на мертвецов, одержимых демонами. Он заговорил на нашем языке, и речь его была отрывиста.

Он сказал мне:

— Это всего только храм, а мне надобен дом.

И он с учтивой поспешностью добавил, что фонарь у его дома был зеленого цвета и что на самом углу его сада находился красный столб.

— Я не видел вашего дома, не видел и других домов, — ответил ему я. — Я живу в этом храме и служу богам.

— Верите ли вы в богов? — спросил он меня, и голод, настоящий собачий голод засверкал у него в глазах. Вопрос показался мне весьма удивительным, ибо как человеку не верить в богов, если в них верили предки?

— Господин мой, — ответил я, — людям необходимо простирать руки к небесам, если даже небеса пусты. Ибо если боги существуют, то это обрадует их, а если богов нет, значит, некому и огорчаться. Небеса то сияют, как золото, то блестят, как порфир; иногда они темны, как черное дерево, но деревья и храм стоят недвижимо. Великий Конфуций учил нас: если мы руками и ногами делаем всегда одно и то же, подобно мудрым птицам и зверям, то головой мы можем думать о многом, да, господин мой, и сомневаться во многом. Пока люди не перестали в установленные дни воздавать приношения риса и пока они в установленные часы возжигают светильники, не следует думать о том, есть ли боги или нет. Дары умиротворяют — если не богов, то людей.

Он подошел ко мне вплотную и сделался, казалось, еще выше, но глаза его были ласковы.

— Разрушьте ваш храм, — сказал он, — и ваши боги будут свободны.

Я улыбнулся, дивясь его неразумию, и ответил ему:

— Итак, если нет богов, у меня только и останется что разрушенный храм?

Гигант, у которого свет разума был отнят, простер ко мне свои огромные длани и стал умолять меня о прощении. И когда я его спросил, в чем он себя считает передо мной виноватым, он ответил:

— В том, что я прав.

— Ваши идолы и императоры — такие старые, тихие, мудрые, — вскричал он, — стыдно, что они так неправы. Мы же, грубые, вульгарные насильники, мы причинили вам столько обид, — какой позор, что мы все же в конце концов правы!

И я, все еще удивляясь безграничному его неразумию, спросил его, почему он считает правым и себя, и свой род.

И он ответил мне:

— Мы правы, потому что мы связаны тем, чем люди должны быть связаны, и свободны в том, в чем люди должны быть свободны. Мы правы, потому что мы сомневаемся в законах и обрядах и уничтожаем их, но мы не сомневаемся в нашем праве на уничтожение их. Вы живете обрядами, мы живем верой! Смотрите на меня! Меня в моей стране зовут Смит. Я покинул свою страну, я обесчестил свое имя, чтобы искать по всему свету то, что принадлежит мне по праву. Вы стойки, как эти деревья, потому что вы не верите. Я же изменчив, как буря, потому что я верю. Я верю в свой собственный дом, который я снова найду. В конце концов будет у меня и зеленый фонарь, и красный почтовый ящик.

И я сказал ему:

— В конце останется только премудрость.

Но едва я произнес «премудрость», как он, испутив ужасающий крик, понесся вперед и скрылся среди деревьев. Я не видел больше того человека, не видал я и других людей. Добродетель премудрых — из тонкой прекрасной меди.

Вонг-Хи».

— То письмо, которое я сейчас оглашу, — сказал Инглвуд, — окончательно уяснит вам сущность странных, но безусловно невинных экспериментов нашего клиента. На конверте этого письма штампель какой-то горной деревушки в Калифорнии. Вот оно от слова до слова:

«Сэр, я не сомневаюсь, что человек, недавно проходивший через горное ущелье Сьерры, именно тот, которого вы изображаете такими необычайными красками. Я живу здесь давно и, по всей вероятности, являюсь единственным постоянным жителем этих гор. Я — владелец довольно примитивной таверны — нечто вроде лачуги, выстроенной на самом верху, над головокружительными стремнинами и опаснейшей горной дорогой. Зовут меня Луис О'Хара, но одно это имя не уяснит вам моей национальности. По правде сказать, она неясна и для меня. Трудно быть патриотом человеку, который уже пятнадцать лет обходится без человеческого общества; и там, где нет ни единой деревни, трудно создать нацию. Мой отец был ирландец — из тех горячих, необузданных ирландцев, которые водились в Калифорнии в старые годы. Моя мать была испанка, гордая своим происхождением от тех старинных испанских фамилий, которые издавна живут в окрестностях Сан-Франциско, хотя и поговаривали, будто в ее жилах есть примесь индейской крови. Я получил хорошее образование, страстно любил музыку и книги. Но, как многие люди со смешанной кровью, я был либо слишком плох, либо слишком хорош для окружающей жизни; испробовав множество различных профессий, я примирился со скромным, хотя и скучным существованием здесь, в этом кабачке среди скал. Живя в полном одиночестве, я перенял некоторые привычки первобытных людей. Зимой я, как эскимос, погребаю себя под грудой одежд, а жарким летом я, как индеец, хожу в одних кожаных брюках и для защиты от солнца покрываю голову огромной соломенной шляпой, величиной с зонтик. На поясе у меня постоянно висит длинный нож, а подмышкой торчит ружье, и, смею сказать, я произвожу довольно дикое впечатление на тех немногочисленных мирных путешественников, которые дерзают взобраться ко мне на вершину. Но, уверяю вас, что я все же не кажусь таким безумцем, как тот человек. По сравнению с ним я — Пятая авеню.

Могу сказать, что пребывание в горах Сьерры странно действует на человеческую психику; приучаешься видеть в этих

угрюмых, одиноких скалах не обыкновенные горные выси, а столбы, подпирающие самое небо. Крутые утесы вздымаются в небесную ширь; утесы, куда не взлететь и орлам, утесы такие огромные, что кажется, будто они притягивают к себе небесные звезды и впитывают их в себя, точно подводные рифы, притягивающие к себе каждую блестку фосфора. Малые гребни гор нередко кажутся концом мироздания. Большие же горные террасы и башни кажутся не концом, но началом — грозным началом Вселенной, ее могучим фундаментом. Горный кряж с бесчисленными разветвлениями раскинулся надо мной, точно каменное дерево, поддерживающее, подобно светильнику, великие вселенские огни. Скалы были далеки от меня, ибо терялись в беспредельном пространстве, но звезды смыкались вокруг и казались невероятно близкими. Казалось, что планеты грохочут, как молнии, — так непохожи они были тут в высоте на те мирные небесные светила, которыми мы любуемся снизу.

Одно это могло сделать меня сумасшедшим, и я не вполне уверен, что не сошел с ума. Я знаю, там, на горной тропе, есть такой поворот, где скала несколько наклоняется вниз, и в бурные ночи мне чудится, будто она ударяется вершиной о другую скалу, да, город против города, крепость против крепости, и так всю ночь, до самого утра. В один из таких бурных вечеров и показался на горной тропинке тот чудак. Строго говоря, только чудаки и ходят по ней. Но тот своей эксцентрической внешностью превосходил всех до сих пор мною виденных странных людей.

В руке у него были (непонятно, зачем) длинные, кривые, забрызганные грязью грабли, так обильно покрытые всевозможными травами, что они скорее походили на воинственное знамя древнего варварского племени. Его волосы, такие же густые и длинные, как и висевшая на граблях трава, волнами спадали на его могучие плечи, а ветхая одежда, прилипшая к телу, состояла всего лишь из нескольких красных и желтых лоскутьев, как у индейца, покрытого перьями и осенними листьями. Грабли свои, или вилы (трудно определить, что это было в действительности), он употреблял иногда, как горную палку, а иногда (по его словам), как оружие. Не понимаю, зачем надо было ему прибегать к такому оружию, когда у него в кармане находился великолепный шестизарядный револьвер, который он мне потом показывал. «Револьвер,— сказал он, — я употребляю лишь для мирных целей». Не могу постичь, что он этим хотел сказать.

Он тяжело опустился на грубую, самодельную скамейку у входа в мою таверну. Я подал ему бутылку местного вина — из виноградников, расположенных ниже, которую он выпил с величайшим наслаждением, как человек, странствовавший долгое время среди чужих и жестоких людей и наконец увидавший родное. Затем он довольно бессмысленно устался на грубый свинцовый фонарь, висевший у входа в мое обиталище. Фонарь

этот старинный, но ценности никакой не имеет; мне подарила его моя бабушка много лет тому назад. Она была набожная старуха, на стекле фонаря нарисован Вифлеем, восточные волхвы и звезда. Незнакомец настолько погрузился в созерцание небесно-синего одеяния Мадонны и блеска большой золотой звезды, что я тоже вслед за ним стал глядеть на картинку, впервые за последние четырнадцать лет.

Медленно перевел он затем свой взор на восток, туда, где дорога круто спускается вниз. Ярко-фиолетовое закатное небо становилось красновато-серебряным вокруг темных краев горного амфитеатра; и рядом, отделяя нас от ложины, лежавшей внизу, гордо вздымался ввысь из самых недр земли крутой одинокий утес, называемый у нас Зеленым Пальцем. Игла эта, вероятно, вулканического происхождения — странного серого цвета, точно Вавилонская башня, испещренная какими-то черточками, похожими на непонятные иероглифы.

Незнакомец безмолвно протянул руку по направлению к ней. Но не успел он еще открыть рот, как я понял, на какой предмет он указывал. Прямо над огромной зеленой скалой висела в пурпурном небе яркая, единственная на небосклоне звезда.

— Звезда на Востоке! — странным, придушенным голосом произнес он. — Мудрецы шли за звездой и нашли наконец тот дом, который они искали. Кто знает, найду ли я дом, если пойду за звездой.

— Пожалуй, это зависит от того, — улыбаясь, ответил я, — мудрец ли вы.

Я не счел необходимым добавлять, что на мудреца он мало похож.

— Судите сами, — ответил он. — Я покинул свой дом потому, что не могу жить вдали от него.

— Право, это звучит парадоксально, — заметил я.

— Я слышал, как разговаривают мои дети и моя жена, я видел, как они ходят по комнате, — продолжал он, — и все время не покидала меня мысль о том, что они ходят и разговаривают в другом доме, за много тысяч миль от меня, под другими небесами, за целыми рядами морей. Я любил их ненасытной любовью, так как они были не только далеки от меня, но и недоступны. Никогда человеческое существо не было так дорого и желанно другому, как были они для меня; но я был холоден, как привидение. Я беспредельно любил их; и потому я отряхнул от моих ног прах моего дома и ушел, чтобы доказать свою любовь к этим людям. Я сделал больше. Я пришпорил землю так, что она описала полный круг, как машина, приводимая в движение ногой человеческой.

— Хотите ли вы этим сказать, — воскликнул я, — что вы совершили кругосветное путешествие? Судя по вашему выговору, вы англичанин, но почему же в таком случае вы являетесь в Калифорнию с запада?

— Мое паломничество еще не закончилось, — с грустью в голосе ответил он. — Я стал пилигримом, чтобы не быть изгнанником.

Едва он произнес это слово «пилигрим», как в моей отягченной житейскими невзгодами душе вспыхнули далекие проблески воспоминаний о том, как ощущали мир мои предки, и о том, какова была моя родина. Я снова посмотрел на разрисованный фонарь, в который ни разу не всматривался за последние четырнадцать лет.

— Моя бабушка, — ответил я, понизив голос, — сказала бы, что все мы в этом мире изгнанники и что ни одна земная обитель не может излечить нас от священной тоски по истинному нашему дому, — тоски, которая до гроба не дает нам покоя.

Он молча смотрел на орла, который, поднявшись с Зеленого Пальца, исчез, улетая в темневшую даль.

Затем он сказал:

— Думаю, что бабушка ваша права.

Он поднялся, опираясь на свой обвитый травами посох.

— В этом, по-моему, и кроется весь смысл, — продолжал он, — вся тайна бурной и ненасытной человеческой жизни. Думаю, однако, что к этому следует добавить еще кое-что. Я полагаю, что Бог даровал нам любовь к определенным местам — к семейному очагу и родине — с особой, благою целью.

— Позвольте спросить, с какою?

— Так как в противном случае, — сказал он, подняв грабли по направлению к небу и к зиявшей под ногами бездне, — мы боготворили бы это.

— Что — это? — спросил я.

— Вечность, — сказал он придушенным голосом. — Вечность — величайший из идолов, самый могучий из соперников Бога.

— Вы имеете в виду пантеизм, бесконечность и тому подобные вещи? — переспросил я.

— Я хочу сказать, — воскликнул он с возраставшей горячностью, — что если там на небе действительно есть для меня обитель, то при ней должен быть зеленый фонарный столб или забор, или что-либо не менее предметное, личное, чем зеленый фонарь и плетень. Я хочу сказать, что Господь Бог велел мне любить один уголок земли, обслуживать его и творить во славу этого уголка всевозможные, даже безумные подвиги, дабы этот малый клочок свидетельствовал против всех бесконечностей и софизмов, что рай существует где-то в определенном месте, а не везде, и что он представляет из себя нечто одно, а не все. И я нисколько не удивлюсь, если около небесной обители действительно будет стоять зеленый фонарный столб.

С этими словами он вскинул грабли на плечо и спустился вниз по той же опасной тропе, оставив меня одного среди горных орлов. Но с тех пор как он ушел, меня часто одолевает тоска

бездомовья. Я скучаю по влажным лугам и грязным хижинам, которых никогда не видал; похоже на то, что вскоре я покину Америку.

Преданный вам

Луис О'Хара».

После короткого молчания Инглвуд сказал:

— Теперь нам остается огласить еще один, последний документ:

«Я пишу вам, чтобы сказать, что я, Руфь Дэвис, последние шесть месяцев нахожусь в услужении у миссис Смит в «Лаврах» около Крайдона. Когда я поступила к ней, она жила без мужа, одна с двумя детками; она не вдова, но муж ее был где-то в отлучке. Он оставил ей много денег, она не очень беспокоилась о нем, хотя часто говорила, что он человек со странностями и что небольшое путешествие принесет ему пользу. Как-то вечером на прошлой неделе иду я с чайным прибором в сад и вижу такое, что чашки чуть не вылетели у меня из рук: вдруг над забором появляются длинные грабли и, как пика, вонзаются в землю. Вслед за ними на заборе, как обезьяна на палке, усаживается страшный, огромный мужчина; волосы у него ужасно растрепаны, торчат во все стороны, одежда страшно перепачкана, он похож на Робинзона Крузо. Я вскрикнула, но госпожа моя даже не поднялась с места, а сказала с улыбкой, чтобы я дала этому человеку побриться. Когда он побрился, он как ни в чем не бывало присел к столу и выпил чашку чаю, и тогда я поняла, что это сам мистер Смит. С тех пор он живет все время дома и не причиняет особых хлопот, хотя порою мне кажется, что он не в своем уме.

Руфь Дэвис.

Я забыла сказать, что, оглядев свой сад, он сказал отчетливо и громко:

— О, в каком чудесном месте вы живете! — как будто раньше он никогда не бывал в своем доме».

Гнетущая дремотная атмосфера воцарилась в комнате. Вечернее солнце послало в комнату один-единственный, тяжкий пыльно-золотой луч, который с неизъяснимой торжественностью осветил кресло, где прежде сидела Мэри Грэй; кресло было пусто, ибо молодая женщина ушла перед началом последнего дела. Миссис Дьюк по-прежнему спала. Инносент Смит в полумраке казался громадным горбуном; еще ниже склонился он над своими игрушками. Пятеро же мужчин, увлекаясь желанием убедить не суд, а друг друга, все еще сидели вокруг стола, подобно Комитету Общественного Спасения, и предавались отчаянным спорам.

Вдруг Моисей Гулд хлопнул одной ученой книгой о другую, уперся маленькими ножками в стол, откинулся в кресле назад, свистнул — громко и пронзительно, как локомотив, — и заявил, что все это сущий вздор.

Когда же Мун спросил у него, что именно он считает вздором, он быстро вскочил позади воздвигнутой им баррикады из книг и, разбросав лежавшие перед ним бумаги в разные стороны, стал, сильно волнуясь, пояснять свою мысль.

— Сказки, сказки, вы читали нам сказки! — выкрикнул он. — Я, конечно, не литератор, я простой человек, но я понимаю, что все это сказки! Я прямо-таки очумел от ваших философских выкрутасов, и мне хочется выпить. Освежиться бренди и содой! Мы живем в Уэст-Хемпстеде, а не в аду, и, короче говоря, есть вещи, которые могут случиться, а есть такие, которые не могут случиться.

— Мне казалось, — внушительно заметил Мун, — что мы совершенно отчетливо объяснили...

— Да, милейший, вы объяснили отчетливо, — с необычайной быстротой заговорил Моисей. — Вы умеете объяснить что угодно: вы даже слона и того умудритесь так разъяснить, что от слона ничего не останется. Я не такой умник, как вы, но я и не набитый дурак, Майкл Мун, и если слон стоит у меня на пороге, я не слушаю никаких разъяснений. «Да у него, треклятого, клыки!» — говорю я. «Дареному коню в зубы не смотрят», — отвечаете вы. «Но он огромен, он ростом с дом», — говорю я. «Нет, это просто перспектива», — отвечаете вы, — и священная магия пространства». «Но слон трубит, как в день Страшного суда», — говорю я. «Это ваша совесть беседует с вами, Моисей Гулд», — говорите вы ласковым, важным голосом. Прекрасно, у меня такая же совесть, как и у вас. Я не верю в то, что говорят нам по воскресеньям в церкви, не верю и вашим сказочкам, хотя вы произносите их, точно церковную проповедь. Я отлично знаю, что слон — это слон, громадина, уродина, злое животное, — и ваш Смит несколько не лучше, такой же!

— Хотите ли вы этим сказать, — спросил Инглвуд, — что вы сомневаетесь в достоверности документов, которыми мы доказали невиновность Инносента Смита?

— Да! Сомневаюсь! — запальчиво ответил Гулд. — Все ваши свидетели либо слишком далеко, либо слишком высоко. Как проверить все эти нелепые рассказы? Кто из нас поедет на железнодорожную станцию в Коски-Воски — или как вы ее называете? — купить воскресный номерок газеты «Пинк»? Кто ползет на вершины Сьерр, чтобы попасть в харчевню и прополоскать себе горло скверным калифорнийским вином? Но каждый из нас может пойти пройтись и взглянуть на пансион Хонтинга в Уортинге.

Мун взглянул на говорившего с искренним (а быть может, искусственным) удивлением.

— Каждый, — продолжал Гулд, — может посетить мистера Трипа.

— Это несомненно весьма утешительно, — сдержанно ответил Майкл Мун. — Но зачем вам понадобилось посещать мистера Трипа?

— А вот за чем, — в сильнейшем волнении крикнул Моисей и стукнул обоими кулаками по столу. — Затем, что он может снести с мистерами Хенбери и Бутл, живущими на Патерностер-роуд, и с аристократическим пансионном мисс Гридли в Эндоне, и с престарелой леди Буллингдон, обитающей в Пендже!

— Если вы говорите о нравственных обязанностях, — сказал Майкл, — то почему это вы считаете долгом каждого человека вступать в сношения с престарелой леди Буллингдон, обитающей в Пендже?

— Я не говорю, что это долг каждого человека, — сказал Гуд, — я не стану утверждать, что это — удовольствие. Она может у каждого человека отбить аппетит, престарелая леди Буллингдон. Но допросить ее — прямая обязанность обвинителя, следящего за невинным, безупречным, мотыльковым порханием вашего друга Смита, и точно так же он обязан допросить остальных.

— Но почему вам понадобились все эти люди? — любопытно спросил Инглвуд.

— Почему? Потому что мы собрали у них столько доказательств виновности Смита, что можем потопить пароход! — орал Моисей. — Потому что эти доказательства находятся у меня в руках; потому что ваш возлюбленный Инносент вор и разбойник, и вот вам перечень домов, которые он ограбил. Я не считаю себя святым, но ни за какие блага не хотел бы иметь на своей совести всех этих несчастных девиц. И я думаю, что субъект, который способен бросить их и даже, быть может, убить, способен также надругаться над колыбелью ребенка и застрелить своего школьного учителя, так что я плюю на все ваши дурацкие сказочки.

— Я думаю, — изящно кашлянув, сказал доктор Пим, — что мы приступаем к делу несколько неправильным путем. В нашем деле это обвинение занимает четвертое место, и, пожалуй, будет лучше, если я представлю вам его в систематическом, научном изложении...

Никто не отозвался на эти слова — никто, кроме Майкла Муна. Мун тихо, еле слышно застонал. В комнате становилось темно.

Глава IV

СУМБУРНЫЕ СВАДЬБЫ, ИЛИ ОБВИНЕНИЕ В МНОГОЖЕНСТВЕ

— Передовой, мыслящий человек, — начал свою речь доктор Сайрус Пим, — должен проявить сугубую осторожность, касаясь проблемы брака. Брак, в сущности, есть ступень — и, добавим, вполне естественная ступень — в медленном стремлении челове-

чества к цели, которой мы еще не можем постичь; возможно даже, что мы еще не доросли до осознания ее желательности. В чем, господа, видим мы в настоящий момент этическое значение брака? Быть может, брак является пережитком.

— Пережитком? — не утерпел М у н . — Нет, нет! Никто еще во всей Вселенной не пережил брака. Возьмите женатых людей, начиная с Адама и Евы: все умерли, до одного.

— Без сомнения, это весьма остроумно, — холодно, сквозь зубы процедил доктор П и м . — Я не могу вам сказать, каков истинный взгляд мистера Муна на этическую сущность брака.

— Я могу вам это сказать, — донесся из мрака задорный ответ ирландца. — Брак — это дуэль не на жизнь, а на смерть, от которой ни один уважающий себя человек не имеет права отказаться!

— Майкл, — тихо проговорил Артур Инглвуд, — вы должны вести себя спокойнее.

— Мистеру Муну, — с отменным благодушием продолжал П и м , — этот институт представляется в несколько устарелом виде. В его глазах обряд этот имеет, по-видимому, какой-то суровый характер. Он не стал бы делать разницы между разводом великого мужа, положим, Юлия Цезаря или Робинсона из Солт-Лейк-Сити — и разрывом семейных уз, который учинен каким-нибудь жалким бродягой. Наука смотрит на вещи шире и гуманнее. Подобно тому как в убийстве наука видит лишь жажду разрушения, а в воровстве усматривает протест против медленного накопления богатств, так и многоженство в ее глазах есть доведенная до последних пределов инстинктивная страсть к разнообразию. Человек, подверженный этой страсти, неспособен к постоянству. Без сомнения, существует физиологическая причина этого вечного порхания с цветка на цветок — так же, как, к слову сказать, существует чисто физиологическая причина того припадка безудержной ворчливости, который овладел в настоящий момент мистером Муном. Наш великий естествоиспытатель Уинтерботтом дерзнул даже провозгласить следующее положение: для некоторых редких и утонченных мужских особей свободная любовь и многоженство лишь удовлетворяют их потребность в разнородном и многообразном женском обществе так же, как дружба удовлетворяет их потребности в разнородном и многообразном мужском обществе. Во всяком случае, тип, тяготеющий к разнообразию, признан всеми научными авторитетами. Такой субъект, похоронив жену-негритянку, женится en seconde poses¹ на альбиноске; такой субъект, освободившись из объятий патагонской великанши, ласкает свое воображение картиной семейного счастья с низкорослой эскимоской. К этому типу следует, без сомнения, отнести и нашего подсудимого. Если ссылка на неизбежность рока, на непреодолимость злого искуше-

¹ Вторым браком (*фр.*).

ния может послужить смягчающим вину обстоятельством, наш подсудимый несомненно заслуживает снисхождения.

— Защита ранее выказала чисто рыцарское благородство, приняв без лишних споров на веру часть представленных нами документов. Мы следуем этому исключительно великодушному примеру и признаем, что показание, данное каноником Перси, относительно лодки, шлюза и молодой жены Смита, — безусловно правдиво. Следовательно, Смит женился на молодой леди, которую чуть не утопил; нам остается решить, не поступил ли бы он более гуманно, если бы утопил ее, вместо того, чтобы жениться на ней. В подтверждение своих слов я намереваюсь познакомить защиту с одним документом, подтверждающим факт женитьбы Смита.

С этими словами он протянул Майклу вырезку из «Мейденхедской газеты», в которой упоминалось о состоявшемся браке-сочетании дочери довольно известного педагога с мистером Инносентом Смитом, бывшим студентом Брэкспирского колледжа в Кембридже.

Лицо доктора Пима приняло во время чтения этой газетной вырезки трагическое и вместе с тем торжествующее выражение.

— Я останавливаюсь на этом предварительном обстоятельстве, — глубокомысленно заявил он, — потому что одна эта газетная вырезка могла бы обеспечить нам победу, если бы мы гнались только за победой. Но нам нужна не победа, а истина. Поскольку дело касается данного специального случая, проблема может считаться решенной. Доктор Уорнер и я вступили в этот дом в исключительно тяжелый момент. Уорнеру, гордости Англии, случалось вступать не в один дом для того, чтобы спасти человека от смерти; но на этот раз он пришел, чтобы спасти невинную девушку от воплощенной чумы. Смит чуть не увез молодую леди из этого дома: кеб и чемодан уже поджидали его у дверей. Он уверил ее, что повезет ее к своей тетке, а сам пока поедет за брачным разрешением. Эта т е т к а, — продолжал Сайрус Пим, и мрачная тень легла на его лицо, — как часто эта воображаемая тетка играла роль злой феи из сказки! Скольких благородных девушек обрекла она гибели! Много было девственных ушей, которым он нашептывал это священное слово! При звуке магического слова «тетя» пред умственным взором девушек мгновенно вставала веселость и нравственная чистота англосаксонского семейного дома. Кипящий чайник, мурлыкающие котята рисовались воображению девушки в тот роковой момент, когда кеб уносил ее на верную смерть.

Инглюд поднял голову и, к своему удивлению, увидел, что американец во время этой тирады не только сохранил полную серьезность, но искренно взволнован своей красноречивой попыткой проникнуть в чуждую ему психологию девственницы.

— Во всяком случае, мы можем утверждать, что этот субъект, этот Смит, будучи женатым человеком, предстал как свобод-

ный холостяк, по крайней мере, перед одной невинной, неопытной девушкой, проживающей в этом доме. Присоединяясь к мнению моего коллеги мистера Гулда, я вместе с ним готов утверждать, что ни одно преступление не может сравниться с этим. Наука колеблется высказать свое решающее слово относительно того пережитка, который у наших предков именовался чистой семейного очага. Возвышенные колебания! Но можно ли колебаться, когда у вас перед глазами раскрывается вся низость гражданина, осмелившегося путем вульгарных экспериментов над живыми женщинами предвосхитить решение науки по этому вопросу?

— Женщина, упомянутая священником Перси в его отчете, быть может, и есть та самая, о которой говорится в газете. Если этот краткий порыв к постоянству и верности остановил хоть на время безудержный поток его распутной жизни, мы не станем доискиваться, законен ли сам по себе заключенный им брачный союз. Но вскоре после этого, увы, он, по-видимому, еще глубже погряз в зыбучем омуте измены и позора.

Доктор Пим закрыл глаза, но, к несчастью, в комнате к тому времени наступила такая темнота, что его интимный жест не произвел на этот раз обычного непосредственного морального действия на слушателей. После некоторой паузы, которой придан был характер безмолвной молитвы, он продолжал:

— Первоначальные сведения о непрекращающихся противозаконных брачных сожительствах подсудимого мы почерпнули из письма, присланного нам леди Буллингдон. Послание это проникнуто тем высокомерным презрением, которое так естественно звучит в устах женщины, вззирающей на род человеческий с высоких башен норманского родового замка. Сообщение, которое она прислала нам, гласит:

«Леди Буллингдон помнит тот прискорбный инцидент, о котором ей пишут, но не имеет желания описывать это дело в подробностях. Молли Грин была довольно сносной портнихой и жила около двух лет назад в деревне. Ее замкнутый образ жизни вредно отражался как на ней, так и на общем моральном уровне всей деревни. Поэтому леди Буллингдон дала ей понять, что она отнеслась бы благосклонно к замужеству молодой девушки. Окрестные крестьяне естественно пожелали угодить леди Буллингдон, и у портнихи появилось немало поклонников. Все кончилось бы благополучно, если бы не постыдная эксцентричность или даже испорченность означенной девицы. Леди Буллингдон полагает, что всюду, где есть деревни, должны быть и деревенские идиоты, юродивые; кажется, и у нее в деревне проживало одно из этих жалких созданий. Леди Буллингдон видела названного идиота всего лишь однажды и потому не может не признать, что грань между природным идиотом и обыкновенным крестьянином не так-то легко провести. Все же она тогда обратила

внимание на его необычайно маленькую голову, не соответствующую огромному туловищу. Он появился в день выборов, имея в петлице розетки обеих враждующих партий. Это окончательно убедило леди Буллингдон в его ненормальности. Леди Буллингдон была весьма удивлена, когда узнала, что этот помещанный домогается, в числе других, руки вышеназванной девушки. Племянник леди Буллингдон допрашивал несчастного по этому поводу и заявил ему, что нужно быть ослом, чтобы помышлять о подобных вещах. Тот с идиотской усмешкой ответил, что обычно ослы обожают морковь. Но леди Буллингдон была поражена еще больше, когда узнала, что жалкая девушка склонна принять это чудовищное предложение, хотя к ней и сватался подрядчик Гарс, принадлежавший к более высокому обществу, чем она. Само собой разумеется, что леди Буллингдон не могла примириться с подобным браком, и несчастная пара решила обвенчаться тайно. Леди Буллингдон не может в точности припомнить фамилию того человека, но ей кажется, что звали его Смит. В деревне он был известен под кличкой Инносент. Леди Буллингдон полагает, что он впоследствии убил девицу Грин в припадке буйного помешательства».

— Следующее письмо,— продолжал П и м , — замечательно по своей лаконичности, но я полагаю, что оно бьет в цель так же верно, как и предыдущее. Оно написано на бланке издательской фирмы мистеров Хенбери и Бутл, и содержание его таково:

«Сэр. — Письм. ваш. получ. и проч. Слух о переписице, очевидно, относится к некоей Блейк, покинувшей девять лет назад нашу контору, дабы выйти замуж за шарманщика. Случай, несомненно, исключительный и привлек внимание полиции. Барышня работала превосходно вплоть до октября 1907 г., когда, по-видимому, сошла с ума. Письмо, относящееся к тому времени, при сем прилагается.

Ваш и т. д.

В. Трип».

Более подробный отчет гласит:

«Октября, 12-го числа нашей фирмой было отправлено письмо в контору переплетной мастерской г. г. Бернарда и Джукка. Когда мистер Джук вскрыл его, он прочел следующее: «Сэр, наш мистер Трип явится к вам в три, так как мы желаем узнать, действительно ли 00000073 вв!!! хуг!» Прочитав это письмо, мистер Джук, человек игривого ума, тотчас же послал ответ следующего содержания: «Сэр, после совещания с участниками нашей фирмы честь имею вам сообщить, что вопрос о том, действительно ли 00000073 вв!!! хуг! — решен в отрицательном смысле. Д. Джук».

По получении этого удивительного ответа наш патрон, мистер Трип, вытребовал копию посланного им письма и убедился,

что машинистка вместо продиктованных им фраз настрочила ряд бессмысленных иероглифов. Подозревая, что она сошла с ума, мистер Трип позвал ее и стал расспрашивать, но ее ответ отнюдь не рассеял его подозрения, так как она заявила, что у нее всегда происходит такое временное помрачение ума, когда до ее ушей доносятся звуки шарманки. Истерическое и неуравновешенное состояние духа возрастало у нее все более, она сделала целый ряд самых неправдоподобных признаний: так, она сообщила, что она помолвлена с шарманщиком, что он в ее честь обычно исполняет чуть не целые концерты на этом инструменте и что она в таких случаях имеет обыкновение выстукивать ему ответ на пишущей машинке; слух же у шарманщика настолько тонок, и он так страстно любит свою невесту, что он, по ее словам, без всякого труда улавливает тембр различных букв по одному только стуку и с таким наслаждением воспринимает сухую трескотню этого аппарата, словно слышит райскую мелодию. Конечно, мистер Трип, да и все мы в конторе отнеслись к ее сообщениям с той сугубой внимательностью, которую надо проявлять, когда имеешь дело с человеком, коего надлежит возможно скорее отправить под опеку его родственников. Но как только мы спустились вниз, рассказ нашей служащей тут же на лестнице получил самое разительное и, я бы даже сказал, сверхъестественное подтверждение; шарманщик, огромный мужчина с необычайно маленькой головой — явно ненормальный субъект — находился тут же поблизости и, пододвинув свою шарманку, словно таран, к самому крыльцу нашего дома, громко и требовал, чтобы ему выдали его нареченную. Спустившись вниз, я застал следующую сцену: он стоял, простирая к ней свои огромные, как у обезьяны, ручки и декламировал какие-то стихи. Хотя мы и привыкли к тому, что безумные являются в нашу редакцию и читают стихи, но никак не ожидали того, что произошло вслед затем. Его стихи начинались такими словами:

Очи ясные, прекрасные.
Кудри...

Впрочем, дальше этих слов он и не шел. Мистер Трип двинулся было к нему, но в ту же минуту гигант схватил несчастную переписчицу в свои объятия и, посадив ее, точно куклу, к себе на шарманку, умчался с быстротой аэроплана. О случившемся я поставил в известность полицию, но найти эту удивительную пару оказалось невозможно. Я очень жалею об этом; девушка была не только мила, но для своего круга весьма образованна. Так как я теперь ухажу от г-д Хенбери и Бутла, то я внес описанное выше происшествие в памятную книжку этой фирмы.

Обри Кларк.
Редактор издательства г.г. Хенбери и Бутл».

— И наконец, последнее письмо, — с торжествующим видом продолжал Пим, — написано одной из тех высокочтимых женщин, под чьим руководством английские девушки достигли в последнее время таких блестящих успехов в хоккее, высшей математике и прочих областях совершенства.

«Дорогой сэръ (пишет она). Я ничего не имею против сообщения вам подробностей упомянутого вами инцидента, хотя мне отнюдь не желательно широкое распространение этой истории. Такие истории сами по себе занимательны, но не всегда содействуют процветанию женских учебных заведений. Дело происходило следующим образом. Мне понадобилось, чтобы кто-нибудь прочел у меня в заведении лекцию по филологии или истории — лекцию, которая при солидном воспитательном материале имела бы популярный и занимательный характер, так как ею я предполагала закончить учебный год. Я вспомнила, что читала в каком-то журнале небезытересную статью некоего мистера Смита из Кембриджа. Статья была посвящена его фамилии (довольно распространенной) и свидетельствовала о солидных познаниях автора в области генеалогии и топографии. Я написала ему письмо с просьбой приехать к нам и прочесть лекцию об английских фамилиях; и он действительно приехал. Лекция была блестяща, смею сказать, даже слишком блестяща. Другими словами, уже в самом начале лекции нам, то есть мне и прочим преподавательницам, стало совершенно ясно, что этот субъект несомненно свихнулся. Начал он — довольно разумно — с того, что подразделил все существующие фамилии на два разряда — на фамилии, имеющие своим корнем местность, и на те, которые происходят от какого-нибудь ремесла. Далее он высказал (на мой взгляд довольно верную) мысль, что отсутствие смысла в фамилиях позднейшей формации есть признак упадка цивилизации. Но затем он с невозмутимым видом стал утверждать, что человек, носящий фамилию, имеющую созвучие с какой-нибудь местностью, должен непременно селиться в той местности и что всякий человек с «ремесленной» фамилией должен заниматься указанным в его фамилии ремеслом; что люди, фамилии которых происходят от какого-нибудь цвета, должны носить одежду соответствующего цвета и что человек, носящий имя какого-нибудь растения (как Куст или Роза), должен носить эти растения при себе, а также окружать себя ими. В прениях, которые возникли после лекции в школе, многие старшие ученицы ясно и даже весьма энергично указали на те трудности, которые сопряжены с исполнением подобного проекта. Так, например, одна из учениц, мисс Янгхазбенд, указала, что не может выполнить предназначенную ей роль. Мисс Мэн столкнулась с подобной же дилеммой, из которой не помогли бы выпутаться и самые современные взгляды на взаимоотношение полов. Некоторые молодые леди, носящие такие фамилии, как Лоу, Кауард и Крейвен, с большой

запальчивостью восставали против этой идеи. Но это было уже по окончании лекции, а во время ее произошло следующее: лектор вытащил вдруг из своего чемодана несколько подков и тяжелый железный молот и объявил во всеуслышание, что он намерен немедленно же открыть кузницу в окрестностях школы, причем предложил каждой из слушательниц встать на защиту его идеи, придав ей значение героической революции. Присутствовавшие при этом учительницы, вместе со мною, сделали попытку остановить сумасшедшего, но должна признаться, что именно наше вмешательство и дало повод к новому, отчаянному припадку буйства. Дико размахивая своим молотом, он неистово и громко спрашивал у присутствующих их имена; и случилось, что мисс Браун, одна из самых юных учительниц в моем заведении, действительно была в красновато-коричневом костюме, очень мило гармонировавшем с более ярким цветом ее волос, что, конечно, было небезызвестно и ей. Она была весьма милويدна, а милovidные девушки отлично разбираются в подобных вещах. Но когда маньяк услышал, что у нас есть мисс Браун, носящая на самом деле коричневый костюм, то его *idée fixe*¹ вспыхнула, как пороховой погреб, и он тут же в присутствии всех учительниц и учениц сделал предложение этой барышне. Можете себе представить действие, произведенное таким поступком в женском пансионе! Во всяком случае, если у вас для подобной картины не хватит силы воображения, то у меня нет сил, чтобы описать ее.

Анархия, конечно, улеглась через неделю или две после этой удивительной лекции, и я могу теперь вспоминать о происшедшем как о давно забытом комическом эпизоде. Однако я еще не упомянула об одном любопытном последствии этой истории, а вам, как вы видите, важна именно эта сторона дела; но мне желательно, чтобы вы считали эту часть моих показаний более конфиденциальной, чем все остальные. Мисс Браун, во всех отношениях достойная девушка, неожиданно тайно покинула нас через два-три дня после вышеописанной лекции. Никогда раньше не могла бы я думать, что подобное нелепое происшествие способно вскружить ей голову.

Примите уверение в моей преданности

Ада Гридли».

— Думаю,— с подкупающей простотой произнес П и м , — что эти письма говорят сами за себя.

Мистер Мун поднялся с места. Уже смеркалось, так что, когда он открыл рот, трудно было разобрать по выражению его лица, примешивается ли его ирландская ирония к его ирландскому пафосу.

— В течение всего следствия, и в особенности в последней

¹ Навязчивая идея (*фр.*).

его части, обвинение основывалось главным образом на том обстоятельстве, что дальнейшая судьба несчастных женщин, соблазненных Смитом, осталась неизвестной до сих пор. Не существует ни малейшего указания на то, что они были убиты подсыдимым, но это предположение возникает всякий раз, как только ставится вопрос о причинах их смерти. Собственно говоря, меня мало интересует вопрос о том, как они умерли, когда они умерли и умерли ли они вообще. Но зато меня живо интересует другой, аналогичный вопрос: вопрос о том, как они родились и родились ли они вообще? Не поймите меня превратно. Я отнюдь не отрицаю факта существования этих девиц, не сомневаюсь в правдивости тех показаний, которые мы слышали здесь. Я просто хочу отметить тот любопытный факт, что лишь об одной из этих жертв, о девушке из Мейденхеда, известно, что она имеет родителей и какое-то постоянное место жительства. Все же остальные — перелетные птицы: гостья, одинокая портниха, одинокая переписчица на машинке. Леди Буллингдон, взирающая на человеческий род с высоты своих башен, купленных ею, кстати сказать, у Уортонов на деньги ее отца — мыльного фабриканта, когда она выскочила замуж за прогоревшего джентльмена из Олстера, — леди Буллингдон, повторяю, глядя с высоты своих башен, действительно видела нечто, названное ею Молли Грин. У мистера Трипа, в конторе Хенбери и Бутл, действительно служила переписчица, которая была помолвлена со Смитом. Мисс Гридли, хоть идеалистка, но безусловно правдивая дама. Она действительно содержала, кормила и пила молодую девушку, которую Смит впоследствии тайно увез. Мы согласны с тем, что все эти женщины жили. Но мы спрашиваем: родились ли они?

— Черт возьми! — вне себя от восторга вскричал Моисей Гулд.

— Вряд ли возможно, — со спокойной улыбкой перебил оратора Пим, — отыскать более разительный пример презрения к истинному научному методу. Ученый, удостоверившись в факте бытия и сознания субъекта, должен вывести из этого и предшествовавший факт рождения.

— Если те девицы, — нетерпеливо сказал Гулд, — если они действительно живы (живы, живы, живы, о!), я держу пари на пять шиллингов, что все они родились.

— Хотите ли вы уверить нас, что . . . — начал было Пим.

— Теперь я задаю второй вопрос, — строго прервал его Мун. — Не может ли заседающий в этом зале трибунал осветить одно действительно необычайное обстоятельство. Доктор Пим в своей интересной лекции — кажется, о взаимоотношении полов — заявил, что Смит был рабом страсти к разнообразию, бросающей человека из объятий негритянки в объятия альбиноски, от патагонской великанши к карлице-самоедке. Но имеются ли в данном случае доказательства такого разнообразия? Об-

наружены ли следы великанши в прочтенных нами показаниях? Была ли машинистка эскимоской? Подобное красочное обстоятельство, я думаю, не ускользнуло бы от авторов письма. Была ли портниха леди Буллингдон негритянкой? Внутренний голос говорит мне, что нет. Я уверен, что леди Буллингдон сочла бы негритянку, в виду ее демонстративной наружности, чуть ли не социалисткой, и думаю, что даже к альбиноске она отнеслась бы с сомнением.

Но питает ли Смит в действительности такую страсть к разнообразию, как утверждает ученый доктор? Из имеющихся у нас документов можно усмотреть как раз противоположное. Только в одном из опубликованных документов дано точное описание одной из жен подсудимого — краткая, но в высшей степени поэтическая характеристика эстета-каноника: «Ее одежда была цвета весны, а ее волосы как осенние листья». Осенние листья, правда, бывают различных цветов, из коих некоторые положительно неприемлемы в качестве цвета волос (зеленый, например); но всего вероятнее, каноник имел в виду леди с темно-рыжими или рыжими волосами, так как женщины с этим цветом волос любят наряжаться в легкие, изящные зеленые ткани. Что же касается другой жены, то мы знаем, как ее эксцентричный возлюбленный ответил, когда его обозвали ослом: «Ослы любят морковь». Замечание, которое леди Буллингдон, очевидно, считает простым, бессмысленным восклицанием деревенского юродивого, помешанного на еде, может получить, однако, другое, вполне понятное значение, если мы только предположим, что у Молли были рыжие волосы. Говоря о следующей жене, мы видим, что мисс Гридли отмечает то обстоятельство, что вышеупомянутая учительница носила красновато-бурый костюм, очень мило гармонирующий с более ярким цветом ее волос. Иными словами, волосы у девушки были ярче красновато-бурого цвета. Далее, романтически настроенный шарманщик, декламируя свое стихотворение в конторе, так и завяз на следующих словах:

Очи ясные, прекрасные,
Кудри...

— Но мне думается, что основательное изучение худших современных поэтов даст нам возможность угадать, что «кудри огненные, красные» или «кудри бронзовые, красные» — были недостающим фрагментом строки, которая была подсказана рифмой «прекрасные». Еще раз, значит, надо предположить, что Смит влюбился в девушку с темно-рыжими или золотисто-рыжими волосами, — пожалуйста, — прибавил он, взглянув на конец стола, — нечто вроде цвета волос мисс Грэй.

Сайрус Пим опустил веки и нагнулся вперед, готовый снова выступить с одним из обычных педантических возражений. Но Моисей Гулд с безграничным удивлением приложил вдруг свой указательный палец к носу; какой-то огонек блеснул в его черных глазах.

— Мысль, изложенная мистером Муном, — заметил Пим, — если она верна, ничуть не противоречит нашему взгляду на преступный характер безумия И. Смита, — взгляду, положенному нами в основу обвинения. Наука давно уже считалась с возможностью подобной аберрации. Неизлечимая страсть к физически сходным женщинам есть одно из самых обычных преступных извращений, а если мы отречемся от узкого взгляда на это явление и представим его в свете индукции и эволюции...

— Что касается последнего замечания, — медленно и хладнокровно произнес Майкл Мун, — то я позволю себе облегчить свою душу и поведать вам одно желание, которое мучило меня во время всех наших прений. Я желаю, чтобы индукция и эволюция отправились в тартарары и сварились в своем соку. Недостающее Звено и прочие мудрые вещи хороши для малых ребят; я же говорю лишь о том, что мы знаем. О Недостающем Звене мы знаем только то, что его недостает — и никто никогда его не достанет. Говоря словами старой поговорки, голову вытащил, хвост увяз. Если вы находите человеческие кости, вы заключаете, что покойник жил много лет тому назад; если же вы их не находите, это вам служит указанием, что покойник жил очень, очень давно. Точно такую же игру ведете вы в деле Смита. Так как голова Смита по сравнению с остальным туловищем мала, вы называете его микроцефалом; если б у него была большая голова, вы сказали бы, что у него водянка мозга. Пока вы находили, что у злополучного Смита довольно пестрый гарем, эта пестрота служила вам доказательством его сумасшествия; теперь, когда его гарем становится все более монотонным, монотонность именно и служит вам доказательством его ненормальности. К сожалению, я уже не ребенок и с покорностью переношу все тяготы, связанные с моим возрастом. Поэтому мне будет особенно приятно воспользоваться немногими привилегиями взрослого; и со всей возможной учтивостью я прошу вас не морочить мне голову длинными словами, когда требуются краткие доводы, и не усматривать в каждом вашем промахе нового достижения науки. Теперь, когда я облегчил свою душу, мне остается добавить, что доктор Пим в моих глазах является украшением земли, значительно более ценным, чем Парфенон или монумент на Бейкер-Хилл.

Кончая свою речь, я хотел бы высказать еще одну мысль по поводу многочисленных браков мистера Инносента Смита. Помимо цвета волос есть еще один признак, объединяющий все эти разрозненные эпизоды. Я говорю о фамилии всех этих разнообразных девиц. Вспомните свидетельство мистера Трипа о том, что фамилия переписчицы была, кажется, Блейк. Если это так, мы получим довольно пестрый калейдоскоп имен. Мисс Грин в поместье леди Буллингдон, мисс Браун в Хендонской школе, мисс Блейк в издательской фирме, Радуга красок, кончающаяся мисс Грэй в доме Маяка, в Уэст-Хемпстеде.

Среди гробового молчания Мун продолжал свою речь.

— Что должна означать эта странная игра красок? Я лично несколько не сомневаюсь в том, что все это — вымышленные имена, играющие, однако, определенную роль в общей схеме задуманной подсудимым шутки. Я думаю, что Молли (или Мэри) называется Грин, когда носит зеленое; она же называется Мэри (или Молли) Грэй, когда надевает серое. Тогда вам станет ясно...

Сайрус Пим побледнел и быстро вскочил с места.

— Вы действительно утверждаете... — вскричал он.

— Да, — сказал Майкл. — Я утверждаю именно это. Много обручений, венчаний и свадеб праздновал Инносент Смит, но у него только одна жена. Час тому назад она сидела здесь, в этом кресле, а сейчас она в саду беседует с мисс Дьюк.

— Да, Инносент Смит основывался в этом деле, так же, как и во всех остальных, на ясном, простом и безукоризненном принципе. Этот принцип кажется в наш век экстравагантным и диким, но какой же простой и безукоризненный принцип не покажется экстравагантным и диким в наш век? Принцип этот можно определить следующими простыми словами: Смит не хочет умирать, пока он жив. То тем, то другим электрическим ударом он желает непрерывно напоминать своему интеллекту, что он все еще живой человек, ходящий по земле на двух ногах. С этой целью он стреляет в своих лучших друзей, с этой целью он устанавливает наружные лестницы и вращающиеся трубы у себя в доме, чтобы ограбить свою собственную квартиру; с этой целью он исколесил всю планету, чтобы снова прийти к себе в дом; с этой целью он всюду берет с собою и оставляет во всевозможных пансионатах, учреждениях, школах ту женщину, которой он так неизменно верен и с которой соединяется вновь, устраивая побеги и романтические похищения. Он постоянно, опять и опять похищает свою супругу, но глубоко убежден, что он только тогда сохранит в себе первоначальную веру в ее совершенства, если будет подвергать себя опасности ради нее.

Его мотивы я считаю достаточно ясными; но, может быть, его убеждения не столь ясны. Мне кажется, что во всех чудачествах Инносента Смита есть какая-то общая, связующая их идея. Я отнюдь не утверждаю, что я сам верю в его идею; я просто думаю, что она стоит того, чтобы жить ею и бороться за нее.

Идея, которая руководит Смитом, представляется мне в следующем виде. Живя в цепях цивилизации, мы стали считать дурным многое, что само по себе вовсе не дурно. Мы привыкли хулить всякое проявление веселья, — озорство и дурачество, задор и резвость. Сами же по себе эти явления не только простительны, они безупречны. Нет ничего преступного в том, что человек стреляет из револьвера в своего друга, если он знает наверняка, что промахнется. Это не менее невинная забава, чем бросать камушки в море, или даже более невинная, ибо в море вы иногда

попадаете. Ничего нет преступного в том, чтобы сдвинуть колпак трубы и ворваться в дом через крышу, если этим вы не угрожаете ни жизни, ни собственности прочих людей. Войти в жилище людей сверху не более преступно, чем открыть свой собственный чемодан из-под спуда. Ничего нет преступного в том, что человек, изъездив земной шар, снова возвращается домой. Это так же невинно, как если бы вы вернулись в свой собственный дом после прогулки в саду. Ничего нет преступного в том, что повсюду человек находит себе жену — сегодня здесь, завтра там, — если эта жена одна-единственная женщина, которой он верен до гроба. Это так же невинно, как играть в прятки в саду. Вы соединяете представление о подобных поступках чуть ли не с понятием грабежа и насилия, но это с вашей стороны просто снобизм. Такой же снобизм проявляете вы, когда смутно ассоциируете что-то беспутное с человеком, идущим в ломбард или в кабак. Вы думаете, что идти туда стыдно и пошло, но вы ошибаетесь.

Все духовные силы этого человека были направлены к тому, чтобы строго разграничить обрядность и веру. Он нарушал обычаи, но заповеди он соблюдал. Он похож на того человека, который предавался бы азартной игре в отвратительном игорном притоне, и вдруг оказалось бы, что он играет не на деньги, а на пуговицы. Вообразите, что вы случайно подслушали, как мужчина назначает на балу в Ковент-Гардене тайное свидание женщине, и вдруг оказывается, что эта женщина — его родная бабушка. Все в его жизни безобразно и дико, все, кроме подлинных фактов. Все в нем дурно, за исключением того, что никогда он не делал дурного.

Мне, может быть, зададут вопрос, чего ради Инносент Смит, находясь уже в зрелом возрасте, ведет такой шутовской образ жизни, могущий навлечь на него столько несправедливых нареканий. На это я отвечу вам следующее: он ведет такую жизнь, потому что он действительно счастлив, потому что он действительно радостен, потому что он действительно человек. Он настолько молод душой, что лазать по деревьям и шалить самым глупым, мальчишеским образом для него такое же удовольствие, как это было в свое время и для нас. И если вы меня спросите, почему же это он один из всех людей должен упражняться во всех этих неистощимых безумствах, я могу дать вам вполне точный и определенный ответ, хотя он вас вряд ли удовлетворит.

Возможен лишь один ответ, и мне очень жаль, если он будет вам не по вкусу. Если Инносент счастлив, то только потому, что он Инносент. Если он может пренебречь обрядностями, то лишь потому, что он свято хранит заповеди. Именно потому, что он не желает убивать, а хочет только возбуждать людей к жизни, револьвер и представляет для него такое же сокровище, как для малолетнего школьника. Именно потому добро ближнего не

соблазняет его, что он усвоил себе великую мудрость, как соблазняться собственным добром. Именно потому, что он не желает прелюбодействовать, он постоянно занимается амурами. Именно потому, что у него всегда одна жена, он переживает с нею много медовых месяцев. Если бы он действительно убил человека, если бы он действительно бросил свою жену, он перестал бы ощущать, что пистолет или любовная записка похожи на песню, тем более — на песню комическую.

Не воображайте, пожалуйста, что я считаю его поведение приемлемым для себя или что оно вызывает во мне горячую симпатию. Я — ирландец; в самых моих костях есть тоска — тоска, причину которой следует искать в гонениях на мою веру или в этой вере. Иначе говоря, я чувствую себя как человек, неразрывно связанный с трагедией и не имеющий сил вырваться из оков сомнения и отживших эпох. Но если только есть путь к свободе, то, клянусь Христом Богом и святителем Патриком, это единственный истинный путь. Если человек может стать счастливым, как ребенок или собака, то лишь в том случае, если он невинен, как ребенок, безгрешен, как собака. Быть хорошим, как зверь, вот настоящий путь, и Смит, по-видимому, нашел его. Да, да, да, я вижу направленный на меня скептический взгляд моего друга Моисея. Мистер Гулд не верит, что быть безупречно хорошим — лучший способ достигнуть счастья.

— Да, — с необычайной серьезностью проговорил Гулд, — я не верю, что быть во всех отношениях безупречно хорошим значит достигнуть счастья.

— Прекрасно, — спокойно заметил Майкл, — но не ответите ли вы мне еще на один вопрос? Кто из нас пробовал это хоть раз?

Наступило молчание, такое глубокое, как молчание длинной геологической эпохи, ожидающей рождения невиданного доселе типа; и действительно, среди гробового молчания вдруг поднялась массивная фигура доктора Уорнера, совершенно забытого всеми присутствующими.

— Джентльмены! — громко произнес доктор Уорнер. — В течение двух суток вы занимали меня беспочвенной и несуразной болтовней, но теперь, кажется, уже темно, а я приглашен в город на званый обед. Во всех бесчисленных цветах пустословия, которые так обильно сыпались с обеих сторон, я не мог уловить ни одного, хотя бы самого ничтожного указания на то, почему вы позволяете сумасшедшему безнаказанно стрелять в меня в вашем саду.

Он надел свой цилиндр и с видом оскорбленного достоинства вышел. Ему вдогонку донесся почти плачущий возглас Пима:

— Но ведь, строго говоря, пуля пролетела в нескольких футах от вас!

Снова наступило молчание, и Мун внезапно сказал:

— Мы сидели рядом с привидением. Доктор Герберт Уорнер давно уже умер.

Глава V

КАК ВЕЛИКИЙ ВЕТЕР ПОМЧАЛСЯ ПРОЧЬ ИЗ ДОМА «МАЯКА»

Мэри шла посредине, между Розамундой и Дианой. Девушки гуляли по саду — медленно и молчаливо шагали взад и вперед.

Солнце уже село. От дневного света осталось несколько бликов на западе; они были тепло окрашены в молочно-белый цвет, который лучше всего сравнить с цветом свежего сыра. Точно фиолетовый пар локомотива, пронеслись по этому фону живые полосы перистых светло-лиловых туч. Все остальные предметы тускнели и сливались в сплошную синевато-серую массу, которая, казалось, пропитала насквозь темно-серую фигуру Мэри, словно окутанную садом и небом. Спокойные лучи угасающего дня остановились на ней, как бы подчеркивая ее превосходство; сумерки, спрятавшие под темным покровом более статную фигуру Дианы и более яркую одежду Розамунды, пощадили ее одну — богиню этого сада.

Когда наконец они внезапно заговорили, стало ясно, что они продолжают затихший на время разговор.

— Куда везет вас ваш муж? — обычным деловым своим тоном спросила Диана.

— К тетке! — сказала Мэри. — В том-то и дело, что тетка действительно существует, и мы оставили у нее наших детей, когда вернулись из того, другого пансиона. Наше праздничное путешествие длится обычно не больше недели, но иногда мы устраиваем себе два праздника подряд.

— Неужели ваша тетка ничего против этого не имеет? — простодушно спросила Розамунда. — Конечно, это показывает душевную узость, но я знаю немало тетушек, которые, пожалуй, назвали бы такое поведение глупым.

— Глупым! — весело воскликнула Мэри. — О, клянусь моей воскресной шляпкой, и я точно такого же мнения! Но чего вы хотите? Он действительно хороший человек, и пусть лучше будет это, чем змеи или другая чертовщина в этом роде.

— Змеи? — с любопытством переспросила Розамунда.

— Да. Дядя Гарри держал у себя змей и говорил, что они его любят, — с безмятежным спокойствием отвечала Мэри. — Тетя позволяла ему держать их у себя в карманах, но только не в спальне.

— А вы? — начала было Диана, слегка сдвинув свои темные брови.

— О, я делаю то же самое, что делала тетя, — сказала Мэри. — Я участвую во всех его дурачествах, но с нашими детьми не расстанюсь никогда больше, чем на две недели. Он зовет меня «Живчеловек», и вы должны писать это в одно слово, иначе он непременно рассердится.

— Но если мужчины требуют таких странных вещей... — начала опять Диана.

— О, бросьте говорить о мужчинах! — с нетерпением превратила ее Мэри. — Предоставьте это дамам-писательницам! Мужчин не существует. Нет таких людей. В действительности есть только Мужчина, и кто бы он ни был, он никогда не похож на других.

— Так что нет никакой гарантии, — тихо проговорила Диана.

— Право, не знаю, — несколько небрежным тоном отвечала Мэри. — О мужчинах есть только две несомненные истины. Первая та, что в иные курьезные мгновения своей жизни они вдруг обретают способность нежно заботиться о нас, и вторая та, что они никогда не бывают способны заботиться о самих себе.

— Надвигается буря, — сказала вдруг Розамунда. — Взгляните на верхушки деревьев! Как быстро несутся по небу тучи!

— Я знаю, о чем вы думаете, — сказала Мэри, — но не будьте такими глупыми. Не слушайте того, что толкуют вам дамы-писательницы. Вы идете по верной дороге. Да, ваш милый Майкл нередко будет грязноват. Ваш Артур Инглвуд — хуже, он на всю жизнь останется чистеньким. Но для чего же созданы все эти деревья и тучи, глупые вы, глупые котятка?

— Тучи и деревья охвачены бурей! — сказала Розамунда. — Это так возбуждает меня. Майкл тоже, как буря — и пугает, и радуется.

— Ну, пугаться вам нечего! — сказала Мэри. — Так или иначе, наши мужчины обладают одним несомненным достоинством: они из тех, кто часто уходит из дому.

Внезапный порыв ветра взметнул и помчал по дорожке умиравшие листья; вдалеке послышался бешеный шорох деревьев.

— Я хочу сказать, — продолжала Мэри, — что они из тех людей, которые глядят по сторонам, для которых мир — любопытен. Чем они увлечены, это не важно: спорам, велосипедами или скитаниями по свету, вроде моего Инносента. Важно то, что они смотрят из своего окошка на окружающий мир и пытаются его понять. Таких людей вам и надо любить. Но берегитесь человека, глядящего с улицы в окно и старающегося понять вас. Когда бедняге Адаму пришлось уйти из рая и заняться садоводством (Артур будет заниматься садоводством), туда на его место прокрался гадкий, отвратительный змей.

— Вы согласны с вашей теткой? — сказала Розамунда, улыбаясь. — Змеям не место в спальне.

— О нет, я не во всем согласна с моей теткой, — не задумываясь, ответила Мэри. — Но мне кажется, она была права, позволяя дяде Гарри собирать коллекцию драконов и грифов, так как этим можно было удержать его подальше от дома.



Почти в ту же минуту в темном доме вспыхнули огни, и две стеклянные двери веранды стали златоковаными воротами. Златокованные ворота распахнулись, и огромный Смит, столько часов просидевший на месте, точно неуклюжая статуя, вылетел из дому и, кувыркком скача по лужайке, кричал: «Оправдан, оправдан!» С тем же возгласом выбежал из дому Майкл. Он подбежал к Розамунде и закружился с ней в бешеном вихре, который, очевидно, должен был изображать вальс. Но присутствующие уже так хорошо знали Инносента и Майкла, что приняли их выходки как должное. Гораздо поразительнее было то обстоятельство, что Артур Инглвуд направился прямо к Диане и поцеловал ее так, точно поздравлял свою сестру с днем рождения. Даже доктор Пим, хотя и воздержался от танцев, смотрел на эту сцену с явным благоволением. По правде говоря, нелепая развязка процесса поразила его меньше, чем других; почти наверняка он был уверен, что эти безответственные трибуналы и сумасбродные прения представляют собою остаток средневековых предрассудков Старого Света.

Покуда буря, точно трубным гласом, разрывала небесную твердь, окна в доме одно за другим озарялись огнями; и когда собравшиеся, изнемогая от смеха и от жестокого ветра, двинулись ощупью к дому, они глянули вверх и увидели огромного, обезьяноподобного Инносента Смита. Он высунулся из окна своей мансарды и кричал что есть силы, опять и опять:

— Это — Маяк, это Дом Маяка!

В руке у него было большое полено, выхваченное из топившейся печки, он махал им у себя над головой; река алого пламени и пурпурного дыма бурно неслась по многошумному ветру.

Из трех графств можно было увидеть его, так отчетливо была освещена его фигура, но когда ветер стих и все после весело проведенного вечера кинулись искать Инносента и Мэри, поиски не привели ни к чему.



ПЕРЕЛЕТНЫЙ КАБАК

Роман

Перевод Н. Трауберг

THE FLYING INN

1914

Глава 1

ПРОПОВЕДЬ О КАБАКАХ

Море было таинственного бледно-зеленого цвета и день уже клонился к вечеру, когда молодая черноволосая женщина в мягко ниспадающем платье густого, медного оттенка рассеянно проходила по бульвару Пэбблсвика, влача за собой зонтик и глядя в морскую даль. Она смотрела туда не без причин; много женщин в мировой истории смотрели на море по тем же самым причинам и побуждениям. Но паруса нигде не было.

На берегу перед бульваром толпились люди, слушавшие обычных ораторов, подвизающихся на морских курортах, — негров и социалистов, клоунов и священников. Как обычно, там стоял человек, проделывавший какие-то фокусы с бумажными коробочками, и зеваки часами глазели на него, надеясь понять, что же он делает. Рядом с ним стоял джентльмен в цилиндре с очень большой Библией и очень маленькой женой, которая молчала, пока он, потрясая кулаками, громил сублапсариев, чье еретическое учение столь опасно для морских курортов. Он так волновался, что нелегко было уследить за смыслом его речи, но через равные промежутки выговаривал с жалобной усмешкой «наши друзья, сублапсарии». Потом шел некий юноша, который и сам не мог бы объяснить, о чем он говорит; но публике он нравился, ибо носил на шляпе веночек из моркови. Перед ним лежало больше денег, чем перед другими ораторами. Затем тут были негры. Затем была «Защита детей» с необычайно длинной шеей, отбивавшая такт деревянным совочком. Дальше стоял разъяренный атеист с алой розеткой в петлице, указующий то и дело на человека с совочком и утверждающий, что лучшие дары природы испорчены происками инквизиции, которую представлял, по-видимому, защитник детей. Слушателей своих он тоже не щадил. «Лицемеры!» — кричал он, и они бросали ему деньги. «Дураки и трусы!» — они бросали еще. Между атеистом и защитником находился маленький старичок в красной феске, похожий

на сову, помахивающий над головой зеленым зонтом. Лицо у него было коричневое и морщинистое, как грецкий орех, нос напоминал об Иудее, черная борода — о Персии. Молодая женщина никогда его не видела и поняла, что это — новый экспонат на хорошо знакомой выставке помешанных и шарлатанов. Женщина эта была из тех, в ком чувство юмора всегда спорит со склонностью к тоске и скуке; она остановилась и оперлась на перила, чтобы послушать.

Прошло целых четыре минуты, прежде чем она стала улавливать смысл его речи. Говорил он по-английски с таким сильным акцентом, что ей вначале показалось, будто он проповедует на своем родном языке. Каждый звук в его произношении становился очень странным. Особенно забавно произносил он «у», немилосердно его растягивая, скажем — «пуу-у-ть» вместо «путь». Мало-помалу она привыкла и стала понимать отдельные слова, хотя далеко не сразу догадалась, о чем идет речь. По-видимому, старичок пытался доказать, что англичане получили цивилизацию от турок или от сарацинов после их победы над крестоносцами. Кроме того, он считал, что скоро придет время, когда англичане сами в это поверят; и приводил в доказательство распространение трезвости. Слушала его только молодая женщина.

— Посмотрите, — говорил он, грозя кривым темным пальцем, — посмотрите на свои кабаки! На кабаки, о которых вы пишете в книгах! Эти кабаки построили не для крепких христианских напитков. Их построили, чтобы продавать мусульманские, трезвые напитки. Это видно из названий. У них восточные названия. Например, у вас есть знаменитый кабак, у которого останавливаются все omnibusy. Вы зовете его «Слон и Замок». Это не английское название. Это азиатское название. Вы скажете, что замки есть и в Англии, и я соглашусь с вами. Есть Виндзорский замок. Но где, — сердито закричал он, простирая зонтик к девушке в пылу ораторской победы, — где виндзорский слон? Я осмотрел весь Виндзорский парк. Там нет слонов.

Темноволосая девушка улыбнулась и подумала, что этот человек стоит прочих. Следуя странному обычаю, которым слушатели поощряют представителей вер на морских курортах, она бросила монетку на круглый медный поднос. Увлеченный достойным и бескорыстным пылом, старик в красной феске этого не заметил и продолжал свои туманные доказательства.

— В городе есть питейное заведение, которое вы называете «Бы-ы-ык».

— Мы обычно называем его «Бык», — сказала молодая девушка очень мелодичным голосом.

— У вас есть заведение, которое вы называете «Бы-ы-ык», — свирепо повторил старичок. — Может быть, это смешно...

— Нет, что вы!.. — нежно заверила его увлеченная слушательница.



— При чем тут бы-ы-ык? — кричал оратор. — Чем связан бы-ык с веселым пиром? Кто думает о быках в садах блаженства? Разве место быку там, где прекрасные девы пляшут и разливают сверкающий шербет? У вас самих, друзья мои, — и он радостно огляделся, словно обращаясь к многочисленной толпе, — у вас самих есть поговорка «бы-ык в посудной лавке». Ничуть не разумней, ничуть не выгодней пускать быка в лавку винную. Это ясно.

Он вонзил зонтик в песок и ударил себя пальцем по руке, словно наконец-то подошел к самой сути дела.

— Это ясно как солнце в полдень, — торжественно сказал он. — Ясно как солнце, что прежде этот кабак называли «Крылатым быком» в честь и славу древнего восточного символа.

Голос его взмыл, как труба, и он распростер руки, словно листья тропической пальмы.

После такого торжества он немного обмяк и тяжело оперся на зонтик.

— Вы найдете следы азиатских слов, — продолжал он, — в названиях всех ваших заведений. Более того, вы найдете их в названиях всех предметов, которые доставляют вам радость и отдохновение. Дорогие мои друзья, даже то вещество, которое придает крепость вашим напиткам, вы называете арабским словом «алкоголь». Само собой разумеется, что частица «ал» — арабского происхождения, как в словах «Альгамбра» или «алгебра». Эта частица встречается во многих словах, связанных для вас с весельем, — таких, например, как «эль», искаженное «аль», или Альберт-холл.

И он торжественно распростер руки на восток и на запад, зывая к земле и небу. Темноволосая девушка, с улыбкой глядя вдаль, похлопала ему обтянутыми серой лайкой пальцами. Но старичок в феске не устал.

— Вы возразите мне . . . — начал он.

— О, нет, нет! — и отрешенно, и пылко проговорила девушка. — Я не возражаю. Я совсем не возражаю!

— Вы возразите мне, — продолжал ее наставник, — что есть кабаки, которые названы в честь символа ваших суеверий. Вы поторопитесь напомнить о «Золотом Кресте», о «Королевском Кресте» и о всех тех крестах, которых так много под Лондоном. Но вы не должны забывать, — и он ткнул в воздух зонтиком, словно собирался проткнуть девушку насквозь, — вы не должны забывать, друзья мои, сколько в Лондоне полумесяцев. Вы называете полумесяцем всякую площадь, круглую с трех сторон, прямую — с четвертой. Повсюду звучит это слово, повсюду вы чтите священный символ пророка. Ваш город почти целиком состоит из полумесяцев, изредка прерываемых крестами, напоминающими о суеверии, которому вы ненадолго поддались.

Приближалось время чаепития, и толпа на берегу быстро редела. Запад сиял все ярче. Солнце опускалось в бледное море, сверкая сквозь воду, словно сквозь зеленое стекло. Прозрачность

воды и небес дышала сияющей безнадежностью, ибо для девушки море было и романтичным, и трагическим. Солнце медленно гасло, и вместе с ним угасал поток изумрудов; но поток человеческой глупости был неистощим.

— Я ничуть не хочу утверждать, — говорил старик, — что в моей теории нет трудных случаев. Не все примеры так бесспорны, как те, что я сейчас привел. Скажем, совершенно очевидно, что «Голова сарацина» — искажение исторической истины, гласящей «Глава наш — сарацин». Далеко не так очевидно, что «Зеленый Чурбан» — это «Зеленый Тюрбан», хотя в моей книге я надеюсь это доказать. Скажу одно: усталого путника в пустыне скорее привлечет мягкая, красивая ткань, чем бессмысленная деревяшка. Порою очень трудно доискаться до прежних названий. У нас был знаменитый воин, Амар али Бен Боз, а вы переделали его имя в «Адмирал Бенбоу». Бывает и еще труднее. Здесь есть питейное заведение «Старый корабль»...

Взгляд девушки был прочно прикован к линии горизонта, но лицо ее изменилось и зарумянилось. Пески были почти пусты; атеист исчез, как его бог, а те, кому хотелось узнать, что делают с бумажными коробочками, ушли пить чай, этого не зная. Но девушка медлила у перил. Лицо ее ожило; тело не могло сдвинуться с места.

— Надо признать, — блял старичок с зеленым зонтиком, — что в словах «Старый корабль» нет решительно ничего азиатского. Но это не собьет с пути искателя истины. Я спросил владельца, которого, как я записал, зовут мистер Пэмф...

Губы у девушки задрожали.

— Бедный Хэмп! — сказала она. — Я совсем забыла о нем. Наверное, он так же горюет, как и я. Надеюсь, старик не будет говорить чепухи об этом... Ах, лучше бы не об этом!

— Мистер Пэмф сказал мне, что название придумал один его дру-у-уг, ирландец, который был капитаном королевского флота, но вышел в отставку, рассердившись на дурное обращение с Ирландией. Он вышел в отставку, но сохранил суеверия ваших моряков и хотел назвать кабак в честь своего корабля. Однако су-у-удно это называлось «Соединенное королевство»...

Его ученица — не сидевшая, правда, у его ног, а нависшая над его головой — звонко крикнула, оглашая пустые пески:

— Как зовут капитана?

Старичок шархнул от нее, уставившись ей в лицо совиным взором. Часами он говорил, как бы обращаясь к толпе, но сильно растерялся, увидев, что у него есть слушатель. Кроме девушки и турка на всем берегу не было ни одной души, если не считать чаек. Солнце утонуло, лопнув напоследок, как лопнул был алый апельсин, но низкие небеса были еще озарены кроваво-красным светом. Этот запоздалый свет обесцветил красную феску и зеленый зонтик; но темная фигурка на фоне моря и неба была все такой же, хотя и двигалась больше.

— Как зовут капитана? — переспросил старик. — Кажется... кажется Дэлрой. Но я хочу вам сказать, хочу объяснить, что поборник правды найдет необходимую связь. Мистер Пэмф сообщил мне, что он убирает и украшает свое заведение отчасти потому, что вышеупомянутый капитан, служивший, насколько я понял, в каком-то маленьком флоте, скоро возвращается. Заметьте, друзья мои,— сказал он чайкам, — что ум, привыкший мыслить логически, найдет смысл и здесь.

Он сказал это чайкам, потому что девушка, взглянув на него сияющими глазами, еще сильнее оперлась о перила, а потом растаяла в сумерках. Когда замолк звук ее шагов, ничто не нарушало тишины, кроме слабого, но могучего бормотанья вод, редких птичьих криков и бесконечного монолога.

— Заметьте, — продолжал старичок, так рьяно взмахнув зонтом, словно то было зеленое знамя пророка, а потом вонзая его в песок, как вонзал его буйный предок колья своего шатра, — заметьте, друзья мои, поразительную вещь! Вас удивило, вас поразило, вас озадачило, как бы вы сказали, что в словах «старый корабль» нет ничего восточного. Но я спросил, откуда возвращается капитан, и мистер Пэмф со всей серьезностью ответил мне: «Из Ту-у-урции». Из Ту-у-урции! Из ближайшей страны правоверных! Мне скажут, что это не наша страна. Но не все ли равно, откуда мы, если мы несем райскую весть? Мы несем ее под грохот копыт, нам некогда остановиться. Наша весть, наша вера, одна из всех вер на свете, пощадила, как бы вы сказали, целомудрие разума. Она не знает людей выше пророка и почитает одиночество Божье.

Он снова распростер руки, как бы обращаясь к миллионной толпе, один на темном берегу.

Глава 2

КОНЕЦ МАСЛИЧНОГО ОСТРОВА

Огромный дракон, который охватил лапами весь земной шар, меняет цвета, подобно хамелеону. У Пэблсвика он бледно-зеленый, у Ионийских островов становится густо-синим. Один из бесчисленных островков — даже не островок, а плоская белая скала на лазурной глади — назывался Масличным, не потому, что там было много олив, но потому, что по прихоти почвы и климата две или три оливы разрослись до немислимых размеров. Даже на самом жарком юге эти деревья редко бывают выше небольшого грушевого дерева; но три оливы, украшавшие бесплодный островок, можно было бы принять, если бы не их форма, за сосны и лиственницы севера. Кроме того, островок был связан с древней греческой легендой об Афине Палладе, покровительнице олив, ибо море кишит первыми сказками Эллады, и с мраморного уступа под оливой видна серая глыба Итаки.

На островке, под деревьями, стоял стол, заваленный бумагами и уставленный чернильницами. За столом сидели четыре человека, двое в военной форме, двое в черных фраках. Адьютанты и слуги толпились поодаль, а за ними, в море, виднелись два или три броненосца; ибо Европа обретала мир.

Только что кончилась одна из долгих, тяжких и неудачных попыток сломить силу Турции и спасти маленькие христианские народы. В конце ее было много встреч, на которых, один за другим, сдавались народы поменьше и брали власть народы побольше. Теперь осталось четыре заинтересованных стороны. Европейские государства, согласные в том, что нужен мир на турецких условиях, препоручили последние переговоры Англии и Германии, которые, несомненно, могли его обеспечить; был тут и представитель султана; был и единственный враг султана, еще не примирившийся.

Одно крохотное государство месяц за месяцем боролось в одиночестве, каждое утро удивляя мир своим упорством, а иногда и успехом. Никому не ведомый правитель, называвший себя королем Итаки, оглашал восточное Средиземноморье славой, достойной имени острова, которым он правил. Поэты, разумеется, вопрошали, не вернулся ли Одиссей; любящие отчизну греки, вынужденные сложить оружие, гадали о том, какое из греческих племен и какой из греческих родов прославила новая династия. Поэтому все удивились, услышав, что этот потомок Улисса — просто наглый ирландец, искатель приключений, по имени Патрик Дэлрой, который прежде служил в английском флоте, поспорил с начальством из-за своих фенианских взглядов и вышел в отставку. С тех пор он пережил немало приключений и сменил немало форм, постоянно попадая в беду или вовлекая в нее других и поражая при этом какой-то странной смесью почти циничной удачи и самого чистого донкихотства. В своем фантастическом королевстве он, конечно, был и генералом, и адмиралом, и министром иностранных дел; но исправно следовал воле народа, когда речь шла о войне и мире, и по его велению признал себя побежденным. Помимо профессиональных талантов он славился физической силой и огромным ростом. Газеты любят теперь писать, что варварская сила мышц не играет никакой роли в военных действиях; однако такой взгляд не больше соответствует истине, чем противоположный. На Ближнем Востоке, где у всех есть какое-то оружие и на людей часто нападают, вождь, способный себя защитить, обладает немалым преимуществом, да и вообще не совсем верно, что сила ничего не значит. Это признал лорд Айвивуд, представитель Великобритании, подробно объяснивший королю Патрику безнадёжное превосходство турецкой пушки над его силой, на что тот заметил, что может поднять пушку и удрать с нею. Признавал это и величайший из турецких полководцев, страшный Оман-паша, знаменитый отвагой на поле брани и жестокостью в мирное время; на лбу у него

красовался шрам, нанесенный шпагой ирландца в трехчасовом поединке и принятый, надо сказать, без стыда, ибо турки умеют держаться. Не сомневался в этом и финансовый советник германского посла, ибо Патрик Дэлрой справился, какое окно ему по вкусу, и забросил его в спальню, прямо на кровать, где он позже принял врача. И все же один мускулистый ирландец на маленьком островке не может сражаться вечно с целой Европой; и он, с мрачным добродушием, подчинился воле своей приемной родины. Он даже не мог перестукать дипломатов (на что у него хватило бы и силы, и смелости), ибо разумной частью сознания понимал, что они, как и он, подчиняются приказу. Король Итаки, облаченный в зеленую с белым форму морского офицера (придуманную им самим), грузно и сонно сидел за маленьким столиком. У него были синие бычьи глаза, бычья шея и такие рыжие волосы, словно голову его охватило пламя. Некоторые считали, что так оно и есть.

Самой важной особой здесь был прославленный Оман-паша, молодой человек с сильным лицом, изможденным тяготами войны. Его усы и волосы казались сожженными молнией, а не годами. На голове его красовалась красная феска, а между феской и усами был шрам, на который король Итаки не смотрел. Глаза его, как это ни странно, ничего не выражали.

Лорда Айвивуда считали красивейшим человеком Англии. На фоне синего моря он казался мраморной статуей, безупречной по форме, но являющей нам лишь белый и серый цвет. От игры света зависело, тускло-серебряными или бледно-русыми станут его волосы, а безупречная маска лица никогда не меняла ни цвета, ни выражения. Он был одним из последних ораторов в несколько старомодном стиле, хотя самого его ни в малой степени нельзя было назвать старым, и умел придать красоту всему, что скажет; но двигались только губы, лицо оставалось мертвым. И манеры у него были, как у прежних членов парламента. Например, он встал, словно римский сенатор, чтобы обратиться к трем людям на окруженной морем скале.

При этом он был самобытней сидевшего рядом человека, который все время молчал, хотя говорило его лицо. Доктор Глюк, представитель Германии, не походил на немца; в нем не было ни немецкой мечтательности, ни немецкой сонливости. Лицо его было ярким, как цветная фотография, и подвижным, как кинематограф; но ярко-красные губы ни разу не разомкнулись. Миндалевидные глаза мерцали, словно опалы; закрученные усики шевелились, словно черные змейки; но звуков он не издавал. Безмолвно положил он перед Айвивудом листок бумаги. Айвивуд надел очки и сразу постарел на десять лет.

Это была повестка дня, включающая все, что осталось решить на последней конференции. Первый пункт гласил:

«Посол Итаки просит, чтобы девушки, отправленные в гаремы после взятия Пилоса, вернулись в свои семьи. На это согласиться нельзя».

Лорд Айвивуд встал. Красота его голоса всегда поражала тех, кто слышал этот голос впервые.

— Досточтимые господа,— сказал он . — Государственный муж, чьих мнений я не разделяю, но чья историческая роль поистине неопределима, сочетал в нашем сознании мир и честь. Когда заключается мир между такими воинами, как Омар-паша и его величество король Итаки, мы вправе сказать, что мир совместим со славой.

Он на секунду замолк; но тишина скалы и моря зазвенела рукоплесканиями, так произнес он эти слова.

— Я уверен, что мы объединены одной мыслью, хотя и немало спорили за эти месяцы. Да, мы объединены одной мыслью. Мир должен быть таким же полным, какой была война. Мир должен быть таким же бесстрашным, какой была война.

Он снова замолк. Никто не аплодировал, но он не сомневался, что в головах у слушателей гремят аплодисменты; и продолжал:

— Если мы перестали сражаться, перестанем же и спорить. Определенные уступки, если хотите — мягкость и гибкость, пристали там, где славный мир завершает славную битву. Я старый дипломат, и я посоветую вам: не создавайте новых забот, не разрывайте уз, сложившихся за это беспокойное время. Признаюсь, я достаточно старомоден, чтобы бояться вмешательства в семейную жизнь. Но я достаточно либерален, чтобы уважать древние обычаи ислама, как уважаю древние обычаи христианства. Опасно поднимать вопрос, по своей или по чужой воле покинули эти женщины родительский кров. Не могу себе представить вопроса, который был бы чреват более вредными последствиями. Я надеюсь, что выражу и ваши мысли, если скажу, что мы должны всеми силами оберегать устои семьи и брака, господствующие в Османской империи.

Никто не шевельнулся. Один только Патрик Дэлрой схватил рукоятку шпаги и обвел всех огненным взором; потом рука его упала, и он громко рассмеялся.

Лорд Айвивуд не обратил на это никакого внимания. Он снова заглянул в листок, надел очки, которые сразу состарили его, и прочел про себя второй пункт. Вот что написал для него представитель Германии, непохожий на немца:

«И Кут, и Бернштейн настаивают на том, чтобы в каменоломнях работали китайцы. Грекам теперь доверять нельзя».

— Мы хотим,— продолжал лорд Айвивуд, — чтобы столь почтенные установления, как мусульманская семья, сохранились в неприкосновенности. Но мы вовсе не хотим общественного застоя. Мы не считаем, что великие традиции ислама могут обеспечить сами по себе все потребности Ближнего Востока. Однако, господа, я спрошу вас со всей серьезностью: неужели мы так тщеславны, чтобы думать, что Ближнему Востоку может помочь лишь Ближний Запад? Если нужны новые идеи, если нужна новая кровь, не естественней ли обратиться к живым

и плодоносным цивилизациям, в которых таится истинно восточный кладезь? Да простит мне мой друг Оман-паша, но Азия в Европе всегда была Азией воинствующей. Неужели мы не увидим здесь Азии миролюбивой? Вот почему я считаю, что в мраморных карьерах Итаки должны работать китайцы.

Патрик Дэлрой вскочил, схватившись за ветку оливы над своей головой. Чтобы успокоиться, он положил руку на стол и молча глядел на дипломатов. Его придавила тяжелая беспомощность физической силы. Он мог бросить их в море, но чего он добьется? Пришлют других дипломатов, защищающих неправду, а тот, кто защищает правду, будет ни на что не годен. В бешенстве тряс он могучее дерево, не прерывая лорда Айвивуда, который уже прочел третий пункт («Оман-паша требует уничтожения виноградников») и произносил в это время знаменитую речь, которую вы можете найти во многих хрестоматиях. Он уже зашел за середину, когда Дэлрой успокоился настолько, что мог вникать в смысл его слов.

—...неужели мы ничем не обязаны,— говорил дипломат,— тому высокому жесту, которым арабский мистик много столетий назад отвел от наших уст чашу? Неужели мы ничем не обязаны воздержанию доблестного племени, отвергшего ядовитую прелесть вина? В нашу эпоху люди все глубже понимают, что разные религии таят разные сокровища; что каждая из них может поделиться тайной; что вера вере передает речь, народ народу — знание. Да простит меня Оман-паша, но я полагаю, что наши западные народы помогли исламу понять ценность мира и порядка. Не вправе ли мы сказать, что ислам одарит нас миром в тысячах домов и побудит стряхнуть наваждение, исказившее и окрасившее безумием добродетели Запада? На моей родине уже прекратились оргии, вносившие ужас в жизнь знатных семейств. Законодатели делают все больше, чтобы спасти англичан от позорных уз всеразрушающего зелья. Пророк из Мекки собирает жатву; и как нельзя более уместно предоставить его прославленному воину судьбу итакских виноградников. Этот счастливый день избавит Восток от войны, Запад — от вина. Благородный правитель, принимающий нас, чтобы протянуть нам масличную ветвь, еще более славную, чем его шпага, может испытывать чувство утраты, которое мы разделим; но я почти не сомневаюсь, что рано или поздно он сам одобрит это решение. Напомню вам, что юг знаменит не только виноградной лозой. Есть священное дерево, не запятнанное памятью зла, кровью Орфея. Мы уедем отсюда, ведь все проходит в мире...

Исчезнет наш могучий флот,
Огни замрут береговые,
И слава наша упадет,
Как пали Тир и Ниневия¹,

¹ Перевод Н. Чуковского.

но пока сияет солнце и плодоносит земля, мужчины и женщины счастливее нас будут взирать на это место, ибо три оливы вознесли свои ветви в вечном благословении над скромным островком, подарившим миру мир.

Глюк и Оман-паша смотрели на Патрика Дэлроя. Рука его охватила дерево, могучая грудь вздымалась от натуги. Камешек, лежавший у корней оливы, сдвинулся с места и поскакал, как кузнечик. Потом изогнутые корни стали вылезать из земли, словно лапы проснувшегося дракона.

— Я протягиваю масличную ветвь, — сказал король Итаки, выворачивая дерево и осеняя всех его огромной тенью. — Она славнее моей шпаги, — с трудом прибавил он. — Да и тяжелее.

Он еще раз напряг свои силы и спихнул дерево в море. Немец, непохожий на немца, поднял руку, когда на него упала тень. Сейчас он вскочил и отшатнулся, увидев, что дикий ирландец вырывает второй ствол. Этот вылез легче. Прежде чем бросить его в воду, король постоял немного, словно жонглировал башней.

Лорд Айвивуд вел себя достойнее, но и он поднялся, негодуя. Только турецкий паша сидел неподвижно и глядел спокойно. Дэлрой вырвал третье дерево и выбросил, оставив остров голым.

— Готово! — сказал он, когда третья, последняя олива исчезла в волнах. — Теперь я уйду. Сегодня я видел то, что хуже смерти. Это называют миром.

Оман-паша встал и протянул ему руку.

— Вы правы, — сказал он по-французски, — и я надеюсь вас встретить в единственной жизни, достойной зваться благом. Куда вы едете?

— Я еду, — отрешенно произнес Дэлрой, — туда, где «Старый корабль».

— Вы хотите сказать, — спросил турок, — что снова поступаете на службу к английскому королю?

— Нет, — отвечал Дэлрой. — Я возвращаюсь в «Старый корабль», который стоит за яблонями в Пэбблсвике, где Юл течет меж деревьев. Боюсь, что мы с вами там не встретимся.

Поколебавшись миг-другой, он пожал красную руку прославленного тирана и направился к своей лодке, не взглянув на дипломатов.

Глава 3

ВЫВЕСКА «СТАРОГО КОРАБЛЯ»

Немногим из сынов человеческих довелось носить фамилию Пэмп, и немногим из Пэмпов пришла в голову безумная мысль назвать своего ребенка Хэмфри. Но именно эту нелепость совершили родители кабатчика, и близкие друзья могли называть их сына Хэмпом, а старый турок с зеленым зонтом — Пэмфом. Кабатчик выносил это стоически, ибо человек он был сдержанный.

Мистер Хэмфри Пэмп стоял у дверей кабака, отделенного от моря лишь низкорослыми, изогнутыми, просоленными яблонями. Перед кабаком была большая лужайка, сразу за ней шел крутой откос, по которому извилистая тропка резко спускалась в таинственную чащу более высоких деревьев. Мистер Пэмп стоял под самой вывеской; вывеска же стояла в траве и представляла собой высокий белый шест с квадратной белой доскою, украшенной причудливым синим кораблем, похожим на детский рисунок, к которому преданный отчизне кабатчик пририсовал красной краской непомерно большой георгиевский крест.

Мистер Хэмфри Пэмп, невысокий и широкоплечий, носил охотничью куртку и охотничьи гетры. Он и впрямь чистил сейчас и заряжал двустолковую, изобретенную или хотя бы усовершенствованную им самим, которая казалась нелепой в сравнении с современным оружием, но стреляла прекрасно. Подобно многорукому Бриарю, Пэмп делал все, и все делал сам, причем создания его были чуть-чуть иными, чем у других людей. Кроме того, он был хитер, как Пан или браконьер, и знал повадки птиц и рыб, свойства листьев и ягод. Голова его была набита полусознанными преданиями, и говорил он весьма занятно, хотя и не совсем ясно, ибо не сомневался, что собеседник знает и местность, и слухи, и поверья так же хорошо, как он. Самые поразительные вещи он сообщал совершенно бесстрастно, и казалось, что лицо его выточено из дерева. Темно-каштановые бакенбарды придавали ему сходство со спортсменом прошлого века. Улыбался он криво и угрюмо, но взгляд его карих глаз был добр и мягок. Хэмфри Пэмп воплотил в себе самую суть Англии.

Обычно движения его, хотя и проворные, были спокойны; но сейчас он положил ружье на стол с некоторой поспешностью и шагнул вперед, с необычайным оживлением вытирая руки. За яблонями, на фоне моря, появилась высокая, тоненькая девушка в медном платье и большой шляпе. Лицо под шляпой было серьезным и прекрасным, хотя и довольно смуглым. Девушка пожала кабатчику руку; потом он с величайшей учтивостью подал ей стул и назвал ее «леди Джоан».

— Я хотела посмотреть на знакомые места, — сказала она. — Когда-то, совсем молодыми, мы были здесь счастливы. Наверное, вы редко видите наших старых друзей.

— Очень редко, — ответил Пэмп, задумчиво теребя бакенбарды. — Лорд Айвивуд стал настоящим пастором с тех пор, как пошел в гору. Он закрывает пивные направо и налево. А мистера Чарлза услали в Австралию за то, что он напился и упал на похоронах. Ничего не скажешь, крепко; но у покойницы был ужасный характер.

— А не довелось ли вам слышать, — беспечно спросила Джоан Брет, — об этом ирландце, капитане Дэлрое?

— Да, больше, чем у других, — ответил кабатчик. — Он сотворил немало чудес там, в Греции. Флот наш много потерял...

— Они оскорбили его родину, — сказала девушка и, покраснев, взглянула на море. — В конце концов он вправе протестовать, если о ней плохо говорят!

— Когда узнали, что он его выкрасил... — продолжал Пэмп.

— Выкрасил? — спросила леди Джоан. — Как это?

— Он выкрасил капитана Даусона зеленой краской, — спокойно пояснил кабатчик. — Капитан Даусон сказал, что зеленое — цвет ирландских изменников, и Дэлрой его выкрасил. Конечно, искушение большое, я красил забор, тут стояло ведро, но на его служебных делах это отразилось очень плохо.

— Что за необычайная история! — воскликнула леди Джоан и невесело рассмеялась. — Она должна стать деревенской легендой. Я никогда еще такой не слышала. Может быть, отсюда идет название «Зеленый человек»...

— Нет, — просто сказал Пэмп. — Этот кабачок назывался так задолго до Ватерлоо. Бедный Нойл владел им, пока его не выгнали. Вы помните старого Нойла, леди Джоан? Говорят, он еще жив и пишет любовные письма королеве Виктории, только теперь не посылает.

— А что вы еще слышали о вашем друге? — спросила девушка, прилежно разглядывая горизонт.

— На прошлой неделе я получил от него письмо, — отвечал кабатчик. — Возможно, он скоро вернется. Он сражался за какой-то греческий остров, но сейчас это кончилось. Как ни странно, наш лорд представлял на переговорах Англию.

— Вы говорите об Айвивуде? — довольно холодно спросила леди Джоан. — Да, у него большое будущее.

— Я бы хотел, чтобы он нас так не мучил, — проворчал Пэмп. — Он не оставит в Англии ни одного кабака. Впрочем, все Айвивуды были не в себе. Вспомните только его дедушку.

— Невежливо просить, чтобы дама вспомнила дедушку, — сказала леди Джоан, печально улыбаясь.

— Вы знаете, что я хочу сказать, — добродушно ответил кабатчик. — Я никогда не был особенно строг, кто из нас без греха. Но я бы не хотел, чтобы с моей свиньей так поступали. Не пойму, почему человек не может взять свинью в церковь, если ему нравится. Это их семейные места, они отгорожены.

Леди Джоан снова засмеялась.

— Чего вы только не знаете, — сказала она. — Ну, мне пора, мистер Хэмп... то есть мистер Пэмп... когда-то я звала вас Хэмпом... О, Хэмп, будем ли мы счастливы снова?

— Мне кажется, — сказал он, глядя на море, — что это зависит от Провидения.

— Скажите еще раз «Провидение»! — вскричала она. — Это прекрасно, как детская книжка.

И с этими нелогичными словами она пошла по тропинке между яблонь и дальше, к курорту.

Кабак «Старый корабль» стоял неподалеку от рыбацкой деревушки Пэбблсвик, а в полумиле от него был расположен новый курорт. Темноволосая девушка упорно шла у самого берега, по бульвару, который, в безумном оптимизме, раскинулся к востоку и к западу от курорта, и, приближаясь к людной его части, все внимательнее вглядывалась в людей. Почти все были те же самые, которых она видела здесь месяц назад. Искатели истины (как сказал бы старичок в феске), собирающиеся каждый день ради тайны коробочек, еще ничего не узнали, но и не устали от своего паломничества. Яростному атеисту бросали монетки в знак признания, что удивительно, так как слушатели оставались равнодушными, а сам он говорил искренне. Человек с длинной шеей и совочком, распевая гимны, куда-то исчез, ибо защита детей — ремесло кочевое. Юноша в морковном венке был здесь, и перед ним лежало даже больше денег, чем прежде. Но леди Джоан нигде не видела старичка в феске. Осталось предположить, что он потерпел неудачу; и в своей печали она подумала, что он не преуспел, ибо дикие его речи держались какой-то безумной, неземной логики, на которую неспособны эти пошлые дураки. Она не признавалась себе, что турок и кабатчик интересуют ее только по одной причине.

Устало бредя вдоль берега, она увидела белокурую девушку в черном платье, с подвижным умным лицом. Лицо это показалось ей знакомым. Призвав на помощь ту выучку, которая велит аристократам запоминать обычных людей, она припомнила, что это мисс Браунинг, которая года два назад печатала для нее на машинке, и бросилась к ней отчасти из добродушия, отчасти же для того, чтобы избавиться от тяжких мыслей. Она заговорила так дружелюбно и просто, что девушка в черном набралась смелости и сказала:

— Я давно хотела познакомить вас с моей сестрой. Она живет дома, это так старомодно, но сама гораздо умнее меня и знает очень умных людей. Сейчас она беседует с пророком луны, о нем теперь все говорят. Разрешите я вас представлю.

Леди Джоан Брет встретила на своем веку много пророков луны и других светил; но безотказная вежливость, искупающая пороки ее класса, побудила ее пойти за мисс Браунинг. С вышеупомянутой сестрой она поздоровалась, сияя учтивостью, что мы зачем в ее пользу, ибо ей стоило большого труда вообще на нее взглянуть. Рядом, на песке, в красной феске, но в ослепительно новом костюме, сидел старичок, говоривший некогда о кабаках.

— Он читает лекции в нашем Нравственном обществе, — прошептала мисс Браунинг. — Об алкоголе. Об одном только слове «алкоголь». Потрясающе! Про Аравию и алгебру, знаете, и про то, что все с востока. Право, вам бы это понравилось.

— Мне это нравится, — сказала леди Джоан.

— Поду-у-умайте о т о м , — говорил старичок сестре мисс Браунинг, — что имена ваших кабаков попросту бессмысленны,

если мы не отыщем в них влияния ислама. В Лондоне есть заведение, одно из самых людных, самых главных, которое называется «Подкова». Друзья мои, кто вспомнит подкову? Это — лишь принадлежность существа, много более занимательного, чем она сама. Я уже доказал, что название «Бык»...

— Разрешите спросить... — внезапно перебила его леди Джоан.

— Название «Бык», — продолжал человек в феске, глухой ко всему, кроме собственных мыслей, — смешно, тогда как слова «Крылатый бык» величественны и красивы. Но даже вы, друзья мои, не сравните питейного места с кольцом в носу у быка. Зачем же сравнивать его с одной из принадлежностей благородного коня? Совершенно очевидно, что подкова — таинственный символ, созданный в те дни, когда английская земля была поработана переходящим галилейским суеверием. Разве та изогнутая полоска, то полукружие, что вы зовете подковой — не полумесяц? — И он распростер руки, как тогда, на плече. — Полумесяц пророка и единого Бога!

— Разрешите спросить, — снова начала леди Джоан, — как вы объясните название «Зеленый человек»? Это кабачок вон за теми домами.

— Сейчас! Сейчас! — в диком волнении вскричал пророк луны. — Искатель истины не найдет лучшего примера. Друзья мои, разве бывают зеленые люди? Мы знаем зеленую траву, зеленые листья, зеленый сыр, зеленый ликер. Но знает ли кто-нибудь из вас, сколько бы ни было у него знакомых, зеленого человека? Совершенно очевидно, друзья мои, что старое название искажено, сокращено. Всякому ясно, что название это, вполне разумное, исторически оправданное, — «Человек в зеленом тюрбане», ибо такой тюрбан носили слуги пророка. «Тюрбан» как раз такое слово, которое, за непонятностью, могли исказить и отбросить совсем.

— В этих местах рассказывают, — сказала леди Джоан, — что великий герой услышал, как оскорбляют священный цвет его священного острова, и выкрасил обидчика зеленой краской.

— Легенда! Миф! — закричал человек в феске, радостно раскинув руки. — Разве не очевидно, что этого быть не может?

— Это было, — мягко сказала девушка. — Мало радостей в жизни, но все же иногда... О, нет, это было!

И, мило поклонившись, она снова побрела по бульвару.

Глава 4

КАБАК ОБРЕТАЕТ КРЫЛЬЯ

Мистер Хэмфри Пэмп стоял перед дверью своего кабака. Вычищенная и заряженная двустволка лежала на столе. Белая вывеска слегка колебалась над его головой от дуновения ветра.

Лицо кабатчика было задумчиво и сосредоточенно. В руке он держал два письма, совершенно разных, но говорящих об одном и том же. Вот первое из них:

«Милый Хэмп!

Я так расстроена, что называю Вас по-старому. Вы понимаете, я должна ладить с родными — ведь лорд Айвивуд доводится мне чем-то вроде троюродного брата. По этой и по другим причинам моя бедная мама просто умрет, если я его обижу. Вы знаете, что у нее больное сердце; Вы знаете все, что только можно знать в нашем краю. И вот я пишу, чтобы предупредить Вас, что над Вашим милым кабачком собирается гроза. Всего месяц или два назад я видела на пляже старого оборванного шута с зеленым зонтиком, который нес необыкновенную ерунду. Недели три назад я узнала, что он читает лекции в каких-то нравственных обществах за хорошее вознаграждение. И вот, когда я в последний раз была у Айвивудов — мама требует, чтобы я у них была а л а , — там оказался этот сумасшедший, во фраке, среди самых важных гостей. Я хочу сказать, среди самых сильных.

Лорд Айвивуд — под его влиянием и считает его величайшим пророком в мире. А ведь лорд Айвивуд не дурак; поневоле им восхищаешься. Мне кажется, мама хочет, чтобы я не только восхищалась им. Я говорю Вам все, Хэмп, потому что, наверное, это мое последнее честное письмо. И я Вас серьезно предупреждаю, что лорд Айвивуд искренен, а это очень страшно. Он будет великим государственным деятелем, и он действительно хочет сжечь старые корабли. Если Вы увидите, что я ему помогаю, простите меня.

Того, о ком мы говорили и кого я никогда не увижу, я поручаю Вашей дружбе. Из всего, что я могу отдать, это — второе, но, я думаю, оно лучше первого. Прощайте.

Дж. Б.»

Это письмо скорее огорчило Пэмпа, чем озадачило. Второе же — скорее озадачило, чем огорчило. Было оно таким:

«Президиум Королевской комиссии по контролю над продажей крепких напитков вынужден обратить Ваше внимание на то, что Вы нарушили пункт 5—А нашего Постановления о местах публичного увеселения и тем самым подлежите взысканию согласно пункту 47—Б Постановления, дополняющего вышеупомянутое. Вам предъявляются следующие обвинения:

1) Нарушение примечания к пункту 23—Г, которое гласит, что ни одно питейное заведение, приносящее менее четырехсот (400) фунтов стерлингов годового дохода, не вправе вешать перед дверью вывески.

2) Нарушение примечания к пункту 113—Д, который гласит, что алкогольные напитки не могут продаваться без наличия

свидетельства, заверенного Государственным Медицинским Советом, нигде, кроме отеля «Кларидж» и бара «Критерион», необходимость которых доказана.

Поскольку Вы не обратили внимания на наши прежние извещения, мы предупреждаем Вас данным письмом, что законные меры будут приняты незамедлительно.

С искренним уважением

*Айвивуд, председатель,
Дж. Ливсон, секретарь.*

Мистер Хэмфри Пэмп сел за стол и засвистел, что при его бакенбардах придало ему на минуту несомненное сходство с конюхом. Потом знания и разум вновь засветились на его лице. Добрыми карими глазами он взглянул на холодное серое море. Оно давало немного. Он мог в нем утонуть, и это было бы лучше для него, чем расстаться со «Старым кораблем». Могла утонуть и Англия; это было бы лучше для нее, чем потерять «Старый корабль». Но это несерьезно и недоступно; и Пэмп думал о том, как море искривило и яблони в его саду и его самого. Печально у моря... По берегу шел только один человек. Он приближался, становился все выше, и лишь тогда, когда он стал выше человеческого роста, Пэмп с криком вскочил. Луч утреннего солнца упал на голову путника, и волосы его запылали, словно костер.

Бывший король Итаки неторопливо приближался к «Старому кораблю». Он приплыл на берег в шлюпке броненосца, едва видного на горизонте. Одет он был по-прежнему в зеленую с серебром форму, изобретенную им самим для флота, которого и раньше почти не было, а теперь не было совсем; на боку у него висела прямая морская шпага, ибо условия капитуляции не обязывали ее отдать; а в мундире, при шпаге находился большой, довольно растерянный человек, чье несчастье состояло в том, что его сильный разум был все же слабее его тела и его страстей.

Всем своим телом он опустился на стул прежде, чем Пэмп нашел слова, чтобы выразить радость. Потом сказал:

— Есть у тебя ром?

И, словно чувствуя, что эта фраза нуждается в объяснении, прибавил:

— Наверное, я уже никогда не буду моряком. Значит, мне надо выпить рому.

Хэмфри Пэмп был талантлив в дружбе и понял старого друга. Не сказав ни слова, он пошел в кабак и вернулся, неторопливо толкая то одной, то другой ногой два легко катящихся предмета, словно играл в футбол двумя мячами. Один из этих предметов был бочонком рома, другой — большим сыром, похожим на барaban. Он умел делать много полезных вещей, в том числе — открывать бочки, не взбалтывая содержимого; и как раз искал в кармане соответствующий инструмент, когда ирландский его друг сел прямо и сказал с неожиданной трезвостью:

— Спасибо, Хэмп. Я совсем не хочу пить. Теперь я вижу, что могу выпить, и не хочу. А хочу я, — тут он ударил кулаком по столу, так что одна ножка подкосилась, — а хочу я узнать, что тут у вас делается, кроме чепухи.

— Что ты называешь чепухой? — спросил Пэмп, задумчиво перебирая письма.

— Я называю чепухой, — закричал ирландец, — когда Коран включают в Писание! Я называю чепухой, когда помешанный пастор предлагает воздвигнуть полумесяц на соборе святого Павла. Я знаю, что турки наши союзники, но это бывало и раньше, а я не слышал, чтобы Пальмерстон или Колин Кэмпбелл разрешали такие глупости.

— Понимаешь, — сказал Пэмп, — лорд Айвивуд очень увлекся. Недавно, на цветочной выставке, он говорил, что пришло время слить христианство и ислам воедино.

— И назвать хрислам, — угрюмо сказал Дэлрой, глядя на серый и лиловый лес за кабачком, куда сбегала белая дорога. Она казалась началом приключения; а он приключения любил.

— И вообще, ты преувеличиваешь, — продолжал Пэмп, чистя ружье. — С полумесяцем было не совсем так. Мне кажется, доктор Мул предложил двойную эмблему, крест и полумесяц. И потом, он не пастор. Говорят, он атеист, или этот, агностик, как сквайр Брентон, который жевал дерево. У сильных мира сего есть свои моды, но они длятся недолго.

— На сей раз это серьезно, — сказал его друг, качая огромной рыжей головой. — Твой кабак — последний на побережье, а скоро будет последним в Англии. Помнишь «Сарацинову голову» в Пламли, на самом берегу?

— Да, да, — кивнул кабатчик. — Моя тетка была там, когда он повесил свою мамашу. Но кабак очень хороший.

— Я сейчас проплывал мимо, — сказал Дэлрой. — Его больше нет.

— Неужели пожар? — спросил Пэмп, оставляя ружье.

— Нет, — отвечал Дэлрой. — Лимонад. Они забрали эту бумагу, как ее там. Я сочинил по этому случаю песню и сейчас ее спою.

И, внезапно оживившись, он заревел громовым голосом песню собственного сочинения на простой, но вдохновенный мотив:

«Голова Сарацина» отовсюду видна*,¹
Но уж больше под нею не пивать нам вина:
Злые старые леди навели там уют —
И с тех пор в «Сарацине» только чай подают!

«Голова Сарацина» — родом издалека:
Из Аравии Ричард вел с победой войска,
И где пир он устроил — так гласила молва —
Пику в землю воткнул, а на ней — Голова.

¹ © Переводы стихов, отмеченные *. Бородицкая М. Я., 1990 г.



— Эй! — крикнул Пэмп и снова тихо свистнул. — Сюда идет сам лорд. А тот молодой человек в очках — что-то вроде комитета.

— Пускай идут, — сказал Дэлрой и заорал еще громче:

Голова оказалась долговечней царей *,
И ужасные мысли скопились в ней:
О Здравье Народа, о Полезной Еде,
О питье Сарацинов — апельсиновой воде...

«Голова Сарацина» глядит свысока,
Чай здесь льется рекой, а вина — ни глотка!
Хоть бы кто-нибудь мне объяснил, дураку:
Как такое пришло Сарацину в башку?

Когда последний звук этого лирического рева прокатился сквозь яблони вниз, по белой лесной дороге, капитан Дэлрой откинулся на спинку стула и добродушно кивнул лорду Айвивуду, который стоял на лужайке величаво-холодный, как всегда, но чуточку поджав губы. Из-за его спины виднелся молодой человек в двойных очках; очевидно, то был Дж. Ливсон, секретарь. На дороге стояло еще трое, и Пэмп с удивлением подумал, что такие разные люди могут сойтись только в фарсе. Первый из них был полицейский инспектор, второй — рабочий в коричневом фартуке, похожий на плотника, третий — старик в пунцовой феске, но в безупречном костюме, который его явно стеснял. Он что-то объяснял полицейскому и плотнику, а они, по всей видимости, старались сдерживать смех.

— Славная песня, милорд, — сказал Дэлрой с веселым самодовольством. — Сейчас я спою вам другую. — И он прочистил горло.

— Мистер Пэмп, — сказал лорд Айвивуд красивым, звонким голосом. — Я решил явиться сюда сам, чтобы вы поняли, что мы были к вам слишком милостивы. Самая дата основания вашего кабака подводит его под закон тысяча девятьсот девятого года. Он построен, когда здешним лордом был мой прадедушка, хотя, если не ошибаюсь, назывался тогда иначе, и...

— Ах, милорд, — со вздохом перебил его Пэмп, — лучше бы мне иметь дело с вашим прадедушкой, даже если бы он женился на тысяче негротенок, чем видеть, как джентльмен из вашей семьи отнимает единственное достояние у бедного человека.

— Постановление заботится именно о бедных, — бесстрастно отвечал Айвивуд, — а результаты его пойдут на пользу всем до единого. — Обратившись к секретарю, он прибавил: — У вас второй экземпляр, — и получил в ответ сложенную вдвое бумагу.

— Здесь полностью объяснено, — продолжал он, надевая очки, которые так старили его, — что Постановление призвано за-

щитить сбережения самых низших, неимущих классов. Читаем в параграфе третьем: «Мы настоятельно рекомендуем, чтобы алкоголь был объявлен вне закона, кроме случаев, разрешенных правительством по парламентским и другим общественным причинам, а также чтобы деморализующие вывески кабаков были строго запрещены, кроме особо оговоренных случаев. Отсутствие соблазна, по нашему убеждению, значительно улучшит финансовое положение рабочего класса». Это опровергает мнение мистера Пэмпа, полагающего, что наши необходимые реформы в какой бы то ни было мере связаны с насилием. Мистеру Пэмпу, человеку предубежденному, может показаться, что Постановление дурно отразится на его делах. Но (тут голос лорда Айвивуда взмыл вверх) что лучше покажет нам, как необходимо бороться с коварным ядом, который мы стремимся искоренить? Что лучше это докажет, если достойные люди с прекрасной репутацией, живя в таких местах, под влиянием винных паров или сентиментальной тоски о прошлом, противопоставляют себя обществу и думают только о своей выгоде, смеясь над страданиями бедняков?

Капитан Дэлрой с интересом смотрел на Айвивуда яркосиними глазами.

— Простите меня, м л о р д , — сказал он спокойней, чем обычно. — В вашей прекрасной речи есть один пункт, который я не совсем уяснил себе. Если я правильно понял, вывески запрещены, но там, где они есть, напитки продавать можно. Другими словами, когда англичанин найдет наконец хотя бы один кабак с вывеской, он с вашего милостивого разрешения может там выпить?

Лорд Айвивуд замечательно владел собой, что очень помогало ему в его карьере. Не отвлекаясь на споры о частностях, он просто ответил:

— Да. Вы совершенно правильно изложили факты.

— Значит, — не унимался капитан, — если я увижу кабацкую вывеску, я могу зайти, спросить кружку пива, и полиция меня не накажет?

— Если увидите, можете, — сдержанно ответил Айвивуд. — Но мы надеемся, что скоро вывесок не будет.

Капитан встал во весь свой огромный рост и, кажется, потянулся.

— Ну, Хэмп, — сказал он другу, — лучше всего, по-моему, взять все с собой.

Двумя боковыми ударами ноги он перебросил через забор бочонок рома и круг сыра, так что они быстро покатались под уклон по белой лесной дороге, в темные леса. Затем он схватил шест с вывеской и выдернул его из земли, как травинку.

Никто не успел и пошевелиться, но когда он побежал к дороге, полисмен кинулся ему навстречу. Дэлрой приложил вывеску к его лицу и груди, и он скатился в трясины. Потом, повернувшись к старичку в феске, капитан ткнул его шестом в новый

белый жилет, прямо в часовую цепочку, и тот сел на землю, глядя серьезно и задумчиво.

Секретарь кинулся было прочь, но Хэмфри Пэмп с криком схватил ружье и в него прицелился, что испугало Дж. Ливсона до раздвоения души, если не тела. Через мгновение Пэмп уже бежал вниз по дороге, за капитаном, который катил перед собой бочку и сыр.

Прежде чем полицейский выбрался из трясины, они исчезли в сумраке леса. Лорд Айвивуд, не проявивший во время этой сцены ни страха, ни нетерпения (ни, добавлю, радости), поднял руку и остановил полицейского.

— Преследуя этих скандалистов,— сказал он , — мы только выставим себя и закон в смешном виде. При современных средствах сообщения они не смогут уйти или принести вред. Гораздо важнее, господа, уничтожить их гнездо и их запасы. Согласно закону тысяча девятьсот одиннадцатого года мы имеем право конфисковать и уничтожить любую собственность в незаконно торгующем кабаке.

Много часов он стоял на лужайке, следя за тем, как разбивают бутылки и ломают бочки, и услаждаясь той фанатичной радостью, которую его странной, холодной душе не могли дать ни еда, ни вино, ни женщины.

Глава 5

УДИВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

У лорда Айвивуда был недостаток, свойственный многим людям, узнавшим мир из к н и г , — он не подозревал, что не только можно, но и нужно что-то узнать иначе. Хэмфри Пэмп прекрасно понимал, что лорд Айвивуд считает его невеждой, никогда ничего не читавшим, кроме «Пиквика». Но лорд Айвивуд не понимал, что Хэмфри Пэмп, глядя на него, думает, как легко было бы ему спрятаться в лесных зарослях, ибо его серовато-русые волосы и бледное лицо в точности повторяли три основных оттенка сумрака, царящего там, где растут молодые буки. Боюсь, что в ранней молодости Пэмп баловался куропаткой или фазаном, когда лорд Айвивуд и не подозревал о своем гостеприимстве, более того — и не поверил бы, что кто-то может обмануть бдительное око его лесников. Но человеку, ставящему себя выше физического мира, не стоит судить о том, что можно сделать, что — нельзя.

Поэтому лорд Айвивуд ошибался, говоря, что беглецам не скрыться в современной Англии. Вы можете многое сделать в современной Англии, если сами заметили то, что другим известно по картинкам и по рассказам; если вы знаете, например, что

придорожные живые изгороди почти всегда выше, чем кажутся, и что за ними может спрятаться человек очень большого роста; если вы знаете, что многие естественные звуки — скажем, шелест листвы и рокот моря — труднее различить, чем думают умные люди; если вы знаете, что ходить в носках легче, чем ходить обутым; если вы знаете, что злых собак гораздо меньше, чем людей, способных убить вас в поезде; если вы знаете, что в реке не утонешь, когда течение не очень быстрое и вам не хочется покончить с собой; если вы знаете, что на станциях есть пустые лишние комнаты, куда никто не заходит; если вы знаете, наконец, что крестьяне забудут того, кто с ними поговорит, но будут толковать целый день о том, кто пройдет деревню молча.

Зная все это и многое другое, Хэмфри Пэмп умело вел друга, пока они с вывеской, сыром и ромом не вышли у черного бора на белую дорогу в той местности, где никто не стал бы их искать.

Напротив них лежало поле, а справа, в тени сосен, стоял очень ветхий домик, словно осевший под своей крышей. Рыжий ирландец лукаво улыбнулся. Он воткнул шест в землю, на пороге, и постучался в дверь.

Ее неспешно открыл старик, такой древний, что черты его лица терялись в лабиринте морщин. Он мог бы вылезти из дупла, и никто бы не удивился, если бы ему пошла вторая тысяча лет.

По-видимому, он не заметил вывески, которая стояла слева от двери. Все, что было живого в его глазах, очнулось при виде высокого человека в странной форме и при шпаге.

— Простите, — вежливо сказал капитан, — боюсь, моя форма вас удивляет. Это ливрея лорда Айвивуда. Все его слуги так одеты. Собственно, и арендаторы, быть может, — и вы... Как видите, я при шпаге. Лорд Айвивуд требует, чтобы каждый мужчина носил шпагу. «Можем ли мы утверждать, — сказал он мне вчера, когда я чистил ему брюки, — можем ли мы утверждать, что люди — братья, если отказываем им в символе мужества? Смеем ли мы говорить о свободе, если не даем гражданину того, что всегда отличало свободного от раба? Надо ли страшиться грубых злоупотреблений, которые предвещает мой допотопченный друг, чистящий ножи? Нет, не надо, ибо этот дар свидетельствует о том, что мы глубоко верим в вашу любовь к суровым радостям мира; и тот, кто вправе разить, умеет щадить».

Произнося всю эту ерунду и пышно помавая рукою, капитан вкатил сыр и бочонок в дом изумленного крестьянина. Хэмфри Пэмп угрюмо и послушно вошел вслед за ним, неся под мышкой ружье.

— Лорд Айвивуд, — сказал Дэлрой, ставя бочонок с ромом на сосновый стол, — хочет выпить с вами вина. Или, говоря точнее, рома. Не повторяйте, друг мой, сказок о том, что лорд Айвивуд противник крепких напитков. Мы на кухне называем его «трехбутыльный Айвивуд». Он пьет только ром. Ром или ничего.

«Вино может предать вас, — сказал он на днях (я запомнил эти слова, особенно удачные даже для его милости, и перестал чистить лестницу, на верху которой он стоял, дабы записать и х), — вино может предать вас, виски — уподобить зверю, но нигде на священных страницах не найдем мы осуждения сладчайшему напитку, который так дорог морякам. Ни пророк, ни священник не нарушил молчания, и в Библии нигде не сказано о роме». Потом он объяснил мне, — продолжал Дэлрой, указывая знаком, чтобы Пэмп откупорил бочку, — что ром не принесет вреда молодым, неопытным людям, если они заедают его сыром, особенно же — тем сыром, который я принес с собой. Забыл, как он называется.

— Чеддар, — мрачно сказал Пэмп.

— Но заметьте! — продолжал капитан, приходя в бешенство и грозя старику огромным пальцем. — Заметьте, сыр надо есть без хлеба. Страшные беды, нанесенные сыром в этом графстве некогда счастливым очагам, проистекают из неосторожного, безумного обычая есть хлеб. От меня, друг мой, вы хлеба не получите. Лорд Айвивуд приказал изъять упоминание об этом вредном продукте из молитвы Господней. Выпьем!

Он уже налил рому в два толстых стакана и разбитую чашку, которые по его знаку вынул старик, и теперь торжественно выпил за его здоровье.

— Большое спасибо, сэръ, — сказал старик, впервые пустив в дело свой надтреснутый голос. Потом выпил; и старое его лицо просияло, как старый фонарь, в котором зажгли свечку.

— А! — сказал он. — У меня сын моряк.

— Желаю ему счастливого плавания, — сказал капитан. — Сейчас я спою вам песню о самом первом моряке, который (как тонко заметил лорд Айвивуд) жил в те времена, когда не было рома.

Он сел на деревянный стул и заорал, стуча по столу деревянной чашкой:

У Ноя было много кур, и страусов, и скота,
Яичница в большой бадье заваривалась густа,
И суп он ел — слоновый суп, и рыбу ел — кита,
Но был в ковчеге погребок, не кладовой чета,
И, садясь за стол со своей женой, старый Ной повторял одно:
«Пускай где угодно течет вода, не попала бы только в вино».

Низринулись хляби с небесных круч, завесив небосвод,
Они смывали звезды прочь, как пену мыльных вод,
Все семь небес свергались, рыча, заливая геенне рот,
А Ной говорил, прищуриль глаза: «Как будто дождь идет.
Водой затоплен Маттерхорн, ушел на самое дно,
Но пускай где угодно течет вода, не попала бы только в вино».

Только Ной грешил, грешили и мы, все пили и там, и тут.
И грозный трезвенник пришел, карая грешный люд.
Вина не достать ни там, где едят, ни там, где песни поют,

Испытанье водой судил земле вторично Божий суд.
Епископ воду льет в стакан, безбожник с ним заодно,
Но пускай где угодно течет вода, не попала бы только в вино ¹.

— Любимая песня лорда Айвивуда, — сказал Дэлрой и выпил. — Теперь вы спойте нам.

К удивлению обоих любителей юмора старик действительно запел скрипучим голосом:

Король наш в Лондоне живет,
Он мясо ест и пиво пьет,
И Бонапарта разобьет
Поутру, на Рождество.

Наш старый лорд поехал в порт
И взял с собой...

Должно быть, быстроте повествования пойдет на пользу то, что любимую песню старика, насчитывавшую сорок куплетов, прервало странное происшествие. Дверь отворилась, и несмелый человек в плисовых штанах, постояв минутку молча, сказал без предисловий и объяснений:

— Четыре пива.

— Простите? — переспросил учтивый капитан.

— Четыре пива, — с достоинством повторил пришедший. Тут взор его упал на Хэмфри, и он нашел в своем словаре еще несколько слов:

— Здравствуйте, мистер Пэмп. Не знал, что «Старый корабль» переехал.

Пэмп, слегка улыбнувшись, показал на старика.

— Теперь им владеет мистер Марн, мистер Гоул, — сказал он, соблюдая строгие правила деревенского этикета. — Но у него есть только ром.

— Не беда, — сказал немногословный мистер Гоул и положил несколько монет перед удивленным Марном. Когда он выпил и, вытерев рот рукой, собрался было уйти, дверь снова отворилась, впустив ясный солнечный свет и человека в красном шарфе.

— Здравствуйте, мистер Марн. Здравствуйте, мистер Пэмп. Здравствуйте, мистер Гоул, — сказал человек в шарфе.

— Здравствуйте, мистер Кут, — поочередно ответили все трое.

— Хотите рому? — приветливо спросил Хэмфри Пэмп. — У мистера Марна сейчас ничего другого нет.

Мистер Кут тоже выпил рому и тоже положил денег перед несколькими отрешенным, но почтенным крестьянином. Мистер Кут объяснил, что времена пошли дурные, но если видишь вывеску, все в порядке, так сказал даже юрист в Грэнтон Эббот. Потом появился, всем на радость, шумный и простоватый

¹ Перевод М. Лозинского.

лудильщик, который щедро угостил присутствующих и сообщил, что за дверью стоят его осел и тележка. Начался длинный, увлекательный и не совсем понятный разговор о тележке и осле, в котором были высказаны самые разные взгляды на их достоинства; и Дэлрой постепенно понял, что лудильщик хочет продать их.

Внезапно ему пришла мысль, очень подходящая к романтической безвыходности его нелепого состояния, и он выбежал за дверь посмотреть на осла и тележку. Через минуту он вернулся, спросил у лудильщика цену и тут же предложил другую, о которой тот и не мечтал. Однако это сочли безумием, приличествующим джентльмену. Лудильщик выпил еще, чтобы закрепить сделку, после чего, извинившись, Дэлрой закрыл бочонок, взял сыр и пошел укладывать их в тележку. Сверкающую горку серебра и меди он оставил под серебряной бородой старого Марна.

Тем, кто знает тонкую, часто бессловесную дружественность английских бедняков, не стоит говорить, что все вышли на порог и смотрели, как он грузит в повозку вещи и как запрягает о с л а, — все, кроме хозяина, который сидел за столом, словно зачарованный видом денег. Пока они стояли, они увидели на белой жаркой дороге, на склоне холма, человека, который не обрадовал их даже в виде черной точки. Это был мистер Булроз, управляющий имениями лорда Айвивуда.

Мистер Булроз, коротенький и квадратный, с большой кубической головой, тяжелым лягушачьим лицом и подозрительным взглядом, носил цилиндр и грубый, деловой костюм. Приятным он не был. Управляющий большим имением редко бывает приятен. Лорд бывает; даже у Айвивуда было ледяное великодушие, побуждавшее многих искать беседы с ним самим. Но мистер Булроз отличался низостью. Всякий деятельный тиран должен быть низким.

Он не знал, почему так много народу у покосившегося домика, но сразу понял, что тут что-то неладно. Домик он хотел отобрать давно и, конечно, отнюдь не собирался за него платить. Он надеялся, что старик умрет; но мог в любую минуту выгнать его, ибо тот навряд ли уплатил бы арендную плату. Она была невысока, но огромна для человека, который ничего не может ни заработать, ни занять. Вот к чему приводит на деле наша рыцарская, аристократическая система землевладения.

— Прощайте, друзья, — говорил гигант в причудливой военной ф о р м е. — Все дороги ведут в ром, как сказал лорд Айвивуд на Церковном конгрессе, и я, надеюсь, скоро вернусь, чтобы открыть здесь первоклассный отель. Проспекты вы получите незамедлительно.

Одутловатое лягушачье лицо мистера Булроза от удивления стало еще безобразней, глаза уподобились глазам улитки. Наглое упоминание о лорде Айвивуде вызвало бы гневный окрик, если бы его не затмило невообразимое известие об отеле. Оно тоже

вызвало бы вспышку, если бы все на свете не затмил вид прочной деревянной вывески, торчащей перед жалким домиком Марна.

— Теперь он у меня в руках, — пробормотал мистер Булроз. — Заплатить он не может, и я его выгону.

Он быстро пошел к дверям как раз в ту минуту, когда Дэлрой приблизился к голове осла, чтобы вести его под уздцы.

— Ну, милейший, — заорал Булроз, входя в комнату, — на сей раз ты попался! Лорд Айвивуд и так слишком долго тебя терпит, но теперь конец. После такой наглости, да еще при том, как относится к этому его милость... Нет уж, хватит. — Он замолчал на мгновение и ухмыльнулся. — Плати все до фартинга или убирайся. Сколько можно с таким возиться?

Старик невольно пододвинул к нему кучку денег. Мистер Булроз упал на стул прямо в цилиндре и стал неистово их пересчитывать. Он пересчитал их раз; он пересчитал их два; он пересчитал их три раза. Потом уставился на них еще удивленной, чем хозяин.

— Где ты взял эти деньги? — спросил он сердитым басом. — Ты украл их?

— Не так я проворен, чтобы красть, — насмешливо ответил старик.

Булроз взглянул сначала на него, потом на деньги; и вспомнил, что Айвивуд холодный, но справедливый судья.

— Ну, все равно! — закричал он в ярости. — У нас достаточно причин, чтобы тебя выселить. Ты понимаешь, что нарушил закон, поставив эту вывеску, а?

Арендатор молчал.

— А? — повторил управляющий.

— Э, — отвечал арендатор.

— Есть там вывеска или нет? — орал Булроз, стуча кулаком по столу.

Арендатор долго смотрел на него с терпением и достоинством, потом сказал:

— Может есть, а может — нету.

— Я тебе покажу «может»! — закричал Булроз, вскакивая со стула, от чего цилиндр покосился. — Что вы все, ослепли спьяну? Я видел вывеску собственными глазами. Идем, и скажи, если смеешь, что ее нет!

— Э... — в сомнении сказал мистер Марн.

Он заковылял за управляющим, который с деловитым бешенством распахнул дверь и выскочил на порог. Там он стоял долго; и молчал. В глубинах окаменевшей глины, наполнявшей его здравую голову, зашевелились два старых врага — сказка, где можно поверить во что угодно, и современный скепсис, не дозволяющий верить ничему, даже собственным глазам. Ни вывески, ни следа вывески нигде не было.

На морщинистом лице старого Марна слабо забрезжил смех, не просыпавшийся со средних веков.

Глава 6

ДЫРА В НЕБЕСАХ

Нежный рубиновый отблеск, один из редчайших, но и тончайших эффектов заката, согрел небеса, землю и море, словно весь мир омыли вином, и окрасил багрянцем большую рыжую голову Патрика Дэлроя, стоявшего вместе с друзьями в зарослях папоротника. Один из его друзей проверял короткое ружье, похожее на двустольный карабин, другой жевал чертополох.

Сам Дэлрой не делал ничего и, засунув руки в карманы, оглядывал горизонт. За его спиной холмы, долины, леса купались в розовом свете; но свет этот становился пурпурным и даже грозно-лиловым над фиолетовой полоской моря. На море капитан и смотрел.

Внезапно он очнулся и протер глаза, во всяком случае — почесал рыжую бровь.

— Да мы возвращаемся в Пэбблсвик! — сказал он. — Вот эта чертова часовенка на берегу.

— Конечно, — отвечал его друг и проводник. — Мы проделали заячью хитрость, вернулись на свои следы. Девять раз из десяти это лучше всего. Пастор Уайтледи делал это, когда его ловили за кражу собак. Я шел его путем; полезно следовать хорошим примерам. В Лондоне тебе скажут, что Дик Терпин уехал в Йорк. А я знаю, что это не так. Мой дедушка часто встречал его внуков, одного даже бросил на Рождество в реку, и я догадался, как все было. Умный человек помчится по Северной дороге, крича направо и налево: «В Йорк! В Йорк!», и если действовать умеючи, он может через полчаса разгуливать с трубочкой по Стрэнду. Бонапарт говорит: «Иди туда, где тебя не ждут». Вероятно, как воин он был прав. Но тот, кто удирает от полиции, должен делать не так. Я бы сказал ему: «Иди туда, где тебя ждут», — и он обнаружил бы, что его собратья, в числе прочего, не умеют правильно ждать.

— Как знакомы мне эти места... — печально сказал капитан. — Так знакомы, так хорошо знакомы, что лучше бы я их не видел. Знаешь ли ты, — спросил он, показывая Пэмпу на песчаную яму, белевшую в зарослях вереска неподалеку от них, — знаешь, чем прославлено в истории это место?

— Знаю, — ответил Пэмп. — Тут мамаша Груч застрелила методиста.

— Ты ошибаешься, — сказал капитан. — Такое событие недостойно воспоминаний и жалости. Нет, это место прославлено тем, что одна легкомысленная девушка потеряла здесь ленту от черной косы и кто-то помог ей найти эту ленту.

— А сам он легкомысленный? — спросил Пэмп, невесело улыбаясь.

— Нет,— ответил Дэлрой, глядя на море. — Мысли его не легки.

Потом, снова встряхнувшись, он показал куда-то в глубь пустоши.

— А знаешь ли ты,— спросил он, — поразительную повесть о старой стене за тем холмом?

— Нет,— отвечал Пэм. — Разве что ты говоришь о Цирке Мертвеца. Но это было так давно.

— Я говорю не о Цирке Мертвеца,— сказал капитан. — Прекрасная повесть этой стены заключается в том, что на нее упала тень, и тень эта была вождедленнее, чем самое тело всех живых существ. Именно это, — крикнул он, почти яростно обретая прежнюю удаль, — именно это, Хэмп, а не обычный, будничный случай — мертвец пошел в цирк, — с которым ты посмел это сравнить, собирается восславить лорд Айвивуд, украсив стену статуями, которые турки украли с могилы Сократа, включая колонну из чистого золота в четыреста футов с конной, точнее — ослиной статуей обездоленного ирландца.

Он закинул длинную ногу за спину ослика, словно позируя для статуи, потом снова встал прямо и снова посмотрел на пурпурную кромку моря.

— Знаешь, Хэмп,— сказал он, — нынешние люди ничего не смыслят в жизни. Они ждут от природы того, чего она не обещала, а потом разрушают то, что она дала. В безбожных часовнях Айвивуда они толкуют о совершенном мире, о высшем доверии, о вселенской радости и об единстве душ. Однако на вид они не веселее прочих, а главное — поговорив так, они разбивают тысячи добрых шуток, добрых рассказов, добрых песен и добрых дружб, закрывая «Старый корабль». — Он взглянул на шест, лежащий среди вереска, словно хотел убедиться, что его не украли. — Мне кажется,— продолжал он, — они требуют слишком много, а получают слишком мало. Я не знаю, хочет ли Бог, чтобы человек обрел на земле полное, высшее счастье. Но Бог несомненно хочет, чтобы человек повеселился; и я от этого не откажусь. Если я не утешу сердце, я его потешу. Циники, которые считают себя очень умными, говорят: «Будь хорошим, и ты будешь счастлив, но весел ты не будешь». Они и тут ошибаются. Истина — иная. Видит Бог, я не считаю себя хорошим, но даже мерзавец иногда встает против мира, как святой. Мне кажется, я боролся с миром, et militavi non sine¹ — как там по-латыни «поразвлекся»? Нельзя сказать, что я умиротворен и счастлив, особенно сейчас, на этой пустоши. Я никогда не был счастлив, Хэмп, но веселым я бывал.

Снова воцарилась вечерняя тишина, только ослик хрустел чертополохом. Пэм не откликнулся, и Дэлрой продолжал свою притчу.

¹ И сражался не без... (лат.).

— Мне кажется, теперь все время играют на наших чувствах, как это самое место играет на моих. А, черт их побери, остаток жизни можно потратить на многое другое! Не люблю, когда возятся с чувствами, только душу разбередят. В нынешнем моем состоянии я предпочитаю дела. Именно это, Хэмп, — тут голос его стал громче, как всегда, когда его внезапно охватывало чисто животное возбуждение, — именно это я выразил в «Песне против песен», которую сейчас спою.

— Я не стал бы здесь петь, — сказал Хэмфри Пэмп, поднимая ружье и суя его под мышку. — На открытых местах ты кажешься слишком большим, и голос твой слишком громок. Я поведу тебя к Дыре в небесах, о которой ты так много говорил, и спрячу, как прятал от учителя. Никак не вспомню его фамилию. Он еще мог выпить только греческим вином в усадьбе Уимполов.

— Хэмп! — кричал капитан. — Я отрекаюсь от трона Итаки. Ты куда мудрее Одиссея. Сердце мое разрывали тысячи соблазнов, от самоубийства до похищения, когда я видел яму среди вереска, где мы устраивали пикники. А теперь я даже забыл, что мы называли ее Дырой в небесах. Господи, какие прекрасные слова, и то, и другое!

— Я думал, ты запомнишь их, капитан, — сказал кабатчик, — хотя бы из-за шутки младшего Мэтьюза.

— Во время одной рукопашной в Албании, — печально сказал Дэлрой, проводя рукой по лбу, — я забыл, должно быть, его шутку.

— Она была не очень удачна, — просто сказал Пэмп. — Вот его тетушка, та шутила! Однако она зашла чересчур далеко со старым Гэджоном.

С этими словами он прыгнул куда-то, словно его поглотила земля. Одна из истин, скрытых небом от лорда Айвивуда и открытых Хэмпу, гласила, что яма зачастую не видна вблизи, но видна издали. С той стороны, откуда они подошли, земля обрывалась сразу; вереск и чертополох прикрывали укромную выемку, и Пэмп исчез, словно фея.

— Так, — сказал он из-под земли, точнее, из-под растительной крыши. — Когда ты прыгнешь сюда, ты все припомнишь. Самое место спеть твою песню, капитан. Слава тебе Господи, я не забыл, как ты пел тут ирландскую песню, ты еще сочинил ее в школе! Ревел, как волны Васанские, про то, что дама украла сердце, а твоя матушка и учитель ничего не слышали, потому что этот песок заглушает звуки. Это очень полезно знать. Жаль, что юных дворян этому не учат. А теперь спой мне песню против чувств, или как там она зовется.

Дэлрой оглядывал пристанище былых пикников, такое чужое и такое знакомое. Казалось, он уже не помнил о песне и только осматривался в полузабытом доме детства. Из песчаника, под папоротником, сочился родничок, и он вспомнил, что

они кипятили тут воду в котелке. Вспомнил он и споры о том, кто этот котелок опрокинул, и невыносимые муки, которыми он потом терзался в отчаянии первой любви. Когда деятельный Пэмп вылез сквозь колючую крышу, чтобы забрать их странные пожитки, Патрик вспомнил, как одна девица занозила здесь палец, и сердце его остановилось от боли и дивной музыки. Когда Пэмп вернулся, скатив ногой бочонок и сыр по песчаному краю ямы, он вспомнил с какой-то гневной радостью, что скатывался в яму сам, и это было хорошо. Тогда, прежде, ему казалось, что он катится с Маттерхорна. Теперь он заметил, что склон не так уж высок — ниже, чем двухэтажные домики у моря; и понял, что вырос, вырос телом, а душой — навряд ли.

— Дыра в небесах! — сказал он. — Какое чудесное название! Каким прекрасным поэтом я был в те дни! Дыра в небесах... Только куда она ведет, в рай или на землю?

В последних, низких лучах заката тень ослика, которого Пэмп привязал на новой полянке, покрыла еле освещенный солнцем песок. Дэлрой взглянул на эту длинную, смешную тень и рассмеялся тем резким смехом, каким он смеялся, когда закрылись двери гаремов. Обычно он был словоохотлив, но этого смеха не объяснял.

Хэмфри Пэмп снова прыгнул в песчаное гнездо и принялся открывать бочонок ему одному известным способом, говоря при этом:

— Завтра мы чего-нибудь достанем, а на сегодня у нас сыр и ром, да и вода тут есть. Ну, капитан, спой мне песню против песен.

Патрик Дэлрой выпил рому из лекарственной скляночки, которую загадочный Пэмп извлек из жилетного кармана. Лицо его зарумянилось, лоб стал алым, как волосы. Петь ему явно не хотелось.

— Не понимаю, почему это я должен петь, — сказал он. — Почему, черт побери, ты сам не споешь? А ведь правда, — заорал он, преувеличивая свою удачу, хотя и впрямь опьянел от рома, которого не пробовал несколько лет, — а ведь правда, ты же сочинял песню! Юность возвращается ко мне в этой благословенной, проклятой яме, и я вспоминаю, что ты никак не мог ее кончить. Помнишь ли ты, Хэмфри Пэмп, тот вечер, когда я спел тебе семнадцать песен собственного сочинения?

— Конечно, по м н ю , — сдержанно отвечал англичанин.

— А помнишь ли т ы , — торжественно продолжал пылкий ирландец, — чем я угрожал тебе, если ты не споешь?..

— Что ты споешь сам, — закончил непробиваемый П э м п . — Да, помню.

И спокойно извлек из кармана (похожего, как ни прискорбно, на карман браконьера) старый, аккуратно сложенный листок бумаги.

— Я написал ее, когда ты попросил, — просто сказал о н , — а петь не пробовал. Но сейчас спою, если ты споешь сперва песню против пения.

— Ладно! — закричал возбужденный капитан. — Чтобы услышать твою песню, могу и спеть. Вот тебе «Песня против песен», Хэмп.

И снова его рев огласил вечернюю тишину.

Печальная Песнь Мелисанды *
на диво скучна и тосклива,
«Лесной приют Марианны» веселым
не назовешь;
И песенка Ворона Невермор звучит
не слишком игриво,
А в песнях Бодлера — много всего,
но радости в них ни на грош.

Так кто же нам сложит песню?
Кто сложит песню такую,
Чтобы петь поутру, на скаку, на ветру,
Чтоб годилась и в пир, и в поход?
А вы мне поставьте квартиру вина —
Спою вам песню лихую
О жаркой войне, о жгучем вине,
Да так, что мертвец подпоет!

Сердитая песнь Фраголетты — пышна, и душна,
и слащава,
Разбитые арфы Тары нестройно зывают
во тьму;
Веселый Парень из Шропшира — по-моему,
просто отравя,
А то, что поют футуристы, не выговорить
никому.

Так кто же нам сложит песню,
Разгульным душам на радость?
Чтоб знали юнцы, как певали отцы,
Обхаживая матерей?
А вздохи и трели о Светлой Мечте —
Такая ужасная гадость,
Что хочется уши зажать и бежать:
Хоть к дьяволу — лишь бы скорей!

— Выпей еще рому, — ласково сказал ирландский офицер, — и спой наконец свою песню.

С серьезностью, неотделимой от глубокой преданности ритуалу, свойственной сельским жителям, Пэмп развернул свою бумажку. На ней было запечатлено единственное недоброе чувство, достаточно сильное, чтобы выжать песню из нескончаемой английской терпимости. Заглавие он прочитал вятно и медленно:

«Песня против бакалейщиков, сочиненная Хэмфри Пэмпом, единственным владельцем «Старого корабля» в Пэбблсвике. Годится для голоса любого человека и любого скота. Знаменита,

как тот дом, где останавливались в разное время королева Шарлотта и Джонатан Уайльд, а шимпанзе приняли за Бонапарта. Песня эта — против бакалейщиков»:

Бог бакалейщика создал **¹,
Мерзавца и проныру,
Чтоб знал народ пути в обход
К ближайшему трактиру,
Где улыбается балык
И веселится пиво,
На что Господь, большой шутник,
С небес глядит счастливо.

А бакалейщик зол, как черт,
Он мать зовет «мамашей»,
И жучит мать, и мучит мать,
И кормит постной кашей,
И, потирая ручки, ждет,
Что на такой диете
Исход летальный перебьет
Любое долготелье.

Его опора и семья —
Юнцы на побегушках,
И трижды в год он выдает
Получку им в полушках.
Кассиршу цепью приковав
К собачьей будке кассы,
Он научает рывкать «гав»
За тухлый ломтик мяса.

Трактирщик — вот пример дельца:
Он горд своей настойкой
И рад распить бутылъ винца
С приятелем за стойкой.
А бакалейщик — образец,
Обратный всем транжирам:
Хоть будет бит — не угостит
Ни выпивкой, ни сыром.

Он, подметая свой лоток,
Мешает пыль в товары,
Продав как сахарный песок
Пески самой Сахары.
Он травит наш честной народ
Тухлятиной вонючей,
И люди мрут, а этот плут
Им саван ткет паучий.

Он рад бы вина все скупить
И все спиртное в мире
Не для того, чтоб их распить
С компанией в трактире,
А для того, чтобы себя
Почувствовав в ударе,

¹ © Перевод стихов, отмеченных **. Кутик И. М., 1990 г.

Затеять связь, уединясь
С графиней в будуаре.

Лукавый — вот его кумир
С кумирней из фанеры.
А покосившийся трактир —
Опора твердой веры.
Пушкой песками всех Сахар
Сотрется бакалея,
А вместе с ней и дьявол-змея
Исчезнет, околея.

Капитан Дэлрой сильно опьянел от морского зелья, и восхищение его было не только шумным, но и бурным. Он вскочил и поднял склянку.

— Ты будешь поэтом-лауреатом, Хэмп! — вскричал о н . — Ты прав, ты прав! Больше терпеть нельзя.

Он бешено побежал по песчаному склону и указал шестом в сторону темнеющего берега, где стояло одинокое низкое здание, крытое рифленным железом.

— Вот твой храм! — крикнул о н . — Давай подожжем его.

До курорта было довольно далеко, сумерки и глыбы земли скрывали его от взора, которому открывались только низкое здание на берегу и три недостроенных кирпичных виллы.

Дэлрой глядел на эти дома с немалой и явной злобой.

— Посмотри! — сказал о н . — Истинный Вавилон.

И, потрясая вывеской, как знаменем, пошел туда, изрыгая проклятия.

— Через сорок дней, — кричал о н , — падет Пэбблсвик! Псы будут лизать кровь Дж. Ливсона, секретаря, а единороги...

— Стой, Пат! — кричал Хэмпфри . — Ты слишком много выпил.

— Львы будут выть на холмах! — голосил капитан.

— Не львы, а ослы, — сказал Пэмп . — Что ж, пускай и другой осел идет.

Он отвязал ослика, навьючил и повел по дороге.

Глава 7

ОБЩЕСТВО ПРОСТЫХ ДУШ

На закате, когда небо стало и мягче, и мрачнее, а свинцовое море окрасил лиловый траур, столь подходящий для трагедии, леди Джоан Брет снова печально брела по берегу. Недавно шел дождь, сезон почти кончился, на берегу почти никого не было, но она привыкла беспокойно бродить, ибо прогулки эти, наверное, утишали неосознанный голод ее сложной души. Несмотря на тоску ее телесные чувства были всегда настороже, и она ощущала запах моря даже тогда, когда оно едва виднелось на горизонте.

И теперь, сквозь шепот ветра и волн, она ощутила за собой шуршание женской юбки. Она поняла, что дама эта обычно движется медленно и важно, а сейчас спешит.

Леди Джоан обернулась, чтобы взглянуть, кто же ее догоняет, слегка подняла брови и протянула руку. Одиночество ее нарушила леди Энид Уимпол, кузина лорда Айвивуда, высокая, гибкая дама, уравновесившая свое природное изящество безрадостным и причудливым нарядом. Волосы у нее были почти бесцветные, но пышные; в красивом и строгом лице можно было усмотреть не только пренебрежительную усталость, но и тонкость, и скромность, и даже трогательность, однако бледно-голубые глаза, немного навывкате, сверкали тем холодным оживлением, которое отличает взор женщин, задающих вопросы на публичных собраниях.

Джоан Брет, как сама она писала, приходилась родственницей Айвивудам, но леди Энид была двоюродной сестрой лорда, близкой, как родная сестра. Она обитала вместе с ним, она вела дом, ибо мать его достигла неправдоподобного возраста и жила лишь потому, что общество привыкло видеть в свете это бессловесное создание. Лорд Айвивуд был не из тех, кто требует хлопот от старой дамы, выполняющей свой светский долг. Не требовала их и леди Энид, чье лицо носило отпечаток того же нечеловеческого, отрешенного здравомыслия, что и лицо ее кузена.

— Я так рада, что тебя поймала! — сказала она. — Леди Айвивуд просто мечтает, чтобы ты у нас погостила, пока Филип здесь. Он всегда восхищался твоим сонетом о Кипре и хочет поговорить об отношениях с Турцией. Конечно, он страшно занят, но я увижу его сегодня после заседания.

— Все видят его только до или после заседания, — с улыбкой сказала леди Джоан.

— Ты простая душа? — самым обычным тоном спросила леди Энид.

— Простая? — переспросила Джоан, хмурия темные брови. — Господи, конечно нет! Что ты такое говоришь?

— Они собираются сегодня в Малом Всемирном зале, и Филип у них председателем, — объяснила леди Энид. — Он очень жалеет, что ему придется уехать в парламент, но вместо него останется Ливсон. Будет выступать Мисисра Аммон.

— Миссис?.. — переспросила Джоан. — Прости, я не расслышала.

— Ты вечно шутишь, — невесело, но любезно сказала леди Энид. — О нем все говорят, и ты это прекрасно знаешь. Без него не было бы Простых душ.

— Ах, вон что!.. — сказала Джоан Брет. Потом помолчала и добавила: — А кто такие эти души? Хотела бы я на них посмотреть...

И повернула печальное лицо к печальному, лиловому морю.

— Как? — спросила Энид У и м п о л. — Ты никогда их не встречала?

— Нет,— сказала Джоан, глядя на темный горизонт. — За всю мою жизнь я знала только одну простую душу.

— Ты непременно должна пойти к ним! — вскричала леди Энид в сверкающе-холодном восторге. — Идем сейчас же! Филип скажет дивную речь, а Мисисра Аммон всегда почителен.

Не понимая толком, куда и зачем она идет, Джоан послушно побрела в низкое, крытое железом здание, откуда гулко раздавался знакомый ей голос. Когда она вошла, лорд Айвивуд стоял; на нем был безукоризненный фрак, но сзади, на спинке стула, висело легкое пальто. А рядом, не в таком изящном, но очень нарядном костюме, сидел старичок, которого она слышала на берегу.

Больше на трибуне никого не было; но под нею, к своему удивлению, Джоан увидела мисс Браунинг все в том же черном платье. Она прилежно стенографировала речь лорда Айвивуда. Еще удивительнее было то, что неподалеку сидела миссис Макинтош и стенографировала эту же самую речь.

— Вот Мисисра А м м о н, — серьезно прошептала леди Энид, указывая тонким пальчиком на маленького старичка, сидевшего рядом с председателем.

— А где его зонтик? — спросила Дж о а н. — Без зонтика он никуда не годится.

— ...мы видим наконец,— говорил лорд Айвивуд, — что невозможное стало возможным. Восток и Запад едины. Восток уже не Восток, и Запад — не Запад; перешеек прорван; Атлантический и Тихий океан слились воедино. Несомненно, никто не способствовал этому больше, чем блистательный и могучий мыслитель, которого вы будете слушать; и я глубоко сожалею, что более практические, но никак не более важные дела мешают мне насладиться его красноречием. Мистер Ливсон любезно согласился занять мое место; и я могу лишь выразить глубокое сочувствие целям и идеалам, о которых вы сегодня услышите. Я издавна все больше убеждался в том, что под личиной некоторой суровости, которую мусульмане носили много столетий, как носили когда-то иудеи, ислам по сути своей прогрессивней всех религий; и через век-другой может оказаться, что мир, науку и социальные реформы поддерживает именно он. Неслучайно символ его — полумесяц, способный увеличиваться. В то время как другие религии избрали себе эмблемой вещи более или менее неизменные, для этой великой веры, исполненной надежды, само несовершенство — предмет гордости. И люди бесстрашно пойдут по новым, дивным путям за изогнутою полоскою, вечно обещающей полную луну.

Лорд Айвивуд очень спешил; но когда грянули аплодисменты, он опустил в кресло. Он всегда так делал. Когда тебе

аплодируют, надо сидеть спокойно и скромно. Однако едва затих последний хлопок, он легко вскочил на ноги, перекинув через руку легкое пальто, попрощался с лектором, поклонился аудитории и быстро выскользнул из залы. Мистер Ливсон, смуглый молодой человек в постоянно спадающих двойных очках, довольно робко вышел вперед, занял председательское место и кратко представил известного турецкого мистика, Мисисру Аммона, часто называемого Пророком Луны.

Леди Джоан заметила, что в хорошем обществе пророк стал говорить лучше, хотя, произнося «у», все так же блеял, а замечания его отличались таким же диким простодушием, как проповедь об английских кабаках. По-видимому, темой его была высшая полигамия; но начал он с защиты мусульманской цивилизации, опровергая обвинения в том, что она ничего не дает обычной жизни.

— Именно ту-у-ут,— говорил он , — да, именно ту-у-ут наши обычаи много лу-у-учше ваших. Мои предки изобрели саблю и ятаган, потому что кривое оружие режет лучше прямого. Ваши предки бились прямыми мечами из романтических убеждений, что надо быть, как вы выражаетесь, прямым. Приведу вам пример попроще, из собственной жизни. Когда я впервые имел честь пойти к лорду Айвивуду, я не знал ваших церемоний, и в отеле «Кларидж», где остановился мой хозяин, меня поджидала небольшая, совсем небольшая тру-у-удность. На пороге стоял швейцар. Я присел и стал разуваться. Он спросил меня, что я делаю. И я сказал: «Дру-уг мой, я снимаю обувь».

Леди Джоан Брет тихо фыркнула, но лектор этого не заметил и продолжал с прекрасной простотой:

— Я сказал ему, что у меня на родине, выражая почтение к месту, снимают не шляпу, а башмаки. Из-за того что я так и сделал, он решил, что Аллах поразил меня безумием. Не правда ли, смешно?

— Очень , — прошептала в платок леди Джоан, трясась от смеха. По серьезным лицам двух-трех душ поумнее скользнула улыбка; но остальные души, совсем простые и беспомощные, с обвислыми волосами и в тускло-зеленых платьях, похожих на портьеры, сохраняли обычную сухость.

— Я объяснил ему, я долго объяснял ему, я со всем старанием объяснял, что гораздо правильней, удобней, полезней снимать башмаки, а не шляпу. «Подумайте,— сказал я, — подумайте, как много вреда приносит башмак, как мало — шляпа. Вы жалуетесь, если гость наследит в гостиной. Но причинит ли гостиной вред грязная шляпа? Многие мужья бьют жену башмаком. Но кто бьет жену головным убором?»

Сияя серьезностью, он оглядел слушателей, и леди Джоан онемела от сочувствия, как прежде онемела от смеха. Всем, что было здравого в ее слишком сложной душе, она ощущала истинную убежденность.

— Человек у порога не внял м н е , — пылко продолжал Миссра А м м о н . — Он сказал, что, если я буду стоять с башмаками в руках, соберутся люди. Не понимаю, почему в вашей стране вы высылаете вперед отроков. Они и впрямь шумели.

Джоан Брет внезапно встала, обуреваемая интересом к душам, сидевшим за нею. Она поняла, что, если еще раз посмотрит на серьезное лицо с еврейским носом и персидской бородой, она опозорит себя или, что ничуть не лучше, при всех обидит лектора (леди Джоан принадлежала к числу милосердных аристократов). Ей казалось, что вид всех душ вместе ее успокоит. Он успокоил ее; и так сильно, что покой можно было принять за тоску. Леди Джоан опустила на стул и овладела собой.

— Почему, — вопрошал восточный фило с о ф , — рассказываю я вам такую простую, будничную историю? Небольшая ошибка никому не повредила. В конце концов явился лорд Айвивуд. Он не пытался изложить истину слуге мистера Клариджа, хотя слуга этот стоял на пороге. Он приказал слуге поднять мой башмак, упавший на тротуар, пока я объяснял безвредность шляпы. Итак, для меня все обошлось благополучно. Так почему же я рассказывал вам об этом происшествии?

Он распростер руки, словно открыл восточный веер. Потом так внезапно хлопнул в ладоши, что Джоан подскочила и оглянулась, не входят ли пятьсот негров, несущих драгоценности. Однако то был ораторский прием.

— Потому-у-у, друзья м о и , — продолжал он, и акцент его стал сильнее, — что это лучший пример того, как нелепы и неверны ваши мнения о наших бытовых обычаях, особенно же — об отношении к женщинам. Я взываю к любой даме, к любой европейской даме. Неужели башмак опасней шляпы? Башмак прыгает, башмак скачет, он бежит, он все ломает, он пачкает ковер садовой землей. А шляпа висит на вешалке. Посмотрите, как она висит, как она спокойна и добра! Почему же ей не быть спокойной и на голове?

Леди Джоан хлопнула вместе с другими; и ободренный мудрец продолжал:

— Неужели вы не поверите, мои прекрасные слушательницы, что великая религия поймет вас во многом, как поняла, когда речь идет о башмаках? В чем обвиняют многоженство наши враги? В том, что оно выражает презрение к женщине. Но как это может быть, друзья мои, если женщин в мусульманском семействе гораздо больше, чем мужчин? Если в вашем парламенте на сто англичан один представитель Уэллса, вы же не скажете, что он — глава, угнетатель и султан. Если в вашем суде одиннадцать больших, толстых дам и один тщедушный мужчина, вы не скажете, что это нечестно по отношению к женщинам-присяжным. Почему же вас пугает великий эксперимент, который сам лорд Айвиву-у-уд...

Темные глаза леди Джоан глядели на морщинистое, терпеливое лицо лектора; но слов она больше не слышала. Она

побледнела, насколько это позволял испанский цвет ее лица, ибо необычные чувства охватили ее душу. Но она не шевельнулась.

Дверь была открыта настежь, и в зал иногда врывались случайные звуки. По набережной, должно быть, шли два человека; один из них пел. Рабочие часто поют, возвращаясь с работы, а голос, хотя и громкий, звучал так далеко, что Джоан не слышала слов. Но она их знала. Она видела круглые, неуверенные буквы. Да, слова она знала; знала и голос.

Ношу я сердце как цветок таинственный в петлице **,
Что в замке Патриков расцвел, в их родовой теплице;
Он, словно яркий орден, к моей груди приколот,
Ему с рожденья не страшны ни засуха, ни холод;
Но мигом сердца лепестки от страсти облетели
У леди ветреной в руках, в канун Страстной недели.

Внезапно, с острой болью вспомнила она вереск и глубокую песчаную яму, слепящую на солнце. Ни слов, ни имени; только эту яму.

У ливерпульца, у того ушло сердечко в пятки **,
Он, аки в ад, на зовы труб плетется без оглядки;
Там трубы курят так, что он с куренья занеможет,
Там пляшут так маховики, как он сплясать не может.
А лепестки у моего мгновенно облетели
У леди ветреной в руках, в канун Страстной недели.

У тех, что в Белфасте живут, сердца судачить притки,
Они орало возомнят орудием для пытки,
И все орут, что их дуга казнили торквемады,
Но мы ведь жжем лишь сорняки, нам ихних ведьм не надо.
А лепестки у моего мгновенно облетели
У леди ветреной в руках, в канун Страстной недели.

Голос внезапно умолк; но последние строчки были настолько разборчивей, что певец, несомненно, подошел значительно ближе и не уходил.

Лишь после этого, как сквозь облако, леди Джоан услышала, что неукротимый мудрец заканчивает свою лекцию.

— ...и если вы не препятствуете солнцу снова и снова восходить на Востоке, вы не будете возражать против великого эксперимента, снова и снова приходящего к вам. Высшее многоженство возвращается с Востока, словно солнце, и только в полуденной славе солнце стоит высоко.

Она едва заметила, что мистер Ливсон, молодой человек в двойных очках, поблагодарил лектора и предложил душам задавать вопросы. Они стали отнекиваться, выражая свою простоту и в неловкости, и в светской сдержанности, пока наконец вопрос не прозвучал. И Джоан поняла не сразу, что он не совсем обычен.

Глава 8
VOX POPULI — VOX DEI¹

— Я уверен, — сказал мистер Ливсон, секретарь, с несколько принужденной улыбкой, — что теперь, когда мы выслушали прекрасную, эпохальную речь, кто-нибудь задаст вопросы, а позже, как я надеюсь, мы откроем диспут.

Он пристально посмотрел на джентльмена, устало сидевшего в четвертом ряду, и сказал:

— Мистер Хинч?

Мистер Хинч покачал головой, пылко, хотя и с робостью, выражая удивление, и сказал:

— Я не могу! Право, я не могу!

— Мы будем очень рады, — сказал мистер Ливсон, — если вопрос задаст кто-нибудь из дам.

Наступило молчание. Все почему-то решили, что вопрос задаст большая, толстая дама (как сказал бы лектор), сидевшая с краю, во втором ряду. Но ждали они зря; к всеобщему разочарованию она застыла, как восковая фигура.

— Может быть, есть еще вопросы? — сказал мистер Ливсон, словно они уже были. Кажется, в голосе его звучало облегчение.

И тут в конце зала, посередине, что-то зашумело. Послышался ясный шепот:

— Валяй, Джордж! Ну, что ж ты, Джордж! Есть вопросы? А то как же!

Мистер Ливсон взглянул на говоривших с живостью, если не с испугом. Он только сейчас заметил, что несколько простых людей в грязной, грубой одежде вошли в открытую дверь. Это были не крестьяне, а полукрестьяне, то есть — рабочие, которые всегда бродят вокруг больших курортов. Ни один из них не мог бы зваться «мистером».

Мистер Ливсон понял положение и принял его. Он всегда подражал лорду Айвивуду и делал то, что сделал бы тот, но с робостью, отнюдь не свойственной его патрону. Одни и те же сословные чувства вынуждали его и стыдиться низкого общества, и стыдиться своего стыда. Один и тот же дух времени вынуждал его гнушаться лохмотьями и это скрывать.

— Мы будем очень рады, — нервно произнес он, — если кто-нибудь из наших новых друзей присоединится к диспуту. Конечно, мы все демократы, — прибавил он, глядя на дам и мрачно улыбаясь. — Мы верим в глас народа и тому подобное. Если наш друг в конце зала задаст свой вопрос кратко, мы не станем настаивать на том, чтобы его внесли в протокол.

Новые друзья снова принялись хрипло подбадривать Джорджа, не зря носившего имя Змиеборца, и он стал пробираться

¹ Глас народа — глас Божий (*лат.*).

вперед. Сесть он не пожелал и реплики свои подавал из середины центрального прохода.

— Я хочу спросить хозяина... — начал он.

— Если вопрос касается повестки д н я , — прервал его мистер Ливсон, не упустив той возможности помешать спору, ради которой и существует председатель, — обращайтесь ко мне. Если вопрос касается лекции, обращайтесь к оратору.

— Хорошо, спрощу оратора, — сказал покладистый Джордж. — Что это у вас, снаружи есть, а внутри ничего нету? (Глухой одобрительный ропот в конце зала.)

Мистер Ливсон растерялся и почувал недоброе. Но пыл Пророка Луны ждал любого случая, и смёл его колебания.

— В этом су-у-уть нашей вести! — закричал он и распростер руки, дабы обнять весь м и р . — Внешнее соответствует внутреннему. Именно поэтому, друзья мои, считают, что у нас нет символов. Да, мы не жалуем их, ибо хотим символа полного. Мой новый друг обойдет все мечети, восклицая: «Где статуя Аллаха?!» Но может ли мой новый друг создать его истинное изображение?

Мисисра Аммон опустилс я в кресло, очень довольный своим ответом; но мы не станем утверждать, что новый его друг был доволен. Этот искатель истины вытер рот рукавом и начал снова:

— Вы не обижайтесь, сэр. Только по закону, если оно стоит перед домом, все в порядке, да? Думал, приличное место, а это черт знает что... (хриплый смех в конце зала).

— Не извиняйтесь, мой друг, — пылко закричал мудрец. — Я вижу, вы не совсем знакомы с таким изложением мысли. Для нас закон — все! Закон — это Аллах. Вну-у-утреннее единение...

— Вот я и говорю, это по закону, — настаивал Джордж, и всякий раз, когда он говорил «закон», привычные жертвы закона радостно его поддерживали. — Я сам шума не люблю. Никогда не любил. Я закон почитаю, да. (Радостный ропот.) По закону, если у вас тут вывеска, вы должны нас обслужить.

— Я не совсем понимаю! — вскричал пылкий т у р о к . — Что я должен сделать?

— Обслужить нас! — заорал хор в конце зала. Теперь там было гораздо больше народу.

— Обслужить! — возопил Мисисра, вскакивая, словно его подкинула пр у ж и н а . — Пророк сошел с небес, чтобы служить вам! Тысячу лет добро и доблесть служат вам! Из всех вер на свете мы — вера служения. Наш высший пророк — лишь служитель Бога, как и я, как и вы! Даже знак наш — луна, ибо она служит земле и не тянется стать Солнцем!

— Я уверен, — воскликнул мистер Ливсон, тактично улыбаясь, — что лектор с достаточной полнотой ответил на все вопросы. Многих дам, прибывших издалека, ждут автомобили, и, я полагаю, повестка дня...

Изысканные дамы схватили свои накидки, являя гамму чувств от удивления до ужаса. Одна леди Джоан медлила, дрожа от непонятого волнения. Бессловесный дотоле Хинч проскользнул к председателю и прошептал:

— Уведите дам. Не знаю, что будет, но что-то недоброе.

— Ну, — повторил терпеливый Джордж. — Если все по закону, что ж вы тянете?

— Леди и джентльмены, — произнес мистер Ливсон как можно приятнее. — Мы провели прекраснейший вечер...

— Еще чего! — крикнул новый, сердитый голос из угла. — Давай, гони!

— Да, вот и я скажу, — поддержал законопослушный Джордж, — давайте-ка!

— Что вам давать? — крикнул почти обезумевший Ливсон. — Чего вы хотите?

Законопослушный Джордж обернулся к тому, кто кричал из угла, и спросил:

— Чего ты хочешь, Джим?

— Виски, — отвечал тот.

Леди Энид Уимпол, задержавшаяся позже всех дам из верности Джоан, схватила ее за обе руки и громко зашептала:

— Идем, дорогая! Они бранятся дурными словами.

На мокрой кайме пляжа прилив медленно смывал следы двух колес и четырех копыт, и потому человек, Хэмфри Пэмп, шел рядом с тележкой по щиколотку в воде.

— Надеюсь, ты уже протрезвел, — довольно серьезно сказал он своему высокому спутнику, который брел и тяжело, и смиренно, причем его прямая шпага качалась у него на боку. — По чести, очень глупо ставить вывеску перед этим залом. Я редко говорю с тобой так, капитан, но навряд ли кто другой вызволил бы тебя из беды. Зачем же ты пугал бедных дам? Ты слышал, как они кричали, когда мы уходили оттуда?

— Я слышал задолго до того гораздо худшее, — ответил высокий человек, не поднимая головы. — Одна из них смеялась... Господи, неужели ты думаешь, что я не расслышал ее смеха?

Они помолчали.

— Я не хотел тебя обидеть, — сказал Хэмфри Пэмп с той несокрушимой добротой, которая была в нем особенно английской и может еще спасти Англию, — но это правда, я и сам не знал, как нам выкарабкаться. Понимаешь, ты храбрее меня, и мне пришлось бояться за нас обоих. Я бы и сейчас боялся, если бы не помнил дороги к туннелю.

— К чему? — спросил капитан, впервые поднимая рыжую голову.

— Ах, да ты и сам помнишь заброшенный туннель старого Айвивуда! — беззаботно сказал Пэмп. — Все мы искали его в детстве. А я его нашел.

— Пожалей изгнанника, — смиренно сказал Дэлрой. — Не знаю, что больше — то, о чем помнишь, или то, о чем забываешь.

Пэмп немного помолчал, потом сказал серьезней, чем обычно:

— В Лондоне считают, что нужно ставить памятники и писать эпитафии тем, кто что-нибудь выдумал и сделал. Но если знаешь свой край на сорок миль вокруг, знаешь и то, сколько народу, и совсем неглупого, выдумали что-нибудь, а сделать не смогли. В Хилл-ин-Хагби жил доктор Бун. Он боролся против прививок оспы, которые делал доктор Коллисон. Его лечение спасло шестьдесят больных, а доктор Коллисон прикончил девяносто двух здоровых. Но доктору Буну пришлось скрыть свое изобретение, потому что у женщин, которых он лечил, вырастали усы. Был здесь и настоятель, старый Артур. Он изобрел воздушные шары задолго до всех прочих. Но тогда к этому относились с подозрением — вспоминали охоту на ведьм, как ни отговаривали их священники, — и его заставили написать, что он украл идею. Само собой понятно, не так уже хочется писать, что идея тебе явилась, когда ты пускал мыльные пузыри с деревенским дурачком, а ничего другого он сказать не мог, он был человек честный. Здесь жил Джек Арлингэм, он изобрел водолазный колокол — но это ты и сам помнишь. Так вот, с тем, кто выдумал этот туннель, с одним из безумных Айвивудов, было то же самое. На лондонских площадях, капитан, много памятников тем, кто строил железные дороги. В Вестминстерском аббатстве много имен тех, кто изобретал пароход. Бедный старый лорд изобрел и то, и другое — и его признали безумным. Он думал, что поезд может, попав в море, превратиться в судно и плыть; и вроде бы все сходилось. Но дети так стыдились его, что даже запретили упоминать. Я думаю, никто не знает, где этот туннель, кроме нас с Бэнчи Робинсоном. Минуты через две ты будешь там. Они набросали у входа камней, а вход заглушили деревьями; но я провел через туннель лошадь, чтобы спасти ее от полковника Чэпстоу, и наверное проведу осла. Честно говоря, только там я почувствую себя в безопасности после всего, что мы натворили. Нет лучшего места в мире, чтобы притаиться и начать все заново. Вот и оно. Тебе кажется, что эту скалу не обойти, но ты ошибаешься. Ты ее уже обошел.

Дэлрой с удивлением обнаружил, что он, и впрямь обойдя скалу, идет по темной дыре, а вдалеке слабо мерцает какая-то зелень. Услышав за спиной шаги и цокот копыт, он обернулся, но ничего не увидел, словно в погреб; и снова повернулся к смутному зеленому пятну. Чем дальше он шел, тем больше оно становилось и тем ярче, словно большой изумруд, пока наконец он не увидел маленькую лужайку, окруженную тощими, но такими густыми деревьями, что было ясно: ее хотели скрыть и забыть. Свет, сочащийся сквозь них, был столь слаб и трепетен, что никто не мог бы сказать, солнце встает или луна.

— Я знаю, что вода тут есть,— сказал П э м п . — Они не могли с ней справиться, когда шли работы, и старый Айвивуд ударил водомером инженера-гидравлика. Здесь лес, море близко, и еду мы найдем, если кончится сыр, а ослы едят все. Кстати,— прибавил он в смущении,— ты меня прости, капитан, но надо бы приберечь этот ром для особых случаев. Это лучший ром в Англии, а может— последний, если эта чепуха продлится. Спасибо, что он здесь, и мы можем выпить, когда захотим. Бочонок еще почти полон.

Дэлрой пожал ему руку и серьезно сказал:

— Ты прав, Хэмп. Ром этот нужен человечеству. Мы будем пить его только после великих побед. Сейчас я выпью в знак победы над Ливсоном и его железной скинией.

Он осушил стакан и сел на бочонок, чтобы победить искушение. Его синие бычьи глаза все пристальной вглядывались в зеленый сумрак; и он заговорил нескоро.

Наконец он сказал:

— Кажется, Хэмп, ты упомянул о каком-то друге, по имени Робинсон, который тоже тут бывал.

— Да, он знал дорогу, — сказал Пэм, выводя ослика на лучшую часть лужайки.

— А он сюда не придет? — спросил капитан.

— Наверяд ли,— отвечал П э м п , — разве что в тюрьме заезаю т с я . — И он вкатил сыр под своды туннеля. Дэлрой все сидел на бочонке, подперев рукой тяжелый подбородок и глядя в таинственную чашу.

— Ты о чем-то думаешь, капитан, — сказал Хэмфри.

— Самые глубокие мысли — общие места, — сказал Дэлрой . — Вот почему я верю в демократию, не то что ты, хладнокровный английский тори. А самое общее место гласит: суeta суeta и всяческая суeta. Это не пессимизм, а как раз наоборот. Человек так слаб, что поневоле подумаешь — он должен быть Богом. Я размышляю об этом туннеле. Бедный старый безумец ходил по этой траве и ждал, пока его построят, и душа его пылала надеждой. Он видел, как меняется мир и по морям снуют его судна. А сейчас, — голос Дэлроя сорвался, — сейчас здесь очень тихо, и хорошо пастись ослику.

— Д а , — сказал Пэм, зная, что капитан думает об ином. И Дэлрой задумчиво продолжал:

— Я думаю и о другом, известном Айвивуде, которого тоже посещает видение. Оно величаво, в конце концов, он — умник, но храбрый человек. Он хочет построить туннель между Востоком и Западом и называет это ориентализацией Англии, а я назову разрушением христианского мира. И мне интересно, достаточно ли сильны ясный ум и смелая воля безумца, чтобы прорыть этот туннель, или у вас в Англии еще хватит жизни, чтобы он тоже зарос английским лесом и был размыт английским морем.

Снова наступила тишина, и снова ее нарушал только хруст колючек. Как заметил Дэлрой, тут было тихо.

Но не было тихо в Пэбблсвике, когда прочитали протокол, и все, кто видел вывеску, схватились с теми, кто ее не видел; а наутро дети и ученые, собиравшие ракушки, нашли среди прочего куски секретарского фрака и обломки рифленого железа.

Глава 9

БИБЛЕЙСКАЯ КРИТИКА И МИСТЕР ГИББС

Пэбблсвик чрезвычайно гордился тем, что у него была собственная вечерняя газета, называемая «Пэбблсвикский мир». Величайшей гордостью ее издателя было то, что он опубликовал известие об исчезновении кабацкой вывески почти одновременно с самим исчезновением. Тех, кто рекламировал это сообщение, неплохо спасали от побоев и спереди, и сзади огромные щиты с надписью:

ПРИЗРАЧНЫЙ КАБАК современная сказка *специальный выпуск*

А газета твердо и довольно верно передала то, что случилось или привиделось изумленному Джорджу и его друзьям.

«Джордж Берн, плотник из нашего города, и Сэмюел Грайпс, ломовой извозчик, находящийся на службе у пивоваров Джей и Габбинс, вместе с другими хорошо известными здешними жителями проходили мимо недавно построенного здания, обычно называемого Малым Всемирным залом. Увидев у дверей одну из старых кабацких вывесок, столь редких в последнее время, они резонно вывели отсюда, что здесь имеют право торговать горячительными напитками, которое утеряли многие заведения округа. Однако те, кто сидел внутри, ни о чем подобном не слышали; и когда новоприбывшие (после прискорбных сцен, никому не стоивших жизни) снова вышли на берег, они увидели, что вывеска уничтожена или украдена. Все были совершенно трезвы и не имели возможности избавиться от этого состояния. Тайну расследуют».

Этот сравнительно реалистический отчет, местный и непосредственный, был в немалой мере обязан случайной честности издателя. Вообще вечерние газеты честнее утренних, потому что сотрудникам мало платят, работы у них много, а у более осторожных людей нет времени их редактировать. Когда на следующий день вышли утренние газеты, рассказ об исчезнувшей вывеске заметно преобразился. В ежедневной газете, которая была весомей и влиятельней прочих в этой части света, спорное происшествие доверили человеку, известному под странным для

нежурналистского уха именем Гиббс Какбытонибыло. Прозвище это он получил из-за необычайной осторожности, вынуждавшей его вставлять множество словечек и оговорок вроде «но», «однако» или «хотя». Чем больше ему платили (издатели ценят такой стиль) и чем меньше становилось у него друзей (ибо даже самым добрым людям как-то неприятен успех, в котором нет манящего сияния славы), тем больше ценил он свои дипломатические способности, считая, что скажет именно то, что нужно. Однако и его наказала судьба: в конце концов он стал таким дипломатичным, что понять нельзя было ничего. Люди, знавшие его, охотно верили, что он скажет то, что нужно; то, что уместно; то, что спасет положение, — но никак не могли выяснить, что же он сказал. В начале он как нельзя лучше использовал один из гнуснейших приемов нынешней газетной речи — опускал все важное и существенное, словно оно подождет, и писал о самом неважном. Так, он говорил: «Что бы мы ни думали об опытах над детьми из бедных семейств, все мы согласны, что поручать их можно только хорошим врачам». В следующей, худшей фазе он стал вообще выбрасывать все мало-мальски связанное с темой и говорить о другом, повинуюсь осторожным путям своих ассоциаций. Поздняя манера, как мы сказали бы о художнике, выглядела так: «Что бы мы ни думали об опытах над детьми из бедных семейств, всякий прогрессивный человек согласится с тем, что влияние Ватикана падает». Прозвище свое он получил в честь абзаца, который, по слухам, написал, когда американского президента ранил пулей какой-то сумасшедший из Нового Орлеана: «Президент хорошо провел ночь, и состояние его улучшилось. Как бы то ни было, покушавшийся на убийство — не из немцев». Читатели смотрели на эти строки до тех пор, пока им не хотелось самим сойти с ума и в кого-нибудь выстрелить.

Гиббс Какбытонибыло был тощий, высокий человек с прямыми светлыми волосами, с виду — мягкий и смиренный, а на самом деле надменный. В Кембридже он дружил с Ливсоном, и оба они гордились умеренностью своих политических взглядов. Но если тот, кто только что твердил о законе, надвинет вам шляпу на глаза и вам придется бежать, оставив в его руках фалды, а следом будут лететь неровные куски рифленого железа, вы обнаружите в своей душе не только умеренность. Гиббс уже написал передовую о пэблсвикском происшествии, передававшую правду настолько, насколько он мог ее передать. Побуждения его были, как всегда, сложны. Он знал, что миллионер, владевший газетой, балуется спиритизмом и ему может понравиться сверхъестественная история. Он знал, что по меньшей мере два лавочника, удостоверивших инцидент, принадлежат к его партии. Он знал, что надо осторожно задеть лорда Айвивуда, ибо тот принадлежит к другой партии; что же могло быть лучше, чем поддержать хотя бы на время историю, пришедшую извне, а не выдуманную в редакции? Руководствуясь этими соображени-

ями, Гиббс написал сравнительно связную статью, когда в нему ворвался Ливсон в лопнувшем воротничке и разбитых очках. Частный, долгий разговор несколько изменил план статьи. Конечно, заново Гиббс писать не стал — в отличие от Бога, он был не из тех, кто творит все новое. Он просто изрезал и исчиркал написанное, соорудив тем самым удивительнейшее из своих творений, которое по сию пору высоко ценят изысканные люди, собирающие образцы дурной словесности.

Начиналась статья с довольно знакомой формулы: «Каких бы взглядов, прогрессивных или консервативных, ни придерживались мы на проблему нравственности или безнравственности кабацкой вывески, все мы согласны, что инцидент, разыгравшийся в Пэбблсвике, был весьма прискорбен для многих, хотя и не для всех участников». После этих слов такт превращался в бессмыслицу. То была дивная статья. Читатель мог узнать из нее, что думает мистер Гиббс обо всем на свете, кроме предмета обсуждения. Первая часть следующей фразы ясно сообщала, что он (если бы ему удалось побывать там) никогда не принял бы деятельного участия ни в Варфоломеевской ночи, ни в Сентябрьских убийствах. Вторая часть с не меньшей ясностью оповещала, что, поскольку события эти уже произошли и предотвратить их нет ни малейшей возможности, автор испытывает дружеские чувства к французской нации. Такие чувства, естественно, лучше и выразить по-французски, для чего пригодилось слово «Entante»¹, которому лакеи так успешно учат туристов. Первая половина следующей фразы указывала на то, что мистер Гиббс читал Мильтона, во всяком случае — строки о сынах Велиара; вторая — на то, что он не разбирается в винах, особенно в хороших. Следующая фраза начиналась с упадка Римской империи, кончалась д-ром Клиффордом. Потом шла неубедительная защита евгеники и пылкие выпады против воинской повинности, почему-то с ней несовместимой. На этом статья кончалась; а называлась она «Беспорядки в Пэбблсвике».

Но мы понапрасну обидим мистера Гиббса, если скроем, что на его бессвязное творение откликнулось немало народу. Быть может, людей, пишущих в газету, не так уж много; но, в отличие от судей, финансистов, членов парламента или ученых, они представляют все местности, классы, возрасты, секты и стадии безумия. Небезынтересно порыться в старых кипах бумаги и почитать письма, следовавшие за упомянутой статьей.

Милая старая дама из глухой провинции предполагала, что во время собрания в Пэбблсвике потерпел крушение корабль. «Мистер Ливсон мог его не заметить и принять в сумерках за вывеску, тем более если он близорук. Мое зрение тоже портится, но я усердно читаю вашу газету». Если бы дипломатичность оставила в душе Гиббса хотя бы один живой кусочек,

¹ Согласие (*фр.*).

он рассмеялся бы, или расплакался, или напился, или ушел в монастырь. Но он измерил письмо карандашом и решил, что оно как раз уместится в колонку.

Другое письмо было от теоретика самого худшего сорта. Теоретик, создающий по каждому случаю новые теории, сравнительно безопасен. Но тот, кто начинает с ложной гипотезы и потом подгоняет под нее все, — истинная чума для человеческого разума. Письмо начиналось решительно, как выстрел: «Вопрос прекрасно освещен в Книге Исход, IV, 3. Прилагаю несколько брошюр, в которых я это доказал и на которые не посмел ответить никто из так называемых епископов и священников Свободной Церкви. Связь между шестом и змеей ясно указана Писанием, но неизвестна почему-то блудницам от религии. Моисей свидетельствует о том, что жезл (иначе — шест) превратился в змею. Все мы знаем, что человек в сильном опьянении часто видит змей; и потому эти несчастные люди могли видеть шест». Письмо занимало девять мелко исписанных страниц, и на сей раз мы поймем мистера Гиббса, который счел его длинноватым.

Писал и ученый, предположивший, что инцидент связан с акустикой зала. Лично он никогда не доверял рифленому железу. (Редактор выбрал наименее вразумительные места и отправил в типографию.)

Писал и шутник, считавший, что здесь ничего удивительного нет. Он сам нередко видел вывеску, входя в кабак, и не видел ее, выходя. Это письмо (единственное, где были хотя бы следы словесности) мистер Гиббс сурово выбросил в корзину.

Затем шло послание образованного человека, осведомлявшегося, читал ли кто-нибудь рассказ Уэллса об искривлении пространства. По-видимому, ему казалось, что этого не читал никто, кроме него и, быть может, Уэллса. Рассказ говорил нам, что ноги наши иногда находятся в одном месте, взор — в другом. Автор письма высоко оценивал эту гипотезу, но Гиббс оценил ее низко.

Писал, конечно, и человек, считавший все заговором иностранцев. Поскольку обрушивался он на грубость итальянских мороженщиков, письму не хватило основательности.

Наконец, в дело вмешались люди, которые надеются решить то, чего не понимают, что-нибудь запретив. Мы все их знаем. Если парикмахер перережет горло клиенту, потому что невеста танцевала с другим или пошла на ослиные гонки, многие восстанут против замешанных в дело институций. Надо было, скажут они, запретить парикмахеров, или бритье, или девиц, или танцы, или ослов. Но я боюсь, что ослов не запретят никогда.

В дискуссии их участвовало немало. Некоторые выступили против демократии, ибо Джордж — плотник; некоторые — против иммиграции, ибо Мисисра — турок; некоторые считали, что женщин нельзя пускать на лекции; некоторые требовали запретить развлечения; некоторые прямо нападали на празднества.

Пытались запретить и берег, и море. Каждый полагал, что, если убрать твердой рукой камни, или водоросли, или кабинки, или плохую погоду, ничего бы не случилось. Слабое место у них было одно: они толком не знали, что же случилось. Простить их можно. Этого не знал никто, и не знает по сей день, иначе нам не пришлось бы писать нашу повесть. Цель у нас одна — поведать миру чистую, скучную истину.

Осторожная хитрость, единственное явное свойство мистера Гиббса, одержала победу, ибо все еженедельные газеты следовали ему — умнее ли, глупее, но следовали. Все понимали, что найдется какое-то несложное, скептическое объяснение, и инцидент можно будет забыть.

Проблему вывески и нравственной (или безнравственной) часовни, крытой рифленным железом, обсуждали во всех серьезных, особенно — религиозных еженедельниках, хотя низкая церковь уделяла больше внимания вывеске, высокая — часовне. Все соглашались в том, что сочетание их странно, скорее всего — немыслимо. Верили в него одни лишь спириты, но объяснениям их не хватало той ощутимой весомости, которая удовлетворила бы Джорджа.

Лишь через некоторое время философские круги завершили спор. Сделал это профессор Уидж в своей прославленной «Истории толкования т. н. чудесного улова», которая произвела столь сильное воздействие на умы, когда отрывки из нее появились в ученом журнале. Всякий помнит основную мысль профессора Уиджа, требующего, чтобы библейская критика применила к чудесам на Тивериадском озере тот же метод, который доктор Бэнк применил к чуду в Кане Галилейской. «Такие авторитеты, как Пинк и Тошер, — говорит профессор, — убедительно доказали, что т. н. превращение воды в вино совершенно несовместимо с психологией распорядителя пира, вообще — с иудейско-арамейским мышлением тех времен, не говоря уже о том, что оно ни в малой мере не вяжется с образом данного учителя этики. Доктор Хашер считает весь эпизод позднейшей интерполяцией, тогда как другие авторитеты — такие, как Миннс — предполагают, что в воду подлили безалкогольный напиток. Совершенно ясно, что, применив этот принцип к т. н. чудесному улову, мы должны предположить вместе с Джилпом, что в озеро были выпущены искусственные рыбы (см. преп. И. Уайз, «Христианское вегетарианство как мировая религия»), или, вместе с доктором Хашером, назвать эпизод интерполяцией.

Самые смелые специалисты, в том числе — профессор Поук, считают, что сцену эту следует сопоставить с фразой «Я сделаю вас ловцами человеков». Фраза несомненно иносказательна, ибо даже в явных интерполяциях нет указаний на то, чтобы в сетях апостолов оказывались люди.

Быть может, несколько дерзко, даже грубо прибавлять что-либо к суждению таких авторитетов, но я боюсь, что сама

ученость почтенного профессора (чью девяносто седьмую годовщину с такой пышностью отпраздновали недавно в Чикаго) скрывает от него, как именно происходят подобные ошибки. Попрошу разрешения поведать о недавнем происшествии, известном мне (не из личного опыта, конечно, но из внимательного исследования сообщений) и представляющем забавный пример того, как искаженный текст порождает легенду.

Случилось это в Пэбблсвике, на юге Англии. Местность долго терзали религиозные распри. Великий исповедник веры, Мисисра Аммон, читал там лекции многочисленным слушателям. Лекции его нередко прерывали представители различных сект и атеистических организаций. Нетрудно предположить, что в такой атмосфере кто-то вспомнил о знамении Ионы-пророка.

Ученый, подобный доктору Поуку, с трудом поверит в тот очевидный факт, что темные и простые жители этой местности спутали «знамение» со «знаменем», которое и принялись искать. В их взбудораженном воображении пророк Иона связан с кораблем; тем самым они искали знамя с изображением корабля и пали жертвой массовой галлюцинации. Инцидент этот как нельзя лучше подтверждает предположение Хашера.

Лорд Айвивуд похвалил в печати профессора Уиджа за то, что тот избавляет страну от бремени суеверий. И все же первый толчок, побудивший умы, дал бедный мистер Гиббс.

Глава 10

ПОВАДКИ КВУДЛА

По бесчисленным садам, террасам, беседкам и конюшням Айвивуда бродил пес, которого звали Квудл. Лорд Айвивуд не называл его Квудлом. Лорд Айвивуд не мог бы выговорить такого имени. Лорд Айвивуд не интересовался собаками. Конечно, он интересовался защитой собак, а еще больше интересовался собственным достоинством. Он никогда бы не допустил, чтобы в его доме дурно обращались с собакой, более того — с крысой, более того — с человеком. Но с Квудлом не обращались дурно, с ним просто не общались, и Квудлу это не нравилось, ибо собаки ценят дружбу больше, чем доброту.

Наверное, лорд Айвивуд продал бы его; но посоветовался с экспертами (он всегда советовался с ними, когда чего-нибудь не понимал, а иногда — и когда понимал) и пришел к выводу, что с точки зрения науки пес этот ценности не представляет, так как не отличается чистотой породы. Квудл был бульдьером, но бульдожье начало взяло в нем верх, что понизило его стоимость и усилило хватку. Кроме того Айвивуд смутно понял, что Квудл мог бы стать сторожевой собакой, если бы не имел склонности

преследовать дичь, как пойнтер, а уж совсем постыдна его способность находить добычу в воде. Однако, по всей вероятности, лорд Айвивуд что-то спутал, ибо думал во время беседы о Черном камне, которому поклоняются в Мекке, или о чем-нибудь подобном. Жертва столь странного сочетания достоинств лежала тем временем на солнышке, не являя ни одной из упомянутых черт, кроме незаурядного уродства.

Но леди Джоан Брет любила собак. Вся суть ее и немалая часть беды сводилась к тому, что естественное осталось в ней живым под слоем искусственного. Она ощущала издалека запах боярышника или моря, как чует собака запах обеда. Подобно многим аристократам, она могла принести цинизм к пригородам преисподней; она была такой же неверующей, как лорд Айвивуд, если не больше. При желании она умела выказать холодность и надменность, а великий светский дар усталости был у нее развит сильнее, чем у него. Но несмотря на всю сложность и гордость она отличалась от своего родственника, ибо ее простые чувства были живы, у него — мертвы. Для нее солнечный восход был еще восходом солнца, а не лампой, которую включил вышколенный лакей. Для нее весна была временем года, а не частью светского сезона. Для нее петухи и куры были естественным придатком дома, а не птицами индийского происхождения (как доказал ей по энциклопедии лорд Айвивуд), ввезенными в Европу Александром Македонским. И собака была для нее собакой, а не одним из высших животных или одним из низших животных, или существом, наделенным священной тайной жизни, которому, однако, можно надеть намордник, более того — над которым можно проводить опыты. Она знала, что о собаке заботятся, как заботился о своих псах Абдул Хамид, чью жизнь описывал лорд Айвивуд для серии «Прогрессивные правители». Квудл не вызывал в ней умиления, она не стремилась его приручить. Но, проходя мимо, она погладила его против шерсти и назвала каким-то прозвищем, которое немедленно забыла.

Слуга, приведший в порядок газон, поднял голову — он никогда не видел, чтобы Квудл так себя вел. Пес вскочил, встряхнулся и побежал перед дамой, ведя ее к железной лестнице, по которой она еще не поднималась. Наверное, именно тогда она обратила на него внимание, и он позабавил ее, как позабавил поначалу торжественный турецкий пророк. Замысловатый гибрид сохранил бульдожьи ноги, и ей показалось, что сзади он похож на чванливого майора, направляющегося в клуб.

Поднявшись за собакой по железной лестнице, она попала в анфиладу длинных комнат. Она знала, что крыло дома заброшено и даже заперто, так как напоминает Айвивудам о безумном предке, чей образ не способствует политической карьере. Сейчас ей показалось, что комнаты обновляют. В одной из них стояло ведро с известкой, в другой была стремянка, в третьей — карниз, в четвертой — гардины. Они одиноко висели в обшитой

панелями зале, но поражали пышностью; по оранжево-золотому полю извивались пунцовые лилии, наводившие на мысли о змеях, хотя у них не было ни глаз, ни рта.

В следующей комнате этой бесконечной анфилады на голом полу стояла оттоманка, зеленая с серебром. Леди Джоан села на нее от усталости и из озорства, ибо ей припомнился рассказ, который она считала одним из самых смешных в мире: некая дама, лишь отчасти посвященная в тайны теософии, сиживала на такой тахте и лишь потом узнала, что это — махатма, распростертый в молитвенном экстазе. Она не надеялась, что сядет на махатму, но самая мысль рассмешила ее, очень уж глупо выглядел бы тогда лорд Айвивуд. Нравится он ей или нет, она не знала, но знала твердо, что было бы приятно поставить его в дурацкое положение. Как только она опустила на оттоманку, пес, семенивший за нею, уселся на ее подол.

Через минуту-другую она встала (встал и пес) и пошла дальше по длинной анфиладе комнат, в которых люди, подобные Филипу Айвивуду, забывают, что они — только люди. Чем дальше она шла, тем наряднее все становилось; очевидно, крыло это начали украшать с другого конца. Теперь она видела, что анфиладу завершают комнаты, похожие на дно калейдоскопа, или на гнездо жар-птицы, или на застывший фейерверк. Из этого горнила красок к ней шел Айвивуд, черный фрак и бледное лицо особенно четко выделялись на таком фоне. Губы его шевелились, он говорил сам с собой, как многие ораторы. Ее он, кажется, не видел. Она же едва сдержала полусознанный, бессмысленный крик: «Он слепой!»

В следующий миг он приветствовал ее с учтивым удивлением и светской простотой, приличествующей случаю; и Джоан поняла, почему он показался ей менее зрячим и более бледным, чем обычно. Он нес на пальце, как предки его носили соколов на руке, очень яркую птичку, живостью своей подчеркивавшую его отрешенную неподвижность. Джоан подумала, что не видывала существа с такой прелестной и гордой головкой. Дерзкий взгляд и задорный хохолок словно вызывали на бой пятьдесят петухов. И Джоан не удивилась, что рядом с этим созданием сероватые волосы Филипа и холодное его лицо напоминали о трупе.

— Вы ни за что не угадаете, кто это, — сказал Айвивуд самым сердечным из доступных ему тонов. — Вы слышали о нем сотни раз, но не знали, каков он. Это бьюль-бьюль.

— Да что вы! — воскликнула Дж о а н . — Мне всегда казалось, что бьюль-бьюль вроде соловья.

— Вон что... — сказал Айвивуд. — Но это настоящий бьюль-бьюль, восточный, *Ruspopotus Наемоггус*, а вы имели в виду *Dahlia's a Golzii*.

— Наверное, — отвечала Джоан, едва заметно улыбнувшись. — Прямо наваждение... Все думала и думала про Далиаса

Голсуорси. — Строгость его лица пристыдила ее, и она сказала, погладив птичку пальцем: — Какая славная!

Четвероногому по имени Квудл это не понравилось. Как большинство собак, Квудл любил, чтобы люди молчали, и милостиво терпел их разговор друг с другом. Но мимолетное внимание к существу, ничуть не похожему на бультерьера, оскорбило его лучшие, рыцарские чувства. Он глухо зарычал. Живое сердце подсказало Джоан нагнуться и погладить его. Чтобы отвлечь внимание от Руспопотус Наемоггус, она принялась восхищаться последней комнатой анфилады (они дошли до конца), выложенной цветными и белыми плитками в восточном вкусе. Дальше, чуть выше, располагалась круглая комнатка внутри башенки, из которой были видны окрестности. Джоан, зная дом с детства, сразу увидела, что это — новшество. Слева, в углу последней комнаты, зияла черная дыра, напоминавшая ей о чем-то позабытом.

— Я помню, — сказала она, отвосхищавшись, — что отсюда вела лестница в огород или к старой часовне.

Айвивуд серьезно кивнул.

— Да, — отвечал он. — Лестница эта вела к развалинам старинной часовни. Дело в том, что она вела в места, о которых я не хотел бы вспоминать. Скандал с туннелем вызвал в графстве дурные пересуды. Наверное, ваша матушка вам рассказывала. Хотя там только кусок сада и полоса земли, до моря, я приказал огородить это место, и оно заросло. Анфиладу я кончаю здесь по другой причине. Идите посмотрите.

Он повел ее в башенку, и Джоан, жаждавшая прекрасного, замерла от восторга. Пять легких азиатских окон глядели на бронзу, медь и пурпур осенних парков, на павлиньи перья моря. Она не видела ни дома, ни человека, и ей казалось, что это — не издавна знакомый берег, а новый, невиданный пейзаж.

— Вы пишете сонеты? — спросил Айвивуд с непривычным для него интересом. — Что приходит вам на память, когда вы смотрите в эти окна?

— Я знаю, о чем вы говорите, — сказала Джоан, помолчав. — «Прекрасны грозные моря...»

— Да, — сказал он. — Именно это я чувствовал. «...в краю волшебном фей!»

Они помолчали снова, а пес обнюхал круглую башенку.

— Вот чего я хочу, — сказал Айвивуд тихо и взволнованно. — Здесь край дома, край света. Не ощущаете ли вы, что это — самая суть восточного искусства? Такие цвета — как облака на рассвете, как острова блаженных. Знаете, — и он еще понизил голос, — тут я затерян и одинок, словно восточный путник, которого ищут люди. Когда я вижу, как лимонная эмаль переходит в белую, я чувствую, что я — за тысячи миль от этих мест.

— П р а в ы, — сказала Джоан, с удивлением глядя на него. — И я это почувствовала.

— Это искусство,— продолжал он, как во с н е , — на крыльях зари уносит нас в открытое море. Говорят, в нем нет живых существ, но мы читаем его знаки, словно иероглифы восхода и заката, украшающие край Господних одежд.

— Я никогда не слыхала, чтобы вы так говорили, — сказала дама и снова погладила ярко-лиловые крылышки восточной птицы.

Этого Квудл не вынес. Ему не нравились ни башенка, ни восточное искусство; но, увидев, что Джоан гладит соперника, он побежал в большие комнаты, заметил дыру, которую скоро должны были заделать плитками, выскочил на старую темную лестницу и поскакал по ступенькам.

Лорд Айвивуд учтиво пересадил птичку на палец леди Джоан, подошел к открытому окну и посмотрел вниз.

— Взгляните,— сказал о н . — Не выражает ли все это, то, что чувствуем мы оба? Не сказочный ли это дом, повисший на краю света?

И он показал на карниз, где висела пустая клетка, красиво сплетенная из меди и другого оранжевого металла.

— Это лучше всего! — воскликнула леди Дж о а н . — Как буд-то ты в «Тысяче и одной ночи». Тут башня огромных джиннов, высокая, до луны, и заколдованный принц в золотой клетке, которая висит на звезде.

Что-то произошло в ее туманном, но чутком подсознании, словно вдруг похолодало или оборвалась далекая музыка.

— А где собака? — спросила она.

Айвивуд обратил к ней тусклые серые глаза.

— Разве здесь была собака? — спросил он.

— Д а , — сказала леди Джоан Брет и отдала ему птичку, которую он осторожно посадил в клетку.

* * *

Пес, о котором она спросила, сбежал вниз по винтовой лестнице и увидел дневной свет в незнакомой части сада, где он не бывал никогда и никто давно не бывал. Все здесь заросло, а единственный след человека — руины готической часовни — оплели паучьи сети и облепили грибы. Многие из этих грибов лишь прибавляли бесцветности бурыми и тускло-бронзовыми тонами, но некоторые, особенно со стороны моря, были оранжевыми и пурпурными, как комнаты лорда Айвивуда. Человек, наделенный воображением, разглядел бы аллегория в том, что искалеченные архангелы и святые кормят таких наглых и нестойких паразитов, как эти грибы, окрашенные кровью и золотом. Но Квудл не питал склонности к аллегориям; он просто бежал трусцой в самую глубь серо-зеленых английских джунглей и ворчал, продираясь сквозь чертополох, как житель большого города, проталкивающийся сквозь толпу, но неуклонно шел вперед, вы-

нюхивая землю, словно что-то его привлекало. Он и впрямь унюхал то, что привлекает собак гораздо больше, чем собаки. Преодолев последний ряд лилового чертополоха, он вышел на полукруглую лужайку, на которой росли несколько тощих деревьев, а в глубине, как задник на сцене, темнела кирпичная арка, обрамлявшая вход в туннель. Туннель этот был огорожен неровными, пестрыми досками и походил на домик из пантомимы. Перед ним стоял коренастый оборванный человек в охотничьей куртке; он держал потемневшую сковородку над маленьким пламенем, от которого пахло ромом. На сковородке и на бочонке, служившем столом, лежали серые, бурые и ярко-оранжевые грибы, украшавшие еще недавно ангелов и драконов старой часовни.

— Эй, приятель,— сказал человек в куртке, спокойно глядя на сковородку.— Пришел к нам в гости? Ну, садись.— Он быстро взглянул на собаку и вернулся к сковородке.— Если бы хвост у тебя был на два дюйма короче, ты бы стоял сотню фунтов. Ты завтракал?

Пес подбежал к нему и жадно обнюхал его потрепанные кожаные гетры. Не отрывая от стряпни ни рук, ни взгляда, человек сумел почесать коленом то самое место у пса под челюстью, где проходит некий нерв, воздействие на который (как показали ученые) подобно действию хорошей сигары. В этот самый миг из туннеля раздался великаний, даже людоедский голос:

— С кем ты разговариваешь?

Кривое оконце в картонном домике настезь распахнулось, и оттуда вылезла огромная голова с ярко-рыжими волосами, стоящими почти вертикально, и синими глазами навыкате.

— Хэмп! — кричал людоед.— Ты не внемлешь моим советам. За эту неделю я спел тебе четырнадцать с половиной песен, а ты воруеть собак. Боюсь, ты идешь по стопам этого пастора, как его...

— Нет,— спокойно сказал человек со сковородкой.— Мы вернулись на свои следы, как пастор Уайтледи, но он был слишком глуп, чтобы красть собак. Он был молод и получил религиозное воспитание. Что до меня, я слишком хорошо знаю собак, чтобы красть их.

— Как же ты добыл такую собаку? — спросил рыжий великан.

— Я разрешил ей меня украсть, — сказал его друг, двигая сковородкой. И впрямь, собака сидела у его ног так надменно, словно сторожила эти места за большие деньги с тех времен, когда тут не было туннеля.

Глава 11

ВЕГЕТАРИАНСТВО В ГОСТИНОЙ

Общество, собравшееся слушать Пророка Луны, было на этот раз гораздо более избранным, чем у сравнительно простоватых Простых душ. Однако мисс Браунинг и миссис Макинтош

присутствовали как секретарши, и лорд Айвивуд задал им немало работы. Был здесь и мистер Ливсон, ибо принципал верил в его организационные способности; был и мистер Гиббс, ибо мистер Ливсон верил в его социальные суждения, когда умудрялся их понять. Темноволосый Ливсон нервничал, белобрысый Гиббс тоже нервничал. Остальные принадлежали к кругу самого лорда или к кругу крупных дельцов, смешавшихся со знатью и здесь, и по всей Европе. Лорд Айвивуд приветствовал почти сердечно известного иностранного дипломата, который был не кем иным, как молчаливым немцем, сидевшим рядом с ним на Масличном острове. На сей раз доктор Глюк облачился не в черный костюм, а в парадную форму, при шпаге, с прусскими, австрийскими или турецкими орденами, поскольку от Айвивуда должен был ехать ко двору. Но полумесяц его красных губ, спирали черных усов и бессмысленный взгляд миндалевидных глаз изменились не больше, чем восковое лицо в витрине парикмахерской.

Пророк тоже оделся красивее. Когда он проповедовал на песках, одежда его, кроме фески, подошла бы пристойному, но неудачливому клерку. Теперь, среди аристократов, это не годилось. Теперь он должен был стать пышным восточным цветком. И он облачился в широкие белые одежды, расшитые там и сям огненным узором, а голову обернул бледным золотисто-зеленым тюрбаном. Ему приличествовало выглядеть так, словно он пролетел над Европой на ковре-самолете или только что свалился на землю из лунного рая.

Дамы Айвивудова круга были примерно такими же, как прежде. Серьезное и робкое лицо леди Энид оттенял поразительный наряд, похожий на пышное шествие или, точнее, на похоронную процессию, запечатленную Обри Бердслеем. Леди Джоан все так же напоминала прекрасную испанку, тоскующую по своему воздушному замку. Толстую, решительную даму, которая отказалась задать вопрос на предыдущей лекции Мисисры, — известную защитницу женщин, леди Крэмп — по-прежнему переполняли замыслы против Мужчины, и она, лишившись дара речи, достигла вершин надменной учтивости, предлагая собравшимся лишь грозное молчание и злобные взгляды. Старая леди Айвивуд, окутанная прекрасными кружевами и удивляющая прекрасными манерами, являла лик смерти, что бывает нередко у тех, чьим детям введом только ум. У нее был тот самый вид заброшенной матери, который гораздо трогательней, чем вид брошенного ребенка.

— Чем вы порадуете нас сегодня? — спросила пророка леди Энид.

— Я буду говорить о свинье, — весомо ответил Мисисра.

Поистине простота его была достойна уважения, ибо он никогда не замечал, как удивительны и произвольны тексты или символы, на которых он строит свои дикие теории. Леди Энид не

дрогнула, глядя на него с той вдумчивой кротостью, которую обретала, беседуя с великими людьми.

— Это очень важная тема, — продолжал пророк, двигая руками так, словно он обнимал премированную свинью. — В ней заключено множество других тем. Я не могу понять, почему христиане смеются и дивятся, когда мы считаем свинью нечистым животным. Вы сами считаете ее нечистой, ибо ругаете человека свиной, хотя есть животные и погнуснее, скажем — аллигатор...

— Вы правы, — сказала леди Энид. — Как удивительно!..

— Если кто-то вас рассердил, — продолжал ободренный старец, — если вы сердитесь на... как же это?.. на горничную, вы не назовете ее кобылицей. Не назовете и верблюдом.

— Не назову, — серьезно сказала леди Энид.

— У вас говорят: «Моя горничная — свинья», — победоносно продолжал пророк. — И эту гнусную тварь, это чудище, чье самое имя повергает в трепет ваших врагов, вы едите, вы вбираете в себя, вы с ним сливаетесь.

Леди Энид несколько удивилась такому описанию своей жизни, а леди Джоан намекнула Айвивуду, что лектора лучше перевести в его законную сферу. И хозяин повел гостей в соседний зал, где стояли ряды стульев и что-то вроде кафедры, а вдоль стен тянулись столы, уставленные яствами. Те, кому знаком полуйскренний энтузиазм этого круга, не удивятся, что один из столов был вегетарианский, даже восточный, словно поджидавший в пустыне довольно привередливого индийского отшельника, а остальные ломились от паштетов, омаров и шампанского. Даже мистер Гиббс, который скорее пошел бы в бордель, чем в пивную, не нашел ничего дурного в этом шампанском.

Целью лекции, тем более — целью сборища была не только гнусная свинья. Лорд Айвивуд хотел устроить диспут об еде на Западе и на Востоке. В белом горниле его ума непрестанно рождались мысли, преобразавшиеся в желания; и он считал весьма удобным, чтобы Мисисра начал спор рассказом о запрете на свинину и другие грубые виды мясной пищи. Сам он собирался спор продолжить.

Пророк сразу взмыл высоко. Он сообщил собравшимся, что они, англичане, всегда гнушались свиньей, как сокровенным образом мерзости и зла. В доказательство он привел пример: свинью нередко рисуют, закрыв глаза. Леди Джоан улыбнулась и все же подумала (как думала нередко о многих модных предметах), безумнее ли это, чем разные вещи, о которых толкуют ученые, например — следы первобытного похищения женщин, обнаруженные в тайниках сердца у нынешних людей.

Затем он углубился в дебри филологии, сопоставляя слово «ветчина» со страшными грехами, описанными в первых главах Библии; а Джоан снова подумала, глупее ли это, чем многое, что она слышала о первобытном человеке от тех, кто его в глаза не видел.

Он предположил, что ирландцы пасли свиней, потому что были низшей кастой, томившейся в рабстве у гнушавшихся свиной саксов; а Джоан подумала, что это так же глупо, как давние речи милого старого священника, после которых один ее знакомый ирландец сыграл мятежную песню и разбил роуль.

Джоан Брет много думала последние дни. Виною тому был отчасти разговор в башенке, явивший ей неведомые доселе чувства лорда Айвивуда, отчасти — весть о здоровье матери, не слишком тревожная, но все же напомнившая ей, что она одинока в этом мире. Прежде рассуждения Мисисры забавляли ее. Сегодня ей захотелось понять, как может человек быть таким убежденным, говорить так связно и постоянно ошибаться. Она внимательно слушала, глядя на свои руки, лежавшие у нее на коленях, и, кажется, что-то поняла.

Лектор искренне хотел показать, что и в истории Англии, и в литературе свинья связана со злом. Он знал об английской истории и литературе больше, чем она сама; гораздо больше, чем окружавшие ее аристократы. Но она заметила, что он знает только факты и не знает таившейся за ними истины. Он не знал духа времени. Леди Джоан поймала себя на том, что считает его ошибки, как пункты обвинительного акта.

Мисисра Аммон знал, а теперь почти никто не знает, что один старинный поэт назвал Ричарда III вепрем, а другой — кабаном. Но он не знал старых нравов и геральдики. Он не знал (а Джоан догадалась сразу, хотя в жизни об этом не думала), что для рыцарей храбрый зверь, которого трудно убить, был благородным. Благородным был и кабан; так называли отважных. Мисисра же пытался доказать, что побежденного Ричарда просто обозвали свиной.

Мисисра Аммон знал, а почти никто не знал, что никогда не было лорда Бэкона; Бэкон был лордом Вэруламским или лордом Сент-Олбенским. Зато он не знал, а Джоан знала (хотя никогда о том не думала), что титул в конце концов — условность, почти шутка, тогда как фамилия очень важна. Жил человек по фамилии Бэкон, каких бы титулов он ни добился. Мисисра же всерьез полагал, что этого человека прозвали постыдным словом, означающим ветчину.

Мисисра Аммон знал, а никто не знал, что у Шелли был друг Свини, однажды его предавший; и серьезно думал, что именно за это он получил такое прозвище. Знал он и другое: еще одного поэта сравнивали со Свини потому, что он обидел Шелли. Зато он не знал то, что знала Джоан, — повадки таких людей, как Шелли и его друзья.

Закончил он непроницаемо-туманным рассуждением о свинце, которое Джоан и не пыталась понять. «Если он имеет в виду, — подумала она, — что скоро мы будем есть свинец, я просто не знаю, чего он хочет. Неужели Филип Айвивуд верит во все это?» — и не успела она так подумать, Филип Айвивуд встал.

Подобно Питту и Гладстону, он умел говорить экспромтом. Слова его становились на место, как солдаты хорошо обученной армии. Довольно скоро Джоан поняла, что дикий и туманный конец лекции дал ему нужное начало. Ей было трудно поверить, что это не подстроено.

— Я помню,— говорил А й в и в у д, — а вы, должно быть, не помните, что некогда, представляя вам замечательного лектора, который дал мне сейчас почетную возможность следовать ему, я обронил простое предположение, показавшееся парадоксом. Я сказал, что мусульманство, в определенном смысле, — религия прогресса. Это настолько противоречит и научной традиции, и общепринятому мнению, что я не удивлюсь и не вознегодую, если англичане согласятся с этим нескоро. Однако, леди и джентльмены, время это сократилось благодаря прекрасной лекции, которую мы прослушали. Отношение ислама к пище столь же удачно иллюстрирует идею последовательности, как и отношение ислама к вину. Оно подтверждает принцип, который я назвал принципом полумесяца — постепенное стремление к бесконечному совершенству.

Великая вера Магомета не запрещает есть мясо. Но, в согласии с упомянутым принципом, составляющим самую ее суть, она укажет путь к совершенству, еще не достижимому. Она избрала простой и сильный образчик опасностей мясоедения и явила нам гнусную тушу, как символ и угрозу. Она наложила символический запрет на животное из животных. Истинно мистический инстинкт подсказал ей, какое именно существо надо изъять из наших каннибальских пиршеств, ибо оно трогает обе струны высокой вегетарианской этики. Беспомощность свиньи будит в нас жалость, уродство — отвращает нас.

Было бы глупо утверждать, что трудностей нет; они есть, ибо разные народы находятся на разных ступенях нравственной эволюции. Обычно говорят, ссылаясь на документы и факты, что последователи Магомета особенно преуспели в искусстве войны и не всегда ладят с индусами, преуспевшими в искусстве мира. Точно так же, надо признаться, индусы превзошли мусульман в вегетарианстве настолько же, насколько мусульмане превзошли христиан. Конечно, не будем забывать, леди и джентльмены, что любые сведения о распрях между индусами и мусульманами мы получаем от христиан, то есть — в искажении. Но даже и так, неужели мы не заметим столь знаменательного предупреждения, как запрет на свинину? Мы чуть не потеряли Индию, ибо руки наши обгарены кровью коровы.

Если мы предложим постепенно приближаться к тому отречению от мяса, которого полностью достигли индусы, частично — ислам, противники прогресса спросят нас: «Где вы проводите черту? Могу я есть устриц? Могу я есть яйца? Могу я пить молоко?» Можете. Вы можете есть и пить все, что соответствует вашей стадии развития, лишь бы вы стремились

вперед, к чистоте. Разрешу себе пошутить: сегодня вы съели шесть дюжин устриц, съешьте же завтра четыре. Только так и движется прогресс в общественной и частной жизни. Разве не удивился бы людоед, что мы различаем животное и человека? Все историки высоко ценят гугенотов и великого короля-гугенота Генриха IV. Никто не отрицает, что для его времени очень прогрессивно стремиться к тому, чтобы у каждого крестьянина в супе была курица. Но мы не оскорбим его, если поднимемся выше. Неуклонная поступь открытий сметает тех, кто больше наваррца. Я, как и мусульмане, высоко ценю мифический или реальный образ основателя христианства и не сомневаюсь, что несообразная и неприятная притча о свиньях, прыгнувших в море, — лишь аллегория, означающая, что основатель этот понял простую истину: злой дух обитает в животных, искушающих нас пожрать их. Не сомневаюсь я и в том, что блудный сын; живущий во грехе среди свиней, иллюстрирует великую мысль Пророка Луны; однако и здесь мы ушли дальше древних, и многие из нас искренне сокрушаются, что радость возвращения омрачили жалобные крики тельца. Те, кто спросят, куда мы идем, не понимают прогресса. Если мы будем питаться светом, как по легенде питается хамелеон; если вселенское волшебство, неведомое нам теперь, научит нас обращать в пищу металлы, не трогая кровавого обиталища жизни, мы узнаем об этом в свое время. Сейчас довольно и того, что мы достигли такого состояния духа, когда убитое животное не глядит на нас с сокрушающим душу упреком, а травы, которые мы собираем, не кричат, как кричал по преданию корень мандрагоры.

Лорд Айвивуд снова сел. Его бесцветные губы шевелились. Вероятно, по намеченному плану, на кафедру взошел мистер Ливсон, чтобы сообщить свои мнения о вегетарианстве. Он полагал, что запрет на свинину — начало славного пути, и показал, как далеко может зайти прогресс. Кроме того, он полагал, что слухи о вражде мусульман к индусам сильно преувеличены; мы же, англичане, плохо поняли во время индусского восстания чувства, которые индус испытывает к корове. Он считал, что вегетарианство прогрессивнее христианства. Он думал, наконец, что мы пойдем дальше; и сел. Поскольку он повторил по пунктам то, что сказал лорд Айвивуд, незачем и сообщать, что высокородный патрон похвалил его смелую и оригинальную речь.

По такому же знаку, как Ливсон, поднялся и Гиббс, чтобы продолжить прения. Он гордился тем, что немногословен. Только с пером в руке, в редакции, ощущал он ту смутную ответственность, которую так любил. Но сейчас он оказался блистательней, чем обычно, потому что ему нравилось в таком аристократическом доме; потому что он до сих пор не пробовал шампанского и ощутил к нему склонность; потому, наконец, что, говоря о прогрессе, можно тянуть мочалу, сколько хочешь.

— Что бы мы ни думали, — откашлявшись, сказал он, — о привычных толках, ставящих ислам намного ниже буддизма, нет

сомнения, что вся ответственность лежит на христианских церк-вах. Если бы свободные церкви пошли навстречу предложениям Опалштейнов, мы бы давно забыли о разнице между религиями.

Почему-то это напомнило ему о Наполеоне. Он высказал свое мнение о нем и не побоялся сказать, даже в этой аудитории, что съезд методистов уделил слишком мало внимания вопросу об азиатской флоре. Конечно, кто-кто, а он никого не обвинял. Все, несомненно, знали заслуги доктора Куна. Все знали, как трудится на ниве прогресса Чарльз Чэддер. Но многие могли счесть закономерностью что-либо иное. Никто не протестует против споров о кофе, однако надо помнить (не в обиду будь сказано канадцам, которым мы многим обязаны), что все это происходило до 1891 года. Никто не питает такого уважения к нашим друзьям-ритуалистам, как мистер Гиббс, но он прямо скажет, что вопрос этот необходимо было задать. И хотя, несо-мненно, с одной точки зрения, козлы...

Леди Джоан заерзала на стуле, словно ее пронзила острая боль. Она и впрямь ощутила привычную боль своей жизни. Как большинство женщин, даже светских, она была терпелива к фи-зической боли; но муке, вечно возвращавшейся к ней, философы придумали много названий, лучшее из которых — скука.

Она почувствовала, что не может ни минуты больше выдер-жать мистера Гиббса. Она почувствовала, что умрет, если услышит про козлов с какой бы то ни было точки зрения. Понезаметней поднявшись, она выскользнула в дверь, словно искала еще один стол с закусками, и очутилась в восточной комнате, но есть не стала, хотя столы были и тут. Бросившись на оттоманку, она посмотрела на волшебную башню, где Айвивуд показал ей, что тоже жаждет красоты. Да, он поэт, и поэт странный, отрешенный, похожий скорее на Шелли, чем на Шекс-пира. Он прав, башня волшебная, она похожа на край света. Она как будто учит тебя, что в конце концов ты найдешь хоть какой-то спокойный предел.

Вдруг она засмеялась и приподнялась на локте. Нелепая, знакомая собака бежала к ней, сопя, и Джоан привстала ей навстречу. Она подняла голову и увидела то, что, в самом христианском смысле слова, походило на конец света.

Глава 12

ВЕГЕТАРИАНСТВО В ЛЕСУ

Хэмфри Пэмп нашел на берегу старую сковородку и жарил на ней грибы. Это было очень характерно для него. Не претендуя на книжную образованность, он принадлежал к тому типу уче-ных, которых не замечает злосчастная наука. Он был старым

английским натуралистом, вроде Гилберта Уайта или даже Исаака Уолтона, то есть — изучал природу не отвлеченно, как американский профессор, а конкретно, как американский индеец. Всякая истина, в которую верит ученый, хотя бы немного отличается от истины, в которую верит он же как человек, ибо на человека успеют повлиять родные, друзья, обычаи, круг прежде, чем он предастся какой-нибудь теории. Знаменитый ботаник скажет вам на банкете в Королевском обществе, что среди грибов съедобны не только трюфели и шампиньоны. Но задолго до того, как он стал ботаником, тем более — знаменитым, он привык есть одни шампиньоны и трюфели. Он ощущает, пусть смутно, что шампиньон — лакомство людей небогатых, а трюфель — лакомство, которое доступно лишь избранному кругу. Но старые английские натуралисты, первым из которых был Исаак Уолтон, а последним, на верное, — Хэмфри Пэмп, начинали с другого конца. Они проверяли на собственном опыте (что небезопасно), какие грибы можно есть, какие нельзя, и устанавливали, что многие есть можно. Пэмп не больше боялся гриба как такового, чем зверя как такового. Он не предполагал с самого начала, что бурый или алый бугор на камне ядовит, как не предполагал, что посетившая его собака — бешеная. Почти все грибы он знал; к тем, какие не знал, относился с разумной осторожностью; но в общем одноногий лесной народец казался ему добродушным и дружелюбным.

— Понимаешь,— сказал он другу своему, капитану, — питаться растениями не так уж плохо, если ты в них разбираешься и ешь, какие можешь. Но знатные люди совершают две ошибки. Во-первых, они никогда не ели морковку или картошку потому, что в доме больше ничего нет, и не знают, что такое хотеть морковки, как хочет этот ослик. Им ведомы только те растения, которые подают к жаркому. Они ели утку с горошком; став вегетарианцами, они едят горошек без утки. Они ели краба в салате; теперь едят салат без краба. Другая ошибка хуже. Здесь много, а на севере еще больше людей, которые очень редко едят мясо. Зато, когда могут, они ему радуются вовсю. Со знатными не так. Им противно не только мясо, им вообще неприятно есть. Вегетарианец, идущий к Айвивуду, — вроде коровы, которая хочет съесть по травинке в день. Мы с тобой, капитан, поневоле вегетарианцы, мы ведь не трогаем сыра, но это ничего, потому что мы много едим.

— Труднее быть трезвенником,— ответил Дэлрой, — и не трогать рома. Не буду врать, без выпивки мне лучше, но только потому, что я могу и выпить. А знаешь что? — завопил он, ибо к нему, как нередко бывало, вернулась его бычья м о щ ь . — Если я вегетарианец, почему бы мне не пить? Напитки — не мясные. Почему бы мне не питаться растениями в их высшей форме? Скромный вегетарианец должен предаться вину и пиву, а не набивать брюхо слоновьим мясом, как простые мясоеды. Что такое?

— Ничего,— сказал П э м п . — Я смотрю, не идет ли наш обычный гость.

— Итак,— продолжал капитан, — крепкие напитки — вершина вегетарианства. Какая плодотворная мысль! Можно сочинить песню. Например, такую:

Буду, буду пить я ром
Утром, вечером и днем,
Пиво дуть, как истинный германец,
Джин хлебать — бутылку в руке —
В каждом грязном кабаке,
Потому что я вегетарьянец.

Что за простор для литературы и духовного развития! Сколько тут разных граней! Каким же будет второй куплет? Вот таким:

Я до чертиков напыюсь
И на вывеску взберусь,
Постового задразню, как оборванец.
И меня он заберет,
И в участок отведет,
Потому что я вегетарьянец¹.

Отсюда можно почерпнуть много поучительного... Эй, куда ты смотришь?

Квудл вышел из лесу на минуту позже, чем обычно, и уселся у ног Хэмфри с озабоченным видом.

— Здравствуй, старина,— сказал капитан.— Кажется, мы тебе понравились. Не думаю, Хэмп, чтобы с ним дружили в этом доме. Мне очень не хочется осуждать Айвивуда, Хэмп. Я не хочу, чтобы его душа всю вечность обвиняла мою душу в низкой предвзятости. Я стараюсь судить о нем справедливо, потому что ненавижу его. Он отнял у меня все, ради чего я жил. Но я не думаю, что мои слова покажутся ему обидными. Он знает, что это правда, ведь ум его ясен. Так вот, он не способен понять животное и потому неспособен понять животных свойств человека. Он до сих пор не знает, Хэмп, что ты слышишь и видишь в шестьдесят раз лучше него. Он не знает, что у меня быстрее обращается кровь. Потому он и подбирает себе таких странных сподвижников; он не смотрит на них так, как я смотрю на собаку. На турецкой конференции, я думаю — его стараниями, был некий Глюк. Дорогой мой Хэмп, такой джентльмен, как Айвивуд, не должен подходить к нему и на милую. Грубый, пошлый шпион и подлец... но не выходи из себя, Хэмп! Очень тебя прошу, не выходи из себя, когда говоришь о подобных людях. Утешь себя поэзией. Спою-ка я стишок о том, что я вегетарьянец.

— Если ты вегетарьянец,— сказал Х э м п , — иди поешь грибов. Вот эти, беленькие, можно есть холодными и даже сырыми. Но эти, красные, непременно нужно жарить.

— Ты прав, Х э м п , — сказал Дэлрой, присаживаясь у огня и алчно глядя на еду . — Я буду молчать. Как сказал поэт:

¹ Перевод Н. Чуковского.

Я молчу, забравшись в клуб,
В кабаке молчу, как труп,
На балу меня не тянет в танец.
Так я сыт! Уж в мой живот
Ни крупинки не войдет,
Потому что я вегетарьянец.

Он быстро и жадно съел свою порцию, с мрачным вожде-
нием взглянул на бочонок и снова вскочил. Схватив шест, лежа-
вший у домика из пантомимы, он вонзил его в землю, словно
пику, и опять запел, еще громче:

Пусть взнесется Айвивуд,
Пусть его венки увяют,
Пусть весь мир он в свой положит ранец,
Но...

— Знаешь, — сказал Хэмп, тоже кончивший е с т ь , — мне что-
то надоела эта мелодия.

— Надоела? — сердито спросил ирландец. — Тогда я спою
тебе другую песню, про других вегетарьянцев, и еще станцую!
Я буду плясать, пока ты не заплачешь и не предложишь мне
полцарства, но я потребую голову Ливсона на блюде, нет — на
сковородке. Ибо песня моя — восточная, очень древняя, и петь ее
надо во дворце из слоновой кости, под аккомпанемент соловьев
и пальмовых опахал.

И он запел другую песню про вегетарианство.

Навуходоносор, древний иудей, *
Пострадал за пару свеженьких идей:
Он ползал на карачках и подражал скоту
С короной на макушке и с клевером во рту.
Тирьям-пам, дидл, дидл... и т. д.

«Вот вам Божья кара!» — толковал народ;
Своего пророка век не признает,
И первооткрыватель одинок среди людей,
Как Навуходоносор, древний иудей.

При этом он и впрямь кружился, как балерина, огромный
и смешной в ярком солнечном свете. Над головой он вертел шест
с вывеской. Квудл открыл глаза, прижал уши и с интересом
воззрелся на него. Потом его поднял один из тех толчков,
которые побуждают вскочить самую тихую собаку, — он решил,
что это игра. Взвизгнув, он стал скакать вокруг Дэлроя, взлетая
иногда так высоко, словно хотел схватить его за горло; но хотя
капитан знал о псах меньше, чем сельский житель, он знал о них
(как и о многих других вещах) достаточно, чтобы не испугаться,
и голос его заглушил бы лай целой своры.

Смелый реформатор господин Фулон
Предложил французам новый рацион:
Сказал он: «Жуйте травку, кто воздухом не сыт!»
И был он головы лишен и травкою набит.
Тирьям-пам, дидл, дидл... и т. д.

«Вот она, гордыня!» — рассуждал народ.
Но не зря бедняга шел на эшафот:
Он в будущем провидел торжество своих идей,
Как Навуходоносор, древний иудей.

Янки Саймон Скаддер где-то в штате Мэн
Изучал, как видно, тот же феномен:
Он травкой вместо хлеба ирландцев угощал,
Чтоб веселей работалось им на укладке шпал.
Тирьям-пам, дидл, дидл... и т. д.

Мученик прогресса был на высоте:
В дегте он и в перьях ехал на шесте...
Эх, где уж современникам понять таких людей,
Как Навуходоносор, древний иудей!

В самозабвении, необычном даже для него, он миновал заросли чертополоха и очутился в густой траве, окружавшей часовню. Собака, убежденная теперь, что это не только игра, но и поход, может быть — охота, с громким лаем бежала впереди по тропкам, проделанным раньше ее же когтями. Не понимая толком, где он, и не помня, что в руке у него смешная вывеска, Патрик Дэлрой очутился перед узкой высокой башней, в углу какого-то здания, которое он никогда не видел. Квудл немедленно вбежал в открытую дверь и, остановившись на четвертой или пятой ступеньке темной лестницы, оглянулся, насторожив уши.

От человека нельзя требовать слишком много. Во всяком случае, нельзя требовать от Патрика Дэлроя, чтобы он отверг такое приглашение. Быстро воткнув в землю свое знамя среди трав и колючек, он нагнулся, вошел в дверь и стал подниматься по лестнице. Только на втором повороте каменной спирали он различил свет; то была дыра в стене, похожая на вход в пещеру. Протиснуться в нее было трудно, но собака прыгнула туда, словно это ей привычно, и опять оглянулась.

Если бы он очутился в обыкновенном доме, он бы тут же раскаялся и ушел. Но он очутился в комнатах, каких никогда не видел и даже себе не представлял.

Сперва ему показалось, что он попал в потасенные глубины сказочного дворца. Комнаты как бы входили одна в другую, являя самый дух «Тысячи и одной ночи». Являл его и орнамент, пламенный и пышный, но не похожий ни на какие предметы. Пурпурная фигура была вписана в зеленую, золотая — в пурпурную. Станный вырез дверей и форма карнизов напоминали о морских волнах, и почему-то (быть может, по ассоциации с морской болезнью) он чувствовал, что красота здесь пропитана злом, словно анфилада эта создана для змия.

Было у него и другое чувство, которое он никак не мог понять, — он ощущал себя мухой, ползущей по стене. Что это, мысль о висячих садах Вавилона или о замке, который восточней солнца и западней луны? И тут он вспомнил: в детстве, чем-то

болея, он смотрел на обои с восточным рисунком, похожим на яркие, пустые, бесконечные коридоры. По одной из параллельных линий ползла муха, и ему казалось тогда, что перед ней коридор мертвый, а за нею — живой.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Может, это и есть правда о Востоке и Западе? пышный восток дает для приключения все, кроме человека, который мог бы им насладиться. Прекрасное объяснение крестовых походов! Должно быть, именно так замыслил Бог Европу и Азию. Мы представляем действующих лиц, они — декорацию. Ну что ж, в бесконечном азиатском дворце оказались три самые неазиатские вещи — добрый пес, прямая шпага и рыжий ирландец.

Однако, продвигаясь по подзорной трубе, сверкающей тропическими красками, он ощутил ту невеселую свободу, которую знали покорные судьбе герои (или негодяи?) из «Тысячи и одной ночи». Он был готов к чему угодно. Он не удивился бы, если бы из-под крышки фарфорового кувшина появился синий или желтый дымок, словно внутри кипело ведовское зелье. Он не удивился бы, если бы из-под гардины или из-под двери вытекла, подобно змее, струйка крови, или навстречу вышел немой негр в белых одеждах, только что убивший кого-нибудь. Он не удивился бы, если бы забрел в тихую спальню султана, разбудить которого значило умереть в муках. И все же он удивился тому, что увидел; и убедился, что спит, ибо именно этим кончались его сны.

То, что он увидел, прекрасно подходило к восточной комнате. На кроваво-красных и золотистых подушках лежала прекраснейшая женщина, чья кожа была смугла, как у женщин Аравии. Именно такой могла быть царевна из восточной сказки. Но сердце его замерло не потому, что она подходила к комнате, а потому, что она к ней не подходила. Ноги его остановились потому, что он слишком хорошо ее знал.

Собака подбежала к софе, и царевна ей обрадовалась, приподняв ее за передние лапы. Потом подняла взор; и окаменела.

— Бисмилла, — приветливо сказал восточный путник. — Да не станет твоя тень короче... или длиннее, не помню. Повелитель правоверных шлет к тебе своего ничтожнейшего раба, чтобы отдать собаку. Пятнадцать крупнейших алмазов собрать не успели, и у собаки нет ошейника. Всех виновных засекут драконьими хвостами...

Прекрасная дама так испуганно смотрела на него, что он заговорил по-человечески.

— В общем, — сказал он, — вот собака. Я хотел бы, Джоан, чтобы это не было сном.

— Это не сон, — сказала дама, обретая дар речи, — и я не знаю, к худу ли или к добру.

— Так кто же вы, — спросил сновидец, — если не сон и не видение? Что это за комнаты, если не сон и не кошмар?

— Это новое крыло Айвивудова д о м а , — сказала леди Джоан с немалым т р у д о м . — Он выбрал восточный стиль. Сейчас он вон там, рядом. У них диспут о восточном вегетарианстве. Я вышла, в зале очень душно.

— О вегетарианстве! — вскричал Дэлрой с неуместным удивлением. — Этот стол не такой уж вегетарианский. — И он показал на один из длинных, узких столов, уставленных изысканными закусками и дорогими винами.

— Ему приходится быть терпимым! — воскликнула Джоан, едва сдерживая что-то, возможно — нетерпение. — Он не требует, чтобы все сразу стали вегетарианцами.

— Они и не с т а л и , — спокойно сказал Дэлрой, подходя к столу. — Я вижу, ваши аскеты выпили немало шампанского. Вы не поверите, Джоан, но я целый месяц не трогал того, что у вас зовут алкоголем.

С этими словами он налил шампанского в большой бокал и залпом его выпил.

Леди Джоан Брет встала, вся дрожа.

— Это нехорошо, Пат! — вскричала о н а . — Ах, не притворяйтесь, вы понимаете, что я не против питья! Но вы в чужом доме, незваный, хозяин не знает ничего... Это непохоже на вас!

— Не знает, так узнает, — спокойно сказал великан. — Я помню точно, сколько стоит полбутылки этого вина.

Он что-то написал карандашом на обороте меню и аккуратно положил сверху три шиллинга.

— А это ужасней всего! — крикнула Джоан, побледнев. — Вы знаете не хуже, чем я, что Филип не возьмет ваших денег.

Патрик Дэлрой посмотрел на нее, и она не поняла, что же выражает его открытое лицо.

— Как ни странно, — сказал он, ничуть не смущаясь, — это вы обижаете Филипа Айвивуда. Он способен погубить Англию и даже весь мир, но он не нарушит слова. Более того: чем удивительней и суровой было это слово, тем меньше оснований считать, что он его нарушит. Вы не поймете таких людей, если не поймете их страсти к букве. Он может любить поправку к парламентскому акту, как вы любите Англию или свою мать.

— О, не философствуйте! — воскликнула Дж о а н . — Неужели вы не видите, что это неприлично?

— Я просто хочу объяснить вам, — ответил о н . — Лорд Айвивуд ясно мне сказал, что я могу выпить и заплатить в любом месте, перед которым стоит кабацкая вывеска. Он не откажется от этих слов, он вообще от слов не откажется. Если он застанет меня здесь, он может посадить меня в тюрьму как вора или бродягу. Но плату он примет. Я уважаю в нем эту последовательность.

— Ничего не понимаю, — сказала Дж о а н . — О чем вы говорите? Как вы сюда попали? Как я вас выведу отсюда? Кажется, вам до сих пор неясно, что вы у Айвивуда в доме.

— Он переименовал название, — сообщил Патрик и повел даму к тому месту, где он вошел.

Следуя его указаниям, леди Джоан высунулась из окна, украшенного снаружи сверкающей золотой клеткой сверкающей пурпурной птицы. Внизу, почти под самым окном, у входа на лестницу, стояла деревянная вывеска так прочно и невозмутимо, словно ее водрузили несколько веков назад.

— Снова мы на «Старом корабле», — сказал капитан. — Можно вам предложить чего-нибудь легонького?

Гостеприимное движение его руки было уж очень наглым, и лицо леди Джоан выразило не то, что она хотела.

— Ура! — в восторге закричал Патрик. — Вы снова улыбнулись, дорогая!

Словно в вихре, он прижал ее к себе и исчез из сказочной башни, а она осталась стоять, подняв руку к растрепавшимся темным волосам.

Глава 13

БИТВА У ТУННЕЛЯ

Трудно сказать, что чувствовала леди Джоан Брет после второго свидания в башне, но женский инстинкт побуждал ее к действию. Ясно понимала она одно: Дэлрой оставил Айвивуду записку. Бог его знает, что он мог написать; а ей не хотелось, чтобы это знал только Бог. Шелестя юбкой, она быстро пошла к столу, на котором записка лежала. Но юбка ее шелестела все тише, и ноги ступали все медленнее, ибо у стола стоял Айвивуд и читал, спокойно опустив веки, что подчеркивало благородство его черт. Дочитав до конца, он положил меню как ни в чем не бывало и, увидев Джоан, приветливо улыбнулся.

— Значит, вы тоже удрали, — сказал он. — И я не выдержал, слишком жарко. Доктор Глюк хорошо говорит, но нет, не могу. Как вам кажется, здесь ведь очень красиво? Я бы назвал это вегетарианским орнаментом.

Он повел ее по коридорам, показывая ей лимонные полумесяцы и багряные гранаты так отрешенно, что они два раза прошли мимо открытых дверей зала, и Джоан ясно услышала голос Глюка, говоривший:

— Собственно, отвращением к свинине мы обязаны в первую очередь не исламу, а иудаизму. Я не разделяю предубеждения против евреев, существующего в моей семье и в других знатных прусских семьях. Я полагаю, что мы, прусские аристократы, многим обязаны евреям. Евреи придали суровым тевтонским добродетелям именно ту изысканность, ту интеллектуальную тонкость, которая...

Голос замер, ибо лорд Айвивуд многоречиво (и очень хорошо) рассказывал о мотиве павлиньего пера в восточном орнаменте. Когда они прошли мимо двери в третий раз, слышались аплодисменты. Диспут кончился, и гости хлынули к столам.

Лорд Айвивуд спокойно и быстро нашел нужных людей. Он изловил Ливсона и попросил его сделать то, что им обоим делать не хотелось.

— Если вы настаиваете, — услышала Дж о а н, — я, конечно, пойду. Но здесь очень много дел. Быть может, найдется кто-нибудь другой...

Филип, лорд Айвивуд, в жизни своей не взглянул на человеческое лицо. Иначе он бы увидел, что Ливсон страдает очень старой болезнью, вполне простительной, особенно если вам направили цилиндр на глаза и вынудили вас обратиться в бегство. Но он не увидел ничего и просто сказал: «Что ж, поищем другого. Как насчет вашего друга Гиббса?»

Ливсон побежал к Гиббсу, который пил второй бокал шампанского у одного из бесчисленных столов.

— Гиббс, — нервно сказал Ливсон. — Не услужите ли вы лорду Айвивуду? Он говорит, у вас столько такта. Очень может быть, что внизу, под башней, находится один человек. Лорд Айвивуд просто обязан отдать его в руки полиции. Но возможно, что он не там; возможно, он прислал записку каким-нибудь другим способом. Естественно, лорд Айвивуд не хочет тревожить гостей и выставять себя в смешном виде, вызывая зря полицейских. Ему нужно, чтобы умный, тактичный друг пошел вниз, в запущенную часть сада, и сообщил, есть ли там кто-нибудь. Я бы пошел сам, но я нужен здесь.

Гиббс кивнул и налил себе еще один бокал.

— Все это не так просто, — продолжал Л и в с о н. — Негодяй хитер. Лорд Айвивуд сказал: «Весьма замечательный и опасный человек». По-видимому, он прячется в очень удачном месте — в старом туннеле, который идет к морю, за садом и часовней. Это умно. Если на него пойти с берега, он убежит в заросли, если пойти из сада, он убежит на берег. Полиция доберется сюда нескоро, а еще в десять раз дольше будет она добираться до берега, тем более что между этим домом и Пэбблсвиком вода дважды подходит к самым скалам. Поэтому спугнуть его нельзя, он убежит. Если вы кого-нибудь встретите, поговорите с ним как можно естественней и возвращайтесь. Пока вы не вернетесь, мы не вызовем полицию. Говорите так, словно вы вышли прогуляться. Лорд Айвивуд хочет, чтобы ваше пребывание в саду казалось совершенно случайным.

— Хочет, чтобы казалось случайным, — серьезно повторил Гиббс.

Когда Ливсон исчез, вполне довольный, Гиббс выпил еще бокал-другой, чувствуя, что на него возложено важное поручение. Потом он вышел сквозь дыру, спустился по лестнице и кое-как выбрался в заросший сад.

Уже стемнело, взошла луна, освещающая часовню, обросшую драконьей чешуей грибов. С моря дул свежий ветер, который понравился мистеру Гиббсу. Бесмысленная радость охватила его; особенно хорош был светлый гриб в коричневых точечках. Он засмеялся. Потом старательно проговорил: «Лорд Айвивуд хочет, чтобы мое пребывание в саду казалось совершенно случайным», и попытался вспомнить, что же еще сказал ему Ливсон.

Он стал пробираться к часовне сквозь травы и колочки, но земля оказалась гораздо менее устойчивой, чем он полагал. Он поскользнулся и не упал лишь потому, что обнял сломанного ангела, стоявшего у кучи обломков. Ангел пошатнулся.

Недолгое время казалось, что мистер Гиббс весьма игриво вальсирует с ангелом в лунном свете. Потом статуя покатила в одну сторону, а он — в другую, где и лег лицом вниз, что-то бормоча. Он бы долго лежал так, если бы не случай. Пес Квудл, со свойственной ему деловитостью, сбежал по лестнице вслед за ним и, увидев его в такой позе, залаял, словно оповещая о пожаре.

На его лай из зарослей вышел огромный рыжий человек и несколько долгих мгновений смотрел на мистера Гиббса, явственно удивляясь. Из-под прижатого к траве лица послышались глухие звуки:

— ...хочет, чтоб пребывание с-саду ка-за-лось слу-чай-ным...

— Оно и кажется, — сказал капитан. — Чем могу служить? Вы не ушиблись?

Он ласково поднял несчастного на ноги и с искренним состраданием посмотрел на него. Падение несколько отрезвило Айвивудова посланца; на щеке его алела царапина, которая казалась настоящей раной.

— Какая жалость, — сердечно сказал Патрик Дэйрой. — Идемте к нам, отдохните. Сейчас вернется мой друг Пэм, он прекрасный лекарь.

Возможно, Пэм и был им, но Патрик не был. Он так плохо ставил диагноз, что, усадив Гиббса на упавшее дерево у входа в туннель, гостеприимно поднес ему рюмочку рома.

Мистер Гиббс выпил, глаза его ожили, и он увидел новый мир.

— К-ковы бы ни были част-ные мне -ни-я, — сказал он и хитро посмотрел вдаль.

Потом он сунул руку в карман, словно хотел достать письмо, но нашел только старую записную книжку, которую носил с собой на случай интервью. Прикосновение к ней изменило ход его мыслей. Он вынул ее и сказал:

— Что вы думаете о вгтянстве, пол-ков-ник Пэм?

— Ничего хорошего, — удивленно отвечал тот, кого наградили таким странным званием.

— Запишем так, — радостно сказал Гиббс, листая книжку. — Запишем: «Долго был убежденным ве-ге-та-ри-ан-цем».

— Нет, не был, — сказал Дэлрой. — И не буду.

— Не будет... — проговорил Гиббс, бодро водя по бумаге неочиненным концом карандаша. — А какую растительную пищу вы по-ре-ко-мен-ду-ете для убежденного вегетарианца?

— Чертополох, — сказал капитан. — Право, я не очень в этом разбираюсь.

— Лорд Айв-вуд убежденный вегетарианец, — сообщил Гиббс, покачивая головой. — Лорд Айввуд сказал, что я тактичный. «Поговорите, как ни в чем не бывало». Так я и делаю. Говорю.

Из рощицы вышел Хэмфри Пэмп, ведя под уздцы осла, только что наевшегося рекомендованной пищи. Собака вскочила и побежала к ним. Пэмп, самый учтивый человек на свете, ничего не сказал, но с одного взгляда понял то, что в определенной мере связано с вегетарианством; то, чего не понял Дэлрой, предложи-вший несчастному выпить.

— Лорд Айв-вуд сказал, — невнятно продолжал посланец, — «Как будто вы гуляете...» Так и есть. Гуляю. Вот он, такт. До другого конца далеко, море и скалы. Вряд ли они умеют плавать. — Он снова схватил книжку и без особого успеха посмотрел на карандаш. — Прекрасная тема! «Умеют полицейские плавать?» Заголовок.

— Полицейские? — в полной тишине повторил Дэлрой. Собака подняла взор; кабатчик не поднял.

— Одно дело Айв-вуд, — рассуждал посланец. — Другое дело — полиция. Или одно, или другое, или другое, или одно. Казалось совершенно случайным. Да.

— Я запрягу осла, — сказал Пэмп.

— Пройдет он в дверь? — спросил Дэлрой, показывая на сооруженный им домик. — А то я это сломаю.

— Прекрасно пройдет, — отвечал Пэмп. — Я думал об этом, когда строил. Знаешь, лучше я сперва его выведу, а потом нагрузу тележку. А ты вырви дерево и перегороди вход. Это их задержит на несколько минут, хотя предупредили нас вовремя.

Он запряг осла и заботливо отвел его к морю. Как все, кто умен в старом, добром смысле, он знал, что срочное дело надо делать не спеша, иначе выйдет плохо. Потом он понес в туннель вещи, а любопытный Квудл побежал за ним.

— Простите, я возьму дерево, — вежливо сказал Дэлрой, словно попросил спичку; вырвал его из земли, как вырвал некогда оливы, и положил на плечо, как палицу Геракла.

* * *

Наверху, в Айввудовом доме, лорд Айввуд уже дважды звонил в Пэбблсвик. Его редко что-нибудь задерживало; и, не выражая нетерпения в лишних словах, он все же непрестанно ходил по комнате. Он не вызывал бы полицию до возвращения

посланца, однако считал уместным посоветоваться с властями. Увидев в углу праздного Ливсона, он резко свернул к нему и резко сказал:

— Идите посмотрите, что с Гиббсом. Если у вас здесь дела, я разрешаю их бросить. Иначе...

Тут зазвонил телефон, и взволнованный аристократ побежал на звонок с несвойственной ему скоростью. Ливсону осталось идти в сад или прощаться со службой. Он быстро направился к лестнице, но остановился у стола, где останавливался Гиббс, и выпил два бокала шампанского. Не думайте, что он пил, как Гиббс, стремясь к удовольствию и неге. Он пил не для радости; собственно говоря, он едва заметил, что пьет. Его побуждения были и проще, и чище. Обычно их называют необоримым страхом.

Он еще боялся, но уже немного смирился, когда осторожно долез донизу и выглянул в сад, пытаясь разглядеть в зарослях своего тактичного друга. Однако он не увидел и не услышал ничего, кроме отдаленного пения, которое явно приближалось. Первые понятные слова были такими:

Молоко — одна тоска,
Нам не надо молока,
Молоко, как пресно ты для пьяниц!
Молока мы здесь не пьем,
Пью я шерри, пью я ром,
Потому что я вегетарьянец.

Ливсону был незнаком жуткий и зычный голос, пропевший этот куплет. Но ему стало не по себе от мысли о том, что он знает неуверенный и несколько изысканный голос, который присоединился к первому и спел:

Пью я рерри, пью я шом,
Потому что я ветегерьянец! ¹

Ужас просветил его ум; он понял, что случилось. Однако ему стало легче — он мог теперь вернуться, чтобы предупредить хозяина. Как заяц, взбежал он по лестнице, еще слыша за собой львиный рык.

Лорд Айвивуд совещался с доктором Глюком, а также с мистером Булрозом, управляющим, чьи лягушачьи глаза выражали удивление, застывшее в них, когда перелетная вывеска исчезла с английского луга. Но отдадим ему должное; он был самым практичным из советников лорда Айвивуда.

— Боюсь, мистер Гиббс не совсем осторожно... — забормотал Ливсон. — Боюсь, что он... Словом, милорд, негодяй вот-вот уйдет. Лучше пошлите за полицией.

Айвивуд обернулся к управляющему.

— Пойдите посмотрите, что там такое, — просто сказал

¹ Перевод Н. Чуковского.

о н . — Я позвоню и приду. Созовите слуг, дайте им палки. К счастью, дамы легли спать. Алло. Это полиция?

Булроз спустился в заросли и, по разным причинам, прошел сквозь них быстрее, чем радостный Гиббс. Луна сверкала так, что место действия словно бы заливал яркий серебристый свет. В этом ясном свете стоял пламенноволосяй исполин с круглым сыром под мышкой. Он беседовал с собакой, вода у нее перед носом указательным пальцем правой руки.

Управляющий должен был и хотел задержать разговором этого человека, в котором он признал героя чуда о вывеске. Но некоторые люди просто не могут быть вежливыми, даже когда им это на руку. Мистер Булроз принадлежал к их числу.

— Лорд Айвивуд,— сердито сказал о н , — хочет знать, что вам здесь нужно.

— Не впадай в обычное заблуждение, К в у д л , — говорил Дэлрой псу, который неотрывно глядел ему в л и ц о . — Не думай, что слова «хорошая собака» употребляются в прямом смысле. Собака хороша или плоха сообразно ограниченным потребностям нашей цивилизации...

— Что вы здесь делаете? — спросил мистер Булроз.

— Собака, любезнейший Квудл,— продолжал к а п и т а н , — не может быть такой хорошей и такой плохой, как человек. Скажу больше. Она не может лишиться собачьих свойств, но человек лишается человеческих.

— Отвечай, скотина! — взревел управляющий.

— Это тем более прискорбно, — сообщил капитан внимательно Квудлу, — это тем более прискорбно, что слабость ума поражает порой хороших людей. Однако она не режет людей плохих. Человек, стоящий неподалеку, и глуп, и зол. Но помни, Квудл, что мы отвергаем его по нравственным, а не по умственным причинам. Если я скажу: «Куси, Квудл!» или «Держи, Квудл!», знай, прошу тебя, что я наказываю его не за глупость, а за подлость. Будь он только глуп, я не имел бы права сказать «Возьми, Квудл!» с такой естественной интонацией...

— Не пускайте его! Остановите его! — закричал, пятясь, мистер Булроз, ибо Квудл пошел на него с бульдожьей решительностью.

— Если мистер Булроз решит взобраться на шест или на дерево, — продолжал Дэлрой (так как управляющий вцепился в вывеску, которая была крепче тонких деревьев), — не спускай с него глаз, Квудл, и непрестанно напоминай, что *подлость*, а не *глупость*, как он может подумать, способствовала столь странному возвышению.

— Вы еще за это поплатитесь! — сказал управляющий, взбираясь на вывеску, как мартышка, под неустанным и любопытным взглядом Квудла. — Вы у меня попляшете! Вот сам лорд и полиция.

— С добрым утром, милорд, — сказал Дэлрой, когда Айвивуд, смертельно бледный в лунном свете, прошел к нему сквозь заросли. Наверное, ему было суждено, чтобы его безупречные, бесцветные черты оттеняло что-нибудь яркое. Сейчас их оттеняла пышная форма д-ра Глюка, следовавшего за ним.

— Рад вас видеть, милорд, — учтиво продолжал капитан. — Трудно иметь дело с управляющим. Особенно с этим.

— Капитан Дэлрой, — серьезно и спокойно сказал Айвивуд. — Я сожалею, что мы встречаемся так. Не этого я хотел. Но я обязан сообщить вам, что полиция сейчас прибует.

— Самое время! — сказал Дэлрой, к и в а я . — В жизни не видел такого позора. Конечно, мне жаль, что это ваш приятель. Надеюсь, газеты пощадят дом Айвивуда. Но я не считаю, что для бедных один закон, для богатых — другой. Стыдно, если дело замнут потому, что он — у вас в гостях.

— Не понимаю, — сказал Айвивуд. — О чем вы говорите?

— О нем, конечно, — ответил капитан, радушно указывая на ствол, перегородивший вход в ту нель. — Об этом несчастном, за которым придет полиция.

Лорд Айвивуд взглянул на ствол, и в его бесцветных глазах впервые засветилось удивление.

Над стволом торчали два одинаковых предмета. Присмотревшись к ним, Айвивуд опознал подошвы, как бы взывавшие к нему с мольбой. Только они и были видны, ибо мистер Гиббс упал с лесного сидалища и остался этим доволен.

Лорд Айвивуд надел пенсне, состарившее его на десять лет, и резко, сухо сказал:

— Что это значит?

Услышав его голос, верный Гиббс помахал ногами, приветствуя феодального сеньора. Несомненно, он и не надеялся встать. Дэлрой подошел к нему, поднял за ворот и предъявил собравшимся.

— Здесь не понадобится много полицейских, — сказал он. — Простите, милорд, я за него не отвечаю, — он покачал головой. — У нас с мистером Пэмпом приличное заведение. «Старый корабль» знают повсюду. Жители самых странных мест обретали в нем мирный кров. И если вы думаете, что можно посылать всяких пьяниц...

— Капитан Дэлрой, — сказал Айвивуд, — вы в заблуждении, и честь велит мне его рассеять. Что бы ни означали столь странные события, чего бы ни заслужил этот джентльмен, речь не о нем. Полиция придет за вами и вашим сообщником.

— За мной! — вскричал капитан, сильно удивляясь. — Я в жизни не делал ничего дурного.

— Вы нарушили пункт пятый Постановления о продаже спиртных...



— Да у меня же вывеска! — воскликнул Дэлрой. — Вы сами сказали, что с вывеской торговать можно. Посмотрите на нее! Называется теперь: «Проворный управляющий».

Мистер Булроз молчал, ощущая, что положение его недостойно, и надеясь, что хозяин уйдет. Но лорд Айвивуд взглянул на него; и подумал, что попал на планету, населенную чудищами.

Когда он пришел в себя, Патрик Дэлрой сказал ему:

— Видите, у нас все правильно и прилично. Вывеска есть, даже слишком живописная. Мы не воры и не бродяги. Вот наши средства существования. — Он похлопал по сыру большой рукой, и тот отозвался, как барабан. — Видны невооруженным глазом, — и он поднес сыр к носу Айвивуда, — сквозь ваши очки.

Он быстро повернулся, распахнул бутафорскую дверь, и сыр, глухо гремя, покатился по туннелю. С другого конца донесся голос Хэмфри Пэмпа. Все вещи были там; и Дэлрой снова обернулся к лорду, совершенно преображенный.

— А теперь, Айвивуд, — сказал он, — я хочу сделать вам предложение. Я не буду противиться полиции, если вы окажете мне одну услугу. Разрешите самому выбрать свою вину.

— Я не понимаю вас, — холодно ответил лорд. — Какую вину? Какую услугу?

Капитан Дэлрой вынул из ножен шпагу. Гибкое лезвие сверкнуло в лунном свете, когда он указал им на доктора Глюка.

— Возьмите шпагу этого ростовщика, — сказал он. — Она такой же длины, как моя. Если хотите, можем поменяться. Дайте мне десять минут на этом кусочке земли. Тогда, быть может, я уйду с вашей дороги способом, более достойным врагов, которые были друзьями. Любой из ваших предков постыдился бы помощи полицейских. Если же... все может быть... тогда я и впрямь совершу преступление.

Наступила тишина. Эльф безрассудства снова посетил на миг Патрика Дэлроя.

— Мистер Булроз будет вашим секундантом, у него такой удобный трон, — сказал ирландец. — Мою честь я вручил мистеру Гиббсу.

— Я принужден отклонить вызов капитана Дэлроя, — странным голосом сказал Айвивуд. — Не столько потому...

Он не закончил фразы, ибо Ливсон вбежал на лужайку, громко крича:

— Полиция прибыла!

Дэлрой, который любил откладывать все до последней минуты, вырвал из земли шест, стряхнул Булроза, как спелый плод, и нырнул в туннель. Квудл бежал за ним. Даже Айвивуд — самый быстрый из всех — не успел добежать до двери, как он закрыл ее и загородил наискось стволом, не вложив в ножны шпаги.

— Ломайте дверь, — спокойно сказал Айвивуд. — Они еще не уложили все в тележку.

Булроз и Ливсон неохотно подняли ствол, на котором некогда сидел Гиббс, и, раскачав его, как таран, ударили по двери. Лорд Айвивуд немедленно прыгнул в дыру туннеля.

С другого конца до него донесся голос. Было что-то и щемящее, и жуткое в том, что такой человеческий голос звучал из нечеловеческой тьмы. Если бы Филип Айвивуд был поэтом, а не эстетом (они противоположны друг другу), он бы знал, что прошлое Англии и ее народ говорят с ним из мрака. Но он слышал лишь преступника, убегаящего от полиции. Тем не менее он замер, словно околдованный.

— Милорд, я прошу слова, — сказал Хэмфри Пэмпи. — Я знаю катехизис; я никогда не бунтовал. Подумайте, что вы со мной сделали. Вы отобрали дом, где я был у себя, как вы вот здесь. Вы обратили меня в бродягу, а прежде меня уважали и в церкви, и на ярмарке. Теперь вы посылаете меня в тюрьму и на каторгу. Как по-вашему, что я думаю о вас? Да, вы ездите в Лондон и заседаете с лордами, и привозите кучу бумаг, написанных длинными словами, но какая мне разница? Вы — плохой, жестокий хозяин; прежде их наказывал Бог, как сквайра Варни, которого загрызли куницы. Священник разрешает стрелять в воров. И я хочу сказать вам, милорд, — учтиво добавил он, — что у меня есть ружье.

Айвивуд шагнул во тьму и заговорил. В голосе его звенело чувство, которое никто так и не сумел определить.

— Полиция прибыла, — сказал он, — но я арестую вас сам.

Выстрел тысячьо эхо загредел в туннеле. Ноги у Айвивуда подкосились, и он опустился на землю. Пуля ранила его выше колена.

Почти в тот же миг громкий лай оповестил, что тележка тронулась в путь с полной поклажей. Более того: как только она тронулась, Квудл вскочил наверх и уселся прямо, с важностью глядя по сторонам.

Глава 14

СУЩЕСТВО, О КОТОРОМ ВСЕ ЗАБЫВАЮТ

Хотя рана Айвивуда вызвала переполох, а полиция с трудом выбралась на берег, беглецов почти наверняка поймали бы, если бы не странный случай, тоже связанный с великим спором о вегетарианстве.

Лорд Айвивуд довольно поздно сделал свое открытие отчасти потому, что сразу после доктора Глюка была еще одна, очень длинная речь, которой Джоан не слышала. Конечно, произнес ее человек странный. Почти все гости и все ораторы были здесь странными в том или ином смысле, но этот был к тому же богат, знатен, заседал в парламенте, приходился

родственником леди Энид, пользовался известностью в мире искусства — словом, мог себе позволить что угодно, от мятежа до нудности.

Дориан Уимпол стал известен миру вне своего круга под необычным прозвищем Птичьего Поэта. Первый томик его стихов составляли причудливые монологи певчих птиц, не лишённые красоты и искренности. К несчастью, он был из тех, кто принимает свои причуды всерьёз; из тех, в чьих законных чувствах слишком мало веселья. Так, он объяснял веру в ангелов тем, что птицы были некогда много разумней людей. Когда он внес поправку в Айвивудов проект образцового селенья, называвшегося Миролубец, предложив, чтобы дома висели на деревьях, как гнезда, многие с сожалением признали, что он утратил лёгкость. Когда же он перешел от птиц к прочим обитателям зоологического сада, стихи его стали туманными, и сама леди Сьюзен назвала неудачным этот период. Читать их было особенно трудно, ибо он не давал к своим гимнам и любовным песням предварительного объяснения. Если в лирической безделушке «Любовь в пустыне» вы натыкались на строки:

Ее глава уходит в звезды,
А горб ее упруг и тверд,

вы могли удивиться такому описанию дамы, пока не соображали, что речь идет о прекрасной верблюдице. Если «Поступь наряда» начиналась призывом

За мной, товарищи, вперед!
Вонзите зубы в пол и в двери¹,

вы могли усомниться в таком совете, пока не узнавали, что автор говорит от лица красноречивой и вдохновенной мыши. Лорд Айвивуд едва не поссорился с родственником из-за «Песни о выпивке», но тот объяснил ему, что пили воду, а общество состояло из бизонов. Образ идеального мужа, сложившийся в сознании юной моржихи, очень удался ему; но лица, испытавшие сходные чувства, могли бы кое-что прибавить. Младенец-скорпион в сонете «Материнство» получился милым, но все же не совсем убедительным. Однако, скажем ему в оправдание, он нарочно выбирал самых странных тварей, считая, что поэт не должен забывать ни об одном существе.

Он был светлым блондином, как его родственник, но с усами и длинными волосами. Ярко-голубые глаза глядели вдаль. Одевался он с тщательной небрежностью, носил коричневую бархатную куртку и кольцо с изображением одного из существ, которым поклонялись в Египте.

Речь его была изящна и невообразимо длинна. Говорил он

¹ Перевод Н. Чуковского.

об устрице. Он пылко нападал на мнимых гуманистов, считавших, что такой простой организм можно есть. Человек, говорил он, всегда сбрасывает со счетов кого-нибудь из обитателей Вселенной, забывает одно существо. По-видимому, теперь забыли устрицу. Он подробно описал ее страдания, поведав при этом о причудливых рыбах, коралловых скалах, странных бородатых чудящих и зеленым сумраке морских глубин.

— Устрица — изгнанница мира! — восклицал он. — Что может быть печальней ее беспомощности? Что страшнее ее слез? Сама природа запечатлела их навеки. Существо, о котором все забывают, хранит неопровержимое свидетельство против нас. Слезы вдов и пленников высыхают, как слезы детей. Они исчезают, как роса или дождевая капля. Но слеза устрицы — жемчужина.

Птичий Поэт был так возбужден своей собственной речью, что вышел к автомобилю, дико глядя вдаль. Шофер с облегчением вздохнул.

— Пока что до мой, — сказал поэт и поднял к луне вдохновенное лицо.

Он любил ездить в автомобиле, это помогало ему писать стихи. В тот день он встал рано и ездил с утра. До того как он обратился к изысканным гостям лорда Айвивуда, он ни с кем не говорил и хотел бы долго не говорить ни с кем теперь. Мысли его стремительно мчались. Он небрежно набросил на куртку меховое пальто, не замечая холода в очаровании ночи. Ощущал он лишь бег автомобиля и бег своих мыслей. Всеведение посетило его; он летел с каждой птицей над лесом, прыгал с каждой белкой, тянулся к небу с каждым деревом.

Однако вскоре он нагнулся вперед и постучал в стекло; шофер, ссутулив спину, остановил автомобиль. У края дороги, в лунном свете, Дориан Уимпол увидел то, что зывало к обеим сторонам его природы — и к Дориану, и к Уимполу.

Два оборванца, один в гетрах, другой в лохмотьях маскарадного костюма и в рыжем парике, стояли у изгороди, то ли разгружая, то ли нагружая тележку, запряженную ослом. Во всяком случае, рядом лежали два цилиндрических предмета и деревянный столб. На самом деле человек в гетрах только что накормил и напоил осла и поправлял сбрую, чтобы ему было удобней. Но Дориан Уимпол не ждал таких деяний от такого человека. Он ощутил, что его могущество больше, чем могущество поэта; что он джентльмен, что он член парламента, что он мировой судья, наконец, и пока он наделен властью, не потерпит жестокости к животным, особенно после закона, изданного Айвивудом. Птичий Поэт приблизился к тележке и сказал:

— Вы перегружаете животное. Это запрещено. Пойдемте со мной в полицию.

Хэмфри Пэмп, всегда учтивый с животными и по возможности учтивый с джентльменами, хотя одному из них он прострелил ногу, слишком удивился и огорчился, чтобы ответить. Он отступил шага на два и посмотрел карими глазами на поэта, на осла, на бочонок, на сыр и на вывеску.

Но капитан Дэлрой, истинный ирландец, отвесил судье и поэту дворцовый поклон и спросил с приятной легкостью:

— Интересуетесь ослами?

— Я интересуюсь всеми, о ком человек забывает, — не без гордости отвечал поэт.

По этим фразам Пэмп понял, что два чудаковатых дворянина достойны друг друга. Они еще этого не поняли, но он тем более был им не нужен. Потоптавшись в озаренной луной дорожной пыли, он направился к автомобилю и заговорил с шофером.

— Далеко отсюда до полиции?

Шофер ответил одним слогом, который лучше всего передаст сочетание «Нзна». Можно написать и по-другому, но главное — выразить неведение.

Однако была тут и злоба, которая побудила умного, а потому сердечного Пэмпа посмотреть шоферу в лицо. И он увидел, что оно бледно не только от лунного света.

С безмолвной деликатностью, присущей настоящим англичанам, Пэмп снова посмотрел на шофера и увидел, что он тяжело опирается о дверцу и рука его дрожит. Кабатчик достаточно знал своих земляков, чтобы заговорить как ни в чем не бывало.

— Наверное, вам уже недалеко, — заметил он. — Вы что-то устали.

— А, черт! — сказал шофер и сплюнул на дорогу.

Пэмп сочувственно молчал; и шофер Уимпола заговорил несколько бессвязно:

— К чертовой матери! С утра не жрал! Он там лопал у Айвивуда, а я сиди! Он там пил-ел, а ты тут торчи! Еще осел ему понадобился!

— Неужели вы хотите сказать, — серьезно спросил Пэмп, — что целый день ничего не ели?

— Не ел, представьте себе! — отвечал шофер с иронией умирающего. — Так вот и не ел.

Пэмп вернулся к тележке, взял сыр обеими руками и поставил его на сиденье, рядом с шофером. Потом сунул руку в один из необъятных карманов, и лезвие большого перочинного ножа сверкнуло в лунном свете.

Шофер несколько мгновений смотрел на сыр; нож дрожал в его руке. Потом он принялся резать, и счастливое лицо, залитое белым светом, казалось почти страшным.

Пэмп хорошо разбирался в таких вещах. Он знал, что капелька еды предотвратит опьянение, а капелька спиртного —

несварение желудка. Удержать шофера было невозможно. Осталось дать ему немного рома, тем более что такого хорошего напитка он не нашел бы ни в одном из еще разрешенных заведений. Пэмп снова пошел к тележке, взял бочонок, поставил его рядом с сыром и налил рому в скляночку, которую носил в кармане.

При виде этого глаза шофера засветились вожделением и ужасом.

— Это нельзя, — хрипло прошептал он. — Полиция заберет. Нужно рецепт, или вывеску, или что там у них.

Хэмфри Пэмп снова пошел к тележке. Дойдя до нее, он впервые заколебался; но беседа двух дворян ясно показывала, что они не заметят ничего, кроме себя. Тогда он взял шест, принес к машине и, улыбаясь, поставил между бочонком и сыром.

Склянка с ромом дрожала в руке шофера, как недавно дрожал сыр. Но когда он поднял голову и увидел вывеску, он не то чтобы ободрился, а как бы зачерпнул немного смелости из бездонного моря. То была забытая смелость простых людей.

Он посмотрел на черные сосны и отхлебнул золотистой жидкости, словно это волшебный напиток фей. Потом посидел и помолчал; потом, не сразу, глаза его засветились каким-то твердым светом. Карие, зоркие глаза Хэмфри Пэмпа изучали его внимательно и не без страха. Казалось, что он заморожен или обратился в камень. Однако он вдруг заговорил.

— Гад! — сказал он. — Я ему покажу! Он у меня попляшет! Он у меня увидит!

— Что он увидит? — спросил кабатчик.

— О с л а , — коротко отвечал шофер.

Мистер Пэмп забеспокоился.

— Вы думаете, — сказал он, — ему можно доверить осла?

— Еще бы! — сказал шофер. — Он очень любит ослов. А мы ослы, что его терпим.

Пэмп все еще с недоверием смотрел на него, не совсем понимая или притворяясь. Потом с не меньшей тревогой взглянул на двух других; они еще говорили. Какими бы разными они ни были, они принадлежали к тем, кто забывает сословие, ссору, время, место и факты в пылу блестящих доказательств и неопровержимых доводов.

Так, когда капитан осторожно заметил, что осел все-таки принадлежит ему, поскольку он купил его у лудильщика за сходную цену, Уимпол забыл и о полиции, и, боюсь, об осле. Он хотел одного: доказать, что частной собственности не существует.

— У меня ничего нет, — говорил он, раскрывая о б ъ я т и я . — У меня ничего нет, и у меня есть все. Мы обладаем чем-нибудь лишь в том случае, если можем употребить это во благо мирозданию.

— Простите,— спросил Дэлрой, — чем помогает мирозданию ваш автомобиль?

— Когда я в нем езжу, мне легче писать стихи, — с благородной простотой отвечал Уимпол.

— А если нашлась бы высшая цель? — уточнил его собеседник. — Наверяд ли это возможно, и все же, если бы мироздание захотело чего-нибудь другого, вы бы его отдали?

— Конечно,— отвечал упорный Дориан. — И не пожалел бы. Поэтому и вы не вправе сетовать, если у вас забирают осла, ибо вы его мучаете.

— Почему вы думаете,— спросил Дэлрой, — что я его мучаю?

— Я видел,— серьезно ответил Дориан, — что вы сели на него верхом (и впрямь, капитан, как некогда прежде, закинул в шутку ногу за спину осла). Разве это не так?

— Не так,— невинно отвечал капитан. — Я не езжу на ослах. Я боюсь.

— Бойтесь осла! — недоверчиво воскликнул Уимпол.

— Боюсь исторических аналогий, — сказал Дэлрой.

Они помолчали; потом Уимпол довольно холодно произнес:

— О, мы их давно изжили!

— Удивительно,— сказал капитан, — как легко мы изживаем чужое распятие.

— Что ж, — возразил поэт, — а вы распинаете осла.

— Как, это вы нарисовали распятого осла? — удивился Патрик Дэлрой. — Вы прекрасно сохранились! Совсем не старый... Хорошо; если осел распят, его надо снять с креста. Уверены ли вы в том, что умеете снимать ослов с креста? Это редчайшее искусство. Нужна практика. Доктора, например, плохо лечат редкие болезни. Если я, с точки зрения Вселенной, не умею обращаться с ослом, я все же отвечаю за него. Поймете ли вы его душу? Он очень тонок. Он сложен. Могу ли я положиться на то, что вы разберетесь в его вкусах? Мы так недавно знакомы.

Квудл, сидевший, словно сфинкс, под сенью сосен, выбежал на дорогу и вернулся. Выбежал он потому, что услышал звук; а вернулся потому, что звук замер. Но Дориан Уимпол был слишком поглощен своим философским открытием и не заметил ни звука, ни собаки.

— Во всяком случае,— гордо сказал он, — я не буду на нем ездить. Но этого мало. Вы оставляете его единственному человеку, который обрыскал небо и море в поисках тех, о ком все забывают.

— Этот осел очень занятен, — озабоченно сообщил капитан. — У него странные антипатии. Например, он терпеть не может, чтобы автомобиль грохотал, стоя на месте. меховое пальто он вынесет. Но если внизу бархатная куртка, он может укусить. Кроме того, держите его подальше от определенных



людей. Должно быть, вы их не встречали; по их мнению, те, у кого меньше двух тысяч дохода в год, пьяны и злы, а те, у кого больше — призваны судить мир. Если вы не пустите нашего дорожного осла в такое общество... Эй! Эй! Эй!

Он обернулся в искреннем страхе и побежал за Квудлом, который в свою очередь бежал за автомобилем. Вскочил он после пса, и только тут обнаружил, что едет очень быстро. Он взглянул вверх и увидел вывеску, осенявшую их, словно знамя. Пэмп чинно сидел рядом с шофером; там же лежали бочонок и сыр.

Капитан удивился гораздо больше других, но с трудом привстал и крикнул Уимполу:

— Он в хороших руках. Я не мучаю автомобилей.

Дориан и осел смотрели друг на друга в зачарованном основном лесу.

Для мистика, если у него есть ум (что не всегда бывает), нет лучших символов, чем поэт и осел. Осел был настоящим ослом. Поэт был настоящим поэтом, хотя иногда его принимали за осла. Мы никогда не узнаем, полюбил ли осел поэта; поэт осла полюбил, и любовь эта выдержала томительно долгое свидание в зачарованной чаше.

Но даже поэт, думаю я, понял бы что-нибудь, если бы видел белое, злое лицо своего шофера. Если бы он увидел его, он вспомнил бы, как называется, и даже подумал бы, как живет существо, которое не принадлежит ни к ослам, ни к устрицам; существо, о котором человек легко забывает с тех пор, как забыл о Боге в саду.

Глава 15

ПЕСНИ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛУБА

Пока автомобиль летел сквозь сказочные царства серебряных хвойных лесов, Дэлрой несколько раз пытался заговорить с шофером, но не преуспел, и ему пришлось просто спросить, куда тот едет.

— Домой,— отвечал шофер непонятным тоном. — Домой, к мамаше.

— Где она живет?— спросил Дэлрой с несвойственной ему недоверчивостью.

— В Уэллсе,— сказал шофер. — Я ее давненько не видел. Ничего, сгодится.

— Поймите,— с трудом сказал ирландец, — вас могут арестовать. Это чужой автомобиль. А владелец остался один, голодный и холодный.

— Пускай ест осла,— пробурчал шофер. — Осла с колючками. Поголодал бы с мое, так съел бы.

Хэмфри Пэмп отодвинул стекло, чтобы удобней было беседовать, и обернулся к другу.

— Боюсь,— сказал кабатчик, — он никогда не остановится. Как у нас говорят, сбесился, словно заяц.

— Неужели у вас так говорят? — с интересом спросил капитан. — А на Итаке так не говорили.

— Лучше оставь его в покое,— посоветовал Пэмп. — Еще врежется в поезд, как Дэнни Меттон, когда ему сказали, что он неосторожно правит. После мы как-нибудь отошлем автомобиль Айвивуду. А тому джентльмену совсем не вредно провести ночь с ослом. Осел его многому научит, помани мое слово.

— Конечно, он и сам отрицал частную собственность, — задумчиво сказал Дэлрой. — Но, видимо, он думал о прочном, стоячем доме. Такой перелетный домик иметь можно... Никак не пойму, — и он снова отер лоб усталой ладонью, — замечал ты, Хэмп, что странно в таких людях?

Автомобиль летел вперед. Пэмп уютно, молчал, и капитан продолжил:

— Этот поэт в кошачьей шубке не такой уж плохой. Лорд Айвивуд не жесток, но бесчеловечен. А этот не бесчеловечен, он — невежествен, как многие культурные люди. В них странно то, что они стремятся к простоте и не откажутся ни от одной сложной вещи. Если им придется выбирать между мясом и пикулями, они пожертвуют мясом. Если им придется выбирать между лугом и автомобилем, они запретят луга. Знаешь, в чем их тайна? Они отвергают только то, что связывает их с людьми. Пообедай с воздержанным миллионером, и ты увидишь, что он ни в малой мере не отверг закусок, или пяти блюд, или даже кофе. Он отказался от пива и шерри, потому что бедные любят их не меньше богатых. Пойдем дальше. Он не откажется от серебряных ложек, но откажется от мяса, потому что бедные любят мясо, когда могут его купить. Пойдем еще дальше. Он не мыслит жизни без сада или зала, которых у бедных нет. Но он гордится тем, что рано встает, потому что сон — радость бедных, едва ли не последняя. Никто не слышал, чтобы филантроп обходился без бензина, или без пишущей машинки, или без множества слуг. Куда там! Он обойдется без чего-нибудь простого и доступного — без пива, без мяса, без сна, — ибо они напоминают ему, что он только человек.

Хэмфри Пэмп кивнул, но промолчал, и голос Дэлроя взмыл вверх в пылу вдохновения, что обычно кончалось песней.

— Именно так,— сказал он, — обстояли дела с покойным мистером Макдраконом, популярным в английском свете, как простой демократ с Запада, но погибшим от руки невоздержанных людей, чьих жен застрелили его наемные сыщики.

Простою жизнью жил либерал, миллионер Макдракон,
Вина не пил, людей презирал и не любил жен.
Завтрак, что требовал он в мегафон, был неизменно прост;
И был он внимателен к своим избирателям, покуда метил на пост.
В спартанской спальне с давних пор
Держал он простенький прибор:
Нажмешь на кнопку — взрвет мотор,
Вращая колес хитроумный набор,
И без канители владельца с постели поднимут сто рычажков,
И будет умыт он, почищен, побрит он и к жизни скромной готов.

Миллионер Макдракон, либерал, изячно и просто одет,
Что он приличия соблюдал, можно узнать из газет:
На месте шляпа и башмаки, отлично сидит сюртук,
Вполне удобно каждой ноге в своей половине брюк.
А мог ведь облачиться он
И в древнегреческий хитон,
И в горностаевый капюшон,
И в алый бархат, как фанфарон,
Любитель вина и распутных ж е н , —
Но Макдракон, большой либерал, поборник жизни простой,
Как всем известно, пренебрегал роскошью и суетой.

Миллионер Макдракон, сражен во всей простоте своей,
Скончался и скромненько был сожжен, без всяких пышных затей.
Его серый, сухой, элегантный прах в земле никогда не сгниет,
Травой и цветами не прорастет, как древний Адамов род.
А мог бы стать сосной на горе,
Иль исчезнуть в волчьем нутре,
Иль, как язычник, на заре
Пылать на высокоом, почетном костре...
А мог разделить бы с нами ром и сыр на белом холсте, —
Но эта роскошь — не для тех, кто помешан на простоте!¹

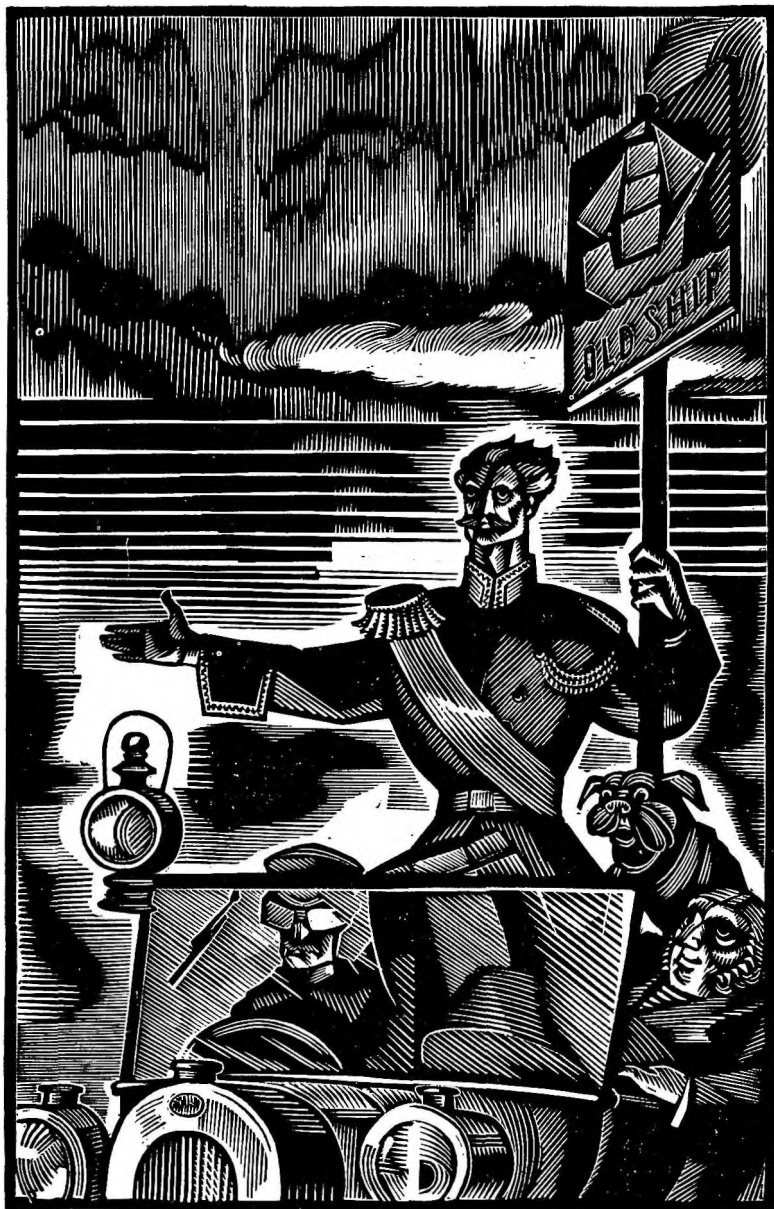
Пэмп несколько раз пытался остановить песню, но это было так же трудно, как остановить автомобиль. Однако сердитого шофера ободрили дикие звуки, и Пэмп счел своевременным начать поучительную беседу.

— Знаешь, капитан, — добродушно сказал о н , — я с тобой не совсем согласен. Конечно, иностранец может и надуть, как было с бедным Томсоном, но нельзя подозревать всех до единого. Тетушка Сара потеряла на этом тысячу фунтов. Я говорил ей, что он не из негров, а она не верила. Да и этот твой немец мог обидеться. Мне все кажется, капитан, что ты не совсем справедлив к ним. Возьмем тех же американцев. Сам понимаешь, много их побывало в Пэбблсвике. И ни одного плохого — ни подлого, ни глупого... словом, ни одного, который бы мне не понравился.

— Ясно, — сказал Д э л р о й . — Ни одного, которому бы не понравился «Старый корабль».

— Может, и так, — отвечал к а б а т ч и к . — Видишь, даже американец ценит мое заведение.

¹ © Перевод стихов. Шрейдер Ю. А., 1990 г.



— Странные вы люди, англичане, — сказал ирландец с внезапной и невеселой задумчивостью. — Иногда мне кажется, что вы все-таки выкрутитесь.

Он помолчал и прибавил:

— Ты всегда прав, Хэмп. Нельзя ругать янки. Богатые — мерзкий сброд в любой стране. А большинство американцев — самые вежливые, умные, достойные люди на свете. Некоторые объясняют это тем, что большинство американцев — ирландцы.

Пэммп молчал; и капитан закончил так:

— А все-таки человеку из маленькой страны трудно понять американца, особенно — когда он патриот. Не хотел бы я написать американский гимн, но вряд ли мне закажут. Постыдная тайна, мешающая мне создать патриотическую песню для большого народа, умрет со мной.

— А мог бы ты написать английскую? — спокойно спросил Хэмп.

— О, кровожадные тираны! — вознегодовал Патрик. — Мне так же трудно представить английскую песню, как тебе собачью.

Хэмфри Пэммп серьезно вынул из кармана листок, на котором он запечатлел грехи и невзгоды бакалейщика, и полез в другой карман за карандашом.

— Эге! — сказал Дэлрой. — Вижу, ты собираешься писать за Квудла.

Услышав свое имя, Квудл поднял уши. Пэммп улыбнулся немного смущенной улыбкой. Ему втайне польстила благосклонность друга к его предыдущей песне; кроме того, он считал стихи игрой, а игры любил; наконец, читал он без всякого порядка, но выбирал книги хорошие.

— Напишу, — сказал он, — если ты напишешь песню за англичанина.

— Хорошо, — согласился Патрик, тяжело вздохнув, что ни в малой мере не свидетельствовало о недовольстве. — Надо же что-то делать, пока он не остановится, а это — безвредная салонная игра. «Песни автомобильного клуба». Очень изысканно.

И он стал писать на чистом листе маленькой книжки, которую носил с собой, — «Noctes Ambrosianae»¹ Уилсона. Время от времени он смотрел на Пэмпа и Квудла, чье поведение очень его занимало. Владелец «Старого корабля» сосал карандаш и пристально смотрел на пса. Иногда он почесывал карандашом свои каштановые волосы и записывал слово. А Квудл, наделенный собачьим пониманием, сидел прямо, склонив голову, словно позировал художнику.

Случилось так, что песня Пэмпа, гораздо более длинная (что характерно для неопытных поэтов), была готова раньше, чем песня Дэлроя, хотя он и спешил ее кончить.

¹ «Амброзийные ночи» (лат.).

Первым предстали перед миром стихи, известные под названием «Безносье», но в действительности именующиеся Песней Квудла. Приводим лишь часть:

О люди-человеки ***¹,
Несчастный, жалкий род,
У вас носы — калеки,
Они глухи навеки,
Вам даже вонь аптеки
Носов не прошибет.

Вас выперли из рая,
И, видно, потому
Вам не понять, гуляя,
Как пахнет ночь сырая,
Когда из-за сарая
Ты внюхашься в тьму.

Прохладный запах влаги,
Грозы летучий знак,
Следы чужой дворняги
И косточки, в овраге
Зарытой, — вам, бедняги,
Не различить никак.

Дыханье зимней чащи,
Любви неслышный вздох,
И запах зла грозящий,
И утра дух пьянящий —
Все это, к славе вящей,
Лишь нам дарует Бог.

На том кончает Квудл
Перечисленье благ.
О люди, вам не худо ль?
На что вам ваша удаль —
На что вам ваша удаль
Безносых бедолаг?

Стихи эти тоже носили отпечаток торопливости, и нынешний издатель (чьа цель — одна лишь истина) вынужден сообщить, что некоторые строки были впоследствии выброшены по совету капитана, а некоторые — отредактированы самим Птичьим Поэтом. В описываемое время самым живым в них был припев: «Гав-гав-гав!», который исполнял Патрик Дэлрой и подхватывал с немалым успехом пес Квудл. Все это мешало капитану закончить и прочитать более короткое творение, в котором он обещал выразить чувства англичанина. Когда же он стал читать, голос его был неуверенным и хриплым, словно он еще толком не кончил. Издатель (чьа цель — истина) не станет скрывать, что стихи были такими:

¹ © Перевод стихов, отмеченных ***. Кружков Г. М., 1990 г.

Когда святой Георгий
Дракона повстречал,
В английском добром кабаке
Он пива заказал.
Он знал и пост, и бдения,
И власяницу знал,
Но только после пива
Драконов убивал.

Когда святой Георгий
Принцессу увидал,
Он в добром старом кабаке
Овсянку заказал.
Он знал законы Англии,
Ее порядки знал
И только после завтрака
Принцесс освобождал.

Когда святой Георгий
Нашу Англию спасет
И в битву за свободу нас,
Отважных, поведет,
Он прежде пообедает,
И выпьет он вина,
Ему досталась мудрая
И добрая страна¹.

— Весьма философская песня, — сказал капитан, важно качая головой. — Глубокомысленная. Я и впрямь считаю, что в этом вся ваша суть. Враги говорят, что вы глупы. Сами вы гордитесь неразумием, и гордость эта — единственная ваша глупость. Разве станешь сильнее оттого, что не понимаешь химии или простой считалки? Но это правда, Хэмп. Вы — поэтические души, вас ведут ассоциации. Англичанин не примет деревни без сквайра и пастора, колледжа без портвейна и старого дуба. Поэтому вас и считают консерваторами; но дело не в том. Дело в тонкости чувств. Вы не хотите разделять привычную пару не потому, что вы глупы, Хэмп, а потому, что вы чувствительны. Вам льстят и лгут, приписывая любовь к компромиссу. Всякая революция, Хэмп, — это компромисс. Неужели ты думаешь, что Вулф Тоун или Чарлз Стюарт Парнелл никогда не шли на компромисс? Нет, вы боитесь компромисса, и потому не восстанете. Когда бы вы захотели преобразовать кабак или Оксфорд, вам пришлось бы решать, что оставить, чем пожертвовать. А это разбило бы вам сердце, Хэмфри Пэмп.

Лицо его стало задумчивым и багровым, он долго смотрел вперед, потом мрачно сказал:

— В таком поэтическом подходе, Хэмп, только два недостатка. Первый — тот, по чьей вине мы попали в эту переделку. Когда вашим милым, прекрасным, пленительным творением за-

¹ Перевод А. Якобсона.

владевает человек другого типа, другого духа, лучше бы вам было жить под гнетом точных французских законов. Когда английской олигархией правит англичанин, лишенный английских свойств, тогда получается весь этот кошмар, конец которого ведом только Богу.

— А другой недостаток,— еще мрачнее продолжал о н , — другой недостаток, мой учтивый поэт, таков. Если, странствуя по Земле, вы найдете остров (скажем, Атлантиду), который не примет *всех* ваших красот, вы не дадите ничего, и скажете в сердце своем: «Пускай гибнут», и станете жесточайшими из земных владык.

Уже светало, и Пэмп, узнавший местность чутьем, понял, что окраина городка — иная, западная. Быть может, шофер сострил насчет Уэллса, но ехал он в том направлении.

Белое утро заливало молоком серый камень. Несколько встающих рано рабочих казались более усталыми, чем другие люди к вечеру. Усталыми казались и домики, они едва стояли и вдохновляли капитана на задумчивую, но пылкую речь.

— Всякий знает, а не знает — так думает, что идеалисты бывают двух родов. Одни идеализируют реальное, другие — их намного меньше — воплощают идеальное. Такие поэтические натуры, как вы, обычно идеализируете реальное. Это я выразил в песне, которую...

— Не надо! — взмолился ка ба т ч и к . — Попозже, капитан.

— ...сейчас с п о ю , — закончил непоколебимый Дэлрой.

И замолчал, ибо летящий мир остановился. Замерли изгороди, твердо встали леса, домики предместья внезапно ободрились. Подобный выстрелу звук остановил автомобиль, как остановил бы его настоящий выстрел.

Шофер медленно вылез и несколько раз, в глубокой грусти, обошел свою колесницу. Он открыл неожиданное множество дверок и что-то трогал, что-то крутил, что-то ощупывал.

— Надо мне в этот гараж, с э р , — сказал он озабоченным, хриплым голосом, которого они еще не слышали.

Потом он оглядел лес и домики и прикусил губу, словно генерал, допустивший крупную ошибку. Он был по-прежнему мрачен, но голос его заметно приблизился к своему будничному звучанию.

— Да, влопался я, — сказал о н . — Влетит мне, когда я приеду.

— Приедете? — повторил Дэлрой, широко открывая большие синие г л а з а . — Куда вы приедете, собственно?

— Ну, сэр, — рассудительно сказал ш о ф е р . — Хотел я ему показать, что я вожу, а не он. И вот, мотор повредил. Как говорится, незадача...

Капитан Патрик Дэлрой выскочил на дорогу так быстро, что автомобиль покачнулся. Собака, неистово лая, выскочила за ним.

— Хэмп,— негромко сказал Патрик, — я все про вас понял. Теперь я знаю, что меня злит в англичанах.

Он помолчал немного.

— Прав был тот француз, который сказал, что вы идете на площадь, чтобы убить время, а не тирана. Наш друг был готов взбунтоваться, — и что же? Читаешь ты «Панч»? Конечно, читаешь. Только Пэмп и «Панч» и остались от века Виктории. Помнишь прекрасную карикатуру? Два оборванных ирландца с ружьями поджидают за камнем помещика. Один говорит, что помещик запаздывает. Другой отвечает: «Надеюсь, с ним ничего не случилось». Что ж, это правда, но я открою тебе секрет. Он не ирландец, он англичанин.

Шофер дотащил бездыханный автомобиль до гаража, который отделяла от молочной узкая, как щель, улочка. Однако она была не так узка, ибо Патрик Дэлрой исчез в ней.

Очевидно, он выманил шофера, поскольку тот или кто-то ему подобный ушел за ним и вышел снова с виноватой торопливостью, поднося руку к кепке и засовывая что-то в карман. Потом он исчез в гараже и появился опять; в руках у него были какие-то странные предметы.

Хэмфри Пэмп наблюдал все это с немалым интересом. Повидимому, здесь собирались шоферы — иначе трудно объяснить, почему очень высокий шофер в темных очках и кожаной куртке подошел к кабатчику и вручил ему такие же очки и куртку. Особенно же странно, что шофер этот сказал:

— Надень это, Хэмп, и пойдем в молочную. Я жду, пока подадут автомобиль. Какой автомобиль, мой искатель истины? Тот, который я купил, а ты поведешь.

Совестливый шофер после многих приключений добрался до леса, где оставил осла и хозяина. Но и осел, и хозяин исчезли.

Глава 16

СЕМЬ СОСТОЯНИЙ ДОРИАНОВА ДУХА

Не ведающие времени часы безумцев, сверкавшие так ярко в ту ночь, быть может, и впрямь приносили счастье, как серебряная монета. Они не только посвятили мистера Гиббса в таинства Диониса и научили мистера Булроза повадкам далеких предков, но и произвели немалую перемену в душе Птичьего Поэта. Он был не хуже и не глупее Шелли; просто он жил в лживом и сложном мире, где ценятся слова, а не предметы. Ни в малой мере не хотел он уморить своего шофера; просто он не знал, что забыть человека хуже, чем убить. Долго пробыл он наедине с ослом и луной, и много раз изменилось то, что его ученые друзья назвали бы состоянием духа.

Первое состояние, как это ни грустно, было черной злобой. Он и не думал, что шофер голоден; он полагал, что его подкупили, а может — запугали демонические ослубийцы. В эти минуты мистер Уимпол был готов терзать своего шофера гораздо страшнее, чем терзал осла мистер Пэмп, ибо здравомыслящий человек не способен ненавидеть животное. Поэт расшвыривал ногами камешки — они летели в чашу — и страстно желал, чтобы каждый из них был шофером. Он вырывал с корнем травы, представляя, что это — волосы врага, ничуть на них не похожие. Он колотил кулаками по тем деревьям, которые, как я полагаю, особенно напоминали предателя, но оставил это, заметив, что дерево крепче его. Весь мир и весь лес стал вездесущим шофером, и он по возможности старался ему повредить.

Вдумчивый читатель поймет, что мистер Уимпол поднялся значительно выше по лестнице духовного совершенства. Если не любишь ближнего, сумей его ненавидеть, особенно когда он бедней тебя и отделен стеной социальной гордыни. Заря народолюбия забрезжила для многих, кому захотелось поколотить дворецкого. Такой безупречный историк, как Хэмфри Пэмп, сообщает нам, что сквайр Мэрримен гнался через три деревни за своим библиотекарем и с той поры стал радикалом.

Кроме того, гнев облегчил душу поэта и он перешел ко второму состоянию — раздумью.

— Грязные обезьяны, — пробормотал он. — А еще называют осла низшим животным. Ездить на осле, нет, вы подумайте! Поездил бы осел на нем! Хороший ослик, хороший...

Терпеливый осел обратил к нему кроткий взор в ответ на ласку, и Дориан с удивлением понял, что действительно любит его. В неисповедимой глубине души он ощущал, что никогда не любил ни одно животное. Его стихи о самых причудливых созданиях были вполне искренни и вполне холодны. Когда он писал, что любит акулу, он не лгал. Нет оснований ее ненавидеть, если ее избегаешь. Спрут безопасен и в аквариуме, и в сонете.

Понял он и другое; его любовь к животным как бы перевернулась. Осел был товарищем, а не чудовищем. Он был мил потому, что он рядом, а не потому, что он невесть где. Устрица привлекала поэта тем, что удивительно непохожа на нас, если не счесть мужской причудой ее бороду (образ этот ничуть не более дик, чем сравнение жемчужины с женской слезой). Но в невыносимом и вынужденном бдении среди таинственных сосен осел все больше привлекал Дориана тем, что похож на человека; тем, что у него есть очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, даже слишком большие.

— Имеющий уши да слышит, — сказал Дориан, ласково почесывая лопухи, покрытые серой шерсткой. — Разве не ты вздымал их к небу? Разве не ты услышишь первым трубы последнего суда?

Осел потерял об него носом с почти человеческой нежностью, и Дориан подумал, может ли выразить нежность беззащитная устрица. Все было прекрасным вокруг, но не человеческим. Лишь в помрачении гнева увидел он в сосне черты человека, водившего некогда такси по Лондону. Деревья и папоротники не могли помахать ушами и обратить к тебе кроткий взор. Он снова погладил осла.

Осел примирил его с пейзажем, и в третьем состоянии духа он понял, как здесь красиво. Собственно говоря, красота эта была не такой уж бесчеловечной. Сияние луны, опускавшейся за деревья, казалось прекрасным именно потому, что напоминало ореол девственниц на старой миниатюре, а тонкие стволы обретали особое благородство, ибо держали крону с той строгостью, с какой девственница держит голову. В сознание его незаметно проникали мысли, доселе неведомые, и он вспоминал старинные слова: «образ Божий». Ему представлялось, что все, от осла до папоротника, облагорожено и освящено своим сходством с чем-то, но несовершенно, как детский рисунок, робкий и грубый набросок в каменном альбоме природы.

Он опустился на кучу сосновых игл, радуясь тому, как темнеет лес, когда луну скрывают деревья. Нет ничего прекрасней соснового бора, где серебро ближних сосен мерцает на фоне сосен серых, а дальше темнеет тьма.

Именно тогда, в радости и праздности, он взял сосновую иглку и принялся рассуждать.

— Я и впрямь сижу на иголках! — сказал о н . — Должно быть, ими шила Ева. Какое верное предание! Разве посидишь на иголках в Лондоне? Разве посидишь на иголках в Шеффилде? Нет, на иголках можно сидеть только в раю. Да, старая легенда права. Иголки Божьи мягче людских ковров.

Ему нравилось, что мелкие лесные создания выползают из-под зеленых лесных завес. Он вспомнил, что в той легенде они смирны, как осел, и, наверное, так же смешны. Подумав о том, что Адам давал им имена, он сказал жуку: «Я бы назвал тебя шуршалкой».

Очень позабавили его улитки; позабавили и черви. Он ощутил к ним новый, конкретный интерес, какой ощущает узник к м ы ш а м , — интерес человека, привязанного за ногу и принужденного отыскивать прелесть мелочей. Черви и гусеницы ползли медленно, но он терпеливо ждал, зачарованный знакомством с ними. Один червяк особенно привлек его, ибо оказался длинней других и повернул голову к ослиной ноге. Как видно, голова у него была, хотя у червей их не бывает.

Дориан Уимпол мало знал об естественной истории кроме того, что вычитал из справочника. Поскольку сведения эти касались причин смеха у гиены, здесь они помочь не могли. Однако что-то он все-таки знал. Он знал, что у червя не должно быть головы, особенно — плоской и квадратной, как лопата или до-

лото. Он знал, что создание с такой головой встречается в Англии, хотя и нечасто. Словом, он знал достаточно, чтобы выскочить на дорогу и дважды придавить змею каблуком, так что она превратилась в три обрывка, которые еще подергались прежде, чем замереть.

Потом он глубоко вздохнул. Осел, чья лапа была в такой опасности, смотрел на убитую гадюку нежным, светящимся взором. И Дориан смотрел на нее с чувствами, которых не мог ни подавить, ни понять, пока не припомнил, что недавно сравнил этот лес с Эдемом.

— Но даже и в раю... — проговорил он, и слова Фицджеральда замерли на его устах.

Пока он был занят такими речами и мыслями, с ним и вокруг него что-то случилось. Он писал об этом сотни раз, читал тысячи, но никогда этого не видел. Сквозь гущу ветвей сочился слабый жемчужный свет, намного более таинственный, чем свет луны. Он входил во все двери и окна леса, смиренно и тихо, как человек, пришедший на свидание. Вскоре его белые одежды сменились золотыми и алыми; и звался он рассветом.

Птицы пели над головой своего певца, но старания их пропали втуне. Когда певец увидел наяву, как ясный дневной свет рождается над лесом и дорогой, с ним произошло нечто удивительное. Он стоял и смотрел, несказанно дивясь, пока свет не достиг всей своей сияющей силы, и сосны, папоротники, живой осел, мертвая змея не стали четкими, как в полдень или на картине прерафаэлитов. Четвертое состояние духа упало на него с небес. Он схватил осла под уздцы и повел его по дороге.

— К черту! — крикнул он весело, как петух, запевший в соседней деревне. — Не всякий убьет змею. — И он прибавил задумчиво: — Доктор Глюк ни за что бы не убил. Идем, ослик! Нам не хватает приключений.

Всякая радость, даже грубый смех, начинается с того, что мы найдем и сразим что-нибудь явственно дурное. Теперь, когда он убил змею, дикий лесной край стал веселым. Одним из недостатков его литературного круга было то, что естественные чувства носили в нем книжные имена; но он и впрямь перешел из состояния Метерлинка к состоянию Уитмена, из состояния Уитмена — к состоянию Стивенсона. Он не притворялся, когда мечтал о золотоперых птицах Азии и пурпурных полипах Тихого океана; не притворялся и сейчас, когда искал смешных приключений на обычной английской дороге. Не по ошибке, а по несчастью первое его приключение стало и последним и оказалось слишком смешным, чтобы посмеяться.

Светлое утреннее небо было уже голубым и покрылось мягкими розовыми облачками, породившими поверье, что свиньи иногда летают. Насекомые так резво болтали в траве, словно травинки стали зелеными языками. Предметы, скрывавшие гори-

зонт, прекрасно подходили к разудалой комедии. По одну сторону стояла мельница, в которой мог бы жить мельник Чосера, с которой мог бы сражаться Дон Кихот. По другую сторону торчал шпиль церквушки, на которую мог бы взбираться Роберт Клайв. Впереди, у Пэбблсвика, торчали два столба; Хэмфри Пэмп утверждал, что прежде там были детские качели, туристы же полагали, что это старинные виселицы. Среди таких веселых вещей Дориан, как и подобает, бодро шел по дороге. Осел напомнил ему о Санчо Пансе.

Белая дорога и бодрый ветер радовали его, пока не загудел, а потом — не завыл автомобильный клаксон, земля не содрогнулась и чья-то рука не легла на его плечо. Подняв взор, он увидел полицейского в форме инспектора. Лица он не заметил. На него сошло пятое состояние духа, именуемое удивлением.

В отчаянии взглянул он на автомобиль, затормозивший у изгороди. Человек за рулем сидел так прямо и неколебимо, что Дориан угадал полицейского и в нем; человек же, лежавший на заднем сиденье, кого-то ему напомнил. Он был долговяз и узкоплеч, а весьма измятый костюм говорил о том, что некогда он знал аккуратность. Клок соломенных волос стоял прямо над лбом, словно рог одного из животных, упоминаемых в книге, о которой поэт недавно думал. Другой клок падал на левый глаз, приводя на ум притчу о бревне. Глаза — с соломинками или без них — глядели растерянно. Незнакомец нервно поправлял сбившийся галстук, ибо звали его Гиббсом и он еще не оправился от неведомых прежде ощущений.

— Что вам угодно? — спросил полисмена Уимпол.

Невинный, удивленный взор, а может, и что иное в его внешности, несколько поколебали инспектора.

— Мы насчет осла, с э р, — сказал он.

— Думаете, я его украл? — вскричал разгневанный вельмож а . — Ну, знаете! Воры угнали мой лимузин, я спас ослу жизнь, чуть не умер, и *меня* еще обвиняют!

Вероятно, одежда аристократа говорила громче, чем его язык. Инспектор опустил руку, посмотрел в какую-то бумажку и пошел совещаться с обитателем заднего сиденья.

Мистер Гиббс весьма туманно помнил тех, кого встретил в саду. Он даже не знал, что было наяву, а что ему приснилось. Говоря откровенно, он должен был описать какой-то лесной кошмар, где он попал в лапы людоеда футов двенадцати ростом, с ярким пламенем на голове и в одежде Робина Гуда. Но он не мог этого сделать, как не мог открыть никому (даже себе) своих истинных мнений, или плюнуть, или запеть. Сейчас у него было три желания, три решения: 1) не признаваться, что он напился; 2) не упустить тех, кто нужен Айвивуду, и 3) не утратить репутации тактичного, проницательного человека.

— Этот джентльмен в бархатной куртке и меховом пальто,— продолжал полицейский. — А я записал с ваших слов, что вор был в форме.

— Когда мы говорим «форма», — сказал Гиббс, вдумчиво хмурясь, — мы должны точно знать, что имеем в виду. Многие из наших друзей, — и он снисходительно улыбнулся, — не назвали бы его одежду формой в буквальном смысле слова. К примеру, она ничуть не походила на вашу форму, ха-ха!

— Надеюсь, — коротко сказал полицейский.

— Как бы то ни было, — промолвил Гиббс, вновь обретая свой талисман, — в темноте я мог не разглядеть, что это коричневый бархат.

Инспектор удивился его словам.

— Светила л у н а, — возразило н . — Как прожектор.

— Вот именно! — вскричал Гиббс и торопливо, и протяжно . — Луна обесцвечивает все. Цветы и те...

— Послушайте,— сказал инспектор, — вы говорили, что он рыжий.

— Блондин, блондин! — сообщил Гиббс, небрежно помахивая рукой . — Такие, знаете ли, золотистые, рыжеватые, светлые волосы . — Он покачал головой и произнес с максимальной торжественностью, которую вынесет эта фраза: — Тевтонский тип. Чистый тевтонский тип.

Инспектор подивился, что даже в суматохе, вызванной ранением лорда Айвивуда, ему дали такого проводника. На самом деле Ливсон, снова скрывший страх под личиной деловитости, нашел у стола встрепанного и заспанного Гиббса, который собирался принять испытанное снадобье. Секретарь считал, что, и едва очнувшись от опьянения, можно узнать такого человека, как капитан.

Хотя бесчинства тактичного журналиста почти кончились, трусость его и хитрость были начеку. Он чувствовал, что человек в меховом пальто как-то связан с тайной, ибо люди в меховых пальто не гуляют с ослиами. Он боялся оскорбить Айвивуда и боялся выдать себя инспектору.

— Здесь нужна большая осторожность, — серьезно сказал о н . — Ее требуют общественные интересы. Полагаю, вы вправе в данное время предупредить побег.

— А где другой? — озабоченно спросил инспектор . — Может, убежал?

— Другой... — повторил Гиббс, глядя на мельницу из-под век, словно в тонкой проблеме возникла новая сложность.

— Черт возьми,— сказал инспектор, — должны же вы знать, сколько их там было.

Обьятый ужасом Гиббс постепенно понял, что именно этого он не знает. Он вечно слышал и читал в юмористических журналах, что у пьяных двоится в глазах, и они, скажем, видят два фонаря, один из которых, как выразился бы философ, совершенно

субъективен. Вполне могло случиться, что в его подобном сну приключении ему примерещились два человека, тогда как был там один.

— Ах, два ли, один ли! — небрежно бросил он. — Мы еще успеем их сосчитать, навряд ли их много. — Тут он покачал головой. — Как говорил покойный лорд Гошен, «вы ничего не докажете статистикой».

Его прервал человек, стоявший на дороге.

— Сколько мне слушать эту чушь? — нетерпеливо пропел Птичий Поэт. — Не хочу и не буду! Пойдем, ослик, попросим у неба лучших приключений. Очень уж глупые образцы твоей породы.

И, схватив осла под уздцы, он побежал чуть ли не галопом.

К несчастью, гордая жажда свободы произвела на колеблющегося инспектора невыгодное впечатление. Если бы Уимпол постоял еще минуту-другую, неглупый полисмен убедился бы в неумняемости Гиббса. Теперь же он поймал беглеца, немного пострадавшего при этом, и высокородного Дориана вместе с ослом препроводили в деревню. Там был участок, а в участке была камера, где он и испытал шестое состояние духа.

Однако жалобы его были так шумны и убедительны, а пальто так элегантно, что после недолгих расспросов его решили доставить к Айвивуду, который еще не мог двигаться после операции.

Лорд Айвивуд лежал на лиловой тахте в самой сердцевине головоломных восточных комнат. Когда они вошли, он глядел вдаль, ожидая с римским бесстрашием побежденного врага. Но леди Энид, ухаживавшая за ним, громко вскрикнула, трое близких родственников воззрились друг на друга. О том, что они в родстве, можно было догадаться, ибо все трое, как сказал бы Гиббс, принадлежали к тевтонскому типу. Но у двоих взгляд выражал удивление, у одного — ярость.

— Мне очень жаль, Дориан, — сказал Айвивуд, выслушав кузена. — Боюсь, эти одержимые способны на все. Ты вправе сердиться, что они украли у тебя автомобиль...

— Ты ошибаешься, Филип, — пылко возразил поэт. — Я ничуть на них не сержусь. Я сержусь на то, что Божья земля терпит этого идиота (он указал на инспектора), и этого идиота (он указал на Гиббса), и, черт меня подери, *этого* (и он указал на самого лорда). Скажу тебе прямо: если два человека действительно нарушают твои законы и портят тебе жизнь, я очень рад предоставить им свой автомобиль. До свиданья.

— Ты не останешься обедать? — с холодным безгневием спросил Айвивуд.

— Нет, спасибо, — сказал бард, исчезая. — Я еду в город.

Седьмое состояние духа овладело им в кафе «Рояль» и определялось устрицами.

Глава 17

ПОЭТ В ПАРЛАМЕНТЕ

Когда Дориан Уимпол, член парламента, столь странно появился и исчез, леди Джоан смотрела из волшебного окна башни, которого теперь в прямом, а не в переносном смысле кончался Айвивудов дом. Старую дыру на черную лестницу, любезную Квудлу, уже заделали, а стену оклеили изысканными восточными обоями. Лорд Айвивуд зорко следил, чтобы в узорах не было живых существ; но, подобно всем умным догматикам, умело использовал все, что разрешала догма. Дальнюю часть дома украшали светила, солнца и звезды, Млечный Путь и кометы для развлечения. Все это выполнили прекрасно (иначе не бывало, если заказывал Филип Айвивуд), и когда сине-зеленые шторы были задвинуты, поэтическая душа, оценившая, словно Гиббе, шампанское из здешних погребов, могла подумать, что стоит у моря в звездную ночь. Даже Мисисра, со всей своей дотошностью, не мог бы назвать животным луну, не впадая в идолопоклонство.

Но Джоан, стоя у окна, видела настоящее небо и настоящее море и думала об астрономических обоях не больше, чем о каких-либо других. В тысячный раз, печально и взволнованно, она задавала себе вопрос, который не могла решить. Ей нужно было сделать выбор между честолюбием и воспоминанием; выбору сильно мешало то, что честолюбие могло обрести плоть, а воспоминание — навряд ли. Это случается часто с тех пор, как сатана стал князем мира сего. Над берегом моря сверкали крупные звезды, весомые, словно алмазы.

Как прежде, на берегу, мрачные раздумья прервал шелест юбок. Леди Энид так спешила только в серьезных случаях.

— Джоан! — взывала она. — Иди сюда! Только ты можешь с ним справиться.

Немного побледнев, Джоан взглянула на нее и увидела, что она вот-вот заплачет.

— Филип хочет ехать в Лондон, с такой ногой, — воскликнула Энид, — и ничего не слушает!

— Что там у них случилось? — спросила Джоан.

Этого леди Энид Уимпол объяснить не могла, и потому объяснит автор. Случилось то, что Айвивуд, просматривая газеты, наткнулся на заметку из центральных графств.

— Турецкие новости, — нервно сказал Ливсон, — на другой стороне листа.

Но лорд Айвивуд смотрел на ту сторону, где этих новостей не было, так же достойно и спокойно опустив веки, как тогда, когда он читал записку от капитана.

Среди местных происшествий красовался заголовок: «Отзвук пэбблсвикской тайны. Наш репортер о новом появлении перелетного кабака». Дальше шел обычный шрифт.

«Согласно странным сообщениям из Уиддингтона, таинственная вывеска «Старого корабля» снова появилась в графстве, хотя ученые давно доказали, что она существует лишь в призрачном краю сельских суеверий. По словам местных жителей, м-р Симмонс, владелец молочной лавки, находился в своем заведении, когда туда вошли два шофера, один из которых спросил молока. Лица их были не видны из-под темных очков и поднятых воротников, и мы можем сказать только, что один очень высок. Через несколько минут высокий шофер вышел на улицу и вернулся с неприглядным субъектом из тех, кто оскверняет улицы наших городов и даже просит милостыню в нарушение закона. Субъект был так грязен и слаб, что м-р Симмонс отказался продать ему молока, которого спросил для него высокий шофер. Однако впоследствии он согласился и немедленно вслед за этим произошел инцидент, справедливо возмутивший его.

Высокий шофер сказал оборванцу: «Да ты совсем посинел», и сделал знак шоферу пониже, у которого висел на груди какой-то цилиндрический предмет, откуда они и подлили в молоко желтоватой жидкости, в дальнейшем оказавшейся ромом. Можно себе представить негодование м-ра Симмонса. Однако высокий шофер горячо защищал свои действия, считая их, по-видимому, добрым делом. «Он едва держался,— сказал шофер, — он такой голодный и холодный, словно потерпел крушение. А если бы он потерпел крушение, даже пират дал бы ему рому, клянусь святым Патриком». Мистер Симмонс ответил с достоинством, что ничего не знает о пиратах, но в своей лавке таких выражений не потерпит. Кроме того, он сообщил, что полиция явится к нему, если он разрешит распивать спиртные напитки, поскольку у него нет вывески. К его удивлению, шофер ответил: «Есть, старикашечка, есть. Кто-кто, а я повсюду узнаю наш «Корабль». Убежденный в том, что посетители пьяны, м-р Симмонс отверг нагло поднесенный ему стакан рому и вышел из лавки, чтобы кликнуть полицейского. Как это ни поразительно, полицейский разгонял немалую толпу, взиравшую на какой-то предмет. Оглянувшись, почтенный лавочник, по собственным его словам, увидел вывеску одного из гнусных кабаков, еще недавно кишевших в Англии. Появления вывески он объяснить не мог. Поскольку она придавала законность действиям шофера, полиция вмешаться не стала.

Позже. По-видимому, шоферы покинули город в маленьком подержанном автомобиле. Путь их неизвестен, хотя некоторый ключ к загадке дает следующий инцидент. Когда они ожидали второго стакана, один из них заметил жестянку с горным молоком, которое так усердно рекомендуют светила нашей медицины. Высокий шофер (до странности невежественный во всем, что касается современной науки и современной жизни) спросил у своего спутника, что это такое, а тот справедливо ответил, что

указанный продукт изготавливается в образцовой деревне Миролубец под личным руководством д-ра Мидоуса. Тогда высокий шофер, по-видимому, крайне безответственный, купил всю жестянку, заявив, что на ней записан нужный ему адрес.

Последнее сообщение. Читатели будут рады узнать, что легенда о вывеске снова не устояла перед здравым скепсисом науки. Наш корреспондент прибыл в Уиддингтон после того, как оттуда уехали незадачливые шутники; и, оглядев фасад лавки, не нашел ни следа мифической вывески, в чем мы и заверяем читателей».

Лорд Айвивуд положил газету и посмотрел на пышный замысловатый узор обоев, словно генерал, догадавшийся, как разгромить врага, изменив план кампании. Классический профиль был неподвижнее камня, но всякий, кто знал Айвивуда, понял бы, что мысли его несутся быстрее, чем автомобиль, давно превысивший скорость.

Наконец он обернулся и сказал:

— Пожалуйста, велите Хиксу подать синий лимузин через полчаса. Кушетка туда войдет. Садовнику прикажите сделать палку четыре фута девять дюймов длиной и прибить к ней перекладину. Это будет костыль. Я еду в Лондон.

Нижняя челюсть мистера Ливсона отвисла от удивления.

— Доктор сказал, три недели, — проговорил он. — Разрешите спросить, куда вы едете?

— В парламент, — отвечал Айвивуд.

— Я мог бы передать письмо, — сказал Ливсон.

— Могли бы, — согласился Айвивуд. — Но вряд ли вам разрешат сказать речь.

Через минуту-другую вошла леди Энид Уимпол и тщетно пыталась его отговорить, и отправилась за подругой. Джоан увидела, что Филип уже стоит, опираясь на костыль, и восхитилась им, как никогда не восхищалась. Пока его вели вниз и помещали в автомобиль, она ощущала, что он достоин своего рода, этого моря и этих холмов. Божий ветер, называемый волей — единственное наше оправдание на земле, — коснулся ее лица. В звуках клаксона ей слышались сотни труб, созывавших ее и его предков в третий крестовый поход.

Воинские почести мерещились ей не зря. Лорд Айвивуд и впрямь увидел как стратег всю ситуацию и создал план, достойный Наполеона. Факты лежали перед ним; и он с привычной ясностью распределял их, словно расписывал по пунктам.

Во-первых, он знал, что Дэлрой поедет в образцовую деревню, ибо не может упустить такого места. Он знал, что Дэлрой просто неспособен оставить подобное селенье без скандала.

Во-вторых, он знал, что, упустив там Дэлроя, он вообще его упустит, ибо враги достаточно умны, чтобы не оставлять следов.

В-третьих, по размышлении, он решил, что они доберутся туда в дешевом автомобиле не раньше, чем через два дня, а то и через три. Таким образом, время у него было.

В-четвертых, он понял, что в тот далекий день Дэлрой обернул против него его же собственный закон. Издавая этот закон, лорд Айвивуд резонно полагал, что кабаки исчезнут. Он делал именно то, что и полагается в таких случаях, — вывеска становилась привилегией, знаком касты. Если джентльмен хотел предаться богемной свободе, ему ничто не мешало. Если обычный человек хотел достойно выпить, путь был закрыт. Постепенно питейные заведения должны были стать диковинкой, как старый токай или вересковый мед. План был достоин государственного мужа. Но, подобно многим таким планам, он не учитывал того, что мертвое дерево может двигаться. Пока его перелетные враги втыкали вывеску где угодно, народ мог и радоваться, и негодовать, но главное — он волновался. Только одно было хуже, чем появление кабака, — его исчезновение.

Айвивуд понимал, что его же закон помогает им ускользать, ибо местные власти не решаются поднять руку на столь редкий, а потому столь весомый символ. Значит, закон надо изменить. Изменить сразу; изменить, если можно, прежде, чем беглецы покинут Миролубец.

Еще он понимал, что сейчас четверг. По четвергам каждый член парламента может внести законопроект и провести его без диспута, если никто не возразит. Он понимал, что возражать не будут, поскольку Айвивуд внесет дополнение в свой собственный закон. Он понимал, наконец, что дополнения достаточно маленького. К закону (который он знал наизусть) нужно прибавить слова: «...если полиция не извещена за три дня». Парламент не станет отвергать и даже обсуждать такую мелочь. И мятеж «Старого корабля» будет подавлен, бывший король Итаки — побежден.

Как мы уже говорили, в лорде Айвивуде было что-то наполеоновское, ибо все это он придумал прежде, чем увидел большие сверкающие часы на башне и понял, что чуть не опоздал.

К несчастью, в это же самое время или чуть позже джентльмен того же ранга и того же рода вышел из ресторана на Риджент-стрит, неспешно направился по Пикадилли к Уайтхоллу и увидел тот же золотой, колдовской глаз на высокой башне.

Птичий Поэт, как многие эстеты, знал город не лучше, чем деревню, но он помнил, где можно поесть. Проходя мимо холодных каменных клубов, похожих на ассирийские усыпальницы, он припомнил, что состоит почти во всех. Завидев вдалеке высокое здание, которое ошибочно зовут лучшим клубом Лондона, он вспомнил, что состоит в нем. Он забыл, какой округ Южной Англии дал ему это право, но он мог войти

туда, если захочет. Должно быть, он нашел бы иные слова, но он знал, что в странах, где царит олигархия, важны лица, а не законы, визитные карточки, а не избирательные бюллетени. Он давно не был здесь, поссорившись когда-то с прославленным патриотом, попавшим впоследствии в сумасшедший дом. Даже в самую глупую свою пору он не почитал политики и бестрепетно забывал о существах, принадлежащих к его партии или к партии его противников. Лишь однажды он произнес речь о гориллах и обнаружил, что выступил против своих. Мало кого тянет в парламент. Сам Айвивуд ходил туда лишь по крайней необходимости, как в этот день.

Лорд Айвивуд отказался от места в палате лордов, чтобы его избрали в палату общин, и принадлежал он к оппозиции. Как мы сказали, в парламенте он бывал редко, однако знал его хорошо и не направился в зал. Он проковылял в курительную (хотя не курил), спросил ненужную сигару и нужный листок бумаги и написал короткую, продуманную записку одному из членов кабинета, который, несомненно, был здесь. Отослав ее, он стал ждать.

Дориан Уимпол тоже ждал, облокотившись о парапет Вестминстерского моста и глядя на реку. Он сливался с устрицами в новом, более реальном смысле и жадно пил крепкий вегетарианский напиток, носящий высокое, звездное имя вечера. Душа его пребывала в мире со всем, даже с политикой. Наступил тот волшебный час, когда золотые и алые огни огоньками гномов загораются над рекою, но холодный, бледно-зеленый свет еще не исчез. Река вызывала в нем светлую печаль, которую два его соотечественника, Тернер — в живописи, Генри Ньюболт — в стихах, уподобили белому кораблю, обращающемуся в призрак. Он вернулся на землю, словно упал с луны, и оказался не только поэтом, но и патриотом; а патриот всегда немного печален. Однако к печали его примешивалась та стойкая, хотя и бессмысленная вера, которую даже в наши дни испытывает почти каждый англичанин, увидевший Вестминстер или собор святого Павла.

Пока священная река
Течет, священная гора
Стоит... —

пробормотал он, словно припомнив, как заучивал в школе балладу,

Пока священная река
Течет, священная гора
Стоит, тупые гордцы,
Велеречивые глупцы,
Дивясь тому, как ловко лгут,
Нередко собирают тут

Свой шутовской синедрин
И в душной комнате кричат,
Где меньше окон, чем в аду.
Дана им эта честь...

Облегчив душу этим переложением Маколея, которое его ученые друзья называли бы вольным, он направился к двери, через которую входят члены парламента, и вошел.

Не обладая опытом Айвивуда, он проник в зал и сел на зеленую скамью, предполагая, что заседания нет. Однако вскоре он различил человек семь-восемь и расслышал старческий голос с эссекским акцентом, говоривший на одной ноте, что мешает нам расставить знаки препинания:

— ...не хотел бы чтобы это предложение неправильно поняли и потому постарался изложить ясно и не думаю что мой уважаемый противник укрепит свою репутацию если истолкует его неправильно и вправе сказать что если бы в столь важных вопросах он меньше спешил и не выдвигал таких смелых идей по поводу графитных карандашей сторонникам крайностей было бы труднее применить их к свинцовым карандашам хотя я ни в коей мере не хочу разжигать страстей и затрагивать личности я вынужден сказать что мой уважаемый противник делал именно это о чем несомненно сожалеет и я не хотел бы оскорблять кого-нибудь и уважаемый мистер спикер не допустит оскорблений но я вынужден прямо сказать моему уважаемому противнику что вопрос о колясках которым он меня попрекает тогда как я меньше чем кто бы то ни было...

Дориан Уимпол тихо поднялся, как вдруг увидел, что кто-то скользнул в зал и передал записку молодому человеку с тяжелыми веками, правившему в тот момент Англией. Человек этот встал и вышел. Дориана охватил, как написал бы он в юности, сладостный трепет надежды. Ему показалось, что в конце концов произойдет что-нибудь понятное; и он тоже вышел.

Одинокий и сонный правитель империи спустился в нижний этаж храма свободы и вошел в комнату, где, к своему удивлению, Уимпол увидел у маленького столика лорда Айвивуда с костылем, спокойного, как Джон Сильвер. Человек с тяжелыми веками сел напротив него, и они поговорили, но Уимпол ничего не расслышал. Он прошел в соседнюю комнату, где заказал кофе и ликер, такой хороший, что он выпил несколько рюмок.

Сел он так, чтобы Айвивуд не мог незаметно пройти мимо, и терпеливо ждал, что будет. Станным ему казалось одно: время от времени все помещение оглашал звонок. Когда он звонил, лорд Айвивуд кивал, словно был к нему подключен. Когда же он кивал, молодой человек взбегал наверх, как горец, но скоро возвращался. На третий раз поэт подметил, что убегают и другие, из других комнат, и возвращаются помедленней,

с сознанием хорошо выполненного долга. Однако он не знал, что долг этот зовется представительным правлением и что именно так крик Кэмберленда или Корнуолла доходит до слуха короля.

Вдруг сонный человек вскочил без звонка и снова убежал. Поэт поневоле услышал, что, записывая слова Айвивуда, он повторил: «Спиртные напитки нельзя продавать, если полиция не извещена за три дня». Проведем, конечно. Приходите через полчаса».

Сказавши так, он взбежал по лестнице. Когда Дориан увидел, как Айвивуд идет, опираясь на грубый костыль, он испытал те же чувства, что и Джоан. Вскочив из-за столика, он тронул его за локоть и произнес:

— Прости меня, Филип, я был с тобой груб. Право, мне очень жаль. Сосновый лес и камера не способствуют спокойствию, но ты в них не виноват. Не знал, что ты сегодня выйдешь, все ж нога... Побереги себя, Филип. Присядь на минутку.

Ему показалось, что холодное лицо Филипа стало мягче; так ли это, поймут лишь тогда, когда вообще поймут подобных людей. Как бы то ни было, он осторожно отцепил костыль и сел напротив кузена, а тот стукнул по столу, зазвеневшему, словно гонг, и кликнул лакея, как будто сидел в людном ресторане. Потом, прежде чем Айвивуд что-нибудь скажет, он заговорил:

— Я ужасно рад, что мы встретились. Наверное, ты произнесешь речь. Я очень хочу ее послушать. Мы не всегда соглашались, но теперь просто нечего читать, кроме твоих речей. Как это у тебя? «Смерть и железный звон дверей поражения». После Страффорда так никто не говорил. Разреши мне послушать. Кстати, я ведь тоже член парламента.

— Слушай, если хочешь,— поспешно ответил Айвивуд,— но речь будет короткой. — И он посмотрел на стену над головой Уимпола, сильно хмурясь. Ему было нужно, чтобы никто не выступил после его поправки.

Подошел слуга, которого очень удивили костыль и больной вид лорда Айвивуда. Тот наотрез отказался что-либо выпить, но кузен его спросил ликеру и снова заговорил:

— Наверное, это о кабаках. Я бы очень хотел послушать. Может быть, я и сам выступлю. Почти весь день и почти всю ночь я думал о них. Вот что я сказал бы на твоём месте: «Начнем с того, можете ли вы уничтожить кабак? Достаточно ли вы сильны? Худо ли это, хорошо ли, но почему вы запрещаете крестьянину пить пиво, если я пью шартрез?»

При слове «шартрез» слуга подбежал снова, но ничего не услышал или, точнее, услышал то, что его не касалось.

— «Вспомните того священника, — продолжал Дориан, рассеянно кивая, чтобы отпустить слугу. — Вспомните того священника, которого попросили сказать проповедь о трезвости,

и он начал словами: «Да не покروют нас воды потопа». Не вам вызывать потоп. *Вы* запретите пиво! *Вы* отнимете у Кента хмель, у Девоншира — сидр! Судьба кабака решится в этой комнате! Берегитесь, как бы и ваша судьба не решилась в кабаке. Берегитесь, не то англичане сядут судить вас, как судили многих. Берегитесь, не то единственным кабаком, от которого бегут, как от чумного, станет тот, где я сейчас пью, ибо хуже его нет и на большой дороге. Берегитесь, не то это место сравняется с тем, где матросы бьют девок». Вот что я сказал бы. — И он весело встал. — Вот что я скажу. Не вывеску «Старого кабака» сметут с земли, — пылко закричал он, по-видимому, лаяю, — не вывеску, а вашу булаву!

Лорд Айвивуд с мертвенным спокойствием смотрел на него; новая мысль озарила его плодоносный ум. Он знал, что поэт возбужден, но не пьян, и может сказать речь, даже очень хорошую. Он знал, что любая речь, хорошая или плохая, разрушит его планы и даст кабаку возможность летать, где он хочет. Но он помнил, что бдение в лесу и старый ликер могут вызвать не опьянение, а нечто более естественное.

Дориан снова сел и провел рукой по лбу.

— Наверное, ты скоро будешь говорить, — сказал он, глядя на стол. — Пошли за мной. Я забыл, как тут что делается, и очень устал. Ты пошлешь?

— Да, — ответил лорд Айвивуд.

Молчание царило вокруг, пока он не прибавил:

— Дебаты очень важны, но в некоторых случаях они скорее мешают, чем помогают.

Ответа не было. Дориан все еще глядел на стол, но веки его опустились. Почти в тот же миг сонливый член кабинета появился в дверях и вяло махнул рукой.

Филип Айвивуд приладил костыль и посмотрел на Дориана. Потом он проковылял по комнате, оставив в ней спящего. Впрочем, оставил он не только спящего, но и незажженную сигару, и свою честь, и Англию своих предков — словом, все, что отличало дом над рекой от грязного кабака. Он поднялся наверх и ушел через двадцать минут. То была его единственная речь без тени красноречия. И с этого часа он стал фанатиком, чья пища — одно лишь будущее.

Глава 18

РЕСПУБЛИКА МИРОЛЮБИЯ

В деревушке, возле Уиндермира, а может — там, где жил Вордсворт, вы найдете домик, и в нем старичка. Пока что все естественно; вы познакомитесь с благодушным, даже шумным человеком преклонных лет, чье лицо похоже на яблоко, а борода

подобна снегу. Он покажет вам своего отца, с бородой подлиннее, но тоже вполне бодрого. А потом они вместе покажут неопиту дивного дедушку, который прожил больше ста лет и очень этим гордится.

По-видимому, такими чудесами он обязан молоку. Старший из трех старичков охотно и подробно расскажет вам о молочном питании. Остальные его радости сводятся к арифметике. Некоторые считают свои годы с ужасом; он считает их с юношеским восторгом. Некоторые собирают монеты или марки; он собирает дни. Репортеры расспрашивали его о временах, которые он прожил, но ничего не почерпнули, кроме того, что он перешел на молоко примерно в том возрасте, когда все мы приобщаемся к другой пище. На вопрос, помнит ли он 1815 год, он отвечал, что именно тогда обнаружил целебные свойства особого молока, впоследствии названного горным. Его арифметическая вера не помогла бы ему понять вас, если бы вы сказали ему, что за морем, на большом лугу, недалеко от Брюсселя, его школьные товарищи обрели в том году любовь богов, умерев молодыми.

Конечно, этот бессмертный род обнаружил сам доктор Мидоус, и построил на нем свою философию питания, не говоря о домиках и молочных фермах Миролюбца. Философия эта привлекала многих из богатого, избранного круга — молодых людей, готовящихся к старости, старцев в зародыше. Мы преувеличим, если скажем, что они ждали первой седины, как ждал усов несравненный Фледджи; но мы вправе сказать вам, что они презрели красоту женщин, дружеские пиры и славную смерть на поле брани ради призрачных радостей второго детства.

Миролюбец был, как теперь говорится, городом-садом. В кольцо молочных ферм и каких-то мастерских вписывалось кольцо хорошеньких домиков, и все это располагалось на лоне природы. Без сомнения, такая жизнь полезней, чем фабрики и дома наших городов, и отчасти поэтому, главным же образом — из-за горного молока, д-р Мидоус и его питомцы выглядели неплохо. Деревня лежала в стороне от больших дорог, ничто не мешало обитателям наслаждаться тишиной небес, прохладой лесов и методами д-ра Мидоуса, пока в самую середину Миролюбца не въехал однажды маленький грязный автомобиль. Остановился он у треугольного островка травы, и два человека в больших очках, один — высокий, другой — низенький, встали на этот островок, как клоуны на арену; что недалеко от истины.

Прежде чем въехать в деревню, люди эти остановились у ручейка, водопадом спадавшего в речку. Там они сняли куртки, поели хлеба, купленного в Уиддингтоне, и запили его водой из реки, которая текла к Миролюбцу.

— Я что-то пристрастился к воде, — сказал высокий рыцарь. — Раньше я ее боялся. В теории ее нужно давать только тем,

кто упал в обморок. Она полезней им, чем бренди, да и стоит ли тратить бренди на людей, упавших в обморок? Теперь я не так строг. Я не думаю больше, что воду надо отпускать по рецепту. Юность сурова, невинность нетерпима. Я полагал, что, поддавшись искушению, стану запойным пьяницей. Но теперь я вижу, чем хороша вода. Как приятно ее пить, когда мучает жажда! Как весело она журчит и сверкает! Да она совсем живая. Собственно говоря, после вина это лучший напиток.

Хмель хорош для перепоя, *
А водица — для поста;
Божий дар нам — эти двое:
Он могуч, она — чиста.
Всякий вид питья иного,
Пусть хоть с неба послан он,
Не сказав худого слова,
Дружно выплесните вон!

Чай, к примеру, — гость восточный,
Желтолицый мандарин;
Он, надменный и порочный,
Наших женщин властелин:
Семят они оравой
За его косицей вслед,
И, как весь Восток лукавый,
Если крепок — он во вред.

Чай, хотя и чужестранец,
Как-никак аристократ,
Что касается Какао —
Тот наглее во сто крат:
И слащав он, и вульгарен,
Проходимец он и плут, —
Пусть же будет благодарен,
Что его еще и пьют!

А поток шипучей, жгучей.
Минеральной чепухи
Пал на нас, как гром из тучи,
Как возмездье за грехи:
Опозорили пьянчуги
Имя доброе Вина —
И за то теперь на муки
Газировка нам дана.

Честное слово, вкусная вода. Какого же она урожая? — Он задумчиво почмокал. — По всей вероятности, тысяча восемьсот восемьдесят первый год.

— Вообразить можно что угодно, — сказал рыцарь понижее. — Мистер Джек, он любил шутить, подавал иногда воду в ликерных рюмках. Все хвалили, кроме старого адмирала Гаффина, который заметил, что ликер отдает маслинами. Но для нашей игры вода подходит лучше всего.

Патрик кивнул; потом сказал:

— Не знаю, смог ли бы я ее пить, если бы не утешался, глядя на это. — И он стукнул по бочонку. — Когда-нибудь мы еще попируем. Похоже на сказку, словно я таскаю сокровище или сосуд с расплавленным золотом. И потом, мы можем развлекать людей... Какую же это шутку я придумал утром? А, вспомнил! Где эта жестянка с молоком?

Следующие двадцать минут он усердно возился с жестянкой и бочонком, а Пэмп смотрел на него не без тревоги. Потом капитан поднял голову, сдвинул рыжие брови и спросил:

— Что это?

— О чем ты говоришь? — не понял его спутник.

— Об э т о м, — отвечал Дэлрой, указывая на человека, идущего по дороге, вдоль реки.

У человека была довольно длинная борода, очень длинные волосы, ниже плеч, и серьезный, упорный взор. Одежду его неопытный Пэмп принял за ночную рубашку, но позже узнал, что это — туника из козьей шерсти, в которой нет ни волоска столь пагубной овечьей. Быстро ступая босыми ногами, он дошел до излучины, резко повернулся, словно сделал дело, и направился вновь к образцовой деревне Миролубец.

— Наверное, он из этой молочной обители, — незлобиво сказал Хэмфри Пэмп. — Они, я слышал, не в себе.

— Это бы ничего, — сказал Дэлрой. — Я и сам иногда схожу с ума. У сумасшедших есть хорошее свойство, последняя их связь с Богом: они логичны. Что же общего между молоком и длинными волосами? Почти все мы питаемся одним молоком, когда у нас нет волос. Прикинем так: «Молоко — вода — бритье — волосы». Или так: «Молоко — добродетель — злодейство — узник — волосы»... А чем связаны излишек волос и недостаток обуви? Подумаем. Может быть: «Волосы — борода — устрица — пляж — босые ноги»? Человеку свойственно ошибаться, особенно когда любую ошибку называют теорией, но почему все эти кретины живут вместе?

— Так уж всегда бывает, — сказал Хэмфри. — Ты бы посмотрел, что творилось в Крэмптоне, на этих образцовых фермах. Я все пойму, капитан, но зачем топить гостей в навозе? — Он виновато кашлянул. — Это нехорошо.

Продолжить ему не удалось, ибо он увидел, что друг его складывает на сиденье жестянку и бочонок, а потом садится сам.

— Вези меня! — сказал Дэлрой. — Вези меня туда, к ним. Сам понимаешь.

Прежде чем доехать до центра деревни, они остановились еще раз. Следуя за волосатым человеком в козьей тунике, они увидели, что он вошел в домик на окраине и, к их великой радости, немедленно вышел, сделав свое дело с невиданной быстротой. Однако, присмотревшись, они установили, что это другой

человек, в точности похожий на первого. Пронаблюдав несколько минут, они поняли, что домик непрестанно посещают члены молочно-козьей секты в своих незапятнанных одеждах.

— Наверное, это их храм,— предположил Патрик. — Тут они приносят в жертву стакан молока. В общем, я знаю, что мне делать. Только подождем, пока они успокоятся, очень уж мелькают.

Когда последний из волосатых исчез на дороге, Патрик выскочил из автомобиля, яростно вонзил в землю шест и тихо постучался в двери.

Двое длинноволосых, босых идеалистов поспешно попрощались с хозяином, на удивление плохо подходившим к отведенной ему роли.

Оба, и Пэмп, и Дэлрой, никогда не видели такого угрюмого человека. Багрянец его лица говорил не о веселье, а о несварении мозга. Темные усы уныло повисли, темные брови хмурились. Патрик подумал, что такие лица бывают у обездоленных пленников, но никак не вяжутся с учеными совершенствами Мирюлюбца. Все это было тем удивительнее, что он явно процветал. И хорошо скроенный пиджак, и просторная комната о том свидетельствовали.

Но удивительнее всего было, что он не проявлял удивления, приличествующего джентльмену, в чей дом заходят чужие. Скорее можно сказать, что он чего-то ждал. Пока Дэлрой просил прощения и вежливо справлялся о расположении деревни, глаза хозяина, напоминавшие вареный крыжовник, глядели на гостей, на шкаф и на окно. Наконец он встал и посмотрел на дорогу.

— Да, сэр, очень здоровое место, — сказал он, глядя сквозь решетку. — Очень здоровое... черт, что им нужно?.. В высшей степени. Конечно, есть свои странности...

— Пьют одно молоко? — спросил Дэлрой.

Хозяин неприветливо посмотрел на него, проворчал:

— Так они говорят...

И снова обернулся к окну.

— Я его купил, — сказал Патрик, поглаживая любимую жестянку, которую он держал под мышкой, словно не в силах расстаться с изобретением Мидоуса. — Хотите стаканчик?

Вареные глаза увеличились от злобы или от другого чувства.

— Что вам нужно? — зарычал хозяин. — Вы кто, сыщики?

— Мы распространяем горное молоко, — отвечал капитан с невинной гордостью. — Не желаете?

Растерянный хозяин взял стаканчик безупречной жидкости и отпил. Лицо его преобразилось.

— А, черт меня побери! — сказал он, широко улыбаясь. — Вот так штука. Забавник вы, я погляжу. — Он снова беспокойно огляделся.

— Что-то я не совсем понимаю,— сказал Патрик. — Мне казалось, по нынешнему закону с вывеской нить можно, а без вывески нельзя.

— По закону! — с неописуемым презрением сказал хозяин. — Эти несчастные скоты не боятся закона, они боятся доктора.

— Боятся доктора? — простодушно переспросил Дэррой. — А я слышал, что Мирюлюбец — самоуправляющаяся республика.

— Какая там черту республика! — отвечал хозяин. — Ему принадлежат эти дома, он может всех выгнать на мороз. И налог платит он. Они без него перемрут через месяц. Закон, еще чего! — И он фыркнул.

Потом, поставив локти на стол, объяснил подробнее:

— Я пивовар, у меня была большая пивоварня. Во всей округе только два кабака были не мои, но у них отобрали разрешение. Десять лет назад вы могли увидеть по всему графству мои вывески, «Пиво Хэгби». Потом пришли эти чертовы радикалы, и лорд Айвивуд им поддался, и разрешил доктору купить землю, и запретил все кабаки. Пиво продавать нельзя, чтобы он продавал молоко. Спасибо хоть я торгую понемножку. Конечно, доходы не те, очень боятся доктора. Он, гадюка, все вынюхает!

И хорошо одетый хозяин сплюнул на ковер.

— Я сам радикал,— довольно сухо сказал ирландец. — Насчет консерваторов обращайтесь к моему другу Пэмпу, он посвящен в их глубочайшие тайны. Но что радикального в том, чтобы есть и пить по указке сумасшедшего только потому, что он миллионер? Ах, свобода, свобода! Какие сложные и даже низкие вещи творятся во имя твое! Лучше бы дали пинка старому кретину! Ботинок нет? Вот почему им не дают обуться! Тогда скатите его вниз по лестнице, он будет только рад.

— Как тебе сказать... — задумчиво проговорил Пэмп. — Тетушка мастера Кристиана так и сделала, но женщина — это женщина, сам понимаешь.

— Вот что! — вскричал возбужденный Дэррой. — Созовете вы их, если я воткну вывеску? Поможете мне? Закона мы не нарушим и драки не будет. Поставьте вывеску и торгуйте. Войдете в историю как освободитель.

Бывший владелец пивоварни угрюмо смотрел на стол. Он был не из тех пьяниц и не из тех кабатчиков, в ком легко пробудить мятежные чувства.

— Ну,— сказал капитан, — пойдете вы со мной? Будете говорить: «Слушайте, слушайте!», «Сушая правда!», «Какое красноречие!»? Едемте, в автомобиле место найдется.

— Хорошо, я пойду,— мрачно отвечал Хэгби. — Раз у вас есть разрешение, можем опять торговать, — и, надев цилиндр, пошел к автомобилю вслед за капитаном и кабатчиком. Образцовая деревня была неудачным фоном для цилиндра. Более того, именно цилиндр выявил особенно четко всю ее странность.

Стояло прекрасное утро. С рассвета прошло несколько часов, но край небес, касавшийся кольца леса и холмов, еще украшали призрачные облачка, розовые, зеленые и желтые. Однако над ними небо становилось бирюзовым, а выше — сверкало синевой, в которой сталкивались огромные кучевые облака, словно ангелы кидались подушками. Домики были белыми, и потому казалось (употребим еще один образ), что именно они сгрудились теперь в небе. Правда, на домиках там и сям виднелся яркий мазок, как бы нанесенный кистью великаньего дитяти, где оранжевый, где лимонный. Крыты они были не соломой, а синезеленой черепицей, купленной за сходную цену на выставке пре-рафаэлитов, и, несколько реже, еще более изысканной терракотовой плиткой. Домики не были ни английскими, ни уютными, ни уместными, ибо их создали не свободные люди, строящие для себя, а причуды спятившего лорда. Но если рассматривать их как селение эльфов, они могли считаться хорошей декорацией для действия, достойных пантомимы.

Боюсь, что действия капитана были ее достойны. Начнем с того, что вывеску, ром и сыр он оставил в автомобиле, но скинул куртку и стоял на островке травы в косматой, как трава, форме. Еще косматей были его волосы, которые мы не можем сравнить и с алыми восточными джунглями. Почти важно вынул он большую жестянку, с благоговением опустил на островок и встал рядом с нею, серьезный, даже строгий, словно Наполеон рядом с пушкой. Потом он вынул шпагу и заколотил по металлу сверкающим лезвием, отчего оглушенный мистер Хэгби выскочил из автомобиля и отбежал, заткнув уши. Пэмп остался за рулем, хорошо понимая, что уезжать придется быстро.

— Собирайся, собирайся, собирайся, Миролубец! — орал Патрик, с трудом приспособивая «Зов Макгрегора» к своему инструменту. — Ты беден, беден, *беден*, Миролубец!

Два или три козла узнали мистера Хэгби, виновато потупились и осторожно подошли поближе; а капитан заорал, словно перед ним была армия:

— Друзья и сограждане! Отведайте настоящего, неподдельного горного молока, за которым Магомет пошел к горе! Прямо из страны, где реки текут молоком и медом, что было бы довольно противно, если бы не его качества! Отведайте нашего молока! Все другие — подделка! Кто проживет без молока? Даже кит не проживет. Если у кого-нибудь есть ручной кит, пришел его час! Только взгляните! Вы скажете, что на него не взглянешь, ибо оно в банке, — так смотрите на банку! Это ваш долг! Когда долг шепчет: «Сделай!», — взревел он, — сердце отвечает: «Сейчас». А где долг, там и банки, банки, баннки! — И он ударил по банке с такой силой, что вся округа зазвенела.

Речь эта доступна критике, если вы сочтете ее предназначенной для изучения, а не для сцены. Летописец (чья цель — истина)

вынужден сообщить, что успеха она достигла, поскольку граждан Миролюбца привлек голос человека, орущего, как целое племя. Есть толпы, которые не хотят восстать, но нет толпы, которая бы не хотела, чтобы кто-нибудь восстал вместо нее; это необходимо помнить самым благополучным олигархам.

Но успех достиг апогея, как ни прискорбно, когда Дэлрой угостил добровольцев своим несравненным напитком. Одни окamenели. Другие согнулись от хохота. Кто-то чмокал. Кто-то кричал. И все глядели сияющим взором на удивительного проповедника.

Однако сияние угасло по той лишь причине, что к ним присоединился старичок, маленький старичок в белом полотняном костюме, с белой бородкой и белым, как одуванчик, пухом на голове. Каждый из собравшихся мог бы убить его левой рукой.

Глава 19

ГОСТЕПРИИМНЫЙ КАПИТАН

Доктор Мидоус (мы не знаем, точно ли так он звался у себя на родине) увидел свет в немецком городке, и две его первые книги были написаны по-немецки. Они же остались лучшими; ибо он питал тогда искреннюю любовь к естественным наукам, и ее портила лишь ненависть к тому, что он звал суеверием, а многие из нас считают душой человеческих сообществ. Первый пыл особенно сильно проявился в первой книге, где усатость некоторых женщин сопоставлялась с их высоким умственным развитием. Во второй книге он ближе подошел к суевериям и доказал всем, кто ему поверил, что прогресс движется все быстрее, а миф о Христе объясняется алкогольным слабоумием. Потом, к несчастью, он заметил установление, именуемое смертью, и вступил с ним в спор. Не находя разумного объяснения столь нелепому обычаю, он пришел к выводу, что виной тому традиция (слово это означало для него «предрассудок»), и думал лишь об одном — как ее обойти. Это сузило его кругозор; он утратил большую часть горького пыла, смягчавшего атеизм его молодости, когда он был готов покончить с собой, лишь бы оскорбить Бога, которого нет. Идеализм его становился все более материальным. Он непрестанно менял гипотезы и теории, отыскивая самую здоровую пищу. Не буду утомлять читателя рассказом о масляном периоде; период морской травы всесторонне освещен в ценной работе профессора Нима; на перипетиях же поры, посвященной клею, останавливаться жестоко. Приехав в Англию, он нашел долговечных млекопийцев и основал на них теорию, поначалу — искреннюю. К несчастью, она оказалась и выгодной. Горное молоко, открытое им, при-

носило большие доходы, и доктора охватил еще один пыл, который нередко приходит к старости и сильно сужает кругозор.

Естественно удивившись действиям Патрика Дэлроя, он не утратил достоинства, хотя и вознегодовал, ибо не привык, чтобы в этом краю обходились без него. Сперва он сурово предположил, что капитан украл жестянку на ферме, и послал работников все пересчитать; но Дэлрой его быстро успокоил.

— Я купил ее в Уиддингтоне,— сказал он , — и с тех пор не пью ничего другого. Вы не поверите, — прибавил он (и был прав), — но я вошел в лавку совсем хилым, выпил горного молока, и вот, пожалуйста.

— Вы не имеете права торговать моим молоком, — сказал доктор Мидоус с едва заметным акцентом. — Вы у меня не служите. Я за вас не отвечаю. Я вас не посылал.

— Я — ваша реклама,— сказал капитан. — Мы рекламируем вас по всей Англии. Посмотрите на этого тощего, слабого субъекта.— Он указал на сердитого Пэмпа. — Таков человек до употребления горного молока. А я — после, — с удовлетворением закончил он.

— Вы посмеетесь в суде, — сказал доктор; акцент его усилился.

— С удовольствием,— согласился Патрик. — Нахожусь вволю. Видите ли, это не ваше молоко. У него совсем другой вкус. Достопочтенные джентльмены подтвердят, что я не лгу.

Подавленные смешки разъярили гордого собственника.

— Если вы украли мою жестянку, вы вор,— сказал он . — Если вы что-то добавили, вы поддельщик, то есть...

— Попробуйте «подделыватель», — сказал добродушный Дэлрой. — Принц Альберт всегда говорил: «Изготовитель подделок». Старый добрый Альберт! Прямо как вчера... Однако уже настал сегодняшней день, и мы ясно видим, что молоко мое отличается от вашего. Я не могу описать вам его вкус (подавленные смешки). Это нечто среднее между вкусом вашего первого леденца и вкусом отцовского окурка. Мое молоко невинно, как небо, и горячо, как преисподняя. Оно парадоксально. Оно отдает доисторической непоследовательностью — надеюсь, все меня поняли? Те, кто пьет его особенно часто, проще всех на свете, и оно напоминает им о соли, поскольку сделано из сахара. Выпейте!

Щедрым жестом гостеприимного хозяина он протянул доктору стаканчик. Властное любопытство пересилило в душе немецкого врача даже его властную гордыню. Он отпил; и глаза его полезли на лоб.

— Вы что-то подмешали к молоку, — наконец проговорил он.

— Да,— отвечал Дэлрой, — и вы тоже, иначе бы вы бы-

ли мошенником. Почему ваше молоко отличается от всякого другого? Почему стакан стоит три пенса, а не пенни? Значит, вы подмешали чего-то на два пенса. Вот что, доктор. Химик, которому я поручу анализ, человек честный. Я знаю двадцать пять с половиной честных химиков. Давайте поладим на том, что он проверит ваше молоко для меня, а мое — для вас. Что-нибудь вы прибавляете, иначе зачем вам все эти колеса и насосы? Скажите мне, прошу вас, почему ваше молоко такое горное!

Они долго молчали, толпа подавляла смех. Вдруг филантроп разъярился и, тряся кулаками (ни один из этих англичан не видел такого жеста), закричал:

— А, я понял, что вы подмешали! Это алкоголь! Вывески у вас нет, так что посмеетесь в суде!

Дэлрой поклонился и пошел к автомобилю, где развернул и вынул волшебный шест с вывеской, на которой были нарисованы синий парусник и алый Георгиевский крест. Воткнув ее в островок травы, он спокойно огляделся.

— Вот мой кабак,— сказал он. — Я готов смеяться в любом суде. Кабак просторен и чист. Потолок высок, окна повсюду, кроме низа. Поскольку я слышал, что пить без еды вредно, у меня, дорогой доктор, есть и сыр. Попробуйте, вы станете другим человеком! Во всяком случае, мы на это надемся.

Доктор Мидоус страдал теперь не только от гнева. Вывеска сильно смутила его. Как многие скептики, даже искренние, он почитал закон. Он очень боялся (и не только боялся, было тут что-то лучшее), что его признают виновным в суде или в полиции. Кроме того, его терзало то, что всегда терзает таких людей в Англии: он не был вполне уверен, что законно, а что нет. Помнил он только, что лорд Айвивуд, вводя и отстаивая свой акт, особенно подчеркивал силу вывески. Быть может, если с ней не считаться, наживешь неприятности или попадешь в тюрьму при всех своих деловых успехах. Конечно, он понимал, что нетрудно ответить на эту чушь; что лоскуток травы при дороге — не кабак; что вывески не было, когда капитан стал разливать ром. Но понимал он и другое: в несчастном английском законе все это не важно. Он слышал не раз, как такие же очевидные истины тщетно сообщали судьбе. Он знал в глубине души, что Айвивуд его создал, но не знал, на чьей стороне этот могучий лорд.

— Капитан, — сказал Хэмфри Пэмп, впервые вставивший слово, — пора нам уезжать, я что-то чую.

— Негостеприимный кабатчик! — гневно вскричал капитан. — А я для тебя старался! Пойми, заря мира восходит над Миролюбцем. Я надеюсь, доктор Мидоус выпьет еще стаканчик. Угощает брат Хэгби.

Говоря так, он щедро разливал ром, а доктор все еще слишком боялся наших юридических хитросплетений, чтобы вмешаться. Но когда мистер Хэгби, пивовар, услышал свое имя, он подскочил, отчего цилиндр его съехал набок, потом встал тихо, потом принял стакан молока из рук капитана, и лицо его заговорило прежде него.

— Сюда едет автомобиль, — тихо сказал Хэмфри. — Он будет у мостика через десять минут и въедет вот оттуда.

— По-моему, — нетерпеливо сказал капитан, — ты и раньше видел автомобили.

— Здесь их не было все утро, — отвечал Пэмп.

— Уважаемый председатель, — сказал Хэгби, вспомнив былые банкеты, — я уверен, что все мы соблюдаем закон и ценим дружбу, особенно с нашим дорогим доктором. Но поскольку наш друг с вывеской в своем праве, пришло время, я бы так выразился, взглянуть на все шире. Действительно, грязные кабаки приносят большой вред, темные люди пьют там по-свински, и дорогой наш доктор прав, что очистил от них эти места. Но хорошо поставленное дело с большим капиталом — совсем другая штука. Все вы знаете, чем я занимался, хотя теперь, конечно, это бросил. — Козлы виновато посмотрели на свои копыта. — Но кое-что я подкопил и охотно внесу свой вклад в «Старый корабль», если наш друг позволит повести торговлю, как я это понимаю. Особенно если он немного расширит помещение. Ха-ха! Наш дорогой доктор...

— Мерзавец! — взревел Мидоус. — Я тебе не дорогой! Ты у меня попляшешь в суде!

— Это не деловой разговор, — рассудительно отвечал пивовар. — Вам убытка не будет. У меня один потребитель, у вас другой. Поговорим как делец с дельцом.

— Я не делец! — гневно вскричал ученый. — Я — слуга человечества!

— Почему же, — спросил Дэлрой, — вы не слушаетесь вашего хозяина?

— Автомобиль переехал реку, — сказал Хэмфри Пэмп.

— Вы губите мои труды! — с искренней страстью воскликнул доктор. — Я построил эту деревню, я слежу за ее здоровьем, я встаю раньше всех, пекусь о людях, а вы все губите, чтобы продавать ваше гнусное пиво! И еще зовете меня дорогим! Я вам не друг!

— Дело ваше, — проворчал Хэгби. — Но если зашел разговор, вы же сами продаете...

Рядом остановился автомобиль, вздымая облако белой пыли, и шестеро запыленных мужчин вышли из него. Очки и куртки не скрыли от Пэмпа особую повадку полицейских. Единственным исключением был длинный, тощий человек, который, сняв шлем, оказался Дж. Ливсоном. Он подошел к невысокому старому миллионеру; тот сразу узнал его и пожал ему руку, и они

посоветовались, глядя в какие-то бумаги. Потом доктор Мидоус откашлялся и сказал толпе:

— Я рад сообщить, что эти нелепые планы запоздали. Лорд Айвивуд, со свойственной ему быстротой действий, передает во все важные места, в том числе — в это, необычайно справедливую поправку, которая как раз подходит к случаю.

— Мы будем ночевать в тюрьме, — сказал Хэмфри Пэмп. — Я это чувял.

— Достаточно того, — продолжал миллионер, — что теперь подлежит тюремному заключению всякий, кто продает спиртные напитки, не известив полицию за три дня. Вывеска ему не поможет.

— Я знал, что этим кончится, — пробормотал Пэмп. — Сдаемся, капитан, или попробуем убежать?

Даже наглость Дэлроя на мгновение утихла. Он растерянно смотрел в бездну неба, словно, подобно Шелли, ожидал вдохновения от чистых облаков и совершенных красок.

Наконец он мягко и задумчиво произнес одно слово:

— Продает!..

Пэмп зорко взглянул на него, и мрачное лицо его преобразилось. Но доктор был слишком упоен победой и ничего не понял.

— Да, именно продает, — повторил он, размахивая синим, длинным листком парламентского акта. — Точные слова.

— В данном случае они не точны, — вежливо и равнодушно сказал капитан Дэлрой. — Я ничего не продавал, я раздавал. Платил мне кто-нибудь? Видел кто-нибудь, чтобы другие платили? Я — филантроп, как доктор Мидоус. Я его образ и подобие.

Мистер Ливсон и доктор Мидоус посмотрели друг на друга. Первый был растерян, ко второму вернулись прежние страхи.

— Я останусь здесь на несколько недель, — продолжал капитан, изящно облокотившись о жестянку, — и буду раздавать даром мой дивный напиток всем желающим. Насколько я понял, таких напитков здесь нет. Я уверен, что никто не воспротивится столь законным и высоконравственным действиям.

Тут он ошибся, ибо кое-кто воспротивился. То был не одержимый филантроп, и даже не темноволосый секретарь, выразивший протест молчаливо. Новый вид благотворительности особенно рассердил бывшего пивовара. Крыжовенные глаза чуть не вылезли из орбит, и слова сорвались с уст раньше, чем он подумал, стоит ли их произносить:

— Клоун проклятый! Так я и дам загубить мое дело...

Старый Мидоус обернулся к нему проворно, как змея.

— Какое же у вас дело, мистер Хэгби? — спросил он.

Пивовар задохнулся и чуть не лопнул от злости. Козлы смотрели в землю, как и подобает, по мнению римского поэта, низшим животным. Человек, то есть Патрик Дэлрой, если вольно продолжить цитату, смотрел в родные небеса.

— Я одно скажу,— прорычал Хэгби. — Раз уж полиция не может забрать двух грязных оборванцев, значит — конец. Какого черта я плачу налог...

— Да,— сказал Дэлрой, и голос его опустился, как т о п о р . — Теперь вам конец, слава Богу. Это из-за таких, как вы, от кабаков разило отравой, и даже порядочные люди перестали туда ходить. Вы хуже трезвенника, ибо вы исказили то, чего он не знает. Что же до вас, великий ученый и филантроп, идеалист и гонитель кабаков, разрешите сообщить вам один научный факт. Вас не уважают. Вас боятся. С чего бы мне и им уважать вас? Да, вы построили это селенье и встаете рано. Стоит ли уважать вас за разборчивость в пище и за то, что ваш бедный старый желудок долговечней, чем сердца хороших людей? Вам ли быть боже-ством этой долины, если бог ваш — чрево, и вы даже не любите, а боитесь его? Идите, помолитесь, ибо все мы умрем. Почитайте Писание, как читали в своем немецком доме, когда и вы искали там истины, а не ошибок. Боюсь, сам я нечасто его читаю, но кое-что помню в добром старом переводе Маллигена и этими словами напутствую вас. «Если Господь не созиждет д о м а , — и он так широко и так естественно взмахнул рукой, что деревья стали на мгновение пестрой картонной игрушкой у ног великана, — если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Попробуйте понять, что это значит, забыв об ученых спорах. А нам с тобою, Хэмп, пора ехать. Я устал от зеленой черепицы. Эй, лейте полней! — И он швырнул бочонок на сиденье. — Эй, лейте полней, наливайте полней! — И он швырнул жестянку.

Сзывайте людей и седлайте коней! **
А парнокопытных да сгложет тоска
Без горного, без моего молока!

Песня эта замерла вдали вместе с Дэлроем и мотором. Путники были вне преследования, когда решили отдохнуть. Здесь еще текла прекрасная река; и Патрик попросил остановиться у пышного папоротника, нарядных берез и сверкающей воды.

— Я одного не понял,— сказал Хэмфри Пэмпи. — Почему он так испугался химика? Какой яд он подмешивает?

— Н₂О,— ответил капитан. — Я больше люблю его без молока.

И он наклонился к реке, как наклонялся на рассвете.

Глава 20

ТУРОК И ФУТУРИСТЫ

Мистер Адриан Крук был преуспевающим аптекарем, и аптека его находилась в фешенебельном квартале, но лицо выражало больше того, чего ожидают от преуспевающего аптекаря. Лицо было странное, не по возрасту древнее, похожее на пергамент, и при всем этом умное, тонкое, решительное. Умной была и речь, когда он нарушал молчание, ибо он много повидал и много мог порассказать о странных и даже страшных секретах своего ремесла, так что собеседник видел, как курятся восточные зелья, и узнавал состав ядов, которые приготавливали аптекари Возрождения. Нечего и говорить, что сам он пользовался прекрасной репутацией, иначе к его услугам не прибегали бы такие почтенные и знатные семьи; но ему нравилось погружаться мыслью в те дни и страны, где фармакопея граничит с магией, если не с преступлением. Поэтому случалось, что люди, убежденные в его невинности и пользе, уходили от него в туман и тьму, наслушавшись рассказов о гашише и отравленных розах, и никак не могли побороть ощущения, что пурпурные и желтые шары, мерцающие в окнах аптеки, наполнены кровью и серой, а в ней самой пахнет колдовством.

Без сомнения, ради таких бесед и зашел к нему мистер Гиббс, если не считать скляночки подкрепляющего снадобья. Ливсон увидел друга в окно, а тот немало удивился, даже растерялся, когда темноволосяй секретарь вошел и тоже спросил скляночку, хотя он и впрямь глядел устало и нуждался в подкреплении.

— Вас не было в городе? — спросил Ливсон. — Да, нам не везет. Опять то же самое, ушли. Полиция не решилась схватить их. Даже старик Мидоус испугался, что это незаконно. Надоело, честное слово! Куда вы идете?

— Собираюсь зайти на выставку постфутуристов, — сказал Гиббс. — Там должен быть лорд Айвивуд, он показывает картины пророку. Я не считаю себя знатоком, но слышал, что они удачны.

Оба помолчали, потом Ливсон сказал:

— Новое всегда ругают.

Они помолчали еще, и высказался Гиббс:

— В конце концов, ругали даже Уистлера.

Ободренный ритуалом, Ливсон вспомнил про аптекаря и резво спросил:

— Наверное, и у вас то же самое? Ваших великих коллег не понимали в свое время?

— Возьмите хотя бы Борджиа, — сказал Крук. — Их терпеть не могли.

— Вы все шутите, — обиделся Ливсон. — Что ж, до свиданья. Идете, Гиббс?

И оба, в цилиндрах и во фраках, направились дальше по улице. Сияло солнце, как сияло оно вчера над белой обителью миролюбия, и было приятно идти вдоль красивых домов и мимо тонких деревьев, глядящихся в реку. Картины нашли пристанище в маленькой, но знаменитой галерее, а галерея располагалась в довольно причудливом здании, откуда спускались ступени к самой Темзе. По сторонам пестрели клумбы, а наверху, перед византийским входом, стоял небезызвестный Мисисра в пышных одеждах и широко улыбался. Но даже этот восточный цветок не ободрил печального Ливсона.

— Вы пришли посмотреть декорации? — спросил сияющий пророк. — Они хороши. Их одобрил.

— Мы пришли посмотреть картины постфутуристов, — начал Гиббс; но Ливсон молчал.

— Здесь нет картин, — просто сказал турок. — Я бы их не одобрил. Картина — идол, друзья мои. Смотрите. — И он, обернувшись, торжественно указал куда-то в глубь. — Смотрите, там нет картин. Я все разглядел и все принял. Ни одного человека. Ни одного зверя. Никакого вреда; декорации красивы, как лучшие ковры. Лорд Айвивуд очень рад, ибо я сказал ему, что ислам прогрессирует. Раньше у нас разрешали изображать растения. Я их искал. Здесь их нет.

Гиббс, тактичный по профессии, счел неудобным, чтобы прославленный Мисисра вещал с высоких ступеней улице и реке, и вежливо предложил пройти в залы. Пророк и секретарь последовали за ним и попали в первый зал, где находился Айвивуд. Он был единственной статуей, которой разрешали поклоняться новые мусульмане.

На софе, подобной пурпурному острову, сидела леди Энид и оживленно беседовала с Дорианом, стараясь предотвратить семейную ссору, неизбежную после случая в парламенте. По следующей зале бродила леди Джоан Брет. Мы не вправе сказать, что она смиренно или пылливо вглядывалась в картины, но, дабы не обижать все постфутуристов, сообщим, что ее точно так же утомлял пол, по которому она ступала, и зонтик, который она держала в руке. И сзади, и спереди, и сбоку медленно плыли люди ее круга. Это очень маленький круг, но он достаточно велик и достаточно мал, чтобы править страной, утратившей веру. Он суетен, как толпа, и замкнут, как тайное общество.

Ливсон немедленно подошел к лорду Айвивуду, вынул бумаги из кармана и рассказал, как преступники покинули Миролюбец. Лицо Айвивуда почти не изменилось; он был выше некоторых вещей (или считал, что выше) и мог бранить слугу только при слугах. Оно по-прежнему напоминало мрамор.

— Я постарался узнать, куда они поехали, — сказал секретарь. — Как это ни прискорбно, они направились в Лондон.

— Очень хорошо,— ответила статуя. — Здесь их легче поймать.

Приведя множество доводов (к сожалению, ложных), леди Энид предотвратила скандал. Но она плохо знала мужчин, если думала, что поэт не испытывает глубокой ярости. С тех пор как мистер Гиббс велел арестовать его, целых четыре дня чувства и мысли Дориана Уимпола развивались в направлении, противоположном идеалам тактичного журналиста, чье неожиданное появление сильно ускорило процесс. С Гиббсом поэт знаком не был и оскорбить его не мог; не мог оскорбить и кузена, с которым только что помирился, но кого-то оскорбить был непременно должен. Почитатели нового искусства будут огорчены, узнав, что гнев его обрушился на новую школу живописи. Тщетно повторял Ливсон: «Новое всегда ругают». Тщетно повторял Гиббс: «Ругали даже Уистлера». Избитые фразы не могли утишить бурю Дорианова гнева.

— Этот турок умнее тебя,— говорил он Айвивуду. — Он считает, что это хорошие обои. Я бы сказал, плохие обои, от них сильно мутит. Но это не картины. С таким же успехом можешь назвать их креслами партера. Партер — не партер, если нет сцены. Сидеть можно и дома, даже удобнее. И ходить дома удобнее, чем здесь. Выставка — это выставка, если там что-то выставлено. Ну, покажи мне что-нибудь.

— Пожалуйста, — благодушно согласился лорд Айвивуд, подводя его к стене. — Вот «Портрет старухи».

— Который? — спросил упорный Дориан.

Гиббс поспешил помочь, но, к несчастью, показал на «Дождь в Аппенинах», что усилило гнев поэта. Возможно (как Гиббс потом объяснял), что Дориан толкнул его локтем. Во всяком случае, журналист, потрясенный своей ошибкой, удалился в буфет, где съел три пирожка с омаром, а также выпил того самого шампанского, которое некогда принесло ему столь тяжкий вред. Однако на сей раз он ограничился одним бокалом и вернулся с достоинством.

Вернувшись, он обнаружил, что Дориан Уимпол, забыв о месте, времени и гордости, спорит с лордом Айвивудом, как спорил с Патриком в лунном лесу. Айвивуд тоже разволновался, его холодные глаза сверкали, ибо он знал лишь радости ума, но не умел кривить душой.

— Я испытываю неиспытанное, — говорил он, красиво повышая и понижая голос, — пробую неиспробованное. Ты говоришь, они изменили самую сущность искусства. Этого я и хочу. Все на свете живет лишь тем, что превращается во что-то другое. Без искажения нет роста.

— Что же они исказили? — спросил Дориан. — Я ничего такого не нашел. Нельзя исказить перья у коровы или лапы у кита. Разве что шутки ради, но вряд ли ты посмеешься. Как ты не видишь? Даже тогда, дорогой мой Филип, шутка в том, что корова — это корова, а не птица. И сочетать, и искать можно до

известных границ, дальше будет уже другая вещь, и все. Кентавр — и человек, и лошадь, а не бессмысленное чудище.

— Я понимаю, что ты имеешь в виду, — сказал лорд Айвивуд, — но не согласен. Я бы хотел, чтобы кентавр не был ни человеком, ни лошастью.

— Зачем же он тогда? — спросил поэт. — Если что-то изменилось полностью, оно не изменилось. Где перелом? Где память о перемене? Если завтра ты проснешься в образе миссис Доп, которая сдает комнаты на Бродси-эйрс, чем же *ты* изменишься? Я не сомневаюсь, что миссис Доп нормальной и счастливее тебя. Но чем же *ты* стал лучше? Как же ты не видишь, что каждый предмет ограничен от другого тождеством с самим собой?

— Нет! — воскликнул Филип, подавляя гнев. — Я с этим не согласен.

— Тогда я понимаю, — сказал Дориан, — почему ты, такой хороший оратор, не пишешь стихов.

Леди Джоан, со скукой глядевшая на фиолетово-зеленое полотно, которое показывал ей Мисисра, заклиная не обращать внимания на идолопоклоннические слова «Первое причастие в снегах», резко обернулась к Дориану. Немногие мужчины оставались равнодушными к ее лицу, особенно если оно являлось им внезапно.

— Не пишет стихов? — переспросила она. — Вы считаете, что Филипу мешают рамки ритма и рифмы?

Поэт немного подумал и отвечал:

— Да, из-за этого тоже. Однако я имел в виду другое. Мы — свои люди, и я скажу прямо. Все считают, что у Филипа нет юмора. Но я скорблю не о том. Я скорблю, что у него нет чувств. Он не ощущает границ. Так стихов не напишешь.

Лорд Айвивуд холодно разглядывал черно-желтую картину под названием «Порыв», но Джоан Брет живо склонилась к нему и воскликнула:

— Дориан говорит, что у вас нет чувств. Есть ли у вас чувства? Ощущаете ли вы границы?

Не отрывая взгляда от картины, Айвивуд ответил:

— Нет, не ощущаю.

Потом он надел старящее его пенсне; потом снял и обернулся к Джоан. Лицо его было очень бледно.

— Джоан, — сказал он. — Я пройду там, где не был никто. Я проложу дорогу, как римляне. Мне не нужны приключения среди изгородей и канав. Мои приключения — у пределов разума. Я буду думать о том, о чем никто не думал, любить то, чего никто не любил. Я буду одинок, как первый человек.

— Говорят, — сказала она, — что первый человек пал.

— Кто говорит, священники? — спросил он. — Да; но и они признают, что он познал добро и зло. Так и эти художники ищут во мраке то, что еще неведомо нам.

Джоан взглянула на него с искренним и необычным интересом.

— О!..— сказала она. — Значит, и вы ничего не понимаете?

— Я вижу, что они ломают барьеры,— ответил он, — а больше ничего не вижу.

Она смотрела в пол, рисуя узоры зонтиком, словно должна была это обдумать. Потом сказала:

— Быть может, разрушая барьеры, они разрушают все?

Ясные бесцветные глаза твердо встретили ее взгляд.

— Вполне может быть, — сказал лорд Айвивуд.

Дориан внезапно отошел от картины и воскликнул:

— Эй, что такое?

Мистер Гиббс изумленно глядел на дверь.

В византийской арке стоял высокий худой мужчина в поношенном, но аккуратном костюме. Темная борода придавала что-то пуританское его сухощавому умному лицу. Все его особенности объяснились, когда он заговорил с северным акцентом:

— Сколько здесь картин, ребята! Но я бы хотел кружечку, да.

Ливсон и Гиббс переглянулись, и секретарь выбежал из залы. Лорд Айвивуд не шевельнулся; но Уимпол, любопытный, как все поэты, подошел к незнакомцу и взгляделся в него.

— Какой ужас! — проговорила леди Энид. — Он пьян.

— Нет, красотка, — галантно возразил незнакомец. — Давно я не пил. Я человек приличный, рабочий. Кружечка мне не повредит.

— Вы уверены, — со странной учтивостью осведомился Дориан, — вы уверены, что не выпили?

— Не выпил, — добродушно сказал незнакомец.

— Даже если бы здесь была вывеска... — дипломатично начал поэт.

— Вывеска есть, — отвечал незнакомец.

Печальное, растерянное лицо Джоан Брет мгновенно преобразилось. Она сделала четыре шага, вернулась и села на софу. Но Дориан, по всей видимости, был в восторге.

— Даже если вывеска есть, — сказала она, — выпивку не отпускают пьяным. Могли бы вы отличить дождь от хорошей погоды?

— Мог бы, — убежденно ответил незнакомец.

— Что ты делаешь? — испуганно прошептала Энид.

— Я хочу, — ответил поэт, — чтобы приличный человек не разнес в щепы непотребную лавочку. Простите, сэра. Итак, вы бы узнали дождь на картине? Вы слышали, что такое пейзаж, а что такое портрет? Простите меня, служба!..

— Мы не такие дураки, сэра, — отвечал гордый северянин. — У нас галерея не хуже вашей. В картинах я разбираюсь.

— Благодарю вас, — сказал Уимпол. — Не могли бы вы посмотреть на эти две картины? На одной изображена старуха, на другой — дождь в горах. Это чистая формальность. Вам отпустят выпивку, если вы угадаете, где что.

Северянин склонился к картинам и терпеливо на них посмотрел. Тишина оказала странное влияние на Джоан; она поднялась, поглядела в окно и вышла.

Наконец ценитель искусства поднял озадаченное, но вдумчивое лицо.

— Это пьяный рисовал, — промолвил он.

— Вы выдержали испытание! — взволнованно вскричал Дорриан. — Вы спасли цивилизацию! Честное слово, выпивка вам будет.

Он принес большой бокал любимого Гиббсом шампанского, денег не взял и выбежал из галереи.

Джоан стояла в первом зале. Из бокового окна она увидела немыслимые вещи, которые хотела увидеть. Она увидела ало-синий флаг, стоящий в клумбе спокойно, словно тропический цветок. Но пока она шла от окна к двери, он исчез, напоминая ей, что это — всего лишь сон. Два человека сидели в автомобиле, и он уже двигался. Они были в больших очках, но она их узнала. Вся мудрость ее, весь скепсис, весь стоицизм, все благородство удержали ее на месте, и она застыла, как изваяние. Собака по имени Квудл прыгнула на сиденье, обернулась и залаяла от радости. И, хотя леди Джоан вынесла все остальное, тут она заплакала.

Но и сквозь слезы видела она странные события. Дориан Уимпол, одетый и модно, и небрежно, как и подобает на выставках, ни в малой мере не походил на изваяние. Сбежав по ступенькам, он погнался за автомобилем и вскочил в него так ловко, что даже изящный цилиндр не сдвинулся с места.

— Здравствуйте, — любезно сказал он Дэлрою. — Я прокатил вас, теперь прокатите меня.

Глава 21

ДОРОГА В КРУГВЕРТОН

Патрик Дэлрой посмотрел на неожиданного гостя сурово, но весело, и сказал только одно:

— Я не крал у вас автомобиля, поверьте, не крал.

— Конечно! — отвечал Дорриан. — Я все потом узнал. Поскольку вы, как говорится, гонимый, нечестно скрывать от вас, что я не разделяю взглядов Айвивуда. Я несогласен с ним, или, точнее, он со мной несогласен с тех пор, как я проснулся, наевшись устриц, в палате общин и услышал, что полисмен выкликает: «Кто идет домой?»

— Неужели, — удивился Дэлрой, хмуря рыжие брови, — там задают такой вопрос?

— Да, — равнодушно ответил Уимпол. — Это осталось с той давней поры, когда членов парламента били на улицах.

— Почему же их сейчас не бьют? — рассудительно спросил Патрик.

Они помолчали.

— Это великая тайна, — сказал капитан. — «Кто идет домой?» Поистине прекрасно!

Капитан принял поэта гостеприимно и благожелательно; однако поэт, хорошо понимавший таких людей, заметил, что он немного рассеян. Пока автомобиль летел, громыхая, сквозь дебри южного Лондона (Пэмп миновал Вестминстерский мост и направлялся к холмам графства Суррей), большие синие глаза рыжего гиганта зорко оглядывали улицы. После долгого молчания он выразил свою мысль:

— Вас не удивляет, что теперь развелось столько аптекарей?

— Правда? — легкомысленно спросил Уимпол. — Да, вон две аптеки почти рядом...

— И владелец один и тот же, — сказал Дэлрой. — Некий Крук. Я видел за углом еще одно заведение. Какое-то вездесущее божество!..

— Должно быть, большое предприятие, — заметил Уимпол.

— Я бы сказал, слишком большое, — отвечал Дэлрой. — Зачем нужны две аптеки рядом? Неужели покупатель идет одной ногой в одну, другой — в другую? А может, в одной он покупает кислоты, в другой щелочи? Слишком сложно. Какая-то двойная жизнь.

— Наверное, — сказал Дорин, — у мистера Крука большой спрос. Он продает какое-нибудь ценное лекарство.

— Мне кажется, — сказал капитан, — что спрос на лекарство ограничен. Если кто-нибудь продает хороший табак, люди могут курить больше и больше. Но я никогда не слышал, чтобы упивались рыбьим жиром. Даже касторка вызывает скорее почтение, чем любовь.

Помолчав немного, он прибавил:

— Знаешь, Пэмп, надо бы тут остановиться на минуточку.

— Хорошо, — сказал Хэмфри. — Только ничего не устраивай.

Автомобиль остановился перед четвертым владением Крука, и Дэлрой вошел и вышел прежде, чем Пэмп и Уимпол успели обменяться словом. Лицо его, особенно рот, выражало что-то неясное.

— Мистер Уимпол, — сказал капитан, — не окажете ли вы нам честь, не пообедаете ли с нами? Обедать мы будем под изгородью или на дереве. Вы понимающий человек, а за ром и за сыр мистера Пэмпа прощения не просят. Мы поедем и выпьем вволю. Это будет пир. Я не совсем точно понимаю, друзья мы или враги, но сегодня у нас перемирие.

— Надеюсь, мы друзья, — сказал поэт и улыбнулся. — Но почему же перемирие именно сегодня?

— Потому что завтра будет бой, — отвечал Патрик. — Я не знаю, на чьей вы стороне, но только что сделал важное открытие.

И он замолчал и молчал, пока они выезжали из Лондона в леса и холмы, окаймляющие Крайдон. Он думал. Дориана коснулось легкое крыло того нестойкого сна, который прилетит к вам, если вы смените душные залы на свежий ветер. Даже Квудл заснул, свернувшись клубком. Что же до Пэмпа, он обычно молчал, когда был занят делом. Поэтому и случилось так, что много ландшафтов пронеслось мимо и много времени прошло, прежде чем снова началась беседа. Небо сменило бледное золото и бледную зелень на жаркую синеву звездной ночи. Лес, длинным дротиком летящий по сторонам, был огорожен и походил на парк — прямоугольники темного бора в длинных серых коробках. Потом коробки исчезли, сосны унеслись назад, дорога стала двоиться и даже ветвиться. Через полчаса Дэлрой заметил в пейзаже что-то знакомое; а Хэмфри Пэмп давно знал, что едет по родному краю.

Собственно говоря, разница была не в том, что дорога шла в гору, а в том, что она непрестанно петляла. Она походила на тропку и казалась почти живой, когда была всего круче и непонятней. Они поднимались на большой холм, состоящий из маленьких круглых холмов, как монастырь — из обителей, и дорога непрестанно окружала то один из них, то другой. Трудно было поверить, что она рано или поздно не завяжется узлом.

— У автомобиля закружится голова, — нарушил молчание Патрик.

— Вполне возможно, — улыбнулся У им пол. — Вы, наверное, заметили, что мой автомобиль гораздо устойчивей.

Патрик засмеялся не без смущения.

— Надеюсь, он вернулся к вам в сохранности, — сказал он. — Этот не может ехать быстро, но он прекрасно карабкается. А сейчас это нужно.

— Да, — сказал Дориан, — дорога неровная.

— Вот что! — вскричал Патрик. — Вы англичанин, я — нет. Вы должны знать, почему она так петляет. Прости нас, Господи, но мы, ирландцы, не понимаем Англии. Да она и сама себя не понимает. Она не ответит, почему дорога вьется, и вы не ответите.

— Не скажите, — со спокойной иронией возразил Дориан, и Патрик с беспокойной иронией возопил:

— Прекрасно! Новые песни автомобильного клуба! Кажется, мы все здесь поэты. Пусть каждый напишет, почему дорога петляет. Скажем, вот так, — прибавил он, ибо автомобиль чуть не свалился в болото.

И впрямь Пэмп одолевал крутизну, которая скорее подходила бы горной козе, чем автомобилю. Быть может, ощущение это усиливалось, ибо спутники его, каждый по-своему, привыкли к более ровной земле. Им казалось, что они петляют по лабиринту улочек и одновременно взбираются на башню в Брюгге.

— Это дорога в Кругвертон, — весело сказал Патрик. — Очень красиво. Полезно для здоровья. Непременно посетите.

Налево, направо, прямо, за угол и назад. Для моих стихов подходит. Что ж вы, лентяи, не пишете?

— Если хотите, я попробую, — сказал Дориан, еще не утративший самолюбия. — Но уже стемнело, и темнеет все больше.

И впрямь между ними и небом нависла тьма, подобная полям великаншей шляпы; лишь в просветы ее глядели крупные звезды. Внизу большой холм был почти голым, повыше на нем росли деревья, словно птицы, стерегущие гнездо. Лес казался больше и реже, чем тот, который венчает холм Ченктонбери, но не уступал ему в поэтичности. Автомобиль едва петлял меж деревьев по ленте тропы. Изумрудное мерцание и серые корни буков напоминали о морском дне и морских чудовищах, тем более что на земле рдели пурпуром и медью грибы, словно обломки заката, упавшие в море, или особенно яркие медузы и актинии. Однако путникам казалось и другое — что они высоко вверх, чуть ли не в небе. Яркие летние звезды, сверкавшие сквозь крышу листьев, могли оказаться небесными цветами.

Хотя путники въехали в лес, словно вошли в дом, они все так же кружились, как будто дом этот — карусель или вращающийся замок из старой пантомимы. Звезды тоже кружились над головой, и Дориан был почти уверен, что уже в третий раз видит один и тот же бук.

Наконец они достигли места, где холм вздымался к небу лесистым конусом, вздымая вместе с собою деревья. Здесь Пэмп остановился и взобрался по склону к корням огромного, но низкого бука, чьи сучья распростерлись на четыре стороны света, словно гигантские щупальца. Наверху, между ними, было дупло, подобное чаше, и Хэмфри Пэмп Пэбблсвикский внезапно исчез в нем.

Появившись снова, он учтиво спустил веревочную лестницу, чтобы спутники его могли взобраться, но капитан схватился за большой сук и полез вверх не хуже шимпанзе. Когда все уселись в дупле удобно, как в кресле, Хэмфри Пэмп спустился сам за нехитрыми припасами. Пес по-прежнему спал в автомобиле.

— Наверно, твой старый приятель, — сказал капитан. — Ты здесь совсем как дома.

— А я и дома, — отвечал Пэмп. — Мой дом там, где вывеска а. — И он воткнул алую с синим вывеску среди грибов, словно приглашая прохожего взобраться на дерево за ромом.

Дерево росло на самой вершине, и отсюда была видна вся окрестность, по которой вилась серебристая речка дороги. Путников охватило такое возбуждение, что им казалось, будто звезды обожгут их.

— Дорога эта, — сказал Дэлрой, — напоминает мне о песнях, которые вы обещали написать. Закусим, Хэмп, и за работу.

Хэмфри повесил на ветку автомобильный фонарь и при свете его разлил ром и раздал сыр.

— Как хорошо! — воскликнул Дориан У и м п о л . — Да мне совсем удобно! В жизни такого не бывало! А у сыра просто ангельский вкус.

— Это сыр-пилигрим, — отвечал Д э л р о й , — или сыр-крестосец. Это отважный, боевой сыр, сыр всех сыров, высший сыр мироздания, как выразился мой земляк Йейтс о чем-то совсем другом. Просто быть не может, чтобы его сделали из молока такой трусливой твари, как корова. Наверное, — раздумчиво прибавил о н , — наверное, не подойдет гипотеза, что для него доили быка. Ученые сочтут это кельтской легендой, со всей ее сумрачной прелестью... Нет, мы обязаны им той корове из Денсмора, чьи рога подобны слоновьим бивням. Эта корова так свирепа, что один из храбрейших рыцарей сразился с ней. Неплох и ром. Я заслужил его, заслужил смирением. Почти целый месяц я уподоблялся зверям полевым и ходил на четвереньках, как трезвенник. Хэмп, пусти по кругу бутылку, то есть бочонок, и мы почитаем стихи, которые ты так любишь. Все они называются одинаково и очень красиво: «Изыскание о геологических, исторических, агрономических, психологических, физических, нравственных, духовных и богословских причинах, вызвавших к жизни двойные, тройные, четверные и прочие петли английских дорог, проведенное в дупле дерева специальной тайной комиссией, состоящей из неподкупных экспертов, которым поручено сделать обстоятельный доклад псу Квудлу. Боже храни короля» . — Проговорив все это с поразительной быстротой, он прибавил: — Я задаю вам нужную ноту. Лирический тон.

Несмотря на свою диковатую веселость Дэлрой по-прежнему казался поэту рассеянным, словно он думал о чем-то другом, гораздо более важном. Он был в творческом трансе; и Хэмфри Пэмп, знавший его, как себя, понимал, что занят он не стихами. Многие нынешние моралисты назвали бы такое творчество разрушительным. На свою беду, капитан Дэлрой был человеком действия, в чем убедился капитан Даусон, когда внезапно стал ярко-зеленым. Он очень любил сочинять стихи, но ни поэма, ни песня не давали ему такой радости, как безрассудный поступок.

Поэтому и случилось, что его стихи о дорогах носили следы торопливой небрежности, тогда как Дориан, человек иного склада, впитывающий, а не извергающий впечатления, утолил в этом гнезде свою любовь к прекрасному и был намного серьезней и проще, чем до сей поры. Вот стихи Патрика:

Я слышал, Гай из Уорика, *
Тот, что смирил Быка
И Вепря дикого свалил
Ударом кулака, —
Однажды Змея в тыщу миль
Прикончил на досуге:
И корчился сраженный Гад —
Туда-сюда, вперед-назад —

С тех пор и вьются, говорят.
Дороги все в округе...
Я б мог побиться об заклад,
Что дело здесь не в том,
А перекручены пути,
Чтоб нас с тобой, как ни крути,
В чудесный город привести —
В веселый Кругвертон!
Я слышал, Робин-Весельчак,
Резвящийся в лесах
(Хозяин фразы Вальтер Скотт,
Но он на небесах). —
Так вот, лукавый дух ночной
Подстраивает шутки:
Влюбленных водит под луной
Дорогой путаной, кружной...
Но нет, не властны надо мной
Такие предрассудки!
А в Кругвертоне — рай земной,
Порядок и закон;
И вьются, кружатся пути,
Мечтая (Теннисон, прости!)
Всех праведников привести
В счастливый Кругвертон!

Я слышал, Мерлин-чародей
Пустил дороги вкось,
Чтоб славным рыцарям Грааль
Найти не удалось:
Чтоб вечно путь их вел назад,
К родному Камелоту...
Но в «Дейли Мейл» вам объяснят,
Что это ненаучный взгляд,
И скажет всякий демократ:
В нем смысла — ни на йоту.
А в Кругвертоне мир да лад,
И нет сомненья в том,
Что тысячи кривых дорог,
Спеша на запад и восток,
Заветный ищут уголок —
Тот самый Кругвертон!

Патрик Дэлрой облегчил душу, взревев напоследок, выпил стакан моряцкого вина, беспокойно заерзал на локте и поглядел вверх пейзажа, туда, где лежал Лондон.

Дориан Уимпол пил золотой ром, и звездный свет, и запах лесов. Хотя стихи у него тоже были веселые, он прочитал их серьезнее, чем думал:

Когда еще латинский меч наш край не покорил, *
Дорогу первую в стране пьянчуга проторил:
Вовсю кружил он и петлял, разгорячен пирушкой,
А вслед помещик поспешал и пастор с верным служкой...
Таким блажным, кружным путем и мы, не помню с кем,
Вдоль побережья наобум шагали в Бирмингем.

Мне Бонапарт не делал зла; помещик — тот был зол!
И все-таки с французом сражаться я пошел:
Чтоб не посмел никто спрямить — на севере ль, на юге —
Дорогу нашу, славный путь английского пьянчуги.

Тот вольный путь, окольный путь, которым — вот так вид! —
Мы шли под мухой в Ливерпуль по мосту через Твид.

Да, пьянство — грех, но был прощен тот первый сумасброд:
Недаром по его следам боярышник цветет.
Он песни дикие орал, он ночь проспал в кювете,
Но роза дикая над ним склонилась на рассвете...
Да будет Бог и к нам не строг, хоть шаг наш был нетверд,
Когда из Дувра через Гульль брели мы в Девонпорт.

Прогулки эти нам, друзья, уж больше не к лицу:
Негоже старцу повторять, что с рук сошло юнцу.
Но ясен взгляд, и на закат еще ведет дорога,
В тот кабачок, где тетка Смерть кивает нам с порога,
И есть о чем потолковать, и есть на что взглянуть —
Покуда приведет нас в рай окольный этот путь.

— А ты уже кончил, Хэмп? — спросил Дэлрой кабатчика,
который старательно писал при свете фонаря.

— Да,— отвечал т о т . — Но мне хуже, чем вам. Понимаешь,
я знаю, почему дорога в ь е т с я . — И он стал читать на одной ноте:

Сперва налево гнется путь,
Каменоломню обогнуть,
Потом бежит дугой, дугой
Направо от собаки злой,
Потом налево — просто так,
Чтоб в мокрый не попасть овраг,
И вновь направо, потому,
Что обогнуть пришлось ему
И обойти издалека
Поместье одного князька,
От смерти коего идет
Уже семьсот десятый год.
И снова влево — от могил,
Где дух священника бродил,
Пока не встретили его
Мертвецки пьяным в Калао.
И вновь направо поворот,
Чтоб нам не миновать ворот
«Короны и ведра» — кабак
Сей несомненно знает всяк.
Опять налево — справа жил
Сэр Грегори, и разрешил,
Рассудку не желая внять,
Цыганам табор основать.
Они бедны, но не честны,
И обойти мы их должны.
И вновь направо — от болот,
Где ведьмы позапрошлый год,
На полисмена налетев,
Избили, догола раздев,
О бедный, бедный полисмен!
И влево, мимо Тоби-лен,
И вправо, мимо той сосны,
Откуда столб и лес видны,
А в том лесу, в тени ветвей,
Дорога лучше и прямей.

Как доктор Лав мне рассказал
(Он вашу тетушку звал,
Дражайший Уимпол. Много книг
На наш он перевел язык,
И сам ученый град Оксфорд
Его твореньями был горд),
Как доктор Лав мне говорил,
Сквозь лес дорогу проложил
Строитель-римлянин — и вот
Она прямее здесь идет.
Но кончен лес, и снова путь
Спешит налево завернуть
От рощи, где в глухую ночь
Помещичью однажды дочь
Чуть не повесили. Она
Лишь тем осталась спасена,
Что жаль веревки стало им,
Ночным разбойникам лихим.
И вновь направо вьется путь,
Чтоб рощу вязов обогнуть,
И вновь налево...¹

— Нет! Нет! Нет! Хэмп! Хэмп! Хэмп! — в ужасе заорал Дэлрой. — Остановись! Не будь ученым, Хэмп, оставь место сказке. Сколько там еще, много?

— Да, — сурово отвечал Пэмп. — Немало.

— И все правда? — с интересом спросил Дориан Уимпол.

— Да, — улыбнулся Пэмп, — все правда.

— Как жаль, — сказал капитан. — Нам нужны легенды. Нам нужна ложь, особенно в этот час, когда мы пьем такой ром на нашем первом и последнем пиру. Вы любите ром? — спросил он Дориана.

— Этот ром, на этом дереве, в этот час, — отвечал Уимпол, — просто нектар, который пьют вечно юные боги. А вообще... вообще не очень люблю.

— Наверное, он для вас сладок, — печально сказал Дэлрой. — Сибарит! Кстати, — прибавил он, — какое глупое слово «сладострастие»! Распутные люди любят острое, а не сладкое, икру, соуса и прочее. Сладкое любят святые. Во всяком случае, я знаю пять совершенно святых женщин, и они пьют сладкое шампанское. Хотите, Уимпол, я расскажу вам легенду о происхождении рома? Запомните ее и расскажите детям, потому что мои родители, как на беду, забыли рассказать ее мне. После слов: «у крестьянина было три сына» предание, собственно, кончается. Когда эти сыновья прощались на рыночной площади, они сосали леденцы. Один остался у отца, дожидаясь наследства. Другой отправился в Лондон за счастьем, как ездят за счастьем и теперь в этот Богом забытый город. Третий ушел в море. Двое первых стыдились леденцов и больше их не сосали. Первыйпил все худшее пиво, он жалел денег. Второйпил все лучшие вина, чтобы похва-

¹ Перевод Н. Чуковского.

статься богатством. Но тот, кто уплыл в море, не выплюнул леденца. И апостол Петр или апостол Андрей, или кто там покровитель моряков, коснулся леденца и превратил его в напиток, ободряющий человека на корабле. Так считают матросы. Если вы обратитесь к капитану, грузящему корабль, он это подтвердит.

— Ваш ром,— благодушно сказал Дорриан,— может родить сказку. Но здесь — как в сказке и без него.

Патрик встал с деревянного трона и прислонился к ветви. Глядел он так, словно ему бросили вызов.

— Ваши стихи хорошие,— с показной небрежностью сказал он,— а мои плохие. Они плохие, потому что я не поэт, но еще и потому, что я сочинял тогда другие стихи, другим размером.

Он оглядел кудрявый путь и прочитал как бы для себя:

В городе, огороженном непроходимой тьмой,
Спрашивают в парламенте, кто собрался домой.
Никто не отвечает, дом не по пути,
Да все перемерли, и домой некому идти.

Но люди еще проснутся, они искупят вину,
Ибо жалеет наш Господь свою больную страну.
Умерший и воскресший, хочешь домой?
Душу свою вознесший, хочешь домой?
Ноги изранишь, силы истратишь, сердце разобьешь
И тело твое будет в крови, когда до дома дойдешь.
Но голос зовет сквозь годы: «Кто еще хочет свободы?
Кто еще хочет победы? Идите домой!»¹

Как ни мягко и ни лениво он говорил, поза его и движения удивили бы того, кто его мало знал.

— Разрешите спросить,— сказал, смеясь, Дорриан,— почему вы сейчас вынули из ножен шпагу?

— Потому что мы долго кружили,— отвечал Патрик,— а теперь пришло время сделать крутой поворот.

Он указал шпагой на Лондон, и серый отблеск рассвета сверкнул на узком лезвии.

Глава 22

СНАДОБЬЯ МИСТЕРА КРУКА

Когда небезызвестный Гиббс посетил в следующий раз мистера Крука, столь сведущего в мистике и криминологии, он увидел, что аптека его удивительно разрослась и расцвятилась восточным орнаментом. Мы не преувеличим, если скажем, что она

¹ Перевод А. Якобсона.

занимала теперь все дома по одной стороне фешенебельной улицы в Вест-Энде; на другой стороне стояли глухие общественные здания. По-видимому, мистер Крук был единственным торговцем довольно большого квартала. Однако он сам обслуживал клиентов и проворно отпустил журналисту его любимое снадобье. К несчастью, в этой аптеке история повторилась. После туманного, хотя и облегчающего душу разговора о купоросе и его воздействии на человеческое благоденствие, Гиббс с неудовольствием заметил, что в двери входит его ближайший друг, Джозеф Ливсон. Недовольствие самого Ливсона помешало ему это заметить.

— Да,— сказал он, останавливаясь посреди аптеки. — Хорошенькие дела!

Одна из бед дипломата в том, что он не может выказать ни знания, ни неведения. Гиббс сделал мудрое и мрачное лицо, поджал губы и сказал:

— Вы имеете в виду общее положение?

— Я имею в виду эту чертову вывеску, — сердито сказал Ливсон. — Лорд Айвивуд поехал с больной ногой в парламент и провел поправку. Спиртные напитки нельзя продавать, если они с ведома полиции не пробыли в помещении трое суток.

Гиббс торжественно и мягко понизил голос, словно посвященный, и промолвил:

— Такой закон, знаете ли, провести нетрудно.

— Конечно,— все еще с раздражением сказал Ливсон. — Его и провели. Но ни вам, ни Айвивуду не приходит в голову, что, если закон незаметен, его и не заметят. Если он прошел так тихо, что на него не возражали, ему не будут и подчиняться. Если его скрыли от политиков, он скрыт и от полиции.

— Этого просто не может быть,— сообщил Гиббс, — по природе вещей.

— Господи, еще как может! — вскричал Ливсон, обращаясь, по-видимому, к более конкретному властелину Вселенной.

Он вынул из кармана разные газеты, в основном — местные.

— Вот, послушайте! — сказал он. — «В деревне Полтни, Суррей, случилось вчера интересное происшествие. Толпа празднующихся бездельников осадила булочную мистера Уайтмена, требуя не хлеба, а пива и ссылаясь на некий пестрый предмет, стоявший перед дверью. По их утверждению, то была вывеска, дающая право торговать спиртными напитками». Видите, они и не слышали о поправке! А вот что пишет «Клитон консерватор»: «Презрение социалистов к закону наглядно выразилось вчера, когда толпа, собравшаяся вокруг какой-то деревянной эмблемы, встала перед магазином тканей, принадлежащим мистеру Дэгделу, и не желала разойтись, хотя ей указали, что действия ее противозаконны». А что вы на это скажете? *«Новости»*. К аптекарю в Пимлико явилась толпа, требуя пива и утверждая, что это входит в его обязанности. Аптекарь прекрасно

знал, что торговать пивом не должен, тем более после новой поправки; но вывеска по-прежнему действует на полицейских и даже парализует их». Что скажете? Ясно как день, что этот кабак летел прямо перед нами.

Наступило дипломатическое молчание.

— Ну,— спросил сердитый Ливсон уклончивого Гиббса, — что вы об этом думаете?

Тот, кому неведома относительность, царящая в нынешних умах, может предположить, что мистер Гиббс не думал об этом ничего. Как бы то ни было, его мысли незамедлительно подверглись проверке; ибо в аптеку вошел сам лорд Айвивуд.

— Добрый день, джентльмены, — сказал он, глядя на них с выражением, которое им не понравилось. — Добрый день, мистер Крук. Я привел к вам прославленного гостя. — И он представил сияющего Мисисру. Пророк вернулся к сравнительно скромным одеждам и был в чем-то пурпурном и оранжевом, но старое лицо сверкало и светилось.

— Наше дело идет вперед,— сказал он. — Вы слышали прекрасную речь лорда Айвивуда?

— Я слышал много таких речей, — сказал учтивый Гиббс.

— Пророк имеет в виду мой акт об избирательных бюллетенях,— небрежно пояснил Айвивуд. — Мне кажется, самые основы правления велят нам признать, что восточная Британская империя соединилась с западной. Посмотрите на университеты, где учится столько мусульман; скоро их будет больше, чем англичан. Должны ли мы,— еще мягче сказал он,— оставить этой стране представительное правление? Вы знаете, что я не верю в демократию, но, на мой взгляд, весьма неразумно и опрометчиво это правление отменять. В таком случае, не будем повторять ошибку, которую мы допустили с индусами, за что и поплатились мятежом. Мы не должны требовать, чтобы мусульмане ставили на бюллетене крестик; мелочь, казалось бы, но может их оскорбить. И вот я провел билль, предоставляющий право ставить вместо крестика линию, которая похожа на полумесяц. Это и легче, на мой взгляд.

— Да! — воскликнул сияющий старый турок. — Легкий, маленький знак заменит эту трудную, колючую фигуру. Он гигиеничней. Вы знаете, а наш почтенный хозяин уж непременно знает, что сарацинские, арабские и турецкие лекари были первыми в мире и учили своему искусству франкских варваров. Многие нынешние лекарства, самые модные, тоже с Востока.

— Это верно, — как всегда загадочно и угрюмо сказал Крук. — Порошок аренин, который ввел мистер Боз, нынешний лорд Гельвеллин, не что иное, как чистый песок пустыни. А то, что зовется в рецептах *Cannabis Indiensis*, называлось у других восточных соседей выразительным словом бханг.

— Так вот, — опять заговорил Мисисра, поводя руками, словно гипнотизер,— так вот, полумесяц ги-гие-ничен... а крест —

очень вреден. Полумесяц — это волна, это листок, это п е р о . — И он в неподдельном восторге изобразил все это в воздухе, повторяя извилистые линии орнамента, который с легкой руки лорда Айвивуда украсил многие магазины. — Когда вы рисуете крест, вы делаете та-а-ак. — Он провел в воздухе горизонтальную линию. — И та-а-ак. — Он провел вертикальную с таким трудом, словно поднимал дерево. — Потом вам становится очень плохо.

— Кстати, мистер Крук, — вежливо сказал А й в и в у д , — я пригласил сюда пророка, чтобы он посоветовался с вами, как со специалистом, о том самом снадобье, которое вы назвали, — о гашише. Мне пора решить, должны ли эти восточные стимуляторы подходить под запрет, который мы наложили на грубые опьяняющие напитки. Конечно, все мы слышали об ужасных и сладострастных видениях и о безумии, овладевавшем так называемыми гашишинами или ассасинами. Но мы не должны забывать о том, что в нашей стране Восток известен по клеветническим сообщениям христиан. Считаете ли вы, — и он обернулся к п р о р о к у , — что гашиш действует так дурно?

— Вы увидите мечети, — простодушно сказал п р о р о к , — много мечетей — очень много — все выше и выше, до самой луны — и услышите грозный голос, кричащий, как м у э д з и н , — и подумаете, что это Аллах. Потом вы увидите жен — очень, очень много — больше, чем можно иметь одному человеку, — и попадете в розовое и пурпурное море — и это все будут жены. Потом вы заснете. Я пробовал его только один раз.

— А что вы думаете о гашише, мистер Крук? — медленно спросил Айвивуд.

— Я думаю, — отвечал аптекарь, — что он с конопли начинается и коноплей кончается.

— Боюсь, — сказал А й в и в у д , — что я вас не совсем понял.

— Гашиш, убийство и веревка, — сказал К р у к . — Я это все видел в Индии.

— И впрямь, — еще медленней сказал А й в и в у д , — это не мусульманское снадобье. Именно потому так подозрительны ассасины. Кроме т о г о , — прибавил он с простотой, в которой было какое-то благородство, — их изобличает связь с Людовиком Святым.

Он помолчал и спросил, глядя на Крука:

— Значит, вы торгуете не гашишем?

— Нет, милорд, не г а ш и ш е м , — отвечал аптекарь. Он тоже глядел пристально, и морщины его непонятого лица казались иероглифами.

— Дело идет вперед! — возопил Мисисра, снимая тем самым напряжение, которого не заметил. — Ги-ги-ни-ческий значок сменит ваш колючий плюс. Вы уже употребляете его, чтобы отмечать безударные слоги в стихах, которые, надо вам сказать, тоже восточного происхождения. Знаете новую игру?

Он задал вопрос так резко, что все обернулись и увидели, что он вынимает из пурпурных одежд яркий гладкий лист, купленный в игрушечной лавке.

По рассмотрении он оказался голубым в желтую и красную клеточку, а к нему прилагалось семнадцать карандашей и множество инструкций, сообщающих, что игра недавно ввезена с Востока и называется «Нолики и полумесяцы».

Как ни странно, лорда Айвивуда, при всем его энтузиазме, скорее рассердило это азиатское новшество, особенно потому, что он пытался смотреть на мистера Крука так же пытливо, как тот смотрел на него.

Гиббс рассудительно кашлянул и сказал:

— Конечно, все пришло с Востока. — Он помолчал, не в силах припомнить ничего, кроме своего любимого соуса, но вспомнил и христианство и привел оба примера. — Все, что с Востока, прекрасно, — многозначительно добавил он.

Те, кто в другие времена, при других модах не могли понять, как сумел Мисисра овладеть разумом лорда Айвивуда и ему подобных, упустили две немаловажные вещи. Во-первых, турок мог мгновенно создать теорию о чем угодно. Во-вторых, теории эти были последовательны. Он никогда не принял бы нелогичного комплимента.

— Вы неправы, — важно сказал он Гиббсу, — не все, что с Востока, прекрасно. Восточный ветер не прекрасен. Я не люблю его. Я думаю, что силу и красоту, поэзию и веру Востока испортил для вас, англичан, восточный ветер. Когда вы видите зеленое знамя, вы думаете не о зеленых лугах, а о восточном ветре. Если вы читаете о луноподобных гуриях, вы представляете себе не наши апельсиновые луны, а вашу луну, похожую на снежок...

Тут в беседу вступил новый голос. Хотя его не очень хорошо поняли, сказал он примерно следующее:

— Чего ж я буду ждать этого еврея в халате? Он пьет свое, а я свое. Пива, мисс.

Говоривший — то был высокий штукатур — оглядел аптеку, пытаясь отыскать незамужнюю особу, к которой так учтиво обратился, и, не найдя ее, выразил удивление.

Айвивуд посмотрел на него и окаменел, что было особенно заметно при его внешности. Но Дж. Ливсон каменеть не мог. Он вспомнил тот злосчастный вечер, когда столкнулся со «Старым кораблем» и открыл, что бедные — тоже люди, а потому переходят от вежливости к свирепости в необычайно короткий срок. За спиной штукатура он разглядел еще двоих, причем один увещевал другого, что всегда не к добру. Потом секретарь поднял взор и увидел самое страшное.

Стекло витрины заполнили сплошную человеческие лица. Он не мог их рассмотреть, уже темнело, а отсветы рубиновых и аметистовых шаров скорее мешали, чем помогали видеть. Но

самые ближние прижали к стеклу носы, а дальних было больше, чем хотел бы Ливсон. Увидел он и шест у дверей, и квадратную доску. Что изображено на доске, он не видел, но в том и не нуждался.

Те, кто встречался с лордом Айвивудом в такие минуты, поняли бы, почему он занял такое высокое место в истории своего времени несмотря на ледяное лицо и дикие догмы. В нем были все благородные черты, обусловленные отсутствием, а не присутствием какого-то свойства. Нельсон ведал страх, он — не ведал. Поэтому его нельзя было удивить и он оставался собранным и холодным там, где другие теряли голову.

— Не скрою от вас, джентльмены, — сказал он, — что я этого ждал. Не скрою и того, что именно поэтому я отнимал время у мистера Крука. Толпу отгонять не надо. Лучше всего, если мистер Крук разместит ее в своей аптеке. Я хочу сообщить как можно скорее как можно большей толпе, что закон изменен и перелетному кабаку пришел конец. Входите! Входите и слушайте!

— Благодарим, — сказал человек, как-то связанный с автобусами и стоящий за штукатуром.

— Благодарствуйте, сэр, — сказал веселый и невысокий часовщик из Крайдона.

— Благодарю вас, — сказал растерянный клерк из Камберуэлла.

— Мерси, — сказал Дориан Уимпол, который нес большой сыр.

— Спасибо, — сказал капитан Дэлрой, который нес бонок.

— Спасибо вам большое, — сказал Хэмфри Пэмп, который нес вывеску.

Боюсь, я не сумею передать, как выразила благодарность толпа. Но хотя в лавку вошло столько народу, что в ней не осталось места, Ливсон снова поднял мрачный взор и увидел мрачное зрелище. Внутри было много народу, но в окно глядело не меньше.

— Друзья мои, — сказал Айвивуд, — все шутки кончаются. Эта шутка так затянулась, что стала серьезной; и мы не могли бы сообщить честным гражданам о том, каков сейчас закон, если бы мне не довелось встретиться со столь представительным собранием. Не хотелось бы говорить, что я думаю о шутке, которую капитан Дэлрой и его друзья сыграли с вами. Но капитан Дэлрой согласится, что я не шучу.

— От всего сердца, — сказал Дэлрой серьезно и даже грустно. И прибавил, вздохнув: — Как вы справедливо заметили, шутки мои кончились.

— Эту вывеску, — сказал Айвивуд, указывая на синий корабль, — можно пустить на дрова. Она больше не будет сбивать с толку приличных людей. Поймите это раз и навсегда, прежде,

чем вам объяснят в полиции или в тюрьме. Новый закон вступил в действие. Эта вывеска ничего не значит. Она позволяет торговать спиртным не больше, чем фонарный столб.

— Как же это, хозяин? — сказал штукатур, что-то сообразивший. — Значит, я не могу выпить пива?

— Выпейте рому, — сказал Патрик.

— Капитан Дэлрой, — сказал лорд Айвивуд, — если вы дадите ему хоть каплю рому, вы нарушите закон и попадете в тюрьму.

— Вы уверены? — озабоченно спросил Дэлрой. — Я могу вернуться.

— Уверен, — сказал Айвивуд. — Я дал полиции полномочия. Это дело кончится здесь, сейчас.

— Если они не дадут мне выпить, — сказал штукатур, — я им шлемы проломлю, да. Почему мы не знаем ни про какие законы?

— Нельзя менять закон тайно, — сказал часовщик. — Черту новый закон!

— А какой он? — спросил клерк.

Лорд Айвивуд ответил ему с холодной учтивостью победителя:

— В поправке говорится, что спиртные напитки нельзя продавать даже с вывеской, если их не держали в помещении с ведома полиции хотя бы трое суток. Насколько я понимаю, капитан Дэлрой, ваш бочонок здесь трое суток не лежал. Приказываю вам закрыть его и убрать отсюда.

— Да, — невинно отвечал Патрик, — надо бы его подержать трое суток. Мы бы лучше узнали друг друга. — И он благожелательно оглядел растущую толпу.

— Вы ничего подобного не сделаете, — с внезапной яростью сказал Айвивуд.

— И впрямь, — устало отвечал Патрик, — не сделаю. Выпью и пойду домой, как приличный человек.

— Полицейские арестуют вас! — вскричал Айвивуд.

— Никак вам не угодишь! — удивился Дэлрой. — Спасибо хоть за то, что вы так ясно объяснили закон. «Если их не держали в помещении с ведома полиции трое суток»... Теперь я запомню. Вы очень хорошо объясняете. Только одно вы упустили, меня не арестуют.

— Почему? — спросил аристократ, белый от гнева.

— Потому, — воскликнул Патрик Дэлрой, и голос его взмыл вверх, словно звук трубы, — потому что я не нарушу закона. Потому что спиртные напитки *были* здесь трое суток, да что там, три месяца! Потому, Филип Айвивуд, что это обычный кабак. Потому что человек за стойкой продает спиртное всем трусам и лицемерам, у которых достаточно денег, чтобы подкупить нечестного медика.

И он показал на склянки перед Гиббсом и Ливсоном.

— Что они пьют? — спросил он.

Гиббс поспешил было убрать склянку, но негодующий часовщик схватил ее первым и выпил.

— В и с к и, — сказал он и разбил склянку об пол.

— И верно! — взревел штукатур, хватая по бутылки каждой рукой. — Ну, повеселимся! Что там в красном шаре? Надо думать, портвейн. Тащи его, Билл!

Айвивуд обернулся к Круку и проговорил, едва шевеля губами:

— Это ложь.

— Это правда, — отвечал Крук, твердо глядя на него. — Не вы создали мир, не вам его переделать.

— Мир создан плохо, — сказал Айвивуд, и голос его был страшен. — Я переделаю его.

Он еще не кончил фразы, когда витрина разлетелась, разлетелись и цветные шары, словно небесные сферы треснули от кошунства. Сквозь разбитое окно ворвался рев, который страшнее, чем рев бури; крик, который слышали даже глухие короли; грозный голос человечества. По всей фешенебельной улице, усыпанной стеклом, кричала и редела толпа. Реки золотых и пурпурных вин текли на мостовую.

— Идемте! — воскликнул Дэлрой, выбегая из аптеки с вывеской в руке. Квудл, громко лая, бежал за ним, а Хэмфри с бочонком и Дориан с сыром поспевали, как могли. — До свиданья, милорд, до встречи в вашем замке. Идемте, друзья. Не тратьте время, портя чужое добро. Нам пора идти.

— Куда? — спросил штукатур.

— В парламент, — отвечал капитан, возглавивший толпу.

Толпа обогнула два-три угла, и из глубины длинной улицы Дориан Уимпол, замыкавший шествие, увидел золотой циклопий глаз на башне святого Стефана — тот глаз, который он видел на фоне тихих предвечерних небес, когда и сон, и друг предали его. Далеко впереди, во главе процессии, виднелся шест с крестом и кораблем, и зычный голос пел:

Умерший и воскресший, хочешь домой?
Душу свою вознесший, хочешь домой?

Глава 23

ПОХОД НА АЙВИВУД

Порыв бури или орел свободы, внезапно вдохновляющий толпу, спустился на Лондон, несколько веков проведя за границей, где нередко витал над столицами. Почти невозможно установить тот миг, когда терпение становится невыносимей опасности. У истинных мятежей обычно бывают чисто символические,

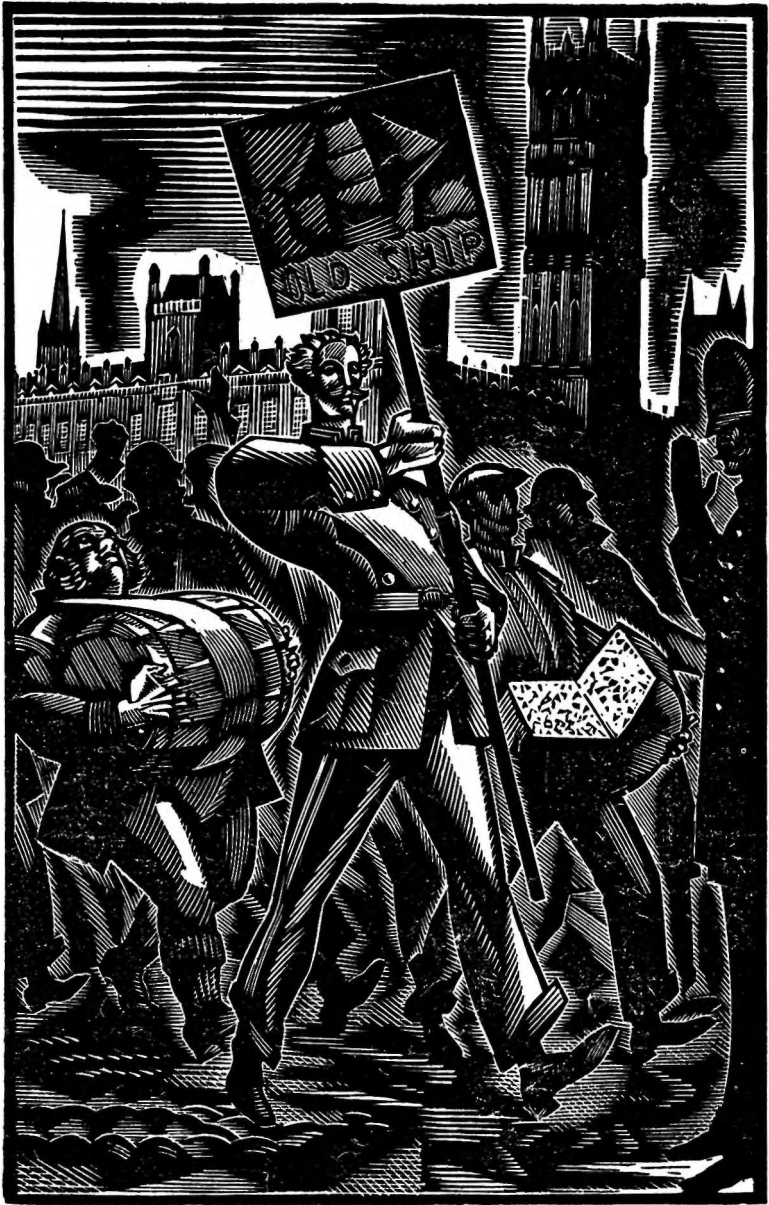
если не смешные причины. Кто-то выстрелит из пистолета или появится в нелюбимой форме, или вызовет криком непорядки, о которых не напишут в газетах, кто-то снимет шляпу или не снимет — и к ночи весь город охвачен восстанием. Когда мятежники разнесли вдребезги несколько аптек мистера Крука, а потом пошли в парламент, в Тауэр и к морю, социологи, сидя в погребках, где взор особенно ясен, могли придумать немало материальных и духовных объяснений бури; но ни одно из них нельзя назвать исчерпывающим. Конечно, когда чаши Эскулапа оказались чашами Вакха, многие напились; но напивались и прежде, не помышляя о бунте. Гораздо сильнее возбудила народ мысль о том, что могучие покровители Крука оставили открытой для себя дверь, закрытую для менее удачливых сограждан. Но и это не все; никто не знает полного объяснения.

Дориан Уимпол шел в хвосте процессии, увеличивавшейся с каждым мигом. Однажды он отстал, ибо круглый сыр, как живой, вырвался у него из рук и покотился к реке. В эти дни он научился радоваться простым происшествиям, словно к нему вернулась юность. Поймав сыр, он поймал и такси и погнался за мятежниками. Расспросив у палаты общин полисмена с подбитым глазом, он узнал, что именно делали они, и вскоре присоединился снова к легиону, который нельзя было спутать с другой толпою, потому что впереди шел рыжий гигант с каким-то куском деревянного дома, а еще и потому, что английские толпы давно ни за кем не ходили. Кроме того, с начала шествия она изменилась, как бы вырастила рога и когти, — многие несли какое-то странное, старинное оружие. Что еще удивительней, у многих были ружья, и шли эти люди в сложенном порядке; многие, наконец, схватили из дому топоры, молотки и даже ножи. Все эти домашние орудия очень опасны. Прежде чем выйти на улицу, они совершили тысячи частных убийств.

Дориану повезло. Он добрался до рыжего гиганта и пошел с ним в ногу во главе шествия. Хэмфри Пэмп шагал с другой стороны; прославленный бочонок висел у него на груди, как барабан. Поэт закинул сыр за спину, завернув его в плащ, и два прекрасно сложенных человека казались теперь калеками, что весьма развлекало веселого капитана. Дориана развлекали и другие вещи.

— Что с вами стало, пока меня не было? — со смехом спросил он. — Почему многие из вас разрядились, как на маскарад? Где вы были?

— Мы ходили по магазинам, — не без гордости отвечал Патрик Дэлрой. — Как и подобает родственникам из провинции. Я покупать умею. Как это говорится? Превосходные ружья, и совсем за бесценок! Мы обошли оружейные мастерские и заплатили очень мало. Собственно, мы не заплатили ничего. Это ведь и называется «за бесценок»? Потом мы пошли на толкучку. Во всяком случае, пока мы там были, то была толкучка. Мы купили



кусок ткани и обмотали им вывеску. Прекрасный шелк, в дамском вкусе.

Дориан поднял взор и увидел красную тряпку, должно быть — из мусорного ящика, которая стала на сей раз знаменем мятежа.

— Неужели не в дамском вкусе? — озабоченно спросил Дэлрой. — Ничего, скоро я зайду к даме и мы ее спросим.

— Вы уже все купили? — осведомился Уимпол.

— Почти все, — отвечал Патрик. — Где тут музыкальный магазин? Ну, такой, где продают рояли.

— Позвольте, — сказал Дориан. — Этот сыр не очень легок. Неужели мне придется тащить рояль?

— Вы не поняли меня, — спокойно сказал капитан и (поскольку мысль о музыкальном магазине пришла ему в голову, когда он такой магазин увидел) кинулся в дверь. Вскоре он вышел с каким-то узлом под мышкой и возобновил беседу.

— Куда вы еще ходили? — спросил Дориан.

— Мы были повсюду! — сердито воскликнул Патрик. — Разве у вас нет родственников из провинции? Мы были там, где надо. Мы были в парламенте. Они сегодня не заседают, и делать там нечего. Мы были в Тауэре — провинциальный родственник неумомим! Мы взяли на память кое-какие безделушки, в том числе алебарды. Честно говоря, гвардейцы были рады с ними расстаться.

— Разрешите осведомиться, — сказал поэт, — куда вы теперь идете?

— Мы посетим еще один памятник! — закричал Дэлрой. — Я покажу моим друзьям лучшую усадьбу в Англии. Мы направляемся в Айвивуд, неподалеку от курорта Пэбблсвик.

— Так, — сказал Дориан и впервые задумчиво и тревожно посмотрел на лица людей, идущих за ними.

— Капитан Дэлрой, — сказал он, и голос его несколько изменился, — я одного не понимаю. Айвивуд говорил, что нас арестует полиция. Это большая толпа, и я не понимаю, почему полицейские нас не трогают. Да и где они? Вы прошли полгорода, и у вас, простите, страшное оружие. Лорд Айвивуд пугал нас полицией. Почему же она бездействует?

— Тема эта, — весело отвечал Патрик, — должна быть разбита на три пункта.

— Неужели? — спросил Дориан.

— Да, — ответил Дэлрой. — Полиция не трогает нас по трем причинам. Надеюсь, и худший ее враг не скажет, что она нас трогает.

И он очень серьезно стал загибать огромные пальцы.

— Во-первых, — сказал он, — вы давно не были в городе. Когда вы увидите полисмена, вы его не узнаете. Они не носят больше шлемов, они носят фески, ибо берут теперь пример не с пруссаков, а с турок. Вскоре, несомненно, они заплетут косички,

подражая китайцам. Это очень важный раздел этики. Он зовется «Действенностью».

— Во-вторых,— продолжал капитан, — вы не заметили, должно быть, что сзади с нами идет немало полицейских в фесках. Да, да. Разве вы не помните, что французская революция началась, в сущности, тогда, когда солдаты отказались стрелять в своих жен и отцов и даже выказали желание стрелять в их противников? Полицейские идут сзади. Вы узнаете их по ремням и хорошему шагу. Но не смотрите на них, они смущаются.

— А третья причина? — спросил Дориан.

— Вот она,— отвечал Патрик. — Я не веду безнадежной борьбы. Те, кто бился в бою, редко ее ведут. Вы спрашиваете, где полиция? Где солдаты? Я скажу вам. В Англии очень мало полицейских и солдат.

— На это редко жалуются, — сказал Уимпол.

— Однако,— серьезно сказал капитан, — это ясно всякому, кто видел солдат или моряков. Я открою вам правду. Наши правители ставят на трусость англичан, как ставят овчарка на трусость овец. Умный пастух держит мало овчарок. В конце концов, одна овчарка может стеречь миллион овец — пока они овцы. Представьте себе, что они обратятся в волков. Тогда они собак разорвут.

— Неужели вы считаете,— спросил Дориан, — что у нас фактически нет армии?

— Есть гвардейцы у Уайтхолла,— тихо ответил Патрик. — Но вопрос ваш ставит меня в тупик. Нет, армия есть. Вот английской армии... Вы не слышали, Уимпол, о великой судьбе империи?

— Кажется, что-то слышал, — сказал Дориан.

— Она делится на четыре акта,— сказал Дэлрой. — Победа над варварами. Эксплуатация варваров. Союз с варварами. Победа варваров. Такова судьба империи.

— Начинаю понимать,— сказал Дориан Уимпол. — Конечно, Айвивуд и власти склонны опираться на сипаев.

— И на других,— сказал Патрик. — Вы удивитесь, когда их увидите.

Он помолчал, потом резко спросил, хотя и не менял темы:

— Вы знаете, кто живет теперь рядом с Айвивудом?

— Нет,— отвечал Дориан. — Говорят, это человек замкнутый.

— И поместье у него замкнутое,— мрачно сказал Патрик. — Если бы вы, Уимпол, влезли на забор, вы бы нашли ответ на многое. О, да, наши власти очень пекутся о порядке!

Он угрюмо замолчал, и они миновали несколько деревень прежде, чем он заговорил снова.

Они шли сквозь тьму, и заря застала их в диких, лесных краях, где дороги поднимались вверх и сильно петляли. Дэлрой вскрикнул от радости и показал Дориану что-то вдали. На

серебристом фоне рассвета виднелся пурпурный купол, увенчанный зелеными листьями, сердце Кругвертона.

Дэлрой ожил, увидев его. Дорога шла вверх; по сторонам, словно бодрствующие совы, торжественно стояли леса. Знамена зари уже охватили полнеба, ветер гремел трубою, но темная чаща скрывала свои тайны, как темный погреб, и утренний свет едва мерцал сквозь нее, словно осколки изумрудов.

Царило молчание, дорога была все круче, и высокие деревья, серые щиты великанов, все строже хранили какую-то тайну.

— Ты помнишь эту дорогу, Хэмп? — спросил Патрик.

— Да, — отвечал кабатчик и замолчал, но редко слышали вы такое полное согласие в этом коротком слове.

Часа через два, около одиннадцати, Дэлрой предложил остановиться и посоветовал немного поспать. Непроницаемая тишина чащи и мягкая трава под ногами склоняли ко сну, хотя время было и необычное. А если вы думаете, что люди с улицы не могут повиноваться случайному вождю и спать по его велению, в любое время, вы не знаете истории.

— Боюсь, — сказал Дэлрой, — завтрак будет вместо ужина. Я знаю прекрасное место, но спать там опасно, а поспать нам надо; так что не раскладывайте припасы. Мы ляжем здесь, как сиротки в лесу, и трудолюбивая птичка может покрыть нас лиственным одеялом. Нам предстоит подвиги, перед которыми нужно выспаться.

Они снова тронулись в путь намного позже полудня и так называемый завтрак съели в тот таинственный час, когда дамы умрут, если не выпьют чаю. Дорога поднималась все круче, и наконец Дэлрой сказал Дориану:

— Не уроните опять сыра, вы его не найдете. Он укатится в чащу. Подсчетов не нужно, я точно знаю. Я за ним бегал.

Уимпол заметил, что они взобрались на какой-то хребет, а несколько погодя понял, почему деревья такие странные и что они скрывают.

Шествие вышло на лесную дорогу, тянувшуюся вдоль моря. На высокой поляне стояли изогнутые яблони, чьих горьких, соленых плодов не пробовал никто. Больше здесь ничего не росло, но Дэлрой оглядел каждый вершок, словно то был его дом.

— Вот здесь мы позавтракаем, — сказал он. — Это лучший кабак Англии.

Кто-то засмеялся, но все смолкли, когда Дэлрой воткнул шест «Старого корабля» в голую землю.

— Теперь, — сказал он, — устроим пикник.

Почти стемнело, когда толпа, сильно выросшая в землях Айвивуда, достигла ворот усадьбы. Со стратегической точки зрения это было похвально; однако сам капитан несколько испортил дело. Построив свою армию и приказав ей стоять как можно тише, он обернулся к Пэмпю и сказал:

— А я немного пошумлю.
И вынул из оберток какой-то инструмент.
— Хотите вызвать их на переговоры? — спросил Дор и а н . —
Или созвать сбор?
— Н е т , — отвечал Пат р и к , — я спою серенаду.

Глава 24

ЗАГАДКИ ЛЕДИ ДЖОАН

Однажды под вечер, когда небеса были светлыми и только края их тронул пурпурный узор заката, Джоан Брет гуляла по лужайке на одном из верхних уступов Айвивудова сада, где гуляли и павлины. Она была так же красива, как павлин, и, может быть, так же бесполезна; она гордо держала голову, за ней волочился шлейф, и в эти дни ей очень хотелось плакать. Жизнь сомкнулась вокруг нее и стала непонятно тихой, а это больше терзает терпение, чем невнятный шум. Когда она смотрела на высокую изгородь сада, ей казалось, что изгородь стала выше, словно живая стена росла, чтобы держать ее в плену. Когда она глядела из башни на море, ей казалось, что оно дальше. Астрономические обои хорошо воплощали ее смутное чувство. Когда-то здесь были нежилые комнаты, из которых шел ход на черную лестницу, и к зарослям, и к туннелю. Она не бывала там; но знала, что все это есть. Сейчас ту часть усадьбы продали соседу, о котором никто ничего не знал. Все смыкалось, и ощущение это усиливали сотни мелочей. Она сумела выспросить о соседе лишь то, что он стар и очень замкнут. Мисс Браунинг, секретарша лорда Айвивуда, сообщила ей, что он со Средиземноморья, и слова эти, по всей вероятности, кто-то вложил в ее уста. Собственно говоря, сосед мог оказаться кем угодно, от американца, живущего в Венеции, до негра из Атласа, так что Джоан не узнала ничего. Иногда она видела его слуг в ливрее, и ливрея эта не была английской. Раздражало ее и то, что под турецким влиянием изменились полицейские. Теперь они носили фески, несомненно — более удобные, чем тяжелый шлем. Казалось бы, мелочь; но она раздражала леди Джоан, которая, как большинство умных женщин, была тонка и не любила перемен. Ей представлялось, что весь мир изменился, а от нее скрывают, как именно.

Были у нее и более глубокие горести, когда, снизойдя к трогательным просьбам леди Айвивуд и своей матери, она гостила здесь неделю за неделей. Если говорить цинично (на что она была вполне способна), обе они хотели, как это часто бывает, чтобы ей понравился один мужчина. Но цинизм этот был бы ложью, как бывает почти всегда, ибо этот мужчина ей нравился.

Он нравился ей, когда его принесли с пулей Пэмпа в ногу, и он был самым сильным и спокойным в комнате. Он нравился

ей, когда он спокойно переносил боль. Он нравился ей, когда не рассердился на Дориана; и очень нравился, когда, опираясь на костыль, уехал в Лондон. Однако несмотря на тяжкое ощущение, о котором мы говорили, больше всего он нравился ей в тот вечер, когда, еще с трудом поднявшись к ней по уступам, он стоял среди павлинов. Он даже попытался рассеянно погладить павлина, как собаку, и рассказал ей, что эти прекрасные птицы привезены с Востока, точнее — из полувосточной земли Македонии. Тем не менее ей казалось, что раньше он павлинов не замечал. Самым большим его недостатком было то, что он гордился безупречностью своего ума и духа; и не знал, что особенно нравится этой женщине, когда немного смешон.

— Их считали птицами Юоны, — говорил он, — но я не сомневаюсь, что Юона, как и большинство античных божеств, происходит из Азии.

— Мне всегда казалось, — заметила Джоан, — что Юона слишком величава для сераля.

— Вы должны знать, — сказал Айвивуд, учтиво поклонившись, — что я никогда не видел женщины, столь похожей на Юону, как вы. Однако у нас слишком плохо понимают восточный взгляд на женщин. Он слишком весом и прост для причудливого христианства. Даже в вульгарной шутке о том, что турки любят толстых женщин, есть отзвук истины. Они думают не о личности, а о женственности, о мощи природы.

— Мне иногда кажется, — сказала Джоан, — что эти прельстительные теории немного натянуты. Ваш друг Мисисра сказал мне как-то, что в Турции женщины очень свободны, потому что носят штаны.

Айвивуд сухо, неумело улыбнулся.

— Пророк наделен простотой, свойственной гениям, — сказал он. — Не буду спорить, некоторые его доводы грубы и даже фантастичны. Но он прав в самом главном. Есть свобода в том, чтобы не идти наперекор природе, и на Востоке это знают лучше, чем на Западе. Понимаете, Джоан, все эти толки о любви в нашем узком, романтическом смысле, очень хороши, но есть любовь, которая выше влюбленности.

— Что же это? — спросила Джоан, глядя на траву.

— Любовь к судьбе, — сказал лорд Айвивуд, и в глазах его сверкнула какая-то холодная страсть. — Разве Ницше не учит нас, что услаждение судьбой — знак героя? Мы ошибемся, если сочтем, что герои и святые ислама говорили «кисмет», в скорби склонив голову. Они говорят «кисмет» в радости. Они называют так то, что подобает нам, подходит. В арабских сказках совершеннейший царевич женится на совершеннейшей царевне, ибо они подходят друг другу. В себялюбивых и чувствительных романах прекрасная принцесса может убежать с пошлым учителем рисования. Это — не судьба. Турок завоевывает

царства, чтобы добиться руки лучшей из цариц, и не стыдится своей славы.

Лиловые облака по краю серебряного неба все больше напоминали Джоан лиловый орнамент серебряных занавесей в анфиладе Айвивудова дома. Павлины стали прекрасней, чем прежде; но она ощутила впервые, что они — с Востока.

— Джоан, — сказал Филип Айвивуд, и голос его мягко прозвучал в светлых сумерках, — я не стыжусь своей славы. Я не вижу смысла в том, что христиане зовут смирением. Если я смогу, я стану величайшим человеком мира; и думаю, что смогу. То, что выше любви — сама судьба, — велит мне жениться на самой прекрасной в мире женщине. Она стоит среди павлинов, но она красивее и величавее их.

Смятенный ее взор глядел на лиловый горизонт, дрогнувшие губы могли проговорить лишь: «Не надо...»

— Джоан, — продолжал Филип, — я сказал вам, что о такой, как вы, мечтали великие герои. Разрешите же теперь сказать и то, чего я не сказал бы никому, не говоря тем самым о любви и обручении. Когда мне было двадцать лет, я учился в немецком городе и, как выражаются здесь, на Западе, влюбился. Она была рыбачкой, ибо город лежал у моря. Там могла кончиться моя судьба. С такой женой я не стал бы дипломатом, но тогда это не было мне важно. Несколько позже, странствуя по Фландрии, я попал туда, где Рейн особенно широк, и подумал, что по сей день страдал бы, ловя рыбу. Я подумал, сколько дивных извилов оставила река позади. Быть может, юность ее прошла в горах Швейцарии или в поросших цветами низинах Германии. Но она стремилась к совершенству моря, в котором свершается судьба реки.

Джоан снова не смогла ответить, и Филип продолжал:

— И еще об одном нельзя сказать, если принц не предлагает руку принцессе. Быть может, на Востоке зашли слишком далеко, обручая маленьких детей. Но оглядитесь, и вы увидите, сколько бездумных юношеских браков приносит людям беду. Спросите себя, не лучше ли детские браки. В газетах пишут о бессердечии браков династических; но мы с вами газетам не верим. Мы знаем, что в Англии нет короля с тех пор, как голова его упала перед Уайтхоллом. Страной правим мы и такие, как мы, и браки наши — династические. Пускай мещане зовут их бессердечными; для них нужно мужество, знак аристократа. Джоан, — очень мягко сказал он, — быть может, и вы побывали в Швейцарских горах или на поросшей цветами низине. Быть может, и вы знали... рыбачку. Но существует то, что и проще, и больше этого; то, о чем мы читали в великих сказаниях Востока, — прекрасная женщина, герой и судьба.

— Милорд, — сказала Джоан, инстинктивно употребляя ритуальную фразу, — разрешите ли вы мне подумать? И не обидитесь ли, если решение мое будет не таким, как вы хотите?

— Ну, конечно, — сказал Айвивуд, и учтиво поклонился, и с трудом пошел прочь, пугая павлинов.

Несколько дней подряд Джоан пыталась заложить фундамент своей земной судьбы. Она была еще молода; но ей казалось, что она прожила тысячи лет, думая об этом. Снова и снова она говорила себе, что лучшие женщины, чем она, принимали с горя и менее завидную участь. Но в самой атмосфере было что-то странное. Она любила слушать Айвивуда, как любят слушать скрипача; но в том и беда, что порою не знаешь, человек тебе нужен или его скрипка.

Кроме того, в доме вели себя странно, особенно потому, что Айвивуд еще не оправился; и это ее раздражало. В этом было величие, была и скука. Как многим умным дамам высшего света, Джоан захотелось посоветоваться с разумной, не светской женщиной; и она бросилась за утешением к разумной секретарше.

Но рыженькая мисс Браунинг с бледным, серьезным лицом взяла ту же ноту. Лорд Айвивуд был каким-то божеством, перводвигателем, властелином. Она называла его: «он». Когда она сказала «он» в пятый раз, Джоан почему-то ощутила запах оранжереи.

— Понимаете, — сказала мисс Браунинг, — мы не должны мешать *его* славе, вот что главное. Чем послушней мы будем, тем лучше. Я уверена, что *он* лелеет великие замыслы. Слышали вы, что пророк говорил на днях?

— Мне он сказал, — отвечала темноволосая дама, — что мы сами говорим о неприятном долге: «Это мой крест», а не «это мой полумесяц».

Умная секретарша, конечно, улыбнулась, но темы своей не оставила.

— Пророк говорит, — сказала она, — что истинна лишь любовь к судьбе. Я уверена, что *он* с этим согласен. Люди кружат вокруг героя, как планеты вокруг звезды, ибо звезда их притягивает. Когда судьба коснется вас, вы не ошибетесь. У нас на многое смотрят неправильно. Например, часто ругают детские браки в Индии...

— Мисс Браунинг, — сказала Джоан, — неужели вас интересуют эти браки?

— Понимаете... — начала мисс Браунинг.

— Интересуют они вашу сестру? — вскричала Джоан. — Пойду спрошу ее! — И она побежала туда, где трудилась миссис Макинтош.

— Видите ли, — сказала миссис Макинтош, поднимая пышноволосую, гордую головку, которая была красивее, чем головка ее сестры, — я верю, что индусы избрали лучший путь. Когда людей предоставляют в юности собственной воле, они могут избрать любого. Они могут избрать негра или рыбака, или... скажем, преступника.

— Миссис Макинтош, сердито сказала Джоан, — вы прекрасно знаете, что не женились бы на рыбачке. Где Энид? — внезапно закончила она.

— Леди Энид, — сказала миссис Макинтош, — разбирает ноты в музыкальной зале.

Джоан пробежала несколько гостиных и нашла за роялем свою бледную белокурую родственницу.

— Энид! — вскричала Джоан. — Ты знаешь, что я всегда тебя любила. Ради всего святого, скажи мне, что творится с этим домом! Я восхищаюсь Филипом, как все. Но что такое с домом? Почему эти комнаты и сады словно держат меня взаперти? Почему все похоже? Почему все повторяют одни и те же слова? Господи, я редко философствую, но тут что-то есть! Тут есть какая-то цель, да, именно цель. И я ее не вижу.

Леди Энид сыграла вступление. Потом сказала:

— И я не вижу, Джоан, поверь мне. Я знаю, о чем ты говоришь. Но я верю ему и доверяюсь именно потому, что у него есть цель. — Она начала наигрывать немецкую балладу. — Представь себе, что ты глядишь на широкий Рейн там, где он впадает...

— Энид! — воскликнула Джоан. — Если ты скажешь: «в Северное море», я закричу. Я перекричу всех павлинов!

— Но позволь, — удивленно взглянула на нее леди Энид, — Рейн и впрямь впадает в Северное море.

— Хорошо, пусть, — дерзко сказала Джоан. — Но он впадет в пруд прежде, чем ты поймешь... прежде, чем...

— Да? — спросила Энид, и музыка прекратилась.

— Прежде, чем случится что-то... — отвечала Джоан, уходя.

— Что с тобой? — сказала Энид Уимпол. — Если это тебя раздражает, сыграю что-нибудь другое. — И она полистала ноты.

Джоан ушла туда, где сидели секретарши, и беспокойно уселась сама.

— Ну, как, — спросила рыжая и незлобивая миссис Макинтош, не поднимая глаз от работы, — узнали вы что-нибудь?

Джоан мрачно задумалась; потом сказала просто и мягко, что не вязалось с ее нахмуренным лбом:

— Нет... Вернее, узнала, но только про самое себя. Я открыла, что люблю героев, но не люблю, когда им поклоняются.

— Одно вытекает из другого, — назидательно сказала мисс Браунинг.

— Надеюсь, что нет, — сказала Джоан.

— Что еще можно сделать с героем, — спросила миссис Макинтош, — как не поклониться ему?

— Его можно распять, — сказала Джоан, к которой внезапно вернулось дерзкое беспокойство, и встала с кресла.

— Может быть, вы устали? — спросила девица с умным лицом.

— Да, — сказала Дж о а н . — И что особенно тяжело, даже не знаю, от чего. Честно говоря, я устала от этого дома.

— Конечно, дом этот очень стар, а местами пока что мрачен, — сказала мисс Браунинг, — но он изумительно его преобразует. Звезды и луна в том крыле поистине...

Из дальней комнаты снова донеслись звуки рояля. Услышав их, Джоан Брет вскричала, как тигрица.

— Спасибо, — сказала она с угрожающей кротостью. — Вот оно! Вот кто мы такие! Она нашла нужную мелодию.

— Какую же? — удивилась секретарша.

— Так будут играть арфы, кимвалы, десятиструнная псалтирь, — яростно и тихо сказала Дж о а н , — когда мы поклонимся золотому идолу, поставленному Навуходоносором. Девушки! Женщины! Вы знаете, где мы? Вы знаете, почему здесь двери за дверьми и решетки за решетками, и столько занавесей, и подушек, и цветы пахнут сильнее, чем цветы наших холмов?

Из дальней, темнеющей залы донесся высокий чистый голос Энид Уимпол:

Мы пыль под твоей колесницей,
Мы ржавчина шпаги твоей¹.

— Вы знаете, кто мы? — спросила Джоан Б р е т . — Мы — гарем.

— Что вы! — в большом волнении вскричала младшая из сестер. — Лорд Айвивуд никогда...

— Конечно, — сказала Дж о а н . — До сих пор. В будущем я не так уверена. Я никак его не пойму, и никто не поймет его, но, поверьте, здесь такой дух. Комната дышит многоженством, как запахом этих лилий.

— Джоан! — вскричала леди Энид, входя взволнованно и тихо, как воспитанный при з р а к . — Ты совсем бледная.

Джоан не ответила ей и упорно продолжала:

— Мы знаем о нем о д н о , — он верит в постепенные изменения. Он называет это эволюцией, относительностью, развитием идеи. Откуда вам известно, что он не движется к гарему, приучая нас жить вот так, чтобы мы меньше удивились, когда, — она вздрогнула, — дойдет до дела? Чем это страшнее других его дел, этих сипаев и Мисисры в Вестминстерском аббатстве, и уничтожения кабаков? Я не хочу ждать и меняться. Я не хочу развиваться. Я не хочу превращаться во что-то другое, не в себя. Я уйду отсюда, а если меня не пустят, я закричу, как кричала бы в притоне.

Она побежала в башню, стремясь к одиночеству. Когда она пробежала мимо астрономических обоев, Энид увидела, что она бьет по ним кулаком.

¹ Перевод Н. Чуковского.

Глава 25

СВЕРХЧЕЛОВЕК НАЙДЕН

— Я привел вам собаку, — сказал мистер Дэлрой, поднимая Квудла на задние лапы. — Его несли в ящике с надписью «Взрывчатое». Прекрасное название.

Он поклонился леди Энид и взял руку Джоан. Но говорил он о собаках.

— Те, кто возвращает собак, — сказал он, — всегда подозрительны. Нередко предполагают, что тот, кто привел собаку, прежде ее увел. В данном случае, конечно, об этом и речи быть не может. Но возвратители собак, эти процветающие люди, которых все больше и больше, заподозрены в этом. — Он прямо взглянул на Джоан синими глазами. — Некоторые полагают, что им нужна награда. В этом обвинении правды больше.

Голос его внезапно изменился, и перемена эта была удивительнее революции, даже той, что бушевала внизу. Он поцеловал Джоан руку и серьезно сказал:

— Я знаю хотя бы, что вы будете молиться о моей душе.

— Лучше вы молитесь о моей, если она у меня есть, — сказала Джоан. — Но почему именно теперь?

— Вот почему, — сказал Патрик. — Вы услышите, а может, и увидите из башни то, чего не было в Англии с тех пор, как пал бедный Монмаут. Этого не было с тех пор, как пали Саладин и Ричард Львиное Сердце. Прибавлю лишь одно, и вы это знаете. Я жил, любя вас, и умру, любя вас. Я объехал много стран и только в вашем сердце заблудился, сбился с пути. Собаку я оставлю, чтобы она вас стерегла. — И он исчез на старой сломанной лестнице.

Леди Энид была очень удивлена, что разбойники не ворвались по этой лестнице в дом. Но леди Джоан не удивлялась. Она поднялась на башню и посмотрела сверху на заброшенный туннель, который был теперь огорожен стеною, ибо принадлежал соседу-помещику. За этой стеной, собственно говоря, было трудно разглядеть и туннель, и даже деревья, скрывавшие его. Но Джоан поняла сразу, что Дэлрой хочет напасть не на Айвивуд, а на соседнее поместье.

Потом она увидела нечто гнусное. Она никогда не могла описать это позже, как не мог и никто, попавший в неудержимый и многозначимый вихрь. Откуда-то — должно быть, с берега — поднялась волна; и она удивилась, что такой огромный молот состоит из воды. И тут она поняла, что он состоит из людей.

Стена, скрывшая вход в туннель, казалась ей прочной и будничной, как стены гостиный. Но сейчас она раскололась на тыся-

чи кусков под тяжестью охваченных яростью тел. Когда же стена сломалась, Джоан увидела за нею то, что лишило ее разума, словно она оказалась сразу во всех веках и во всех странах. Она никогда не могла описать это зрелище, но всегда отрицала, что оно привиделось ей. Оно было хуже сна, реальней реальности. Внизу стояли строем солдаты, что само по себе красиво. Но они могли быть войском Ганнибала или Аттилы, остатками Тира или Вавилона. На английском лугу, среди боярышника, на фоне трех больших букв, стояли те, кто не дошел до Парижа, когда Карл, прозванный Молотом, отогнал их от Тура.

Над ними развевалось зеленое знамя той великой религии, той могучей цивилизации, которая часто подходила к столицам Запада, осаждала Вену, едва не дошла до Парижа, но никогда не вступала на английскую землю. Перед знаменем стоял Филип Айвивуд в странной форме, придуманной им самим и сочетавшей черты синайской и турецкой форм. Сочетание это совсем сбilo Джоан с толку, и ей показалось, что Турция завоевала Англию, как Англия — Индию. Потом она увидела, что не Айвивуд командует этим войском. На лугу, перед неподвижным строем, встретились один на один, как в древнем эпосе, Патрик и старый человек со шрамом, непохожий на европейца. Человек этот ранил в лоб капитана, отомстив за свой шрам, и нанес ему много ран, но в конце концов упал. Упал он ничком; и Дэлрой смотрел на него не только с жалостью. Кровь текла по руке и по лицу ирландца, но он салютовал шпагой. Тогда человек, казалось бы — мертвый, с трудом поднял голову. Установив чутьем страны света, Оман-паша повернулся налево и умер лицом к Мекке.

Потом стены башни закружились вокруг Джоан, и она не знала уже, что видит — прошлое или будущее. Самая мысль о том, что на них натравили коричневых и желтолицых людей, придала англичанам неслыханную силу. Боярышник был изрублен, как в той битве, когда Альфред Великий впервые встретился с данами. Буки были забрызганы до половины языческой и христианской кровью. Джоан видела лишь это, пока колонна мятежников под началом Хэмфри Кабатчика не проникла сквозь туннель и не напала на турок сзади. То был конец.

Страшное зрелище и страшные звуки измучили ее, и она не видела толком даже последних блестящих попыток армии ислама. Не слышала она и слов Айвивуда, обращенных к соседу-помещику или к турецкому офицеру, или к самому себе. А говорил он так:

— Я был там, куда не ступил Бог. Я выше глупого сверхчеловека, как он выше людей. Где я прошел в небесах, не прошел никто, и я один. Кто-то бродит неподалеку, срывает цветы. А я сорву...

Фраза оборвалась так резко, что офицер посмотрел на него. Но он ничего не сказал.

Когда Патрик и Джоан бродили по миру, который снова стал и теплым, и прохладным, каким бывает для немногих там, где отвагу зовут безумием, а любовь — предрассудком; когда Патрик и Джоан бродили, и каждое дерево было им другом, открывающим объятия мужчине, а каждый склон — шлейфом, покорно влекущимся за женщиной, они взобрались однажды к белому домику, где жил теперь сверхчеловек.

Бледный и спокойный, он играл на деревянном столе щепочками и травинками. Он не заметил их, как не замечал никого, даже Энид Уимпол, которая за ним ухаживала.

— Он совершенно счастлив, — тихо сказала она.

Смуглое лицо леди Джоан просияло, и она не удержалась от слов:

— И мы так счастливы!

— Да, — сказала Энид, — но его счастье не кончится. — И заплакала.

— Я понимаю, — сказала Джоан и поцеловала ее, и тоже заплакала. Но плакала она от жалости; а тот, кто умеет жалеть, ничего не боится.



РАССКАЗЫ

Из сборников:

THE INCREDULITY OF FATHER BROWN

1922

THE MAN WHO KNEW TOO MUCH

1922

ВОСКРЕСЕНИЕ ОТЦА БРАУНА

Одно время отец Браун купался — а вернее сказать, тонул — в лучах громкой славы. Имя его не сходило со страниц газет и даже склонялось в еженедельных критических обзорах, а подвиги стали предметом оживленных дискуссий и толков в клубах и светских салонах, особенно за океаном. И что самое поразительное для всех, его знавших, — в журналах стали появляться детективные рассказы с его участием.

В центре внимания, как ни странно, он оказался, живя в одном из самых глухих или, во всяком случае, отдаленных мест, где ему когда-либо доводилось бывать. В качестве миссионера и одновременно приходского священника его отправили в одну из тех стран на севере Южной Америки, что, с одной стороны, тянутся к Европе, а с другой, прячась под гигантской тенью президента Монро, постоянно грозятся стать независимой республикой. Население этих стран в основном составляют краснокожие и темнокожие — люди, в чьих жилах смешалась испанская и индейская кровь, но есть там немало (и с каждым годом становится все больше) и североамериканцев — выходцев из Англии, Германии, других европейских стран. Началось все с того, что один приезжий, совсем недавно сошедший на берег и сильно раздосадованный пропажей одного из своих чемоданов, двинулся к дому миссионера с примыкавшей к нему часовней — первому зданию, попавшемуся ему на глаза. Перед домом протянулась веранда, увитая черными спутанными виноградными лозами с квадратными, по-осеннему красными листьями. За длинным рядом оплетенных виноградом столбов на веранде расположились, тоже в ряд, люди, почти такие же неподвижные, как столбы, с красными, под стать виноградным листьям, лицами. Широкополые шляпы были такими же черными, как их немигающие глаза,

а кожа грубостью и цветом напоминала темно-красную кору гигантских американских деревьев. Многие курили очень длинные, тонкие черные сигары, и если бы не подымавшийся в небо табачный дым, эти люди казались бы нарисованными. Приезжий, по всей видимости, назвал бы их аборигенами, хотя некоторые из них очень гордились своей испанской кровью. Он, однако, был не из тех, кто видит большую разницу между испанцами и индейцами, и местных жителей за людей не считал.

Это был репортер из Канзас-Сити, долговязый блондин с предприимчивым, как сказал бы Мередит, носом; и впрямь казалось, что он то и дело принюхивается, действуя носом, словно муравьед хоботком. Родители долго ломали голову, как назвать сына, и в результате к фамилии Снейт присовокупили имя Сол, которого молодой человек имел все основания стесняться и в конце концов заменил Сол на Пол, руководствуясь, впрочем, совсем иными соображениями, чем апостол язычников. Ему же, разбирайся он в этом, больше подошло бы имя гонителя Савла, а не апостола Павла, ибо к официальной религии он относился со сдержанным презрением, в духе скорее Ингерсолла, чем Вольтера. Впрочем, сдержанность, как оказалось, не была определяющей чертой его характера, всю силу которого вскоре пришлось испытать на себе как миссионеру, так и сидевшим на веранде. Что-то в их неподобающе расслабленных позах и равнодушных взглядах внезапно вывело его из себя, и, не дождавшись ответа на свои первые вопросы, он с жаром заговорил сам.

Судорожно стиснув в руке саквояж, он остановился на самом солнцепеке, в панаме и в наглухо застегнутом безупречном костюме и стал поносить сидевших в тени, на веранде. Очень громким голосом он попытался объяснить им, почему они ленивы, грязны, чудовищно невежественны и так низко пали — пусть задумаются сейчас, если раньше недосуг было. По его мнению, из-за пагубного влияния церкви они обнищали и опустились настолько, что могут себе позволить бездельничать среди бела дня.

— Эти церковники на голову вам сели! — возмущался он. — Делают с вами, что хотят. Ходят, задрав нос, в своих митрах и тиарах, разделились в пух и прах, а вы и клонули. Прямо как дети в цирке! У вашего местного божка вид такой, будто он — пуп земли. Вы с него глаз не сводите, а лучше бы на себя посмотрели. В кого вы превратились?! Вот поэтому-то вы и дикари, даже читать и писать не умеете и...

В этот момент из дома миссионера торопливо выбежал местный божок. Напоминал он не столько пуп земли, сколько небольшой валик, завернутый в черную материю не первой свежести. Вместо тиары на голове у него красовалась поношенная широкополая шляпа, отдаленно напоминавшая сомбреро испанских индейцев. Впопыхах он нахлобучил ее на затылок. Он уже собирался было обратиться к местным жителям, безмолвно застывшим на веранде, как вдруг увидел незнакомца и быстро проговорил:

— Я не могу вам чем-нибудь помочь? Пожалуйста, заходите.

Мистер Пол Снейт вошел в дом миссионера, где ему предстояло в самое ближайшее время значительно расширить свой кругозор. По всей вероятности, нюх газетчика, как это часто бывает у ловких журналистов, оказался у Снейта сильнее предрассудков, и на свои многочисленные вопросы он получил весьма любопытные и неожиданные ответы. Выяснилось, к примеру, что индейцы умеют читать и писать, и научил их не кто иной, как миссионер. Если же к этому навыку они прибегали лишь в самых крайних случаях, то лишь потому, что от природы предпочитали более непосредственную связь с действительностью. Выяснилось также, что подозрительные личности, которые бездельничали на веранде, на своей земле умеют работать не покладая рук, в особенности те, у кого испанской крови больше, чем индейской. В этой информации Снейта главным образом поразил тот факт, что у этих людей есть земля, да еще собственная. Но так уж издавна повелось, и местные жители, как и любые местные жители на их месте, не видели ничего дурного в том, чтобы обрабатывать собственную землю. Надо сказать, что и в земельном вопросе миссионер сказал свое слово, хотя в роли политика, пусть даже политика местного масштаба, он выступал в первый и последний раз в жизни. Дело в том, что не так давно страну охватил один из тех приступов атеистического, чуть ли не анархического радикализма, которые периодически вспыхивают в странах латинской культуры; обычно такой приступ начинался тайным обществом и кончался гражданской войной. Лидером местных либералов был некий Альварес, довольно колоритный авантюрист, выходец из Португалии, но с негритянской, как утверждали его враги, кровью. Альварес возглавлял какие-то масонские ложи и тайные братства, которые в таких странах даже атеизму придают мистическую окраску. А лидером консерваторов был фабрикант Мендоса, человек не такой яркий, зато весьма состоятельный и почтенный. Все сходились на том, что стражи законности и порядка потерпели бы сокрушительное поражение, не заручись они поддержкой крестьян, желавших сохранить землю, в чем их с самого начала неустанно поддерживал скромный миссионер отец Браун.

Его беседа с журналистом была прервана приходом Мендосы, лидера консерваторов. Это был плотный, смуглый господин с лысой, смахивающей на грушу головой и такой же фигурой. Курил Мендоса необычайно ароматную сигару, однако перед тем, как подойти к священнику, он выбросил ее несколько театральным жестом, словно входил в церковь, после чего поклонился с совершенно неожиданным для такого тучного джентльмена изяществом. Вообще, все формальности он неизменно соблюдал с исключительной серьезностью, особенно по отношению к служителям церкви. Это был один из тех мирян, которые

гораздо больше похожи на священников, чем сами священники, что отца Брауна очень раздражало, особенно при личном общении. «Я и сам — антиклерикал, — любил с едва заметной улыбкой говорить о н , — но если бы в дела клерикалов не вмешивались, клерикализма было бы куда меньше».

— Послушайте, мистер Мендоса, — воскликнул журналист, вновь воодушевившись, — по-моему, мы с вами где-то встречались. Вы случайно не были в прошлом году на Промышленном конгрессе в Мехико?

— Да, и мне знакомо ваше лицо. — Тяжелые веки мистера Мендосы вздрогнули, а рот медленно растянулся в улыбке.

— Сколько дел мы там провернули! — ударился в воспоминания Снейт. — И всего за каких-нибудь два часа. Вроде бы и вы внакладе не остались, а?

— Да, мне повезло, — скромно подтвердил Мендоса.

— Еще бы! — не унимался Снейт. — Деньги любят хватких. А у вас хватка железная. Простите, я вам не помешал?

— Вообще нет, — ответил Мендоса. — Я частенько захожу перекинуться словом с падре. Просто так, поболтать о пустяках.

Узнав, что отец Браун на короткой ноге с таким преуспевающим и даже знаменитым дельцом, дальновидный мистер Снейт окончательно примирился с существованием священника. По всей видимости, он проникся уважением к миссионеру и его обязанностям и готов был даже закрыть глаза на такие неопровержимые свидетельства религиозного культа как часовня и алтарь. Он всецело поддержал программу священника, по крайней мере ее социальную часть, и даже вызвался, если понадобится, выступить в роли живого телеграфа, сообщая миру о том, как эта программа выполняется. Что же касается отца Брауна, то он счел, что, сменив гнев на милость, журналист стал еще более обременителен.

Тем временем мистер Снейт стал изо всех сил рекламировать отца Брауна: отсылал в свою газету на Средний Запад громкие и многословные панегирики, фотографировал несчастного миссионера, что называется, в неофициальной обстановке и помещал эти фотографии в увеличенном виде на страницах толстых воскресных американских газет. Высказывания священника он преподносил миру как «откровения преподобного отца из Южной Америки», и не будь американская публика столь восприимчива и падка на впечатления, отец Браун очень скоро ей бы наскучил. Священник, однако, стал получать очень выгодные и трогательные предложения прочесть в Соединенных Штатах курс лекций, а когда он отказывался, его с почтительным недоумением уговаривали приехать на еще более выгодных условиях. По инициативе мистера Снейта про отца Брауна начали сочинять детективные истории в духе Шерлока Холмса, и к герою этих историй стали обращаться за помощью и поддержкой. С этой минуты бедный священник хотел только одного — чтобы его оставили

в покое. И тогда мистер Снейт стал подумывать о том, не стоит ли отцу Брауну последовать примеру друга доктора Уотсона и не исчезнуть на время, бросившись, как знаменитый сыщик, со скалы. Священник, со своей стороны, был готов на все, лишь бы истории о нем хотя бы на время прекратились. Ответы на письма, нескончаемым потоком шедшие из Соединенных Штатов, с каждым разом становились все короче, а когда отец Браун писал последнее письмо, он то и дело тяжело вздыхал.

Было бы странно, если бы невиданный ажиотаж, поднявшийся на Севере, не дошел до южного городка, где отец Браун рассчитывал пожить в тишине и покое. Англичане и американцы, составлявшие значительную часть населения этой южноамериканской страны, преисполнились гордостью от того, что в непосредственной близости от них живет столь знаменитая личность. Американские туристы, из тех, что с ликующими возгласами рвутся в Вестминстерское аббатство, рвались к отцу Брауну. Дай им волю, и они бы пустили к нему, словно к только что открывшемуся памятнику, экскурсионные поезда его имени, до отказа набитые любителями достопримечательностей. Больше всего ему доставалось от энергичных и честолюбивых коммерсантов и лавочников, которые требовали, чтобы он покупал и расхваливал их товар. И даже если на рекомендации священника рассчитывать не приходилось, они продолжали засыпать его письмами в надежде на автограф. А поскольку человек он был безотказный, они делали с ним все, что хотели. Когда же отец Браун по просьбе франкфуртского виноторговца Экштейна набросал на бумаге несколько незначащих слов, он и не подозревал, чем это чревато.

Экштейн, маленький, суетливый, курчавый человечек в пенсне, настаивал, чтобы священник не только попробовал его знаменитый целебный портвейн, но и дал ему знать, где и когда он его пил. Отец Браун настолько привык к причудам рекламы, что просьба виноторговца его нисколько не удивила, и он, черкнув Экштейну пару строк, занялся делом, представлявшимся ему несколько более осмысленным. Но тут он вновь вынужден был отвлечься, ибо принесли записку, и не от кого-нибудь, а от самого Альвареса, его политического противника, приглашавшего миссионера прийти на совещание, которое должно было состояться вечером в кафе за городскими воротами и на котором враждующие стороны рассчитывали наконец-то прийти к обоюдному согласию по одному из принципиальных вопросов. Проявив покладистость и тут, отец Браун передал с ожидавшим ответа краснолицым, по-военному подтянутым курьером, что непременно будет, после чего, имея в запасе еще около двух часов, решил заняться своими непосредственными обязанностями. Когда же пришло время уходить, он налил себе знаменитый целебный портвейн господина Экштейна, бросил лукавый взгляд на часы, осушил бокал и растворился в ночи.

Городок был залит лунным светом, и когда священник подошел к городским воротам с претенциозной аркой, за которой виднелись экзотические верхушки пальм, ему показалось, что он стоит на сцене в испанской опере. Один длинный пальмовый лист с зазубренными краями, свисавший по другую сторону арки, в ярком лунном свете напоминал черную пасть крокодила. Впрочем, у священника, быть может, и не возникла бы столь странная ассоциация, не обрати он внимания еще на одну вещь. Ветра не было, воздух был совершенно неподвижен, а между тем своим наметанным глазом миссионер отчетливо видел, как вздрогнул похожий на пасть крокодила пальмовый лист.

Отец Браун огляделся по сторонам и убедился, что кругом никого нет. Последние дома, большей частью с закрытыми дверями и опущенными ставнями, остались позади; всю дорогу он шел узким проходом между длинных, идущих параллельно друг другу, глухих стен из крупного, бесформенного, но гладкого камня, из-под которого выбивались пучки колочей сорной травы. От ворот огней кафе видно не было; вероятно, оно было еще далеко. Из-под арки виднелся лишь залитый тусклым лунным светом, вымощенный большими каменными плитами тротуар да несколько стоявших вдоль дороги раскидистых грушевых деревьев. Внезапно его охватило мрачное предчувствие, ему стало не по себе, но он продолжал путь — отцу Брауну никак нельзя было отказать в смелости, а уж в любопытстве и подавно. Всю жизнь он испытывал потребность любой ценой доискаться истины, даже в мелочах. Ему часто приходилось себя сдерживать, но справиться с этой потребностью он не мог. Твердым шагом священник прошел под аркой, и тут с пальмы, словно обезьяна, прыгнул человек и бросился на него с ножом. Одновременно другой человек, отделившись от стены, ползком приблизился к нему сзади и, размахнувшись, хватил его дубинкой по голове. Отец Браун повернулся, покачнулся и рухнул на землю с выражением краткого и в то же время неизъяснимого удивления.

В том же городке, в то же самое время жил еще один молодой американец, антипод мистера Пола Снейта. Это был Джон Адамс Рейс, инженер-электрик, которого Мендоса пригласил провести электричество в старой части города. В международных сплетнях и в политической игре он ориентировался гораздо хуже, чем американский журналист, как, впрочем, и большинство его соотечественников: ведь в Америке на миллион Рейсов приходится, в сущности, всего один Снейт. Исключение Рейс составлял лишь в том смысле, что исключительно хорошо работал, в остальном же это был самый обыкновенный человек. Начинал он фармацевтом в аптеке на Дальнем Западе и всего добился только усердием и порядочностью. Свой родной город он и по сей день считал центром Вселенной. Религия, которую он ребенком усваивал по семейной Библии, сидя у матери на коленях, была протестантской разновидностью христианства, и в это

он верил до сих пор — насколько вообще мог верить столь занятой человек. Даже ослепленный новейшими, самыми дерзновенными открытиями, ставя самые рискованные опыты, творя чудеса со светом и звуком, словно Бог, создающий новые звезды и Вселенные, он по-прежнему свято верил в то, что на свете нет ничего лучше домашнего очага, матери, семейной Библии и причудливых нравов родного городка. К своей матери он относился с таким искренним и глубочайшим почтением, словно был легкомысленным французом. Рейс был абсолютно уверен: Библия — это именно то, что нужно, хотя, путешествуя по свету, он заметил, что его уверенность разделяют далеко не все. Было бы странно, если бы обрядность католиков пришлась ему по душе; митры и епископские посохи претили ему не меньше, чем мистериу Снейту, хотя свою неприязнь он никогда не выражал столь заносчиво. Поклоны и расшаркивания Мендосы его раздражали точно так же, как и масонский мистицизм атеиста Альвареса. А может быть, все дело было вовсе в том, что жизнь тропической страны, где красный цвет индейской кожи сливался с желтым цветом испанского золота, была для него слишком экзотической. Во всяком случае, он не хвастался, когда говорил, что нет на свете места лучше, чем его родной город. Под этим подразумевалось, что где-то далеко есть нечто простое, непритязательное и трогательное, к чему он тянется всей душой. Тем более странным и необъяснимым явилось чувство, которое с недавнего времени стал испытывать Джон Адамс Рейс: ничто, оказывается, так живо не напоминало ему в его скитаниях о старой поленнице, о добропорядочных провинциальных нравах и о Библии, которую он читал по складам, сидя у матери на коленях, как круглое лицо и старомодный черный зонтик отца Брауна.

Он поймал себя на том, что стал следить за суетливо пробегающим по улице, вполне заурядным и даже смешным на вид человечком в черном; причем следить с каким-то нездоровым любопытством, словно тот — ходячая загадка или парадокс. Казалось, во всем, что ему ненавистно, вдруг обнаружилось нечто, вызывающее невольную симпатию. Рейс испытал такое чувство, будто дьявол, в отличие от мелких чертей, оказался самым обычным существом.

И вот, выглянув лунной ночью в окно, он увидел, как по улице в сторону городских ворот семенит, шаркая ногами по тротуару, в широкой черной шляпе и в длинном черном плаще тот самый дьявол, демон непостижимой беспорочности. Заинтересовавшись сам не зная почему, Рейс стал гадать, куда шел священник и каковы его планы, да так увлекся, что маленькая черная фигурка уже давно скрылась из виду, а он все стоял у окна, глядя на залитую лунным светом улицу. Но тут он увидел нечто еще более интригующее. Мимо прошли, как по освещенной сцене, два человека, которых он сразу же узнал. Голубоватый, призрачный свет луны, словно софитом, выхватил из темноты

густую копну курчавых волос, стоявших торчком на голове маленького виноторговца Экштейна, а также очертания еще одного, более высокого и смуглого человека с орлиным носом, в высоком старомодном, надетом набекрень черном цилиндре, отчего вся его фигура чем-то напоминала привидение в театре теней. Однако в следующий момент Рейс устыдился того, что позволил луне сыграть с собой столь злую шутку, ибо, присмотревшись, он узнал густые черные бакенбарды и крупные черты лица доктора Кальдерона, почтенного городского эскулапа, которого он однажды застал у постели заболевшего Мендосы. И все же в том, как они перешептывались, как вглядывались в темноту, было что-то подозрительное. Неожиданно для самого себя Рейс перемахнул через подоконник, выпрыгнул из низкого окна на улицу и, как был, с непокрытой головой, двинулся вслед за ними. Он видел, как они скрылись в темном проеме городских ворот, а через мгновение оттуда раздался жуткий крик, громкий и пронзительный, причем Рейсу он показался особенно душераздирающим потому, что кричавший отчетливо произнес несколько слов на каком-то неизвестном языке.

В следующую минуту раздался топот ног, крики, а затем башенки на воротах и высокие пальмы вздрогнули от оглушительного — яростного или горестного — рева, собравшаяся толпа отпрянула назад, к воротам; казалось, она вот-вот ринется обратно, в город. А затем под погруженными во тьму сводами арки гулким и печальным эхом разнеслась весть:

— Отец Браун мертв!

Рейс так и не понял, почему от этих слов внутри у него все оборвалось, отчего ему показалось, что все его самые заветные надежды рухнули; так или иначе он со всех ног побежал в сторону ворот, где столкнулся со своим соотечественником, газетчиком Снейтом. Снейт возвращался в город, он был бледен как полотно и нервно пощелкивал пальцами.

— Это чистая правда, — подтвердил он, и в его голосе прозвучало нечто, отдаленно напоминающее скорбь. — Приказал долго жить. Врач говорит, что надежды нет. Какие-то здешние черномазые, будь они прокляты, ударили священника дубинкой по голове, когда тот проходил через ворота. Почему — неизвестно. А жаль, для города это большая потеря.

Рейс ничего не ответил (а может, просто не смог ответить) и побежал за ворота. На широких каменных плитах, из-под которых пробивались зеленые колючки, неподвижно лежала, на том самом месте, где упала, маленькая фигурка в черном, а огромную толпу сдерживал, в основном жестами, какой-то стоящий на переднем плане гигант. Стоило ему поднять руку, как толпа подавалась вперед или назад, как будто он был волшебником.

Альварес, диктатор и демагог, был действительно очень высок, осанист и разодет, как попугай. На этот раз он облачился

в зеленый мундир с яркой тесьмой, серебряными змейками разбегавшейся по сукну, а на шее у него, на бордовой ленточке красовался орден. Его короткие вьющиеся волосы уже поседели и по контрасту с кожей, которую друзья называли оливковой, а враги — темной, казались отлитыми из чистого золота. Его крупное лицо, обычно такое живое и энергичное, на этот раз выражало неподдельные горе и гнев. По его словам, он ждал отца Брауна в кафе, как вдруг услышал шум, звук падающего тела, выбежал на улицу и обнаружил лежавший на мостовой труп.

— Я прекрасно знаю, что думают некоторые из вас, — сказал он, с высокомерным видом обводя глазами собравшихся, — и если вы меня боитесь, а ведь вы боитесь, могу вас заверить: я к этому убийству непричастен. Я — атеист, а потому не могу призвать в свидетели Бога, но готов поклясться честью солдата и порядочного человека — моей вины здесь нет. Если бы убийцы были у меня в руках, я собственноручно повесил бы их на этом дереве.

— Разумеется, нам приятно слышать это от вас, — с церемонным поклоном отвечал ему старик Мендоса, стоявший у тела своего погибшего единомышленника, — но мы так потрясены случившимся, что сейчас нам нелегко разобраться в своих чувствах. Приличия, мне кажется, требуют унести тело моего друга и разойтись. Насколько я понимаю, — с грустью добавил он, обращаясь к доктору, — надежды, увы, нет?

— Нет, — отозвался доктор Кальдерон.

Джон Рейс вернулся домой в полной растерянности. В это трудно было поверить, но ему очень не хватало человека, с которым он и знаком-то не был. Он узнал, что похороны назначены на следующий же день: вероятность бунта росла буквально с каждым часом, и всем хотелось, чтобы критический момент поскорее миновал. Когда Снейт видел застывших на веранде индейцев, они были похожи на деревянные фигуры древних ацтеков. Но он не видел, что с ними стало, когда они узнали о смерти священника.

Не соблюдай они траур по своему религиозному вождю, они бы обязательно взбунтовались и линчевали вождя республиканцев. Что же касается непосредственных убийц, линчевать которых было бы делом совершенно естественным, то они словно под землю провалились. Никто не знал их имен, никто никогда не узнает, видел ли перед смертью отец Браун их лица. Однако неизъяснимое удивление, навсегда застывшее на лице покойного, могло означать, что своих убийц он все же узнал. Альварес настаивал, что это не его рук дело; за гробом он шел в своем роскошном расшитом серебряными галунами зеленом мундире, с выражением подчеркнутого подобострастия на лице.

За верандой каменная лестница круто подымалась на высокую насыпь, окруженную живой изгородью из кактусов. Внизу

дорога была запружена народом: осиротевшие аборигены молились и плакали. Но несмотря на вызывающее поведение местных жителей Альварес держался достойно, с завидным самообладанием, и, как впоследствии отметил про себя Рейс, ничего бы не произошло, если бы его не задевали остальные.

Старик Мендоса, с горечью вынужден был признать Рейс, всегда вел себя как последний болван, а на этот раз превзошел самого себя. По обычаю, распространенному у примитивных народов, гроб оставили открытым, и с лица покойного сняли покрывало, отчего местные жители по простоте душевной заголосили еще громче. Но таков был традиционный обряд похорон, и все бы обошлось без последствий, если бы в свое время с легкой руки какого-то заезжего умника в этой стране не укоренился обычай произносить надгробные речи на манер французских вольнодумцев. Первым с длинной речью выступил Мендоса, и чем дольше он говорил, тем больше унывал Джон Рейс, тем меньше нравился ему здешний обычай. С вьедливой монотонностью банкетного оратора, который может говорить часами, Мендоса стал, не жалея весьма заезженных эпитетов, перечислять исключительные достоинства покойного. Мало того. По своей неисправимой глупости Мендоса не нашел ничего лучше, как критиковать и даже клеймить своих политических противников. Не прошло и трех минут, как разразился скандал, причем скандал с самыми неожиданными последствиями.

— Мы вправе задаться вопросом, — распинался он, с важным видом глядя по сторонам. — Мы вправе задаться вопросом, могут ли подобными добродетелями обладать те из нас, кто по безрассудству отказался от веры своих отцов? Когда среди нас появляются безбожники, когда эти безбожники пробиваются в вожди, чтобы не сказать в диктаторы, мы воочию убеждаемся, что их постыдная философия приводит к преступлениям сродни этому. И если мы спросим себя, кто же истинный убийца этого святого человека, то ответ напрашивается...

В этот момент в глазах полукровки и авантюриста Альвареса вспыхнул свирепый африканский огонек. В конечном счете, подумалось Рейсу, этот человек — дикарь, собой он не владеет, а все его искрометные теории отдают шаманством. Как бы то ни было, Мендоса так и не смог закончить свою мысль, ибо Альварес во всю мощь своих необъятных легких стал кричать на старика и перекричал его.

— И вы еще спрашиваете, кто его убил?! — гремел он. — Ваш Бог убил его! Его убил его собственный Бог! Вы же сами говорите, что Он убивает всех своих самых верных и глупых слуг так же, как Е Г О. — И он в ярости ткнул пальцем, но не в сторону гроба, а в сторону распятия. Затем, несколько умерив свой пыл, он не без раздражения, но уже спокойнее продолжал: — Не я, а вы в это

верите. Не лучше ли вообще не верить в Бога, чем терпеть от него лишения? Я, со своей стороны, не боюсь во всеуслышание заявить, что никакого Бога нет. Во всей этой слепой и бессмысленной Вселенной нет силы, что услышит вашу молитву и воскресит вашего друга. Вы можете сколько угодно просить небеса, чтобы они вернули его к жизни, — он не воскреснет. Я могу сколько угодно требовать от небес, чтобы они вернули его к жизни, — он все равно не воскреснет. Итак, я бросаю Богу вызов: пусть тот, кого нет, оживит усопшего!

Наступила гнетущая тишина — слова демагога возымели свое действие.

— Как же мы сразу не догадались, что таким, как вы . . . — хриплым, kloкочущим от ярости голосом начал было Мендоса.

Но тут его вновь перебили, на этот раз — крикливый, высокий голос с американским акцентом.

— Смотрите! Смотрите! — завопил газетчик Снейт. — Чудо! Клянусь, я собственными глазами видел, как он пошевелился!

С этими словами он стремглав кинулся вверх к стоящему на постаменте гробу, а внизу в совершенном неистовстве ревела толпа. В следующий момент он повернул перекошенное от удивления лицо и поманил к себе доктора Кальдерона, который тут же к нему присоединился. Когда врач и газетчик отошли в сторону, все увидели, что голова покойного лежит иначе. Толпа ахнула от восторга и тут же вновь замерла на полувздохе, ибо покойник вдруг застонал, приподнялся на локте и обвел стоявших вокруг затуманенным взором.

Прошли годы, а Джон Адамс Рейс, который прежде сталкивался с чудесами лишь в науке, так и не смог описать, что творилось потом в городке. У него создалось впечатление, будто из реального мира он угодил в сказочный, где нет ни времени, ни пространства. Не прошло и получаса, как с населением города и его окрестностей начало твориться такое, чего не бывало уже тысячу лет; казалось, вновь наступило средневековье, и целый народ, став свидетелем невероятного чуда, постригся в монахи; казалось, на древнегреческий город сошло с небес божество. Тысячи людей прямо на дороге валились на колени, сотни, не сходя с места, принимали монашеский обет, и даже приезжие, в том числе и оба американца, не могли говорить и думать ни о чем, кроме свершившегося чуда. Даже Альварес и тот — что, впрочем, неудивительно — был потрясен до глубины души и сидел, обхватив голову руками.

В этой вакханалии благодати тонул слабый голосок маленького священника, порывавшегося что-то сказать. Никто его не слушал, и по тем робким знакам, какие он делал, чувствовалось, что раздражен он не на шутку. Миссионер подошел к краю парапета и, взмахнув ручками, словно пингвин — плавниками, попытался утихомирить бушевавшую толпу. Наконец, улучив

момент, когда наступило минутное затишье, отец Браун сказал своей пастве все, что он о ней думает.

— Эх вы, глупые люди! — выкрикнул он с дрожью в голосе. — Глупые, глупые люди.

Но тут, как видно, он взял себя в руки, двинулся к лестнице своей торопливой походкой и засеменил вниз.

— Куда же вы, отец? — с еще большей, чем обычно, почти-тельностью поинтересовался Мендоса.

— На почту, — второпях бросил отец Браун. — Что? Нет, разумеется, чуда не было. С чего вы взяли? Чудеса так просто не совершаются.

И он побежал вниз, а люди падали перед ним на колени и умоляли его благословить их.

— Благословляю, благословляю, — тараторил на ходу отец Браун. — Да благословит вас Бог! Может, хоть тогда поумнеете.

Он пулей помчался на почту и дал епископу телеграмму следующего содержания:

«Здесь ходят невероятные слухи о чуде. Надеюсь, Его преосвященство не даст этой истории ход. Она того не стоит».

Он так разволновался, что, кончив писать, покачнулся, и Джон Рейс подхватил его под руку.

— Позвольте, я провожу вас домой, — сказал он. — Вы заслуживаете большего внимания, чем вам здесь оказывают.

Джон Рейс и отец Браун сидели в библиотеке. Стол священника, как и накануне, был завален бумагами. Бутылка вина и пустой бокал стояли на том же самом месте.

— А теперь, — с какой-то мрачной решимостью сказал отец Браун, — можно и подумать.

— Сейчас, по-моему, вам не стоит перенапрягаться, — возразил американец. — Вам необходимо как следует отдохнуть. И потом, о чем вы собираетесь думать?

— Между прочим, мне довольно часто приходилось расследовать убийства, — заметил отец Браун. — И вот теперь мне предстоит выяснить, кто убил меня самого.

— Я бы на вашем месте сначала выпил вина, — посоветовал Рейс.

Отец Браун встал, наполнил, уже во второй раз, свой бокал, поднял его, задумчиво посмотрел в пустоту и опять поставил бокал на стол. Затем снова сел и сказал:

— Знаете, какое чувство я испытал перед смертью? Вы не поверите, но, умирая, я испытал несказанное удивление.

— Вы, надо полагать, удивились, что вас ударили по голове?

— Наоборот, — придвинувшись к собеседнику, доверительно шепнул отец Браун. — Я удивился, что меня не ударили по голове.

Некоторое время Рейс смотрел на священника с таким видом, будто решил, что удар по голове не прошел для него бесследно, а затем спросил:

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что первый убийца занес надо мной дубинку, но так и не опустил ее мне на голову. И второй убийца лишь сделал вид, что собирается пырнуть меня ножом — на теле и царапины не осталось. Все было прямо как в театре. Однако самое поразительное произошло потом.

Он задумчиво взглянул на заваленный бумагами стол и продолжал:

— Несмотря на то, что ни нож, ни дубинка меня не коснулись, я вдруг почувствовал дурноту и чудовищную слабость в ногах. Дубинка и нож тут, разумеется, ни при чем. Знаете, что я подумал?

И с этими словами отец Браун показал на бокал с вином.

Рейс поднял бокал и понюхал вино.

— Думаю, вы правы, — сказал он. — В свое время я работал в аптеке и изучал химию. Без специального исследования говорить наверняка не берусь, но запах у этого вина довольно странный. Есть снадобья, которыми на Востоке пользуются, когда хотят усыпить человека. Сон наступает такой глубокий, что кажется, будто человек мертв.

— Совершенно верно, — спокойно сказал священник. — Все это чудо по какой-то причине было подстроено. Сцену похорон тщательно отрепетировали и рассчитали по минутам. Я подозреваю, что история эта каким-то образом связана с той громкой рекламой, которую создал мне Снейт. Он совершенно сошел с ума, и все же не верится, чтобы только ради этой шумихи он мог так далеко зайти. Одно дело торговать мной, выдавая за второго Шерлока Холмса, а...

Между тем лицо священника на глазах переменилось, он вдруг прикрыл веки и встал, как будто задышался, а затем выбросил вперед дрожащую руку и, пошатываясь, двинулся к двери.

— Куда вы? — удивился Рейс.

— Я? С вашего разрешения я хотел пойти помолиться Богу, вернее, поблагодарить Его.

— Простите, я не совсем понимаю. Что с вами?

— Я хотел поблагодарить Господа за то, что Он таким непостижимым образом спас меня в самый последний момент.

— Послушайте! — воскликнул Рейс. — Я не католик, но, поверьте, я достаточно набожен и понимаю — вам есть за что благодарить Бога, ведь Он спас вас от смерти.

— Нет, — поправил его священник, — не от смерти. От позора.

Рейс смотрел на него широко открытыми глазами. Следующая реплика отца Брауна совсем ошеломила его:

— Пусть бы еще опозорили меня! Позор угрожал всему, что мне дорого. Они замахнулись на святая святых. Даже подумать страшно! Ведь мог разразиться самый страшный скандал со времен Титуса Оутса.

— Не понимаю, о чем вы? — воскликнул Рейс.

— Простите, я, кажется, совсем заморочил вам голову, — сказал священник, садясь. Он немного пришел в себя и продолжал: — Меня самого осенило, лишь когда речь зашла о Шерлоке Холмсе. Теперь я вспоминаю, что я написал в связи с его безумным планом. Тогда фраза «Я готов умереть и воскреснуть, как Шерлок Холмс» не показалась мне подозрительной, сейчас же я понимаю, что за ней стояло. Как только это пришло мне в голову, я сообразил, что меня не зря заставляли писать такие фразы, ведь они сводились к одному и тому же. Точно так же, сам того не подозревая, я написал, словно бы обращаясь к сообщнику, что в назначенное время выпью отравленного вина. Ну, теперь поняли?

— Да, кажется, начинаю понимать, — воскликнул Рейс, вскакивая на ноги и не сводя глаз со священника.

— В их планы входило сначала устроить вокруг чуда ажиотаж, а потом самим же это чудо опровергнуть. И что самое худшее, они бы доказали, что я был с ними заодно. Получилось бы, что церковь сознательно пошла на подлог. В этом-то и заключалась их цель. Дьявольская цель.

Помолчав, он добавил уже совсем тихо:

— Да, мои автографы им бы очень пригодились.

Рейс метнул взгляд на лежавшие на столе бумаги и мрачно спросил:

— И сколько же негодяев замешано в этом деле?

— Увы, немало. — Священник покачал головой. — Правда, некоторые были всего лишь марионетками. Возможно, Альварес счел, что на войне все средства хороши, ведь он человек своеобразный. Я сильно подозреваю, что Мендоса — старая лиса, я ему никогда не доверял, да и он был крайне раздосадован тем, что я не поддержал его начинаний. Но все это несущественно. Главное, я должен поблагодарить Бога за свое спасение, а особенно за то, что Он надоумил меня дать телеграмму епископу.

Джон Рейс пребывал в глубокой задумчивости.

— Вы рассказали мне массу вещей, о которых я понятия не имел, — сказал он наконец, — а теперь, вероятно, и мне стоит рассказать вам ту единственную вещь, которую не знаете вы. Сейчас я довольно хорошо представляю себе, на чем строился их план. Они полагали, что любой человек, который проснулся в гробу и обнаружил, что он канонизирован при жизни и стал ходячим чудом, позволит носить себя на руках и будет упиваться неожиданно свалившейся на него славой. Надо отдать им должное,

в своих расчетах они учитывали особенности человеческой психики. Мне доводилось встречаться с самыми разными людьми в самых разных местах, и могу вас заверить, что на тысячу человек едва ли найдется один, который в подобной ситуации сохранил бы самообладание и, еще толком не проснувшись, проявил достаточно здравого смысла, простоты, смирения, чтобы . . . — Тут Рейс вдруг обнаружил, что расчувствовался и у него против обыкновения дрожит голос.

Отец Браун покосился на стоявшую на столе бутылку и как бы невзначай сказал:

— Послушайте, а как вы смотрите на то, чтобы распить бутылку настоящего вина?

ВЕЩАЯ СОБАКА

— Да,— сказал отец Браун,— собаки — славные создания, только не путайте создание с создателем.

Словоохотливые люди часто невнимательны к словам других. Даже блистательность их порою оборачивается тупостью. Друг и собеседник отца Брауна, восторженный молодой человек по фамилии Финз, постоянно готов был низвергнуть на слушателя целую лавину историй и мыслей, его голубые глаза всегда пылали, а светлые кудри, казалось, были отмечены со лба не щеткой для волос, а бурным вихрем светской жизни. И все же он замялся и умолк, не в силах раскусить простенький каламбур отца Брауна.

— Вы хотите сказать, что с ними слишком носятся? — спросил он. — Право же, не уверен. Это удивительные существа. Временами мне кажется, что они знают много больше нашего.

Отец Браун молчал, продолжая ласково, но несколько рассеянно поглаживать по голове крупного охотничьего пса, приведенного гостем.

— Кстати,— снова загорелся Финз, — в том деле, о котором я пришел вам рассказать, участвует собака. Это одно из тех дел, которые называют необъяснимыми. Странная история, но, по моему, самое странное в ней — поведение собаки. Хотя в этом деле все загадочно. Прежде всего, как могли убить старика Дрюса, когда в беседке, кроме него, никого не было?

Рука отца Брауна на мгновение застыла, он перестал поглаживать собаку.

— Так это случилось в беседке? — спросил он равнодушно.

— А вы не читали в газетах? — отозвался Финз. — Подождите, по моему, я захватил с собой одну заметку, — там есть все подробности.

Он вытащил из кармана газетную страницу и протянул ее отцу Брауну, который тут же принялся читать, держа статью в одной руке у самого носа, а другой все так же рассеянно

поглаживая собаку. Он как бы являл собой живую иллюстрацию притчи о человеке, у коего правая рука не ведаёт, что творит левая.

«Истории о загадочных убийствах, когда труп находят в наглухо запертом доме, а убийца исчезает неизвестно как, не кажутся такими уж невероятными в свете поразительных событий, имевших место в Крэнстоне на морском побережье Йоркшира. Житель этих мест полковник Дрюс убит ударом кинжала в спину, и орудие убийства не обнаружено ни на месте преступления, ни где-либо в окрестностях.

Впрочем, проникнуть в беседку, где умер полковник, было несложно: вход в нее открыт, и вплотную к порогу подходит дорожка, соединяющая беседку с домом. В то же время ясно, что незаметно войти в беседку убийца не мог, так как и тропинка и дверь постоянно находились в поле зрения нескольких свидетелей, подтверждающих показания друг друга. Беседка стоит в дальнем углу сада, где никаких калиток и лазов нет. По обе стороны дорожки растут высокие цветы, посаженные так густо, что через них нельзя пройти, не оставив следов. И цветы и дорожка подходят к самому входу в беседку, и совершенно невозможно подобраться туда незаметно каким-либо обходным путем.

Секретарь убитого Патрик Флойд заявил, что видел весь сад с той минуты, когда полковник Дрюс в последний раз мелькнул на пороге беседки, и до того момента, когда был найден труп; все это время он стоял на самом верху стремянки и подстригал живую изгородь. Его слова подтверждает дочь убитого, Дженет Дрюс, которая сидела на террасе и видела Флойда за работой. В какой-то мере ее показания подтверждает и Дональд Дрюс, ее брат, который, проспав допоздна, выглянул, еще в халате, из окна своей спальни. И наконец, все эти показания совпадают со свидетельством соседа Дрюсов, доктора Валантэна, который ненадолго зашел к ним и разговаривал на террасе с мисс Дрюс, а также свидетельством стряпчего, мистера Обри Трейла. По всей видимости, он последним видел полковника в живых, — исключая, надо полагать, убийцу.

Все эти свидетели единодушно утверждают, что события развивались следующим образом: примерно в половине третьего пополудни мисс Дрюс зашла в беседку спросить у отца, когда он будет пить чай. Полковник ответил, что чай пить не будет, потому что ждет своего поверенного мистера Трейла, которого и велел прислать к себе, когда тот явится. Девушка вышла и, встретив на дорожке Трейла, направила его к отцу. Поверенный пробыл в беседке около получаса, причем полковник проводил его до порога и, судя по всему, пребывал не только в добром здравии, но и в отличном расположении духа. Незадолго до того мистер Дрюс рассердился на сына, узнав, что тот еще не вставал после ночного кутежа, но довольно быстро успокоился и чрезвычайно любезно встретил и стряпчего, и двух племянников,

приехавших к нему погостить на денек. Полиция не стала допрашивать племянников, поскольку в то время, когда произошла трагедия, они были на прогулке. По слухам, полковник был не в ладах с доктором Валантэном; впрочем, доктор зашел лишь на минутку повидаться с мисс Дрюс, в отношении которой, кажется, имеет самые серьезные намерения.

По словам стряпчего Трейла, полковник остался в беседке один; это подтвердил и мистер Флойд, который, стоя на своем насесте, отметил, что в беседку больше никто не входил. Спустя десять минут мисс Дрюс снова вышла в сад и, еще не дойдя до беседки, увидела на полу тело отца: на полковнике был белый полотняный френч, заметный издали. Девушка вскрикнула, сбегались все остальные и обнаружили, что полковник лежит мертвый возле опрокинутого плетеного кресла. Доктор Валантэн, который еще не успел отойти далеко, установил, что удар нанесен каким-то острым орудием вроде стилета, вонзившимся под лопатку и проткнувшим сердце. В поисках такого орудия полиция обшарила всю окрестность, но ничего не обнаружила».

— Значит, на полковнике был белый френч? — спросил отец Браун, откладывая записку.

— Да, он привык к такой одежде в тропиках, — слегка опешив, ответил Финз. — С ним там случались занятные вещи, он сам рассказывал. Кстати, Валантэна он, по-моему, недолюбливал потому, что и тот служил в тропиках. Уж не знаю отчего — но так мне кажется. В этом деле ведь все загадочно. Записка довольно точно излагает обстоятельства убийства. Меня там не было, когда обнаружили труп, — мы с племянниками Дрюса как раз ушли гулять и захватили с собой собаку, помните, ту самую, о которой я хотел вам рассказать. Но описано все очень точно: прямая дорожка среди высоких синих цветов, на ней стряпчий в черном костюме и цилиндре, а над зеленой изгородью — рыжая голова секретаря. Рыжего заметно издали, и если люди говорят, что видели его все время, значит, правда видели. Этот секретарь — забавный тип: никогда ему не сидится на месте, вечно он делает чью-то работу, — вот и на этот раз он заменял садовника. Мне кажется, он американец. У него американский взгляд на жизнь и подход к делам, как говорят у них в Америке.

— Ну, а поверенный? — спросил отец Браун.

Финз ответил не сразу.

— Трейл произвел на меня довольно странное впечатление, — проговорил он гораздо медленнее, чем обычно. — В своем безупречном черном костюме он выглядит чуть ли не франтом, и все же в нем есть что-то старомодное. Зачем-то отрасли пышные бакенбарды, каких никто не выдвигал с времен королевы Виктории. Лицо у него серьезное, держится он с достоинством, но иногда, как бы спохватившись, вдруг улыбнется, сверкнет своими белыми зубами, и сразу все его достоинство словно слиняет, в нем появляется что-то слащавое. Может, он просто

смущается и потому все время то теребит галстук, то поправляет булавку в галстуке. Кстати, они такие же красивые и необычные, как он сам. Если бы я хоть кого-то мог... да нет, что толку гадать, это совершенно безнадежно. Кто мог это сделать? И как? Неизвестно. Правда, за одним исключением, о котором я и хотел вам рассказать. Знает собака.

Отец Браун вздохнул и с рассеянным видом спросил:

— Вы ведь у них гостили как приятель молодого Дональда? Он тоже ходил с вами гулять?

— Нет, — улыбувшись, ответил Финз. — Этот шалопаи только под утро лег в постель, а проснулся уже после нашего ухода. Я ходил гулять с его кузенами, молодыми офицерами из Индии. Мы болтали о разных пустяках. Старший, кажется, Герберт, большой любитель лошадей. Помню, он все время рассказывал нам, как купил кобылу, и ругал ее прежнего хозяина. А его братец Гарри все сетовал, что ему не повезло в Монте-Карло. Я упоминаю это только для того, чтобы вы поняли, что разговор шел самый тривиальный. Загадочной в нашей компании была только собака.

— А какой она породы? — спросил Браун.

— Такой же, как и моя, — ответил Финз. — Я ведь вспомнил всю эту историю, когда вы сказали, что не надо обожествлять собак. Это большой черный охотничий пес; зовут его Мрак, и не зря, по-моему, — его поведение еще темней и загадочней, чем тайна самого убийства. Я уже говорил вам, что усадьба Дрюса находится у моря. Мы прошли по берегу примерно с милу, а потом повернули назад и миновали причудливую скалу, которую местные жители называют Скалой Судьбы. Она состоит из двух больших камней, причем верхний еле держится, тронь — и упадет. Скала не очень высока, но силуэт у нее довольно жуткий. Во всяком случае, на меня он подействовал угнетающе, а моих молодых веселых спутников навряд ли занимали красоты природы. Возможно, я уже что-то предчувствовал: Герберт спросил, который час и не пора ли возвращаться, и мне уже тогда показалось, что надо непременно узнать время, что это очень важно. Ни у Герберта, ни у меня не было с собой часов, и мы окликнули его брата, который остановился чуть поодаль у изгороди раскурить трубку. Он громко крикнул: «Двадцать минут пятого», — и голос его в наступающих сумерках показался мне грозным. Это вышло у него ненамеренно и потому прозвучало еще более зловеще; а потом, конечно, мы узнали, что именно в эти секунды уже надвигалась беда. Доктор Валантэн считает, что бедняга Дрюс умер около половины пятого.

Братья решили, что можно еще минут десять погулять, и мы пошлись чуть подальше по песчаному пляжу, кидали камни, забрасывали в море палки, а собака плавала за ними. Но меня все время угнетали надвигающиеся сумерки, и даже тень, которую отбрасывала причудливая скала, давила на меня как тяжкий

груз. И тут случилась странная вещь. Герберт забросил в воду свою трость. Мрак поплыл за ней, принес, и тут же Гарри бросил свою. Собака снова кинулась в воду и поплыла, но вдруг остановилась, причем, кажется, все это было ровно в половине пятого. Пес вернулся на берег, встал перед нами, а потом вдруг задрал голову и жалобно завыл, чуть ли не застонал, — я такого воя в жизни не слышал. «Что с этой чертовой собакой?» — спросил Герберт. Мы не знали. Тонкий жалобный вой, огласив безлюдный берег, оборвался и замер. Наступила тишина, как вдруг ее нарушил новый звук. На сей раз мы услышали слабый отдаленный крик; казалось, где-то за изгородью вскрикнула женщина. Мы тогда не поняли, кто это, но потом узнали. Это закричала мисс Дрюс, увидев тело отца.

— Вы, я полагаю, сразу же вернулись к д о м у , — мягко подсказал отец Б р а у н . — А потом?

— Я расскажу вам, что было потом, — угрюмо и торжественно ответил Ф и н з . — Войдя в сад, мы сразу увидели Трейла. Я отчетливо помню черную шляпу и черные бакенбарды на фоне синих цветов, протянувшихся широкой полосой до самой беседки, помню закатное небо и странный силуэт скалы. Трейл стоял в тени, лица его не было видно; но он улыбался, клянусь, я видел, как блестели его белые зубы.

Едва пес заметил Трейла, он сразу бросился к нему и залился бешеным, негодующим лаем, в котором так отчетливо звучала ненависть, что он скорее походил на брань. Стряпчий съежился и побежал по дорожке.

Отец Браун вскочил с неожиданной яростью.

— Стало быть, его обвинила собака? Разоблачил вещий пес? А не заметили вы, летали в то время птицы и, главное, где: справа или слева? Осведомлялись вы у авгуров, какие принести жертвы? Надеюсь, вы вспороли собаке живот, чтобы исследовать ее внутренности? Вот какими научными доказательствами пользуетесь вы, человеколюбцы-язычники, когда вам взбредет в голову отнять у человека жизнь и честное имя.

Финз на мгновение потерял дар речи, потом спросил:

— Пойдите, что это вы? Что я вам такого сделал?

Браун испуганно взглянул на него — так же испуганно и виновато люди смотрят на столб, наткнувшись на него в темноте.

— Не обижайтесь, — сказал он с неподдельным огорчением . — Простите, что я так набросился на вас... Простите, пожалуйста.

Финз взглянул на него с любопытством.

— Мне иногда кажется, что самая загадочная из загадок — вы, — сказал о н . — А все-таки сознайтесь: пусть, по-вашему, собака не причастна к тайне, но ведь сама тайна остается. Не станете же вы отрицать, что в тот миг, когда пес вышел на берег и завыл, его хозяйина прикончила какая-то неведомая сила, которую никому из смертных не дано ни обнаружить, ни даже вообразить.



Что до стряпчего, дело не только в собаке; есть и другие любопытные моменты. Он мне сразу не понравился — увертливый, слащавый, скользкий тип; и я вот что вдруг заподозрил, наблюдая за его ухватками. Как вы знаете, и врач и полицейские прибыли очень быстро: доктора Валантэна вернули с полпути, и он немедленно позвонил в полицию. Кроме того, дом стоит на отлете, людей там немного, и было нетрудно всех обыскать. Их тщательно обыскали, но оружия не нашли. Обшарили дом, сад и берег — с тем же успехом. А ведь спрятать кинжал убийце было почти так же трудно, как спрятаться самому.

— Спрятать кинжал, — повторил отец Браун, кивая. Он вдруг стал слушать с интересом.

— Так вот, — продолжал Ф и н з , — я уже говорил, что этот Трейл все время поправлял то галстук, то булавку в галстук... особенно булавку. Эта булавка напоминает его самого — щегольская и в то же время старомодная. В нее вставлен камешек — вы такие, наверное, видели — с цветными концентрическими кругами, похожий на глаз. Меня раздражало, что внимание Трейла так сконцентрировано на этом камне. Мне чудилось, что он циклоп, а камень — его глаз. Булавка была не только массивная, но и длинная, и мне вдруг пришло в голову: может быть, он так ей занят оттого, что она еще длинней, чем кажется? Может, она длиною с небольшой кинжал?

Отец Браун задумчиво кивнул.

— Других предположений насчет орудия убийства не было? — спросил он.

— Было еще одно, — ответил Ф и н з . — Его выдвинул молодой Д р ю с , — не сын, а племянник. Глядя на Герберта и Гарри, никак не скажешь, что они могут дать толковый совет сыщику: Герберт и впрямь бравый драгун, украшение конной гвардии и завзятый лошатник, но младший, Гарри, одно время служил в индийской полиции и кое-что смыслит в этих вещах. Он ловко взялся за дело, пожалуй, даже слишком л о в к о , — пока полицейские выполняли всякие формальности, Гарри начал вести следствие на свой страх и риск. Впрочем, он в каком-то смысле сыщик, хоть и безработный, и вложил в свою затею не только любительский пыл. Вот с ним-то мы и поспорили насчет орудия убийства, и я узнал кое-что новое. Я упомянул, что собака лаяла на Трейла, а он возразил: если собака очень злится, она не лает, а рычит.

— Совершенно справедливо, — вставил священник.

— Младший Дрюс добавил, что он сам не раз слышал, как этот пес рычит на людей, к примеру — на Флойда, секретаря полковника. Я очень резко возразил, что это опровергает его собственные доводы: нельзя обвинить в одном и том же преступлении несколько человек, тем паче Флойда, безобидного, как школьник. К тому же он был все время на виду, над зеленой оградой, и его рыжая голова бросалась всем в глаза. « Д а , — от-

вечал Гарри Дрюс, — здесь у меня не совсем сходятся концы с концами, но давайте на минутку прогуляемся в сад. Я хочу показать вам одну вещь, которую, по-моему, никто еще не видел». Это было в самый день убийства, и в саду все осталось без перемен. Стремянка по-прежнему стояла у изгороди, и, подойдя к ней вплотную, мой спутник наклонился и что-то вынул из густой травы. Оказалось, что это садовые ножницы; на одном из лезвий была кровь.

Отец Браун помолчал, потом спросил:

— А зачем приходил стряпчий?

— Он сказал нам, что за ним послал полковник, чтобы изменить завещание, — ответил Финз. — Кстати, о завещании: его ведь подписали не в тот день.

— Надо полагать, что так, — согласился отец Браун. — Чтобы оформить завещание, нужны два свидетеля.

— Совершенно верно. Стряпчий приезжал накануне, и завещание оформили, но на следующий день Трейла вызвали снова — старик усомнился в одном из свидетелей и хотел это обсудить.

— А кто были свидетели? — спросил отец Браун.

— В том-то и дело, — с жаром воскликнул Финз. — Его свидетелями были Флойд и Валантэн — вы помните, врач-иностранец, или уж не знаю, кто он там такой. И вдруг они поссорились. Флойд ведь постоянно суется в чужие дела. Он из тех любителей пороть горячку, которые, к сожалению, употребляют весь свой пыл лишь на то, чтобы кого-нибудь разоблачить; он из тех, кто никогда и никому не доверяет. Такие, как он, обладатели огненных шевелюр и огненных темпераментов, всегда или доверчивы без меры, или безмерно недоверчивы; а иногда и то и другое вместе. Он не только мастер на все руки, он даже учит мастеров. Он не только сам все знает, он всех предостерегает против всех. Зная за ним эту слабость, не следовало бы придавать слишком большое значение его подозрениям, но в данном случае он, кажется, прав. Флойд утверждает, что Валантэн на самом деле никакой не Валантэн. Он говорит, что встречал его прежде и тогда его звали де Вийон. Значит, подпись его недействительна. Разумеется, он любезно взял на себя труд растолковать соответствующую статью закона стряпчему, и они зверски переругались.

Отец Браун засмеялся.

— Люди часто ссорятся, когда им нужно засвидетельствовать завещание. Первый вывод, который тут можно сделать, что им самим ничего не причитается по этому завещанию. Ну, а что говорит Валантэн? Ваш всеведущий секретарь, несомненно, больше знает об его фамилии, чем он сам. Но ведь даже у доктора могут быть кое-какие сведения о собственном имени.

Финз немного помедлил, прежде чем ответить.

— Доктор Валантэн странно отнесся к делу. Доктор вообще странный человек. Он довольно интересен внешне, но сразу чувст-

вуется иностранец. Он молод, но у него борода, а лицо очень бледное, страшно бледное и страшно серьезное. Глаза у него страдальческие — то ли он близорукий и не носит очков, то ли у него голова болит от мыслей; но он вполне красив и всегда безупречно одет — в цилиндре, в темном смокинге, с маленькой красной розеткой. Держится он холодно и высокомерно и, бывает, так на вас глянет, что не знаешь, куда деваться. Когда его обвинили в том, что он скрывается под чужим именем, он, как сфинкс, уставился на секретаря, а затем сказал, что, очевидно, американцам незачем менять имена, за неимением таковых. Тут рассердился и полковник и наговорил доктору резкостей: думаю, он был бы сдержаннее, если бы Валантэн не собирався стать его зятем. Но вообще я не обратил бы внимания на эту перепалку, если бы не один разговор, который я случайно услышал на следующий день, незадолго до убийства. Мне неприятно его пересказывать, ведь я сознаюсь тем самым, что подслушивал. В день убийства, когда мы шли к воротам, направляясь на прогулку, я услышал голоса доктора Валантэна и мисс Дрюс. По-видимому, они ушли с террасы и стояли возле дома в тени за кустами цветов. Переговаривались они жарким шепотом, а иногда просто шипели — влюбленные ссорились. Таких вещей не пересказывают, но, на беду, мисс Дрюс повторила несколько раз слово «убийство». То ли она просила не убивать кого-то, то ли говорила, что убийством нельзя защитить свою честь. Не так уж часто обращаются с такими просьбами к джентльмену, заглянувшему на чашку чая.

— Вы не заметили, — спросил священник, — очень ли сердился доктор после той перепалки с секретарем и полковником?

— Да вовсе нет, — живо отозвался Финз, — он и вполнину не был так сердит, как секретарь. Это секретарь разбушевался из-за подписей.

— Ну, а что вы скажете, — спросил отец Браун, — о самом завещании?

— Полковник был очень богатый человек, и от его воли многое зависело. Трейл не стал нам сообщать, какие изменения внесены в завещание, но позже, а точнее — сегодня утром, я узнал, что большая часть денег, первоначально отписанных сыну, перешла к дочери. Я уже говорил вам, что разгульный образ жизни моего друга Дональда приводил в бешенство его отца.

— Мы все рассуждаем об убийстве, — задумчиво заметил отец Браун, — а упустили из виду мотив. При данных обстоятельствах скоростипажная смерть полковника выгоднее всего мисс Дрюс.

— Господи! Как вы хладнокровно говорите, — воскликнул Финз, взглянув на него с ужасом. — Неужели вы серьезно думаете, что она...

— Она выходит замуж за доктора? — спросил отец Браун.

— Кое-кто не одобряет этого, — последовал о т в е т . — Но доктора любят и ценят в округе, он искусный, преданный своему делу хирург.

— Настолько преданный, — сказал отец Браун, — что берет с собой хирургические инструменты, отправляясь в гости к даме. Ведь был же у него хоть ланцет, когда он осматривал тело, а до дому он, по-моему, добраться не успел.

Финз вскочил и удивленно уставился на него.

— То есть вы предполагаете, этим же самым ланцетом он...

Отец Браун покачал головой.

— Все наши предположения пока что — чистая фантазия, — сказал он. — Тут не в том вопрос, — кто или чем убил, а — как? Заподозрить можно многих, и даже орудий убийства хоть отбавляй — булавки, ножницы, ланцеты. А вот как убийца оказался в беседке? Как даже булавка оказалась там?

Говоря это, священник рассеянно разглядывал потолок, но при последних словах его взгляд оживился, словно он вдруг заметил на потолке какую-то необыкновенную муху.

— Ну, так как же все-таки по-вашему? — спросил молодой человек. — Что вы посоветуете мне, у вас такой богатый опыт?

— Боюсь, я мало чем могу помочь, — сказал отец Браун, вздохнув. — Трудно о чем-либо судить, не побывав на месте преступления, да и людей я не видел. Пока вы только можете возвратиться туда и продолжить расследование. Сейчас, как я понимаю, это в какой-то мере взял на себя ваш друг из индийской полиции. Я бы вам посоветовал поскорее выяснить, каковы его успехи. Посмотрите, что там делает ваш сыщик-любитель. Может быть, уже есть новости.

Когда гости — двуногий и четвероногий — удалились, отец Браун взял карандаш и, вернувшись к прерванному занятию, стал составлять план проповеди об энциклике «*Regum novarum*»¹. Тема была обширна, и план пришлось несколько раз перекраивать, вот почему за тем же занятием он сидел и двумя днями позже, когда в комнату снова вбежала большая черная собака и стала возбужденно и радостно прыгать на него. Вошедший вслед за нею хозяин был также возбужден, но его возбуждение выражалось вовсе не в такой приятной форме: голубые глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит, лицо было взволнованным и даже немного побледнело.

— Вы мне велели, — начал он без предисловия, — выяснить, что делает Гарри Дрюс. Знаете, что он сделал?

Священник промолчал, и гость запальчиво продолжил:

— Я скажу вам, что он сделал. Он покончил с собой.

Губы отца Брауна лишь слегка зашевелились, и то, что он пробормотал, не имело никакого отношения ни к нашей истории, ни даже к нашему миру.

¹ «О новых делах» (лат.).

— Вы иногда просто пугаете меня,— сказал Ф и н з . — Вы... неужели вы этого ожидали?

— Считаю возможным,— ответил отец Браун . — Я именно поэтому и просил вас выяснить, чем он занят. Я надеялся, что время еще есть.

— Тело обнаружил я,— чуть хрипловато начал Ф и н з . — Никогда не видел более жуткого зрелища. Выйдя в сад, я сразу почувствовал — там случилось еще что-то кроме убийства. Так же, как прежде, колыхалась сплошная масса цветов, подступая синими клиньями к черному проему входа в старенькую серую беседку; но мне казалось, что это бесы пляшут перед входом в преисподнюю. Я поглядел вокруг: все как будто было на месте, но мне стало мерещиться, что как-то изменились самые очертания небосвода. И вдруг я понял, в чем дело. Я привык к тому, что за оградой на фоне моря видна Скала Судьбы. Ее не было.

Отец Браун поднял голову и слушал очень внимательно.

— Это было все равно, как если бы снялась с места гора или луна упала с неба; а ведь я всегда, конечно, знал, что эту каменную глыбу очень легко свалить. Что-то будто обожгло меня; я пробежал по дорожке и прорвался напролом через живую изгородь, как сквозь паутину. Кстати, изгородь и вправду оказалась жиденькой, она лишь выглядела плотной, поскольку до сих пор никто сквозь нее не ломился. У моря я увидел каменную глыбу, свалившуюся с пьедестала; бедняга Гарри Дрюс лежал под ней, как обломок разбитого судна. Одной рукой он обхватил камень, словно бы стаскивая его на себя; а рядом на буром песке большими расплывшимися буквами он нацарапал: «Скала Судьбы да падет на безумца».

— Все это случилось из-за завещания, — заговорил отец Браун . — Сын попал в немилость, и племянник решил сыграть ва-банк; особенно — после того, как дядя пригласил его к себе в один день со стряпчим и очень ласково принял. Это был его последний шанс; из полиции его выгнали; он проигрался дотла в Монте-Карло. Когда же он узнал, что убил родного дядю понапрасну, он убил и себя.

— Да погодите вы! — крикнул растерянный Ф и н з . — Я за вами никак не поспею.

— Кстати, о завещании, — невозмутимо продолжал отец Браун , — пока я не забыл или мы с вами не перешли к более важным темам. Мне кажется, эта история с доктором объясняется просто. Я даже припоминаю, что слышал где-то обе фамилии. Этот ваш доктор — французский аристократ, маркиз де Вийон. Но при этом он ярый республиканец и, отказавшись от титула, стал носить давно забытое родовое имя. Гражданин Рикетти на десять дней сбил с толку всю Европу.

— Что это значит? — изумленно спросил молодой человек.

— Так, ничего,— сказал священник. — В девяти случаях из десяти люди скрываются под чужим именем из жульнических

побуждений, здесь же соображения — самые высокие. В том-то и соль шутки доктора по поводу американцев, не имеющих имен — то есть титулов. В Англии маркиза Хартингтона никто не называет мистером Хартингтоном, но во Франции маркиз де Вийон сплошь и рядом именуется мсье де Вийоном. Вот ему и пришлось заодно изменить и фамилию. А что до разговора влюбленных об убийстве, я думаю, и в том случае повинен французский этикет. Доктор собирался вызвать Флойда на дуэль, а девушка его отговаривала.

— Вот оно что? — встрепенувшись, протянул Ф и н з . — Ну, тогда я понял, на что она намекала.

— О чем вы это? — с улыбкой спросил священник.

— Видите ли, — отозвался молодой человек, — это случилось прямо перед тем, как я нашел тело бедного Гарри, но я так переволновался, что все забыл. Разве станешь помнить об идиллической картинке после того, как столкнешься с трагедией? Когда я шел к дому полковника, я встретил его дочь с доктором Валантэном. Она, конечно, была в трауре, а доктор всегда носит черное, будто собрался на похороны; но вид у них был не такой уж похоронный. Мне еще не приходилось встречать пары, столь радостной и веселой и в то же время сдержанной. Они остановились поздороваться со мной, и мисс Дрюс сказала, что они поженились и живут в маленьком домике на окраине городка, где доктор продолжает практиковать. Я удивился, так как знал, что по завещанию отца дочери досталось все состояние. Я деликатно намекнул на это, сказав, что шел в усадьбу, где надеялся ее встретить. Но она засмеялась и ответила: «Мы от всего отказались. Муж не любит наследниц». Оказывается, они и в самом деле настояли, чтобы наследство отдали Дональду; надеюсь, встряска пойдет ему на пользу и он наконец образумится. Он ведь, в общем-то, не так уж плох, просто очень молод, да и отец вел себя с ним довольно неумно. Я все это вспоминаю потому, что именно тогда мисс Дрюс обронила одну фразу, которую я в то время не понял; но сейчас я убежден, что ваша догадка правильна. Внезапно вспыхнув, она сказала с благородной надменностью бескорыстия: «Надеюсь, теперь этот рыжий дурак перестанет беспокоиться о завещании. Мой муж ради своих принципов отказался от герба и короны времен крестоносцев. Неужели он станет из-за такого наследства убивать старика?» Потом она снова рассмеялась и сказала: «Муж отправляет на тот свет одних лишь пациентов. Он даже не послал своих друзей к Флойду». Теперь мне ясно, что она имела в виду секундантов.

— Мне это тоже в какой-то степени ясно, — сказал отец Браун. — Но, если быть точным, что означают ее слова о завещании? Почему оно беспокоит секретаря?

Финз улыбнулся.

— Жаль, что вы с ним незнакомы, отец Браун. Истинное удовольствие смотреть, как он берется «встряхнуть кого-нибудь

как следует!»! Дом полковника он встряхнул довольно основательно. Страсти на похоронах разгорелись, как на скачках. Флойд и без повода готов наломать дров, а тут и впрямь была причина. Я вам уже рассказывал, как он учил садовника ухаживать за садом и просвещал законника по части законов. Стоит ли говорить, что он и хирурга принял за наставлять по части хирургии, а так как хирургом оказался Валантэн, наставник обвинил его и в более тяжких грехах, чем неумелость. В его рыжей башке засела мысль, что убийца — именно доктор, и когда прибыли полицейские, Флойд держался весьма покровительственно. Стоит ли говорить, что он вообразил себя величайшим из всех сыщиков-любителей? Шерлок Холмс со всем своим интеллектуальным превосходством и высокомерием не подавлял так Скотланд-Ярд, как секретарь полковника Дрюса третировал полицейских, расследующих убийство полковника. Видели бы вы его! Он расхаживал с надменным, растерянным видом, гордо встряхивая рыжей гривой, и раздражительно и резко отвечал на вопросы. Вот эти-то его фокусы и взбесили так сильно мисс Дрюс. У него, конечно, была своя теория — одна из тех, которыми кишат романы; но Флойду только в книге и место, он был бы там куда забавнее и куда безвреднее.

— Что же это за теория? — спросил отец Браун.

— О, теория первосортная, — хмуро ответил Ф и н з . — Она вызвала бы сенсацию, если бы продержалась еще хоть десять минут. Флойд сказал, что полковник был жив, когда его нашли в беседе, и доктор заколол его ланцетом, разрезая одежду.

— Понятно, — произнес свяще нник. — Он, значит, просто отдышал, уткнувшись лицом в грязный пол.

— Напористость — великое дело, — продолжал рассказчик. — Думаю, Флойд любой ценою протолкнул бы свою теорию в газеты и, может быть, добился бы ареста доктора, если бы весь этот вздор не разлетелся вдребезги, когда Гарри Дрюса нашли под Скалой Судьбы. Это все, чем мы располагаем. Думаю, что самоубийство почти равносильно признанию. Но подробностей этой истории не узнает никто и никогда.

Наступила пауза, затем священник скромно сказал:

— Мне кажется, я знаю подробности.

Финз изумленно взглянул на него.

— Но послушайте! — воскликнул о н . — Как вы могли их выяснить и почему вы уверены, что дело было так, а не иначе? Вы сидите здесь так далеко от места происшествия и сочиняете проповедь. Каким же чудом могли вы все узнать? А если вы и впрямь до конца разгадали загадку, скажите на милость, с чего вы начали? Что вас натолкнуло на мысль?

Отец Браун вскочил. В таком волнении его мало кому доводилось видеть. Его первое восклицание прогремело, как взрыв.

— Собака! — крикнул о н . — Ну конечно, собака. Если бы там, на берегу, вы уделили ей достаточно внимания, то без моей помощи восстановили бы все с начала до конца.

Финз в еще большем удивлении воззрелся на священника.

— Но вы ведь сами назвали мои догадки чепухой и сказали, что собака не имеет никакого отношения к делу.

— Она имеет самое непосредственное отношение к делу, — сказал отец Браун, — и вы бы это обнаружили, если бы видели в ней собаку, а не Бога-вседержителя, который вершит над нами правый суд. — Отец Браун замялся, потом продолжал, смущенно и как будто виновато: — По правде говоря, я до смерти люблю собак. И мне кажется, люди, склонные окружать их каким-то мистическим ореолом, меньше всего думают о них самих. Начнем с пустяка — отчего собака лаяла на Трейла и рычала на Флойда? Вы спрашиваете, как я могу судить о том, что случилось так далеко отсюда, но ведь это, собственно, ваша заслуга, — вы так хорошо описали всех этих людей, что я совершенно ясно их себе представил. Люди вроде Трейла, которые вечно хмурятся, а иногда вдруг ни с того ни с сего улыбаются и что-то вертят в пальцах, — это люди нервные, легко теряющие самообладание. Не удивлюсь, если и незаменимый Флойд очень возбудим и нервозен; таких немало среди деловитых янки. Почему иначе, услышав, как вскрикнула Джэнет Дрюс, он поранил руку ножницами и уронил их?

Ну, а собаки, как известно, терпеть не могут нервных людей. То ли их нервозность передается собакам; то ли собаки — они ведь все-таки звери — по-звериному агрессивны; то ли им просто обидно, что их не любят, — собаки ведь очень самолюбивы. Как бы там ни было, бедняга Мрак невзлюбил и того и другого просто потому, что оба они его боялись. Вы, я знаю, очень умны, а над умом грех насмеяться, но по временам мне кажется, вы чересчур умны, чтобы понимать животных. Или людей, особенно если они ведут себя почти так же примитивно, как животные. Животные незамысловатые существа; они живут в мире трюизмов. Возьмем наш случай: собака лает на человека, а человек убегает от собаки. Так вот, вам, по-моему, не хватает простоты, чтобы правильно это понять: собака лает потому, что человек ей не нравится, а человек убегает потому, что боится собаки. Других причин у них нет, да и зачем они? Вам же понадобилось все усложнить, и вы решили, что собака — ясновидица, какой-то глашатай судьбы. По-вашему, стряпчий бежал не от собаки, а от палача. Но ведь если подумать толком, все эти измышления просто на редкость несостоятельны. Если бы собака и впрямь так определенно знала, кто убил ее хозяина, она не тявкала бы на него, а вцепилась бы ему в горло. С другой стороны, неужели вы и вправду считаете, что бессердечный злодей, способный убить своего старого друга и тут же на глазах его дочери и осматривавшего тело врача расточать улыбки родственникам жертвы — неужели, по-вашему, этот злодей выдает себя в приступе раскаяния лишь потому, что на него залаяла собака? Он мог ощутить зловещую иронию этого совпадения. Оно могло потрясти его,

как всякий драматичный штрих. Но он не стал бы удирать через весь сад от свидетеля, который, как известно, не умеет говорить. Так бегут не от зловещей иронии, а от собачьих зубов. Ситуация слишком проста для вас. Что до случая на берегу, то здесь все обстоит гораздо интереснее. Сперва я ничего не мог понять. Зачем собака влезла в воду и тут же вылезла обратно? Это не в собачьих обычаях. Если бы Мрак был чем-то сильно озабочен, он вообще не побежал бы за палкой. Он бы, пожалуй, побежал совсем в другую сторону на поиски того, что внушило ему опасения. Но если уж собака кинулась за чем-то — за камнем, за палкой, за дичью, я по опыту знаю, что ее можно остановить, да и то не всегда, только самым строгим окриком. И уж ни в коем случае она не повернет назад потому, что передумала.

— Тем не менее она повернула,— возразил Ф и н з , — и возвратилась к нам без палки.

— Без палки она возвратилась по весьма существенной причине,— ответил священник. — Она не смогла ее найти и поэтому завyla. Кстати, собаки воют именно в таких случаях. Они свято чтут ритуалы. Собаки так же придирчиво требуют соблюдения правил игры, как дети требуют повторения всех подробностей сказки. На этот раз в игре что-то нарушилось. И собака вернулась к вам, чтобы пожаловаться на палку. С ней никогда еще ничего подобного не случалось. Впервые в жизни уважаемый и достойный пес потерпел такую обиду от никудышной старой палки.

— Что же натворила эта палка? — спросил Финз.

— У т о н у л а , — сказал отец Браун.

Финз молчал и недоуменно глядел на отца Брауна, и тот продолжал:

— Палка утонула, потому что это была собственно не палка, а остроконечный стальной клинок, скрытый в тростниковых ножнах, иными словами — трость с выдвижной шпагой. Наверно, ни одному убийце не доводилось так естественно спрятать оружие убийства — забросить его в море, играя с собакой.

— Кажется, я вас понял,— немного оживился Ф и н з . — Но пусть даже это трость со шпагой, мне совершенно не ясно, как убийца мог ею воспользоваться.

— У меня забрезжила одна мысль,— сказал отец Б р а у н , — в самом начале вашего рассказа, когда вы произнесли слово «беседка». И еще больше все прояснилось, когда вы упомянули, что полковник носил белый френч. То, что пришло мне в голову, конечно, просто неосуществимо, если полковника закололи кинжалом; но если мы допустим, что убийца действовал длинным орудием вроде рапиры, это не так уж невозможно.

Отец Браун откинулся на спинку кресла, устремил взгляд в потолок и начал излагать давно уже, по-видимому, обдуманное и тщательно выношенные соображения.

— Все эти загадочные случаи вроде истории с Желтой комнатой, когда труп находят в помещении, куда никто не мог

проникнуть, не похожи на наш, поскольку дело происходило в беседке. Говоря о Желтой комнате и о любой другой, мы всегда исходим из того, что ее стены однородны и непроницаемы. Иное дело беседка; тут стены часто сделаны из переплетенных веток и планок, и как бы густо их ни переплетать, всегда найдутся щели и просветы. Был такой просвет и в стене за спиной полковника. Сидел он в кресле, а оно тоже было плетеное, в нем тоже светились дырочки. Прибавим еще, что беседка находилась у самой изгороди, изгородь же, как вы только что говорили, была очень реденькой. Человек, стоявший по другую ее сторону, легко мог различить сквозь сетку веток и планок белое пятно полковничьего френча, отчетливое, как белый круг мишени.

Должен сказать, вы довольно туманно описали место действия; но, прикинув кое-что в уме, я восполнил пробелы. К примеру, вы сказали, что Скала Судьбы не очень высока; но вы же говорили, что она, как горная вершина, нависает над садом. А все это значит, что скала стоит очень близко от сада, хотя путь до нее занимает много времени. Опять же, вряд ли молодая леди завопила так, что ее было слышно за полмили. Она просто вскрикнула, и все же, находясь на берегу, вы ее услышали. Среди прочих интересных фактов вы, позвольте вам напомнить, сообщили и такой: на прогулке Гарри Дрюс несколько приотстал от вас, раскуривая у изгороди трубку.

Финз слегка вздрогнул.

— Вы хотите сказать, что, стоя там, он просунул клинок сквозь изгородь и вонзил его в белое пятно? Но ведь это значит, что он принял решение внезапно, не раздумывая, почти не надеясь на успех. К тому же он не знал наверняка, что ему достанутся деньги полковника. Кстати, они ему и не достались.

Отец Браун оживился.

— Вы не разбираетесь в его характере, — сказал он с таким видом, будто сам всю жизнь был знаком с покойным Гарри Дрюсом. — Он своеобразный человек, но мне такие попадались. Если бы он точно знал, что деньги перейдут к нему, он едва ли стал бы действовать. Тогда он бы видел, как это мерзко.

— Вам не кажется, что это несколько парадоксально? — спросил Финз.

— Он игрок, — сказал священник, — он и по службе пострадал за то, что действовал на свой риск, не дожидаясь приказов. Вероятно, он прибегал к недозванным методам, ведь во всех странах полицейская служба больше похожа на царскую охранку, чем нам хотелось бы думать. Но он слишком далеко зашел и сорвался. Для людей такого типа вся прелесть в риске. Им очень важно сказать: «Только я один мог на это решиться, только я один мог понять — вот оно! Теперь или никогда! Лишь гений или безумец мог сопоставить все факты: старик сердится на Дональда; он послал за стряпчим; в тот же день послал за Гербертом и за мной... и это все, — прибавить можно только то,

что он при встрече улыбнулся мне и пожал руку. Вы скажете — безумие, но так и делаются состояния. Выигрывает тот, у кого хватит безумия предвидеть?» Иными словами, он гордится наитием. Эта мания величия азартного игрока. Чем меньше надежды на успех, чем поспешнее надо принять решение, тем больше соблазна. Случайно увидев в просвете веток белое пятнышко френча, он не устоял перед искушением. Его опьянила самая обыденность обстановки. «Если ты так умен, что связал воедино ряд случайностей, не будь же трусом и не упускай возможность», — нашептывает игроку дьявол. Но и сам дьявол едва ли побудил бы этого несчастного убить, обдуманно и осторожно, старика дядю, от которого он всю жизнь дождался наследства. Это было бы слишком rispetтабельно.

Он немного помолчал, затем продолжал с каким-то кротким пылом:

— А теперь попытайтесь заново представить себе всю эту сцену. Он стоял у изгороди, в чаду искушения, а потом поднял глаза и увидел причудливый силуэт, который мог бы стать образом его смятенной души: большая каменная глыба чудом держалась на другой, как перевернутая пирамида, и он вдруг вспомнил, что ее называют Скалой Судьбы. Попробуйте себе представить, как воспринял это зрелище именно в этот момент именно этот человек. По-моему, оно не только побудило его к действию, а прямо подхлестнуло. Тот, кто хочет вознестись, не должен бояться падения. Он ударил не раздумывая; ему осталось только замести следы. Если во время розысков, которые, конечно, неизбежны, у него обнаружат шпагу, да еще с окровавленным клинком, он погиб. Если он ее где-нибудь бросит, ее найдут и, вероятно, выяснят, чья вина. Если он даже закинет ее в море, его спутники это заметят. Значит, надо изобрести какую-нибудь уловку, чтобы его поступок никому не показался странным. И он придумал такую уловку, как вы знаете, весьма удачную. Только у него одного были часы, и вот он сказал вам, что еще не время возвращаться, и, отойдя немного дальше, затеял игру с собакой. Представляете, с каким отчаянием блуждал его взгляд по пустынному берегу, прежде чем он заметил собаку!

Финз кивнул, задумчиво глядя перед собой. Казалось, его больше всего волнует самая отвлеченная сторона этой истории.

— Странно, — сказал он, — что собака все же имеет отношение к делу.

— Собака, если бы умела говорить, могла бы рассказать чуть ли не все об этом деле, — сказал священник. — Вас же я осуждаю за то, что вы, благо пес говорить не умеет, выступаете от его имени, заставляя его изъясняться языками ангельскими и человеческими. Вас коснулось поветрие, которое в наше время распространяется все больше и больше. Оно узурпаторски захватило власть над умами. Я нахожу его и в газетных сенсациях, и даже в модных словечках. Люди с готовностью принимают на веру

любые голословные утверждения. Оттесняя ваш старинный рационализм и скепсис, лавиною надвигается новая сила, и имя ей — суеверие. — Он встал и, гневно нахмурясь, продолжал, как будто обращаясь к самому себе: — Вот оно, первое последствие неверия. Люди утратили здравый смысл и не видят мир таким, каков он есть. Теперь стоит сказать: «О, это не так просто!» — и фантазия разыгрывается без предела, словно в страшном сне. Тут и собака что-то предвещает, и свинья приносит счастье, а кошка — беду, и жук — не просто жук, а скарабей. Словом, возродился весь зверинец древнего политеизма, — и пес Анубис, и зеленоглазая Баст, и тельцы васанские. Так вы катитесь назад, к обожествлению животных, обращаясь к священным слонам, крокодилам и змеям; и все лишь потому, что вас пугает слово «вочеловечился».

Финз встал, слегка смущенный, будто подслушал чужие мысли. Он позвал собаку и вышел, что-то невнятно, но бодро пробормотав на прощанье. Однако звать собаку ему пришлось дважды, ибо она, не шелохнувшись, сидела перед отцом Брауном и глядела на него так же внимательно, как некогда глядел волк на святого Франциска.

ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО КРЕСТА

Шесть человек, сидящих вокруг небольшого столика, столь мало подходили друг к другу, что были похожи на потерпевших кораблекрушение и оказавшихся случайно вместе на одном и том же необитаемом острове. Во всяком случае, вокруг действительно было море и, собственно говоря, их остров был заключен внутри другого острова, большого и летающего, как Лапута. Дело в том, что маленький столик был одним из множества маленьких столиков, расставленных в обеденном салоне чудовищного гиганта «Моравия», прокладывающего свой путь сквозь ночную тьму и вечную пустоту Атлантики. Члены маленькой группы не имели ничего общего между собой, кроме того, что все они плыли из Америки в Англию. Двоих из них можно было бы назвать знаменитостями; остальных же — людьми малозаметными, а в одном-двух случаях — и подозрительными.

К первой категории относился известный профессор Смейл, крупный авторитет в области археологии поздневизантийского периода. Лекции, прочитанные им в Американском университете, высоко оценили даже самые авторитетные научные центры Европы. В его работах отразился такой необычайно поэтический взгляд, проникнутый глубокой симпатией к древней истории Европы, что впервые встретившему его человеку было странно услышать американский акцент. И все же он был, в своем роде, настоящий американец. У него были длинные, белокурые, зачесанные назад волосы, открывающие высокий квадратный лоб, удлиненные черты лица, и голову он держал по-особому, словно скрывая, что вот-вот устремится куда-то. Все это вместе делало его похожим на льва, готовящегося к прыжку.

В группе была только одна дама, как ее часто называли журналисты — «сама себе голова», готовая играть роль хозяйки, если не сказать властительницы, за этим и за любым столом. То была леди Диана Вейлс, путешественница по тропикам и другим странам, но в ее облике и в том, как она себя держала за обедом, не было ничего резкого или мужеподобного. Красота ее — скажем, тяжелая копна медно-золотых волос — наводила на мысль о тропиках, манеру одеваться журналисты назвали бы смелой, но лицо у нее было умное, а глаза светились тем особым блеском, каким они светятся у дам, задающих вопросы на политических митингах.

В сиянии этого блеска другие четверо казались тенями; но при ближайшем рассмотрении можно было различить особенности каждого. Один из них был молодой человек, зарегистрировавшийся в корабельном журнале под именем Пол Т. Таррент. Он принадлежал к тому типу американцев, который можно скорее назвать антитипом. Вероятно, у каждой нации есть антитип, исключительностью своею подтверждающий общее правило. Американцы действительно почитают труд, как европейцы почитают войну. Труд в Америке окружен ореолом героизма, и того, кто уклоняется от него, считают как бы получеловеком. Антитип легко распознать ввиду его крайней редкости. Это денди, богатый прожигатель жизни, слабовольный негодяй американских романов. Казалось, у Пола Таррента нет другого занятия, как менять платье, что он и делал раз шесть на дню, переходя то к более бледным, то к более густым оттенкам светло-серого, словно старое серебро мерцало в меняющемся свете сумерек. В отличие от большинства американцев, он носил короткую курчавую бородку, за которой тщательно ухаживал; в отличие от большинства денди его типа, казался скорее угрюмым, чем наглым. Наверное, было что-то байроническое в его молчании и мрачности.

Двух других путешественников естественно объединить, хотя бы потому, что оба они были английскими лекторами, возвращающимися из турне по Америке. Один из них, Леонард Смит, незначительный поэт, но известный журналист, был длиннолицым, светловолосым, прекрасно одетым и воспитанным. Другой составлял ему комичный контраст — коренастый, плотный, с черными усами, свисающими как у моржа, и настолько же молчаливый, насколько первый словоохотлив. Но так как, с одной стороны, его когда-то обвиняли в грабеже, а с другой стороны, было известно, что он спас от ягуара румынскую принцессу во время одного из своих турне (и благодаря этому фигурировал в великосветской судебной хронике), само собой разумелось, что мнения его о Боге, прогрессе, своей собственной жизни в молодые годы, а также о будущем англо-американских отношений должны представлять неоценимый интерес для жителей Миннеаполиса и Омахи. Шестым и наименее значительным

был маленький английский священник, путешествующий под фамилией Браун. Он вслушивался в разговор с почтительным вниманием, и к описываемому моменту у него как раз сложилось впечатление, что в беседе есть какая-то странность.

— Полагаю, ваши изыскания о Византии, — говорил Леонард Смит, — помогут пролить свет на эту историю с захоронением, обнаруженным где-то на южном побережье, недалеко от Брайтона? Разумеется, от Брайтона до Византии большое расстояние, но сейчас пишут что-то об особенностях бальзамирования или чего-то еще, напоминающего Византию...

— Наука моя, — сухо ответил профессор, — может помочь многому. Необходимы, говорят, хорошие специалисты. Но я думаю, что нет ничего более условного, чем специализация. Например, в нашем случае: как можно говорить о Византии, не зная досконально Рима до нее и ислама после? В большинстве случаев науки арабов имеют истоки в древней Византии. Возьмите, например, алгебру...

— Не хочу я брать алгебру! — воскликнула решительно леди Дана. — Она меня не интересовала и не интересуется. Но меня очень интересуется бальзамирование. Я была с Гаттоном, когда он нашел вавилонские гробницы. И потом я не раз находила мумии и нетленные тела. Это ужасно интересно! Расскажите нам об этой новой находке.

— Гаттон был интересный человек, — произнес профессор. — Вся его семья чрезвычайно интересна. Его брат, член парламента, не был заурядным политиком. Я не понимал фашистов до тех пор, пока он не произнес своей известной речи об Италии.

— Кажется, мы сейчас плывем не в Италию, — настойчиво перебила леди Дана. — Полагаю, вы направляетесь в эту деревню, где нашли гробницу. В Сассексе, не так ли?

— Сассекс — довольно большой район по английским масштабам, — ответил профессор, — по нему можно бродить и бродить. Это хорошее место для пеших прогулок... Удивительно, какими высокими кажутся эти низкие холмы, когда взберешься на них.

Воцарилось напряженное молчание, после чего леди сказала:

— Я иду на палубу, — и поднялась.

Мужчины поднялись за нею. Но профессор задержался, а маленький священник медлил выйти из-за стола, тщательно сворачивая салфетку. Когда они, таким образом, остались одни, профессор неожиданно обратился к священнику:

— Как вы считаете, в чем смысл этого разговора?

Отец Браун улыбнулся.

— Раз уж вы меня спросили, — сказал он, — я скажу вам, что мне кажется в нем забавным. Может быть, я не прав, но мне показалось, что вас трижды пытались склонить на разговор

о бальзамированном теле, найденном в Сассексе, а вы очень любезно переводили его сначала на алгебру, потом на фашистов, потом на английский ландшафт.

— Короче говоря,— подхватил профессор, — вам показалось, что я готов беседовать о чем угодно, только не об этом. Вы правы.

Профессор немного помолчал, опустив глаза на скатерть, затем поднял их и заговорил громко и порывисто, опять напоминая готового к прыжку льва.

— Знаете, отец Браун,— сказал он, — я считаю вас самым мудрым и самым чистым человеком из тех, кого я встречал.

Отец Браун был настоящий англичанин. Как все англичане, он терялся перед комплиментом, брошенным в лицо прямо и просто, по-американски. В ответ он только пробормотал нечто бессвязное, а профессор продолжал так же серьезно и искренне:

— До определенной точки дело довольно просто. В Далэме, на побережье Сассекса, под небольшой церковью нашли христианскую гробницу времен средневековья — вероятно, похоронен там епископ. Местный священник сам оказался неплохим археологом, и ему удалось установить кое-что новое для меня. Прошел слух, что тело забальзамировано особым способом, аналогичным греческому или египетскому, но не известным на Западе в те времена. Поэтому мистер Уолтерс (так зовут священника) естественно подозревает влияние Византии. Он также упоминает об одной детали, вызвавшей у меня особый интерес.

Серьезное, печальное лицо профессора удлинилось еще более, когда он мрачно опустил глаза. Водя пальцем по узорам скатерти, он как будто вычерчивал планы мертвых городов, их храмы и гробницы.

— Итак, я хочу рассказать вам и никому более, почему именно я должен быть осторожен в малознакомой компании и почему чем настойчивее они пытались склонить меня к этой теме, тем осторожнее я становился. Утверждают, что в гробу нашли цепь с крестом, с виду довольно обычным, но на тыльной стороне его есть тайный символ. Относится он к символике ранней христианской Церкви и, как полагают, был знаком святого апостола Петра, когда тот утверждал свою кафедру в Антиохии, прежде чем отправиться в Рим. Во всяком случае, я думаю, что в мире известен еще только один такой крест, и принадлежит он мне. Ходят легенды о каком-то проклятии, связанном с этим крестом, но я не придаю им значения. Однако есть проклятие или нет его, заговор в некотором смысле налицо, причем участвует в заговоре только один человек.

— Один человек? — почти машинально повторил отец Браун.

— Один психически больной человек, насколько я могу

судить,— сказал профессор С м е й л. — Это длинный рассказ и отчасти, возможно, нелепый.

Он опять помолчал, водя пальцем по загадочной карте на скатерти, как по линиям архитектурных чертежей, и продолжал:

— Пожалуй, лучше начать с самого начала, чтобы от вас не ускользнула никакая сколько-нибудь важная деталь, которая могла показаться мне малозначительной. Это началось много лет тому назад, когда я на свои средства проводил раскопки, исследуя древности Крита и греческих островов. Практически я работал в одиночку, лишь иногда пользуясь случайной и неквалифицированной помощью местных жителей. Именно когда я работал один, я открыл подземный лабиринт, который привел меня к богатейшей груде обломков, кусков орнамента и рассыпанных гемм, которую я принял за руины подземного алтаря. Там и нашел я замечательный крест. На тыльной стороне его я увидел изображение «ихтоса», то есть рыбы, известный символ первых христиан, но форма его значительно отличалась от обычной. На мой взгляд, она гораздо реалистичней, словно древнего мастера не удовлетворяло чисто декоративное сочетание рельефа и ниши, и он стремился сделать рыбу как можно более похожей на настоящую. Мне показалось, понижение рельефа к одной его стороне не оправдано требованиями искусства; скорее, оно было данью грубому, почти дикарскому реализму — художник хотел передать движение живого тела.

Чтобы объяснить вам вкратце, почему я считал эту находку очень важной, укажу на особый характер раскопок. В некотором смысле я раскапывал былые раскопки. Мы не только раскапывали древности, мы шли по следу древних археологов. У нас были основания полагать (по крайней мере, некоторые из нас считали, что такие основания есть), что подземные ходы, относящиеся главным образом к Крито-Минойскому периоду (в том числе знаменитый лабиринт, который мы связывали с мифическим лабиринтом Минотавра), не были забыты и заброшены после Минотавра, до нынешних раскопок. Мы полагали, что в эти подземные пространства (я почти готов сказать — подземные города и деревни) уже проникали какие-то люди в каких-то определенных целях. Цель эту разные школы археологов определяли по-разному: одни полагали, что это — научные раскопки, предпринятые по указанию императоров; другие считали, что необузданная тяга к темным азиатским суевериям на закате Римской империи породила манихейскую или другую мерзкую секту, которая скрывала от света дня свои безумные оргии. Я же принадлежал к той группе ученых, которые считали, что эти лабиринты использовались в тех же целях, что и римские катакомбы. Иными словами, я считал, что в период гонений, распространившихся как пожар по всей Империи, в этих древних языческих лабиринтах скрывались христиане. Вот почему, когда я на-

шел и поднял этот крест, радостная дрожь, подобно молнии, пронизала меня. Еще больше обрадовался я, когда, возвращаясь к выходу, увидел еще более грубое и реалистичное изображение рыбы, выцарапанное на бесконечной каменной стене низкого коридора.

Впечатление было такое, словно это — ископаемая рыба или иной вымерший организм, навсегда сохранившийся в застывшем море. Я не сразу уразумел, каким образом возникла у меня эта аналогия, в общем мало связанная с изображением, выцарапанным на камне. Потом я понял, что я подсознательно связал рисунок с первыми христианами, которые, подобно немым рыбам, обитали в этом мире молчания и неверного света, глубоко под землей. Наверху, над ними, при дневном свете, ходили другие люди, они же двигались и жили во тьме, сумерках и безмолвии.

Кто бродил в коридорах каменных подземелий, тот знает о возникающей там иллюзии — кажется, что кто-то следует за вами или идет впереди. Иллюзию создает эхо подземелья, и она настолько реальна, что одинокому путнику трудно поверить, что он действительно один. Я привык к этому и не беспокоился, пока не увидел на стене символическую рыбу. Увидев, я остановился, и в ту же секунду сердце у меня тоже почти остановилось, ибо я стоял на месте, а эхо моих шагов не умолкло.

Я побежал, и мне показалось, что призрак впереди меня тоже побежал, но звук его шагов не повторял в точности звука моих шагов. Я опять остановился, и шаги впереди меня затихли, но я мог поклясться, что затихли они на мгновение позже. Я вопросительно крикнул и услышал ответ. Но это был не мой голос.

Звук доносился оттуда, где поворачивал кольцообразный коридор; и за все время этой жуткой, таинственной гонки кто-то всегда останавливался и говорил на одном и том же расстоянии от меня, за поворотом каменной стены. Небольшое пространство впереди меня, освещаемое светом моего фонарика, всегда оставалось пустым, как пустая комната. Вот при каких обстоятельствах я вел переговоры не знаю с кем, вплоть до того момента, когда забрезжил первый луч дневного света, но даже и тогда я не понял, каким образом тот человек выбрался наружу. Впрочем, там, где лабиринт выходил на поверхность, было много боковых отверстий, расселин и трещин, и ему нетрудно было, выкарабкавшись наружу, вновь нырнуть в одно из таких отверстий и опять оказаться под землей. Как бы то ни было, выбравшись на поверхность, я оказался на одной из мраморных террас ступенчатого склона высокой горы. Островки растительности казались сочными, почти тропическими, на фоне идеально чистого камня, словно спорадические проявления восточного духа на склоне великой эллинской цивилизации. Внизу простиралось

голубовато-стальное море. Лучи слепящего солнца падали вниз на безлюдный и безмолвный мир. Ни самое легкое шевеление травы, ни самая слабая, призрачная тень не выдавали присутствия только что скрывшегося человека.

То был страшный диалог, — и сближающий нас, и глубокий, и, в каком-то смысле, непосредственный. Некто, не имевший ни тела, ни лица, ни имени, называл меня по имени в этих каменных склепах и щелях, где мы были живо похоронены, и говорил так спокойно, так бесстрастно, словно мы сидели друг против друга в мягких креслах какого-нибудь клуба. Он сказал мне тем не менее, что убьет меня или любого другого, кто взял этот крест со знаком рыбы. Он откровенно признался, что не настолько глуп, чтобы напасть на меня здесь, в лабиринте, зная, что у меня заряженный револьвер и шансы наши одинаковы. В той же бесстрастной манере он поведал мне, что составит план моего убийства, исключив возможность неудачи, равно как и опасность для себя и ч н о , — составит его с искусством китайского ремесленника или японской вышивальщицы, вкладывающих все свое мастерство в то, что должно стать итогом их жизни. И все же мой собеседник не был жителем Востока. Он был представителем белой расы и, подозреваю, моим соотечественником.

С тех пор время от времени я получаю странные анонимные письма, иногда обычные, иногда — в виде знаков и символов. Они убедили меня наконец, что если этот человек одержим манией, то, во всяком случае, это мономания. В письмах он всегда уверяет меня легко и бесстрастно, что приготовления к моей смерти и похоронам идут удовлетворительно и предотвратят их успешное завершение я могу лишь, отказавшись от реликвии, от уникального креста, найденного в подземелье. Ни из чего не видно, чтобы автором владели религиозная сентиментальность или фанатизм. Похоже, что у него нет другой страсти, кроме страсти собирателя редкостей, и это одна из причин, по которой я заключаю, что он человек Запада, а не Востока. Как видно, эта страсть совершенно свела его с ума.

Затем пришло сообщение, пока еще не проверенное, о находке второго такого же креста на забальзамированном теле в сассекской гробнице. Если считать, что до сих пор он был одержим одним бесом, то теперь в него вселились семеро. Сознание, что у кого-то, но не у него, есть эта редчайшая реликвия, он и ранее переносил с трудом, но весть о появлении второго обладателя сделало муку нестерпимой.

Безумные послания стали пространными и следовали одно за другим, как дождь отравленных стрел. В каждом последующем сильнее, чем в предыдущем, звучала истерическая угроза: смерть наступит меня в тот момент, когда я протяну руку к кресту в гробнице.

«Вы никогда не узнаете, кто я, — писал о н , — Вы никогда не произнесете моего имени; Вы никогда не увидите моего лица; Вы умрете, и никто не будет знать, кто убил Вас. Я могу быть кем угодно и в каком угодно обличии среди окружающих Вас людей, но я буду тем единственным, на кого не падет Ваше подозрение».

Из этих угроз я заключил, что он, возможно, преследует меня в этом плавании, чтобы украсть реликвию или как-нибудь отомстить мне. Но так как я никогда не видел этого человека, логично подозревать почти каждого. Это может быть официант, который меня обслуживает, или любой из пассажиров, сидящих со мной за столом.

— Это может быть я, — сказал отец Браун, беззаботно нарушив грамматические правила.

— Это может быть кто угодно, кроме в а с , — серьезно ответил С м е й л . — Вот что я и хотел сказать вам. Вы — единственный человек, в котором я уверен.

От этих слов отец Браун опять смутился. Затем он улыбнулся и сказал:

— Действительно, как ни странно, это не я. Нам нужно с вами обдумать, как установить, действительно ли он преследует вас, прежде чем... прежде чем он причинит какую-либо неприятность.

— Я думаю, есть только один способ, — грустно заметил профессор. — Как только мы прибудем в Саутгемптон, я сразу же возьму таксомотор, чтобы проехать по всему побережью. Я был бы вам признателен, если бы вы согласились сопровождать меня. Вся наша застольная компания должна разъехаться по своим делам. Если кого-то из них мы обнаружим во дворе сассекской церкви, то это и есть он.

Программа профессора была исполнена в точности, во всяком случае, таксомотор наняли и разместили в нем груз, то есть отца Брауна. С одной стороны дороги, по которой они ехали, было море; с другой — холмы Хэмпшира и Сассекса. Никаких признаков преследования замечено не было. По прибытии в Далэм им повстречался человек, имеющий некоторое отношение к делу. Это был журналист, который только что побывал в храме и кому священник любезно показал подземную часовню. Впечатления и замечания журналиста не поднимались выше обычного газетного репортажа. Однако воображение профессора было, вероятно, немного возбуждено, так как он не мог отделаться от впечатления, что в наружности и манерах журналиста есть что-то странное и не внушающее доверия. Это был высокий, неряшливо одетый человек с крючковатым носом, глубоко запавшими глазами и усами, свисающими по углам рта. В тот момент, когда его остановили расспросы наших путешественников, он стремительно уходил прочь, желая как можно скорее покинуть это место, только что осмотренные достопримечательности.

— Все дело в проклятии, — объяснил он, — место это проклято, если верить путеводителю, или священнику, или кому-то еще... И будьте уверены, здесь что-то неладно. Проклятие или не проклятие, но я рад убраться отсюда.

— Вы верите в проклятия? — спросил отец Браун.

— Я ни во что не верю. Я — журналист, — ответил угрюмый субъект. — Бун из газеты «Вечерний Телеграф». Но есть что-то зловещее в этом склепе, у меня мурашки поползли по коже.

И с этими словами он еще быстрее зашагал в сторону железнодорожной станции.

— Похож на ворона, — заметил профессор, когда они повернули к церковной ограде. — Говорят, такая птица может накаркать беду.

Путешественники медленно вступили на церковное кладбище. Глаза американского любителя старины с удовольствием переходили с крыши уединенной надвратной часовни на тисовое дерево, такое черное и неприглядное, как будто это сама ночь, оставшаяся здесь, чтобы не уступать своей власти окружающему ее дневному свету. Тропинка поднималась вверх, изгибаясь между кочками, среди которых были разбросаны выпирающие под разными углами надгробные плиты, подобные каменным плотам, плывущим в зеленом море, пока наконец она не привела к гребню холма, с которого открывался вид на настоящее море, похуже на чугунный брус, отливающий кое-где блеском стали. Прямо под их ногами густая трава сменялась пучками прибрежного остролиста, за которыми виднелась полоска желто-серого песка, а футах в двух от остролиста, на фоне мнимо стального моря, стояла неподвижная фигура. Из-за темно-серого цвета ее вполне можно было принять за надгробный памятник, однако отец Браун сразу же узнал элегантную линию плечей и печально вздернутую короткую бородку.

— Эге, — воскликнул археолог, — да этот человек — Таррент, если, конечно, считать его человеком! Могла ли вам прийти в голову мысль во время нашей беседы, что разгадка тайны придет так быстро?

— Мне пришло в голову, что у вас будет много разгадок, — ответил отец Браун.

— Что вы имеете в виду?! — воскликнул профессор, метнув на него взгляд через плечо.

— Я имею в виду, — мягко проговорил священник, — что мне слышались голоса за тисовым деревом. Полагаю, Таррент не так одинок, как кажется, или не так одинок, как хочет казаться.

Не успел еще Таррент медленно повернуться в своей задумчивой манере, как пришло подтверждение словам священника. Другой голос, высокий, властный и вместе с тем женственный, произнес с наигранной шутливостью:

— О, никогда бы не подумала, кого мы здесь увидим!

Профессор догадался, что это игривое восклицание обращено не к нему и что, следовательно, здесь, как ни странно, еще и третий человек. Когда леди Диана Вейлс, как всегда, блистательная и решительная, вышла из тени тиса, то оказалось, что она имеет собственную и притом живую тень. Щеголеватый, тощий Смит, этот «человек литературного труда» (каким он всегда и во всем хотел себя показать), немедленно появился из-за спины ослепительной дамы. Он улыбался, держа голову немного набок, как собака.

— Змеи, — пробормотал С м е й л, — они все здесь. Все, кроме этого коротышки, балаганщика с моржовыми усами.

Он услышал, как отец Браун тихо засмеялся за его спиной. И в самом деле, ситуация становилась более чем комичной. Казалось, что все идет наоборот или переворачивается вверх ногами, словно акробат, крутящий колесо. Профессор еще не закончил, как слова его были самым смешным образом опровергнуты. Круглая голова с гротескным черным полумесяцем усов неожиданно возникла прямо из земли. Мгновением позже стало понятно, что в земле — большое отверстие, а в нем — уходящая вглубь приставная лестница; это и был вход в то самое подземелье, ради которого все сюда приехали. Владелец моржовых усов первым нашел этот вход и уже спустился на две-три ступеньки, но высунул голову наружу, чтобы обратиться к своим компаньонам. Он походил на могильщика из пародийной постановки «Гамлета». Густым басом из-под густых усов он проговорил только: «Это здесь». Лишь теперь, совершенно неожиданно, члены маленькой группы осознали, что они никогда ранее не слышали его голоса, и хотя он был английским лектором, говорил он с никому не известным иностранным акцентом.

— Вот видите, дорогой профессор, — громко, с веселой язвительностью произнесла леди Диана, — ваша византийская мумия слишком интересна, чтобы ее пропустить. Я решила поехать сюда и увидеть все своими глазами. И джентльмены решили так же. Расскажите же нам теперь об этом все, что вы знаете.

— Я не знаю об этом всего, — мрачно, если не сказать угрюмо, проговорил профессор. — Более того, я вообще в некотором смысле ничего не понимаю. Мне представляется странным, что мы так быстро снова все встретились. Видимо, жажда информации у современных людей не имеет границ. Если уж нам всем так необходимо ознакомиться с этим открытием, то надо бы сделать это должным образом и, извините меня, под должным руководством. Прежде всего надо уведомить руководителя раскопок и, по крайней мере, занести наши имена в книгу посетителей.

Последовали краткие дебаты, ибо леди была нетерпелива,

профессор — законопослушен. Настойчивая апелляция ученого к официальным правам викария и местных властей взяла верх. Приземистый обладатель усов неохотно выкарабкался из могилы и покорился тому, что придется уйти в нее менее стремительно. К счастью, тут появился сам викарий. Это был седой джентльмен с благообразным лицом и немного потупленным взглядом, что подчеркивали двойные стекла очков. Быстро войдя с профессором в теплые отношения, как с коллегой антикваром, он отнесся к пестрой группе его спутников с некоторой опаской, проявлявшейся в снисходительном юморе.

— Надеюсь, никто из вас не суеверен, — любезно спросил он. — Для начала должен предупредить вас, что зловещие предзнаменования и проклятия витают над нашими бедными головами, коль скоро мы включились в это дело. Я только что закончил расшифровку латинской надписи над входом в подземную часовню и нашел не менее трех проклятий: проклятие тому, кто откроет замурованный вход; двойное проклятие тому, кто откроет гроб; и тройное, самое ужасное, тому, кто дотронется до золотого креста. Первым двум проклятиям я сам должен подвергнуться, — добавил он, улыбаясь, — но, боюсь, и вы, если желаете хоть что-нибудь увидеть, подпадете под первое, самое слабое. Согласно легенде, проклятия должны осуществиться не сразу, а через длительные промежутки времени и при подходящих обстоятельствах. Не знаю, утешит ли это вас. — И преподобный мистер Уолтере снова благосклонно улыбнулся, потупив глаза и склонив голову.

— Легенде... — повторил профессор С м е й л. — О какой легенде вы говорите?

— У всех легенд есть варианты, — ответил в и к а р и й, — однако бесспорно, что она так же стара, как гробница. Частично легенда изложена в упомянутой надписи и примерно говорит вот что: Гаю де Гисору, владельцу здешнего поместья в тринадцатом веке, понравился превосходный черный конь, хозяином которого был генуэзский посланник. Тот, будучи типичным вельможей купеческой страны, заломил за коня огромную цену. Желание купить коня и жадность за деньгам довели Гая де Гисора до того, что он ограбил склеп и, как говорят, убил местного епископа. Но епископ успел проклясть того, кто будет держать у себя золотой крест, взятый из его склепа. Феодал достал необходимую сумму, продав золотой крест городскому ювелиру. Но в первый же раз, когда он попытался сесть на коня, тот взвился на дыбы и сбросил его перед крыльцом храма. Между тем ювелир, до тех пор богатый и процветающий, разорился по вине многих необъяснимых случайностей и попал в кабалу к ростовщику-еврею, проживавшему в поместье. Видя, что, кроме голода, в будущем его ничто не ждет, несчастный ювелир повесился на яблоне. Золотой крест со всем прочим его имуществом — дом, инструменты — давно уже перешли к ростовщику. Сын и наследник феодала, пора-

женный карой, свершившейся над его отцом, превратился в религиозного фанатика в духе того темного и сурового времени. Он считал своим долгом преследовать ереси и неверие среди своих вассалов. В результате еврея, которого цинично терпел бывший владелец, безжалостно сожгли, и, таким образом, он в свою очередь поплатился за обладание реликвией, которую, когда исполнились эти три кары, вернули в гробницу. С тех пор ни один человеческий глаз не видел ее и ни одна рука до нее не доставалась.

На леди Диану Вэйлс рассказ, казалось, произвел большее впечатление, чем можно было ожидать.

— Подумать страшно, что мы попадем туда первыми после викария, — сказала она.

Обладателю акцента и больших усов не пришлось воспользоваться найденной им приставной лестницей, которую, как выяснилось, оставили рабочие, ведущие раскопки. Викарий отвел всю группу подальше ярдов на сто, где находился другой вход, более обширный и более удобный, из которого он сам как раз и появился, прервав на время свои археологические изыскания.

Спуск здесь был довольно пологий и не представлял трудностей, если не считать того, что становилось все темнее. Вскоре пришлось идти гуськом по непроглядно темному коридору, прежде чем они увидели впереди слабый проблеск света. Один раз за время их молчаливого пути раздался звук, как будто у кого-то перехватило дыхание (невозможно было определить, у кого), а один раз они услышали проклятие на незнакомом языке, прозвучавшее как глухой взрыв.

Они вошли в овальное помещение, похожее на базилику, образованное кольцом круглых арок, ибо часовня была вырыта еще до того, как первая готическая арка, подобно копью, пронзила нашу цивилизацию. Зеленоватый свет наверху, между колоннами, указывал на другой выход во внешний мир, и казалось, что ты — глубоко под водами моря. Одна или две случайные детали (возможно, вызванные возбужденным воображением) усиливали это чувство. Вокруг арок был выбит зубчатый норманский орнамент, и арки, обнимавшие тьму, походили на пасти чудовищных акул, а щель, образованная приподнятой крышкой каменного гроба, стоящего посредине, весьма напоминала челюсти Левиафана.

То ли из любви к красоте, то ли за неимением других, более совершенных средств освещения, археолог-викарий использовал только четыре высокие свечи, стоящие на полу в больших деревянных подсвечниках. Но в тот момент, когда посетители вошли в часовню, горела только одна, бросающая тусклый свет на тяжелые камни. Когда все собрались вместе, священник зажег остальные свечи, отчего наружный вид и внутренность саркофага стали видны более отчетливо.

Глаза всех устремились на лицо лежащего в саркофаге человека, сохранившее в течение всех протекших веков живые черты благодаря тайному восточному искусству, заимствованному, как объяснил священник, из языческой древности и неизвестному незамысловатым кладбищам нашего острова. Профессор едва мог подавить возглас изумления, ибо несмотря на восковую бледность лицо мертвеца походило на лицо только что закрывшего глаза, спящего человека. Суровое и четкое, оно могло принадлежать аскету или даже фанатику. Облаченное в пышные одежды тело укрывала золотая парча, а у самого горла, на золотой цепочке, короткой, словно ожерелье, сиял знаменитый золотой крест.

Приподнятая в изголовье крышка гроба опиралась всей своей тяжестью на два деревянных бруса, а те упирались нижними концами в углы гроба. Поэтому нижнюю часть туловища разглядеть было трудно, зато лицо было освещено светом свечи и — бледное, цвета слоновой кости — составляло контраст кресту, сиявшему как огонь.

С того момента, как викарий поведал легенду о закланиях, со лба профессора не сходила глубокая морщина — признак упорной работы мысли или внутренней борьбы. Женщина, наделенная интуицией, не лишенной истерии, лучше других поняла смысл этих раздумий. В безмолвии пещеры, озаряемой светом свечи, вдруг раздался крик леди Дианы:

— Не троньте!

Но профессор уже совершил свой львиный прыжок, склонившись над головой покойного. В следующее мгновение кто-то подался вперед, кто-то отпрянул назад, присев и втянув голову в плечи, словно вот-вот упадет небо.

Как только профессор прикоснулся к золотому кресту, деревянные брусья, наклоненные чуть под углом к каменной крышке, вдруг дернулись и выпрямились, будто от толчка, лишив крышку опоры. Всем стало нехорошо, словно они падали в пропасть. Смейл поспешил убрать голову, но поздно. Он упал у гроба, весь в крови, то ли от раны на голове, то ли от пролома в черепе.

Древний каменный гроб был вновь закрыт, как был он закрыт в течение многих веков. Только два-три обломка подпор торчали из щели, под крышкой, словно кости, раздробленные страшными челюстями. Левиафан захлопнул пасть.

Глаза леди Дианы, устремленные на страшную картину, светились безумным блеском, а рыжие волосы над бледным лицом в зеленоватом свете сумерек казались ярко-красными. Смит смотрел на нее все с прежним, собачьим выражением, но то был взгляд собаки, не совсем понимающей, что случилось с хозяином. Таррент и иностранец застыли в своих обычных позах, однако лица их стали землистыми. Отец Браун на коленях пытался определить, в каком состоянии профессор.

К общему удивлению, байронический бездельник Таррент первым бросился ему на помощь.

— Нужно вынести на воздух,— сказал он. — Может, еще есть надежда...

— Он жив,— тихо проговорил отец Браун, — но, думаю, состояние довольно тяжелое. Вы случайно не врач?

— Нет, хотя пришлось обучаться многому. Однако сейчас не время говорить обо мне. Моя профессия вас, вероятно бы, удивила.

— Отнюдь,— улыбнулся отец Браун. — Я стал размышлять об этом примерно с середины нашего морского путешествия. Вы сыщик и за кем-то следите. Впрочем, крест теперь в безопасности от воров.

Пока он говорил, Таррент с неожиданной силой и ловкостью поднял раненого и осторожно направился с ним к выходу. Обернувшись, он бросил через плечо:

— Крест и впрямь в безопасности.

— Вы хотите сказать, что все остальное в опасности? — спросил отец Браун. — Вы тоже верите в проклятие?

...Уже два часа отец Браун, подавленный и обескураженный, бродил вокруг поселка. Состояние его вряд ли можно было объяснить потрясением — он помог отнести раненого в расположенный прямо напротив церкви трактир, поговорил с доктором, узнал, что рана серьезна, но не смертельна, и поставил об этом в известность всех остальных, когда они собрались за круглым столом в зале. Однако загадка не становилась яснее; наоборот, она становилась все более и более таинственной. Вернее, главная тайна выступала все четче, когда разрешались второстепенные. Чем больше вырисовывалась роль отдельных людей, тем труднее становилось найти ключ к разгадке. Леонард Смит приехал сюда только потому, что сюда приехала леди Диана. Леди Диана приехала потому, что ей этого захотелось. Их, безусловно, связывал банальный светский адюльтер, тем более пошлый, чем большую интеллектуальную окраску ему пытались придать. Однако романтизм леди Дианы, не чуждый суеверия, проявился в том, что она была в немалой степени подавлена страшной развязкой. Пол Таррент — частный сыщик, нанятый для слежки за этой парой супругом или женой одного из них или за усатым лектором, весьма смахивающим на нежелательного иностранца. Однако если он или кто другой вознамерился украсть реликвию, намерение это в конце концов было предотвращено. Из возможных причин на ум приходили только две: простое совпадение и проклятие.

В полной растерянности от этих размышлений отец Браун стоял где-то посредине деревенской улицы и вдруг, к немалому своему изумлению, увидел знакомую фигуру. На отца Брауна глядели глубоко посаженные глаза журналиста, чье неряшливое платье при ярком свете дня еще более напоми-

нало оперение ворона. Священнику пришлось дважды внимательно взглянуть на лицо Буна, пока он убедился, что под длинными усами змеится неприятная, или, скорее, злобная усмешка.

— Я полагал, что вас уже здесь нет, — сказал отец Браун необычным для него резким тоном. — Я полагал, что вы уехали поездом два часа назад.

— Как видите, не уехал, — ответил Бун.

— Зачем вы вернулись? — жестко спросил отец Браун.

— В этом сельском раю журналисту не следует торопиться. События здесь разворачиваются так быстро, что ими не стоит пренебрегать ради такого скучного места, как Лондон. Кроме того, я волей-неволей втянут в это дело. Я имею в виду второе дело. Ведь это я первый нашел труп или, по крайней мере, одежду. Разве тем самым я не навлек на себя подозрения? Не надеть ли ее, кстати? Из меня вышел бы неплохой пастор, как по-вашему?

С этими словами долговязый и длинноволосый шарлатан прямо посреди улицы вытянул вперед руки, словно бы благословляя кого-то, и произнес как в пародийном спектакле: «О, мои дорогие братья и сестры, я хотел бы заключить вас всех в объятия!»

— О чем это вы? — воскликнул отец Браун, стуча по булыжнику коротеньким зонтиком и тем проявляя необычное для себя нетерпение.

— Можете узнать у своих милых друзей в трактире, — презрительно ответил Бун. — Этот Таррент подозревает меня только потому, что я нашел одежду. Хотя, приди он минутой раньше, он бы сам ее нашел. Однако в этом деле немало загадочного, например, маленький человек с усами — по-моему, он значительней, чем представляется на первый взгляд. Или вы, например, — почему бы вам самому не убить беднягу?

Отца Брауна это замечание не столько раздражило, сколько обескуражило.

— Вы хотите сказать, — с наивной простотой спросил он, — что это я убил профессора Смейла?

— Ну что вы, конечно нет, — ответил Бун, примирительно помахивая рукой. — Для вас припасено немало мертвецов. Только выбирайте. Не обязательно Смейл. Разве вы не знаете, что кое-кто другой уже познакомился со смертью гораздо ближе, чем профессор? Не вижу, почему бы вам не разделаться с ним втихую. Конфессиональные распри, прискорбная особенность христианства... Вам ведь всегда хотелось заполучить обратно англиканские приходы.

— Я пойду в трактир, — спокойно сказал священник. — Вы, кажется, упомянули, что они знают, что вы имсете в виду. Надеюсь, по крайней мере, что они смогут мне это вразумительно объяснить.

И действительно, ошеломляющее известие о новой беде вытеснило недоумение отца Брауна. Едва войдя в залу трактира, где собралась вся компания, он понял по их бледным лицам, что они потрясены чем-то происшедшим после несчастья со Семейлом. В тот момент, когда священник входил в залу, Леонард Смит говорил:

— Когда же этому придет конец?

— Никогда, — произнесла леди Диана, уставившись в пространство остекленевшим взглядом. — Никогда, пока не придет конец всем нам. Проклятие будет наступать нас одного за другим, возможно — не сразу, как и говорил бедный викарий, но оно наступит нас, как наступило его самого.

— Ради всего святого, что случилось? — спросил отец Браун.

Воцарилось молчание; наконец заговорил Таррент.

— Мистер Уолтерс, викарий, покончил с собой, — сказал он каким-то не своим голосом. — Беда произвела на него слишком глубокое впечатление. Сомневаться, боюсь, не приходится. Мы только что обнаружили его черную шляпу и рясу на той скале, над морем. Видимо, он бросился в море. Мне еще в пещере показалось, что, после всего произошедшего, у него стал просто безумный вид. Нам следовало бы позаботиться о нем. Однако у нас было столько других забот...

— Вы ничего бы не смогли сделать, — произнесла леди Диана. — Разве вы не понимаете: это злой рок, который действует с неумолимой последовательностью? Профессор дотронулся до креста и стал первым. Викарий открыл гробницу и стал вторым. Мы только вошли в гробницу и будем...

— Довольно! — сказал отец Браун тем резким тоном, каким говорил крайне редко. — Прекратите сейчас же!

Его лицо еще хранило выражение глубокого раздумья, но в глазах уже не было неразгаданной тайны. Пелена спала, они светились, ибо он понял все.

— Какой же я глупец, — бормотал он. — Я должен был понять гораздо раньше. Легенда могла мне все открыть...

— Вы полагаете, — настойчиво перебил Таррент, — что нас ждет гибель от того, что случилось в тринадцатом веке?

Отец Браун покачал головой и ответил спокойно и твердо.

— Я не собираюсь обсуждать, — сказал он, — может или не может принести гибель то, что случилось в тринадцатом веке. Но, я уверен, то, что не случилось в тринадцатом веке, вообще никогда не случилось, убить не может.

— Свежие веяния, — удивленно заметил Таррент. — Священник сомневается в сверхъестественном.

— Совсем нет, — спокойно ответил отец Браун. — Мои сомнения касаются не сверхъестественного, а естественного. Я полностью согласен с человеком, который сказал: «Я могу поверить в невозможное, но не в невероятное».

— Это и есть то, что вы называете парадоксом? — спросил Таррент.

— Это то, что я называю здравым смыслом, — ответил священник. — Гораздо естественнее поверить в то, что за пределами нашего разума, чем в то, что не переходит этих пределов, а просто противоречит ему. Если вы скажете мне, что великого Гладстона в его смертный час преследовал призрак Парнела, я предпочту быть агностиком и не скажу ни да, ни нет. Но если вы будете уверять меня, что Гладстон на первом приеме у королевы Виктории не снял шляпы, похлопал королеву по спине и предложил ей сигару, я буду решительно возражать. Я не скажу, что это невозможно; я скажу, что это невероятно. Я уверен в том, что этого не было, тверже, чем в том, что не было призрака, ибо здесь нарушены законы того мира, который я понимаю. Так и с легендой о проклятии. Я сомневаюсь не в сверхъестественном, а в самой этой истории.

Леди Диана несколько оправилась от пророческого транса Кассандры, и неистощимое любопытство ко всему новому вновь заиграло в ее ярких больших глазах.

— Какой вы интересный человек! — воскликнула она. — Почему вы не верите в эту историю?

— Я не верю в нее, потому что она противоречит Истории, — отвечал отец Браун. — Для каждого, кто хоть немного знаком со Средними веками, она так же невероятна, как рассказ о Гладстоне, предлагающем сигару королеве. Но кто у нас знает Средние века? Вы знаете, что такое гильдия? Вы слыхали когда-нибудь о «*Salvo managio suo*»?¹ Вы знаете, кто такие «*servi regis*»?²

— Конечно нет, — сказала леди с явным неудовольствием. — Сколько латинских слов!

— Да, да, конечно, — согласился отец Браун. — Вот если бы дело касалось Тутанхамона или иссохших африканцев, невесть почему сохранившихся на другом конце света; если бы это был Вавилон, или Китай, или какая-нибудь раса, столь же далекая и таинственная, как «лунный человек», — вот тогда ваши газеты поведали бы об этом все, вплоть до зубной щетки или запонки. Но о людях, которые построили ваши приходские храмы, дали названия вашим городам и ремеслам, даже дорогам, по которым вы ходите, — о них вам никогда не хотелось что-либо узнать. Я не говорю, что сам знаю много, но я знаю достаточно для того, чтобы понять: вся история, рассказанная в легенде, — чушь от начала и до конца. Отнимать за долги мастерскую и инструмент ремесленника запрещал закон. Да и вообще невероятно, чтобы гильдия не спасла своего члена от крайнего разорения, особенно если его довел до этого еврей. У людей Средних веков были свои

¹ За исключением инструмента (*лат.*).

² Слуги короля (*лат.*).

пороки и свои трагедии. Иногда они мучили и сжигали друг друга. Но образ человека, лишённого Бога и надежды в этом мире, человека, ползущего как червь навстречу смерти, потому что никому нет дела, существует он или нет, — это не образ средневекового сознания. Это продукт нашей научной экономической системы и нашего прогресса. Еврей не мог быть вассалом феодала. У евреев, как правило, был особый статус «слуг короля». Кроме того, невероятно, чтобы еврея сожгли за его веру.

— Парадоксы накапливаются, — заметил Таррент, — но вы не будете, конечно, отрицать, что евреев преследовали в Средние века?

— Ближе к истине, — сказал отец Браун, — что евреи были единственными, кого не преследовали в Средние века. Если бы кому-то захотелось сатирически изобразить средневековые нравы, неплохой иллюстрацией был бы рассказ о несчастном христианине, которого могли сжечь живьем за некоторые оплошности в рассуждении о вере, в то время как богатый еврей мог спокойно идти по улице, открыто хуля Христа и Божию Матерь. Теперь судите о том, что за рассказ предложен нам в легенде. Это не рассказ из истории Средних веков; это и не легенда о Средних веках. Ее сочинил человек, чьи представления почерпнуты из романов и газет. Мало того — он сочинил ее быстро, сразу.

Пассивные участники разговора, несколько обескураженные подобным экскурсом, гадали, почему священник придает всему этому такое значение. Но Таррент, чья профессия предусматривала умение распутывать клубок с разных концов, вдруг настожился.

— Вот как! — сказал он. — Быстро и сразу?

— Возможно, я преувеличил, — признал отец Браун, — лучше было бы сказать, что она составлена более поспешно и менее тщательно, чем весь остальной исключительно продуманный заговор. Заговорщик не предусмотрел, что детали средневековой истории возбуждают у кого-нибудь подозрения. И он был почти прав в своем расчете, как и во всех остальных расчетах.

— Чьи расчеты? Кто был прав? — с нетерпеливой страстностью потребовала ответа леди Диана. — О ком вы говорите? По-вашему, с нас мало всего пережитого? Вы хотите, чтобы мы насмерть испугались ваших «он» и «его»?

— Я говорю об убийце, — сказал отец Браун.

— О каком убийце? — резко спросила она. — Вы хотите сказать, что профессора кто-то убил?

— Однако, — хрипло проговорил Таррент, в упор глядя на священника, — мы не можем сказать «убил», не зная точно, что он умер.

— Убийца убил другого человека, не профессора, — печально произнес священник.

— Позвольте, кого же еще? — возразил собеседник.

— Он убил его преподобие Джона Уолтерса, викария из Далэма, — ответил отец Браун тоном человека, дающего официальную справку. — Ему необходимо было убить только этих двоих, потому что оба они владели редкостной реликвией. Убийца — своего рода мономан, одержимый этой манией.

— Все это довольно странно, — пробормотал Таррент. — О викарии мы тоже не можем сказать с уверенностью, что он мертв. Ведь мы не видели тела.

— Видели, — сказал отец Браун.

Воцарилось молчание, внезапное, как удар гонга. Благодаря тишине, подсознание леди Дианы, всегда весьма активное, породило догадку, и рыжая дама едва не вскрикнула.

— Именно это вы и видели, — пояснил священник. — Вы видели тело. Вы не видели его самого, живого, но вы несомненно видели тело. Вы внимательно рассматривали его при свете четырех больших свечей. Волны не били его о берег, как труп самоубийцы, оно лежало недвижно, как подобает Князю Церкви, в гробнице, высеченной еще до крестовых походов.

— Говоря проще, — сказал Таррент, — вы хотите уверить нас, что забальзамированное тело — на самом деле тело убитого?

Отец Браун немного помолчал, затем заговорил таким безразличным тоном, как будто речь шла о чем-то постороннем:

— Первое, что вызвало у меня особый интерес, это крест, вернее — то, на чем он держался. Естественно, что большинство из вас увидело лишь нитку бусинок, ведь это скорей по моей части, чем по вашей. Вы заметили, что она прямо под подбородком, на виду только несколько бусинок, как будто это очень короткое ожерелье. Однако бусинки, которые были видны, располагались особым образом: одна, потом промежуток, потом три подряд, промежуток, снова одна и так далее. Я с первого взгляда понял, что это четки-розарий с крестом в конце. Однако в этих четках пятьдесят бусинок и есть еще дополнительные бусинки. Естественно, я сразу же стал гадать, где остальные. Тогда я этого не разгадал, только потом я понял, куда ушла остальная длина. Нитка была несколько раз обернута вокруг деревянной стойки, поддерживавшей крышку гроба. Когда бедный профессор Смейл, ничего не подозревая, потянул за крест, стойка сместилась, и тяжелая каменная крышка ударила его по голове.

— Ну и ну! — сказал Таррент. — Клянусь святым Георгием, какая-то доля правды во всем этом есть. Однако и невероятный же случай!

— Когда я это понял, — продолжал отец Браун, — я смог более или менее восстановить все остальное. Прежде всего вспомним, что никаких сколько-нибудь авторитетных публикаций

о данной находке в солидной печати не было, кроме коротких сообщений о раскопках. Бедный старый Уолтерс был честный ученый. Он вскрыл склеп только для того, чтобы проверить, забальзамированы ли тела. Все остальное — просто слухи, которые нередко опережают или преувеличивают истинное открытие. На самом деле он лишь установил, что тело не забальзамировано, оно давно распалось в прах. Но когда он работал в подземной часовне, при свете одинокой свечи, свет ее в какой-то момент отбросил на стену другую тень, не его тень.

— О! — воскликнула леди Диана. — Я поняла! Вы хотите сказать, что мы видели убийцу, говорили и шутили с ним, позволили ему рассказать нам романтическую сказку и беспрепятственно исчезнуть.

— А свой маскарадный костюм он оставил на скале, — продолжил отец Браун. — Все это до ужаса просто. Этот человек опередил профессора на его пути к церкви и часовне, видимо, когда профессор задержался, беседуя с мрачным журналистом. Он напал на старого священника у пустого гроба и убил его. Затем переделался в одежду убитого, труп одел в мантию, найденную в гробе, и положил его туда, обернув четки вокруг установленной им стойки. Соорудив, таким образом, капкан для следующей жертвы, он вышел наружу и приветствовал нас с приятной любезностью сельского священника.

— Он подвергал себя большому риску, — заметил Таррент. — Кто-нибудь мог знать Уолтерса в лицо.

— Я считаю его полусумасшедшим, — согласился отец Браун, — но следует признать, что риск оправдался, ему удалось уйти.

— Я могу признать только, что он очень удачлив, — проворчал Таррент, — но кто же он такой, черт бы его побрал?

— Вы сами сказали, что он очень удачлив, и это касается не только бегства. Ведь кто он такой, мы тоже никогда не узнаем.

Отец Браун нахмурился, опустив глаза на стол, и продолжал:

— Он ходил вокруг профессора, угрожал много лет, но об одном он тщательно позаботился — о том, чтобы тайна его личности никогда не была раскрыта. До сих пор это ему удавалось. Впрочем, если бедный профессор поправится, а я на это надеюсь, то, по всей вероятности, мы еще услышим об этом человеке.

— Что же сделает профессор? — спросила леди Диана.

— Полагаю, прежде всего, — сказал Таррент, — пустит сыщиков, как собак, по следу этого дьявола. Я и сам не прочь поучаствовать в гонке.

— Мне кажется, — сказал отец Браун, улыбнувшись после долгой задумчивости, — я знаю, что ему следует сделать прежде всего.

— Что же? — спросила леди Диана с очаровательной нетерпеливостью.

— Ему следует,— сказал отец Браун, — попросить у всех вас прощения.

Не об этом, однако, говорил отец Браун некоторое время спустя, сидя у постели знаменитого археолога. Вернее, говорил не он, а профессор, который, приняв небольшую дозу стимулирующего лекарства, предпочитал использовать его для беседы со своим клерикальным другом. Отец Браун обладал способностью вызывать собеседника на откровенность собственным молчанием, и благодаря этому таланту профессор Смейл смог рассказать ему о многом таком, о чем вообще нелегко говорить, например, о болезненных видениях и кошмарах, столь частых при выздоровлении.

Когда после тяжелой травмы головы у больного восстанавливается сознание, оно нередко порождает странные вещи; а если при этом голова столь необычна и замечательна, как голова профессора Смейла, то даже аномалии рассудка подчас необыкновенно любопытны. Его видения были так же смелы и грандиозны, как то великое, но строгое и статичное искусство, которое он изучал. Он видел святых в треугольных и квадратных ореолах, темные лики на плоскости в тяжелом обрамлении золотых нимбов; орлов о двух головах; бородатых мужчин в высоких головных уборах с косами, как у женщин. Но как признавался он своему другу, все чаще и чаще в его воображении возникал иной, более простой образ. Тогда византийские образы блекли; золото, на фоне которого они проступали как бы из огня, тускнело, не оставалось ничего, кроме темной, голой, каменной стены со светящимся изображением рыбы, словно бы нарисованной пальцем, смоченным в фосфоресцирующей жидкости настоящих, глубоководных рыб. Ибо это был тот самый символ, который он увидел, подняв глаза, когда за поворотом темного коридора впервые услышал голос своего врага.

— Только теперь наконец,— сказал он, — мне кажется, я понял значение этого символа и этого голоса— то значение, которого я не понимал раньше. Должен ли я волноваться, если среди миллионов нормальных людей нашелся один маньяк, против которого все общество, но который бахвалится, что будет преследовать меня и даже убьет? Того, кто на темной стене катакомб начертал этот символ, преследовали иначе. Он был сумасшедший-одиночка. Общество нормальных людей объединилось не с тем, чтобы его спасти, но с тем, чтобы его погубить. Я тревожился, я размышлял и суетился, кто же он, мой преследователь. Таррент? Леонард Смит? Кто-нибудь другой? А что, если они все? Все пассажиры корабля, все пассажиры поезда, все жители деревни? Предположим, я знаю, что все они— мои потенциальные убийцы? Я был вправе ужа-

саться при мысли, что там, в глубинах подземелья — человек, который может меня убить. А если бы убийца находился не в подземелье, а наверху, обитал при дневном свете, владел всею землей, командовал всеми армиями и всеми народами? Если бы он мог заделать все отверстия в земле и выкурить меня из моей норы, и убить, как только я высуну нос на поверхность? Каково иметь дело с убийцей такого масштаба? Мир забыл про это, как он забыл о недавней войне.

— Да, — сказал отец Браун, — но война была. Рыба может снова оказаться под землей, а потом опять выйдет на поверхность. Как заметил святой Антоний Падуанский, только рыбы спасаются во время потопа.

ЧУДО «ПОЛУМЕСЯЦА»

«Полумесяц» был задуман столь же романтичным, в своем роде, как и его название; и события, которые в нем произошли, по-своему были тоже достаточно романтичны. Он был выражением того подлинного чувства, исторического и чуть ли не героического, какое прекрасно уживается с торгашеским духом в старейших городах восточного побережья Америки. Первоначально он представлял собой полукруглое здание классической архитектуры, поистине воскрешающее атмосферу XVIII века, когда аристократическое происхождение таких людей, как Вашингтон и Джефферсон, не только не мешало, но помогало им быть истыми республиканцами. Путешественники, встречаемые неизменным вопросом — что они думают о нашем городе, с особой осторожностью должны были отвечать на вопрос — что они думают о нашем «Полумесяце». Даже появившиеся со временем несообразности, нарушившие первоначальную гармонию оригинала, свидетельствовали о его жизнеспособности. На одном конце, то есть роге, «Полумесяца» крайние окна выходили на огороженный участок, что-то вроде помещичьего сада, где деревья и кусты располагались чинно, как в английском парке времен королевы Анны. И тут же за углом другие окна тех же самых комнат, или, вернее, номеров, упирались в глухую неприглядную стену громадного склада, имевшего отношение к некоей уродливой промышленности. Комнаты в этом конце «Полумесяца» были перестроены по унылому шаблону американских отелей, и вся эта часть дома вздымалась вверх, не достигая, правда, высоты соседнего склада, но во всяком случае достаточно высоко, чтобы в Лондоне ее окрестили небоскребом. Однако колоннада, которая шла по всему переднему фасаду, отличалась несколь-

ко пострадавшей от непогоды величием и наводила на мысль о том, что духи Отцов республики, возможно, еще разгуливают под ее сенью. Внутри же опрятные, блиставшие новизной номера были меблированы по последнему слову нью-йоркской моды, в особенности в северной оконечности здания, между аккуратным садом и глухой стеной. Это были, в сущности, миниатюрные квартирники, как бы мы выразились в Англии, состоявшие из гостиной, спальни и ванной комнаты и одинаковые, как ячейки улья. В одной из таких ячеек за письменным столом восседал знаменитый Уоррен Уинд; он разбирал письма и рассылал приказания с изумительной быстротой и четкостью. Сравнить его можно было лишь с упорядоченным смерчем.

Уоррен Уинд был маленький человечек с развевающимися седыми волосами и остроконечной бородкой, на вид хрупкий, но при этом бешено деятельный. У него были поразительные глаза, ярче звезд и притягательнее магнитов, и кто их раз видел, тот не скоро забывал. И вообще, как реформатор и организатор многих полезных начинаний он доказал, что не только глаза, но и все прочее в голове у него самого высшего качества. Ходили всевозможные легенды о той сверхъестественной быстроте, с какой он мог составить здравое суждение о чем угодно, в особенности о людях. Передавали, что он нашел себе жену (долго потом трудившуюся рядом с ним на общее благо), выбрав ее мгновенно из целого батальона женщин, одетых в одинаковое форменное платье и маршировавших мимо него во время какого-то официального торжества; по одной версии, это были девушки-скауты, по другой — женская полиция. Рассказывали еще о том, как трое бродяг, одинаково грязных и оборванных, явились к нему однажды за подаванием. Ни минуты не колеблясь, он одного послал в нервную клинику, другого определил в заведение для алкоголиков, а третьего взял к себе лакеем, и тот с успехом и не без выгоды нес свою службу в течение многих лет. Ходили, разумеется, и неизбежные анекдоты об его молниеносных суждениях и колких находчивых репликах в беседах с Рузвельтом, Генри Фордом, миссис Асквит и со всеми теми, с кем у американского общественного деятеля неминуемо бывают исторические встречи, хотя бы только на страницах газет. Благоговейного трепета в присутствии этих особ он, естественно, никогда не испытывал, а потому и теперь, в описываемый момент, он хладнокровно крутил свой центробежный бумажный смерч, хотя человек, стоявший перед ним, был почти столь же значителен, как и вышеупомянутые исторические деятели.

Сайлас Т. Вэндэм, миллионер и нефтяной магнат, был толстый мужчина с длинной желтой физиономией и иссиня-черными волосами; краски эти сейчас были не очень ясно различимы, так как он стоял против света, на фоне окна и белой стены склада, но тем не менее весьма зловещи. Его узкое элегантное пальто,

отделанное каракулем, было застегнуто на все пуговицы. На энергичное же лицо и сверкающие глаза Уинда падал яркий свет из другого окна, выходящего в сад, так как стул и письменный стол были обращены к этому окну. Хотя лицо филантропа и казалось озабоченным, озабоченность эта бесспорно не имела никакого отношения к миллионеру. Камердинер Уинда, то бишь его слуга, крупный сильный человек с прилизанными светлыми волосами, стоял сбоку от своего господина с пачкой писем в руке. Личный секретарь Уинда, опрятный рыжий молодой человек с умным острым лицом, уже держался за ручку двери, как бы на лету подхватив мысль хозяина или повинувшись его жесту. Комната, не только скромно, но даже аскетически обставленная, была почти пуста, — со свойственной ему педантичностью Уинд снял и весь верхний этаж, обратив его в кладовую; все его бумаги и имущество хранились там в ящиках и обвязанных веревками тюках.

— Уилсон, отдайте их дежурному по этажу, — приказал Уинд слуге, протягивая ему письма. — А потом принесите мне брошюру о ночных клубах Миннеаполиса, вы найдете ее в пакете под буквой «Г». Мне она понадобится через полчаса, а до тех пор меня не беспокойте. Так вот, мистер Вэндэм, предложение ваше представляется мне весьма многообещающим, но я не могу дать окончательного ответа, пока не ознакомлюсь с материалами. Я получу их завтра к вечеру и немедленно позвоню вам. Простите, что пока не могу высказаться определенно.

Мистер Вэндэм, очевидно, догадался, что его вежливо провожают, и по его болезненно-желтому мрачному лицу скользнуло подобие усмешки: он оценил иронию ситуации.

— Видимо, мне пора уходить, — сказал он.

— Спасибо, что заглянули, мистер Вэндэм, — любезно откликнулся Уинд. — Извините, что не провожаю вас, у меня тут дело, которое не терпит отлагательства. Феннер, — обратился он к секретарю, — проводите мистера Вэндэма до автомобиля и оставьте меня одного на полчаса. Мне надо кое-что обдумать самому. После этого вы мне понадобится.

Трое вышли вместе в коридор и притворили за собой дверь. Могучий слуга Уилсон направился к дежурному, а двое других повернули в противоположную сторону, к лифту, поскольку кабинет Уинда находился на четырнадцатом этаже. Не успели они отойти от двери и на ярд, как вдруг увидели, что коридор заполнен надвигающейся на них внушительной фигурой. Человек был высок и широкоплеч, его массивность особенно подчеркивал белый или очень светлый серый костюм, очень широкополая белая панاما и почти столь же широкий ореол почти столь же белых волос. В этом ореоле его лицо казалось сильным и благородным, как у римского императора, если не считать мальчишеской, даже младенческой яркости глаз и блаженной улыбки.

— У себя мистер Уоррен Уинд? — бодро осведомился он.

— Мистер Уоррен Уинд занят, — ответил Феннер. — Его нельзя беспокоить ни под каким видом. Если позволите, я его секретарь и могу передать любое поручение.

— Мистера Уоррена Уинда нет ни для папы римского, ни для коронованных особ, — проговорил нефтяной магнат с кислой усмешкой. — Мистер Уоррен Уинд чертовски привередлив. Я зашел вручить ему сущую безделицу — двадцать тысяч долларов... на определенных условиях, а он велел мне зайти в другой раз, как будто я мальчишка, который прибежит по первому зову.

— Прекрасно быть мальчишкой, — заметил незнакомец, — а еще прекраснее услышать зов. Я вот пришел передать ему зов, который он обязан услышать. Это зов великой, славной страны, там, на Западе, где выковывается истинный американец, пока вы тут все спите без просыпу. Вы только передайте ему, что Арт Олбойн из Оклахома-Сити явился обратиться к нему.

— Я повторяю: никому не велено входить, — резко возразил рыжий секретарь. — Он распорядился, чтобы никто не беспокоил его в течение получаса.

— Все вы тут на Востоке не любите, когда вас беспокоят, — возразил жизнерадостный мистер Олбойн, — но похоже, что на Западе подымается сильный ветер, и уж он-то вас побеспокоит. Ваш Уинд высчитывает, сколько денег пойдет на ту или другую затхлую религию, а я вам говорю: всякий проект, который не считается с новым движением Великого Духа в Техасе и Оклахоме, не считается с религией будущего.

— Как же! Знаем мы эти религии будущего, — презрительно проронил миллионер. — Я по ним прошелся частым гребнем. Запаршивели, как бродячие собаки. Была такая особа по имени София, ей бы зваться Сапфирой. Надувательство чистой воды. Привязывают нитки к столам и тамбуринам. Потом была еще компания, «Невидимая жизнь», — они утверждали, будто могут исчезать, когда захотят. И исчезли-таки, и сотни тысяч моих долларов вместе с ними. Знал я и Юпитера Иисуса из Денвера, виделся с ним несколько недель кряду, а он тоже оказался обыкновеннейшим жуликом. Был и пророк-патаговец, он давно уже дал тягу в свою Патагонию. Нет, с меня хватит — отныне я верю только тому, что вижу своими глазами. Кажется, это называется атеизмом.

— Да нет, вы меня не так поняли, — пылко запротестовал человек из Оклахомы. — Я, похоже, ничуть не меньше атеист, чем вы. В нашем движении никакой сверхъестественной или суеверной чепухи не водится, одна чистая наука. Единственно настоящая, правильная наука — это здоровье, а единственное настоящее, правильное здоровье — уметь дышать. Наполните ваши легкие просторным воздухом прерий, и вы сдуете ваши затхлые восточные города в океан. Вы

сдуете ваших великих мужей, как пух чертополоха. Вот чем мы занимаемся у себя на родине: мы дышим. Мы не молимся, мы дышим.

— Не сомневаюсь, — утомленно произнес секретарь. На его умном живом лице ясно проступала усталость. Однако он выслушал оба монолога с примечательным терпением и вежливостью (в опровержение легенд о нетерпении и наглости американцев).

— Никакой мистики, — продолжал Олбойн, — великое естественное явление природы. Оно и стоит за всеми мистическими домыслами. Для чего был нужен иудеям Бог? Для того чтобы вдохнуть в ноздри человека дыхание жизни. А мы в Оклахоме впиваем это дыхание собственными ноздрями. Само слово «дух» означает «дыхание». Жизнь, прогресс, пророчество — все сводится к одному: к дыханию.

— Некоторые сочтут, что все сводится к болтовне, — заметил Вэндэм, — но я рад, что вы хотя бы обошлись без религиозных фокусов.

На умном лице секретаря, особенно бледном по контрасту с рыжими волосами, промелькнуло какое-то странное выражение, похожее на затаенную горечь.

— А я вот не рад, — сказал он. — Но ничего не могу поделать. Вам, я вижу, доставляет удовольствие быть атеистом, поэтому вы можете верить во что хотите. А для меня... Видит Бог, я хотел бы, чтобы он существовал. Но его нет. Такое уж мое везение.

И вдруг у них мурашки побежали по коже: они осознали, что к их группе, топтавшейся перед кабинетом Уинда, неслышно и незаметно прибавился еще один человек. Давно ли этот четвертый стоял подле них, никто из увлеченных участников диспута сказать не мог, но вид у него был такой, будто он почтительно и даже робко дожидается возможности сказать что-то очень важное. Им, взбудораженным спором, показалось, что он возник из-под земли, внезапно и бесшумно, как гриб. Да он и имел вид большого черного гриба: коротенький, приземистый и неуклюжий, в нахлобученной на лоб большой черной шляпе. Сходство было бы еще полнее, если бы грибы имели обыкновение носить с собой потрепанные бесформенные зонтики.

Секретарь удивился еще и тому, что человек этот оказался священником. Но когда тот обратил к нему свое круглое лицо, выглядывающее из-под круглой шляпы, и простодушно спросил мистера Уоррена Уинда, Феннер ответил по-прежнему отрицательно и еще отрывистей, чем раньше.

Священник, однако, не сдался.

— Мне действительно очень нужно видеть мистера Уинда, — сказал он. — Как ни странно, это все, что мне нужно. Я не хочу говорить с ним. Я просто хочу убедиться, что он у себя и что его можно увидеть.

— А я вам говорю: он у себя, но видеть его нельзя, — проговорил Феннер с возрастающим раздражением. — Что это значит — «убедиться, что он у себя»? Ясно, он у себя. Мы оставили его там пять минут назад и с тех пор не отходим от двери.

— Хорошо, но я хочу убедиться, что с ним все благополучно, — упрямо продолжал священник.

— А в чем дело? — с досадой осведомился секретарь.

— Дело в том, что у меня есть важные, я бы сказал, веские причины сомневаться, все ли с ним благополучно.

— О Господи! — в бешенстве воскликнул Вэндэм. — Никак, опять суеверия!

— Я вижу, мне надо объяснить, — серьезно сказал священник. — Я чувствую, вы не разрешите мне даже в щелочку заглянуть, пока я всего не расскажу.

Он в раздумье помолчал, а затем продолжал, не обращая внимания на удивленные лица окружающих.

— Я шел по улице вдоль колоннады и вдруг увидел оборванца, вынырнувшего из-за угла на дальнем конце «Полумесяца». Тяжело топая по мостовой, он мчался навстречу мне. Я разглядел высокую костлявую фигуру и узнал знакомое лицо — лицо одного шального ирландца, которому я когда-то немного помог. Имени его я не назову. Завидев меня, он отшатнулся и крикнул: «Святые угодники, да это отец Браун! И напугали же вы меня! Надо же вас встретить как раз сегодня». Из этих слов я понял, что он учинил что-то скверное. Впрочем, он не очень струхнул при виде меня, потому что тут же разговорился. И странную он рассказал мне историю. Он спросил, знаком ли мне некий Уоррен Уинд, и я ответил, что нет, хотя и знал, что тот занимает верх этого дома. И он сказал: «Уинд воображает себя Господом Богом, но если б он слышал, что я так про него говорю, он бы взял и повесился». И он повторил истерическим голосом несколько раз: «Да, взял бы и повесился». Я спросил его, не сделал ли он чего худого Уинду, и он дал очень заковыристый ответ. Он сказал: «Я взял пистолет и зарядил его не дробью и не пулей, а проклятьем». Насколько я понял, он всего лишь пробежал по переулку между этим зданием и стеной склада, держа в руке старый пистолет с холостым зарядом, и выстрелил в стенку, точно это могло обрушить дом. «Но при этом, — добавил он, — я проклял его страшным проклятием и пожелал, чтоб адская месть схватила его за ноги, а правосудие Божие — за волосы, и разорвали его надвое, как Иуду, чтоб духу его на земле больше не было». Не важно, о чем еще я говорил с этим несчастным сумасшедшим; он ушел в более умиротворенном состоянии, а я обогнул дом, чтобы проверить его рассказ. И что же вы думаете — в переулке под стеной валялся ржавый старинный пистолет. Я достаточно разбираюсь в огнестрельном оружии, чтобы понять, что пистолет был заряжен лишь малой толикой пороха: на стене

виднелись черные пятна пороха и дыма и даже кружок от дула, но ни малейшей отметины от пули. Он не оставил ни единого следа разрушения, ни единого следа вообще, кроме черных пятен и черного проклятия, брошенного в небо. И вот я явился сюда узнать, все ли в порядке с Уорреном Уиндом.

Феннер усмехнулся.

— Могу вас успокоить, он в полном порядке. Всего несколько минут назад мы оставили его в кабинете, — он сидел за столом и писал. Он был абсолютно один, его комната — на высоте ста футов над улицей и расположена так, что никакой выстрел туда не достанет, даже если бы ваш знакомый стрелял не холостыми. Имеется только один вход в комнату — вот этот, а мы не отходили от двери ни на минуту.

— И все-таки, — серьезно произнес отец Браун, — я хотел бы зайти и взглянуть на него своими глазами.

— Но вы не зайдете, — отрезал секретарь. — Господи, неужели вы и впрямь придаете значение проклятиям!

— Вы забываете, — насмешливо сказал миллионер, — что занятие преподобного джентльмена — раздавать благословения и проклятия. За чем же дело, сэр? Если его упекли с помощью проклятия в ад, почему бы вам не вызволить его оттуда с помощью благословения? Что проку от ваших благословений, если они не могут одолеть проклятия какого-то ирландского проходимца?

— Кто же нынче верит в подобные вещи? — запротестовал пришелец с Запада.

— Отец Браун, я думаю, много во что верит, — не отставал Вэндэм, у которого выиграла желчь от недавней обиды и от теперешних пререканий. — Отец Браун верит, что отшельник переплыл реку на крокодиле, выманив его заклинаниями неизвестно откуда, а потом повелел крокодилу сдохнуть, и тот послушно сдох. Отец Браун верит, что какой-то святой угодник преставился, а после смерти утроился, дабы осчастливить три прихода, возмнившие себя местом его рождения. Отец Браун верит, будто один святой повесил плащ на солнечный луч, а другой переплыл на плаще Атлантический океан. Отец Браун верит, что у святого осла было шесть ног и что дом в Лорето летал по воздуху. Он верит, что сотни каменных дев могли плакать и сетовать дни напролет. Ему ничего не стоит поверить, будто человек исчез через дверную скважину или испарился из запертой комнаты. Надо полагать, он не слишком-то считается с законами природы.

— Зато я обязан считаться с законами Уоррена Уинда, — устало заметил секретарь, — а в его правила входит оставаться одному, когда он пожелает. Уилсон скажет вам то же самое. — Рослый слуга, посланный за брошюрой, как раз в этот момент невозмутимо шел по коридору с брошюрой в руках. — Уилсон

сядет на скамью рядом с коридорным и будет сидеть, пока его не позовут, и тогда только войдет в кабинет, но не раньше. Как и я. Мы с ним прекрасно понимаем, чей хлеб едим, и сотни святых и ангелов отца Брауна не заставят нас забыть об этом.

— Что касается святых и ангелов... — начал священник.

— То все это чепуха, — закончил за него Феннер. — Не хочу сказать ничего обидного, но такие фокусы хороши для часовен, склепов и тому подобных диковинных мест. Сквозь дверь американского отеля духи проникнуть не могут.

— Но люди могут открыть даже дверь американского отеля, — терпеливо возразил отец Браун. — И по-моему, самое простое — открыть ее.

— И проще простого потерять свое место, — отпарировал секретарь. — Уоррен Уинд не станет держать в секретарях таких простаков. Во всяком случае, простаков, верящих в сказки, в которые верите вы.

— Ну что ж, — серьезно сказал священник, — это правда, я верю во многое, во что вы, вероятно, не верите. Но мне пришлось бы долго перечислять это и доказывать, что я прав. Открыть же дверь и доказать, что я не прав, займет не больше двух секунд.

Сказанное, очевидно, нашло отклик в азартной и мятежной душе пришельца с Запада.

— Признаюся, я не прочь доказать, что вы неправы, — произнес Олбойн, решительно шагнув к двери, — и докажу.

Он распахнул дверь и заглянул в комнату. С первого же взгляда он убедился, что Уоррена Уинда нет за столом. Со второго взгляда он убедился, что его и вообще нет в комнате.

Феннер, словно наэлектризованный, вдруг тоже кинулся вперед.

— Уинд в спальне, — отрывисто бросил он, — больше ему негде быть. — И он исчез в глубине номера.

Все застыли в пустом кабинете, озираясь кругом. Их глазам предстала суровая, вызывающе аскетическая простота мебелировки, уже отмеченная ранее. Бесспорно, в комнате и мыши негде было спрятаться, не то что человеку. В ней не было драпировок и, что редкость в американских гостиницах, не было шкафов. Даже письменный стол был обыкновенной конторкой с накладным верхом и плоским ящиком. Стулья тут стояли жесткие, с высокой спинкой, прямые, как скелеты. Мгновение спустя из недр квартиры возник секретарь, обыскавший две другие комнаты. Ответ можно было ясно прочесть по его глазам, но губы его шевельнулись механически, сами по себе, и он резко, как бы утверждая, спросил:

— Он не появлялся?

Остальные словно не нашли нужным подтвердить это утверждение. Разум их будто натолкнулся на глухую стену, по-

добную той, которая глядела в окно и постепенно, по мере того, как медленно надвигался вечер, превращалась из белой в серую.

Вэндэм подошел к подоконнику, у которого стоял полчаса назад, и выглянул в открытое окно. Ни трубы, ни пожарной лестницы, ни выступа не было на стене, отвесно спускавшейся вниз в улочку, не было их и на стене, вздымавшейся над окном на несколько этажей вверх. Еще меньше разнообразия было по другую сторону улицы — сплошная унылая пустыня беленой стены склада. Вэндэм заглянул вниз, словно ожидая увидеть останки исчезнувшего филантропа, но на мостовой он разглядел лишь небольшое темное пятно — по всей вероятности, уменьшенный расстоянием пистолет. Тем временем Феннер подошел к другому окну и стене, в равной степени глухой и неприступной, глядевшему уже не на боковую улицу, а в небольшой декоративный сад. Группа деревьев мешала как следует осмотреть местность, но деревья эти оставались где-то далеко внизу, у основания жилой громады. И Вэндэм и секретарь отвернулись от окна и уставились друг на друга; в сгущающихся сумерках на полированных крышках столов и конторок быстро тускнели последние отблески солнечного света. Феннер повернул выключатель, как будто даже сумерки раздражали его, и комната, озаренная электрическим светом, внезапно обрела четкие очертания.

— Как вы недавно изволили заметить, — угрюмо произнес Вэндэм, — никаким выстрелом снизу его не достать, будь даже пистолет заряжен. Но если бы в него и попала пуля, не мог же он просто лопнуть, как мыльный пузырь.

Секретарь, еще более бледный, чем обычно, досадливо взглянул на желчную физиономию миллионера.

— Откуда это у вас такие гробовые настроения? При чем тут пули и пузыри? Почему бы ему не быть в живых?

— Действительно, почему? — ровным голосом переспросил Вэндэм. — Скажите мне, где он, и я скажу вам, как он туда попал.

Поколебавшись, секретарь с кислым видом пробормотал:

— Пожалуй, вы правы. Как раз мы и напоролись на то, о чем спорили. Будет забавно, если вы или я вдруг придем к мысли, что проклятие что-то да значит. Но кто мог добраться до Уинда, замурованного тут, наверху?..

Мистер Олбойн из Оклахомы до этого момента стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, и казалось, что и белый ореол вокруг его головы и круглые глаза излучают изумление. Теперь он сказал рассеянно, с безответственной дерзостью балованного ребенка:

— Похоже, вы не очень-то его долюбливали, а, мистер Вэндэм?

Длинное желтое лицо мистера Вэндэма еще больше помрачнело и оттого еще больше вытянулось, однако он улыбнулся и невозмутимо сказал:

— Что до совпадений, то если на то пошло, именно вы сказали, что ветер с Запада сдует наших великих мужей, как пух чертополоха.

— Говорить-то я говорил, — простодушно подтвердил мистер Олбойн, — но как это могло случиться, черт побери?

Последовавшее молчание нарушил Феннер, сказавший неожиданно и запальчиво, почти с иступлением:

— Одно только можно сказать: этого просто не было. Не могло этого быть.

— Нет, нет, — донесся вдруг из угла голос отца Брауна, — это именно было.

Все вздрогнули. По правде говоря, они начисто забыли о незаметном человечке, который подбил их открыть дверь. Теперь же, вспомнив, сразу переменили свое отношение к нему. На них нахлынуло раскаяние: они пренебрежительно сочли его суеверным фантазером, когда он позволил себе только намекнуть на то, в чем теперь они убедились собственными глазами.

— Ах, черт! — выпалил импульсивный уроженец Запада, привыкший, видимо, говорить все, что думает. — А может, тут и в самом деле что-то есть?

— Должен признать, — проговорил Феннер, хмуро уставясь в стол, — предчувствия его преподобия, видимо, были хорошо обоснованы. Интересно, что он еще скажет нам по этому поводу?

— Он скажет, может быть, — ядовито заметил Вэндэм, — что нам делать дальше, черт возьми!

Маленький священник, казалось, отнесся к сложившейся ситуации скромно, по-деловому.

— Единственное, что я могу придумать, — сказал он, — это сперва поставить в известность владельца отеля, а потом поискать следы моего знакомого с пистолетом. Он исчез за тем углом «Полумесяца», где сад. Там есть скамейки, облюбованные бродягами.

Переговоры с администрацией отеля, приведшие к окольным переговорам с полицейскими властями, отняли довольно много времени, и когда они вышли под своды длинной классической колоннады, уже наступила ночь. «Полумесяц» выглядел таким же холодным и ущербным, как и его небесный тезка; сияющий, но призрачный, тот как раз подымался из-за черных верхушек деревьев, когда четверо завернули за угол и очутились у небольшого сада. Ночь скрыла все искусственное, городское, что было в саду, и когда они зашли вглубь, слившись с тенями деревьев, им почудилось, будто они вдруг перенеслись за сотни миль отсюда. Некоторое время они шли молча, но вдруг Олбойн, натура более непосредственная, не выдержал.

— Сдаюсь,— воскликнул он , — пасую. Вот уж не думал, что когда-нибудь наскочу на этакое. Но что поделаешь, если оно само на тебя наскочит! Прошу простить меня, отец Браун, перехожу на вашу сторону. Отныне я руками и ногами за сказки. Вот вы, мистер Вэндэм, объявили себя атеистом и верите только в то, что видите. Так что же вы видите? Вернее, чего же вы не видите?

— Вот и м е н н о . — Вэндэм угрюмо кивнул.

— Бросьте, это просто луна и деревья действуют вам на нервы,— упорствовал Феннер . — Деревья в лунном свете всегда кажутся диковинными, ветки торчат как-то странно. Поглядите, например, на эту...

— Д а , — сказал отец Браун, останавливаясь и всматриваясь вверх сквозь путаницу ветвей. — В самом деле очень странная ветка . — Помолчав, он добавил: — Она как будто сломана.

На этот раз в его голосе послышалась нотка, от которой слушатели безотчетно похолодели. Действительно, с дерева, вырисовывавшегося черным силуэтом на фоне лунного неба, безвольно свисало нечто, казавшееся сухой веткой. Но это не была сухая ветка. Когда они подошли ближе, Феннер, громко выругавшись, отскочил в сторону. Затем снова подбежал и снял петлю с шеи жалкого, поникшего человечка, с головы которого перьями свисали седые волосы. Еще до того как он с трудом спустил тело с дерева, он уже знал, что снимает мертвеца. Ствол был обмотан десятками футов деревки, и лишь сравнительно короткий отрезок ее шел от ветки к телу. Большая садовая бочка откатилась на ярд от ног трупа, как стул, вышибленный ногами самоубийцы.

— Господи, помилуй! — прошептал Олбойн, и не понять было — молитва это или божба . — Как там сказал этот тип? «Если бы он слышал, он бы взял и повесился»? Так он сказал, отец Браун?

— Т а к , — ответил священник.

— Да,— глухо выговорил Вэндэм . — Мне никогда и не снилось, что я увижу или признаю что-нибудь подобное. Но что тут еще добавить? Проклятие осуществилось.

Феннер стоял, закрыв ладонями лицо. Священник дотронулся до его руки.

— Вы были очень привязаны к нему?

Секретарь отнял руки; его бледное лицо в лунном свете казалось мертвым.

— Я ненавидел его всей душой,— ответил он , — и если его убило проклятие, уж не мое ли?

Священник крепче сжал его локоть и сказал с жаром, какого до того не выказывал:

— Пожалуйста, успокойтесь, вы тут ни при чем.

Полиции пришлось нелегко, когда дошло до опроса четырех свидетелей, замешанных в этом деле. Все четверо пользовались

уважением и заслуживали полного доверия, а один, Сайлас Вэндэм, директор нефтяного треста, обладал еще к тому же авторитетом и властью. Первый же полицейский чин, попытавшийся выразить недоверие к услышанному, мгновенно вызвал на себя гром и молнии со стороны грозного магната.

— Не смейте мне говорить, чтобы я держался фактов, — обрезал его миллионер. — Я держался фактов, когда вас еще и на свете не было, а теперь факты сами держатся за меня. Я вам излагаю факты, лишь бы у вас хватило ума правильно их записать.

Упомянутый полицейский был молод летами и в небольших чинах, и ему смутно представлялось, что миллионер — фигура настолько государственная, что с ним нельзя обращаться, как с рядовым гражданином. Поэтому он передал магната и его спутников в руки своего более закаленного начальника, некоего инспектора Коллинза, седеющего человека, усвоившего грубовато-успокаивающий тон; он словно заявлял своим видом, что он добродушен, но вздора не потерпит.

— Так, т а к, — проговорил он, глядя на троих свидетелей весело поблескивающими глазами, — странная выходит история.

Отец Браун уже вернулся к своим повседневным обязанностям, но Сайлас Вэндэм соблаговолит отложить исполнение ответственных обязанностей нефтяного заправила еще на час или около того, дабы дать показания о своих потрясающих впечатлениях. Обязанности Феннера как секретаря фактически прекратились со смертью патрона; что же касается великолепного Арта Олбойна, то поскольку ни в Нью-Йорке, ни в другом каком месте у него не было иных обязанностей, кроме как сеять религию Дыхания Жизни или Великого Духа, ничто не отвлекало его в настоящий момент от выполнения гражданского долга. Вот почему все трое выстроились в кабинете инспектора, готовые подтвердить показания друг друга.

— Пожалуй, для начала скажу вам сразу, — бодро заявил инспектор, — бесполезно морочить мне голову всякой мистической дребеденью. Я человек практический, я полицейский. Оставим эти штуки для священников и всяких там служителей храмов. Этот ваш отец взвинул вас всех рассказами про страшную смерть и Страшный суд, но я намерен целиком исключить из этого дела и его, и его религию. Если Уинд вышел из комнаты, значит, кто-то его оттуда выпустил. И если Уинд висел на дереве, значит, кто-то его повесил.

— Совершенно верно, — сказал Феннер. — Но поскольку все мы свидетели, что никто его не выпускал, то весь вопрос в том, как же его ухитрились повесить.

— А как ухитрятся нос вырасти на лице? — спросил инспектор. — На лице у него вырос нос, а на шее оказалась петля. Таковы факты, а я, повторяю, человек практический и руководст-

вуюсь фактами. Чудес на свете не бывает. Значит, это кто-то сделал.

Олбойн держался на заднем плане, его крупная широкая фигура составляла естественный фон для его более худощавых и подвижных спутников. Он стоял, склонив свою белую голову, с несколько отсутствующим видом, но при последних словах инспектора вскинул ее, по-львиному потрянул седой гривой и окончательно очнулся, хотя и сохранил ошеломленное выражение. Он вдвинулся в середину группы, и у всех возникло смутное ощущение, будто он стал еще более громоздким, чем раньше. Они слишком поспешно сочли его дураком или фигляром, однако он был не так уж глуп, утверждая, что в нем таится скрытая сила, как у западного ветра, который копит свою мощь, чтобы однажды смести всякую мелочь.

— Стало быть, мистер Коллинз, вы человек практический. — Голос его прозвучал одновременно и мягко, и с нажимом. — Вы, кажется, два или три раза за свою короткую речь упомянули, что вы человек практический, так что ошибиться трудно. Что ж, весьма примечательный факт для того, кто займется вашей биографией, описав вашу ученость и застольные беседы с приложением портрета в возрасте пяти лет, дагерротипа бабушки и видов родного города. Надеюсь, ваш биограф не забудет упомянуть, что у вас был нос, как у мопса, и на нем прыщ и что вы были такой толстый, что из-за живота ног не видели. Ну, раз вы такой ходячий практик, может, вы допрактикуетесь до того, что оживите Уоррена Уинда и выясните доподлинно у него самого, как человек практически проникает сквозь дощатую дверь. Но мне сдается, вы ошибаетесь. Вы не ходячий практик, а ходячее недоумение, вот кто вы. Господь всемогущий хотел нас посмешить, когда придумал вас.

С присущей ему театральностью он плавным шагом двинулся к двери, прежде чем ошарашенный инспектор обрел дар речи, и никакие запоздалые возражения уже не могли отнять у Олбойна его торжества.

— По-моему, вы совершенно правы, — поддержал его Фернер. — Если таковы практические люди, мне подавайте священников.

Еще одна попытка установить официальную версию события была сделана, когда власти полностью осознали, кто свидетели этой истории и каковы вытекающие из нее последствия. Она уже просочилась в прессу в самой что ни на есть сенсационной и даже бесстыдно идеалистической форме. Многочисленные интервью с Вэндэмом по поводу его чудесного приключения, статьи об отце Брауне и его мистических предчувствиях вскоре побудили тех, кто призван направлять общественное мнение, направить его в более здоровое русло. В следующий раз нашли более околный и тактичный подход к неудобным свидетелям: при них как бы невзначай упомянули, что подобными аномальными происшеств-

виями интересуется профессор Вэр и этот поразительный случай привлек его внимание. Профессор Вэр, весьма выдающийся психолог, особое пристрастие питал к криминологии, и только спустя некоторое время они обнаружили, что он самым тесным образом связан с полицией.

Профессор Вэр оказался обходительным джентльменом, одетым в спокойные светло-серые тона, в артистическом галстуке и со светлой заостренной бородкой — любой, не знакомый с таким типом ученого, принял бы его скорее за пейзажиста. Манеры его создавали впечатление не только обходительности, но и искренности.

— Да, да, понимаю, — улыбнулся он. — Могу догадаться, что вам пришлось испытать. Полиция не блещет умом при расследовании психологического свойства, не правда ли? Разумеется, старина Коллинз заявил, что ему нужны только факты. Какое нелепое заблуждение! В деле подобного рода требуются не только факты, гораздо существеннее игра воображения.

— По-вашему, — угрожающе проговорил Вэндэм, — все, что мы считаем фактами, лишь игра воображения?

— Ничуть не бывало, — возразил профессор. — Я просто хочу сказать, что полиция глупо поступает, исключая в таких делах психологический момент. Конечно же, психологический элемент — главное из главных, хотя у нас это только начинают понимать. Возьмите, к примеру, элемент, называемый индивидуальностью. Я, надо сказать, и раньше слышал об этом священнике Брауне, он один из самых замечательных людей нашего времени. Людей, подобных ему, окружает особая атмосфера, и никто не может сказать, насколько нервы и разум других людей попадают под ее временное влияние. Гипнотизм незаметно присутствует в каждодневном человеческом общении, люди оказываются загипнотизированными, когда гипноз достигает определенной степени. Не обязательно гипнотизировать с помоста, в публичном собрании, во фраке. Религия Брауна знает толк в психологическом воздействии атмосферы и умеет воздействовать на весь организм в целом, даже на обоняние, например. Она понимает значение всяческих любопытных влияний, производимых музыкой на животных и людей, она может...

— Да бросьте вы, — огрызнулся Феннер, — что же, по-вашему, он прошел по коридору с церковным органом под мышкой?

— О нет, ему нет нужды прибегать к таким штукам, — засмеялся профессор. — Он умеет сконцентрировать сущность всех этих спиритуалистических звуков и даже запахов в немногих скупых жестах искусно, как в школе хороших манер. Он может умудриться так сосредоточить ваш разум на сверхъестественном одним только фактом своего присутствия, что естественные

обстоятельства ускользнут от вашего внимания незамеченными. Как сейчас известно, — продолжал он, возвращаясь к весоному здравому смыслу, — чем больше мы изучаем проблему человеческой наблюдательности, тем непонятнее она становится. Редко, когда один из двадцати вообще способен наблюдать. Редко, когда один из сотни обладает даром точного наблюдения. И не найдется одного на сотню, кто бы все заметил, запомнил, а потом сумел описать. Без конца ставятся научные эксперименты, показывающие, что люди, чьи нервы перенапряжены, сплошь и рядом считают, будто дверь закрыта, когда она открыта, или наоборот. Люди расходятся во мнении насчет количества дверей и окон перед их глазами. Они испытывают зрительные галлюцинации среди бела дня. С ними это случается даже без гипнотического влияния чужой индивидуальности, а тут мы имеем дело с очень сильной, обладающей даром убеждения индивидуальностью, задавшей целью закрепить всего один образ в вашем мозгу: образ буйного ирландского бунтовщика, посылающего в небо проклятье и холостой выстрел, эхо которого обрушилось громом небесным.

— Профессор! — воскликнул Феннер. — Я бы на смертном одре мог поклясться, что дверь не открывалась.

— Последние эксперименты, — невозмутимо продолжал профессор, — наводят на мысль о том, что наше сознание не является непрерывным, а представляет собой последовательную цепочку быстро сменяющих друг друга впечатлений, как в кинематографе. Возможно, кто-то или что-то проскальзывает, так сказать, между кадрами. Кто-то или что-то действует только в тот миг, когда наступает затемнение. Вероятно, условный язык заклинаний и все виды ловкости рук построены как раз на этих, так сказать, вспышках слепоты между вспышками видения. Итак, этот священник и проповедник трансцендентных идей начинил вас трансцендентными образами, в частности образом кельта, подобно титану обрушившего башню своим проклятием. Возможно, он сопровождал это каким-нибудь незаметным, но властным жестом, направив ваши глаза и умы в сторону неизвестного убийцы, находящегося внизу. А может быть, в этот момент что-то еще произошло или кто-то еще прошел мимо.

— Уилсон, слуга, прошел по коридору, — пробурчал Олбойн, — и уселся ждать на скамье, но он вовсе не так уж нас и отвлек.

— Как раз об этом судить трудно, — возразил Вер. — Может быть, дело в этом эпизоде, а вероятнее всего, вы следили за каким-нибудь жестом священника, рассказывавшего свои небылицы. Как раз в одну из таких черных вспышек мистер Уоррен Уинд и выскользнул из комнаты и пошел навстречу своей смерти. Таково наиболее правдоподобное объяснение. Вот вам иллюст-

рация последнего открытия: сознание не есть непрерывная линия, а скорее пунктирная.

— Да уж, пунктирная... — проворчал Феннер. — Я бы сказал, одни черные промежутки.

— Ведь вы не верите в самом деле, — спросил Вер, — будто ваш патрон был заперт в комнате, как в камере?

— Лучше уж верить в это, чем считать, что меня надо запереть в комнату, которая выстегана изнутри, — возразил Феннер. — Вот что мне не нравится в ваших предположениях, профессор. Я скорее поверю священнику, который верит в чудо, чем разуверюсь в праве любого человека на доверие к факту. Священник мне говорит, что человек может воззвать к Богу, о котором мне ничего не известно, и тот отомстит за него по законам высшей справедливости, о которой мне тоже ничего не известно. Мне нечего возразить, кроме того, что я об этом ничего не знаю. Но если просьбу и выстрел ирландского бедняги услышали в горнем мире, этот горний мир вправе откликнуться столь странным, на наш взгляд, способом. Вы, однако, убеждаете меня не верить фактам нашего мира в том виде, в каком их воспринимают мои собственные пять органов чувств. По-вашему выходит, что целая процессия ирландцев с мушкетами могла промаршировать мимо, пока мы разговаривали, стоило им только ступить на слепые пятна нашего рассудка. Послушать вас, так простенькие чудеса святых, — скажем, материализация крокодилов или плащ, висящий на солнечном луче, — покажутся вполне здоровыми и естественными.

— Ах так! — довольно резко произнес профессор Вер. — Ну, раз вы твердо решились верить в вашего священника и в его сверхъестественного ирландца, я умолкаю. Вы, как видно, не имели возможности познакомиться с психологией.

— Именно, — сухо ответил Феннер, — но зато я имел возможность познакомиться с психологами.

И, вежливо поклонившись, он вывел свою делегацию из комнаты. Он молчал, пока они не очутились на улице, но тут разразился бурной речью.

— Психологи несчастные! — вне себя закричал он. — Сообщают они или нет, куда покатится мир, если никто не будет верить собственным глазам? Хотел бы я прострелить его дурацкую башку, а потом объяснить, что сделал это в слепой момент. Может, чудо у отца Брауна и сверхъестественное, но он обещал, что оно произойдет, и оно произошло. А все эти чертовы маньяки... увидят что-нибудь, а потом говорят, будто этого не было. Послушайте, мне кажется, мы просто обязаны довести до всеобщего сведения тот небольшой урок, который он нам преподавал. Мы с вами нормальные, трезво мыслящие люди, никогда ни во что не верили. Мы не были тогда пьяны, не были объаты религиозным экстазом. Просто все случилось так, как он предсказал.

— Совершенно с вами согласен, — отозвался миллионер. — Возможно, это начало великой эпохи в сфере религии. Как бы то ни было, отец Браун, принадлежавший именно к этой сфере, несомненно оставит в ней большой след.

Несколько дней спустя отец Браун получил очень вежливую записку, подписанную Сайласом Т. Вэндэмом, где его приглашали в назначенный час явиться на место исчезновения, чтобы засвидетельствовать это непостижимое происшествие. Само происшествие, стоило ему только проникнуть в газеты, было повсюду подхвачено энтузиастами оккультизма. По дороге к «Полумесяцу» отец Браун видел броские объявления, гласившие: «Самобийца нашелся», «Проклятие убивает филантропа». Поднявшись в лифте, он нашел всех в сборе: Вэндэма, Олбойна и секретаря. И сразу заметил, что тон их по отношению к нему стал совсем иным, почтительным и даже благоговейным. Когда он вошел, они стояли у стола Уинда, где лежали большой лист бумаги и письменные принадлежности. Они обернулись, приветствуя его.

— Отец Браун, — сказал выделенный для этой цели оратор, седовласый пришелец с Запада, несколько повзрослевший от сознания ответственности своей р о л и, — мы пригласили вас сюда прежде всего, чтобы принести вам наши извинения и нашу благодарность. Мы признаем, что именно вы первый угадали знак небес. Мы все показали себя твердокаменными скептиками, все без исключения, но теперь мы поняли, что человек должен пробить эту каменную скорлупу, чтобы постичь великие тайны, скрытые от нашего мира. Вы стоите за эти тайны, вы стоите за сверхобыденные объяснения явлений, и мы признаем ваше превосходство над нами. Кроме того, мы считаем, что этот документ будет неполным без вашей подписи. Мы передаем точные факты в Общество спиритических исследований, потому что сведения в газетах никак не назовешь точными. Мы описали, как на улице было произнесено проклятие, как человек, находившийся в закупоренной со всех сторон комнате, в результате проклятия растворился в воздухе, а потом непостижимым образом материализовался в труп вздернувшего себя самоубийцы. Вот все, что мы можем сказать об этой истории, но мы это знаем, это мы видели своими глазами. А так как вы первый поверили в чудо, то мы считаем, что вы первый и должны подписать этот документ.

— Право, я совсем не уверен, что мне хочется это д е л а т ь, — в замешательстве запротестовал отец Браун.

— Вы хотите сказать, подписаться первым?

— Нет, я хочу сказать, вообще подписываться, — скромно ответил отец Браун. — Видите ли, человеку моей профессии не очень-то пристало заниматься мистификациями.

— Как, но ведь именно вы назвали чудом все, что произошло! — воскликнул Олбойн, вытаращив глаза.

— Простите,— твердо сказал отец Браун, — тут, боюсь, какое-то недоразумение. Не думаю, чтобы я назвал это чудом. Я только сказал, что это может случиться. Вы же утверждали, что не может, иначе это было бы чудом. Но это случилось. И тогда вы заговорили о чуде. Я от начала до конца ни слова не сказал ни про чудеса, ни про магию, ни про что иное в этом роде.

— А я думал, что вы верите в чудеса, — не выдержал секретарь.

— Да,— ответил отец Браун, — я верю в чудеса. Я верю и в тигров-людоедов, но они мне не мерещатся на каждом шагу. Если мне нужны чудеса, я знаю, где их искать.

— Не понимаю я этой вашей точки зрения! — горячо вступился Вэндэм. — В ней есть узость, а в вас, мне кажется, ее нет, хоть вы и священник. Да разве вы не видите, ведь этокое чудо перевернет весь материализм вверх тормашками! Оно громогласно объявит всему миру, что потусторонние силы могут действовать и действуют. Вы послужите религии, как ни один священник до вас.

Отец Браун чуть-чуть выпрямился, и вся его коротенькая нелепая фигурка исполнилась бессознательного достоинства, к которому не примешивалось ни капли самодовольства.

— Я не совсем точно понимаю, что вы разумеете этой фразой, и, говоря откровенно, не уверен, что вы сами хорошо понимаете. Вы же не захотите, чтобы я послужил религии с помощью заведомой лжи? Вполне вероятно, ложью можно послужить религии, но я твердо уверен, что Богу ложью не послужишь. И раз уж вы так настойчиво толкуете о том, во что я верю, неплохо было бы иметь хоть какое-нибудь представление об этом, правда?

— Я что-то не совсем понимаю в а с , — обиженно заметил миллионер.

— Я так и думал,— просто ответил отец Браун. — Вы говорите, что преступление совершили потусторонние силы. Какие потусторонние силы? Не думаете же вы, будто ангелы Господни взяли и повесили его на дереве? Что же касается демонов, то... Нет-нет. Люди, сделавшие это, поступили безнравственно, но дальше собственной безнравственности они не пошли. Они недостаточно безнравственны, чтобы прибегать к помощи адских сил. Я кое-что знаю о сатанизме, вынужден знать. Я знаю, что это такое. Поклонник дьявола горд и хитер; он любит властвовать и пугать невинных непонятным; он хочет, чтобы у детей мороз подирал по коже. Вот почему сатанизм — это тайны, и посвящения, и тайные общества, и все такое прочее. Сатанист видит лишь самого себя, а каким бы великолепным и важным он ни казался, внутри него всегда прячется гадкая, безумная усмешечка. — Священник внезапно передернулся, как будто прохваченный ледяным ветром. — Полно, они не имели

к сатанизму ни малейшего отношения. Неужели вы думаете, что моему жалкому, сумасшедшему ирландцу, который бежал сломя голову по улице, а потом, увидев меня, со страху выболтал половину секрета и, боясь выболтать остальное, удрал прочь, — неужели вы думаете, что сатана поверяет ему свои тайны? Я допускаю, что он участвовал в сговоре с еще двумя людьми, вероятно — худшими, чем он. Но когда, пробегая переулком, он выстрелил из пистолета и прокричал проклятие, он просто не помнил себя от злости.

— Но что же значит вся эта чертовщина? — с досадой спросил Вэндэм. — Игрушечный пистолет и бессмысленное проклятие не могут сделать того, что они сделали, если только тут нет чуда. Уинд от этого не исчез бы, как эльф. И не возник бы за четверть мили отсюда с веревкой на шее.

— Именно, — резко сказал отец Браун, — но что они могут сделать?

— Опять я не понимаю вас, — мрачно проговорил миллионер.

— Я говорю: что они могут сделать? — повторил священник, впервые выходя из себя. — Вы твердите, что холостой выстрел не сделает того и не сделает другого, что, будь это все так, убийства не случилось бы или чуда не произошло бы. Вам, видно, не приходит в голову спросить себя: а что случилось бы? Как бы вы поступили, если бы у вас под окном маньяк выпалил ни с того ни с сего из пистолета? Как поступили бы вы прежде всего?

Вэндэм задумался.

— Должно быть, прежде всего я бы выглянул из окна, — ответил он.

— Да, — сказал отец Браун, — вы бы выглянули из окна. Вот вам и вся история. Печальная история, но теперь она закончилась. И к тому же имеются смягчающие обстоятельства.

— Ну и что плохого, что он выглянул? — допытывался Олбойн. — Он ведь не выпал, а то бы труп оказался на мостовой.

— Нет, — сказал отец Браун тихим голосом, — он не упал. Он вознесся.

В голосе его послышался удар гонга, отзвук гласа судьбы, но он продолжал как ни в чем не бывало.

— Он вознесся, но не на крыльях, нет, это не были крылья ни ангелов, ни демонов. Он поднялся на конце веревки, той самой, на которой вы видели его в саду; петля захлестнула шею в тот миг, когда он высунулся из окна. Вы помните Уилсона, слугу, человека исполинской силы, а ведь Уинд почти ничего не весил. Разве не послали Уилсона за брошюрой этажом выше, в комнату, полную тюков и веревок? Видели вы Уилсона с того дня? Смеею думать, что нет.

— Вы хотите сказать, — проговорил секретарь, — что Уилсон выдернул его из окна, как форель на удочке?

— Да, — ответил священник, — и спустил его через другое окно вниз, в парк, где третий сообщник вздернул его на дерево. Вспомните, что переулочек всегда пуст, вспомните, что стена напротив глухая; вспомните, что все было кончено через пять минут после того, как ирландец подал сигнал выстрелом. В этом деле, как вы поняли, участвовали трое. Интересно, можете ли вы догадаться, кто они?

Троица во все глаза глядела на квадрат окна и на глухую белую стену за ним, и никто не отозвался.

— Кстати, — продолжал отец Браун, — не думайте, что я осуждаю вас за ваши сверхъестественные выводы. Причина, собственно, очень проста. Вы все клялись, что вы твердокаменные материалисты, а в сущности говоря, вы все балансируете на грани веры — вы готовы поверить почти во что угодно. В наше время тысячи людей балансируют так, но находиться постоянно на этой острой грани очень неудобно. Вы не обретете покоя, пока во что-нибудь не уверуете. Потому-то мистер Вэндэм прошелся по новым религиям частым гребнем, мистер Олбойн прибегает к Священному писанию, строя свою новую религию, а мистер Феннер ворчит на того самого Бога, которого отрицает. Вот в этом-то и есть ваша двойственность. Верить в сверхъестественное естественно и, наоборот, неестественно признавать лишь естественные явления. Но хотя понадобился лишь легкий толчок, чтобы склонить вас к признанию сверхъестественного, на самом деле эти явления были самыми естественными. И не просто естественными, а прямо-таки неестественно естественными. Мне думается, проще истории не придумаешь.

Феннер засмеялся, потом нахмурился.

— Однако не понимаю, — сказал он. — Если это был Уилсон, как получилось, что Уинд держал при себе такого человека? Как получилось, что его убил тот, кто был у него на глазах ежедневно, несколько лет подряд? Ведь он славился умением судить о людях.

Отец Браун стукнул об пол зонтиком со страстью, какую редко выказывал.

— Вот именно, — сказал он почти свирепо, — за это его и убили. Его убили именно за это. Его убили за то, что он судил о людях, вернее, судил людей.

Трое в недоумении уставились на него, а он продолжал, как будто их здесь не было.

— Что такое человек, чтобы ему судить других? — спросил он. — В один прекрасный день перед Уиндом предстали трое бродяг, и он быстро, не задумываясь, распорядился их судьбами, распахив их направо и налево. Как будто ради них не стоит утруждать себя вежливостью, не стоит добиваться их доверия, незачем предоставлять им самим выбирать себе друзей. И вот

за двенадцать лет не иссякло их негодование, родившееся в ту минуту, когда он оскорбил их, дерзнув разгадать с одного взгляда.

— Да,— пробормотал секретарь, — понимаю... И еще я понимаю, откуда вы понимаете... всякие разные вещи.

— Будь я проклят, если я что-нибудь понимаю, — пылко воскликнул неугомонный джентльмен с Запада. — Ваш Уилсон просто-напросто жестокий убийца, повесивший своего благодетеля. В моей морали, религия она или не религия, нет места кровожадному злодею.

— Да, он кровожадный злодей, — спокойно заметил Феррер. — Я его не защищаю, но, наверное, дело отца Брауна молиться за всех, даже за такого, как...

— Да,— подтвердил отец Браун, — мое дело молиться за всех, даже за такого, как Уоррен Уинд.

КРЫЛАТЫЙ КИНЖАЛ

Одно время отцу Брауну, вешая на вешалку шляпу, всякий раз приходилось подавлять легкую дрожь. Столь странную идиосинкразию вызывала всего лишь мелкая подробность некоего весьма запутанного дела; но в суматошной жизни отца Брауна только этой подробности и суждено было напоминать обо всем происшествии. Истоки его восходят к тому событию, которое заставило доктора Бойна, военного врача, обслуживающего полицию, морозным декабрьским утром послать за священником.

Доктор Бойн был высокий темный ирландец, один из тех непостижимых ирландцев, встречающихся повсюду, которые любят порассуждать о научном скептицизме, материализме, цинизме, но когда речь заходит о религиозных отправлениях, не допускают и мысли, что возможны какие бы то ни было их формы, кроме принятых у них на родине. Трудно сказать, идет ли это от поверхности или от глубины их веры, скорей в ней достанет и того и другого, с изрядной прокладкой материализма вдобавок. Короче говоря, когда Бойн чувствовал, что предстоит разбираться в вопросах подобного сорта, он посылал за отцом Брауном, отнюдь, однако, не претендуя на роль его единомышленника.

— Я не уверен, что вы мне нужны, — сказал он вместо ответа. — Я вообще ни в чем не уверен. Разрази меня гром, если я понимаю, кто тут нужен — врач, полицейский или священник.

— Что ж, — ответил отец Браун с улыбкой. — Вы у нас и за врача, и за полицейского, и я, стало быть, в меньшинстве.

— Но я признаю вас информированным меньшинством, как называют это политики, — ответил доктор. — Я же знаю, вам приходилось работать и по нашей части. Трудновато, правда, решить, по вашей ли тут части работа, по нашей ли или по части психиатров. Человек, живущий неподалеку вон в том белом доме на горе, попросил нас защитить его от угроз убийцы. Мы,

насколько могли, познакомились с фактами, но, пожалуй, я расскажу вам всю историю, как нам ее преподнесли.

Некто по фамилии Эйлмер, богатый владелец земель на западе, женился поздно и произвел на свет троих сыновей — Филипа, Стивена и Арнольда. Но еще холостяком, не надеясь на потомство, он усыновил, сочтя его блестящим и многообещающим, мальчика по имени Джон Стрейк. Происхождение его темно; одни говорят, он найденыш, другие говорят, из цыган. Полагаю, к цыганам его причисляют оттого, что Эйлмер в старости баловался сомнительным оккультизмом всякого рода, включая астрологию и хиромантию, и сыновья его приписывали это влиянию Стрейка. Но ему много чего еще приписывали. Говорили, например, что Стрейк редкий негодяй и особенно редкий лгун; что ему ничего не стоит в мгновение ока создать такие хитросплетения лжи и так их преподнести, что никакой сыщик не распутает. Но в свете всего, что произошло, это можно считать лишь естественным предубеждением. А что произошло, вы, вероятно, более или менее можете догадаться. Старик почти все отказал приемному сыну; и сыновья после его смерти стали оспаривать завещание. Они говорили, что Стрейк запугивал отца и только таким образом довел до подобной нелепости. Говорили, будто Стрейк всеми правдами и неправдами, минуя семью и сиделок, проникал к отцу и изводил на смертном одре. Кажется, им удалось что-то доказать насчет умственной неполноценности покойного, ибо суд счел завещание недействительным, и все наследовали сыновья. Говорят, Стрейк совершенно рассвирепел и поклялся, что убьет всех троих, одного за другим, и ничто не спасет их от его кары. И вот третий сын и уже последний — Арнольд Эйлмер просит защиты у полиции.

— Третий и уже последний, — повторил священник, взглянув на него невесело.

— Да, — подтвердил Бойн. — Те двое погибли.

Помолчали, и он продолжал:

— Вот тут-то и возникают сомнения. Нет никаких доказательств, что оба раза имело место убийство, но, возможно, оно имело место. Старший, сделавшись после отца помещиком, якобы покончил с собой у себя в саду. Среднему, ставшему фабрикантом, чем-то разmozжило голову у него же на фабрике; конечно, он мог просто оступиться и упасть. Но если их и правда убил Стрейк, то он умеет очень ловко все подстроить и очень ловко скрыться. С другой же стороны, очень возможно, тут просто мания преследования, основанная на совпадениях. Так вот, что мне нужно. Мне нужно, чтобы разумный человек, лицо не официальное, поговорил с мистером Арнольдом Эйлмером и составил о нем представление. Вы легко распознаете бред, и вы-то уж знаете, как выглядят люди, говорящие правду. Я хочу послать вас на разведку, прежде чем мы займемся этим делом.

— Странно, — заметил отец Браун, — что вам сейчас только пришлось им заняться. Если тут действительно что-то кроется, так ведь началось-то это давно. Что же побудило его обратиться к вам именно сейчас, а не раньше?

— Я, поверьте, и сам уж этому удивлялся, — ответил Бойн. — Объяснение он дает, но, честно говоря, такого рода, что тут призадуматься, не столкнулись ли мы просто-напросто с выходкой полоумного. Он заявил, будто вся прислуга забастовала и его бросила, и потому он вынужден прибегнуть к услугам полиции. Я навел справки. Да, все слуги, оказывается, бежали из дома на горе; и по городу носятся слухи довольно пристрастные, надо признаться; сводятся они к тому, что хозяин, мол, вконец их издергал, замучил вечными страхами; заставлял стеречь дом, как на часах, не давал спать, как ночным сиделкам; не давал покоя своим беспокойством. И они, мол, открыто обозвали его сумасшедшим и ушли. Конечно, отсюда еще вовсе не следует, что он сумасшедший. Но, пожалуй, действительно в наше время немного чудно посылать слугу в караул, а от горничной требовать услуг вооруженного телохранителя.

— Выходит, — улыбнулся священник, — он хочет, чтобы полицейский заменил ему горничную, коль скоро горничная не пожелала заменить полицейского.

— Мне тоже представилось, что это слишком, — ответил доктор. — Но я не мог отказать ему наотрез, не пойдя сперва на некий компромисс. И компромисс этот — вы.

— Прекрасно, — легко уступил отец Браун. — Если хотите, я пойду туда и с ним поговорю.

Холмистая местность подле городка была опечатана морозом, а небо холодно, как сталь, и лишь на северо-востоке понемногу всползали по нему обведенные огненными нимбами тучи. На этом-то мрачном, зловещем фоне поблескивал светлыми колоннами, образующими невысокий античный портик, дом на горе. Дорога, петляя, бежала через овраг и вламывалась в темные заросли. Перед самым кустарником отцу Брауну стало вдруг заметно холодной, будто он приближался не то к леднику, не то к Северному полюсу. Но он был человек практический и никогда не придавал особого значения подобным фантазиям. Поэтому он просто глянул на большую свинцовую тучу над самым домом и сказал весело:

— Будет снег.

Через низкие резные ворота в ложноклассическом стиле он вошел в сад и заметил там унылое запустение, свойственное лишь разладу вещей налаженных. Темно-зеленые кусты серели в легкой морозной пылице, сорняки обвисали по краям обвалившихся клумб косматой оборочкой, сам же дом будто по пояс погряз в чахлой чаще кустарника. Тут было больше вечнозеленой или зимостойкой растительности; и несмотря на всю ее густоту она была слишком северная и оттого не казалась роскошной. Словно

арктические какие-то джунгли. Да и сам дом, античному фасаду которого пристало глядеть на Адриатику, был как бы побит северными ветрами. Классическим орнаментом это противоречие только подчеркивалось; с углов на запустение садовых дорожек глядели маски трагедии и комедии, глядели кариатиды; облицовка же словно обмерзла. Даже завитки капители будто съезжились от холода.

Отец Браун взошел по заросшим ступеням на крыльцо, прошел меж высоких колонн и постучал в дверь. Минуты четыре спустя он постучал снова. Затем он повернулся к двери спиной и продолжал терпеливо ждать, оглядывая медленно темнеющую округу. Темнела же она из-за огромной тучи, напозавшей на нее с севера; и хоть вид ему заслоняли колонны крыльца, черные против сумеречного света, он разглядел зыбкие контуры темной громады, проплывшей над домом и как занавес нависшей над крыльцом. Серый занавес с чуть подсвеченной опушкой все ниже и ниже опускался на сад, покуда все блеклое зимнее небо не пронизалось серебряными лоскутами и нитями, уподобясь линялому закату. Отец Браун ждал, но изнутри не доносилось ни звука.

Тогда он быстро спустился с крыльца и обошел дом в поисках другого входа. Он обнаружил наконец дверь в стене, и здесь снова он постучал, и здесь снова он принялся ждать. Потом он дернул ручку, понял, что дверь заперта изнутри на засов или задвижку, и стал прохаживаться вдоль стены, недоумевая, как же ему теперь быть, и не забаррикадировался ли нелепый мистер Эйлмер так глубоко, что никаким шумом снаружи его не выманишь, тем более что в любом шуму ему почудятся угрозы мстительного Стрейка. Возможно, слуги, удирая утром, отперли одну дверь, а хозяин ее запер, но не в таком они были настроении, чтобы печься о его безопасности. Он побрел вдоль здания; оно было при всей его претенциозности не так уж велико; скоро он обошел его кругом; и тотчас увидел то, что искал. Стеклопанельная дверь в одной из комнат, затененная плющом, отворилась — видно, ее впопыхах забыли закрыть, — и он очутился в главной комнате, несколько старомодно обставленной; с одной стороны поднималась лестница, а напротив была внутренняя дверь. Прямо против него была еще дверь, с вделанным витражом — несколько грубым для нового вкуса; дешевые стекляшки изображали некую фигуру в красном. Направо, на круглом столе стоял аквариум — большая чаша с зеленоватой водой, где плавали, как в водоеме, рыбки и прочая живность; а рядом высилась какая-то пальма с очень большими зелеными листьями. Все было до того допотопное и ранневикторианское, что телефон, видневшийся в занавешенном алькове, казался анахронизмом.

— Кто там? — окликнули резко и весьма встревоженно из-за витража.

— Можно мне видеть мистера Эйлмера? — смиренно осведомился его преподобие.

Дверь распахнулась, и из-за нее, глядя вопросительно, выступил господин в пронзительно зеленом халате. Волосы у господина были лохматые, словно бы он спал или долго раскачивался, прежде чем подняться с постели, глаза же — не только бдящие, но бдительные, как при сигнале побудки. Отец Браун счел это противоречие естественным в человеке совершенно замученном то ли собственной манией, то ли вечно грозящей опасностью. Профиль у него был тонкий, орлиный, но если смотреть на него спереди, в нем прежде всего поражала неопрятная и даже какая-то дикая включенная темная борода.

— Я мистер Эйлмер, — сказал он. — Но я уже больше не жду никаких посетителей.

Что-то в его всполошенном взгляде побудило отца Брауна перейти прямо к делу. Если преследование — плод больного воображения, то тем более он не должен был обидеться на участливость.

— Интересно, — сказал отец Браун мягко, — вы действительно так уж никого и не ждете?

— Правда, — твердо ответил хозяин. — Я жду одного гостя. И он будет последним.

— Надеюсь, вы ошибаетесь, — сказал отец Браун. — Но, по крайней мере, с удовольствием заключаю, что, видимо, я на него не очень похож.

Мистер Эйлмер затрясся от дикого хохота.

— О, несколько не похожи! — выговорил он наконец.

— Мистер Эйлмер, — заговорил начистоту отец Браун. — Прошу прощения за мою смелость, но друзья посвятили меня в ваши неприятности и попросили выяснить, не могу ли я быть вам полезен. По правде говоря, у меня в подобных делах есть некоторый опыт.

— Не бывает подобных дел, — возразил Эйлмер.

— Вы хотите сказать, — заметил отец Браун, — что на вашу несчастную семью свалилось нечто более ужасное, чем просто смерти?

— Я хочу сказать, что это не были даже просто убийства, — отвечал хозяин. — Злобный пес, всех нас затравивший, это исчадь адаво и сила его — сила адская.

— Все зло одного корня, — сказал священник сурово. — Но откуда вы знаете, что это не просто убийства?

В ответ Эйлмер жестом предложил ему стул; а сам медленно опустился на другой и насупил, сложив руки на коленях; когда же он поднял глаза, выражение лица стало у него мягче, задумчивей, а голос зазвучал теперь спокойно и сердечно.

— Сэр, — сказал он. — Мне бы не хотелось, чтобы вы принимали меня за существо неразумное. К своим выводам я пришел с помощью разума, и сейчас вразумительно вам все докажу; я много об этом читал; ибо лишь я один наследовал от отца познания в кое-каких темных материях, а затем наследовал

и отцовскую библиотеку. Но то, что я вам сейчас расскажу, основано не на прочитанном, а на увиденном воочию.

Отец Браун кивнул, и тот продолжал, тщательно подбирая слова:

— После смерти старшего брата я еще сомневался. Когда его нашли мертвым, около него не обнаружили ничьих следов, а пистолет лежал рядом. Но непосредственно перед тем он получил угрожающее письмо, явно от нашего врага, ибо оно было помечено каким-то знаком вроде крылатого кинжала — жуткая кабалистическая выходка в его духе. И служанка говорила, что видела, как что-то, гораздо больше кошки, двигалось в сумерках вдоль садовой ограды. Хорошо, оставим это; я только одно хочу сказать — если убийца приходил, ему удалось уйти, не оставя следов. Но смерть брата Стивена — дело другое; тогда-то я уже понял. Машина работала на помосте подле фабричной башни; я взобрался на этот помост, как только брат упал, сраженный железным молотом; иной причины его смерти я не обнаружил, но то, что я видел, то видел.

Густая завеса фабричного дыма окутала башню; но сквозь прореху в этой завесе на вершине башни я разглядел человека, окутанного чем-то вроде черного плаща. Его тотчас снова заслонил серный дым, и как только он рассеялся, я глянул на дальнюю трубу — там никого не было. Я человек трезвый, и я спрошу всех трезвых людей — как взобрался он на страшную, неподступную высоту и как же он слез оттуда?

Тут он пронзил отца Брауна взором сфинкса; и, помолчав, резко добавил:

— Брату разmozжило череп, но тело осталось почти не-вредимым. И в кармане у него мы нашли такое же угрожающее посланье, помеченное летучим кинжалом.

— Я уверен, — мрачно продолжал он, — что символ крылатого кинжала не случаен. Все, связанное с этим чудовищем, — не случайно. Все в нем — умысел, хоть умысел весьма сложный и запутанный. В голове его роятся не только коварные планы, но тайные знаки и знаменья, немые сигналы, глухие картины, которые суть имена тех ужасов, каким даже имени нет. Он — худшая разновидность злодея, он — злобный мистик. Я, разумеется, и не претендую на то, чтобы полностью понять этот символ; но, безусловно, он связан со всем удивительным и невероятным в его действиях, направленных против нашей несчастной семьи. Нет ли связи меж крылатым кинжалом и таинственной смертью Филипа в его собственном саду, притом что даже легчайших следов не осталось на траве и дорожке? Нет ли связи меж оперенным клинком, подобным летящей стреле, и фигурой у дальней трубы в вышине, разметавшей крылья плаща?

— Значит, по-вашему, — сказал отец Браун задумчиво, — он всегда пребывает в паренье?

— Удавалось же это Симону Волхву, — отвечал Эйлмер. — И в средневековье считалось, что антихрист будет летать. Так или иначе, на посланье был изображен летучий кинжал; и годен он или нет для полета — но для убийства он годен.

— А заметили вы, какая была бумага? — спросил отец Браун. — Обычная?

Маска сфинкса вдруг исказилась смехом.

— Сейчас вы сами увидите, — мрачно проговорил Эйлмер, — Ибо и я получил сегодня такое же точно посланье.

Он откинулся в кресле, вытянув ноги из-под зеленого халата, который был ему коротковат, и уткнувшись бороатым лицом в грудь. Сохраняя неподвижность всей позы, он глубоко сунул руку в карман и извлек оттуда листок бумаги. Его словно хватил паралич, так он застыл и напрягся. Но вскоре слова священника странным образом вывели его из столбняка.

Отец Браун близоруко щурился, разглядывая протянутую ему бумагу.

Это была особая бумага, плотная, но не грубая, словно из альбома художника; и на ней скупыми штрихами красными чернилами был изображен кинжал, украшенный крыльями, подобно меркуриевому жезлу, и выведены слова: «Смерть явится на другой день, как явилась за братьями».

Отец Браун уронил бумагу и выпрямился в кресле.

— Не поддавайтесь на такие выходы, — сказал он резко. — Эти черти стараются нас обескуражить, чтобы нас обезоружить.

К немалому его удивлению, бессильно простертое в кресле тело встрепенулось, и Эйлмер вскочил, будто его разбудили ото сна.

— Верно! Верно! — вскричал он с каким-то жутким воодушевлением. — И эти черти убедятся, что не так уж я обескуражен и не так уж обезоружен! Я не утратил надежды, да и положение мое не безнадежно!

Держа руки в карманах, он сверху вниз смотрел на священника, который во время этой напряженной паузы начал было опасаться, не лишился ли несчастный рассудка из-за вечно грозящей опасности. Однако же тот заговорил совершенно размеренным голосом:

— Я думаю, бедные мои братья погибли оттого, что пользовались не тем оружием. Филип носил револьвер, и потому смерть его сошла за самоубийство. У Стивена была полицейская охрана, но у него была вдобавок и боязнь показаться смешным, и потому он не позволил полицейскому взобраться вместе с ним на помост, где ему и удалось продержаться всего лишь секунду. Оба они были насмешники и ударились в скептицизм в ответ на странный мистицизм нашего отца перед смертью. Но я-то всегда знал, что они не понимают отца. Конечно, изучая магию, он поддался пагубе черной магии, черной магии негодяя Стрейка. Но братья не нашли против нее верного средства. Средство

против черной магии — не грубый материализм и не мирская мудрость. Средство против черной магии — белая магия.

— Смотря что, — возразил отец Браун, — называете вы белой магией.

— Я называю так серебряную магию, — отвечал тот, понизив голос, будто поверял важную тайну. И, помолчав, прибавил: — А знаете, что я называю серебряной магией? Простите, одну минуту.

Он отворил дверь с красным витражом и прошел в нее. Дом оказался меньше, чем ожидал Браун; открывшийся за витражом коридор не вел во внутренние покои, а выходил в сад. С одной стороны коридора была только одна дверь, без сомненья, как решил его преподобие, дверь спальни хозяина, откуда тот и выскочил в халате. Больше на этой стороне ничего не было, кроме обычной вешалки с обычной унылой гроздьёй пальто и шляп. Зато напротив было кое-что поинтересней — темный, старый дубовый буфет, уставленный серебряной утварью и украшенный вместо орнамента старинным оружием. Здесь-то и замер Арнольд Эйлер, глядя на допотопный жерластый пистолет.

Дверь в конце коридора стояла чуть приоткрытая, и сквозь щель падала белая полоса света. Отец Браун живо откликнулся на явления природы и, глядя на этот пробел, почему-то сразу понял, что произошло снаружи. То самое, что он предсказывал, приближаясь к дому. Он проскочил мимо опешившего хозяина и распахнул дверь навстречу бескрасной яркости. То, что било сквозь щель, и впрямь оказалось не только белой бесцветностью света, но и сверкающе белым светом снега. Все вокруг покрывала седая и вместе с тем перевозданная бледность.

— Вот она — белая магия! — проговорил отец Браун весело. И, оглянувшись, пробормотал: — Да и серебряная, пожалуй, — ибо белый блеск коснулся старого серебра и кое-где посеребрил сталь на потемневшем оружии. Серебряный нимб зажегся над головой призадумавшегося Эйлера, державшего лицо в тени и пистолет в руке.

— А знаете, почему я выбрал этот дряхлый мушкетон? — спросил он т и х о . — Потому, что его можно зарядить вот эдакой пулей.

Он схватил с буфета ложечку, украшенную фигуркой апостола, какие положено дарить крестникам на крестинах, — и с силой отломил фигурку.

— Пойдемте в другую комнату, — сказал он.

— Читали вы когда-нибудь о смерти Данди? — спросил он, когда они снова сели. Суетливый священник уже его не раздражал. — Грэма Клейверхауза, ну, знаете, гонителя ковенантеров, у которого был черный конь, одолевавший любую пропасть. Знаете ли вы, что его могла сразить лишь серебряная пуля, ибо он запродавал душу дьяволу? С вами одно утешение; вы хоть достаточно осведомлены, чтобы верить в дьявола.

— О да,— отвечал отец Браун. — В дьявола я верю. А вот во что я не верю, так это в Данди. Вернее, в Данди пресвитерианских легенд и в его зловещую лошадь. Джон Грэм был всего лишь наемный солдат семнадцатого столетия, получше иных прочих. И раздраконил он их не будучи драконом, а будучи драгуном. Сдается мне, хвастливый пройдоха был не из таковских, чтобы запродаваться дьяволу. По моему опыту, дьяволу поклоняются люди совсем иного разбора. Не называя имен, которые могли бы потрясти общество, упомяну только одного современника Данди. Слышали вы о Делримпле Стейре?

— Нет,— отвечал мистер Эйлмер угрюмо.

— Но вы слышали о его делах,— сказал отец Браун — а они похуже всех проделок Данди вместе взятых; лишь забвением он избавлен от проклятий потомства. Это по его милости произошла бойня в Гленкоу. Он был ученый господин и прекрасный законник, государственной деятельности, спокойный человек с очень тонким и умным лицом. Вот такие-то и запродают душу дьяволу.

Эйлмер даже подскочил на стуле.

— Господи! — вскричал он. — Верно! Тонкое, умное лицо. Да это же лицо Джона Стрейка!

Потом он встал и посмотрел на священника со странной сосредоточенностью.

— Погодите-ка,— сказала она. — Я вам кое-что покажу.

Он прошел за стеклянную дверь и прикрыл ее за собою, направляясь, как заключил его предположение, либо к буфету, либо к себе в спальню. Отец Браун продолжал сидеть, рассеянно глядя на ковер, чуть озаренный красным отблеском витража. Вот он вспыхнул, как рубин, и снова поблек, будто солнце в пасмурный день перебежало от тучки к тучке. Ничто не двигалось, кроме водяных тварей, скользящих по тускло-зеленой чаше. Отец Браун усиленно думал.

Минуты две спустя он тихо подошел к телефону в алькове и позвонил в полицию к своему другу доктору Бойну.

— Я насчет Эйлмера,— сказал он тихо. — Странная история: по-моему, в ней кое-что кроется. Я бы на вашем месте, не откладывая, послал сюда людей; скажем, человек пять, чтобы окружить дом. В случае чего тут могут быть еще удивительные неожиданности.

И он снова сел на стул и посмотрел на ковер, снова кроваво окрасившийся в отблеске витража. Что-то в этом процеженном свете повлекло мысли священника к той первой неокрашенной полоске белизны и разным прочим таинствам, то прикрываемым, то приоткрываемым с помощью дверей и окон.

Нечеловеческий вопль человека раздался снаружи почти одновременно со звуком выстрела. Еще не отзвучало эхо, а дверь с силой распахнулась, и в комнату ввалился хозяин. Халат сполз с плеча, пистолет дымился в руке. Он трясся всем телом, но трясся отчасти от неистового хохота.

— Слава белой магии! — кричал он. — Слава серебряной пуле! Не все-то торжествовать исчадью ада! Наконец мои братья отмщены!

Он упал на стул, и пистолет вывалился из его руки на пол. Отец Браун бросился мимо него, в дверь, и пошел по коридору. Дойдя до спальни, он взялся было за дверную ручку, словно собираясь войти; потом нагнулся, будто разглядывая что-то, и — побежал к двери наружу и ее распахнул.

На снеговом поле, столь нетронута белом совсем недавно, лежало что-то черное. С первого взгляда отцу Брауну показалось, будто это огромная летучая мышь. Но уже при втором взгляде он разглядел человека. Тот лежал ничком, голова была скрыта широкой черной шляпой, несколько напоминавшей сомбреро; впечатление же крыльев производили полы или пустые рукава очень широкого черного плаща, распростертые, возможно, случайно во всю длину по обе стороны поверженной фигуры. Рук не было видно, однако же, приглядевшись, отец Браун угадал положение одной из них, а потом уж из-за края плаща в глаза ему блеснуло какое-то металлическое оружие. В целом картина странным образом напоминала несуразно разросшийся герб: черный орел на белом поле. Но, обойдя лежавшего и заглянув под шляпу, священник увидел лицо, которое поистине было, как говорил хозяин, умным и тонким, и даже строгим и презрительным — лицо Джона Стрейка.

— Провалиться мне на этом месте, — пробормотал отец Браун. — Действительно, будто огромный упырь какой-то упал с неба, как птица.

— А как же мог он еще появиться здесь? — раздался голос от двери, и отец Браун увидел, что Эйлмер снова стоит на пороге.

— А прийти он не мог? — проговорил отец Браун уклончиво.

Эйлмер широким жестом обвел белый ландшафт.

— Смотрите, какой снег, — сказал он, и низкий голос его чуть дрожал. — Везде нетронутый снег, чистый, как белая магия, не вы ли сами так его назвали? Есть ли на целые мили хоть пятнышко, кроме этой черной пакости? Следов нет, только мои да ваши. К дому никто не подходил.

Потом он странно, сосредоточенно посмотрел на низенького священника и сказал:

— И еще кое-что я вам скажу. Этот плащ, в котором он летает, ему длинен, ходить в нем он бы не мог. Он был невысок, плащ волочился бы за ним королевским шлейфом. Распрямите-ка его вдоль тела и сами убедитесь.

— Как все это получилось? — спросил отец Браун резко.

— Так быстро, что и не опишешь, — ответил Эйлмер. — Я выглянул за дверь и хотел было вернуться в дом, когда вокруг меня засвистел ветер, будто по воздуху летит колесо. Я повернулся и выстрелил наудачу; а потом я ничего не увидел, кроме того, что вы видите сейчас. Но я, в общем-то, уверен, что вы не

увидели б этого, не будь мой пистолет заряжен другой пулей. На снегу лежало бы другое тело.

— Кстати,— заметил отец Браун, — оставим его на снегу? Или отнесем в вашу комнату—там по коридору ведь ваша спальня?

— Нет-нет,— поспешно ответил Эйлер. — Оставим его тут до прибытия полиции. К тому же с меня сегодня довольно. Будь что будет, а мне сейчас надо выпить. А там пусть меня хоть вешают.

В комнате с пальмой и рыбками Эйлер рухнул на стул. Он чуть не опрокинул аквариум, когда сюда ввалился, но, пошарив вслепую по ящикам и углам, ему удалось наконец обнаружить графинчик с виски. Он и прежде не казался человеком размеренным, а сейчас уж рассеянность его перешла все границы. Он жадно глотнул виски и заговорил быстро, лихорадочно, будто боялся пауз.

— Я смотрю, вы еще сомневаетесь,— сказал он, — хоть видели все своими глазами. Поверьте, во вражде между духом Стрейка и духом Эйлеров все не так-то просто. Да и ваше ли это дело—не верить? Вы-то должны отстаивать то, что глупцы называют суеверием. Вы-то должны же понимать, что это вовсе не вздор, бабьи рассказы о заклятье, судьбе, дурном глазе и прочем, включая серебряную пулю? Что скажете на это вы, католик?

— Скажу, что я агностик, — с улыбкой отвечал отец Браун.

— Чепуха,— раздраженно отозвался Эйлер, — ваше дело—верить.

— Ну, кое во что я, конечно, верю, — согласился отец Браун. — И поэтому, конечно, кое во что другое я не верю.

Эйлер весь подался вперед и смотрел на него так пристально, будто хотел загипнотизировать взглядом.

— Нет, вы верите,— сказал он. — Вы во все верите. Все мы верим во все, даже когда все отрицаем. Отрицатели верят. Неверующие верят. Неужто вы сердцем не чувствуете, что в этих противоречиях нет истинного противоречия? Что их все примиряет космос? Душа свершает звездный оборот, и все начинается сызнова. Быть может, мы со Стрейком сразились уже давно в иных образах, — зверь со зверем, птица с птицей, и быть может, нам суждено сражаться вовеки. Но раз мы ищем друг друга, раз мы друг другу нужны, эта вечная ненависть есть и вечная любовь. Добро и зло бегут в одной упряжке. Неужто вы сердцем не поняли, неужто через ваше вероучение вы не пронесли веры в то, что истина—одна, а мы только тени истины; и что все вещи—лишь отраженья единого—средоточья вещей, где люди сливаются с Человеком, а Человек с Богом?

— Нет, — сказал отец Браун.

Уже падали сумерки, и настал тот особенный зимний час, когда снежная земля светлее неба. Сквозь плохо занавешенное

окно отец Браун смутно различил дюжего молодца у главного входа. Он глянул на стеклянную дверь, которая привела его сюда, и вторую, рядом. Там тоже темнели две неподвижные фигуры. Дверь с витражом стояла чуть приоткрытая; и в коридорчике за нею он увидел обрывки двух длинных теней, вытянутых и искаженных низким закатным светом, но все же, как серые карикатуры, хранящих очерк человеческих фигур. Доктор Бойн откликнулся на его звонок. Дом окружили.

— Что толку говорить «нет»? — настаивал хозяин, не отрывая от него пронизывающего взгляда. — Вы же видели сейчас собственными глазами акт из этой вечной драмы. Вы видели, как Джон Стрейк грозил погубить Арнольда Эйлмера с помощью черной магии. Вы видели, как Арнольд Эйлмер убил Джона Стрейка с помощью белой магии. Живой Арнольд Эйлмер перед вами и с вами говорит. А вы все равно не верите.

— Нет, не верю, — сказал отец Браун и поднялся со стула, словно заканчивая визит.

— Почему же? — спросил хозяин.

Священник лишь чуть-чуть повысил голос, но он колоколом прозвенел по комнате.

— Потому что вы не Арнольд Эйлмер, — сказал он. — Я знаю, кто вы. Вас зовут Джон Стрейк; и вы убили последнего из братьев, и он сейчас лежит на снегу.

Белые круги вырисовывались вокруг радужных оболочек высокого господина; вытаращив глаза, он будто делал последнюю попытку околдовать и подчинить собеседника. Потом вдруг он прынул в сторону; и тотчас дверь за ним распахнулась и дюжий сыщик в штатском спокойно положил руку ему на плечо. Вторая рука висела вдоль тела, но в ней был револьвер. Стрейк дико озирался; по всем углам тихой гостиной стояли люди в штатском.

В тот вечер отец Браун имел еще один, более долгий разговор с Бойном о трагедии Эйлмеров.

К тому времени дело окончательно прояснилось, ибо Джон Стрейк перестал отпираться и открыл свои преступления; верней даже будет сказать, он похвалялся своими победами. Главное для него было то, что он исполнил жизненную задачу, убив последнего из братьев, и все прочее, включая самое существование, кажется, стало ему безразлично.

— Он какой-то одержимый, — сказал отец Браун. — Кроме одной этой главной идеи, ему больше ничего не надо; даже убивать. И тут я ему очень признателен; мне сегодня не раз приходилось себя утешать этим соображеньем. Сами понимаете, вместо того, чтобы сочинять свою дикую, хоть и увлекательную импровизацию про крылатых упырей и серебряные пули, он мог бы уложить меня простым свинцом и преспокойно уйти. Уверю вас, мне это не раз приходило в голову.

— Да, я и то удивляюсь, почему он вас не убил, — заметил Бойн. — Непонятно. Мне пока вообще ничего не понятно. Гос-

поди, ну как же вы додумались и до чего вы, черт побери, додумались?

— О, вы снабдили меня такими ценными сведениями, — отвечал отец Браун смиренно. — Особенно одна деталь сослужила мне важную службу. Вы, помните, говорили о том, что Стрейк очень хитрый и изобретательный лгун и лжет, не теряя присутствия духа. Сегодня ему пригодились это дарованье; и он оказался на высоте. Наверно, единственная его ошибка была в выборе сверхъестественного сюжета; он решил, что духовная особа все кушает. Весьма распространенное заблуждение.

— Тем не менее я пока ничего не понимаю, — сказал доктор. — Придется вам начать с самого начала.

— Началось все с халата, — сказал отец Браун просто. — Удивительно удачный маскарад. Когда вы видите в доме человека в халате, вы тотчас невольно заключите, что он у себя дома. Так я и заключил; но потом пошло что-то странное. Когда он снял с крючка пистолет, он нажал курок, отведя на отлет руку, как человек, желающий убедиться в том, что чужое оружие не заряжено; конечно, он знал бы, заряжены его собственные пистолеты или нет. Мне не понравилось, как он искал бренди, как он чуть не наткнулся на аквариум. Когда держишь в доме такую хрупкую штуку, приучаешься совершенно механически ее обходить. Но пусть даже все это домыслы, а первое совершенно реальное было вот что: он вышел из узкого коридора между двумя дверями; я и решил, что там спальня, и он вышел оттуда. Взялся за ручку; оказался заперто; странно; и я заглянул в замочную скважину. Комната была совершенно пустая, явно нежилая, ни кровати, ничего. Значит, он не вышел не из какой комнаты, а вошел в дом снаружи. И когда я это понял, я, кажется, представил себе все.

Бедный Арнольд Эйлмер, безусловно, спал, а возможно и жил наверху, и он спустился вниз в халате и прошел в дверь с витражом. В конце коридора черным силуэтом против света он увидел своего врага. Он увидел высокого бородача в широкополой черной шляпе и просторном развевающемся плаще. Больше уж он в этой жизни ничего не увидел. Стрейк бросился на него и задушил или пырнул; следствие разберется. И вот, стоя в коридорчике между вешалкой и старым буфетом, Стрейк торжествующе смотрел на последнего своего поверженного врага, как вдруг услышал кое-что непредвиденное. Он услышал шаги рядом, в гостиной. Это я вошел туда через стеклянную дверь.

Маскарад его был чудом проворства. И этот ловкий экспромт сам собою повлек вышеизложенную импровизацию. Итак, он снял большую черную шляпу, снял плащ и надел халат мертвеца. Потом он сделал нечто ужасающее; по крайней мере, моему воображению это представляется более ужасающим, чем все остальное. Он повесил труп на вешалку, как пальто. Завернул его в свой собственный плащ, сообразив, что он будет свисать

ниже пяток; голову прикрыл широкой шляпой. Иначе в коридорчике с запертой дверью было его не спрятать; он рассчитал очень верно. Я сам сперва прошел мимо вешалки, не ведая о том, что на ней висит. Наверное, теперь я каждый раз буду дрожать при этом воспоминании.

На том бы он, наверно, и успокоился; но я мог в любую минуту открыть труп; а труп, висящий на вешалке, взывает, так сказать, к объяснению. И Стрейк пошел на отчаянный ход — сам открыл труп и сам дал ему объяснение.

В его странном и пугающе плодотворном мозгу мигом родилась история с замещением игроков, с подменой ролей. Он уже взял на себя роль Арнольда Эйлмера. Так почему бы мертвому врагу не сыграть Джона Стрейка? Видимо, извращенная нелепица пленила фантазию мрачного фантазера. Получался чудовищный маскарад, куда два заклятых врага явились переодетыми друг в друга, и вдобавок маскарад с пляской смерти, ибо один из танцоров — мертвец. Потому-то, надо думать, идея его и соблазнила, и, надо думать, он улыбался и потирал руки.

Отец Браун уставился в пустоту большими серыми глазами, которые, когда их не портил тик, были единственным украшением его физиономии. Потом он сказал серьезно и просто:

— Все от Бога, и прежде всего — воображение и разум, великие дарования духовные. Сами по себе они хороши, и не следует забывать об их истоке, даже когда мы видим их искажение. Этот человек искажил весьма благородный дар, дар сочинителя. Он великий рассказчик; но богатое воображение он подчинил целям практическим и притом дурным: истинный вымысел он подменил подтасовкой истины и морочил людей. Сперва он морочил старика Эйлмера изобретательными выдумками; но уже с самого начала это были не просто фантазии и небылицы ребенка, которому все равно, видел ли он короля Англии или короля эльфов. Эти зерна взращивала в нем мать всех пороков — гордость. Он все больше и больше тщеславился той ловкостью, с какой порождал небывалые сюжеты, и тем мастерством, с каким он их разрабатывал. Вот почему братья Эйлмеры говорили, что он околдовывал отца; он и правда его околдовывал. Так рассказчица в «Тысяче и одной ночи» завладевает воображением тирана. И он до конца пронес гордость поэта и ложную, но безмерную храбрость великого лгуна. В случае опасности он всегда мог выйти из положения не хуже Шехерезады. А сегодня его жизнь была в опасности.

И конечно, он увлекся самим замыслом. Это показалось ему заманчиво — преподнести правдивую историю шиворот-навыворот: живого преподнести как мертвого, а мертвеца как живого. Он уже облекся в халат Эйлмера; далее он облекся в его тело и душу. В лежащем на снегу трупе он увидел свой собственный труп. Затем он распростер его так, чтобы он напоминал сорвавшегося с высоты орла, и не только окутал темной тканью своих

парящих одежд, но и темной тканью вымысла о подозрительной птице, которую можно сразить лишь серебряной пулей. Не знаю, блеск ли серебра на буфете или снега за дверью подсказал его художественной натуре тему белой магии и белого металла, против магов употребляемого. Но каковы бы ни были ее истоки, он ею овладел, как истинный поэт, и притом весьма проворно, как человек практический. Он заключил подмену ролей, бросив труп Стрейка в снег. И превзошел себя, создав жуткий образ Стрейка, парящего и вездесущего, некой гарпии о быстролетных крылах и смертоносных когтях, и тем объясняя отсутствие следов на снегу и прочее. Например, одна дерзкая художественная деталь меня совершенно восхищает. Он сделал из одного противоречия своей версии довод в ее пользу и сказал, что плащ покойнику длинен, стало быть, он не ходил по земле, как простой смертный. Но при этих словах он слишком пристально на меня глянул, и тут-то я и почувал, что он блефует.

Доктор Бойн задумался.

— И тогда вы догадались? — спросил он. — Меня всегда занимала и волновала природа подобных разоблачений. Не знаю, что поразительней — когда правда открывается нам в таких случаях сразу или постепенно. Интересно, когда вы его заподозрили и когда уже знали наверное?

— Заподозрил я его, видимо, когда вам звонил, — ответил ему приятель. — Все этот красный отблеск из-за двери, который то зажигался, то угасал на ковре, будто сама пролитая кровь взывала о мести. Но чем же были вызваны перемены в освещении? Солнце, я знал, скрыто тучами, это не от солнца; значит, открывали и закрывали дверь в сад. Если бы он вышел и тогда увидел врага, он бы тогда же и поднял тревогу; а шум поднялся уже какое-то время спустя. Значит, он, наверное, выходил за чем-то... что-то готовил... Ну, а вот когда я знал наверное — это дело другое. В самом конце он хотел меня загипнотизировать, подчинить, заморозить взглядом, околдовать голосом. Так он, без сомненья, воздействовал на старика Эйлмера. Но важно не только его интонации и мина, важно еще и что именно он говорил: какую религию, какую философию он проповедовал.

— Я, простите, человек практический, — грубовато сострил доктор, — и религия с философией меня как-то не волнуют.

— Тогда вы не могли бы быть человеком практическим, — возразил отец Браун. — Вот что, доктор, вы меня ведь хорошо знаете. И наверное знаете, что я не ханжа. Вы знаете, что я знаю, что всякое бывает во всех религиях; бывают хорошие люди в дурной вере и дурные люди в хорошей. Но есть кое-что, в чем я убедился просто как человек практический, просто на практике, как по опыту приучасься распознавать марки вин и понимать повадки животного. Я почти не встречал преступника, вообще склонного философствовать, который не философствовал бы о восточной премудрости, о переселении душ, колдовании

времен, замыкании кругов, о змее, в хвосте у которого жало. Я просто по опыту знаю, что слуги этого змея прокляты; будут ходить на чреве своем и будут есть прах. Не бывало еще негодяя и проходимца, не толковавшего о такого рода высоких материях. Возможно, по природе своей это вовсе и не такая дурная религия; но в нашей жизни она превратилась в вероисповедание мошенников, и я сразу почувал мошенника.

— Ну, — заметил Б о й н , — мошеннику-то, пожалуй, все равно, какую религию исповедовать.

— Верно, — согласился его собеседник. — Он мог бы исповедовать любую религию; то есть притворяться, что ее исповедует, будь это все только одно притворство. Будь это простое лицемерие, и ничего бо л ь ш е , — тут бы легко справился простой лицемер. К любому лицу подходит любая маска. Всякий может затвердить кое-какие формулы и на словах утверждать, будто придерживается каких-то взглядов. Я могу выйти на площадь и объявить, что я методист или агент винной компании, правда, боюсь, без особого успеха. Но речь идет о художнике; а художнику непременно захочется пригнать маску к лицу; ему захочется, чтоб душа его отзывалась в роли. Наверное, он тоже мог бы провозгласить себя методистом; но он не мог бы стать красноречивым методистом, как он стал красноречивым фаталистом и мистиком. Речь идет об идеале, который выберет такой человек, если ему вообще понадобится идеал. Со мной он старался быть как можно возвышенней, идеалистичней; а когда такой человек за это берется — идеал неизменен. Такой человек, каким бы негодяем он ни был, совершенно искренне станет вас уверять, что буддизм лучше христианства. Да что уж там! Он станет совершенно искренне вас уверять, что в буддизме больше христианства, чем в самом христианстве. И уж это одно жутко и страшно освещает его понятие о христианстве.

— Ей-богу, — засмеялся доктор , — не могу понять, защищаете вы его или обвиняете?

— Сказать про человека, что он гений, вовсе еще не значит его защищать. Ничего подобного. Просто это факт психологии: художник всегда себя выдаст. Леонардо да Винчи не мог бы рисовать так, будто он рисовать не умеет. Если б он и попробовал, вышло бы сильное подражание вещи слабой. У этого человека Бог знает что получилось бы из методиста.

Когда священник возобновил свой путь домой, похолодало и холод стал пьянящим. Деревья стояли серебряными канделябрами на невысказанно холодной службе в честь Сретенья и очищения. Холод пронизывал насквозь, как то серебряное оружие, что некогда прошло самое сердце чистоты. Но холод был не убийственный, разве что, казалось, убивал все смертные помехи к безмерному нашему бессмертию. Бледно-зеленое небо сумерек с одной лишь звездой — как Вифлеемской звездой — вовсе уж неизвестно отчего казалось сияющей пещерой. Будто зеленое горнило

холода, как жар, пробуждало к жизни все вещи, и чем больше поглощал их холодный, хрустальный вечер, тем больше делались они легки, как крылатые твари, и прозрачны, как витражи. Холод обжигал правдой, отсекал от неправды ледяным клинком. И то, что оставалось, было живое, как никогда. Будто вся радость—это перл в жерле айсберга. Священник сам себя не мог понять, глубже вдыхая пречистую свежесть воздуха. Все беспутное и путаное будто осталось позади или стерлось, как снег запылил следы убийцы. Пробираясь домой по снегу, он бормотал себе под нос:

— А ведь насчет белой магии-то он, пожалуй, прав, если б только он знал, что это такое.

**Из сборника
«Человек, который знал слишком много»**

ЛИЦО НА МИШЕНИ

Гарольд Марч, входивший в известность журналист-обозреватель, энергично шагал по вересковым пустошам плоскогорья, окаймленного лесами знаменитого имения «Торвуд-парк». Это был привлекательный, хорошо одетый человек, с очень светлыми глазами и светло-пепельными вьющимися волосами. Он был еще настолько молод, что даже на этом приволье, солнечным и ветреным днем, помнил о политических делах и не старался их забыть. К тому же в «Торвуд-парк» он шел ради политики. Здесь назначил ему свидание министр финансов сэръ Говард Хорн, проводивший в те дни свой так называемый социалистический бюджет, о котором он и собирался рассказать в интервью с талантливим журналистом. Гарольд Марч принадлежал к тем, кто знает все о политике и ничего о политических деятелях. Он знал довольно много и об искусстве, литературе, философии, культуре — вообще почти обо всем, кроме мира, в котором жил.

Посреди залитых солнцем пустошей, над которыми свободно гулял ветер, Марч неожиданно набрел на узкую ложбину — русло маленького ручья, исчезавшего в зеленых тоннелях кустарника, словно в зарослях карликового леса. Марч глядел на ложбину сверху, и у него появилось странное ощущение: он показался себе великаном, обзирающим долину пигмеев. Но когда он спустился к ручью, это ощущение исчезло: склоны были невысокие, не выше небольшого дома, но скалистые и обрывистые, с нависающими каменными глыбами. Он брел вдоль ручья, ведомый праздным, но романтическим любопытством, смотрел на полоски воды, блестящие между большими серыми валунами

и кустами, пушистыми и мягкими, как разросшийся зеленый мох, и теперь в его мозгу возник другой образ — ему стало казаться, что земля разверзлась и втянула его в таинственный подземный мир. Когда же он увидел на большом валуне человека, похожего на большую птицу, темным пятном выделявшуюся на фоне серебристого ручья, у него появилось предчувствие, что сейчас завяжется самое необычное знакомство его жизни.

Человек, по-видимому, удил рыбу или, по крайней мере, сидел в позе рыбака, только еще неподвижной, и Марч мог несколько минут разглядывать его, как статую. Незнакомец был светловолос, с очень бледным и апатичным лицом, тяжелыми веками и горбатым носом. Когда его лицо было затенено широкополой белой шляпой, светлые усы и худоба, вероятно, молодили его. Но теперь шляпа лежала рядом, видны были залысины на лбу и запавшие глаза, говорившие о напряженной мысли и, возможно, физическом недомогании. Но самое любопытное было не это: последив за ним, вы замечали, что, хотя он и выглядит рыбаком, он вовсе не удит рыбу.

Вместо удочки незнакомец держал в руках какой-то сачок — им пользуются иногда рыбаки, но этот больше походил на обыкновенную детскую игрушку для ловли бабочек и креветок. Время от времени он погружал свою снасть в воду, затем с серьезным видом разглядывал улов, состоявший из водорослей и ила, и тут же выбрасывал его обратно.

— Нет, ничего не выловил, — сказал он спокойно, как бы отвечая на немой вопрос. — Большею частью я выбрасываю обратно все, что попадется, особенно крупную рыбу. А вот мелкая живность меня интересует, — конечно, если удастся ее поймать.

— Наверное, вы ученый? — спросил Марч.

— Боюсь, что только любитель, — ответил странный рыбак. — Я, знаете ли, увлекаюсь фосфоресценцией, в частности, светящимися рыбами. Но появиться с таким светильником в обществе было бы, пожалуй, неловко.

— Да, я думаю, — невольно улыбаясь, сказал Марч.

— Довольно эксцентрично войти в гостиную с большой светящейся треской в руках, — продолжал незнакомец так же бесстрастно. — Но очень занятно, должно быть, носить ее вместо фонаря или пользоваться кильками, как свечами. Некоторые морские обитатели очень красивы — вроде ярких абажуров; голубая морская улитка мерцает, как звезда, а красные медузы сияют, как настоящие красные звезды. Разумеется, я не их здесь ищу.

Марч хотел было спросить, что же искал незнакомец, но, чувствуя себя неподготовленным к научной беседе на такую глубокую тему, как глубоководные, заговорил о более обычных вещах.

— Живописное местечко,— сказал он , — эта ложбинка и ручеек. Напоминает места, описанные Стивенсоном, где непременно что-то должно случиться.

— Да,— ответил незнакомец. — Я думаю, все потому, что это место само живет, если можно так выразиться, а не просто существует. Возможно, именно это Пикассо и некоторые кубисты пытаются выразить углами и ломаными линиями. Посмотрите на эти обрывы, крутые у основания. Они выступают под прямым углом к поросшему травой склону, а тот как бы устремляется к ним. Это как немая схватка. Как волна, застывшая у берега.

Марч посмотрел на низкий выступ скалы над зеленым склоном и кивнул. Его заинтересовал человек, только что проявивший познания в науке и с такой легкостью перешедший к искусству; и он спросил, нравятся ли ему художники-кубисты.

— На мой взгляд, в кубистах мало кубизма, — ответил незнакомец. — Я хочу сказать, что их живопись недостаточно объемна. Сводя предметы к математике, они делают их плоскими. Отнимите живые изгибы у этой ложбины, упростите ее до прямого угла, и она сделается плоской, как чертеж на бумаге. Чертежи, конечно, красивы, но красота их — совсем другая. Они воплощают неизменные вещи — спокойные, незыблемые математические истины, — именно это называют белым сиянием...

Прежде чем он успел произнести следующее слово, что-то произошло — так быстро, что они и понять ничего не успели. Из-за нависшей скалы послышался шум, словно сюда мчался поезд, и на самом ее краю появился большой автомобиль. Черный на фоне солнца, он казался боевой колесницей богов, несущейся к гибели. Марч инстинктивно протянул руку, как бы тщетно пытаясь удержать падающую со стола чашку.

Одно короткое мгновение казалось, что автомобиль, как воздушный корабль, летит с обрыва, потом — что само небо описывает круг, словно колесо велосипеда, и вот машина, уже разбитая, лежала в высокой траве, и струйка серого дыма медленно поднималась над нею в затихшем воздухе. Немного ниже, на крутом зеленом склоне, раскинув руки и ноги, запрокинув голову, лежал седой человек.

Чудаковатый рыболов бросил сачок и побежал к месту катастрофы; журналист последовал за ним. Когда они приблизились, мотор еще бился и громыхал, иронически и жутко оттеняя неподвижность тела.

Человек был мертв. Кровь стекала на траву из раны на затылке, но лицо, обращенное к солнцу, осталось нетронутым, и от него нельзя было отвести глаз. Такие лица кажутся неуловимо знакомыми: широкое, квадратное, с большой обезьяньей челюстью; большой рот сжат так крепко, что кажется прямой



линией; ноздри короткого носа круто изогнуты, словно с жадностью втягивают воздух. Особенно поражали брови — одна была вскинута значительно выше и под более острым углом, чем другая. Марч подумал, что никогда не видел лица, до такой степени полного жизни, как это, мертвое. Энергичную живость, застывшую на нем, еще больше подчеркивал ореол седых волос. Из кармана торчали какие-то бумаги, и Марч извлек визитную карточку.

— Сэр Хэмфри Тернбул,— прочитал он вслух. — Я уверен, что где-то слышал эту фамилию.

Его спутник вздохнул, помолчал минуту, как бы обдумывая что-то, а затем сказал просто:

— Кончился, бедняга. — И прибавил несколько научных терминов.

Марч снова почувствовал превосходство своего собеседника.

— Учитывая обстоятельства, — продолжал этот необычайно осведомленный человек, — мы поступим лучше всего, если оставим тело как есть, пока не известят полицию. В сущности, я думаю, кроме полиции, никому не следует ничего сообщать... Не удивляйтесь, если вам покажется, что я хочу скрыть это от соседей. — Затем, как бы желая объяснить свою несколько неожиданную откровенность, он сказал: — Я приехал в Торвуд повидаться с двоюродным братом; меня зовут Хорн Фишер¹. Подходящая фамилия для каламбура, правда?

— Сэр Говард Хорн ваш двоюродный брат? — спросил Марч. — Я тоже направляюсь в «Торвуд-парк», к нему, разумеется, по делу. Он с исключительной твердостью защищает свои принципы. На мой взгляд, бюджет, который он отстаивает, — событие величайшего значения. Если бюджет провалится, это будет самый роковой провал в истории Англии. Вы, вероятно, тоже почитатель вашего великого родственника?

— До некоторой степени, — ответил Фишер. — Он великолепный стрелок. — Затем, словно искренне раскаиваясь в своем равнодушии, добавил чуть живее: — Нет, в самом деле он замечательный стрелок!

Он вспрыгнул на камень, ухватился за уступ скалы и забрался наверх с ловкостью, которой никак нельзя было ожидать от такого вялого человека. Некоторое время он обозревал окрестность; его орлиный профиль резко вырисовывался на фоне неба. Марч наконец собрался с духом и вскарабкался вслед за ним.

Перед ними лежал сырой торфяной луг, на котором отчетливо выделялись следы колес злосчастной машины. Края обрыва были изломаны и раздроблены, словно их обгрызли гигантские каменные зубы; отбитые валуны всех форм и размеров валялись

¹ Фишер (от *англ.* fisher) — рыболов.

неподалеку, и трудно было поверить, что кто-нибудь мог среди бела дня намеренно захватить в такую ловушку.

— Ничего не понимаю, — сказал Марч. — Слепой он был, что ли? Или пьян до бесчувствия?

— Судя по виду, ни то, ни другое.

— Тогда это самоубийство.

— Не очень-то остроумно покончить с собой таким способом, — заметил тот, которого звали Фишером. — К тому же я не представляю себе, чтобы бедняга Пагги вообще мог покончить самоубийством.

— Бедняга... кто? — спросил удивленный журналист. — Разве вы его знали?

— Никто не знал его как следует, — несколько туманно ответил Фишер. — Нет, один человек его, конечно, знал... В свое время старик наводил ужас в парламенте и в судах, особенно во время шумихи с иностранцами, которых выслали из Англии. Он требовал, чтобы одного из них повесили за убийство. Эта история так на него подействовала, что он вышел из парламента. С тех пор у него появилась привычка разъезжать в одиночестве на машине; на субботу и воскресенье он нередко приезжал в Торвуд. Не могу понять, почему ему понадобилось сломать себе шею почти у самых ворот. Я думаю, что Боров — то есть мой брат Говард — бывал здесь, чтобы видеться с ним.

— Разве «Торвуд-парк» не принадлежит вашему двоюродному брату? — спросил Марч.

— Нет, раньше им владели Уинтропы, а теперь его купил один человек из Монреаля, по фамилии Дженкинс. Говарда привлекает сюда охота. Я вам уже говорил, что он прекрасный стрелок.

Эта дважды повторенная похвала по адресу государственного мужа резанула Гарольда Марча, словно Наполеона назвали выдающимся игроком в карты. Но не это занимало его теперь; среди множества новых впечатлений одна еще не совсем ясная мысль поразила его, и он поспешил поделиться ею с Фишером, словно боялся, что она исчезнет.

— Дженкинс... — повторил он. — Вы, конечно, имеете в виду не Джефферсона Дженкинса, общественного деятеля, который борется за новый закон о фермерских наделах? Простите меня, но встретиться с ним не менее интересно, чем с любым министром.

— Да, это Говард посоветовал ему заняться наделами, — сказал Фишер. — Шум по поводу улучшения породы скота надоел, и над этим уже посмеиваются. Ну, а звание пэра все же нужно к чему-то прицепить! Бедняга до сих пор не лорд... Э, да здесь еще кто-то есть!

Они шли по следам, оставленным машиной, все еще жужжащей под обрывом, словно громадный жук, убивший человека. Следы привели их к перекрестку дорог, одна из которых вела

к видневшимся вдали воротам парка. Было ясно, что машина мчалась сначала по длинной прямой дороге, а затем, вместо того чтобы свернуть влево, понеслась по траве к обрыву — к своей гибели. Но не это приковало внимание Фишера: на повороте дороги неподвижно, как указательный столб, высилась темная одинокая фигура. Это был рослый человек в грубом охотничьем костюме, с непокрытой головой и всклокоченными вьющимися волосами, придававшими ему довольно странный вид. Когда спутники подошли ближе, первое впечатление рассеялось; перед ними стоял обыкновенный джентльмен, который так поспешно вышел из дому, что не успел надеть шляпу и причесать волосы. Как издали, так и вблизи было видно, что он очень силен и красив животной красотой, хотя глубоко посаженные запавшие глаза несколько облагораживали его внешность. Марч не успел разглядеть его, так как Фишер, к его удивлению, буркнул: «Хелло, Джон», — и, даже не сообщив ему о катастрофе по ту сторону скал, прошел мимо, словно тот действительно был указательным столбом. Сравнительно мелкий этот факт оказался первым звеном в цепи странных поступков нового знакомого.

Человек, мимо которого они прошли, весьма подозрительно посмотрел им вслед, но Фишер продолжал невозмутимо шагать по прямой дороге, ведущей к воротам большого поместья.

— Это Джон Берк, путешественник, — снисходительно объяснил он. — Я полагаю, вы слышали о нем: он охотник на крупного зверя. Жаль, я не мог остановиться и представить вас. Ну, думаю, вы увидите его позже.

— Я читал его книгу, — сказал заинтересованный Марч. — Чудесно описано, как они только тогда обнаружили слона, когда он громадной головой загородил им луну.

— Да, молодой Гокетт пишет прекрасно... Как, разве вы не знаете, что книгу Берка написал Гокетт? Берк только ружье умеет держать в руках, а ружьем книгу не напишешь. Но он тоже, по-своему, талантлив. Отважен как лев, даже еще отважнее.

— По-видимому, вы неплохо его знаете, — заметил, смеясь, совсем сбитый с толку Марч, — да и не только его.

Фишер наморщил лоб, и взгляд его стал странным.

— Я знаю слишком много, — сказал он. — Вот в чем моя беда. Вот в чем беда всех нас и всей этой ярмарки: мы слишком много знаем. Слишком много друг о друге, слишком много о себе. Потому я сейчас и заинтересован тем, чего не знаю.

— А именно? — спросил Марч.

— Почему умер Пагги.

Они прошли по дороге около мили, перебрасываясь замечаниями, и у Марча появилось странное чувство: ему стало казаться, что весь мир вывернут наизнанку. Мистер Хорн Фишер не

старался чернить своих высокородных друзей и родных; о некоторых он говорил даже нежно. И тем не менее все они — и мужчины, и женщины — предстали в совершенно новом свете; казалось, что они случайно носят имена, известные всем и каждому и мелькающие в газетах. Самые яростные нападки не показались бы Марчу такими мятежными, как эта холодная фамильярность. Она была подобна лучу дневного света, упавшему на театральную кулису.

Они дошли до ворот парка, но, к удивлению Марча, миновали их, и Фишер повел его дальше по бесконечной прямой дороге. До встречи с министром еще оставалось время, и Марч не прочь был посмотреть, чем кончатся приключения его нового знакомого. Спутники давно оставили позади поросшие вереском луга, и половина белой дороги стала серой от тени торвудских сосен. Деревья громадным серым барьером заслонили солнечный свет, и казалось, в глубине леса ясный день обернулся темной ночью. Однако вскоре между густыми соснами стали появляться просветы, похожие на окна из разноцветных стекол; лес поредел и отступил, и по мере того как спутники продвигались дальше, его сменили рощицы, в которых, по словам Фишера, целыми днями охотились гости. Примерно через двести ярдов они подошли к первому повороту дороги.

Здесь стоял ветхий трактир с потускневшей вывеской «Виноградные гроздья». Потемневший от времени, почти черный на фоне лугов и неба, он манил путника не больше, чем виселица. Марч заметил, что тут, вероятно, вместо вина пьют уксус.

— Хорошо сказано, — ответил Фишер. — Так оно и было бы, если бы кому-нибудь пришло в голову спросить вина. Но пиво и бренди здесь хороши.

Марч с некоторым любопытством последовал за ним. Отвращение, охватившее Марча, отнюдь не рассеялось, когда он увидел длинного костлявого хозяина; молчаливый, с черными усами и беспокойно бегающими глазами, он никак не соответствовал романтическому типу добродушного деревенского кабатчика. Как ни был он скуп на слова, из него все же удалось извлечь кое-какие сведения.

Фишер начал с того, что заказал пиво и завел с ним странную беседу об автомобилях. Можно было подумать, что он считает хозяина авторитетом, отлично разбирающимся в секретах мотора и в том, как надо и как не надо управлять машиной. Разговаривая, Фишер не спускал с него упорного взгляда блестящих глаз. Из всей этой довольно мудреной беседы можно было в конце концов заключить, что какой-то автомобиль остановился перед гостиницей около часу назад, из него вышел пожилой мужчина и попросил помочь наладить мотор. Кроме того, он наполнил флягу и взял пакет с сэндвичами. Сообщив это, не слишком радушный хозяин поспешно вышел и захлопал дверьми в темной глубине дома.

Скучающий взор Фишера блуждал по пыльной, мрачной комнате и наконец задумчиво остановился на чучеле птицы в стеклянном футляре, над которым на крюках висело ружье.

— Пагги любил пошутить, — заметил он, — правда, в своем, довольно мрачном, стиле. Но покупать сэндвичи, перед тем как собираешься покончить жизнь самоубийством, — пожалуй, слишком мрачная шутка.

— Если уж на то пошло, — ответил Марч, — покупать сэндвичи у дверей богатого дома тоже не совсем обычно.

— Да... да, — почти механически повторил Фишер, и вдруг глаза его оживились, и он серьезно взглянул на собеседника. — Черт возьми, а ведь правда! Наводит на очень любопытные мысли, а?

Наступило молчание. Вдруг дверь так резко распахнулась, что Марч от неожиданности вздрогнул; в комнату стремительно вошел человек и направился к стойке. Он постучал по ней монетой и потребовал коньяку, не замечая Фишера и журналиста, которые сидели у окна за непокрытым деревянным столом. Когда же он повернулся к ним, у него был несколько озадаченный вид, а Марч с крайним удивлением услышал, что его спутник назвал его Боровом и представил как сэра Говарда Хорна.

Министр выглядел гораздо старше, чем на портретах в иллюстрированных журналах, где политических деятелей всегда омолаживают; его прямые волосы чуть тронула седина, но лицо было до смешного круглое, а римский нос и быстрые блестящие глаза невольно наводили на мысль о попугае. Кепи было сдвинуто на затылок, через плечо висело ружье. Гарольд Марч много раз старался представить себе встречу с известным политическим деятелем, но он никогда не думал, что увидит его в трактире, с ружьем через плечо и рюмкой в руке.

— Ты тоже гостишь у Джинка? — сказал Фишер. — Все как сговорились собраться у него.

— Да, — ответил министр финансов. — Здесь чудесная охота. Во всяком случае, для всех, кроме Джинка. У него самые лучшие угодья, а стреляет он — хуже некуда. Конечно, он славный малый, я ничего против него не имею. Только так и не научился держать ружье, все занимался упаковкой свинины или чем-то таким... Говорят, он сбил кокарду со шляпы своего слуги. Это в его стиле — нацепить кокарды на слуг!.. А еще он подстрелил петуха с флюгера на раззолоченной беседке. Пожалуй, больше он птиц не убивал. Вы туда идете?

Фишер довольно неопределенно ответил, что он придет, как только кое-что уладит, и министр финансов покинул трактир. Марчу показалось, что он был чем-то расстроен или раздражен, когда заказывал выпивку, но, поговорив с ними, успокоился; однако совсем не то ожидал от него услышать представитель прессы. Через несколько минут они не спеша вышли. Фишер стал

посреди дороги и принялся смотреть в ту сторону, откуда они начали свою прогулку. Затем они вернулись обратно ярдов на двести и снова остановились.

— Думаю, это и есть то самое место, — сказал он.

— Какое место? — спросил его спутник.

— Место, где его убили, беднягу, — печально ответил Фишер.

— Что вы хотите сказать? — спросил Марч. — Он же разбился о скалы за полторы мили отсюда.

— Нет, — ответил Фишер. — Он не разбился о скалы, он даже не падал на них. Разве вы не заметили, что его выбросило на склон, покрытый мягкой травой? Я сразу понял, что в него всадили пулю. — И, помолчав, добавил: — В трактире он был жив, но умер задолго до того, как доехал до скал. Его застрелили, когда он вел машину вот на этом участке дороги; я полагаю, где-нибудь здесь. Машина покатила прямо, уже некому было затормозить или свернуть. Все очень хитро и умно придумано. Тело обнаружат далеко от места преступления и станут думать, как подумали и вы, что произошел несчастный случай. Убийца — тонкая bestия.

— Разве выстрела не услышали бы в кабачке или еще где-нибудь? — спросил Марч.

— Ну что ж, и слышали, но не обратили внимания, — продолжал добровольный следователь. — И тут убийца все рассчитал. Весь день здесь охотятся, и выбрать нужный момент совсем не трудно. Конечно, это мог придумать только опытный преступник. Но этим не исчерпываются его таланты.

— Что вы имеете в виду? — спросил Марч, и от недоброго предчувствия по его спине пробежали мурашки.

— Убийца — первоклассный стрелок, — сказал Фишер.

Он круто повернулся и пошел по узкой, поросшей травой тропинке, отделявшей большое поместье от заболоченных, покрытых пестрым вереском лугов. Марч от нечего делать побрел за Фишером. Они остановились у деревянного крашеного забора, видневшегося через просветы в высоком бурьяне и боярышнике, и Фишер стал внимательно рассматривать доски. За забором поднимался ряд высоких, густых тополей. Они слабо качались на легком ветру; день склонялся к вечеру, и гигантские тени деревьев резко удлинились.

— Вы могли бы стать хорошим преступником? — дружелюбно спросил вдруг Фишер. — Боюсь, что я не мог бы. Но какой-нибудь взломщик четвертого разряда из меня, наверное, вышел бы.

И прежде чем его спутник успел ответить, он легко перемахнул через забор; Марч последовал за ним без особого усилия, но вконец сбитый с толку. Тополя росли так близко к забору, что они оба с трудом проскользнули между ними, а дальше видна была только высокая живая изгородь из лавров, блестящая под

заходящим солнцем. Марч пробирался через преграды кустов и деревьев, и ему казалось, что впереди не лужайка, а дом с опущенными шторами. Ему казалось, что он влез в окно или в дверь и путь загородили груды мебели. Наконец они миновали изгородь и очутились на заросшей травой лужайке, которая зеленым уступом переходила в продолговатую площадку, по-видимому, крокетную. За ней тянулось небольшое строение — низкая оранжерея, похожая на стеклянный домик из сказки.

Фишер хорошо знал, как одиноки разбросанные службы большого имения. Он понимал, что эти постройки — насмешка над аристократией, гораздо более злая, чем поросшие сорняками развалины. Они не запущены, но заброшены, во всяком случае забыты. Их тщательно прибирают и украшают для хозяина, который никогда сюда не явится.

Однако, глядя с лужайки на площадку, Фишер обнаружил предмет, который, кажется, вовсе не ожидал увидеть: что-то вроде треноги, поддерживавшей большой диск, похожий на крышку круглого стола. Когда они подошли ближе, Марч понял, что это мишень. Она была старая и выцветшая; радужные краски концентрических кругов давно поблекли; вероятно, ее установили здесь в далекие времена королевы Виктории, когда в моде была стрельба из лука. В живом воображении Марча тотчас возникли туманные видения дам в широких легких кринолинах и мужчин в диковинных шляпах, с бакенбардами, некогда посещавших заброшенный теперь сад.

Но тут его испугал Фишер, внимательно разглядывавший мишень.

— Взгляните, — кричал он, — кто-то основательно изрешетил ее пулями, и совсем недавно! Скорей всего, здесь тренировался старый Джинк.

— Пожалуй, ему еще долго придется тренироваться, — ответил, смеясь, Марч. — Ни одной пробоины у центра, разбросаны как попало.

— Как попало, — повторил Фишер, внимательно вглядываясь в мишень.

Казалось, он согласился со спутником, но Марч заметил, как заблестели под сонными веками его глаза и с каким трудом распрямил он сутулую спину.

— Извините, я немного задержу вас, — сказал Фишер, ощупывая карманы. — Кажется, у меня с собой кое-какие химикалии. Потом пойдем к дому.

Он снова склонился над мишенью и стал накладывать пальцем на пробоины какое-то снадобье, насколько Марч мог разглядеть, серую мазь. Уже надвигались сумерки, когда они по длинной зеленой аллее подошли к большому дому.

Однако необычный следователь не пожелал войти через парадную дверь. Они обогнули дом, отыскивали открытое окно и влез-

ли в комнату, где, по-видимому, хранилось оружие. Вдоль одной из стен рядами стояли дробовики, а на столе лежали более тяжелые и грозные ружья.

— Это охотничьи ружья Берка,— сказал Фишер. — Я и не знал, что он хранит их здесь.

Он поднял одно, быстро осмотрел и, насупившись, положил обратно. Почти в тот же момент в комнату стремительно вошел незнакомый молодой человек, темноволосый, крепкий, с выпуклым лбом и бульдожьей челюстью. Коротко извинившись, он сказал:

— Я оставил здесь ружья майора Берка. Он уезжает вечером, хочет их упаковать.

И он унес оба ружья, даже не взглянув на Марча; из открытого окна они видели, как он шел по тускло освещенному саду, Фишер снова выбрался в сад через окно и постоял, глядя ему вслед.

— Это и есть Гокетт, о котором я вам говорил, — сказал он. — Я знал, что он вроде секретаря у Берка, возится с его бумагами, но не думал, что он возится и с ружьями. Он заботливый домовый, на все руки мастер. Такого можно знать годами и не догадаться, что он чемпион по шахматам.

Они пошли вслед за Гокеттом и вскоре увидели на лужайке оживленно болтающих гостей. Среди них выделялся мощный охотник на крупную дичь.

— Между прочим,— заметил Фишер, — помните, мы говорили о Берке и Гокетте, и я сказал вам, что нельзя писать ружьем? Ну, теперь я не так уверен в этом. Слыхали вы когда-нибудь о художнике, который мог бы рисовать ружьем? Так вот, здесь гложет такой гений.

Сэр Говард шумно и дружелюбно приветствовал Фишера и журналиста. Последнего представили майору Берку и мистеру Гокетту, а также (между прочим) хозяину, мистеру Дженкинсу, невзрачному человечку в добротном, но кричащем костюме, к которому все относились ласково и снисходительно, словно к ребенку.

Неугомонный министр финансов все еще говорил об охоте, о птицах, которых он убил, и о птицах, по которым промазал Дженкинс. Кажется, тут все помешались на таких шутках.

— Что там крупная дичь! — горячился он, наступая на Берка. — В крупную всякий попадет. Другое дело — мелкая, тут нужен настоящий стрелок.

— Совершенно верно,— вмешался Хорн Фишер. — Вот если бы из-за того куста выпорхнул гиппопотам или в имении разводили бы летающих слонов...

— Ну, тогда и Джинк подстрелил бы такую птичку! — воскликнул сэр Говард, весело хлопая хозяина по спине. — Он попал бы даже в стог сена или в гиппопотама.

— Послушайте, друзья,— сказал Фишер. — Пойдемте постреляем. Только не в гиппопотама. Я нашел очень любопытного зверя. Он всех цветов радуги, о трех ногах и об одном глазе.

— Это еще что такое? — хмуро спросил Берк.

— Пойдем, и увидите, — весело ответил Фишер.

В погоне за новыми впечатлениями люди, подобные этим, клонут на любую нелепость. Так случилось и теперь. Гости снова вооружились и с серьезным видом двинулись вслед за гидом. У раззолоченной беседки сэр Говард задержался, с восхищением показывая пальцем на искривленного золотого петуха. Сумерки уже переходили в темноту, когда они добрались наконец до отдаленной лужайки, чтобы играть в новую бесцельную игру — стрелять по старым пробоинам.

Когда праздная компания полукругом сгрудилась против мишени, последние отблески света угасли на лужайке и тополя на фоне заката казались громадными черными перьями на пурпурном катафалке.

Сэр Говард похлопал хозяина по плечу, игриво подталкивая его вперед и уговаривая выстрелить первым. Плечо и рука Дженкинса, которых коснулся министр, казались неестественно напряженными и угловатыми. Мистер Дженкинс держал ружье еще более неуклюже, чем могли ожидать его насмешливые друзья.

И вдруг раздался страшный вопль. Он шел неведомо откуда и был так чудовищен, так не соответствовал обстановке, что издать его могло только фантастическое существо, пролетевшее в этот миг над ними или притаившееся неподалеку в темном лесу. Но Фишер знал, что он возник и замер на побелевших губах Джефферсона Дженкинса. И никто, взглянув в этот момент на лицо канадца, не назвал бы его невыразительным.

Как только все увидели, что стоит перед ними, майор Берк разразился потоком грубых, но добродушных ругательств. Мишень возвышалась над потемневшей травой, словно страшный, насмехающийся над ними призрак. У него были горящие, как звезды, глаза, очерченные огненными точками, вывороченные ноздри и большой растянутый рот. Над глазами светящимся пунктиром были обозначены седые брови, и одна из них поднималась вверх почти под прямым углом. Это была талантливая карикатура, выполненная яркими светящимися линиями, и Марч сразу узнал, кого она изображала. Мишень сияла в темноте мерцающим огнем и казалась чудовищем со дна морского, выползшим в окутанный сумерками сад. Но у чудовища была голова убитого человека.

— Да ведь это всего-навсего светящаяся краска, — сказал Берк. — Старина Фишер выкинул трюк со своей фосфоресцирующей мазью.

— Очень похоже на нашего Пагги,— заметил сэр Говард. — Поразительное сходство, ничего не скажешь!

Все, кроме Дженкинса, рассмеялись. Когда смех умолк, он издал несколько странных звуков, какие, вероятно, издал бы зверь, если бы вздумал засмеяться. Хорн Фишер решительно подошел к Дженкинсу и сказал:

— Мистер Дженкинс, я должен немедленно поговорить с вами наедине.

Вскоре после этой странной и нелепой сцены, рассеявшей веселых гостей, Марч снова, как было условлено, встретился со своим новым другом у маленького ручья под нависшей скалой.

— Это я придумал такой трюк — намазал мишень фосфором,— мрачно сказал Фишер. — Надо было его напугать внезапно, иначе он не выдал бы себя. Он тренировался на этой мишени и, когда увидел в ней светящееся лицо своей жертвы, не мог сдержаться. Для моего внутреннего удовлетворения этого вполне достаточно.

— Боюсь, что я и сейчас толком не понимаю, — ответил Марч. — Что же он сделал и для чего?

— Вы должны понять, — мрачно улыбаясь, ответил Фишер. — Ведь это вы навели меня на след. Да, да, вы высказали очень тонкую мысль. Вы сказали, что человек, которому предстоит обедать в богатом доме, не станет брать с собой сэндвичи. Вполне резонно, и отсюда вывод: хотя он и ехал туда, обедать там он не собирался. Или, по крайней мере, допускал, что не будет обедать. Дальше я подумал: должно быть, он знал, что ему предстоит неприятный визит, или что ему окажут не слишком радушный прием, или что сам он отклонит гостеприимство. Затем я вспомнил, что Тернбул в свое время был грозой людей с темным прошлым, — возможно, он и сюда приехал, чтобы опознать и обвинить одного из них. С самого начала мне казалось вероятным, что таким может быть только хозяин, Дженкинс. А теперь я вполне убежден, что он и есть тот самый «нежелательный иностранец», над которым Тернбул требовал суда за совсем другие подвиги. Как видите, охотник держал про запас еще один выстрел.

— Но вы сказали, что убийца — первоклассный стрелок.

— Дженкинс отличный стрелок,— ответил Фишер. — Первоклассный стрелок, который притворился плохим. И знаете, что еще, кроме вашей фразы, натолкнуло меня на подозрение? Рассказы моего кузена. Дженкинс сбил кокарду и прострелил флюгер — надо быть первоклассным стрелком, чтобы стрелять так. Надо стрелять очень метко, чтобы попасть в кокарду, а не в голову или шляпу. Если бы эти промахи были действительно случайными, только один шанс из тысячи, что они пора-

зили бы именно такие заметные мишени. Дженкинс потому их и выбрал. О петухе и кокарде рассказывали все, кому не лень. Потому-то он и не снимает с беседки исковерканный флюгер — хочет увековечить эту сказку, превратить ее в легенду, в броню. А сам сидит с ружьем в засаде и высматривает жертву.

Это еще не все. Посмотрите на беседку. Она тоже стоит внимания. В ней есть все, за что Дженкинса поднимают на смех, — и позолота, и кричащие цвета, вся та вульгарность, которая пристала выскочке. А выскочки, наоборот, всего этого избегают. В обществе их, слава богу, достаточно, и мы хорошо их знаем. Больше всего они боятся походить на выскочек. Обычно они только и думают, как бы усвоить хороший тон и не сделать промаха. Они отдаются на милость декораторов и прочих знатоков, которые все для них делают. Едва ли найдется хоть один миллионер, который отважился бы держать в своем доме стулья с позолоченными вензелями, как в той охотничьей комнате. То же самое с фамилией. Такие фамилии, как Томкинс или Дженкинс, смешны, но не банальны; я хочу сказать, они банальны, но не распространены. Другими словами, они обыденны, но не обычны. Именно такую фамилию надо выбрать, если хочешь, чтобы она выглядела заурядной, но на самом деле она совсем не заурядна. Много ли вы знаете Томкинсов? Эта фамилия встречается гораздо реже, чем, скажем, Тэлбот... А смешная одежда? Дженкинс одевается, как персонаж из «Панча». Да он и есть персонаж из «Панча» — вымышленная личность. Он — мифическое животное. Его просто нет.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что это значит — быть человеком, которого нет? То есть быть персонажем — и никогда не выходить из образа, подавлять свои достоинства, лишать себя радостей, а главное — скрывать свои таланты? Что такое быть лицемером навыворот, прячущим свой дар под личиной ничтожества? Он проявил большую изобретательность, нашел совершенно новую форму лицемерия. Хитрый негодяй может подделаться под блестящего джентльмена, или почтенного коммерсанта, или филантропа, или святошу, но кричащий клетчатый костюм смешного неотесанного невежды — это действительно ново. Такая маскировка должна очень тяготить человека одаренного. А этот ловкий проходимец поистине разносторонне одарен, он умеет не только стрелять, но и рисовать, и писать красками, и, быть может, даже играть на скрипке. И вот такому человеку нужно скрывать свои таланты, но он не может удержаться, чтобы не использовать их хотя бы тайно, без всякой пользы. Если он умеет рисовать, он будет машинально рисовать на промокательной бумаге. Я подозреваю, что этот подлец часто рисовал лицо несчастного Пагги на промокашке. Возможно, сначала он рисовал его кляксами, а позже — точками, или, вернее, дырками. Как-то в уединенном уголке сада он нашел заброшен-

ную мишень и не мог отказать себе в удовольствии тайком пострелять, как некоторые тайком пьют. Вам показалось, что пробоины разбросаны как попало; они разбросаны, но отнюдь не случайно. Между ними нет двух одинаковых расстояний, все точки нанесены как раз там, куда он метил. Ничто не требует такой математической точности, как шарж. Я сам немного рисую, и уверяю вас, поставить точку как раз там, где вы хотите, — нелегкая задача, даже если вы рисуете пером, а бумага лежит перед вами. И это чудо, если точки нанесены из ружья. Человек, способный творить такие чудеса, всегда будет стремиться к ним — хотя бы тайно.

Фишер замолчал, а Марч глубокомысленно заметил:

— Не мог же он убить его, как птицу, одним из тех дробовиков.

— Вот почему я пошел в охотничью комнату, — ответил Фишер. — Он застрелил его из охотничьего ружья, и Берку показалось, что он узнал звук, потому-то он и выбежал из дома без шляпы, такой растерянный. Он ничего не увидел, кроме быстро промчавшегося автомобиля; некоторое время он смотрел ему вслед, а потом решил, что ему померещилось.

Они снова замолчали. Фишер сидел на большом камне так же неподвижно, как при их первой встрече, и смотрел на серебристо-серый ручей, убегавший под зеленые кусты.

— Теперь он, конечно, знает правду, — резко сказал Марч.

— Никто не знает правды, кроме меня и вас, — ответил Фишер, и мягкие нотки зазвучали в его голосе, — а я не думаю, чтобы мы с вами когда-нибудь поссорились.

— О чем вы? — изменившимся голосом спросил Марч. — Что вы сделали?

Хорн Фишер пристально смотрел на быстрый ручеек. Наконец он проговорил:

— Полиция установила, что произошла автомобильная катастрофа.

— Но вы ведь знаете, что это не так, — настаивал Марч.

— Я вам уже говорил, что знаю слишком много, — ответил Фишер, не сводя глаз с воды. — Я знаю об этом и о многом другом. Я знаю, чем и как живут люди этой среды и как у них все делается. Я знаю, что проходимцу Дженкинсу удалось внушить всем, что он заурядный и смешной человек. Если я скажу Говарду или Гокетту, что старина Джинк убийца, они, пожалуй, лопнут со смеху у меня на глазах. О, я не уверен, что их смех будет вполне безгрешен, хотя, по-своему, он может быть искренним. Им нужен старый Джинк, они не могут без него обойтись. Я и сам не без греха. Я люблю Говарда и не хочу, чтобы он оказался на мели, а это непременно случится, если Джинк не заплатит за свой титул. На последних выборах они были чертовски близки к провалу, уверяю вас. Но главная причина моего молчания другая: его разоблачить невозможно. Мне никто не

поверит, это слишком невысказано. Сбитый набок флюгер мигом превратит все в веселую шутку.

— А вы не думаете, что молчать позорно? — спокойно спросил Марч.

— Я многое думаю. Я думаю, например, что, если когда-нибудь взорвут динамитом и пошлют к черту это хорошее, связанное крепким узлом общество, человечество не пострадает. Но не судите меня слишком строго за то, что я знаю это общество. Потому-то я и трачу время так бессмысленно — ловлю вонючую рыбу.

Наступило молчание. Фишер снова уселся на камень, затем добавил:

— Я же говорил вам — крупную рыбу приходится выбрасывать в воду.

БЕЛАЯ ВОРОНА

Гарольд Марч и те немногие, кто поддерживал знакомство с Хорном Фишером, замечали, что при всей своей общительности он довольно одинок. Они встречали его родных, но ни разу не видели членов его семьи. Его родственники и свойственники пронизывали весь правящий класс Великобритании, и казалось, что почти со всеми он дружит или хотя бы ладит. Он отлично знал вице-королей, министров и важных персон и мог потолковать с каждым из них о том, к чему собеседник относился серьезно. Так, он беседовал с военным министром о шелковичных червях, с министром просвещения — о сыщиках, с министром труда — о лиможских эмалях, с министром религиозных миссий и нравственного совершенства (надеюсь, я не спутал?) — о прославленных мимах последних четырех десятилетий. А поскольку первый был ему кузеном, второй — троюродным братом, третий — зятем, а четвертый — мужем тетки, эта гибкость способствовала, бесспорно, укреплению семейных уз. Однако Гарольд Марч считал, что у Фишера нет ни братьев, ни сестер, ни родителей, и очень удивился, когда узнал его брата — очень богатого и влиятельного, хотя, на взгляд Марча, гораздо менее интересного. Сэр Генри Гарленд Фишер (после его фамилии шла еще длинная вереница букв) занимал в министерстве иностранных дел какой-то пост, куда более важный, чем пост министра. Держался он очень вежливо, тем не менее Марчу показалось, что он смотрит сверху вниз не только на него, но и на собственного брата. Последний, надо сказать, чутьем угадывал чужие мысли и сам завел об этом речь, когда они вышли из высокого дома на одной из фешенебельных улиц.

— Как, разве вы не знаете, что в нашей семье я дурак? — спокойно промолвил он.

— Должно быть, у вас очень умная семья, — с улыбкой заметил Марч.

— Вот она, истинная любезность! — отозвался Фишер. — Полезно получить литературное образование. Что ж, пожалуй, «дурак» слишком сильно сказано. Я в нашей семье банкрот, неудачник, «белая ворона».

— Не могу себе представить, — сказал журналист. — На чем же вы срезались, как говорят в школе?

— На политике, — ответил Фишер. — В ранней молодости я выставил свою кандидатуру и прошел в парламент «на ура», огромным большинством. Разумеется, с тех пор я жил в безвестности.

— Боюсь, я не совсем понял, при чем тут «разумеется», — засмеялся Марч.

— Это и понимать не стоит, — сказал Фишер. — Интересно другое. События разворачивались, как в детективном рассказе. К тому же тогда я впервые узнал, как делается современная политика. Если хотите, расскажу.

Дальше вы прочитаете то, что он рассказал — правда, здесь это меньше похоже на притчу и на беседу.

Те, кому в последние годы довелось встречаться с сэром Генри Гарлендом Фишером, не поверили бы, что когда-то его звали Гарри. На самом же деле в юности он был очень ребячлив, и присущая ему толстокожесть, принявшая ныне форму важности, проявлялась тогда в неумной веселости. Друзья сказали бы, что он стал таким непробиваемо взрослым, потому что смолоду был по-настоящему молод. Враги сказали бы, что он сохранил былую легкость в мыслях, но утратил добродушие. Как бы то ни было, история, поведанная Хорном Фишером, началась тогда, когда юный Гарри стал личным секретарем лорда Солтауна. Дальнейшая связь с министерством иностранных дел перешла к нему как бы по наследству от этого великого человека, вершившего судьбы империи. В Англии было три или четыре таких государственных деятеля; огромная его работа оставалась почти неведомой, а из него можно было выудить только грубые и довольно циничные шутки. Тем не менее, если бы лорд Солтаун не обедал как-то у Фишеров и не сказал там одной фразы, простая застольная острота не породила бы детективного рассказа.

Кроме лорда Солтауна в гостиной были только Фишеры, — второй гость, Эрик Хьюз, удалился сразу после обеда, покинув своих сотрапезников за кофе и сигарами. Он очень серьезно и красноречиво говорил за столом, но, отобедав, немедленно ушел на какое-то деловое свидание. Это было весьма для него характерно. Редкая добросовестность уживалась в нем с позерством. Он не пил вина, но слегка пьянел от слов. Портреты его и слова красовались в то время на первых страницах всех газет: он оспаривал на дополнительных выборах место, прочно забронированное за сэром Фрэнсисом Вернером. Все говорили о его громовой речи против засилья помещиков; даже у Фишеров все

говорили о ней — кроме Хорна, который, притулившись в углу, мешал кочергой в камине. Тогда, в молодости, он был не вялым, а скорее угрюмым. Определенных занятий он не имел, рылся в старинных книгах и — один из всей семьи — не претендовал на политическую карьеру.

— Мы здорово ему обязаны, — говорил Эштон Фишер. — Он вдохнул новую жизнь в нашу старую партию. Эта кампания против помещиков бьет в большое место. Она расшевелила остатки нашей демократии. Актом о расширении полномочий местного совета мы, в сущности, обязаны ему. Он, можно сказать, диктует законы раньше, чем попал в парламент.

— Ну, это и впрямь легче, — беспечно сказал Гарри. — Держу пари, что лорд в этом графстве большая шишка, поважнее совета. Вернер сидит крепко. Все эти сельские местности, что называется, реакционны. Тут ничего не попишешь, сколько ни ругай аристократов.

— А ругает он их мастерски, — заметил Эштон. — У нас никогда не было такого удачного митинга, как в Баркингтоне, хотя там всегда проходили конституционалисты. Когда он сказал: «Сэр Фрэнсис кичится голубой кровью — так покажем ему, что у нас красная кровь!» — и повел речь о мужестве и свободе, его чуть не вынесли на руках.

— Говорит он хорошо, — пробурчал лорд Солтаун, впервые проявляя интерес к беседе.

И тут заговорил столь же молчаливый Хорн, не отводя задумчивых глаз от пламени в камине.

— Я одного не понимаю, — сказал он. — Почему людей не ругают за то, за что их следует ругать?

— Эге, — насмешливо откликнулся Гарри, — значит, и тебя пробрало?

— Возьмите Вернера, — продолжал Хорн. — Если мы хотим напасть на него, почему не напасть прямо? Зачем присваивать ему романтический титул реакционного аристократа? Кто он такой? Откуда он взялся? Фамилия у него как будто старинная, но что-то я о ней не слышал. К чему говорить о его голубой крови? Да будь она хоть желтая с прозеленью — какое нам дело? Мы знаем одно: прежний владелец земли, Гокер, каким-то образом промотал свои деньги и, наверное, деньги второй жены и продал поместье человеку по фамилии Вернер. На чем же тот разбогател? На керосине? На поставках для армии?

— Не знаю, — сказал Солтаун, задумчиво глядя на Хорна.

— В первый раз слышу, что вы чего-то не знаете! — воскликнул пылкий Гарри.

— И это еще не все, — продолжал Хорн, внезапно обретший дар слова. — Если мы хотим, чтобы деревня голосовала за нас, почему мы не выдвинем кого-нибудь хоть немного знакомого с деревней? Горожанам мы вечно долбим о репе и свинарниках. А с крестьянами почему-то говорим исключительно о городском

благоустройстве. Почему не раздать землю арендаторам? Зачем припутывать сюда совет графства?

— Три акра и корову! — выкрикнул Гарри (точнее, издал то самое, что называют в парламентских отчетах ироническим возгласом).

— Да, — упрямо ответил его брат. — Ты думаешь, земледельцы и батраки не предпочтут три акра земли и корову трем акрам бумаги с советом в придачу? Почему не учредить крестьянскую партию? Ведь старая Англия славилась йоменами — мелкими землевладельцами. И почему не преследовать таких, как Вернер, за их настоящие пороки? Ведь он так же чужд Англии, как американский нефтяной трест!

— Вот сам и возглавил бы этих йоменов, — засмеялся Гарри. — Ну и потеха!.. Вы не находите, лорд Солтаун? Хотел бы я посмотреть, как мой братец поведет в Сомерсет веселых молодцов с самострелами! Конечно, все будут в зеленом сукне, а не в шляпах и пиджаках.

— Нет, — ответил старик Солтаун. — Это не потеха. Помому, это чрезвычайно серьезная и разумная мысль.

— Ах ты черт! — воскликнул Гарри и удивленно воззрился на него. — Я только что сказал, что вы в первый раз чего-то не знаете. А теперь скажу, что вы впервые не поняли шутки.

— Я за свою жизнь навидался всякого, — довольно сухо сказал старик. — Столько раз я говорил неправду, что она мне порядком надоела. И все-таки должен сказать, что неправда неправде рознь. Дворяне лгут, как школьники, потому что держатся друг за друга и в какой-то мере друг друга выгораживают. Но убей меня Бог, если я понимаю, зачем нам лгать ради каких-то проходимцев, которые пекутся только о себе. Они нас не выгораживают, а просто-напросто выпирают. Если такой человек, как ваш брат, захочет пройти в парламент от йоменов, дворян, якобитов или староангличан, я скажу, что это великолепно!

Секунду все молчали. Вдруг Хорн вскочил, вся его вялость исчезла.

— Я готов хоть завтра! — воскликнул он. — Вероятно, никто из вас меня не поддержит?

Тут Генри Фишер показал, что в его экспансивности есть и хорошие стороны. Он повернулся к брату и протянул ему руку.

— Ты молодчина, — сказал он. — И я тебя поддержу, даже если другие не поддержат... Поддержим его, а? Я понимаю, куда клонит лорд Солтаун. Разумеется, он прав. Он всегда прав.

— Значит, я еду в Сомерсет, — сказал Хорн Фишер.

— Это по пути в Вестминстер, — улыбнулся лорд Солтаун.

И вот через несколько дней Хорн Фишер прибыл в городок одного из западных графств и сошел на маленькой станции. С собой он вез легкий чемоданчик и легкомысленного брата. Не надо думать, что брат только и умел что зубоскалить, — он

поддерживал нового кандидата не просто весело, но и с толком. Сквозь его шутливую фамильярность просвечивало горячее сочувствие. Он всегда любил своего спокойного и чудаковатого брата, а теперь, по-видимому, стал его уважать. По мере того как кампания разворачивалась, уважение перерастало в пламенное восхищение. Гарри был молод и еще мог обожать застрельщика в предвыборной игре, как обожает школьник лучшего игрока в крикет.

Надо сказать, восхищаться было чем. Трехсторонний спор разгорался — и не только родным, но и чужим открывались неведомые дотоле достоинства младшего Фишера. У семейного очага просто вырвалось на волю то, о чем он долго размышлял: он давно лелеял мысль выставить новое крестьянство против новой плутократии. Всегда — и в те дни, и позже — он изучал не только нужную тему, но и все, что попадалось под руку. Обращения его к толпе блистали красноречием, ответы на каверзные вопросы блистали юмором. Природа с избытком наделила его этими двумя необходимыми для политика талантами. Разумеется, он знал о деревне гораздо больше, чем кандидат реформистов Хьюз или кандидат конституционалистов сэр Фрэнсис Вернер. Он изучал ее так пылко и основательно, как им и не снилось. Вскоре он стал глашатаем народных чаяний, никогда еще не выходивших в мир газет и речей. Он умел увидеть проблему с неожиданной точки зрения; он приводил доказательства и доводы, привычные не в устах джентльмена, а за кружкой пива в захолустном кабаке; воскрешал полузабытые надежды; мановением руки или словом переносил людей в далекие века, когда деды их были свободными. Такого еще не видали, и страсти накалялись.

Людей просвещенных его мысли поражали новизной и фантастичностью. Люди невежественные узнавали то, что давно думали сами, но никогда не надеялись услышать. Все увидели вещи в новом свете и никак не могли понять, закат это или заря нового дня.

Успеху способствовали и обиды, которых крестьяне натерпелись от Вернера. Разъезжая по фермам и постоялым дворам, Фишер убедился, что сэр Фрэнсис очень дурной помещик. Как он и предполагал, тот воцарился тут недавно и не совсем достойным способом. Историю его воцарения хорошо знали в графстве, и, казалось бы, она была вполне ясна. Прежний помещик Гокер — человек распутный и темный — не ладил с первой женой и, по слухам, свел ее в могилу. Потом он женился на красивой и богатой даме из Южной Америки. Должно быть, ему удалось в кратчайший срок спустить и ее состояние, так как он продал землю Вернеру и переселился в Америку, вероятно, в поместье жены. Фишер подметил, что распущенность Гокера вызывала гораздо меньше злобы, чем деловитость Вернера. Насколько он понял, новый помещик занимался в основном сделками и махинаци-

ями, успешно лишая ближних спокойствия и денег. Фишер наслушался про него всякого; только одного не знал никто, даже сам Солтаун. Никак не удавалось выяснить, откуда Вернер взял деньги на покупку земли.

«Должно быть, он особенно тщательно это скрывает, — думал Хорн Фишер. — Наверное, очень стыдится. Черт! Чего же в наши дни может стыдиться человек?»

Он перебирал подлости, одна страшней и чудовищней другой: древние, гнусные формы рабства и ведовства мерещились ему, а за ними — не менее мерзкие, хотя и более модные пороки. Образ Вернера преображался, чернел все гуще на фоне чудовищных сцен и чужих небес.

Погрузившись в размышления, он шел по улице и вдруг увидел соперника, столь непохожего на него. Эрик Хьюз садился в машину, договаривая что-то на ходу своему агенту; белокурые волосы развевались, лицо у него было возбужденное, как у студента-старшекурсника. Завидев Фишера, Хьюз дружески помахал рукой. Но агент — коренастый, мрачный человек по фамилии Грайс — взглянул на него недружелюбно. Хьюз был молод, искренне увлекался политикой и знал к тому же, что с противником можно встретиться на званом обеде. Но Грайс был угрюмый сельский радикал, ревностный нонконформист, один их тех немногих счастливых, у которых совпали дело и хобби. Когда машина тронулась, он повернулся спиной и зашагал, насвистывая, по крутой улочке. Из кармана у него торчали газеты.

Фишер задумчиво поглядел ему вслед и вдруг, словно повинаясь порыву, двинулся за ним. Они прошли сквозь суету базара, меж корзин и тележек, миновали деревянную вывеску «Зеленого дракона», свернули в темный переулок, вынырнули из-под арки и снова нырнули в лабиринт мощенных булыжником улиц. Решительный, коренастый Грайс важно выступал впереди, а тощий Фишер скользил за ним словно тень в ярком солнечном свете. Наконец они подошли к бурому кирпичному двору; медная табличка у дверей извещала, что в нем живет мистер Грайс. Хозяин дома обернулся и с удивлением увидел своего преследователя.

— Не разрешите ли побеседовать с вами, сэр? — вежливо осведомился Фишер.

Агент удивился еще больше, но кивнул и любезно провел гостя в кабинет, заваленный листовками и увешанный пестрыми плакатами, сочетавшими имя Хьюза с высшим благом человечества.

— Мистер Хорн Фишер, если не ошибаюсь, — сказал Грайс. — Ваш визит, конечно, большая честь для меня. Однако не буду лукавить: меня совсем не радует, что вы вступили в спор. Да вы и сами знаете. Мы здесь храним верность старому знамени свободы, а вы являетесь и ломаете наши боевые ряды.

Мистер Элайджа Грайс не любил милитаризма, но питал пристрастие к военным метафорам. У него была квадратная

челюсть, грубое лицо и драчливо взлохмаченные брови. В политику он ввязался чуть ли не мальчишкой, знал все и вся и отдал политической борьбе свое сердце.

— Вероятно, вы думаете, что меня гложет честолюбие, — сказал Хорн Фишер, как всегда, с расстановкой. — Мечу, так сказать, в диктаторы. Что ж, сниму с себя это подозрение. Просто я хочу кое-чего добиться. Но сам делать ничего не хочу. Я очень редко хочу что-нибудь делать. И я пришел сюда, чтобы сказать: я готов немедленно прекратить борьбу, если вы мне докажете, что мы оба добиваемся одного и того же.

Агент реформистов растерянно взглянул на него, но Фишер не дал ему ответить и продолжал так же медленно:

— Как ни трудно в это поверить, я еще не потерял совести и меня терзают сомнения. Например, мы оба хотим провалить Вернера, но как? Я слышал о нем пропасть сплетен, но можно ли пользоваться сплетнями? Я хочу вести себя честно и с вами, и с ним. Если хоть часть слухов верна, перед ним надо закрыть дверь парламента, как закрыли бы дверь любого клуба. Но если они неверны, я не хочу ему вредить.

Тут боевой огонек вспыхнул в глазах Грайса, и он заговорил пылко, если не сказать — гневно. Он-то не сомневался, что все рассказы верны, и подкрепил их собственными. Вернер не только жесток, но и подл, он разбойник и кровопийца, он дерет с крестьян три шкуры, и всякий порядочный человек вправе от него отвернуться. Он выжил старика Уилкинса с земли подло, как карманный вор; он довел до богадельни тетку Биддл; а когда он вел тязбу с Длинным Адамом, браконьером, судьи краснели за него.

— Так что, если вы встанете под старое знамя, — бодро закончил Г р а й с , — и свалите такого мерзавца, вы об этом не пожалете!

— Но раз это правда, — сказал Ф и ш е р , — вы расскажете ее?

— То есть как это? Сказать правду? — удивился Грейс.

— Сказали же вы мне, — ответил Ф и ш е р . — Расклейте по городу плакаты про старика Уилкинса. Заполните газеты гнусной историей с тетушкой Биддл. Изобличите Вернера публично, призовите его к ответу, расскажите про браконьера, которого он преследовал. А кроме того, разузнайте, как он добыл деньги, чтобы купить землю, и открыто расскажите об этом. Тогда я стану под старое знамя и спущу свой маленький вымпел.

Агент смотрел на него кислотовато, хотя и дружелюбно.

— Ну, знаете!.. — протянул о н . — Такие вещи приходится делать по правилам, как положено, а то никто ничего не поймет. У меня очень большой опыт, и я боюсь, что ваш способ не годится. Люди понимают, когда мы обличаем помещиков вообще; но личные выпады делать непорядочно. Это — удар ниже пояса.

— У старого Уилкинса, наверное, пояса нет и в помине, — сказал Ф и ш е р . — Вернер может бить его куда попало, никто

и слова не скажет. Очевидно, главное — иметь пояс. А пояса бывают только у важных персон. Может быть, — задумчиво прибавил он, — так и надо толковать старинное выражение «препосланый граф», смысл которого всегда ускользал от меня.

— Я хочу сказать, что нельзя переходить на личности, — хмуро сказал Грайс.

— А тетушка Биддл, а Адам-браконьер не личности, — сказал Фишер. — Что ж, видимо, не приходится спрашивать, каким образом Вернер сколотил деньги и стал... личностью.

Грайс по-прежнему смотрел на него из-под нависших бровей, но странный огонек в его глазах стал светлее. Наконец он заговорил другим, более спокойным тоном:

— Послушайте, а вы мне нравитесь. Я думаю, вы действительно человек честный и стоите за народ. Может быть, вы гораздо честнее, чем сами думаете. Тут нельзя действовать напролом, так что лучше не вставайте под наше знамя, играйте на свой страх и риск. Но я уважаю вас и вашу смелость и окажу вам на прощанье хорошую услугу. Я не хочу, чтобы вы ломались в открытую дверь. Вы спрашиваете, каким образом новый помещик добыл деньги и как разорился старый? Отлично. Я скажу вам кое-что ценное. Очень немногие об этом знают.

— Спасибо, — серьезно сказал Фишер. — Что же это такое?

— Буду краток, — ответил Грайс. — Новый помещик был очень беден, когда получил земли. Старый помещик был очень богат, когда их потерял.

Фишер в раздумье глядел на него, а он резко отвернулся и принялся перебирать бумаги на письменном столе. Кандидат снова поблагодарил его, простился и вышел на улицу, по-прежнему в большой задумчивости.

Раздумья его, по-видимому, привели к какому-то решению, и, ускорив шаг, он вышел на дорогу, ведущую к воротам огромного парка, принадлежавшего сэру Фрэнсису. День был солнечный, и ранняя зима походила на позднюю осень, а в темных лесах еще пестрели кое-где красные и золотые листья, словно последние клочки заката. Путь пролегал через пригорок, Фишер увидел сверху, у самых своих ног, длинный классический фасад, усеянный окнами. Но когда дорога спустилась к ограде поместья, за которой высились деревья, он сообразил, что до ворот усадьбы добрых полмили. Он пошел вдоль ограды и через несколько минут увидел, что в одном месте в стене образовалась брешь и ее, по-видимому, чинят. В серой каменной кладке, будто темная пещера, зиял огромный пролом, но, приглядевшись, Фишер рассмотрел за ним шелестящие в полутьме деревья. Этот неожиданный пролом был словно заколдованный вход в сказочную страну.

Он прошел через этот темный и незаконный ход так же свободно, как входят в собственный дом, думая, что это укоротит путь. Довольно долго он не без труда пробирался по темному лесу; наконец внизу, сквозь деревья, замерцали непонятные

серебряные полоски. Тут он вышел на свет и очутился на крутом обрыве. Внизу, по краю красивого озера, вилась тропинка. Пелена воды, мерцавшая сквозь деревья, была довольно широка и длинна, а со всех сторон ее окружала стена леса — не только темного, но и жуткого. На одном конце тропинки стояла статуя безголовой нимфы, на другом — две классические урны; мрамор был изъеден непогодой и испещрен зелеными и серыми пятнами. Сотня признаков — мелких, но красноречивых — говорила о том, что Фишер забрел в дальний, заброшенный уголок парка. Посреди озера виднелся остров, а на острове — павильон, задуманный, видимо, в стиле античного храма, хотя дорические колонны соединяла глухая стена. Нужно сказать, что остров только казался островом: от берега к нему шла перемычка из плоских камней, превращавшая его в полуостров. И разумеется, храм только казался храмом: Фишер прекрасно знал, что никакой бог не обитал никогда под его сенью.

«Вот почему все эти классические украшения садов так унылы,— подумал о н . — Унылее Стоунхенджа и пирамид. Мы не верим в египетских богов, египтяне же верили, и я думаю, даже друиды верили в друидизм. Но дворянин восемнадцатого столетия, построивший эти храмы, верил в Венеру или Меркурия не больше нашего. Отражение в озере этих бледных колонн поистине только тень тени. В век разума сады заселяли каменными нимфами, но за всю историю не было людей, которые так мало надеялись бы встретить живую нимфу в лесу».

Монолог его был прерван грохотом, похожим на удар грома. Эхо мрачно гудело вокруг печального озера, и Фишер понял, что кто-то выстрелил из ружья. Странные мысли закружились в его мозгу, но он тут же засмеялся: невдалеке, на тропинке, лежала убитая птица.

В ту же минуту он увидел нечто другое, куда более загадочное. Храм окружало кольцо густых деревьев с темной листвой, и Фишер заметил, что листья как будто зашевелились. Он был прав: какой-то оборванный человек выступил из тени храма и зашагал к берегу по плоским камням. Даже сверху он казался на удивление высоким, и Фишер увидел, что под мышкой он держит ружье. В памяти сразу всплыли слова: «Длинный Адам, браконьер».

Мгновенно сообразив что делать, Фишер спрыгнул с обрыва и побежал вокруг озера к началу перешейка. Он понимал: если браконьер дойдет до суши, он может немедленно скрыться в чаще. Фишер вступил на плоские камни, и Адам оказался в ловушке; ему оставалось одно — вернуться к храму. Так он и сделал. Прислонившись к стене широкой спиной, он ждал, приготовившись к защите. Он был довольно молод; над тонким худым лицом пламенели лохматые волосы, а выражение его глаз испугало бы всякого, кто очутился бы с ним наедине на пустынном острове.

— Здравствуйте, — приветливо сказал Фишер. — Я было принял вас за убийцу. Но вряд ли эта куропатка кинулась между нами из любви ко мне, как романтическая героиня. Так что вы, вероятно, браконьер?

— Не сомневаюсь, что вы назовете меня браконьером, — ответил незнакомец, и Фишера удивило, что такое пугало говорит изысканно и резко, как те, кто блюдет свою утонченность среди необразованных людей. — Я имею полное право стрелять тут дичь. Но я прекрасно знаю, что люди вашего сорта считают меня вором. Полагаю, вы постараетесь упечь меня в тюрьму.

— Тут есть небольшие осложнения, — ответил Фишер. — Начать с того, что вы мне польстили: я не егерь и уж никак не три егеря, а только они справились бы с вами. Есть у меня еще одна причина не тащить вас в тюрьму.

— Какая? — спросил Адам.

— Да просто я с вами согласен, — ответил Фишер. — Не знаю, какие у вас права, но мне всегда казалось, что браконьер совсем не то, что вор. Трудно понять, что человек получает в собственность любую птицу, которая пролетит над его садом. С таким же основанием можно сказать, что он владеет ветром или может расписаться на утреннем облаке. И еще одно: если мы хотим, чтобы бедные уважали собственность, мы должны дать им свою собственность. Вам следовало бы иметь хоть клочок собственной земли, и я вам его дам, если смогу.

— Дадите мне клочок земли!.. — повторил Длинный Адам.

— Простите, что я говорю с вами, как на митинге, — сказал Фишер, — но я политический деятель совершенно нового типа и говорю одно и то же публично и в частной беседе. Я повторял это сотням людей по всему графству и повторяю вам на этом странном островке, среди унылого пруда. Это поместье я разделил бы на мелкие участки и роздал бы их всем, даже браконьерам. Человек вроде вас должен иметь свой уголок, чтобы разводиться там... не фазанов, конечно, а хотя бы цыплят.

Адам внезапно выпрямился. Он побледнел и вспыхнул, словно его оскорбили.

— «Цыплят!»! — презрительно и гневно повторил он.

— А что ж? — спросил невозмутимый кандидат. — Разве куроводство слишком скромный удел для браконьера?

— Я не браконьер! — закричал Адам, и его гневный голос раскатился по пустынному лесу, как эхо выстрела. — Эта мертвая куропатка — моя. Земля, на которой вы стоите, — моя. У меня отнял землю преступник куда похуже браконьера. Сотни лет тут было только одно поместье, и если вы или всякие там нахалы попытаетесь разрезать его, как пирог... если я услышу еще раз о вас и ваших идиотских планах...

— Довольно бурный митинг у нас получается, — заметил Хорн Фишер. — Ладно, говорите. Что же случится, если

я попытаюсь честно распределить это поместье между честными людьми?

Браконьер ответил спокойно и зло:

— Тогда между нами не будет куропатки.

С этими словами он повернулся спиной, показывая, видимо, что разговор окончен, прошел мимо храма в дальний конец островка, остановился и стал смотреть на воду. Фишер последовал за ним, заговорил снова, но ответа не получил и пошел к берегу. Проходя мимо храма, он подметил в нем кое-какие странности. Обычно такие строения хрупки, как декорации, и он думал, что этот классический храм только декорация, пустая скорлупа. Но оказалось, что за путаницей серых сучьев, похожих на каменную змею, под зелеными куполами листьев стоит весьма основательная постройка. Особенно удивился Фишер, что в плотной, серовато-белой стене — всего одна дверь с большим ржавым засовом, который, однако, не задвинут. Он обошел храм кругом и не нашел никаких отверстий, кроме маленькой отдушины под самой крышей.

Он задумчиво вернулся по камням на берег озера и сел на каменные ступеньки между двумя погребальными урнами. Потом достал сигарету и задумчиво закурил; вынув записную книжку, он стал что-то писать и переписывать, пока не получилось следующее:

«1) Гокер не любил свою первую жену;

2) На второй жене он женился из-за денег;

3) Длинный Адам говорит, что поместье, в сущности, принадлежит ему;

4) Длинный Адам бродит на острове вокруг храма, похожего на тюрьму;

5) Гокер не был беден, когда потерял поместье;

6) Вернер был беден, когда его приобрел».

Он серьезно смотрел на эти заметки, потом горько улыбнулся, бросил сигарету и пошел напрямик к усадьбе. Вскоре он напал на тропинку, и та, извиваясь между клумбами и подстриженными кустами, привела его к длинному классическому фасаду. Дом подходил не на жилище, а на общественное здание, сосланное в глушь.

Прежде всего Фишер увидел дворецкого, казавшегося гораздо старше здания, ибо дом был построен в XVIII веке, а лицо под неестественным бурым париком бороздили морщины тысячелетней давности. Только глаза навывкате блестели живо и даже гневно. Фишер взглянул на дворецкого, остановился и сказал:

— Простите, не служили ли вы при покойном мистере Гокере?

— Да, сэр, — серьезно ответил слуга. — Моя фамилия Эшер. Чем могу быть полезен?

— Проводите меня к сэру Фрэнсису, — ответил гость.

Сэр Фрэнсис Вернер сидел в удобном кресле у маленького столика в большой, украшенной шпалерами комнате. На столике стояла бутылка, рюмка с остатками зеленого ликера и чашка черного кофе. Помещик был одет в удобный серый костюм, к которому не очень шел тускло-красный галстук; но, взглянув на завитки его усов и на прилизанные волосы, Фишер понял, что у сэра Фрэнсиса совсем другое имя — Франц Вернер.

— Мистер Хорн Фишер? — спросил хозяин. — Прошу вас, присядьте.

— Нет, благодарю, — ответил Фишер. — Боюсь, что визит мой не дружеский, так что я лучше постою, если вы меня не выставите. Вероятно, вам известно, что я-то уже выставил... свою кандидатуру.

— Я знаю, что мы политические противники, — ответил Вернер, поднимая брови. — Но я думаю, будет лучше, если мы поведем борьбу по всем правилам — в старом, честном английском духе.

— Гораздо лучше, — согласился Фишер. — Это было бы очень хорошо, будь вы англичанин, и еще того прекрасней, если бы вы хоть раз в жизни играли честно. Буду краток. Мне не совсем известно, как смотрит закон на ту старую историю, но главная моя цель — не допустить, чтобы Англией правили такие, как вы. И потому, что бы ни говорил закон, лично я не скажу больше ни слова, если вы сейчас же снимете свою кандидатуру.

— Вы, очевидно, сумасшедший, — сказал Вернер.

— Может быть, я не совсем нормален, — печально сказал Фишер. — Я часто вижу сны, даже наяву. Иногда события как-то двоятся для меня, словно это уже было когда-то. Вам никогда так не казалось?

— Надеюсь, вы не буйнопомешанный? — осведомился Вернер.

Но Фишер рассеянно глядел на гигантские золотые фигуры и коричнево-красный узор, испещрявший стены. Потом снова взглянул на Вернера и сказал:

— Мне все кажется, что это уже было, в этой самой украшенной шпалерами комнате, и мы с вами — два призрака, вернувшиеся на старое место. Только там, где сидите вы, сидел помещик Гокер, а там, где стою я, стояли вы. — Он помолчал секунду, потом прибавил просто: — И еще мне кажется, что я шантажист.

— Если вы шантажист, — сказал сэр Фрэнсис, — обещаю вам, что вы попадете в тюрьму.

Но на лицо его легла тень, словно отблеск зеленого напитка, мерцавшего в бокале. Фишер пристально посмотрел на него и сказал спокойно:

— Шантажисты не всегда попадают в тюрьму. Иногда они попадают в парламент. Но хотя парламент и без того гниет, вы

в него не попадете. Я не так преступен, как были вы, когда торговались с преступником. Вы принудили помещика отказаться от поместья. Я же прошу вас отказаться только от места в парламенте.

Сэр Фрэнсис Вернер вскочил и окинул взглядом старинные шпалеры в поисках звонка.

— Где Эшер? — крикнул он, побледнев.

— А кто такой Эшер? — кротко спросил Хорн. — Интересно, много ли он знает?

Рука Вернера выпустила шнур сонетки, глаза его налились кровью, и, постояв минуту, он выскочил из комнаты. Фишер удалился так же, как вошел; не найдя Эшера, он сам открыл парадную дверь и направился к городу.

Вечером того же дня, прихватив с собой фонарь, он вернулся один в темный парк, чтобы прибавить последние звенья к цепи своих обвинений. Он многого еще не знал, но думал, что знает, где найти недостающие сведения. Надвигалась темная и бурная ночь, и дыра в стене была чернее черного, а чаша деревьев стала еще гуще и мрачнее. Пустынное озеро, серые урны и статуи наводили уныние даже днем; ночью же, перед бурей, казалось, что ты пришел к Ахерону в стране погибших душ. Осторожно ступая по камням, Фишер все дальше и дальше углублялся в бездны тьмы, откуда уже не докричишься до страны живых. Озеро стало больше моря; черная, густая, вязкая вода дремала жутко и спокойно, словно смыла весь мир. Все двоилось, как в кошмаре, и Фишер очень обрадовался, что наконец дошел до заброшенного островка. Он узнал его по нависшему над ним сверхъестественному безмолвию; ему показалось, что шел он туда несколько лет.

Он взял себя в руки и, успокоившись, остановился под темным драконовым деревом, чтобы зажечь фонарь, а потом направился к двери храма. Засовы не были заложены, и ему почудилось, что дверь приоткрыта. Однако, присмотревшись, он понял, что это просто обман зрения: свет падал теперь под другим углом. Он стал внимательно исследовать ржавые болты и петли, как вдруг почувствовал, что очень близко, над самой головой, что-то есть. Что-то свисало с дерева — но то была не обломанная ветка. Он замер и похолодел: то были человеческие ноги, может быть, ноги мертвеца; но почти сразу понял, что ошибся. Человек — безусловно, живой — взмахнул ногами, спрыгнул и шагнул к непрошеному гостю. В ту же секунду ожили еще три или четыре дерева. Пять или шесть существ вывалились из странных гнезд. Ему показалось, что остров кишит обезьянами, но они бросились на него, схватили — и он понял, что это люди.

Он ударил переднего фонарем по лицу — тот упал и покатился по скользкой траве, но фонарь разбился, погас, и стало совсем темно. Второго человека Фишер швырнул о стену, и тот

тоже упал. Третий и четвертый схватили Фишера за ноги и, как он ни отбивался, понесли к двери. Даже в суматохе драки он заметил, что дверь открыта. Кто-то руководил бандитами изнутри.

Войдя в дом, они швырнули его не то на скамью, не то на кровать, но он не ушибся, а упал на мягкие подушки. Бандиты обращались с ним очень грубо, вероятно, в спешке, и не успел он приподняться, как они кинулись к двери. Кто бы ни были эти люди, они бесчинствовали с явной неохотой и хотели поскорей отделаться. У Фишера мелькнула мысль, что настоящие преступники вряд ли впали бы в такую панику. Тяжелая дверь захлопнулась, закрипели засовы и застучали по камням быстрые шаги. Но все-таки Фишер успел сделать то, что хотел. Подняться он не мог, но он вытянул ногу и зацепился ею, как крюком, за лодыжку последнего из выбегавших. Тот споткнулся, опрокинулся навзничь на пол тюрьмы, и тут захлопнулась дверь. Его сообщники не сообразили в спешке, что потеряли одного из своих.

Человек вскочил и отчаянно забарабанил в дверь руками и ногами. К Фишеру вернулось чувство юмора; он сел на диван небрежно, как всегда, и, слушая, как узник дубасит в дверь тюрьмы, задумался над новой загадкой.

Если человек хочет позвать товарищей, он не только колотит в дверь, но и кричит. Этот же барабанил в дверь руками и ногами, но из горла его не вылетело ни единого звука. В чем тут дело? Сначала Фишер подумал, что ему заткнули рот, но это было нелепо. Потом ему пришла в голову другая мысль: а может, с ним немой? Он не мог понять, почему это так гнусно, но ему стало совсем не по себе. Ему было как-то жутко остаться взаперти с глухонемым, словно эта болезнь постыдна, связана с другими ужасными уродствами. Словно тот, кого он не видел в темноте, слишком страшен, чтобы выйти на свет.

И тут его озарила здравая мысль. Все очень просто и довольно занятно. Человек молчит, потому что боится, как бы его не узнали по голосу. Он надеется уйти из этого темного места раньше, чем Фишер разгадает, кто он. Так кто же он? Несомненно одно: он — один из четырех или пяти человек, с которыми Фишер имел дело в этих местах в связи с последними странными событиями.

— Интересно, кто же вы такой... — сказал он вслух, лениво и любезно, как всегда. — Вряд ли стоит вас душить, чтобы узнать это: не так уж приятно провести ночь с трупом. К тому же трупом могу оказаться и я. Спичек у меня нет, фонарь я разбил... что ж, остается гадать. Кто же вы такой? Подумаем.

Тот, к кому он так любезно обращался, перестал барабанить в дверь и уныло забился в угол. Фишер тем временем продолжал:

— Может быть, вы браконьер, не признающий себя браконьером. Длинный Адам говорил, что он помещик. Надеюсь, он не посетует, если я ему скажу, что он прежде всего дурак. Можно ли рассчитывать, что Англия станет страной свободных крестьян, когда сами крестьяне заразились чванством и возомнили себя господами? Как установить демократию, если нет демократов? Вы хотите быть помещиком; вы согласны стать преступником. Знаете, в этом вы сходитесь с другим известным мне лицом. Вот я и думаю: а вдруг вы и есть это самое «лицо»?

Он замолчал. В углу сопел незнакомец, отдаленный рокот проникал в отдушину над его головой. Наконец Хорн заговорил снова:

— Может, вы только слуга — скажем, тот зловещий тип, что служил и Гокеру и Вернеру... Если это так, вы единственный мост между ними. Зачем вы унижаетесь? Зачем вы служите подлому выскочке, когда видели последнего из нашей знати? Такие, как вы, обычно любят Англию. Разве вы ее не любите, Эшер? Наверное, мое красноречие ни к чему — вы совсем не Эшер. Скорее, вы сам Вернер. Да, на вас не стоит тратить красноречия. Вас все равно не пристыдишь. Бесплезно бранить вас за то, что вы губите Англию, да и не вас надо бранить. Это нас, англичан, надо ругать за то, что мы пустили таких гадов на стольные места наших королей и героев. Нет, лучше не буду думать, что вы — Вернер, а то без драки не обойтись. Кем же вы еще можете быть? Неужели вы из реформистов? Никогда не поверю, что вы — Грайс. Хотя есть у него во взгляде что-то одержимое... а люди идут на многое в этих подлых политических сварях. А если вы не прислужник, значит, вы... Нет, не верю. Это не красная кровь свободы и мужества. Это не знамя демократии.

Он вскочил — и в ту же секунду над решеткой прогрехотал гром. Началась гроза, и его сознание озарилось новым светом. Он знал, что сейчас случится.

— Понимаете, что это значит? — крикнул он. — Сам Господь подержит мне свечку, чтоб я увидел ваше чертово лицо!

Оглушительно ударил гром. Но за миг до него белый свет озарил комнату на ничтожную долю секунды.

Фишер увидел две вещи: черный узор решетки на белом небе и лицо в углу. То было лицо его брата.

Он выговорил имя, и воцарилась тишина, более жуткая, чем мрак. Потом Гарри Фишер встал, и голос его наконец прозвучал в этой ужасной комнате.

— Ты меня видел, — сказал он, — так что можно зажечь свет. Ты мог зажечь его и раньше, вот выключатель.

Он нажал кнопку, и все вещи в комнате стали четче, чем днем. Вещи эти, надо сказать, так поразили узника, что он забыл на минуту о своем открытии. Здесь была не камера, а, скорей, гостиная или даже будуар, если б не сигареты и вино на журнальном столике. Хорн пригляделся и понял, что вино и сигареты

принесли недавно, а мебель стоит тут давно. Он заметил выцветший узор драпировки — и удивился окончательно.

— Эти вещи — из того дома? — сказал он.

— Правильно, — ответил Гарри. — Я думаю, ты понял, в чем тут дело.

— Да, — сказал Хорн. — И прежде чем перейти к более важному, скажу, что же я понял. Гокер был подлец и двоеженец. Его первая жена не умерла, когда он женился на второй. Он просто запер ее тут, на острове. Здесь она родила сына; теперь он бродит вокруг и зовется Длинным Адамом. Разорившийся делец Вернер пронюхал об этом и шантажом вынудил Гокера отдать ему поместье. Все это проще простого. Теперь перейдем к трудному. Какого черта ты напал на родного брата?

Гарри Фишер ответил не сразу:

— Ты, наверное, не думал, что это я. Но, по совести, чего же ты мог ожидать?

— Боюсь, что я тебя не понимаю, — сказал Хорн.

— Чего ты мог ожидать, когда наломал столько дров? — заволновался Гарри. — Мы все думали, что ты умный. Откуда нам знать, что ты... ну, что ты так провалишься?

— Странно, — нахмурился кандидат. — Не буду хвастать, но мне кажется, я совсем не провалился. Все митинги прошли «на ура», и мне обещали массу голосов.

— Еще бы! — мрачно сказал Гарри. — Твои дурацкие акры и коровы произвели переворот. Вернеру не получить и голоса. Все пропало!

— О чем ты?

— О чем? Нет, ты правда не в себе! — искренне и звонко крикнул Гарри. — Ты что, думал, тебя и впрямь прочат в парламент? Ты же, взрослый в конце концов! Пройти должен Вернер. Кому ж еще? В следующую сессию он должен получить финансы, а потом повернуть египетский заем и еще разные штуки. Мы просто хотели, чтоб ты на всякий случай расколол реформистов. Понимаешь, Хьюзу слишком повезло в Баркингтоне.

— Так... — сказал Хорн. — А ты, насколько мне известно, столп и надежда реформистов. Да, я действительно дурак.

Воззвание к партийной совести не имело успеха — столп реформистов думал о другом. Наконец он сказал не без волнения:

— Мне не хотелось тебе попадаться. Я знал, что ты расстроишься. Ты никогда бы меня не поймал, если б я не пришел проследить, чтоб тебя не обидели. Думал устроить все поудобней... — И голос его дрогнул, когда он сказал: — Я нарочно купил твои любимые сигареты.

Чувства — странная штука. Нелепость этой заботы растрогала Хорна Фишера.

— Ладно,— сказал он . — Не будем об этом говорить. Ты — самый добрый подлец и ханжа из всех, кто продавал совесть ради гибели Англии. Лучше сказать не могу. Спасибо за сигареты. Я закурю, если позволишь.

К концу рассказа Марч и Фишер вошли в один из лондонских парков, сели на скамью и увидели с пригорка зеленую даль под светлым, серым небом. Могло показаться, что последние фразы не совсем вытекают из вышеизложенных событий.

— С тех пор я так и жил в этой комнате. Я и теперь в ней живу. На выборах я победил, но не попал в парламент. Я остался там, на острове. У меня есть книги, сигареты, комфорт; я много знаю и многим занимаюсь, но ни один отзвук не долетает из sklepa до внешнего мира. Там я, наверное, и умру.

И он улыбнулся, глядя на серый горизонт поверх зеленой громады парка.

НЕУЛОВИМЫЙ ПРИНЦ

Начало этой истории теряется среди множества других историй, сплетенных вокруг имени хотя и не древнего, но легендарного. Это имя — Майкл О'Нейл, которого в народе звали принцем Майклом, отчасти потому, что он провозгласил себя потомком старинного рода принцев-фениев, отчасти потому, что он намеревался, как гласит молва, стать принцем-президентом Ирландии, по примеру последнего Наполеона во Франции. Несомненно, он был джентльменом благородного происхождения и обладал многими совершенствами, из коих два были особенно примечательны. Ему было свойственно появляться, когда его не ждали, и исчезать, когда его ждали, и в особенности когда ждала полиция. Можно добавить, что его исчезновения были опаснее появлений. В последних он редко выходил из границ сенсационного — срывал правительственные воззвания, расклеивал мятежные воззвания, произносил пламенные речи, подымал запретные флаги. Но, исчезая, он нередко боролся за свою свободу с такой поразительной энергией, что счастлив был тот из его преследователей, кому удавалось отделаться проломленной головой и не сломать себе на этом шею. Однако свои самые знаменитые и чудесные побегу он осуществил благодаря находчивости, но не насилью.

Однажды, безоблачным летним утром, весь белый от пыли, он появился на дороге перед крестьянским домиком и с равнодушным светского человека сообщил дочери фермера, что за ним гонится местная полиция. Девушку звали Бриджет Ройс, она была красива, но красота ее была строгой и даже суровой. Она сумрачно взглянула на него и недоверчиво спросила:

— Ты хочешь, чтобы я спрятала тебя?

В ответ он только рассмеялся, легко перепрыгнул каменную изгородь и зашагал к ферме, небрежно бросив через плечо:

— Благодарю, до сих пор мне всегда удавалось прятаться самому.

Тем самым он проявил пагубное непонимание женского сердца, и на его путь, озаренный солнечным сиянием, легла роковая тень.

Он скрылся в доме, девушка осталась у дверей, глядя на дорогу, на которой появились двое мокрых от пота и спотыкающихся от усталости полицейских. Она ничего им не сказала, хотя все еще сердилась, и четверть часа спустя полицейские, обшарив дом, уже обыскивали огород и ржаное поле, лежащее за ним. Поддавшись мстительному порыву, она могла бы даже не устоять перед искушением и выдать беглеца, если бы не одно пустячное затруднение: так же как и полицейские, она не представляла себе, куда он мог спрятаться.

Низенькая изгородь окружала огород, а за ним, как квадратная заплатка на склоне большого зеленого холма, лежало поле; человек, идущий по полю, был бы отчетливо виден даже издалека.

Все прочно стояло на своих привычных местах. Яблоня была слишком мала, чтобы в ее ветвях мог спрятаться человек. Единственный сарай с открытой настежь дверью был явно пуст. Не слышно было ни звука, только гудела мошкара да прошелестела крыльями птичка, шарахнувшись с непривычки от пугала, стоявшего в поле. Почти нигде не было тени, только от тоненького деревца падало на землю несколько синих полос. Каждая мелочь четко, как под микроскопом, выступала в ярком солнечном свете. Позже девушка описала эту картину со страстностью и реализмом, присущим ее народу. Что же касается полицейских, то они, не способные к такому образному восприятию действительности, сумели во всяком случае здраво оценить положение и, отказавшись от погони, удалились со сцены.

Бриджет Ройс стояла неподвижно, как заколдованная, глядя на залитый солнцем огород, в котором, словно дух, исчез человек. Мрачное настроение не оставляло ее, и таинственное исчезновение стало казаться ей чем-то враждебным и страшным, точно этот дух был злым духом.

Солнечный свет угнетал ее больше, чем угнетала бы тьма, но она не отрывала взгляда от залитого солнцем поля. Вдруг ей почудилось, что мир лишился рассудка, и она закричала. Пугало тронулось с места. Все время оно стояло спиной к ней, в бесформенной старой черной шляпе и изодранной одежде, а теперь быстрыми шагами удалялось прочь по косогору, только лохмотья развевались на ветру. Девушка не стала размышлять о дерзкой маскировке, с помощью которой этому человеку удалось использовать тонкое взаимодействие между ожидаемым и действительным. Она все еще была во власти сложных личных переживаний и запомнила только, что, удаляясь, пугало даже не обернулось, чтобы взглянуть на ферму.

Судьба, столь неблагоприятная к его фантастической борьбе за свободу, решила, чтобы следующее его приключение, хотя

в одном отношении и увенчавшееся успехом, еще сильнее увеличило опасность в другом отношении. Среди многочисленных историй подобного рода, передаваемых про него, ходит рассказ о том, как несколько дней спустя другая девушка, по имени Мэри Греган, обнаружила, что он прячется на ферме, где она служила. И если верить рассказам, она также пережила сильное потрясение. Она работала одна во дворе и вдруг услышала голос из колодца; оказалось, что этот удивительный человек ухитрился залезть в бадью, спущенную в колодец, где было мало воды. На этот раз, однако, ему пришлось обратиться к женщине за помощью, — он попросил ее вытянуть бадью. И говорят, что, когда весть об этом дошла до Бриджет Ройс, та решила наконец на предательство.

Таковы были слухи о его приключениях, ходившие в округе. Их было много. Еще рассказывали, как однажды, одетый в роскошный зеленый халат, он с дерзким видом стоял на лестнице большого отеля, ожидая полицейских, а затем заставил их гнаться за собой по анфиладе великолепных покоев, заманил их к себе в спальню, а оттуда на балкон, висевший над рекой. В ту минуту, когда преследовавшие его полицейские ступили на балкон, он подломился под их тяжестью, и они посыпались в бурлящие волны; сам же Майкл, успевший сбросить халат, нырнул и ускользнул от погони. Рассказывают, что он заранее подпилил подпорки, чтобы они не выдержали такой нагрузки, как вес полицейских. Однако и в этом побеге он добился лишь кажущегося успеха, ибо один из полицейских утонул, оставив семью, чья непримиримая ненависть нанесла некоторый вред популярности принца.

Эти истории передаются сейчас с такими подробностями не потому, что были самыми чудесными и замечательными из всех его приключений, но потому, что только на них не наложила запрет молчания преданность местных крестьян. Только эти истории и были изложены в официальных отчетах, и о них-то читали и рассуждали трое представителей власти графства в ту минуту, когда началась самая замечательная часть нашего рассказа.

Давно уже наступила ночь, но на берегу, в окнах домика, где временно расположились полицейские, горел свет. Здание это было последним в ряду редко разбросанных домов деревни, а за ним начиналась болотистая пустошь, заросшая вереском, которая тянулась до самого моря. Ровная линия берега вдалеке нарушалась лишь одинокой башней старинной архитектуры — такие еще встречаются в Ирландии, — стройной, как колонна, с остроконечным, как у пирамиды, верхом. У окна, перед которым расстился этот пейзаж, за деревянным столом сидели двое в штатском, сохранивших, впрочем, некоторую военную выправку, как и подобало людям, возглавлявшим местную сыскную полицию. Старшим по возрасту и по чину был коренастый

человек с подстриженной седой бородой и седыми нахмуренными бровями, что было вызвано скорее озабоченностью, чем суровостью.

Звали его Мортон, родом он был из Ливерпуля и давно уже варился в котле ирландских междоусобиц, выполняя свой долг по обязанности, но с некоторой долей сочувствия. Он произнес несколько фраз, обращаясь к своему помощнику Нолану, высокому темноволосому человеку с типичным для ирландца длинным лицом землистого цвета, а затем, вспомнив что-то, нажал звонок, отозвавшийся в соседней комнате. Тотчас же явился подчиненный с папкой бумаг.

— Присядьте, Уилсон,— сказал Мортон. — Что у вас? Показания?

— Да,— ответил тот. — Думаю, что я вытянул из них все, что было можно. Я отпустил их.

— А Мэри Греган дала показания? — спросил Мортон, хмурясь несколько больше обычного.

— Нет, зато рассказал ее хозяин, — ответил тот, кого звали Уилсоном. У него были прямые рыжие волосы и некрасивое бледное лицо, впрочем не лишенное известной проницательности. — Думаю, что он сам увивается за нею и потому все выболтал о сопернике. В тех случаях, когда нам говорят правду, всегда имеется какая-нибудь причина такого рода. Зато, уж будьте спокойны, другая девица сказала все.

— Ну что ж, будем надеяться, что эти сведения хоть на что-нибудь пригодятся, — весьма уныло заметил Нолан, глядя в тьму за окном.

— Все пригодится,— сказал Мортон, — все, что мы о нем знаем, пойдет на пользу.

— Мы знаем о нем одно,— сказал Уилсон. — И этого никто никогда раньше не знал. Мы знаем, где он сейчас находится.

— Вы в этом уверены? — спросил Мортон, пристально глядя на него.

— Вполне уверен,— ответил его помощник. — В эту самую минуту он находится вон в той башне у моря. Если вы подойдете поближе, вы увидите в окне горящую свечу.

В это время с дороги донесся автомобильный гудок, а спустя мгновение — шум затормозившей перед дверью машины. Мортон проворно вскочил на ноги.

— Слава Богу, приехали из Дублина,— сказал он. — Без особых полномочий я ничего не могу предпринять, даже если бы он сидел на верхушке этой башни и показывал нам язык. Но шеф может поступить, как сочтет нужным.

И он поспешил к двери встретить высокого красивого мужчину в меховом пальто, который внес в маленькую грязную комнату отблеск больших городов и роскоши большого света.

Это был сэр Уолтер Кэри, занимавший такое высокое положение в Дублинском замке, что только дело принца Майкла

могло побудить его совершить это ночное путешествие. Надо сказать, что дело принца Майкла осложнилось не только нарушением закона, но и самим законом. Последний раз ему удалось выскользнуть из рук правосудия не с помощью обычного для него дерзкого побега, но с помощью хитроумного толкования закона, и в настоящее время было неясно, подлежал он судебной ответственности или нет. Рассмотрение этого вопроса могло потребовать некоторой натяжки в толковании закона, человек же, подобный сэру Уолтеру, вероятно, мог бы растянуть его по своему усмотрению. Но намеревался ли он это сделать, никому не было известно.

Несмотря на почти вызывающую роскошь мехового пальто сэра Уолтера, все очень скоро поняли, что его большая львиная голова была не только украшением, но и весьма полезной принадлежностью, ибо он рассматривал это дело трезво и вполне разумно. Вокруг простого соснового стола поставили пять стульев; сэр Уолтер привез с собой родственника и секретаря по имени Хорн Фишер, молодого человека довольно апатичного вида со светлыми усами и преждевременно поредевшими волосами. Сэр Уолтер с серьезным вниманием, его секретарь с вежливой скукой выслушали повествование о том, как полицейским удалось выследить неуловимого бунтовщика от ступенек отеля до одинокой башни на морском берегу. Здесь, между болотом и бушующим морем, он попал наконец в ловушку; посланный Уилсоном разведчик доложил, что он сидит и пишет при свете одной свечи — может быть, сочиняет очередное грозное воззвание. Выбрать эту башню как место последней отчаянной схватки мог только принц. У него имелись какие-то притязания на нее, как на свой фамильный замок, и те, кто знал его, не удивились бы, если бы он вздумал подражать древнему ирландскому вождю, который погиб, сражаясь с морем.

— Подъезжая, я видел, что отсюда выходили какие-то подозрительные личности, — сказал сэр Уолтер. — Это, по-видимому, ваши свидетели. Но что они здесь делают в такую позднюю пору?

Мортон мрачно усмехнулся.

— Они приходят ночью, потому что их убили бы, если бы они пришли днем. Их считают преступниками, совершающими преступление более тяжкое, чем кражи и убийство.

— О каком преступлении вы говорите? — спросил с любопытством сэр Уолтер.

— Они помогают за кону, — ответил Мортон.

Наступило молчание. Сэр Уолтер рассеянно смотрел на лежащие перед ним бумаги. Наконец он сказал:

— Отлично, но посудите сами — если так сильны чувства местного населения, надо поразмыслить о многом. Думаю, что на основании вновь принятого закона я могу, если найду нужным, арестовать его. Но будет ли это наилучшим выходом из

положения? Серьезные беспорядки здесь повредили бы нам в парламенте, а наше правительство имеет врагов в Англии, так же как и в Ирландии. Если же я поверну дело круто и потом окажется, что я только вызвал восстание, это ни к чему хорошему не приведет.

— Напротив, — быстро сказал человек, которого звали Уилсоном. — Если вы арестуете его, не будет и половины тех волнений, которые произойдут, если вы оставите его на свободе еще на три дня. Впрочем, в наше время нет ничего, с чем бы не справилась настоящая полиция.

— Мистер Уилсон лондонец, — с улыбкой сказал сыщик-ирландец.

— Да, я настоящий кокни, — отвечал тот, — и думаю, для меня это не так уж плохо. Особенно в данном случае, как ни странно.

Сэра Уолтера, казалось, забавляло упорство полицейского, а еще более — легкий акцент, достаточно красноречиво говоривший о его происхождении.

— Не хотите ли вы сказать, — спросил он, — что вы лучше разбираетесь в этом деле оттого, что приехали из Лондона?

— Это может казаться смешным, я знаю, но таково мое мнение. Я убежден, что в подобных делах нужны новые методы. И прежде всего здесь нужен свежий глаз.

Все рассмеялись, но рыжеволосый полицейский продолжал с некоторой досадой:

— Нет, надо разобраться в фактах. Вспомните, как этот субъект ускользал каждый раз, и вы поймете, что я имею в виду. Почему ему удалось занять место пугала и спрятаться от всех под какой-то старой шляпой? Дело в том, что полицейский был из здешних, он знал, что на этом месте стоит пугало, или, вернее, ожидал его увидеть, и поэтому не обратил на него внимания. Ну а для меня пугало — вещь необычная, я никогда не видел их на улицах, и стоит мне заметить его в поле, как я начинаю смотреть на него во все глаза. Для меня это что-то новое и привлекающее внимание. То же самое повторилось, когда он спрятался в колодеце. Для вас колодец в таком месте — вещь обычная, вы ожидаете увидеть его и поэтому не замечаете. Я же не ожидаю — и поэтому вижу его.

— Да, это, конечно, мысль новая, — сказал, улыбаясь, сэра Уолтер. — А что вы скажете относительно балкона? Балконы ведь изредка попадают и в Лондоне.

— Но они не нависают над водой, словно в Венеции, — отвечал Уилсон.

— Да, это, конечно, мысль новая, — повторил сэра Уолтер, и в его голосе послышалось что-то похожее на уважение. Как все представители привилегированных классов, он обладал приверженностью к новым идеям. Но он обладал также и способностью критически мыслить и после некоторого раздумья пришел к выводу, что мысль эта была к тому же и правильная.

Начало светать. Стекла в окнах из черных превратились в серые, и сэр Уолтер решительно поднялся. За ним поднялись и другие, сочтя его движение знаком того, что арест предрешен. Однако их начальник стоял с минуту в глубоком раздумье, как бы сознавая, что оказался на перепутье. Внезапно тишину прервал долгий протяжный вопль, донесшийся издали, с темных болот. Наступившее молчание казалось страшнее самого крика. Его нарушил Нолан, произнесший сдавленным голосом:

— Это кричит фея смерти. Она пророчит кому-то могилу. — Его длинное лицо с крупными чертами стало бледнее луны, — среди присутствовавших он один был ирландец.

— Знаю я эту фею, — весело сказал Уилсон, — хоть вы и считаете, что я ничего не понимаю в таких вещах. Я сам говорил с этой феей час тому назад и послал ее к башне; это я приказал ей так кричать, если она увидит в окне, что наш друг все еще пишет свое воззвание.

— Вы говорите об этой девушке, Бриджет Ройс? — спросил Мортон, хмурия седые брови. — Неужели она решила, что это входит в ее обязанности свидетельницы обвинения?

— Да, — сказал Уилсон. — Вы утверждаете, что я ничего не смыслю в местных обычаях. Однако сдается мне, что разозленная женщина всюду ведет себя одинаково.

Нолан все еще оставался мрачным, ему явно было не по себе.

— Такой крик не предвещает ничего хорошего, как и все дело, — проговорил он. — И если это конец принцу Майклу, то, возможно, конец и для многих других. Если уж приходится ему драться, он дерется как одержимый и вырывается по колено в крови и через гору трупов.

— Это и есть настоящая причина ваших суеверных страхов? — спросил с легкой насмешкой Уилсон.

Бледное лицо ирландца потемнело от гнева.

— Я видел больше убийств у себя в графстве Клэр, чем вы — пьяных драк на станции Клэпам, мистер Кокни, — сказал он.

— Замолчите, — резко сказал Мортон. — Уилсон, вы не имеете никакого права выражать сомнения относительно поведения того, кто выше вас по чину. Надеюсь, что сами вы окажетесь таким же мужественным и достойным доверия, каким всегда был Нолан.

Бледное лицо рыжеволосого, казалось, побледнело еще больше, однако он сдержался и промолчал. Сэр Уолтер подошел к Нолану и проговорил с подчеркнутой учтивостью:

— Не отправиться ли нам сейчас, чтобы покончить с этим делом?

Светало. Между огромной серой тучей и огромным серым простором равнины появился широкий белый просвет, а за ним на фоне тусклого неба и моря вырисовывался четкий силуэт башни. Ее простые и строгие очертания наводили на мысль

о первых днях творения, о тех доисторических временах, когда не было еще красок, а существовал только чистый солнечный свет между тучами и землей. Лишь одна яркая точка оживляла эти темные тона — желтое пламя свечи в окне одинокой башни, все еще заметное в разгоревшемся свете дня. Когда группа сыщиков, сопровождаемая полицейским отрядом, расположилась полукругом перед башней, чтобы отрезать беглецу все пути к отступлению, свет в окне вспыхнул на мгновение, словно кто-то передвинул свечу, и погас. По-видимому, человек, находящийся внутри, заметил, что наступил рассвет, и задул свечу.

— В башне есть еще окна, не так ли? — спросил Мортон. — И конечно, дверь где-нибудь за углом, — впрочем, какие же могут быть углы у круглой башни.

— Еще один пример в пользу моей скромной теории, — спокойно заметил Уилсон. — Первое, на что я обратил внимание, когда приехал сюда, была эта чудная башня. Поэтому я могу рассказать вам кое-что о ней или во всяком случае о ее внешнем виде. Всего здесь четыре окна. Одно перед нами. Другое почти рядом, но его отсюда не видно. Оба эти окна, а также и третье, с противоположной стороны, находятся в нижнем этаже, образуя треугольник. Зато четвертое приходится прямо над третьим и, как мне кажется, расположено на верхнем этаже.

— Нет, это что-то вроде хоров, — сказал Нолан, — туда можно взлезть по приставной лестнице. Я часто играл там в детстве. Наверху ничего нет.

Его лицо омрачилось. Возможно, он подумал о трагедии своей родины и о той роли, которую он в ней исполнял.

— Во всяком случае, там есть стол и стул, — сказал Уилсон. — Конечно, ему нетрудно было взять их в деревне. Если вы разрешите, сэр, я бы предложил следующее: одновременно подойти ко всем пяти выходам. Кто-нибудь займет место у двери и по одному — у каждого окна. У Макбрайда есть лестница, которую можно приставить к верхнему окну.

Мистер Хорн Фишер, апатичный секретарь сэра Уолтера, повернулся к своему знаменитому родственнику и впервые за это время расслабленным голосом произнес:

— Я чувствую, что становлюсь приверженцем психологической школы «кокни».

По-видимому, каждый на свой лад поддался тому же влиянию, ибо все стали располагаться по предложенному плану. Мортон направился к окну, находящемуся прямо перед ним, в котором укрывшийся в башне преступник только что задул свечу. Нолан — несколько западнее, ко второму окну, в то время как Уилсон и следовавший за ним Макбрайд с лестницей, обойдя башню сзади, пошли к двум окнам, расположенным на противоположной стороне. Сам же сэр Уолтер Кэри, в сопровождении своего секретаря, занял место у входа, чтобы потребовать сдачи по всем правилам закона.

— Он вооружен, конечно? — небрежно спросил сэр Уолтер.

— Безусловно, — ответил Хорн Фишер. — Даже если в руках у него только подсвечник, он может сделать им больше, чем другие револьвером. Но у него есть и револьвер.

Не успел он договорить, как оглушительный грохот ответил на вопрос.

Мортон только что занял место у ближайшего окна, закрывая его широкими плечами. На одно мгновение окно осветилось изнутри красным пламенем и под сводами башни прогремело эхо. Квадратные плечи Мортон опустились, и его сильное тело рухнуло в высокую густую траву у подножья башни. Из окна маленьким облачком выплыл дымок. Сэр Уолтер и его секретарь, стоявшие позади Мортон, бросились поднимать его. Он был мертв. Сэр Уолтер выпрямился и крикнул что-то, однако второй выстрел, раздавшийся вслед за первым, заглушил его слова. Вероятно, это стреляли полицейские у противоположного окна, мстя за смерть своего товарища. В это время Фишер успел подбежать ко второму окну. Раздался крик изумления, и сэр Уолтер поспешил к своему секретарю. На траве лежало распростертое тело ирландца Нолана, трава вокруг была красной от крови. Когда они подбежали к нему, он еще дышал, но смерть уже была написана на его лице. Собрав последние силы, Нолан что-то пробормотал и махнул рукой, как бы давая им понять, что для него все уже кончено, героическим усилием отсылая их к товарищам, осаждавшим башню. Сэр Уолтер и его спутник, ошеломленные этими внезапными и ужасными событиями, столь быстро следовавшими одно за другим, почти бессознательно повиновались его жесту. Картина, которую они увидели, была столь же поразительна, хотя и менее трагична: два других полицейских не были убиты или смертельно ранены, но Макбрайд лежал со сломанной ногой под упавшей лестницей, которую, очевидно, оттолкнули от верхнего окна, а Уилсон лежал ничком, неподвижно, точно оглушенный, уткнувшись своей рыжей головой в серебристо-серые шарик серебрянки. Впрочем, его беспомощность была недолгим, потому что он зашевелился и попытался подняться, как только сэр Уолтер и его секретарь показали из-за башни.

— Черт возьми, точно взрыв! — вскричал сэр Уолтер.

И действительно, нельзя было иначе определить ту дьявольскую энергию, с какой один человек, зажатый в треугольник врагов, сломал его, почти одновременно посеяв смерть и разрушение на всех трех сторонах треугольника.

Уилсон уже поднялся на ноги и с удивительной энергией бросился к окну, держа револьвер наготове. Он дважды выстрелил в окно и прыгнул в него в дыму своих выстрелов; звук его шагов и стук упавшего стула свидетельствовали о том, что неустрашимый кокни проник наконец в башню. Последовала непонятная тишина, дым рассеивался, и сэр Уолтер, подойдя

к окну, заглянул в пустоту древней башни. Кроме Уилсона, озиравшегося вокруг, там никого не было.

Внутри башня представляла собой одну пустую комнату, в которой не оказалось ничего, кроме простого деревянного стула и стола. На столе были бумаги, перья и чернильница, рядом с ней стоял подсвечник. На стене, под верхним окном, виднелась грубо сколоченная из досок площадка, похожая скорее на большую полку. Добраться до нее можно было только по приставной лестнице. Площадка была пуста, как и вся комната с ее голыми стенами. Уилсон, оглядев помещение, подошел к столу и стал внимательно рассматривать лежащие на нем вещи. Затем он молча указал своим тощим пальцем на открытую страницу большой тетради. Человек, который писал в ней, остановился, даже не окончив начатого слова.

— Я говорю, это было похоже на взрыв, — сказал сэр Уолтер. — И сам человек будто тоже взорвался. Во всяком случае, он каким-то образом вылетел из башни, не повредив ее при этом. Вернее, он исчез, как мыльный пузырь, а не как взорвавшаяся бомба.

— Зато он повредил нечто гораздо более ценное, чем башня, — мрачно сказал Уилсон.

Наступило долгое молчание, затем сэр Уолтер произнес серьезно:

— Что ж, мистер Уилсон, я не сыщик. После происшедших здесь печальных событий придется вам взять на себя руководство. Мы все горько сожалеем о причине этого, но мне хотелось бы сказать, что в данном деле я полностью полагаюсь на ваши способности. Что мы должны предпринять?

Уилсон, казалось, вышел из своего подавленного состояния и ответил на его слова признательностью и уважением, которые вряд ли кому выказывал до сих пор. Он отдал распоряжение нескольким полицейским обыскать башню внутри, послав остальных осматривать ближайшие окрестности.

— Я думаю, — сказал он, — что прежде всего необходимо убедиться, не скрывается ли он где-нибудь в башне, ибо едва ли он мог выбраться оттуда. Бедняга Нолан, может быть, и стал бы говорить опять о фее смерти или о том, что это сверхъестественно, но вполне возможно. Однако мне нет нужды прибегать к помощи бестелесных духов, когда я имею дело с реальными предметами. А они таковы: пустая башня с лестницей, стул и простой стол.

— Спириты, — произнес сэр Уолтер с улыбкой, — сказали бы, что духи могут многое сделать с помощью простого стола.

— Только в том случае, если на нем стоит хорошая бутылка спиртного, — ответил Уилсон, улыбаясь своими бесцветными губами. — Здесь верят в духов, особенно когда нагружаются ирландским виски. Думается мне, этой стране не хватает просвещения.

Тяжелые веки Хорна Фишера дрогнули, точно он был не в силах сдержать ленивый протест против презрительного тона сыщика.

— Ирландцы слишком верят в духов, чтобы верить в спиритизм, — проговорил он тихо, растягивая слова. — Они слишком много о них знают. Если же вы хотите найти по-детски простодушную веру в любого духа, то ищите ее в своем любимом Лондоне.

— И не собираюсь и с к а т ь, — ответил задетый за живое Уилсон, — повторяю, я имею дело с вещами более простыми, чем ваша простодушная вера, — стол, стул и лестница. И вот что я должен сказать о них для начала. Они грубо сколочены из дешевого дерева. Однако стол и стул совсем новые и сравнительно чистые. Лестница покрыта пылью, и под верхней ступенькой видна паутина. А это значит, что стол и стул он взял у кого-нибудь в деревне совсем недавно, как мы и предполагали. Но лестница уже давно стоит в этой проклятой старой норе. Она, вероятно, составила часть первоначальной обстановки — наследия этого великолепного дворца ирландских королей.

Фишер снова глянул на него из-под тяжелых век, однако, казалось, одолеваемый сном, ничего не сказал. Уилсон продолжал:

— Совершенно очевидно, что здесь только что произошло нечто необычайное. Ставлю десять против одного, что все дело каким-то образом связано именно с этим местом. Может быть, он выбрал башню потому, что больше нигде не мог бы сделать того, что сделал, — ведь выглядит она не очень-то гостеприимно. Но он знал ее издавна; говорят, она принадлежала его роду. Итак, все вместе взятое указывает на то, что тайна кроется в конструкции самой башни.

— Ваши доводы кажутся чрезвычайно убедительными, — сказал внимательно слушавший сэр Уолтер. — Но что бы это могло быть?

— Теперь вы понимаете, что я имел в виду, говоря о лестнице, — продолжал с и щ и к . — Она единственная здесь старая вещь и первая, которую я заметил своим взглядом кокни. Но тут есть и еще кое-что. Эта площадка наверху предназначалась для всякого старого хлама, однако никакого хлама там нет. Насколько я могу судить, она совершенно пуста, как и вся башня, и я не понимаю, к чему тогда лестница. Думается мне, что, не найдя здесь внизу ничего необычного, стоит заглянуть наверх.

Он живо соскочил со стола, на котором сидел (единственный стул был предоставлен сэру Уолтеру), и быстро взобрался по лестнице. За ним последовали остальные. Мистер Фишер поднялся последним, храня на лице выражение полного безразличия. Однако и на этой стадии поисков их постигло разочарование, хотя Уилсон обнюхал каждый угол, как терьер, и облазил, как муха, весь потолок.

Полчаса спустя они вынуждены были признать, что так и не напали на след. Личному секретарю сэра Уолтера, видимо, все труднее было бороться с дремотой, столь неуместной в данных

обстоятельствах. Поднявшись последним по лестнице, он, казалось, не находил в себе сил даже спуститься вниз.

— Спускайтесь, Фишер, — позвал его сэр Уолтер снизу, после того как все остальные снова очутились на полу. — Надо решить, стоит ли разнести эту башню на куски, чтобы понять, как она сделана.

— Иду, — ответил голос сверху, сопровождаемый сдавленным зевком.

— Чего вы ждете? — спросил сэр Уолтер нетерпеливо. — Вы что-нибудь увидели?

— Да, пожалуй, — неопределенно ответил тот. — А вот теперь я вижу совершенно отчетливо.

— Что вы видите? — резко спросил Уилсон, сидя на столе и нетерпеливо постукивая каблуками.

— Человека, — ответил Хорн Фишер.

Уилсон сорвался со стола, как будто его толкнули.

— Что вы говорите? — закричал он. — Как это вы можете видеть человека?

— В окно, — кротко ответил секретарь сэра Уолтера. — Я вижу, как он приближается к нам по равнине. Он идет прямо по открытому полю, направляясь кратчайшим путем к башне. Повидимому, он хочет нанести нам визит. И, принимая во внимание, кем он может быть, полагаю, было бы учтивее, если бы мы встретили его у двери.

И он неторопливо спустился с лестницы.

— Кто бы это мог быть? — в изумлении сказал Уилсон.

— Думаю, что тот, кого вы зовете принцем Майклом, — небрежно заметил мистер Фишер. — Я даже уверен, что это он. Я видел его фотографии в полиции.

Наступила мертвая тишина, во время которой в ясной голове сэра Уолтера мысли завертелись наподобие крыльев ветряной мельницы.

— Разрази его гром! — проговорил он наконец. — Даже если предположить, что им же подготовленный взрыв выбросил его, неизвестно каким образом, за полмили отсюда и не причинил ему никакого вреда, то все равно я не понимаю, какого черта он сюда идет. Убийца обычно не возвращается так скоро на место своего преступления.

— Откуда ему знать, что это место его преступления? — ответил Хорн Фишер.

— Черт возьми, что вы хотите сказать? Вы полагаете, что он до такой степени рассеян?

— Дело в том, что это отнюдь не место его преступления, — сказал Фишер, подходя к окну и выглядывая из него.

Опять наступило молчание, а затем сэр Уолтер произнес спокойно:

— Что вам пришло в голову, Фишер? Я вижу, у вас возникла новая теория относительно того, как этот парень вырвался из окружавшего его кольца.

— Он и не вырывался, — ответил Фишер, стоя у окна и не оборачиваясь. — Он и не мог вырваться, ибо он не был в этом кольце. И в башне его не было — во всяком случае, когда мы окружали ее.

Он повернулся и встал, прислонившись спиной к косяку окна. Несмотря на обычное для него выражение безразличия, лицо его было бледнее, чем всегда, — возможно, от падавшей на него тени.

— Я начал догадываться кое о чем, когда мы только подходили к башне, — сказал он. — Заметили ли вы, как затрепетало пламя свечи, перед тем как погаснуть? Я был почти уверен в том, что это последняя вспышка догоревшей свечи. А когда я вошел в комнату, я увидел вот это.

Он указал на стол, и сэр Уолтер пробормотал что-то вроде заглушенного проклятия по поводу своей собственной слепоты. Свеча в подсвечнике действительно выгорела до конца, однако что из этого следовало, оставалось для сэра Уолтера тайной.

— Затем возникает своего рода математический вопрос, — продолжал Фишер, снова спокойно прислонясь к окну и всматриваясь в голые стены, как бы разглядывая на них воображаемые чертежи. — Человеку, находящемуся в центре треугольника, не так-то просто видеть все три угла. Однако если он находится в одном из углов, ему гораздо легче видеть то, что происходит в двух других, в особенности если они лежат у основания равнобедренного треугольника. Прошу прощения, если это похоже на лекцию по геометрии, но...

— Боюсь, что у нас нет для нее времени, — холодно проговорил Уилсон. — Если этот человек в самом деле возвращается, я должен немедленно отдать приказание.

— Все же я продолжу свою мысль, — заметил Фишер, с оскорбительным спокойствием глядя в потолок.

— Должен просить вас, мистер Фишер, не мешать мне вести расследование по своему усмотрению, — сказал Уилсон решительно. — Сейчас здесь распоряжаюсь я.

— Да, — тихо ответил Хорн Фишер тоном, заставившим похолодеть всех присутствующих. — Да, но почему?

Сэр Уолтер смотрел на Фишера в изумлении, — перед ним был совсем не тот молодой человек, медлительный и томный, которого он знал. Фишер поднял веки и смотрел теперь на Уилсона, широко раскрыв глаза; казалось, с его глаз, словно с глаз орла, сдвинулась пленка, обычно прикрывавшая их.

— Почему *вы* распоряжаетесь здесь? — спросил он. — Почему *вы* ведете теперь расследование по своему усмотрению? Как случилось, хотел бы я знать, что здесь нет никого старше вас по чину, чтобы вмешаться в ваши действия?

Все растерянно молчали. В эту минуту снаружи раздался сильный и гулкой удар в дверь башни, и этот звук представился их взволнованному воображению тяжелым ударом молота самой судьбы.

Деревянная дверь заскрипела на ржавых петлях под чьей-то сильной рукой, и в комнату вошел принц Майкл. Никто не сомневался, что это был он. Светлое платье принца, хотя и сильно пострадавшее за время его приключений, сохранило все же прекрасный, почти щегольской покрой, а острая борода, или эспаньолка, словно служила новым напоминанием о Луи-Наполеоне; впрочем, он был гораздо выше и стройнее того, кому стремился подражать. Никто не успел произнести ни слова, когда он, как бы прося их хранить молчание, сделал легкий, но величественный жест гостеприимного хозяина.

— Джентльмены,— сказал он , — приветствую вас в башне, ставшей теперь столь неприглядной.

Уилсон опомнился первым. Он шагнул к нему и произнес:

— Майкл О'Нейл, именем короля я арестую вас за убийство Фрэнсиса Мортона и Джеймса Нолана. Считаю своим долгом предупредить вас...

— Нет, мистер Уилсон,— внезапно вскричал Фишер , — вам не удастся совершить третье убийство!

Сэр Уолтер Кэри вскочил со стула, который с грохотом повалился на пол.

— Что это значит? — воскликнул он властным голосом.

— Это значит,— ответил Фишер , — что человек по имени Хукер Уилсон выстрелом из окна через пустую комнату убил своих товарищей в ту минуту, когда они появились в двух противоположных окнах. Вот что это значит. А если вы хотите убедиться в этом, то сосчитайте, сколько было выстрелов и сколько патронов осталось у него в револьвере.

Уилсон быстрым движением руки схватил револьвер, который лежал на столе. Но случилось самое неожиданное из всего, что можно было предположить. Принц Майкл, неподвижно, как статуя, стоявший на пороге, вдруг с ловкостью акробата выхватил револьвер из рук сыщика.

— Собака,— воскликнул он , — ты — это справедливость англичан, а я — трагедия ирландцев. Ты пришел сюда, чтобы убить меня рукой, обогрел кровью твоих братьев. Если бы они пали от кровной мести, это назвали бы убийством, но тогда твой грех можно было бы оправдать. Мне же, невинному в их убийстве, суждено было бы умереть торжественно и пышно. Произносились бы длинные речи, и судьи терпеливо вслушивались бы в мои тщетные попытки доказать свою невинность, отмечая мое отчаяние и пренебрегая им. Да, вот что я называю злодейством. Но можно убить — и не совершить преступления. В этом револьвере осталась еще одна пуля, и я знаю, кто ее заслужил.

Уилсон даже не успел повернуться, как Майкл выстрелил. Сыщик скорчился от боли и упал, как бревно.

Полицейские бросились к нему, сэр Уолтер стоял, не в силах произнести ни слова. Наконец Хорн Фишер нарушил молчание.

— Да, вы — подлинное воплощение трагедии ирландцев, — сказал он, сопровождая свои слова странным жестом усталости. — Вы были совершенно правы и сами погубили себя.

Лицо принца стало неподвижно, как мрамор, потом в глазах его мелькнуло что-то вроде отчаяния.

И вдруг он рассмеялся и швырнул дымящийся револьвер на пол.

— Да, мне нет оправдания, — сказал он. — Я совершил преступление, и оно заслуженно навлечет проклятие на меня и детей моих.

Хорн Фишер, казалось, не ожидал такого быстрого раскаяния. Не отводя от Майкла глаз, он спросил тихо:

— О каком преступлении вы говорите?

— Я помог английскому правосудию, — ответил принц Майкл. — Я отомстил за смерть полицейских вашего короля. Я выполнил дело королевского палача. По справедливости меня надо за это повесить.

И он сделал шаг к полицейским. Он не сдавался, а скорее приказывал им арестовать себя.

Таковы были события, о которых спустя много лет Хорн Фишер рассказывал журналисту Гарольду Марчу, сидя в небольшом, но фешенебельном ресторане недалеко от Пикадилли. Он пригласил Марча пообедать с ним после расследования дела, которое он назвал «Лицо на мишени». Вначале разговор зашел об этом таинственном происшествии, а затем Хорн Фишер предался воспоминаниям о более ранних событиях своей молодости, побудивших его заинтересоваться проблемами, подобными делу принца Майкла. С тех пор прошло пятнадцать лет. Волосы Хорна Фишера еще более поредели, на лбу образовались залысины, в движениях его длинных и тонких рук было больше усталости и меньше выразительности. И он рассказал давнюю историю о своем ирландском приключении, потому что тогда он впервые столкнулся с миром преступлений и понял, что преступление может быть тайно и непостижимо связано с законом.

— Хукер Уилсон был первым преступником, которого я встретил, и он служил в полиции, — рассказывал Фишер, вертя в руках бокал. — И всю свою жизнь я встречал людей такого рода. Он был безусловно одаренным человеком, может быть, даже талантливым. И как сыщик и как преступник он достоин самого тщательного изучения. У него была характерная наружность — бледное лицо и ярко-рыжие волосы, и он принадлежал к типу людей, холодных и равнодушных ко всему, кроме всепожирающей страсти к славе. Он мог управлять своим гневом, но не честолюбием. Во время своего первого столкновения с начальниками он проглотил их насмешки, но весь кипел от обиды. Однако позже, когда в просветах окон появились два резко

очерченных силуэта, он не мог удержаться от мести, тем более что таким образом он избавлялся сразу от двух людей, служивших ему препятствием на пути к продвижению. Он стрелял без промаха и рассчитывал на то, что некому будет свидетельствовать против него. Надо сказать, что Нолан едва не выдал его: умирая, он успел произнести «Уилсон» и указать на него. Мы думали, что он просит нас помочь товарищу, в то время как он назвал убийцу. Что касается лестницы, то ее было совсем нетрудно опрокинуть — стоящий на ней не мог видеть, что происходит внизу, — а затем Уилсон и сам упал на землю, прикинувшись пострадавшим при катастрофе. Однако наряду с убийственным честолюбием он обладал искренней верой не только в свои таланты, но и в свои теории. Он верил в идею «свежего глаза» и стремился к широкому применению своих новых методов. В теории Уилсона было зерно истины, хотя его и постигла неудача, обычная в таких случаях, — ведь даже свежему глазу не видно невидимое. Эти теории подходят для простых случаев, как с лестницей или пугалом, но они бессильны там, где дело касается самой жизни или человеческой души. И он глубоко ошибся в том, что мог сделать такой человек, как принц Майкл, услышав крик женщины. Тщеславие Майкла и понятие о чести были причиной того, что он не задумываясь поспешил на помощь, — за перчаткой дамы он вошел бы даже в Дублинский замок. Считайте это позой, если угодно, но именно так он и поступил бы. Что произошло, когда он встретил Бриджетт, — это уже другая история, которую мы, может быть, никогда не узнаем. Но по слухам, до меня дошедшим, они помирились. И хотя Уилсон на этот раз ошибся, все же было что-то новое в его мысли о том, что человек, не знающий данного места, замечает больше, чем тот, кто прожил здесь всю жизнь, потому что он слишком много знает. Да, кое в чем он был прав. И он был прав относительно меня.

— Относительно вас? — спросил Марч.

— Я слишком много знаю, чтобы знать что-нибудь или, во всяком случае, чтобы сделать что-нибудь, — сказал Хорн Фишер. — Я говорю сейчас не только об Ирландии. Я говорю об Англии. Я говорю о всей системе нашего управления, хотя, вероятно, она единственно для нас возможная. Вы спрашиваете меня, что произошло с теми, кто остался в живых после этой трагедии. Так вот: Уилсон выздоровел, и нам удалось убедить его подать в отставку. Однако этому проклятому убийце пришлось дать такую огромную пенсию, какую едва ли получал самый доблестный герой, когда-либо сражавшийся за Англию. Мне удалось спасти Майкла от самого страшного, однако этого совершенно невинного человека пришлось отправить на каторгу за преступление, которого, как мы хорошо знаем, он не совершал. И только значительно позже нам удалось тайно

способствовать его побегу. Сэр Уолтер Кэри сейчас премьер-министр, и весьма вероятно, что он никогда бы им не был, если бы стала известна правда об этом позорном происшествии, случившемся в его ведомстве. Она могла погубить нас всех, когда мы были в Ирландии. Для него же это наверняка был бы конец. А ведь он старый друг моего отца и всегда был очень добр ко мне. Как видите, я слишком тесно связан с этим миром, и уж конечно я не был рожден для того, чтобы изменить его. Вы, по-видимому, огорчены, а может быть, даже шокированы, но я и не думаю обижаться на вас. Что ж, если угодно, переменим тему разговора. Как вам нравится это бургундское? Оно — мое открытие, как, впрочем, и сам ресторан.

И он начал пространно, с чувством и со знанием дела говорить о винах — предмете, о котором, как скажут некоторые моралисты, он также слишком много знал.

КОММЕНТАРИИ

Второй том включает в основном произведения, написанные и опубликованные в 10-е — начале 20-х годов нынешнего столетия. Не только мировая война делит для Честертона надвое этот период; он рассечен и двумя трагическими личными событиями — делом Маркони (о нем подробнее см. «Даты жизни и творчества») и тяжелым заболеванием (см. вступительную статью), поэтому то, что написано до 1915 года, объединяется в этом томе с написанным позже весьма условно.

ЖИВ-ЧЕЛОВЕК

1913

Роман «Жив-человек» — образцовая притча, защищающая одну за другой простые ценности простой человеческой жизни и самую эту жизнь, и этот мир. Если к Честертону применимо слово «оптимизм», это — средоточие его оптимизма. Ни раньше, ни тем более позже он столь безоговорочно и прямо не писал.

Мы решили сохранить перевод, выходявший в 20-х годах, поскольку делал его Корней Иванович Чуковский. Честертон для Чуковского — не случайный писатель; у них много общего.

Можно сказать, что предисловие К. И. Чуковского к роману «Жив-человек» — вместе со статьей И. Кашкина в энциклопедическом словаре «Гранат» — открыло Честертона русскому читателю. Интерес Чуковского к Честертону давний: его пребывание в Лондоне совпало с началом литературной деятельности писателя, и вряд ли тогдашний корреспондент одесской газеты мог не заметить блистательных честертоновских эссе. Стиль Честертона, видимо, повлиял на стиль Чуковского: демократичность и простота при постановке самых сложных проблем, эссеистичность, построение литературоведческого текста по модели детективной новеллы, четкая система антитез, искрометное остроумие и вскрывающая самую суть проблемы парадоксальность мысли, —

все эти качества, в определенной мере, могут восходить к Честертону. Кроме того, Честертон в известном смысле стоит у истоков советской поэзии для детей, — возможно, воспринятая через него традиция английских «перевертышей» преобразована у К. И. Чуковского в стихотворные «путаницы», а мы их сегодня читаем почти как русский фольклор. С Честертоном, может быть, связана и критика того, что называют теперь массовой культурой.

Стр. 7. *«Остров сокровищ»* (1883)—роман Р. Л. Стивенсона (1850—1894), автору которого Честертон посвятил критический очерк «Роберт Луис Стивенсон» (1929) и несколько эссе.

Стр. 8. *...ветра, о котором говорится в пословице, потому что это был добрый ветер, никому не навешивающий зла.* — Имеется в виду английская пословица «Злой ветер никому не навешивает добра».

Холмы Грампианов (чаще — Грампианские горы) — самые высокие горы Великобритании. Перерезают Шотландию с юго-запада на северо-восток, отделяя горную ее часть от равнинной.

Стр. 9. *«Панч»*. — Еженедельный сатирико-юмористический журнал, основан в 1841 г.; (Панч — фольклорный персонаж, герой кукольного театра).

Стр. 11. *Харли-стрит* — лондонская улица, где расположены жилые дома и приемные крупных частных врачей.

Стр. 13. *...как на гербе острова Мэн.* — Остров-курорт на юге Англии. Герб его украшают три ноги.

Стр. 14. *Трамонтана* — свежий ветер, дующий со стороны гор.

Игдрасиль — центральный символ скандинавской мифологии: гигантский ясень, мировое дерево, ветвями подпирает небо, корнями уходит в царство мертвых.

Стр. 15. *«Любовь есть Геркулес, который и поныне, // Взбирается на дерево в саду // Прекрасных Гесперид».* — Шекспир. Бесплодные усилия любви (1594), акт IV, сц. 3.

Стр. 16. *Солнечный Джим.* — См. коммент. к т. I наст. изд., с. 385.

Стр. 18. *Примроуз-Хилл* — возвышенность в северной части лондонского Риджентс-Парка.

Летающий остров Лапута. — См. «Путешествия Гулливера» (1726) Дж. Свифта, ч. III, гл. 2—3.

Стр. 22. *...Инносент... имя или только прозвище, характеризующее душевные качества.* — Инносент — букв. «невинный» (англ.).

Жанна Д'Арк (1412—1431)— национальная героиня Франции, освободившая Орлеан от английской осады. О ее мистическом порыве и ее здравомыслии Честертон писал в книге «Ортодоксия» и в эссе «Ранние пташки» (сборник «Истина»).

Под влиянием... учения о «сильном человеке». — Имеется в виду книга Ф. Ницше «Воля к власти» (1889—1891).

Стр. 26. *...в его безумии есть система.* — Шекспир. Гамлет, акт II, сц. 2.

Стр. 27. *Лохинвар* — персонаж поэмы В. Скотта «Мармион» (1808), песнь V; опоздав на свадьбу к своей невесте и увидев, что ее вот-вот

обвенчают с другим, Лохинвар приглашает ее на танец, выводит из дворца, сажает в седло и увозит.

Стр. 28. *Джумкана* — атлетические соревнования или спортивные состязания; слово индийского происхождения, введенное в английский язык Р. Киплингом.

Стр. 29. ...*разрисовано пурпурно-зелеными павлинами*. — Вполне возможно, что этот мотив у Честертонa восходит к мысли У. Блейка «Красота павлинья — слава Божия» (см. также рассказ «Павлиний дом», т. 3 наст. изд.).

Стр. 32. «*Швейцарский Робинзон*» — немецкая сказка, известная в обработке Иоахима Генриха Кампе (1746—1818).

Стр. 36. ...*не испугаете Диогеном; я предпочитаю Александра*. — Диоген (404—323 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-киник; живя в бочке, сказал навестившему его Александру Македонскому (356—323 гг. до н. э.): «Отойди, не загораживай мне солнца».

Победившее дело (любезно) богине. — Искаженная цитата из «Фарсалий» римского поэта Лукана (39—65): «Победившее дело богам, побежденное Катону».

Стр. 45. См. коммент. к т. 1 наст. изд. с. 113.

Стр. 49. *Сэр Чарлз Грандиссон* — идеальный джентльмен, герой нравоучительного романа английского писателя С. Ричардсона (1689—1761) «История сэра Чарлза Грандиссона» (1754).

Роджер де Коверли — вымышленный английскими писателями Ричардом Стилом (1672—1729) и Джозефом Аддисоном (1672—1719) комический персонаж нравописательных эссе в журналах «Болтун» и «Зритель», старомодный и наивный помещик, живущий среди практичных и здравомыслящих английских буржуа.

Стр. 50. *Тертин* Ричард (1706—1739) — знаменитый английский разбойник, повешенный в Йорке. Описан У. Х. Эйнсуортом (1805—1882) в романе «Роквуд» (1834).

Бэзби Ричард (1606—1695) — прославленный педагог, известный своей строгостью.

Джонсон Сэмюел (1709—1784) — английский критик, лексикограф, писатель, автор фундаментального «Словаря английского языка» (1755), авторитетнейший комментатор Шекспира. Был чрезвычайно эксцентричен. Честертон написал о нем эссе «Доктор Джонсон» и пьесу «Суждение доктора Джонсона» (1927). Его самого иногда называли «доктором Джонсоном двадцатого столетия».

Стр. 53. *Месмеризм* — учение австрийского врача Ф. Месмера (1785—1815), в основе которого лежит понятие о «животном магнетизме», с помощью которого можно изменять состояние организма и излечивать болезни.

Стр. 55. *Или во славу Божью, или за честь моего короля // В отчаянии, с открытой грудью, на краю моей земли!* — Строки из «Франсиады» (1572) Пьера Ронсара (1524—1585).

Эдуард I (1239—1307) — король Англии из династии Плантагенетов, правил в 1272—1307 гг.

Стр. 56. *Железный герцог*. — Так называли Артура Уэслси, герцога

Веллингтона (1769—1852), английского политического деятеля и военачальника, одержавшего победу над Наполеоном в битве при Ватерлоо (1815).

Роллана — Оливер — Исайя — Шарлемань — Артур — Гильдебрандт — Гомер — Дантон — Микеланджело — Шекспир — Брэкспир — имена крупнейших исторических фигур, героев литературных произведений и их авторов: герой старофранцузского эпоса «Песнь о Роланде»; его друг Оливье (англ. — Оливер); ветхозаветный пророк; французский король Карл Великий; центральный персонаж легенд Артуровского цикла; герой древнегерманского эпоса «Песнь о Гильдебранде»; великий поэт Древней Греции; деятель французской революции; крупнейший художник итальянского Возрождения; знаменитый английский поэт и драматург эпохи Возрождения. Брэкспир Николай (ум. 1159) — папа Адриан IV, единственный англичанин на папском престоле.

Стр. 67. «*Добрые слова*» — религиозный журнал; проповедовал взгляды, близкие к «Христианской науке».

Уйда (наст. имя — Мария Луиза де ла Рамэ, 1839—1908) — английская романистка. *Коллинз* Уилки (1824—1889) — английский романист.

Стр. 73. *Квакеры* — религиозная секта, возникшая в лоне английского протестантизма; оформилась в 40-е гг. XVII в. Отличается простотой жизни, проповедует пацифизм, занимается благотворительностью.

...к ангелам Нового Иерусалима, и его забросают до смерти драгоценными камнями. — Ироническая контаминация; ангелы из Откровения Иоанна Богослова забрасывают землю и людей градом, причиняющим язвы (16, 21). Драгоценными же камнями украшены стены Нового Иерусалима (21, 18—21).

Стр. 79. *Бог... из машины*. — Слова, вложенные Платоном в уста Сократа (диалог «Кратил»).

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-иррационалист, представитель волюнтаризма.

Стр. 90. *Ирвинг* Генри (1836—1905) — знаменитый английский актер, лучший Гамлет второй половины XIX в., член палаты лордов (с 1895 г.); за выдающиеся заслуги похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Ллойд Мэри (1870—1922) — английская эстрадная актриса.

Лига Подснежника — политическая организация консервативного толка; названа в честь премьер-министра Великобритании Бенджамина Дизраэли; подснежник — его любимый цветок.

Стр. 94. *Фабианское общество* — социал-реформистская организация, члены которой ратовали за переход к социализму путем последовательных реформ. Основана в 1884 г. Членами общества были Б. Шоу и Г. Уэллс.

Стр. 98. *Печать соломонова* — чудесный перстень третьего царя израильско-иудейского государства Соломона (X в. до н. э.).

Стр. 100. «*Дети Воды*» (1850) — роман английского писателя и публициста Ч. Кингсли (1819—1875).

...ринулся... в бездну, как *Куруций*. — По легенде, Рим расколола страшная трещина, и чтобы она сомкнулась, город должен был пожертвовать

самым большим благом. Тогда римский воин, юноша Курций, со словами: «Нет лучшего блага в мире, чем оружие и храбрость», оседлав коня, в полном вооружении бросился в провал, который тут же сомкнулся.

Стр. 102. *Виноградник Набота* (в русской библейской транскрипции Навуфея) — 3-я Кн. Царств, 21, 1—7.

Ягненок Натана (в русской библейской традиции — агнец Нафана) — 2-я Кн. Царств, 12, 3—4.

Стр. 104. *Апология*. — В христианской традиции апологиями («оправданиями») называют оправдание христианства перед миром. Возможно, Честертон имеет в виду книгу основателя неокатолического движения в Англии Дж. Ньюмена «*Apologia pro vita sua*» (1864).

Стр. 105. *«Двуногое животное без перьев»*. — Высказывание Платона, которое приводит греческий философ Диоген Лаэртский (1-я половина III в.): «Платон дал определение, имевшее большой успех: человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев».

Стр. 109. *Крайдон* — южное предместье Лондона.

Почтовый ящик. — В Англии почтовые ящики имеют вид круглых широких труб густо-красного цвета; обычно ставятся у края тротуара.

Стр. 111. *Тритон* — греческое морское божество, получеловек-полурыба; изображается с трезубцем.

Стр. 113. *Французы ...идут на приступ городской цитадели*. — Речь идет о штурме Бастилии 14 июля 1789 г., положившем начало французской революции.

Стр. 116. *Нищие маршировал в шеренге манекенов глупой... армии*. — Честертон имеет в виду фотографию Фридриха Ницше (1844—1900) в мундире офицера прусской армии.

Шоупьет безалкогольные вина. — «Последний пуританин» (по определению Честертона), Бернард Шоу проповедовал воздержание от вина, табака и женщин.

Стр. 118. *Великий Конфуций учил нас: если мы руками и ногами всегда делаем одно и то же... то головой мы можем думать о многом...* — Ироническая стилизация восточного изречения; Конфуций (Кун Фу-Цзы, 551—479 г.г.), — китайский философ.

Стр. 121. *...Вифлеем... волхвы и звезда*. — Звезда на востоке вела иудейских волхвов к Вифлеему, где родился Иисус Христос (Мтф., 2, 9—10).

Стр. 123. *Комитет Общественного Спасения*. — Руководящий орган якобинской диктатуры во времена Великой французской революции. Существовал с 6 июня 1793 г. по 26 октября 1795 г.

Стр. 124. *...воскресный номерок газеты «Пинк»*. — «Пинк» — просторечное название спортивной газеты «Спортинг Лайф», печатавшейся во времена Честертона на розовой (англ. «pink») бумаге.

Стр. 126. *...разводом... Юлия Цезаря или Робинсона из Солт-Лейк-Сити*. — Гай Юлий Цезарь (102—44 гг. до н.э.), древнеримский император; Робинсон — вымышленный лидер мормонов; Солт-Лейк-Сити — район расселения американских мормонов.

Стр. 131. *Мисс Янгхазбенд* — досл.: «молодой муж» (англ.). Здесь и дальше сохранен принцип переводчика. Теперь попытались бы найти русский аналог.

Мисс Мэн — букв. «мисс Мужчина».

Лоу, Коуард, Крейвен — досл.: «Низкий», «Трус», «Подлец».

Стр. 132. ...*намерен... открыть кузницу*. — Смит (англ. Smith) — кузнец.

Стр. 135. *Недостающее Звено*. — Необнаруженный вид приматов, который, по гипотезе ученых, восполняет эволюционную цепочку от обезьяны к человеку. (О том же подробнее — см. «Вечный человек», гл. I и II.)

Парфенон — храм Афины Паллады на холме Акрополь в Афинах; построен в 447—432 гг. до н. э.

Мисс Грин... мисс Браун... мисс Блейк... Радуга красок, кончающаяся мисс Грэй. — Букв.: мисс Зеленая (англ. green), мисс Коричневая (англ. brown), мисс Черная (англ. black), мисс Серая (англ. grey).

Стр. 138. *Святитель Патрик* (Патрикий) — покровитель Ирландии (389—461 гг.).

ПЕРЕЛЕТНЫЙ КАБАК

1914

Роман о перелетном кабаке появился непосредственно перед тем, как кончился первый период честертоновской жизни — период, который называли «порою надежды». Книга только-только вышла, когда началась война, а Честертон тяжело заболел. В романе этом есть все, что характерно для того периода; и все же он существенно отличается от романов, написанных раньше («Наполеон Ноттингхильский», «Жив-Человек»).

Можно сказать, что это уже настоящий роман XX века. Не по форме — ничего модернистского в нем нет, а потому, что тема его — исчезновение свободы и дома под натиском тоталитарных утопий.

Именно в этом контексте надо понимать непрестанные славословия вину. Современники укоряли писателя, видя в его книге проповедь пьянства. На самом же деле вино и застолье у Честертона — символ радости, дружбы и, что так важно для него, — уюта. Слово «inn», собственно, и не просто «кабак», а маленькая сельская гостиница, постоялый двор, харчевня.

Роман имел большой успех в Англии. Сравнительно скоро, в 1922 году, он был издан на русском языке в переводе Н. Чуковского. Перевод был безусловно талантлив, но значительно сокращен, изобиловал пропусками и неточностями. С тех пор «Перелетный кабак» не издавался и давно стал библиографической редкостью.

Стр. 145. ...*сублапсарии*. — Кальвинистская секта сублапсариев (инфралапсариев) считает, что господний план спасения возник до грехопадения Адама и Евы.

Стр. 146. *Виндзорский замок* — летняя резиденция английских королей неподалеку от Лондона.

Стр. 148. ...называли «Крылатым быком» в честь древнего восточного символа. — Крылатый бык — божество древнеиранской и древнеиндийской мифологии, популярное в искусстве английского декаданса. Горельеф с каменной фигурой крылатого быка установлен на могиле О. Уайльда.

Стр. 150. *Итака* — остров у берегов Греции в Ионическом море, родина Улисса (Одиссея). Современные ученые сомневаются в том, что нынешний остров Итака и есть Итака из «Одиссеи». Существует гипотеза, что древней Итаке соответствует нынешний остров Левкада.

Стр. 151. *Фенианские взгляды* — мировоззрение ирландских революционеров-республиканцев второй половины XIX — начала XX в., объединенных в «Ирландском революционном братстве».

Стр. 153. *Оттоманская империя* — название султанской Турции; образовалась на рубеже XV и XVI вв., распалась после поражения в первой мировой войне (тем самым, когда был написан роман, еще существовала).

Стр. 154. *Арабский мистик... отвел от наших уст чащу.* — Возможно, речь идет об Ибн аль-Араби (1165—1240), арабском философе и поэте-мистике. Более вероятно, что Честертон имеет в виду пророка Мухаммеда (Магомета, 570—632 гг).

...не запятнанное... кровью Орфея. — По античному мифу, певца Орфея растерзали менады, спутницы бога вина Диониса.

«Исчезнет наш могучий флот»... — Стихотворение Р. Киплинга (1865—1936) «Последнее песнопение» (1897), посвященное 60-летию королевы Виктории.

Стр. 156. ...квадратной белой доскою... георгиевский крест. — Имеется в виду т. н. крест Св. Георгия, изображенный на его щите.

Бриарей — в древнегреческой мифологии чудовище с пятьюдесятью головами и сотней рук.

Стр. 157. ...зеленое — цвет ирландских изменников. — Ирландию называют «Зеленым островом»; зеленое — ее национальный цвет.

Стр. 159. ...порабощена ... галилейским суеверием. — Иисус Христос провел детство и проповедовал в Галилее, северной части Палестины.

Стр. 162. *Собор св. Павла* — главный собор англиканской церкви; построен архитектором Кристофером Реном (1632—1723) в 1675—1710 гг.

Пальмерстон Генри Тампл (1784—1865) — английский политический деятель, член палаты лордов. Министр внутренних и иностранных дел, премьер-министр с 1855 по 1865 гг. *Кэмбелл* Колин (1792—1863) — британский воин; прошел путь до бригадного генерала, командовал армией в войне с сикхами (1849—1855) и колониальными войсками в Индии (1858).

Стр. 168. ...изъять... из молитвы Господней. — Речь идет о словах «хлеб наш насущный даждь нам днесь» (Мтф., 6, II).

Маттерхорн — горный пик в Швейцарских Альпах.

Стр. 172. *Стрэнд* — одна из главных улиц лондонского центра;

соединяет Сити и Вест-Энд. Здесь расположены театры, фешенебельные магазины и гостиницы.

Стр. 173. ...*И сражался не без...* — Имеется в виду строка из «Опытов» (1580) Монтеня (1533—1592): «И сражался не без славы». Кн. III, гл. 13.

Стр. 174. «*Песня против песен*». — Название пародирует библейскую «Песнь Песней» Соломона.

Волы Васанские — точнее, «тельцы тучные Вассанские». — Пс., 21, 13. Васан — северная часть восточной Палестины, славившаяся своими пастбищами.

Стр. 176. *Песнь Мелисанды*. — Речь идет о пьесе М. Метерлинка «Пелеас и Мелисанда» (1892); «печальную песнь» героини этой пьесы высмеивал и друг Честертон Макс Бирбом.

«*Лесной приют Марианны*» — стихотворение А. Теннисона (1832).

Песенка Ворона Невермор. — Речь идет о рефрене из стихотворения Э. По «Ворон» (1845).

...*в песнях Бодлера*. — Имеется в виду сборник французского поэта Ш. Бодлера (1821—1867) «Цветы зла» (1857).

...*арфы Тары*. — Имеется в виду первая строка знаменитых «Ирландских мелодий» (1807) Томаса Мура (1779—1852) «Арфа, что некогда в залах Тары...». *Тара* — холм в Ирландии, где, согласно преданию, собиралось законодательное собрание.

Парень из Шротшира — стихотворный цикл (1896) английского поэта А. Э. Хаусмана (1859—1936).

Стр. 177. *Джонатан Уайльд* — знаменитый разбойник, повешенный в 1725 г. Герой романа Г. Филдинга (1707—1754) «История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого» (1743).

Королева Шарлотта (1744—1818) — жена короля Георга III (1738—1820), который правил Великобританией с 1760 по 1820 г.

Стр. 178. ...*будешь поэтом-лауреатом*. — Поэт-лауреат — пожизненное почетное звание; присваивается выдающимся поэтам Великобритании.

Псы будут лизать кровь. — Из пророчества Ахаву, царю Израильскому. 2-я Кн. Царств., 21, 19.

Львы будут выть на холмах. — Контаминация нескольких библейских цитат.

Стр. 183. ...*казнили торквемады*. — Речь идет о Томасе де Торквемада (1420—1498, трагич. — Торквемада), испанском великом инквизиторе. Честертон намекает на то, что ирландцев, верных католичеству, обвиняют в фанатизме и жестокости.

Стр. 184. *Глас народа — глас Божий*. — Изречение восходит к дидактической поэме Гесиода «Труды и дни» (конец VII — начало VI в. до н. э.). Латинский перевод впервые у Сенеки-старшего (57 г. до н. э. — 39 г. н. э.), «Риторика», I, 1.

...*имя Змеборца*. — Речь идет о святом Георгии, святом патроне Англии, по преданию — убившем дракона (змея). В местах, описанных в романе, сохранился кабак XVI в. с геральдическим знаком св. Георгия.

Стр. 185. *«Где статуя Аллаха?»* — В исламской традиции возбраняется изображать Аллаха; нарушение запрета карается смертью.

Закон — это Аллах. — Коран, основной закон мусульман, считается прямой речью Аллаха, обращенной к Мухаммеду.

Стр. 189. *Библейская критика* — здесь: распространенная (особенно в протестантской теологии) традиция научного разбора текстов Писания, стремящаяся выявить (и устранить) расходящиеся друг с другом трактовки важнейших событий священной истории.

Стр. 191. *Варфоломеевская ночь* — массовая резня гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1752 г. в Париже; организована Катериной Медичи и герцогами де Гиз.

Сентябрьские убийства — эпизод истории французской революции (1792). После восстания 10 августа производились массовые аресты «подозрительных». Когда тюрьмы переполнились, в места заключения стали впускать наемных убийц, устроивших кровавую расправу над безоружными людьми.

Строки о сынах Велиара. — Велиаром (Велиалом) называют в Библии зло, безбожие, тем самым — Сатану. О сыне Велиара говорится в 1-й Кн. Царств., 25, 17; о детях Велиара — Суд., 19, 22. «Снуют // Гурьбою Велиаровы сыны // Хмельные, наглые; таких видал Содом...» — строки из Мильтона («Потерянный рай», Кн. 1-я. Перев. Арк. Штейнберга).

...*Клиффорд* Уильям Кингдом (1845—1879) — английский писатель и философ; отстаивал концепцию «племенной личности», из которой выводил мораль тоталитарного толка: всякая личность должна развиваться к вышей пользе племени.

Евгеника — учение о наследственности, связующее генетику, медицину и психологию; ставит совершенствование человека в зависимость от его биологических структур. Критике этого учения Честертон посвятил книгу «Евгеника и прочее зло».

Стр. 192. *Вопрос... освещен в книге Исход.* — Имеются в виду следующие строки: «Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него». (Исх., 4, 3.).

...*рассказ Уэллса об искривлении пространства.* — Речь идет о рассказе «Замечательный случай с глазами Дэвидсона» (1895).

Стр. 193. *...чудесный улов.* — Евангельская притча: Симон Петр, Иаков и Иоанн «трудились всю ночь» на озере Геннисаретском, «но ничего не поймали». Тогда Иисус сказал Симону: «Отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова». И было столько рыбы в сетях, что лодки начали тонуть. Лк., 5, 6—10.

Чудо в Кане Галилейской — превращение воды в вино. (Ин., 2, 1—11.)

Стр. 194. *...о знамени Ионы-пророка* — т. е. о знамени ветхозаветному пророку Ионе в городе Ниневии (см. Книгу Ионы, а в Новом завете — Ин., 3, 4; Лк., 11, 29—30).

Стр. 195. *Черный камень.* — Имеется в виду метеорное тело Кааба в Мекке, вмонтированное в каменное сооружение кубической формы; символ могущества Аллаха. Считается главным святилищем ислама.

Абдул Хамид II (1842—1918) — турецкий султан, прозванный «кровавым» за армянскую резню 1894 г. Правил с 1876 по 1909 г.

Стр. 197. *Голсуорси* Джон (1867—1933) — английский писатель.

«*Прекрасны грозные моря в краю волшебном фей*». — Строки из «Оды соловью» (1819) Джона Китса (1795—1881).

Стр. 202. ...*один старинный поэт назвал Ричарда III вепрем*. — Шекспир В. Ричард III, акт I, сц. 3; акт III, сц. 2. На гербе Ричарда III был изображен дикий кабан (вепрь).

Стр. 203. *Питт* Младший Уильям (1759—1806) — английский политический деятель. *Гладстон* Уильям Юарт (1809—1898) — английский политический деятель, премьер-министр Великобритании с 1868 по 1874 г.

Стр. 204. ...*великого короля-гугенота Генриха IV*. — Генрих IV — король Франции (1553—1610), первый из династии Бурбонов. Подписал в 1898 г. Нантский эдикт, гарантировавший религиозную неприкосновенность французским протестантам (гугенотам).

...*неприятная притча о свиньях*. — Мтф., 8, 28—32; Мк., 5, 1—2; Лк., 8, 32—33.

...*блудный сын... живущий во грехе среди свиней*. — Лк., 15, 15—16.

...*как кричал... корень мандрагоры*. — Согласно поверьям, стон «человекоподобного» корня мандрагоры предвещает смерть тому, кто его услышит.

Стр. 205. *Съезд методистов*. — Методисты — протестантская секта; основана английским проповедником Джоном Уэсли (1703—1791). В 1907 г. на съезде методистов три крупнейших секты слились в Объединенную методистскую церковь.

Ритуалисты — представители т. н. оксфордского движения, стремившегося вернуть Англию в лоно католической церкви (вторая половина XIX в.). Лидер движения Э. Пьюзи (1800—1882) ратовал за возвращение от идей Реформации к средневековой теологии.

Стр. 206. *Гилберт Уайт* (1720—1793) — английский писатель, священник, автор трудов по естественной истории.

Волтон Исаак (1593—1683) — английский писатель, автор книги «Искусный рыболов» (1653).

Стр. 208. ...*потребую голову Ливсона на блюде*. — Ср.: «Дай мне на блюде голову Иоанна». Мтф., 14, 18.

Фулон (1717—1789) — французский финансист и администратор времен французской революции. Ему принадлежат слова: «Что ж, если у этой швали нет хлеба, пусть жуют сено». 22 июля 1789 г. был схвачен и повешен толпой; рот ему набили сеном.

Стр. 226. ...*не езжу на ослах... Боюсь исторических аналогий*. — Верхом на осле в Иерусалим въезжал Иисус Христос. Мтф., 21, 7; Мк., 11, 7; Лк., 19, 33—35; Ин., 12, 14.

Стр. 228. ...*забыл о Боге в саду*. — Речь идет о грехопадении Адама и Евы. (Быт., 3.)

Стр. 232. «*Амброзийные ночи*». — Публиковавшиеся в «Блеквуд мэгэзин» литературно-философские диалоги шотландского писателя Джона Уилсона (1785—1854; наст. имя — Кристофер Норт).

Стр. 234. *Вулф Тоун* Тибалд (1763—1798) — ирландский революционер, один из основателей общества «Объединенные ирландцы» (1791). После ирландского восстания 1798 г. приговорен к повешению. Покончил с собой накануне казни.

Парнелл Чарлз Стюарт (1846—1891) — политический деятель Ирландии, лидер освободительного движения.

Стр. 238. *Адам давал им имена.* — Быт., 2, 19—20.

Стр. 239. *Фицджеральд* Эдвард (1809—1883) — английский поэт; знаменитый своим переводом «Рубайят» О. Хайяма.

Стр. 240. ...*мельник Чосера* — персонаж «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера (ок. 1340—1400), «бабник и балагур, вояка, отчаянный лгун и вор».

Клайв Роберт (1725—1774) — командующий английскими колониальными войсками в Азии, губернатор Бенгалии.

Стр. 242. *Гошен* Джордж Джоакин (точнее — Георг Иоахим, 1831—1907) — британский государственный деятель, крупный финансист.

Стр. 246. *Уайтхолл* — лондонская улица в районе Вестминстера; связывает Трафальгарскую площадь с площадью Парламента.

Стр. 247. *Тернер* Джозеф Мэллорд Уильям (1775—1851) — английский живописец, член Академии художеств. Речь идет о картине Тернера «Корабль-призрак» (1840).

Ньюболт Генри Джон (1862—1938) — английский поэт, издатель и критик; президент Королевского общества литературы. Упомянутые мотивы характерны для его «морских» поэтических циклов.

...*как заучивал в школе балладу.* — Честертон имеет в виду «Балладу о Регильском озере» Томаса Бабингтона Маколея (1800—1859). Здесь из баллады взяты первые две строки и последняя; недостает одной строки, третьей, которую Уимпол и заменяет своей импровизацией.

Стр. 248. *Джон Сильвер* — знаменитый пират, персонаж романа Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ» (1883).

Стр. 250. ...*там, где жил Вордсворт.* — Речь идет об Озерном крае, где жил английский поэт Уильям Вордсворт (1770—1850), поэт-лауреат с 1843 г.

Стр. 251. ...*недалеко от Брюсселя ... умерев молодыми.* — Имеется в виду местечко Ватерлоо, где объединенные армии под командованием герцога Веллингтона разбили Наполеона Бонапарта в 1815 г.

...*как ждал усов несравненный Фледджи.* — Фледджи — персонаж романа Ч. Дикенса «Наш общий друг» (1865).

Стр. 262. *Если Господь не созиждет дома.* — Пс, 126, 1.

Стр. 263. *Уистлер* Мак Нейл (1834—1903) — англо-американский живописец и график.

Борджиа — прославленное итальянское семейство, ставшее символом роскоши и разврата (XVI в.).

Стр. 270. *Башня в Брюгге* — рыночная башня высотой в 107 м. Построена в XIII в.

Стр. 272. *...как выразился мой земляк Йейтс.* — Йейтс Уильям Батлер (1865—1939) — ирландский поэт.

Стр. 276. *...апостол Петр или апостол Андрей.* — Андрей, брат Петра, один из двенадцати апостолов, рыбачивший на море Галилейском, считается покровителем моряков.

Стр. 279. *Ассасины* — секта исамитов; египетские султаны часто использовали их в качестве наемных убийц.

Стр. 284. *Тауэр* — замок на берегу Темзы, построенный в конце XI в. Вильгельмом Завоевателем, чтобы устрашить жителей Лондиниума (Лондона). В прошлом — тюрьма, ныне — музей британской короны.

...чаши Эскулапа оказались чашами Вакха. — Т. е. медицинские сосуды стали вместительнее для спиртного (Эскулап — бог врачевания; Вакх — бог виноградарства и земледелия).

Стр. 287. *...склонны опираться на сипаев.* — Сипаи — английские войска в Индии.

Стр. 290. *...считали птицами Юноны.* — В античной мифологии павлин считается птицей богини Геры (Юноны у древних римлян); «глазки», усеивающие павлиний хвост, — очами Аргуса. После того как Гермес убил Аргуса, Гера перенесла их на оперенье павлина.

Любовь к судьбе... Разве Ницше не учит нас... — О «святой любви» к собственной жизни и судьбе, противостоящей всяческой слабости, Ницше пишет в книге «Так говорил Заратустра» (1883—1884).

Кисмет — фатум, судьба, рок (тюрк.).

Стр. 291. *...с тех пор, как голова его упала перед Уайтхоллом.* — Речь идет о казни короля Карла I Стюарта (1600—1649).

Стр. 294. *...мы поклонимся золотому идолу, поставленному Навуходоносором.* — Библия, Книга Пророка Даниила 3, 21—2: «Навуходоносор сделал золотой истукан... поставил его в области Вавилонской... и послал сатрапов на торжественное открытие истукана».

Стр. 296. *...с тех пор, как пал бедный Монмаут.* — Монмаут Джеймс Скотт (1649—1685) — незаконный сын Карла II, претендовавший на английский престол при Якове II, в 1685 г. был казнен.

Стр. 297. *...Карл, прозванный Молотом, отогнал их от Тура.* — Предводитель франков Карл Мартелл (688—741) разбил в 732 г. под городом Туром войско мусульман.

...Альфред Великий впервые встретился с данами. — Речь идет о короле саксов Альфреде (848—900 гг.); в битве при Эшдауне (Уэссекс) разбил войско данов (датчан) и вскоре занял престол. Честертон неоднократно писал о нем (эссе «Альфред Великий», поэма «Баллада о белом коне» и др.).

РАССКАЗЫ

Стр. 301. *...под гигантской тенью президента Монро...* — Монро, Джеймс (1758—1831, президент США с 1817 по 1825 г.). Доктрина, изложенная им в Послании к Конгрессу (1823), была направлена против

европейской колонизации Латинской Америки («Америка для американцев»).

Стр. 302. *Меридит* Джордж (1828—1909) — английский романист и поэт.

...заменял Сол на Пол... апостол язычников. — До обращения апостол Павел (англ.). — Пол) звался Савлом (Саулом) — в английском произношении — Сол.

...к официальной религии он относился... в духе скорее Ингерсолла, чем Вольтера. — Ингерсолл Роберт (1833—1899) — американский мыслитель-агностик, известный своей критикой библейских текстов. Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694—1778) — французский философ-просветитель, высмеивавший христианскую веру в Провидение и боровшийся с церковью.

Стр. 305. ...последовать примеру друга доктора Уотсона... бросившись... со скалы. — Имеется в виду рассказ А. Конан Дойла «Последнее дело Холмса».

Стр. 314. *Титус Оутс* (1649—1705) — английский авантюрист, обвиненный в организации католического заговора. Оутс признал обвинение; католики, в том числе Честертон, считают, что он оговорил католиков.

Стр. 325. «О новых делах». — Энциклика папы Льва XIII (1810—1903, папа с 1878 г.) от 15 мая 1878 г. о социальной доктрине церкви в пору растущего влияния социалистических идей.

Стр. 326. *Гражданин Рикетти*... сбил с толку всю Европу. — Рикетти — фамилия, которую носил французский политик Онорэ Габриэль Виктор Рикетти, граф Мирабо (1715—1789) после отмены во Франции дворянских титулов (1890).

Стр. 330. ...вроде истории с Желтой комнатой. — Речь идет о романе французского писателя Гастона Леру (1868—1927) «Тайна Желтой комнаты» (1908).

Стр. 332. ...языками ангельскими и человеческими. — Библия, I Кор. 13, 1.

Стр. 333. ...и пес Анубис, и зеленоглазая Баст, и тельцы Васанские. — Пес Анубис — в египетской мифологии, бог-покровитель умерших, изображался в виде лежащей собаки. Баст — в египетской мифологии, богиня радости, ее священное животное — кошка. Тельцы Васанские — см. коммент. к с. 174.

...вас пугает слово «человечился». — Слово из т. н. Никео-Константинопольского символа веры. Согласно догмату, утвержденному на Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.) соборах, Иисус Христос стал человеком.

...как некогда глядел волк на святого Франциска. — По легенде, святой Франциск Ассизский (1182—1226) мирно договорился с волком, задиравшим овец в селенье Губбио.

Стр. 338. *Крито-Минойский период*. — Назван по имени легендарного царя Миноса, который велел построить лабиринт; обычно его соотносят с историей острова Крит II—III тысячелетия до н. э.

Минотавр — мифическое чудовище, получеловек-полубык, рожденное царицей Пасифаей от быка.

...породила манихейскую или другую мерзкую секту. — Речь идет о дуалистическом учении персидского пророка Мани (иначе Манихея, III в.), считавшего, что все материальное исходит от автономного злого начала. Честертон неоднократно спорил со взглядами этого рода (см. главу о манихействе в трактате «Св. Фома Аквинский», 1933).

Стр. 355 ...как заметил святой Антоний Падуанский, только рыбы... — Антоний Падуанский — францисканский проповедник XIII в. По преданию, проповедовал рыбам.

Стр. 356. *Вашингтон* Джордж (1732—1799) — первый президент Соединенных Штатов Америки (1789—1797).

Джефферсон Томас (1743—1826) — третий президент США (1801—1809).

Стр. 357. *Рузвельт* Теодор (1858—1919) — президент США (1901—1909).

Форд, Теодор Генри (1863—1947) — американский изобретатель и промышленник.

Асквит Эмма Элис Маргарет (1864—1945) — английская общественная деятельница, жена премьер-министра Великобритании Г. Г. Асквита (1852—1928).

Стр. 359. *Санфира* — библейский персонаж, женщина из раннехристианской общины, утаившая от общины деньги. Деян., 5.

Стр. 362. ...дом в Лорето летал по воздуху. — Согласно преданию, дом Божьей матери прилетел в итальянский город Лорето.

Стр. 383. *Симон-Волх* — современник евангельских апостолов, лжецудотворец. Библия, Деян., 8, 9—24.

...подобно меркуриеву жезлу. — Согласно античной мифологии, крылатый жезл бога Гермеса (р и м с к. — Меркурий) обладает магической силой.

Стр. 384. *Данди*, лорд Грэм Клейверхауз (ок. 1649—1689) — шотландский воин, поднявший восстание, чтобы вернуть престол королю Якову II (1633—1701, правил в 1685—1688 гг.). Его смерть лишила мятежников надежды на успех.

Ковенантеры — шотландские пуритане, объединившиеся для защиты своей веры и страны.

Стр. 392. ...оружие ... прошло самое сердце чистоты... — Речь идет о словах Симеона Богоприимца, обращенных к Божьей матери: «И тебе самой оружие пройдет душу». Лк., 2, 35.

Стр. 414. *Якобиты* — сторонники изгнанного короля Якова II Стюарта и его потомков. Как политическое движение перестало существовать после 1746 г. (битва при Каллодене). Честертон сочувствовал им и потому, что они были католиками, и потому, что они защищали слабого короля (см. роман «Шар и крест», 1907).

Стр. 419. *Стоунхендж* — одно из древнейших доисторических сооружений (каменный век) у г. Солсбери в Англии. По-видимому — храм солнца; возможно — древняя обсерватория.

Стр. 423. *Ахерон* — в древнегреческой мифологии, «река вечных страданий»; переплыв ее, души умерших добирались до подземного царства мертвых.

Стр. 428. *...по примеру последнего Наполеона во Франции.* — Имеется в виду Шарль Луи Наполеон Бонапарт (Наполеон III, 1809—1873), президент республики с 1848 г., а после контрреволюционного переворота в 1851 г. — король Франции.

*И. Петровский
Н. Трауберг*

СОДЕРЖАНИЕ¹

ЖИВ-ЧЕЛОВЕК. Роман. <i>Перевод К. Чуковского</i>	7
ПЕРЕЛЕТНЫЙ КАБАК. Роман. <i>Перевод П. Трауберг</i>	145

РАССКАЗЫ

Из сборника «Недоверчивость отца Брауна»

Воскресение отца Брауна. <i>Перевод А. Яковлева</i>	301
* Вещая собака. <i>Перевод Е. Коротковой</i>	316
Проклятие золотого креста. <i>Перевод С. Красовицкого</i>	334
* Чудо «Полумесяца». <i>Перевод Н. Рахмановой</i>	356
Крылатый кинжал. <i>Перевод Е. Суриц</i>	377

Из сборника «Человек, который знал слишком много»

* Лицо на мишени. <i>Перевод О. Атлас</i>	394
* Белая ворона. <i>Перевод К. Жихаревой</i>	411
* Неуловимый принц. <i>Перевод П. Демуровой</i>	428
Комментарии <i>И. Петровского, Н. Трауберг</i>	447

¹ © Перевод. Трауберг Н. Л. 1990 г.

© Перевод. Яковлев А. Я. 1990 г.

© Перевод. Красовицкий С. П. 1990 г.

© Перевод. Суриц Е. А. 1990 г.

© Переводы, отмеченные знаком *. Издательство «Художественная литература», 1958 г., 1974 г.

Честертон Г.-К.

4-51 Избранные произведения. В 3-х т. Т. 2.
Жив-человек: Роман; Перелетный кабак: Роман;
Рассказы: Пер. с англ. / Редкол.: С. Аверинцев,
В. Скороденко, Н. Трауберг; Коммент. И. Пет-
ровского; Ил. худож. В. Носкова. — М.: Худож.
лит., 1990. — 462 с., ил.

ISBN 5-280-01203-3 (Т. 2)

Во второй том «Избранных произведений» Гилберта Кийта Честертон
(1874—1936) входят романы «Жив-человек» и «Перелетный кабак», лучшие
рассказы из сборников разных лет.

Ч 4703010100-254 126-90
028(01)-90

ББК 84.4Вл

ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ
ТОМ 2

Редактор Э. Шахова
Художественный редактор Л. Калитовская
Технический редактор Л. Витушкина
Корректоры Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 5882

Сдано в набор 24.11.89. Подписано к печати 04.05.90. Формат 60x90¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 29. Усл. кр.-отт. 29,5. Уч.-изд. л. 31,06. Тираж 200000 экз. Изд. № VI-3261.

Заказ № 3408. Цена 6 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО
«Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати.
113054, Москва, Валовая, 28